Дмитрий Биленкин
Космический бог

От составителей

“Он был добрым, интеллигентным, талантливым человеком. Он не только Биленкин — как шестидесятник, современник и участник волны Стругацких. Он еще и часть Багряка — также явления в фантастике недооцененного и почти забытого. Его друзья — люди неординарные. И это характерно — ведь любили Диму и писатели, и журналисты, и ученые. И еще: он был, наверное, самым скромным человеком, которого я знал”, — так о Дмитрии Биленкине сказал Кир Булычев. И многие из знавших Дмитрия Александровича наверняка подпишутся под этими словами. Ибо без фигуры Биленкина сложно представить советскую фантастику 60–80–х годов.

Дмитрий Александрович Биленкин родился в Москве в 1933 году. Еще в школе он начал увлекаться геологией и в результате поступил на геофак МГУ, окончив его со специальностью геохимик. В то же время Биленкин заинтересовался журналистикой и начал публиковать научно–популярные статьи в газете “Комсомольская правда” и журнале “Вокруг света”. Но ему, талантливому человеку, ипостась журналиста–популяризатора явно оказалась тесна. А из “научпопа” — прямой путь в фантастику! И в 1958 году рассказом “Откуда он?” состоялся дебют Биленкина как фантаста. И в шестидесятых годах он становится одним из лидеров “твердой” НФ в любимых жанрах: рассказе и короткой повести. Основной темой автора в произведениях того времени стало исследование новых научно–технических идей, гипотез технологий будущего, проблем космической экспансии человечества. И большинство рассказов и повестей, вошедших в первый сборник Биленкина “Марсианский прибой” (1967) в той или иной степени касаются вышеперечисленного. Наиболее типичны для Биленкина того периода рассказы “Зримая тьма”, “Грозная звезда”, “Ничего, кроме льда”, “Как на пожаре”. Однако уже в 1970 году в одной из статей Биленкин пишет: “Фантастика — не наука. Это литература, литература, литература! Конечно, открытий и изобретений в ней масса. Но легче сделать вертолет из… почтовой марки, чем, руководствуясь предвидениями фантастов, построить самую крохотную машину времени”.

Уже тогда, в конце шестидесятых, писатель переносит центр тяжести на человека, его психологию на фоне фантастических, невероятных событий, герои находятся в постоянном поиске себя и своего места в технологическом будущем. В этом духе выдержаны сборники “Ночь контрабандой” (1971), “Проверка на разумность” (1974), “Снега Олимпа” (1980).

К концу семидесятых тема человека, его психологии, внутренней сущности становится доминирующей в творчестве автора. Но волнуют его уже не только проблемы научно–технического прогресса, но и вопросы биологии и экологии. Причем к вопросам экологии он обратился одним из первых в советской фантастике. Здесь стоит выделить такие рассказы, как “Художник” (1967), “Догнать орла” (1973), “Здесь водятся проволоки…” (1981), “Давление жизни” (1970), а также один из самых лучших рассказов “Город и Волк” (1970). Особое место в творчестве Биленкина занимает цикл произведений о приключениях Полынова. Этот цикл смело можно называть “интеллектуальной космической оперой”. Полынов, ученый–психолог, своеобразный супермен, решающий проблемы космического масштаба исключительно за счет своего интеллекта и знания человеческой психологии. Кроме повестей “Десант на Меркурий” (1967), “Космический бог” (1967), “Конец закона” (1980), к “полыновскому” циклу можно отнести также повесть “Сила сильных” (1985), в которой действует уже потомок Полынова. К сожалению, единственный роман Биленкина “Пустыня жизни” в советское время так и не был опубликован полностью. Но, как уже говорилось выше, “фирменным блюдом” писателя всегда оставались рассказы и повести. Лучшими же своими рассказами сам Биленкин считал “Принцип неопределенности”, “Человек, который присутствовал” и “Море всех рек”.

Рассказывая о Биленкине, нельзя обойти вниманием, во–первых, его участие в команде авторов, публиковавших фантастические романы (“Пять президентов”, “Синие люди”, “Фирма приключений”) под псевдонимом Павел Багряк (кроме Биленкина, в эту группу входили также Валерий Аграновский, Ярослав Голованов, Владимир Губарев, Виктор Комаров и художник Павел Бунин), а во–вторых, его общественную “околофантастическую” деятельность — долгие годы он был одним из руководителей семинаров молодых фантастов при Московской писательской организации, а также знаменитого “малеевского” семинара, через которые прошло множество популярных ныне фантастов.

Д. Байкалов, А. Синицын

ДЕСАНТ НА МЕРКУРИЙ

В ответ на прикосновение Полынов замотал головой спросонья.

— Н–е-ет…

— Да проснись же, мы у цели, — настойчиво повелел голос.

Полынов открыл глаза. Над изголовьем возвышался Бааде. Торжественный, застегнутый на все пуговицы. “Ему бы пошли эполеты, — почему‑то решил Полынов, — золотые, огромные эполеты. С вензелями. Очень пошли бы”.

Вслух он сказал:

— Ты будишь так, словно меня ждут великие дела.

— А разве высадка пустяк? Не там ищешь ботинок, вот он.

Психолог промолчал.

Войдя вслед за механиком в рубку, он придирчиво оглядел ее. Все как будто на месте — и огоньки над пультом, и ленивые кривые на экранах. Полынов досадливо щелкнул пальцами. Шумерин ему не нравился. Капитан сидел сгорбившись, как вопросительный знак. Его пальцы с излишней поспешностью сновали по тумблерам анализатора. “Волнуется старик”, — подумал психолог. “Старику” не было и сорока лет.

Полынов зевнул. Сладко, шумно, так, чтобы на это обратили внимание. И сказал, как бы про себя:

— Значит, у меня снова заболит зуб.

Шумерин удивленно обернулся. Из‑за его плеча выплыл черный овал иллюминатора; в рубку глянула глухая ночь Вселенной.

— Что за чушь, какой еще зуб?

— Верхний. Справа.

Шумерин глядел на психолога, ничего не понимая. С плеч Бааде слетели невидимые эполеты: от неожиданности механик приоткрыл рот.

— Больной зуб? — спросил он в замешательстве. — У врача? Космического? Ты шутишь…

— А я и не говорю, что у меня больной зуб, — уточнил Полынов. — Но когда включается тормозная установка, какая‑то неучтенная вибрация заставляет резонировать нерв. И зуб болит. Паршивое ощущение: историческая минута, чужая планета, а герой–первооткрыватель хватается за щеку, как старуха.

— Почему ты не сказал об этом раньше? — возмутился Шумерин.

— А кой прок? Инженеры, в лице нашего уважаемого Генриха Станиславовича, месяц ходили бы вокруг двигателей, меня замучили бы анализами, а все могло окончиться тем, что в экипаж назначили бы врача, у которого зуб не резонирует.

Бааде расхохотался. Шумерин улыбнулся и посоветовал принять фенатин.

“Неплохо, — решил Полынов. — Тлетворный дух Тугаринова изгнан каленой метлой шутки”.

К психологам в космосе относились с иронией. Прежде всего потому, что редко кто замечал их работу. И не случайно: плох тот психолог, чья деятельность бросается в глаза. В этом были, конечно, свои минусы. Когда человека брали в полет на должность

“врача–биолога–психолога”, капитанов несравненно больше интересовало, какой он врач и какой биолог. А результат? Помянув “тлетворный дух Тугаринова”, Полынов имел в виду вполне конкретный случай. Ситуация была точно такой же: чужая планета, посадка, нервная лихорадка пальцев… Психолог на том корабле был шляпой из шляп: хорошо зная Тугаринова, он тем не менее не удосужился провести профилактику. И в самый ответственный миг Тугаринов взял управление кораблем на себя! При посадке!

Тугаринова вовремя оттащили. Но секунда, когда капитан руководил спуском на Венеру, кое–кому стоила седины в волосах. Даже стажеру известно, что человек с его медлительной реакцией, неспешной сообразительностью просто не в силах сам, без участия автоматов посадить корабль на незнакомую планету. Что взяться в такой ситуации за рули, значит прямехонько улечься в гроб, да еще захлопнуть крышку.

Конечно, поступок Тугаринова объясним. Трудно, очень трудно покорно лежать в кресле, когда решается: чет или нечет, победа или гибель. Решается автоматикой. Взвоешь! Не один Тугаринов, многие ворчали: “Унизительно, та–та…” А сорвался именно Тугаринов. Недоверие к автоматам? Ха… Не к автоматам, а к людям. Тем, для него безвестным, безымянным людям, которые делали всю эту аппаратуру. Тугаринова испортила былая слава — вот что. Высокомерие и самоуверенность таились в нем, как болезнь; в опасную минуту наступил кризис.

И межпланетник погиб. Ему запретили летать, поместили в санаторий “чинить нервы”.

Эти воспоминания всегда будили в Полынове злость. Нервы! Сколько можно доказывать всем и каждому, что они требуют неизмеримо большей заботы, чем механизмы? И на земле и в космосе. Особенно в космосе. Ладно, пусть тот же Бааде считает психолога кустарем, пусть. Шумерин, конечно, не чета Тугаринову, но на всякий случай он, Полынов, обязан позаботиться, чтобы сейчас капитаном не овладели ненужные мысли. Фокус с зубом уже отвлек его, хорошо, продолжим.

— Интересно, — сказал Полынов, — каким окажется Меркурий?

— Обыкновенным, — ответил Шумерин, не задумываясь. Его руки отдыхали на подлокотниках кресла. — Мы знаем о Меркурии почти все. АМС-51, АМС-63, я уже сбился со счета, сколько их там побывало.

Бааде, севший было за расчеты, поднял голову.

— Ты, Михаил, не романтик. Сухарь ты. На встречу с новой планетой, — он важно поднял палец, — надлежит идти как на свидание с Прекрасной Незнакомкой.

Иногда трудно было понять: иронизирует Бааде или говорит серьезно.

— Правильно, — подзадорил Полынов, — пока не поздно — почитай Блока. Способствует настрою. А то какой в тебе будет азарт, когда ты первым из всех людей вступишь на Меркурий?

— К чему мне все это, я не мальчишка…

— А солидный капитан–межпланетник, — подхватил Полынов. — Между прочим, я однажды слышал хорошие слова: “Мы стареем потому, что стыдимся молодости”.

Шумерин что‑то пробурчал и протянул руку к кибер–штурману, давая понять, что ему некогда.

— О, это колоссальная мысль! — проронил Бааде, качая головой.

— А вы вспомните, — не выдержал Шумерин, — каким нам представлялся Марс! Необыкновенным, таинственным. Прилетели. И ничего особенного.

— Вот это да! — Бааде снова оторвался от расчетов. — А епихордизация, например?

— Я не о том, поймите. Для ума там много интересного. И на Венере тоже. Я же говорю о чувственном восприятии… Небо, песок, горы… Похоже, все похоже! Словно продолжение Земли.

— И ты разочаровался? — психолога заинтересовал разговор. Он открывал в капитане что‑то новое.

— Разочаровался — не летал бы. Просто я не жду встречи с Прекрасной Незнакомкой, как вы только что выразились.

— Правильно, — сказал Бааде. — Правильно! Дважды два — четыре, и никаких гвоздей. Все остальное эмоции, я тоже так считаю.

Полынов ничего не сказал. Он вслушивался. Рубку всегда наполнял легкий стрекот — лишнее напоминание о титанической работе, которую ведут спрятанные за панелями и кожухами приборы: тысячи, миллионы всяких там реле, схем и прочих деталей электронной кабалистики. Теперь стрекот чуть усилился. Значит, жди сигнала посадки. Время сделать последний ход.

— Знаешь, Михаил, кто ты? Думаешь, скептик? Межпланетный Печорин? Ничего подобного. Ты примитивный мистик, как тот школьник, который твердит перед экзаменом "провалюсь, провалюсь" в надежде, что судьба любит поступать наперекор.

Молчание. Шумерин смотрит в обзор. Оттуда глядит надоевший рисунок созвездий. Очень красноречивое молчание. Капитан теребит тумблер бортовой системы климата.

— Андрей, у нас, по–моему, еще масса дел, — наконец проговорил он. Вежливый подтекст: "Я занят, ты мне мешаешь".

"Все в порядке, — решил психолог. — Теперь он будет переживать. Переживай, переживай, это заставит тебя забыть о своем положении "Ионы во чреве кита".

Меркурий уже напоминал о себе. Органы чувств корабля ощущали его близость. Поверхность планеты облизывали импульсы радаров; разглядывали глаза телескопов — пристально, километр за километром; пальцы дистанционных анализаторов, управляя бомбозондами, шарили в атмосфере. Ничего этого люди не видели и не слышали: все представало перед ними в препарированном, дистиллированном образе цифр, знаков, электронных символов. Впрочем, люди могли любоваться серебристым, слегка отуманенным серпиком планеты. Или следить за ускоренным бегом цифр и знаков, чтобы поправить корабль, если нужно. Но этого заведомо не требовалось.

Когда до поверхности осталось совсем немного, включилось еще одно реле, ибо пришло время напомнить людям, чтобы они сделали то‑то и то‑то. Зажглись табло, прозвучал сигнал, и кресла пришли в движение, занимая противоперегрузочное положение. Все захлопотали.

Послышалось гудение, оно охватило весь корабль — заработала тормозная установка. Огромный корабль первого класса "Александр Невский" валился вниз: туда, где был невидимый Меркурий. Но как идет первая посадка на чужую планету, люди могли видеть лишь в зеркале осциллографов, в электронных рисунках кривых на нем.

— Чертов зуб… — вовремя вспомнил Полынов.

Перегрузка росла. Вопреки этому, вопреки растущей тяжести они ощущали падение, от которого холодело в груди. Они падали из космоса, из пустоты, и она казалась теперь самой надежной опорой. Пустота уходила из‑под ног, пустота разваливалась, крошилась; сжавшееся тело невольно ждало удара.

Он не замедлил последовать.

Конечно, смешно было назвать это ударом: просто толчок. Как при внезапной остановке лифта. Но его слишком ждали, и он больно ударил по нервам.

Спинки кресел приподнялись и посадили их. Шумерин вытер пот.

"Пожалуй, мы так избалуемся, — подумал Полынов. — Летели, летели, томились; сели в кресла, поволновались чуть–чуть; толчок — здрасьте! — Меркурий! Пассажиры могут выйти…,"

Но выйти они пока не могли. Нельзя было открыть люк, покуда автоматы не проведут разведку по "форме № 7". Замеры радиации, напряженность полей, пробы на присутствие вирусов, невесть что еще, пулеметные очереди цифр и символов в окошке анализатора, прежде чем загорится зеленый огонек и электронный мозг голосом хорошенькой стюардессы объявит: "Выход разрешен. Необходим скафандр №…"

Они стояли друг против друга, смущенно улыбаясь и решительно не зная, как держать себя в такую минуту. Хорошо, Бааде умудрился выключить киноаппарат, который автоматически срабатывает при посадке и запечатлевает для истории их лица…

— Включите‑ка звукопеленгатор, — нашелся Полынов.

Шумерин пожал плечами (какой может быть звук в столь разреженной атмосфере?), но просьбу выполнил.

Звук, однако, был. Космонавты переглянулись. Первый услышанный ими на Меркурии звук донельзя напоминал что‑то.

— Похоже на шуршание сухих листьев, — определил Полынов.

— Вот–вот, — не удержался Шумерин. — Летели на край света послушать шелест осенних листьев.

— Согласись, однако, что мы не ожидали этого. Неужели ветер?

— Скоро узнаем.

Когда ждешь, время обретает тяжесть, от которой болят плечи. Шумерин уже начал переминаться с ноги на ногу.

Наконец кибернетическая стюардесса смилостивилась. Она подтвердила, что человека за бортом не поджидает никакая опасность.

— Вы — первым, — почему‑то переходя на “вы”, сказал капитану Полынов.

Он стоял у люка и смотрел, как Шумерин с отвычки медленно и неуклюже спускается вниз.

Психолог впервые высаживается на планету, где никто еще не бывал. Сбывалась детские мечты, но тогда все представлялось, разумеется, не так. Как именно, помнилось плохо. Кажется, все выглядело лазоревым, сердце сжималось и ликовало от счастья, выше и лучше которого нет. Вероятно, так. Был ли он счастлив теперь? Полынов остерегался ответить: все слишком спокойно и буднично. Немного тревожно, как при взгляде с большой высоты. Но разочарования ни малейшего; может быть, так оно и выглядит — счастье большого свершения?

Шумерин встал на последнюю ступеньку. Ох, как он долго спускался! Оставался один только шаг, последний. Капитану, наконец, удалось принять достойный вид. Он выпрямился, скрестил на груди руки, взглядом измерил расстояние. У Полынова невольно защипало в горле: вот оно!

Почва выглядела необычно. Прежде всего нерезкой, словно запотели стекла шлема. Над гладким и серым, похожим на асфальт покровом возвышались как в тумане черные камни. Их удлиняли тени. И так — всюду. Черные камни в оправе асфальта.

Естественно, Шумерин прицелился ступить на ровную площадку. Немного поколебался. Высоко занес ногу, откинул голову и шагнул, как на церемониальном марше.

И едва не упал, потому что нога ушла в “асфальт” по щиколотку. Взвилось облачко.

Бааде и Полынов, не выдержав, расхохотались, чуть более нервно, чем того требовали обстоятельства.

— Вот так штука! — присвистнул Шумерин. — Это же пыль!

Космонавты сбежали вниз. Да, капитан не ошибся: “асфальт” был густым слоем пыли, сухим туманом, закрывающим выемки почвы.

— Ну, это понятно, — сказал Бааде, — почва нагрета до двухсот градусов, сила тяжести невелика. Вот пылинки и исполняют танец броуновского движения. Смотрите, туман течет!

Так оно и было. В “облаке”, “тумане” (или как его там еще назвать) обозначались вихри.

Полынов давно мечтал о мгновении первой встречи с Меркурием. Но сейчас чем далее он вглядывался в пейзаж чужой планеты, тем сильней в нем росли безотчетное раздражение и неприязнь.

Огромное солнце опиралось на край Меркурия стеной белого пламени. Такой яркой, что горизонт плавился и прогибался, как под тяжестью. Равнина пылала, подожженная нестерпимым светом. Тени на ней казались кристалликами угля, брошенными в топку.

Вверху застыло черно–фиолетовое небо. В космическом холоде медленно шевелились багровые языки протуберанцев. Оттого еще более усиливалось впечатление разверзнутой

печи, готовой обрушить на Меркурий жар и пламя.

Но в черном небе от Солнца отлетели жемчужные крылья короны; в их взмахе таилась прохлада сумерек. Неистощимый полдень, непроглядная ночь, мягкий вечер — все соседствовало в противоестественном контрасте. Меркурианский воздух придавал всему налет неправдоподобия. Он прихотливо мерцал и светился, пропитывал собой и свет и тень. Как мгла, хоть это и не было мглой. Неосязаемый трепет пространства, дрожание эфира — этому не было точного имени. Все виделось нечетко и зыбко, как сквозь струящуюся пелену, которую так и хотелось сбросить.

— Черт, — выругался Полынов, отчаянно мигая. Глаз невольно учащал движение век, чтобы устранить помеху, — стереть несуществующую слезу.

Остальные чувствовали то же самое — досаду и раздражение. Разум почему‑то не хотел принимать того, что видел глаз; это было незнакомым и неприятным ощущением.

— Никак не могу понять, что же это такое, — вздохнул, наконец, Шумерин.

— Просто мы внутри газосветной трубки, — щурясь сказал Бааде, — или внутри полярного сияния, если так больше нравится. Разреженная атмосфера, близость Солнца и как следствие — высокая ионизация газов. Вот и все. И между прочим…

Он обвел взглядом друзей.

— …Между прочим, мы превратились в святых.

Он протянул руку, и все заметили, что над шлемами горят крохотные лучистые нимбы. Огоньки бежали и по корпусу корабля.

— Электризация! — догадался Полынов.

— Точно. И знаете, что мы приняли за шорох листьев? Потрескивание этих самых искр.

— Могли бы сразу догадаться.

— Конечно.

— Но какой вид у Меркурия…

— Неуютный.

— Верно…

Они долго переговаривались так, потому что дольше разглядывать Меркурий почему‑то не хотелось, а признаться в этом было неловко. Здесь ничего не значили обычные оценки. “Прекрасный”, “жуткий” — эти и подобные им слова не годились. То был воистину чужой мир, требующий новых определений. Действовал он все более гнетуще, ибо человеку постоянно хочется ясности, а ее‑то здесь и не было.

Но они прилетели исследовать, а не любоваться пейзажами и потому не придали первому впечатлению особого значения. У них были программа, задачи и цель. Эмоции не имели к этому ни малейшего отношения, так им казалось.

***

Шумерин хозяйским взглядом окинул площадку. Порядок. Блестит сейсмограф, похожий на канцелярскую кнопку, вколотую в почву; если местности будет грозить землетрясение, то благодаря сейсмографу они узнают о нем заранее. В тени скалы притаились счетчики Черепкова. Ливень космических частиц тоже не застигнет врасплох. Правда, такие же приборы дежурят и на корабле, но инструкция есть инструкция. В ней предусмотрено все. Аккумулятор опыта, тяжелой гирей иногда повисающий на инициативе. Но иначе нельзя, нет, нельзя. Они не беззаботные туристы. Им, как альпинистам, нужна страховка, невидимые помочи в руках у тех, кто послал их вперед.

Вся площадка поблескивает усиками, проводами, чашами антенн, оскаленными пастями газозаборников. Стадо умных механизмов. Нет, скорей плантация диковинных растений; взращенных усилиями тысяч умов. На ней зреет урожай информации. Садовник, наконец, может уйти: урожай вырастет без него.

Но сколько времени потеряно! Зря или не зря? Если не считать двух–трех приборов, остальные либо дублировали работу корабельных установок (для сопоставления результатов!), либо вновь и вновь уточняли, дополняли, перепроверяли сведения,

полученные от автоматических станций, сброшенных ранее. Все это было нужно, необходимо, но они лишились по крайней мере двух экскурсий в глубь планеты. Обидно, по–человечески обидно.

И к чему вообще, если вдуматься, сводится их роль первооткрывателей? Надзиратели за умными машинами? Экскурсанты, которые осматривают планету, по ходу дела подтверждая то, что подтверждения не требовало, — данные, полученные от автоматов?

Нет, конечно, он не прав. Цифры безгласны и мертвы. Что такое сама по себе “температура плюс сорок градусов по Цельсию”, скажем? Пустой звук. Лишь присутствие человека оживляет ее. Сухость губ, рубашка, прилипшая к телу, горячая кровь, стучащая в сердце, и многое, многое другое связывается тогда с нею.

Меркурий еще не коснулся души человека, так‑то вот. Автоматы открыли его для разума. Но только люди откроют его для чувств. Нельзя любить, ненавидеть абстракцию. Нельзя жить в мире графиков и физических величин, если он не обжит сердцем. Человек должен идти вперед, а не один только разум. Иначе сквозь душу пройдет трещина. Что‑то будет жить в прошлом среди идиллии лесов и пашен, а что‑то уйдет в будущее, поселится на голой пустыне фактов. Но нельзя расселить ум и чувство по разным квартирам — человеку станет плохо.

Им обживать Меркурий. Им открывать его для человека. То, как они это сделают, — от этого зависит, станет ли человечество богаче. Богаче красками, волнением, пониманием природы и себя в природе.

Пожалуй, им повезло. Может быть, в ущерб делу. Повезло, что никто пока не догадался; вслед за автоматами должны идти писатели и художники. Верней, ученые–художники. Вроде Леонардо да Винчи или Экзюпери. Они увидят то, что не увидит он, Шумерин. Поймут то, что останется скрытым от всех троих.

— Капитан, вездеход подготовлен.

Бааде и Полынов приближались к нему, и странно было видеть, как их ноги, погружаясь в тень, исчезают там, как обрубленные, и люди в блестящих скафандрах повисают над пустотой. Прежде чем глаза привыкли и смогли разглядеть в темноте ботинки, Бааде и Полынов уже миновали тень. Теперь солнце оказалось за их спиной, и они мгновенно превратились в бесплотные силуэты.

— Зайдите сбоку, — попросил Шумерин, — неприятно разговаривать с дырками в небе.

Они засмеялись. Они никак не могли привыкнуть к дикой светотени, уродующей любой предмет. Правда, если вглядываться, скраденные очертания вновь проступали из мрака зеленоватыми пятнами. Но это если вглядываться.

— Так в путь, капитан? — спросил Бааде, поворачиваясь боком. — Двигаться, наблюдать, хорошо‑то как!

— Сначала отдых и сон, — остановил его Полынов.

Бааде посмотрел на психолога осуждающе.

— Слово врача — закон, — развел руками Шумерин.

Бааде заворчал, Полынов сладко — нарочито сладко зевнул, Шумерин повернулся к ракете, давая понять, что спор закончен.

Тут‑то Шумерин и увидел это.

Оно надвигалось из темного полушария Меркурия бесшумно и быстро. Серая полоска чего‑то.

Условный рефлекс опасности сработал тотчас.

— Берегитесь! — предостерегающе закричал Шумерин.

В полоске не было ничего угрожающего, кроме того, что она приближалась и была неизвестно чем.

— К кораблю! — Шумерин зачем‑то топнул ногой.

И они побежали, но нехотя, то и дело оборачиваясь, ибо все еще не могли принять неожиданность всерьез.

Близкий горизонт Меркурия мешал определить расстояние до полоски. Впрочем, это уже не было полоской. То был вал, который рос, ширился и мчался, вставая стеной и смахивая звезды.

— Приборы… — вспомнил Бааде, когда они достигли люка.

Приборы оставались беззащитными. А ракета, люди? Никогда они не переживали такой растерянности, ибо опасность никогда не была настолько непонятной. Переход от невозмутимого спокойствия к тревоге и к бегству был так стремителен, а перемена настолько неправдоподобной, что разум упорно отказывался в нее поверить.

— На гребне — пена… — сказал Полынов.

И тут они поняли, на что это похоже. На воду. И это было самым невероятным. По раскаленной равнине катился вал воды, серой, осенней воды с хлопьями пены на гребне… Солнечный свет тонул в ее вогнутой поверхности, местами отражаясь хмурыми бликами. Впрочем, многое дорисовывало воображение. Проклятое мерцание, как назло, было необычайно сильным.

— Люк! — закричал Шумерин.

“Правильно, — успел подумать Полынов, — приборы — дело десятое”.

Массивный люк щелчком захлопнулся за ними. Насосы с шумом послали внутрь камеры струи воздуха. Тени, отбрасываемые лампами потолка, быстро теряли космическую черноту, становясь прозрачными, земными. И с той же быстротой к людям возвращалось спокойствие.

— В рубку, — сказал Шумерин, когда шум насосов смолк.

По дороге в рубку они ждали толчка. Ждали и верили, что он окажется несильным, — корабль был слишком могучим препятствием для вала. Но толчка не было. Никакого. Ни слабого, ни сильного.

— Ну, знаете… — сказал Шумерин, когда шторки иллюминаторов раздвинулись.

Кругом было пусто. Гладкая равнина в грифельных пятнах теней. Ни малейшего признака промчавшегося вала.

Бааде тупо посмотрел на Полынова, тот на капитана. Шумерин пожал плечами.

— Чушь какая‑то…

— Надо разобраться в феномене, — сказал механик.

— В двух, — уточнил Полынов. — В том, откуда взялась… гм… жидкость, и в том, куда она делась.

Разбираться им было не привыкать. Разбираться было их профессией. И все же начинать разговор никому не хотелось. Слишком глупо все это выглядело.

— Итак? — настаивал Шумерин.

— По–моему, все просто, — начал Бааде, постепенно обретая уверенность. — С неосвещенной стороны Меркурия на нас ринулся поток жидкости неизвестного состава. Это первый факт. Нам известно, что в темном полушарии есть ледники замерзших газов различного состава и озера у подножья гор. Это факт номер два. Отсюда следует, что в силу каких‑то причин там прорвало запруду. Меркурианское наводнение — вот как это называется.

— Генрих, да ты поэт простоты! — воскликнул Полынов. — Есть только одна неясность: почему эта жидкость не кипела, выйдя на освещенную равнину? И почему она вдруг исчезла?

— Выходит, две неясности, — невозмутимо уточнил Бааде. Заметно было, что он успел все хорошо продумать. — Итак, почему эта проклятая жидкость не кипела в условиях повышенной температуры и низкого давления…

Со стороны их разговор производил, вероятно, странное впечатление. Люди, только что пережившие сильное потрясение, спокойно сидят друг против друга и спорят так, будто решают абстрактную, академическую задачу. Без лишних эмоций и лишних слов, совсем как логические машины. Но в космосе это был единственно возможный стиль поведения. Всякая отсебятина влекла за собой потерю времени, иногда невозвратимую.

— Отвечу на вопрос, почему она могла не кипеть, — продолжал Бааде. — Во–первых, она кипела. Вы обратили внимание на усиление мерцания? Разумеется, оно было вызвано сильным испарением, другого объяснения я не вижу. Во–вторых, опыты Николаева–Графтена с жидкими газами переменного состава (а нам, подчеркиваю, неизвестен состав жидкости) показывают, что в определенных условиях ряд промежуточных соединений благородных газов играет роль замедлителей испарения. Это лабораторный факт.

— Однако внезапное исчезновение…

— Не внезапное. Мы были лишены возможности наблюдать поток в течение нескольких минут. Бесспорно, в начале своего движения он имел низкую температуру. Быстрота движения замедлила его прогрев. Но рано или поздно температура массы жидкости должна была достичь критической точки, при которой жидкость быстро и даже мгновенно (зависит как от состава, так и от внешних факторов) превращается в пар. Вот почему не было толчка.

— Могучий ум! — Полынов обрадованно хлопнул Бааде по плечу. — Недаром говорят, что математика может объяснить все.

— Генрих выдвинул стройную гипотезу, — сказал Шумерин. — И у нас есть объективный свидетель, который может подтвердить ее или опровергнуть.

— Кто?

— Газоанализатор.

Полынов тотчас встал.

— Пойду посмотрю.

— Можно запросить корабельный, — сказал Шумерин.

— Нет, Полынов прав, — остановил его Бааде. — Корабельный расположен слишком высоко.

— Я быстро, — сказал Полынов.

Капитан и механик, припав к иллюминатору, смотрели, как Полынов спрыгнул вниз, как он подошел к газоанализатору, как возился с кассетами и как его рука машинально потянулась к затылку.

— Он нашел что‑то интересное, — сказал Бааде.

— Да, — согласился Шумерин. Полынов вернулся.

— Ну? — хором спросили оба. Утвердительный кивок был ответом.

— Состав? — потребовал Шумерин.

— Сложная смесь из соединений гелия с азотом, неоном и водородом. Мне жалко было портить пленку, вот запись на бумаге.

Бааде перехватил листок.

— Николаев и Графтен будут довольны, — сказал он, пряча его в карман.

— Прости за нескромный вопрос, — сказал Шумерин. — Почему ты полез в потылицу?

— Что? — не понял Полынов.

— Ты вроде бы хотел почесать в затылке.

— Да? Меня удивил состав жидкости. Нейтральные газы не так‑то легко образуют соединения, тем более такие.

— Нет, все‑таки биологи неисправимый народ, — расхохотался Бааде. — Сильная радиация увеличивает реакционную способность вещества.

— Ах, так! Ну, тогда все в порядке. Какие будут распоряжения, капитан?

— Как и намечали, — ответил Шумерин, — отдых, сон, потом разведка.

— Согласен, — сказал Полынов. — Только…

— Что?

— Сначала мне нужно проверить здоровье всех.

— Андрюша, ты никогда не был педантом и рабом инструкций, — удивился Бааде.

— Капитан, я настаиваю.

— Тебе видней, — пожал плечами Шумерин. — Хотя я не вижу необходимости, но…

Ты опасаешься чего‑нибудь?

— Нет, я ничего не боюсь. Но в ушах у меня все еще звенит твой крик: “Берегитесь!”

— Теперь я тоже настаиваю на проверке, — сказал Шумерин. — Экипаж начинает нервничать.

— Кто согласен остаться? — спросил Шумерин.

Он заранее предвидел, что добровольца не будет, и готовил себя к неприятной обязанности сказать одному из друзей: “Останешься ты”.

Но вопреки ожиданию согласился Полынов.

Бааде посмотрел на него с изумлением.

— Люблю самопожертвование.

— Кому‑то надо остаться, — отвернулся Полынов. — Лучше мне. Для биолога на Меркурии нет работы.

— А уж мы постараемся, чтобы ее и для врача не было! — пообещал механик.

Лязгая гусеницами, вездеход съехал по наклонному пандусу. Рядом с ракетой он казался скорлупкой — эта махина с атомным сердцем, похожая на старинный танк.

Шумерин и Бааде сели. Полынов помахал им вслед. Взмах руки метнулся по почве черной молнией тени. И когда вездеход скрылся, психолог внезапно почувствовал себя маленьким и беззащитным, как ребенок в пустой и темной комнате. Он заторопился к люку.

Вездеход мерно покачивало. Он шел прямо к солнцу, и стена белого пламени постепенно приподнималась над горизонтом, пока не повисла слепящим сгустком.

Однообразный пейзаж — серый покров пыли, обожженные бока глыб, мозаика светотени — менялся. Казалось, они ехали прямо в огонь, и он развертывал перед ними слепящий ковер. Иногда это походило на скольжение по зеркалу, яркому, отражающему свет зеркалу. Даже светофильтры не могли его притушить.

Зеленоватое свечение неба померкло вовсе. Теперь по контрасту оно было совершенно черным, и звездная пыль в нем выглядела как отблески.

Солнце все поднималось навстречу. Оно, будто чудовищный огненный краб, карабкалось к зениту. Тени исчезли. Все стадо гладким, отполированным.

Люди молчали. Не хотелось говорить, трудно было говорить. Свет жгучими молниями врывался в сознание даже сквозь закрытые веки.

Они проехали мимо необычайной гряды: длинные прозрачные кристаллы кварца, как пики, были устремлены к солнцу. И камень стремился принять на себя как можно меньше света…

Появление кристаллов ненадолго оживило путешественников.

— Свет и смерть, здесь они разнозначны, — сказал Шумерин.

— Самое горячее место на всех планетах, — добавил Бааде.

И разговор оборвался.

Вероятно, Полынов мог бы лучше понять их состояние, чем они сами. Но психолог отсутствовал. Казалось, вездеход был надежной оболочкой. Он защищал от жары, радиации, неумеренности света, от всех превратностей. Должен был защищать. И все же, несмотря на прохладу кабины, по лицу тек пот. Где‑то в броне машины был неуловимый изъян, невидимая брешь, сквозь которую Меркурий воздействовал на людей не так, как это было рассчитано. Не считаясь с преградами, светофильтрами и прочими хитроумными заслонками, он незаметно отнял у них ощущение времени. Даже в космосе, а уж на Земле тем более, они чувствовали наполненность времени. Десять минут, час — эти слова всегда что‑то говорили уму. Сейчас ничего. Уже и такие понятия, как “меньше”, “больше”, теряли здесь смысл. Меньше чего? Больше чего? Как можно было ответить на эти вопросы в мире, где ничто не менялось и ничего не происходило, где солнце всегда стояло на месте, свет никогда не ослабевал, а любая точка пространства неизменно оставалась неподвижной! Как можно осознать течение времени, находясь, — как бы быстро ни шел вездеход — в центре ровного круга, строго очерченного чернотой неба?

Кроме того, сильные закаленные люди чувствовали себя беспомощными. Что значило

их могущество там, где даже камень боится света? Это понимание шло не от ума и не от воображения. Так, должно быть, чувствовал себя первобытный человек, привыкший держаться деревьев, кустарников, спасительных укрытий и оказавшийся посреди пустыни, где спрятаться негде, какая бы опасность ни грозила.

Однако Бааде не поворачивал руля, а Шумерин не возражал против бездумного бега в огонь. Жадное, почти гипнотическое стремление видеть, видеть — а что будет дальше, соединенное с прострацией безвременья, отуманивало, словно наркоз. Оцепенение странно сочеталось с острым сознанием собственной беззащитности, но это лишь подстегивало. Молчаливое единоборство осторожности с упрямством, чей корень лежит в самой сущности человека: в гордости существа, идущего вперед и вперед через все препятствия, вопреки всем препятствиям, ради цели, скорей инстинктивно заложенной, чем намеченной рассудком.

И вездеход, а в нем застывший у руля Бааде, застывший рядом Шумерин летели вперед, втягиваясь все дальше в сверкающую бесконечность.

— Генрих, Миша, куда вы так далеко?

Встревоженный голос Полынова в динамике точно разбудил их от сна.

Они задвигались, Шумерин глянул на счетчик спидометра и выругался.

— Ничего, Андрей, сейчас поворачиваем, все в порядке! — прокричал он в микрофон.

— Хорошо, — слова почти тонули в треске помех. — А то я слежу за пеленгом и никак не возьму в толк, почему вы лезете в пекло против расчетного маршрута.

Шумерин хотел ответить, что это вышло невольно, но сдержался. Психологу лишь дай повод — вцепится.

— Нет, нет, Андрей, все в порядке. Просто очень интересно. Потом расскажу.

Он выключил связь.

— В другой раз, — строго сказал он Бааде, — не разрешу выезда, если не будут поставлены автоматические тормоза. Прошли положенное число километров — все, стоп. Впредь до распоряжения. А то вот оно как получается… Я было думал, только с аквалангистами случается такое… опьянение.

— Знаешь, — ответил Бааде, круто разворачивая машину, — я человек трезвого склада. Все эти эмоции у меня вот где, — он сжал кулак. — Но сейчас мне вспомнилось…

— Что?

— Как я мальчишкой в деревне ходил на лыжах. Заберемся далеко–далеко, снег слепит, кругом голо, пусто, холодно, и местность уже незнакомая, и дома ждут, беспокоятся, а все тянет еще… Ну еще десять шагов, еще сто… Глупо, боязно, ненужно, а идешь. И жутко и ах как славно. Почему так?

— Спроси у Полынова. Он специалист и с радостью покопается в твоих переживаниях.

— Наших, Миша, наших!

Теперь обрубленная тень вездехода бежала впереди них. Словно привязанная к колесам яма, словно черный провал без дна и стенок.

— Она действует мне на нервы, — наконец пожаловался Бааде. — И еще это противное мерцание…

Когда тень удлинилась, он вынужден был сдаться. Влево, вправо, опять налево, опять направо — так начался бег от тени.

Внезапно — механик даже притормозил — небосвод колыхнулся, как занавес, пошел складками. Звезды дрогнули, сбиваясь в кучи. Сгущения налились белесым светом, и, точно под его тяжестью, складки вдруг лопнули, бросив вниз жидкие ручьи сияния.

Перемена свершилась за несколько секунд.

— Полярное сияние? — спросил Шумерин.

— Похоже. — Бааде бросил взгляд на шкалы приборов. — Так оно и есть.

— На Земле оно, пожалуй, эффектней.

— Точно.

Бааде отвалился на спинку кресла и прикрыл глаза ладонью.

— Что с тобой? — встревожился Шумерин.

— Ерунда. Надо им дать отдохнуть от этой мельтешни… А ты пока любуйся.

— Было бы чем…

Он ждал игры красок, багровых сполохов, праздничного хоровода, но с неба по–прежнему лился молочный свет, холодный и ровный, как свечение газосветной трубки. От него на душе становилось неуютно и холодно, как ненастным утром, глядящим в окно неприбранной комнаты. “И никуда ты не уйдешь от земли, — подумалось Шумерину, — от ее воспоминаний, окрашивающих все и вся”.

Сияние потихоньку меркло.

— Трогай, что ли, — вздохнул Шумерин.

И снова начался бег через жару, под черным небом, единоборство с тенью, сухостью губ, дрожанием света. Однообразие нагоняло сон, тем более что взгляду было утомительно бороться с призрачным движением воздуха, искажающим перспективу подобно неровному стеклу. Напрасно Шумерин стыдил себя: “Я же на Меркурии, все, что я вижу здесь, — впервые…” Физиология брала свое.

…Толчок, удар локтем, крик Бааде — сердце быстро заколотилось, как это бывает при резком переходе от полусна к тревоге.

— Там, там… — шептал Бааде.

— Что там? — зло спросил Шумерин, потирая локоть.

Бааде показал. Посреди слепящей равнины стоял концертный рояль.

Шумерин замотал головой. Потом достал термос, набрал в ладонь воды и плеснул себе в лицо.

Рояль не исчез. Нестерпимо сверкали его лакированные бока, крышка была приподнята, клавиши словно ждали прикосновения пальцев.

— Он… появился сразу? — решился, наконец, спросить Шумерин.

— Нет, из пятна… Я думал, мне померещилось…

— Ну и?..

— Этого не может быть.

— Сам знаю! Но кто из нас сошел с ума; мы или Меркурий?

— Подъедем ближе…

— Только осторожно.

Шумерин ждал, что с приближением рояль исчезнет. Но ничего не происходило. Плыл горизонт, перед глазами мельтешило белесое марево, и в нем незыблемо стоял призрак рояля.

— Надо выйти, — сказал Бааде.

— А ты не боишься?

В ответ а, к услышал хмыканье.

Они вышли. Тотчас Шумерина потянуло назад. Черная пропасть неба над головой, огненный камень внизу, а посредине — то, чего быть не могло: концертный рояль. Шумерин прикусил губу и сделал шаг вперед.

И тут он отчетливо осознал, что зрение обмануло его. Рояль не был роялем, а лишь казался им. Но Шумерин так и не понял, в чем же фальшь. Он протянул руку, заранее предвидя результат. Рука коснулась пустоты. Шумерин отдернул руку — не выдержали нервы.

— Проклятие! — крикнул Бааде.

По “роялю” прошло колебание, он дрогнул, подался назад. И исчез. На его месте по–прежнему пульсировал воздух.

Они долго молчали, не решаясь посмотреть друг на друга, боясь увидеть в глазах товарища страх.

— Надо сказать Полынову, — отважился, наконец, Бааде.

Шумерин замотал головой.

— Нет, нет… Сейчас он твердо решит, что мы…

— А потом? Потом он этого не подумает?

— Не знаю. Не знаю… Давай скорей на базу.

Вездеход помчался, бешено подпрыгивая на неровностях, чуть не взлетая с гребней и тяжело проваливаясь вниз.

Если бы они не так рвались вперед и не были бы так погружены в раздумье — а верней, в сумбур мыслей, — они, верно, заметили бы, что вокруг неладно. Они опомнились, лишь когда ослепительная, даже по контрасту с равниной, полоска стана охватывать машину. Она придвинулась, и уже нельзя было не заметить прозрачных на просвет языков огня.

— Ну… — только и смог сказать Шумерин.

Быстро и верно действовать можно, когда известно, против чего надо действовать. Но то, что происходило, было выше понимания капитана. Сжималось не просто кольцо опасности: сходился круг непонятного, против которого опыт был бессилен. И Шумерин ждал, тупо глядя перед собой. Просто ждал, что же будет дальше?

Бааде было трудней вывести из равновесия. Он выключил двигатель, отдуваясь, вытер пот и с минуту вглядывался прищурясь.

— Кажется, мы влипли. Это лава, и она приближается к нам. Не слишком ли много неожиданностей зараз?

Шумерин встрепенулся.

— Лава? Ты уверен, что это лава?

— Я не слепой. Правда, в глазах у меня рябит, но это лава. Характерные вздутия, языки пламени, вон курится газ…

Шумерину вдруг стало легко и радостно. Настолько, что он чуть не рассмеялся. Действительно, лава, просто лава, всего только лава!

Предусмотрительный Бааде остановил вездеход на возвышенности, поэтому лава бурлила и лопалась пузырями на безопасном расстоянии. На секунду закралось сомнение: откуда она могла взяться? Нет, нет, чушь, пуганая ворона куста боится. Трещинное излияние, которое не раз наблюдалось на Меркурии, Обыкновенное, нормальное излияние расплавленного базальта. Как хорошо, когда все понятно!

Кое–где виднелись такие же островки. Но лава прибывала. Она могла подняться выше. А если и не поднимется, то сколько им придется ждать, пока она затвердеет? Во всяком случае, больше, чем они могли позволить. Ого, надо всерьез подумать, как быть.

— У нас есть шансы изжариться, — заметил Бааде, которому пришли те же мысли.

— Пустое, — теперь уже спокойно возразил Шумерин. — Вызовем Полынова, он прилетит и снимет нас. Места для реалета достаточно.

— Да, если лава не поднимется.

— Ты что, не знаешь Полынова? Он умудрится сесть на крышу вездехода. Вызови его.

Сквозь хрипы и треск сигналы пробивались с трудом. Видимо, это было следствием все той же электромагнитной бури, которая заставила небо полыхнуть сиянием. Упрямо, с ювелирной точностью Шумерин настраивал волну. Бааде тем временем без особого удовольствия отметил, что лава все‑таки поднимается. Ее поверхность кое–где пятнали красные островки остывающей коры, меж ними пробегали голубоватые огоньки.

— Красивое зрелище, — пробормотал он. — Что, связаться не удается?

Но тут отчетливо, будто Полынов очутился в кабине, послышался вопрос:

— Сознавайтесь, черти, почему застряли?

Шумерин коротко объяснил.

— Понятно, понятно. Сейчас запущу телезонд и немедленно вылечу.

Шумерин довольно подмигнул языками огня.

— Вот и все.

Он откровенно наслаждался ясностью ситуации. Такая опасность, как появление лавы, была ему по душе хотя бы уже потому, что загоняла в дальний угол памяти необъяснимую историю с роялем.

Сверкающей каплей ртути по небу прокатился телезонд. Снизился, замер над

вездеходом.

— Послушайте, — донесся голос Полынова, — лава еще не подступила к вам?

— Нет, места для реалета пока хватает, — удивленно ответил Шумерин. — А что, тебе плохо видно?

Ответ последовал не сразу. Полынов явно медлил.

— Вот что, — сказал он наконец. — Не обращайте внимания на пустяки. Гоните машину сквозь лаву. Если только снаружи температура не будет повышаться.

Шумерин вдруг понял…

— Полынов! — закричал он. — Что происходит с нами?

— Все в порядке. Смело езжайте, потому что… Конец фразы утонул в громовом разряде.

— Я что‑то перестаю соображать, — пробормотал Бааде. Его глаза растерянно искали поддержки. — Или мы… Или он…

— Неважно, включай!

Вездеход, покачиваясь, сполз. Шумерин ухватился за поручни, не отрывая взгляда от термолокатора. С приближением к раскаленной жидкости температура не повышалась…

Бааде выругался и прибавил скорости.

Гусеницы машины коснулись лавы, и она расступилась. Вездеход мчался посреди голубых факелов, и перед ним аккуратно раздвигался проход.

— Теперь, — подытожил Шумерин, — самое лучшее для нас — закрыть глаза и не открывать их до ракеты, что бы вокруг ни творилось.

По настоянию Шумерина иллюминатор был зашторен. Посреди уютного мирка, образованного четырьмя стенами, на столе пускал струйки пара кофейник.

Шумерин то вставал, то садился, отхлебывая кофе, обжигался, не глядя, ставил чашку обратно (вокруг уже образовалась лужица) и снова тянулся к кофе.

— Нет, Андрей, ты ответь прямо: мы… здоровы?

Полынов неторопливо размешивал сахар, медлительно набирал в ложечку кофе, осторожно дул на нее, сливал обратно, попробовав. Шумерин невольно следил за движениями психолога. Его руки, которые беспокойно рыскали по столу, хватая то солонку, то ложечку, легли, наконец, спокойно.

— Так‑то лучше, — удовлетворенно кивнул Полынов, отодвигая чашку. — Что ж, я отвечу прямо: вы оба совершенно здоровы.

— Почему ты так уверен? — сказал угрюмо молчавший Бааде.

Он методично пил кофе, чашку за чашкой, не замечая ни количества выпитого, ни кофейной гущи.

— Во–первых, я не случайно настоял на проверке вашего здоровья перед отправлением в экспедицию. Немножко была повышена нервная возбудимость — и только. Сие вполне объясняется необычностью обстановки и неожиданным появлением вала.

— Какого вала? — не сразу понял Бааде.

— Того самого, который потом испарился.

— Ага! Я успел позабыть о нем.

— Напрасно. Во–вторых, моя убежденность основывается на том, что в ваше отсутствие я проверил и свое состояние.

— Как? — опешил Шумерин. — Ты тоже усомнился…

— Ни в чем я не усомнился, но порядок обязателен для всех. Наконец, третье, самое главное; все это был мираж, обыкновенный мираж.

— Я ждал, что ты скажешь именно это, — с неожиданным спокойствием заметил Шумерин. — Но, пожалуйста, не надо успокоительных пилюль. Скажи правду.

— Правду?! — Полынов не смог скрыть изумления. Но он тотчас овладел собой. — Хорошо, давай разберемся. Я не понял тебя.

— А я тебя.

— Все, что я говорил, — правда.

— А вал?

— Что вал?

— Ты считаешь его миражем?

— Да.

— Но показания приборов…

Полынов опустил взгляд.

— Ладно, — глухо сказал он. — Я виноват, вот моя голова, рубите. Никаких показаний не было. Я скрыл это. Иначе мне трудно было бы разобраться в состоянии вашей психики, картину осложнили бы сильные эмоции. А мне надо было знать точно — галлюцинации это или мираж.

Бааде неожиданно махнул рукой — мол, все равно безнадежно, не разберетесь — и поудобней устроился в кресле. Непредвиденным последствием этого жеста было то, что и капитан и психолог рассмеялись. И всем как‑то сразу стало легче.

— Твой поступок сейчас меня мало волнует. Сейчас, — капитан выразительно посмотрел на Полынова. — Пока. Скажи лучше вот что: лава — это тоже мираж?

— Когда я сравнил ваше описание обстановки с тем, что увидел на телеэкране, я не мог не заметить некоторой разницы. Я отчетливо видел, как лава затопила гусеницы вездехода, чего, по вашим словам, в действительности не было. Отсюда — простейшее умозаключение.

— Ах, вот как, простейшее! — Шумерин не мог сдержать раздражения. — Но, насколько я знаю, мираж, пусть даже меркурианский, есть переброшенное через пространство изображение реально существующих предметов, Я ошибаюсь?

— Нет. Добавь только, что это изображение не всегда можно отличить от действительности.

— Тогда откуда, черт побери, на этой дикой планете мог появиться рояль?!

— Какой рояль?

Шумерин объяснил. Полынов приложил неимоверное усилие, чтобы хотя бы внешне остаться спокойным.

— Все? — спросил он, когда Шумерин умолк.

— Все…

— Почему ты сразу не сказал мне об этом?

— Ты сам настоял: потом, потом, сначала отдохнем, выпьем кофе… Я догадываюсь, к чему все эти психологические штучки, но, право, сейчас они излишни.

Шумерин говорил сдержанно, но голос его дрожал. Тогда вместо ответа Полынов закрыл глаза, развел пальцы и вслепую вновь свел их. Они сошлись точно. Шумерина затрясло. Полынов бросил на него быстрый взгляд.

— Тебе хочется стукнуть кулаком по столу; ты того… не сдерживайся.

Кулак грохнул по столу. Подпрыгнули чашки, плеская кофе.

— Ну, теперь можно продолжить разговор, — сказал Полынов. — Ведь полегчало, не так ли?

— Друзья, мы перестали быть такими, какими были раньше, вот что я вам замечу, — вдруг подал голос Бааде.

— Да, ты прав, — Полынов потер лоб, — мы изменились. Любопытная планетка — этот Меркурий… Ничего, разберемся. Нет, рояль миражем, конечно, не был. Это очень похоже на галлюцинацию.

— Так я и знал! — воскликнул Шумерин.

— Почему‑то именно здоровые люди болезненней всего воспринимают это слово, — холодно ответил психолог. — Между тем галлюцинации бывают у самого что ни на есть нормального человека, необычность обстановки, нервозность — готово.

— Это точно?

— Ручаюсь.

— Даже рояль?

— Хоть Эйфелева башня.

— Сразу у двоих?

— Это уже более редкий случай. Но пейзаж Меркурия не просто диковинный, это исключительный пейзаж. Так что ничего страшного и в этом факте я не нахожу. Мой окончательный вывод таков: рояль — бесспорно галлюцинация. Остальное — или галлюцинация, или мираж. Скорей последнее.

— Так что же нам теперь делать? Ведь мы и шагу теперь не сможем ступить, не рискуя получить оплеуху от какого‑нибудь призрака собственного воображения?

— Ну, против галлюцинаций есть очень простое средство.

— Какое же?

— Надавить пальцем на глаз. Реальные предметы раздвоятся. Галлюцинация — нет.

— Надавить пальцем на глаз… Совсем просто. Через шлем давить или как?

— Да–а… Этого я не учел. Это осложняет. Такой пустяк и…

— Я же говорил.

— Беспокоиться все равно нечего. У нас есть аретрин. Еще не было случая, чтобы он не снимал галлюцинации. Моя ошибка, что не дал его вам перед поездкой.

— И это не первая твоя ошибка.

Полынов ничего не мог возразить. Про себя он подумал, что даже не может толком объяснить, почему он поступил так, а не иначе. Это угнетало больше всего.

— Бааде, а ты что думаешь? — спросил Шумерин.

— Я? Я не думаю, я молчу. Всякие там галлюцинации, психические кризисы относятся к той потусторонней области, в которой порядочному инженеру делать нечего. Наука лишь то, что подвластно числу и мере. А в субъективном хозяйстве нашего друга нет даже единиц измерения — каких‑нибудь там чувств ампер или волиметров…

Полынов засмеялся.

— Ладно, Генрих, я это тебе еще припомню! Тем более что все это — устарелые представления. Но ты вот что мне скажи: мираж тоже потустороннее явление?

— Нет, почему же, мираж — чистая физика. В сущности, это объемная передача изображения на сотни, иногда тысячи километров, когда в атмосфере образуется своеобразная оптическая система, характеризующаяся…

— Но в разреженной меркурианской атмосфере…

— Поведение такой оптической системы в сильно разреженном воздухе, к сожалению, малоисследованная область. Однако известно, что дальние миражи трансформируются именно через разреженные слои атмосферы. Кроме того, доказана принципиальная возможность миражей иного типа…

Полынов остановил его.

— Короче, меня интересует: над миражами — близкими, далекими, оптическими или там еще какими‑нибудь — властвуют число и мера?

— Конечно, я предвижу некоторые трудности, но…

— Можно отличить мираж от не миража?

— В принципе, да.

— Это я и хотел услышать. Вот план проверки. Мы вновь отправляемся на разведку. Я и Бааде. Аретрином я заранее снимаю всякую возможность галлюцинаций. Если нам и тогда встретится что‑то необычное, Бааде возьмет свои числа и меры… И все станет ясным.

— Ясность — какое замечательное слово! — Шумерин налил себе кофе. — План действительно прост: или — или, а третьего не дано. Только…

— Что — только? — ревниво переспросил Полынов.

— Нет, ничего. Твое мнение, Генрих?

Бааде важно кивнул.

— Как ни странно для врача, Полынов мыслит как физик.

У инженера это было высшей похвалой. Психолог поклонился.

— Тогда решено, — сказал Шумерин.

— Но прежде, — Полынов повысил голос, — еще раз проверим свое состояние.

Оставшись наедине, Полынов оценивающе оглядел стол — стопка книг, гамма–микроскоп, игрушечный Буратино, — схватил блокнот и с силой запустил его в угол. Трепеща страницами, блокнот описал широкую дугу и шлепнулся о стену.

Испытанное средство (гневу надо давать безобидную разрядку) помогло. Полынов сел, поправил рефлектор, чтобы конус света падал на свободную часть стола, сосредоточил на ней взгляд и прежде всего постарался вспомнить, где, когда, при каких обстоятельствах он делал несколько ошибок подряд. Память услужливо подсказала: после быстрого перехода из привычной спокойной обстановки в незнакомую, бурную. Самоочевидность вывода что‑то объясняла, но не успокаивала, нет. Он знал об этой особенности человеческой психики, знал давно. И уже много лет назад разработал для себя безотказный, как он до сих пор считал, рефлекс страховки — целую серию умственных упражнений, которые обязаны были подготовить его к любым потрясениям. Но испытанная система не помогла — почему? Две ошибки подряд, совершенно непростительные для психолога! Только ли потому, что переход был слишком резким и обстановка чересчур новой?

Докопаться до истины никак не удавалось — вот это злило и раздражало. Оставалось загнать эти размышления в подсознание и заняться совсем другим делом. Тогда, быть может, ответ рано или поздно постучится сам. В старину такой случай назывался озарением.

Но отвлечься чем‑то совсем посторонним времени не было. Что ж, полумера так полумера.

Полынов прошел в аппаратурную и, не зажигая света, щелкнул кнопкой. В темноте призрачно засиял желтый шар психомодели. Полынов склонился над ним. Для непосвященного объем шара представал головоломкой сотканных из света римановых плоскостей, цветных узоров, усеянных голубоватыми звездочками; все лежало внутри пульсирующих сфер. Видимого порядка в этом сплетении не было, но для Полынова модель душевного состояния его друзей и его самого была открытой книгой. Не глядя, на ощупь, он набрал на диске нужное сочетание сигналов, и в желтоватой прозрачности шара шевельнулись три тонкие, как нерв, кривые. Он подвел их ближе к сетчатой, изогнутой парусом поверхности.

— Галлюцинаторные кривые в норме, — пробормотал он, регулируя яркость. — У Бааде она вообще вне всякой критики. Попробуем внести аретрин.

Как и ожидалось, после посылки нового сигнала кривые опали и почти погасли.

— Попробуем так…

И он обрушил на модель ливень потрясений. Опасности, неожиданности, в которых было все — блеск молнии, порыв урагана, прыжок тигра из зарослей, зловещий бег цунами, — сотрясали шар. В нем закружилась метель голубых звезд, подстегиваемая прыжками кривых; столкновение двух звездочек рождало фонтанирующую вспышку; там же, где друг с другом соприкасались кривые, по ним, как по нити электрической лампочки, пробегал ослепительный разряд. Отчаяние, смелость, растерянность — весь спектр чувств в доли секунды пробегал перед глазами психолога, вызывая в модели лавинные сдвиги состояния, сотрясая самые основы духовного мира тех, чьи мысли, чувства, воля, желания были запрограммированы в этом хаосе огоньков. Покорная приказу Полынова, там разыгрывалась страшная игра: все беды, какими только богата природа Земли, обрушивались на голову людей, от душевной стойкости которых зависело сейчас покорение Меркурия.

Полынов не раз думал, каким жестоким оружием могла бы стать эта, пусть не вполне совершенная и точная модель в руках интригана, завистника, демагога или фанатика. Она наделила бы его безмерной властью, знанием того, как поведет себя жертва в той или иной ситуации. Он сам пользовался психомоделью лишь тогда, когда не оставалось другого выхода. Не из‑за ложной скромности, чуждой врачу, а из‑за простой человеческой неловкости, которую он испытывал всякий раз, следя за поведением шара. Той неловкости и деликатности, которая категоричней любых запретов не позволяет честному человеку подглядывать в замочную скважину. И еще всякий раз Полынова охватывала робость: его пугала возможность вот так издали, свысока наблюдать тайное тайн чужой

жизни, расчлененное и препарированное по всем правилам математики. Было в этом что‑то нескромное и кощунственное.

Полынов остановил сумятицу сигналов. Все замерло в шаре, лишь некоторые звездочки еще трепетали, как биение взволнованного сердца. Полынов приблизил лицо. Свет, льющийся из шара, грубо подчеркнул хмурые морщины лба, плотно сжатые губы. В расширенных зрачках дрожали огоньки.

— Уф! — Морщины на лбу разгладились. Полынов с облегчением вздохнул. Нет, если верить шару, самые свирепые бури по–прежнему не властны над ним и его друзьями. Но почему же тогда…

Теперь он попытался смоделировать ситуацию, в которой они оказались все трое, когда появился вал, и ситуацию, в которой очутились Шумерин и Бааде. Состояние психики вначале он задал самое что ни на есть благоприятное. Затем он повторил опыт, немного расстроив систему.

Результаты удивили его своей противоречивостью. В общих чертах все совпадало — то, что было в действительности, и то, что моделировал шар. Но только в общих чертах. И в первом и во втором случаях модель отказалась повторить некоторые поступки, которые на самом деле люди совершали. Так, она упрямо не хотела воспроизводить его, Полынова, ошибки. Она не давала слепящему безмолвию равнины загипнотизировать людей так, как это было с Шумериным и Бааде. Вообще смещениями модели гораздо больше управляла логика, в них сильней, чем это было в действительности, проступал момент критического анализа совершаемых поступков.

Этому могло быть два объяснения. Первое — несовершенство модели. Второе — ей заданы были не все внешние раздражители. Последнее, впрочем, требовало уточнения: абсолютно все воздействия нельзя было задать никакими способами. Но благодаря компенсатору отсутствие некоторых второстепенных факторов не могло существенно отразиться на поведении модели. Лишь бы учитывались главные.

— Неужели я забыл что‑то… — пробормотал Полынов.

Он вновь повторил опыт, на этот раз очень тщательно проверяя вводимые данные. Тот же результат!

Тупик. Если что‑то существенное было опущено, то оно могло скрываться лишь в особенностях меркурианской обстановки. Значит, найти его мог только человек.

Полынов выключил установку.

“Может быть, — подумал он, — все дело в неучтенном воздействии на мозг электромагнитных полей Меркурия?”

Он уже было потянулся задать этот вопрос машине, но вовремя остановился. Бесполезно. Все, что можно было просчитать, уже просчитано. На Земле. Вся экранировка скафандров, вездеходов основана на этих расчетах. Нет, нет, дорогой друг, ты уже начинаешь метаться. Нельзя так. Прежде всего постепенность. Мираж или галлюцинации — вот что нужно установить. А вдруг не то и не другое? Тогда как? Тогда трудно, очень трудно.

Но хватит размышлений. Спать, спать — и побыстрее.

Через десять минут Полынов уже спал.

Ему приснился странный сон, который, однако, при всей своей внешней нелепости как‑то перекликался с явью.

Он очутился посреди равнины, поросшей белой травой. Один.

Над горизонтом висело солнце, такое же огромное, как на Меркурии, но негреющее. Воздух тоже светился белесым фосфорическим светом; и Полынов как будто знал, что трава потому и бела, что ее обесцветил воздух. Все же он ни на секунду не сомневался, что он на Земле, а не на Меркурии. Он знал также, что его ждет встреча с кем‑то или с чем‑то, и встреча неприятная. Он не знал, где она произойдет и когда, и хотел уйти, чтобы ее избежать. Ему почему‑то казалось, что для этого надо избегать теней, непроницаемых черных теней, которые ширились, хотя предметов, которые могли бы их

отбрасывать, не было. Впрочем, и это его не удивляло, так оно и должно было быть — крадущиеся тени на голой земле.

Он ускорил шаг (бежать не позволяла гордость), но как ни быстро он шел, ноги несли его не прочь от теней, а наоборот, к теням, которые вырастали на глазах и вставали по бокам гладкими стенами. И это напоминало бег по лабиринту, по суживающемуся лабиринту, по лабиринту, готовому замкнуться, если бы не солнце, которое не давало теням сойтись и с отчетливой резкостью высвечивало каждую травинку. Он шел вперед, шел с мрачной решимостью, и светящийся воздух вокруг понемногу собирался в складки над головой, прозрачные вуалевые складки, которые опадали все ниже и ниже, словно кто‑то набрасывал сети. За пологом складок исчезло солнце, и только тени стояли по бокам; их изгиб указывал, что сейчас будет поворот.

Он покорно свернул, и воздух над ним стал материей, парусиновым тентом шатровой палатки. Тени исчезли. Сквозь парусину пробивались лучи солнца, образуя на покатости радужный круг. Посреди палатки — она находилась в ущелье, он этого не видел, но ощущал — стоял складной походный столик, заваленный рулонами кальки и ватмана. За столом сидел человек в выгоревшей старомодной ковбойке, с темным, круглым, морщинистым лицом, держал в руке пиалу, дымящуюся чаем, и пощипывал редкую бородку.

— Вот вы и пришли, Полынов, — сказал человек. И Полынов узнал в нем своего старого учителя биологии, но радости не испытал, скорее наоборот, потому что в немигающих глазах старика не было зрачков. Полынов послушно повиновался движению, которым тот Показал ему на складной стул, сел напротив учителя и стал ждать.

— Вы долго избегали экзамена, — сказал старик.

— Я был очень занят…

— Знаю. Люди все больше и больше становятся занятыми, и у них совсем не остается времени думать. Тем более нужен экзамен. Ну, ничего, Меркурий привел вас. Итак, первый вопрос: что есть небо?

— Небо? Это, это — масса воздуха, которая окружает…

— Думайте, Полынов, думайте. Самые сложные вещи — самые простые вещи. Меркурий тоже окружает воздух, но есть ли там небо?

Полынов вдруг почувствовал себя студентом, который забыл шпаргалку.

— Другой бы билетик, — попросил он.

Учитель нахмурился и с состраданием взглянул на Полынова. Рулон миллиметровки зашуршал, из него выползла змея, черная как уголь, изогнулась вопросительным знаком. Ее агатовые, вбирающие свет глаза, смотрели мимо Полынова. Учитель погладил змею. И только тут Полынов заметил на змеиной коже рисунок — непонятные математические символы образовывали формулы, странно знакомые, однако он не мог вспомнить, что они обозначают.

— Вот другой билет.

Старик протянул листок бумаги. Полынов взял его. Листок был пуст.

— Здесь ничего не написано…

В ответ он услышал клекочущий старческий смех.

— Ха, ха, ха… Это будущее, Полынов, будущее! Его надо уметь прочесть, надо уметь… Ладно, я вам помогу.

Он ткнул пальцем а листок. “Чем отличается земля от не земли” — с ужасом увидел Полынов.

— Земля от не земли… отличается тем, что… Но это же вопрос не по специальности! Из высшей математики бы что‑нибудь.

— Специалистов нет, — строго поправил экзаменатор. — Есть люди и есть машины, понятно? — Змея согласно покачала головой. — К какому классу разума вы принадлежите?

— Не знаю…

— Плохо, очень плохо. А все гипноз математики. Хорошо, пусть будет вопрос по специальности: где возник человек?

— Согласно последним теориям, — радостно воскликнул Полынов, — центров возникновения человека несколько! В Африке…

Змея тихо зашипела. Строй математических символов на ее коже изменился.

— Ах, Полынов, Полынов, лучший мой ученик! — горестно всплеснул руками экзаменатор, покачивая головой, как маятник. — Вы совсем не думаете, совсем. И вы забыли дома шпаргалку! (“Откуда он знает?” — спросил себя Полынов.) Человек возник на Земле, понимаете? На Земле! Теперь еще вопрос: зачем утро? Что такое ностальгия? О чем свидетельствует мираж? Почему обезьяны не видят инфракрасных лучей?

Он сыпал и сыпал вопросами, рот его ширился зияющим провалом, вот уже провал занял пол–лица…

— Знаю, знаю! — закричал Полынов, только затем, чтобы остановить ужасное превращение.

С этим криком он и проснулся.

Теперь Бааде ни на минуту не упускал из виду шкалы приборов, следящих за внешними условиями. Это не мешало ему умело лавировать между тенями, которые множились и ширились по мере приближения к сумеречной зоне планеты. Полынов думал, что поступать так инженера заставляет предательская неразличимость предметов в тенях. Но вскоре он убедился, что не только это.

Местность все более походила на горное плато. Почву испещряли борозды, словно кто‑то поработал исполинскими граблями. Камни, уже не гладкие, не лакированные “пустынным загаром”, а растрескавшиеся, угловатые, потряхивали вездеход, и путешественники покорно подпрыгивали в своей металлической скорлупке. Даже скафандр переставал быть удобной одеждой, ибо при сильных толчках в нем обнаруживались какие‑то острые углы, о существовании которых они раньше не подозревали. Молочные жилы кварца, похожие на брызги белил, еще более увеличивали сходство окружающего с каким‑то вполне земным нагорьем. Если бы не близкий, круто падающий горизонт, если бы не фосфоресцирующая, деформирующая скалы мгла вокруг, если бы не мохнатое солнце за спиной, иллюзия была бы полной.

— Миша был бы разочарован, — заметил Бааде, — почти земля. А, черт (вездеход сильно тряхнуло)! — не заметил ямки… Сплошное предательство теней…

— По–моему, не только теней…

— Да, тут очень трудно соразмерить расстояние.

Вездеход приблизился к границе темного пространства, в которое причудливо вдавались языки света. Последние лучи солнца били из‑за горизонта, как прожекторы. Они упирались в ночь, самую странную ночь, которую когда‑либо видели Полынов и Бааде: она высилась стеной черного стекла, за которой, однако, не было тьмы. Там что‑то тлело, что‑то пульсировало клубами зеленоватого дыма.

— Сейчас я покажу тебе фокус, — подмигнул Бааде, притормаживая машину.

Он откинул дверцу ящичка, покопался, вынул провод с лампочкой, приладил концы провода к клеммам. Полынов заметил, что в миниатюрной лампочке пряталась толстая, рассчитанная на большое напряжение спираль.

— Гляди, — предупредил Бааде.

Мотор взревел, машина дернулась, и в тот миг, когда она проскакивала рубеж света и тени, лампочка ярко вспыхнула в наступившей вдруг темноте. И тотчас погасла.

— Это что еще такое? — Полынов старался не выдать удивления.

— О, инженерное предвидение, не более! — смехом добродушного медведя пророкотал Бааде. — Свет есть, темнота есть — где? На границе огромного перепада температур. Термопара, не так ли? И вблизи электромагнитный генератор — Солнце, верно? Четыре действия арифметики в уме, и я подбираю лампочку, подключаю ее к корпусу и машиной замыкаю контакт, чтобы позабавить тебя видом короткого замыкания. Меркурианского замыкания!

Полынов с уважением оглядел стенки тесной кабины. Вроде бы мягкая обшивка,

только и всего, но сколько же в нее вложено труда и ухищрений, чтобы она выдерживала и жару, и холод, и радиацию, и электризацию, оставаясь при этом юной, незаметной.

— Так‑то, — с удовлетворением отметил Бааде, перехватывая взгляд. — Мы‑то все предусмотрели заранее. Непробиваемая броня! — Он стукнул кулаком по обшивке.

— Дважды два — четыре и никаких гвоздей…

— Что?

— Так, к слову. Следи лучше за дорогой, а то еще врежешься во что‑нибудь… нерасчетное.

Вездеход плыл в темноте, фарами высверливая в ней тоннель. И все же темноты как таковой не было. Скорей она походила на мрак, пронизанный излучением мощных ультрафиолетовых ламп, свет которых не столько виден глазу, сколько чувствуется им. Прозрачная и вместе с тем мутная чернота, в которой взгляд напряженно ищет зримый образ, ибо чует его присутствие, но находит лишь утомление, и разочаровывается в своей способности правильно осведомлять мозг о происходящем.

Нечто подобное Полынов и ожидал встретить. Но чем больше он вглядывался в темноту, чем пристальней всматривался в дорожку света, бегущую перед машиной, тем больше недоумевал. Все было похоже и, однако, совсем не так, как если бы они ехали по земле. И скалы не совсем те, и темнота не совсем та, и свет не совсем тот. Но разница, в чем разница? Полынов отчаянно пытался выразить словами это различие, но безуспешно. В окружающем определенно были черты правдоподобного неправдоподобия, видимого сходства и ощущаемого отличия. Как во сне. “Да, да, именно во сне! — обрадовался психолог. — Когда краски, форма, цвет будто сыплются меж пальцев и невозможно удержаться на грани реального. Благодатная почва для возникновения галлюцинаций, что и говорить. Ну, ничего, в любом случае у нас есть приборы, они‑то уж не подведут”.

Он глянул через плечо Бааде на экран телелокатора. Облизал внезапно пересохшие губы. Мир на экране тоже выглядел чуть–чуть зыбким и нереальным!

— Не очень‑то хорошее изображение, — заметил он.

— Есть грех, — кивнул Бааде. — Локатор настраивали на Луне, учитывая данные о Меркурии, сообщенные АМС, но немножко тумана осталось. Тут ведь проблема не только в том, чтобы устранить помехи, а и в том, чтобы изображение оставалось привычным для глаза.

— Тут есть какое‑нибудь противоречие?

— Еще какое! Наш глаз, к сожалению, несовершенный инструмент. Помню, я участвовал в разработке новой системы цветного телевидения. Нам пришлось — чтобы цвет выглядел совершенно натуральным — применить “мигающую передачу”. В то время мы уже отказались от электронного луча, да… Цвет получился бесподобным, но многие стали жаловаться: нерезко. Хотя никакой нерезкости и в помине не было! Что же ты думаешь? Пришлось переделывать, идти на компромисс. Цвет стал хуже, зато на нерезкость уже никто не жаловался.

— Значит, найти точное соответствие действительности…

— Что значит “точное”? Для кого точное? Пожалуйста, мы могли создать телевизор, передающий все так же, как видит пчела. И пчелы не смогли бы отличить цветок на экране от цветка на лугу. Но человек вряд ли был бы доволен такой передачей… Если хочешь знать, это очень серьезная проблема: как пропустить все ширящийся океан информации через каналы человеческого восприятия.

— Как‑то не замечал здесь больших трудностей…

— Хм! Представь себе, что все “органы чувств” корабля подключены к органам чувств человека. Все эти радиотелескопы, просто телескопы, нейтриноаппараты, счетчики электронов, счетчики мезонов, датчики магнитных полей, датчики гравитационных полей и так далее и тому подобное, все эти сотни, тысячи приборов. Что бы тут было с человеком, а?

— Он бы и секунды не выдержал.

— Не сомневаюсь. Вот почему от приборов мы получаем не все сведения об окружающем мире, а только главные.

— А кто определяет, какие сведения в тех или иных условиях главные, а какие нет? Люди?

— Конечно.

— Так.

Впереди, в сверлящем свете фар появилось белое пятно. Затем оно превратилось в дорожку, усыпанную снегом, дорожку, которую ограждал мрак и которую поворот руля вслед за лучами фар бросал то влево, то вправо.

— Замерзшие газы, — сказал Бааде.

В воздухе заклубились снежинки, взбитые гусеницами. Дорога шла под уклон.

— Кстати, Генрих… Перед тем, как увидеть там, в пустыне, концертный рояль, ты не думал о нем?

— Конечно, нет! Может быть, Шумерин?

— Нет, я его спрашивал.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Пока ничего.

Размышляя, следя за окружающим, Полынов непрестанно искал аналогии тем чувствам, которые возбуждал пейзаж Меркурия. Они пришли не сразу, и поначалу он их отверг, но вскоре опять вернулся к ним. Он вспомнил, какое первое чувство вызвал в нем вид зала термоядерной электростанции. Чувство растерянности: он никак не мог объединить увиденное в целостную картину. Он видел ее всю целиком и в то же время не видел. Впечатление дробилось, потому что внимание останавливалось и закреплялось лишь на привычном. Как бы он описал тогда зал термоэлектростанции? “Беспрерывное мигание огоньков, фантастическое переплетение каких‑то спиралей, шахматная разлиновка пола…” И так далее, все, в том же духе. Это потому, что он не знал назначения всего того, что его окружает. И еще: инженер уверенно, скорым шагом вел его загадочными переплетениями, по узким проходам, каким‑то мостикам, а он едва поспевал, все время стараясь держаться середины прохода, спотыкался и при всей своей осторожности налетал на какие‑то углы. “Все точно, — подумал Полынов. — Так же вели себя и другие новички”.

И еще воспоминание: выходя из здания, он шагает вроде бы в пустоту и внезапно получает сильный удар от стеклянной двери, которую он не заметил.

“Снежная дорога” оборвалась. Ее обрезала каменная гряда. За ней что‑то блестело, будто зеркало.

— Осторожней, — предупредил Полынов. Но Бааде и без того сбавил ход.

Поворот, еще поворот, — им открылась смоляно–черная гладь озера. Противоположный берег нависал козырьками скал, ближний полого подходил к неподвижной жидкости, слабо курившейся туманом.

— Это как понимать? — спросил Полынов.

— Так, как показывает термолокатор. А он показывает, что температура почвы повысилась. Видимо, местный разогрев, растопивший газы. Но я хочу предупредить, — Бааде повысил голос, — я хочу предупредить, что сейчас, возможно, начнутся кое–какие пиротехнические эффекты.

— Какие же?

— Не знаю. Но видишь, стрелка индикатора метнулась. Очевидно, на Солнце произошла мощная вспышка, и теперь нас ждет электромагнитная буря.

— Она чем‑нибудь грозит нам?

— Чем она может нам грозить, интересно? Эта возможность, мой друг, просчитана. Боюсь только, что зрелище не будет слишком эффектным. Там, в пустыне, оно выглядело жидковато. Замечаешь? Вокруг что‑то затевается. Я думаю, имеет смысл здесь сделать остановку, благо озеро все равно требует исследования.

Брадэ был прав: что‑то менялось. Серия неуловимых переходов, которые воспринимаются скорей чувством, чем разумом, подобно тем предвестникам, которые на Земле предупреждают о первом порыве грозы тогда, когда воздух еще тих и спокоен. Темнота словно линяла; в ней обнаружился подслой, который просвечивал сквозь нее, как подкладка сквозь посекшуюся ткань. Иногда из глубин темноты выплывали какие‑то клубы черней самой черноты, но они быстро таяли, уступая место полусвету.

Так длилось приготовление. Но сам покров ночи был отброшен сразу! Полынов и Брадэ дружно ахнули: с неба летели холодные и беззвучные молнии. Озеро мигало ответными вспышками. Все осветилось, тени уничтожились. Вершины скал полыхали голубоватым призрачным сиянием, которое трепетало, будто раздуваемое ветром.

Над озером прыжком вдруг выгнулась зеленоватая дуга. Она повисела, смыкаясь с собственным отражением в озере; по ней прошел ток пульсации. И с каждой пульсацией она словно накалялась — все сильней, сильней, пока не рассыпалась искрами, затопив все окрест мятущимися бликами. Из призрачных глыб льда, нависших над озером, брызнула радуга.

— Ого–го! — закричал Брадэ, подпрыгивая на сиденье. Инженер был неузнаваем. — Стоило лететь, черт побери!

Психолог согласно кивнул.

Брадэ быстро и смиренно глянул на Полынова.

— Андрюша, — сказал он умоляюще, — опасности никакой. Я выйду, пожалуй, а?

— Ты думаешь, мне не хочется?

Они вышли. И попали в круг хоровода разноцветных холодных огней. Они кружились над ними, как светляки.

— Ей–ей, это так красиво, что я сейчас тоже пущусь в пляс, — пообещал Брадэ.

И не было конца блеску бесшумных молний, парению радуг, миганию отсветов в озере — всему этому пышному и бестолковому празднику Меркурия. Впервые планета не выглядела чужой и враждебной, и потому людям не хотелось замечать времени и не хотелось думать, что великолепие когда‑нибудь кончится.

Но фейерверк постепенно гас. Со дна атмосферы поднималась муть. Плотный чад гаснущих огней обволакивал все.

— Представление окончено, — сказал Брадэ, и эти трафаретные слова уже не могли показаться кощунством. — Пора и за дело.

— Ты не очень‑то копайся, — откликнулся Полынов.

— Тебе что‑нибудь не нравится?

— Да. Мгла падает сверху.

— Хм… не все ли равно, откуда она падает.

— Возможно. Но мне почему‑то не нравится.

— Чувства, эмоции, подсознательные комплексы… — пробурчал Брадэ. — Наступит темнота, вот что будет. Так что стой возле машины, чтобы быстренько включить свет. А я пойду.

Полынов был не совсем прав, утверждая, что мгла падает сверху. Она надвигалась отовсюду и ниоткуда конкретно; любая молекула воздуха, казалось, была ее центром. Темнота боролась со светом так, как иной раз зло борется с добром, — принимая его обличив, его оболочку. Но внимание Полынова по ассоциации с давними видениями сна было обращено лишь на зримое движение волн тьмы — глухой накат ночи, суживающий вокруг пространство.

От наблюдений его отвлек голос Брадэ.

— Слушай, здесь мелко, и я, пожалуй, немного залезу, так сказать, искупаться.

Его шлем маячил в расщелине.

— Генрих, да ты что?!

— Так ведь безопасно! Мелко, я промерил. Чистая вода, так и ждешь, что выплывет золотая рыбка… Нет, ты пойми; искупаться в меркурианском озере!!! Каково? Ну, подойди для страховки с тросом, что ли…

Полынов подбежал к краю нависшей над озером плиты. Бааде сидел на корточках, водя рукавицей по “воде” и глядя на медленно и неохотно разбегающиеся круги. Рядом валялся пробоотборник, жалобно мигая контрольной лампочкой. Сквозь густую маслянистую жидкость просвечивали мелкие камешки на дне. Полынов понял, что противиться желанию Бааде было бы слишком жестоко. “Мальчишка, из щегольства заковавший себя в доспехи формул, — с нежностью подумал психолог. — Взрослый мальчишка…” Впрочем, он, видимо, прав: реальной опасности нет. А искупаться — заманчиво…

— Подожди, — сказал он, включая на всякий случай прожекторы вездехода. Он достал трос и кинул конец Бааде. — Обвяжись.

Бааде шагнул в озеро навстречу своему отражению, искаженному всплеском.

— Ух! Да тут еще мельче, чем я думал… Ну да: это же не вода, другой показатель преломления…

Внушительная глыба металла — так Бааде выглядел в скафандре — медленно входила в озеро. Присела, шлепнула ладонями, окунулась. Человек купался в смеси благородных газов, купался там, где никогда не было и не будет солнца. Инженер громко фыркал от удовольствия. Поднятые им волночки с тихим шелестом набегали на берег. Кругом медленно темнело.

То, что они проделывали, не лезло ни в какие инструкции, то было чудовищным нарушением всех правил и предписаний. Но Полынов по собственному опыту, по опыту многих экспедиций знал: ничто так не запоминается праздником, ничто так не сближает человека с природой, ничто так не поднимает настроение, как вот такие незапланированные, пожалуй, даже запретные развлечения. Их прелесть и польза именно в том, что этого не ждешь, оно приходит как подарок, возникает как оазис в разграфленной пустыне обязанностей и дел. Бааде знал это не хуже. Он ворочался в озере, плескался, будто исполнял какой‑то танец.

— Пожалуй, хватит, — поколебавшись, сказал, наконец, Полынов.

Инженер послушно вылез, отряхнулся.

— Ну, славно.

Полынова тоже подмывало окунуться. Но он сдержался: дважды испытывать судьбу не стоит. И все же он почувствовал, как после купания друга в его душе словно спали какие‑то тормоза.

Меж тем противоположный берег помутнел и словно приблизился, повис над озером. Ночь, однако, все еще медлила. Посоветовавшись, космонавты решили, что они могут успеть осмотреть окрестности озера. Тем более, что этого все равно требовала программа: нельзя свыкнуться с местностью, наблюдая ее сквозь стекло машины. Для этого нужно ходить пешком, обязательно пешком.

Полынов брел, просто брел, разглядывая берег, носком переворачивая камни. Камни как камни, такие же, как везде: базальт, габбро с полупрозрачными включениями оливина. Если бы не светящийся и темный — одновременно! — туман, смущающий своей непохожестью на земные туманы, можно было бы, пожалуй, вообразить, что наконец‑то достигнуто соответствие между тем, что видится, и тем, что есть на самом деле. Но соответствия все же не было. Между глазами и предметами постоянно что‑то находилось. Что‑то неуловимое и бестелесное, а потому особенно раздражающее. Кое‑что было в нем от мутности стекла. И от прозрачности лесного озера тоже. А иногда невидимое препятствие искажало очертания так, как искажает волнистое стекло. Но никак не удавалось скорректировать поправку на все эти искажения. И чем пристальней Полынов вглядывался, тем менее ему удавалась такая коррекция. С досады он попытался поддеть очередной камень, нога прошла мимо. Второй удар пришелся так неточно, что он болью отозвался в пальцах. Теперь сомнений не было: он и окружающее чем‑то противоречат друг другу. И это противоречие кроется одинаково и в нем самом и в Меркурии.

“Пожалуй, все гораздо сложней, чем просто мираж, просто галлюцинация, — подумал

он. — Но будь я проклят, я не могу подобрать название тому, что все время, кроме редких исключений, стоит между мною и этой странной планетой. Не на что опереться; я не могу подобрать этому земного подобия; все, все ассоциации оказываются неточными или обманчивыми. Что же делать и надо ли что‑нибудь делать вообще?”

До него донеслось бормотание Бааде.

— Так, так, плита, отполированная до зеркальности… Похоже на вулканическое стекло… Нет, что‑то другое.

Психолог вскинул голову. Медвежья фигура Бааде выглядела неясным силуэтом, как на недопроявленном снимке. И она колыхалась, словно от ряби, готовая вот–вот растаять в волнах загадочной светотьмы. Затем Бааде сделал шаг. И тотчас психологу захотелось протереть глаза, потому что вслед за этим шагом Бааде исчез. Совсем, как будто его и не было.

Глухой вскрик, звук удара, передавшийся по почве, сорвал Полынова с места. Он взбежал на плиту, где только что стоял инженер и откуда он шагнул; лишь инстинкт заставил его не повторить этого шага. У ног лежала полупрозрачная плита, слабо поблескивающая, как запотевшее зеркало. Сквозь небо проступало что‑то темное. Бааде нигде не было.

— Генрих, Генрих! — закричал Полынов.

— Здесь я… — донеслось из‑под плиты. — Жив, скафандр цел, нога только…

— Тебя засыпало?

— Как бы не так! Бросай веревку, бросай сквозь плиту, плиты нет.

До Полынова не в миг дошел смысл сказанного. Как это нет плиты, когда она есть? И внезапно он понял: то самое противоречие! Обман, обретшая плоть призрачность, которая постоянно стояла между ними и Меркурием, — вот что такое эта плита.

Он швырнул вниз веревку, она прошла сквозь несуществующее препятствие, которое тотчас скрыло от глаз ее конец, упавший в расщелину.

— Давай… — послышался голос из‑под земли.

Полынов потащил быстро, ловко, в душе ужасаясь той беспечности, с которой они только что разгуливали.

Сначала проступали очертания тела Бааде — он как бы выплывал из глубин “плиты”. Наконец он весь очутился на поверхности.

— Нет, нет, ничего, — вновь поторопился он успокоить психолога. — Всего метров десять, я даже успел перевернуться, как кошка, лапами вниз… Нога вот только зацепилась за выступ.

— Двинуть ею можешь?

— Могу, но очень больно.

— Так. А так? — Пальцы Полынова быстро забегали, с силой продавливая толстую оболочку скафандра. — Счастливо отделались: простое растяжение.

Он подставил спину, подхватил Бааде. Тот запрыгал на одной ноге, силясь помочь.

— Небитый битого везет… — попытался он шутить.

Полынов шел предельно осторожно, выверяя каждый шаг, пробуя ногой все мало–мальски подозрительные места, как пробуют хрупкий лед. Может быть, воображение преувеличивало, но сейчас Полынов ежеминутно ждал какой‑нибудь новой каверзы. Обошлось, однако.

В кабине он подождал, пока компрессор отсосет меркурианский воздух. Вдвоем кое‑как стянули скафандры. Полынов оголил ногу Бааде.

— Сейчас будет немного больно. Ты потерпи уж… Он с силой рванул лодыжку. Бааде скрипнул зубами.

— Уф–ф… — отдуваясь и потирая опухшую ногу, проговорил он. — Не ожидал попасть в руки костоправа. Сейчас, думаю, мой врач вытащит какой‑нибудь хитрый аппарат…

— Простой случай требует простых решений. Даже на Меркурии. Кстати, кто‑то уверял меня, что отличить мираж от не миража — пара пустяков.

— Нормальный мираж — нормальный, понимаешь? — тот удаляется, когда к нему подходит порядочный человек, ясно?

— Мы не на Земле.

— Уди–ви–тельно… Почему‑то данная истина, данная в довольно болезненном ощущении, известна и мне. Ну и что? Тебе от этого легче?

— Легче. Случись такое на Земле… Сам понимаешь… А здесь все понятно: есть некое явление или явления, которых почему‑то не замечают приборы. Мне кажется, ключ здесь.

— А твоя теория?

— Отвечу: это явно не мираж и не галлюцинация. Но я не исключаю их из общего комплекса непонятного. Пока. Бааде кивнул и поудобней устроил ногу на сиденье.

— Что, больно? — обеспокоенно спросил Полынов.

— Нет. Я зол и отвечаю как Ньютон: гипотез не строю! Пусть это шуточки меркурианского дьявола, летающие гробы, сапоги всмятку, но мне нужны точные факты! Точные, понимаешь? Факты!

— По–моему, ты ждешь их только от приборов. — Полынов постучал по стеклу индикаторной шкалы. — За последние десятилетия мы чересчур привыкли глядеть на мир через вот эти очки. Консерватизм привычки, понимаешь?

— Чем рассуждать, давай‑ка лучше выбираться отсюда.

“Туман, — решил Полынов. — Умственный туман. Как все это не просто и глубоко, если вдуматься. Ни один человек не в состоянии представить себе нечто такое, чему нет подобия в окружающей обстановке. Летающий дракон — вот шедевр нашей фантазии. И тем не менее человек узнал о замедлении времени, хотя этому на Земле тоже нет никаких аналогий. Но это смог сделать один человек из миллиарда — отрешиться от привычного и представить невероятное. Вот до чего узок мостик, ведущий от знакомого к незнакомому. Сможем ли мы его найти, мы, привыкшие мыслить привычными категориями?”

Он сел поудобней за руль, включил двигатель и огляделся, чтобы вернее выбрать путь. И тут он увидел, что пути уже не было. Процесс, начавшийся пока они бродили по берегу озера, завершился. Снаружи был светлый мрак. Стена белесого, как молоко, воздуха, более непроницаемая для взгляда, чем глухая полночь. В ней растворялись лучи фар. И ни одной звезды в небе!

Полынов выключил двигатель. Вот тебе и вечная ночь Меркурия!.. Звездные ориентиры, незыблемо сияющие над чужой планетой. Туман или нечто ему подобное вместо этого. Ловушка.

Бааде приподнялся.

— Попробуй пеленг корабля…

Ответом эфира был оглушительный треск.

— Выключи…

Молчание. Молчание обступало вездеход. Такое абсолютное молчание окружает затонувший корабль.

— Итак, — услышал Полынов собственный шепот. Назло повысил голос. — Итак, мы просчитались. Почему?

— Мы не учли чего‑то…

— Чего же?

— Вероятно того, что на Меркурии до сих пор не было наших глаз.

Инженера совсем покинула самоуверенность. Он не был растерян, нет. Но он искал ошибку — беспощадно и строго. Мысленно он просматривал все с самого начала — десятки фильмов, снятых АМС, непререкаемую чреду формул и графиков, расчетов и опытов, создавших модель Меркурия, в точность которой он верил и которая, как оказалось, в чем‑то существенном не совпадала с действительностью. Полынов не торопил его.

Шло время, драгоценное время.

— Может быть, меркурианские станции не попадали в такую бурю? — Психолог,

наконец, решился задать вопрос.

Бааде помотал головой. “Нет, нет, дураками мы были бы…”

И снова молчание. Только опытные и стойкие люди отваживаются на молчание, на раздумье, когда все толкает на энергичные действия, или хотя бы видимость действия.

— Предположение есть. — Бааде повернулся к Полынову так, что затрещало сиденье. — Все дело, кажется, в том, что искусственное зрение совершенней природного.

— Объясни.

— Попытаюсь. К нам вся информация о внешнем мире поступает в сравнительно узком диапазоне электромагнитных волн. Что делает конструктор, которому поручено создать телеглаз для Меркурия? Он использует все достижения техники, это естественно. Он закладывает в телеглаз возможность видения во всем диапазоне волн, ставит автоматическую коррекцию помех и так далее и тому подобное. А результат? Допустим, видимый спектр забит помехами, вот как сейчас. Автоматический глаз немедленно переключается на те частоты, где помех нет. А наш глаз сделать этого не может. Теперь об ошибке. Знаешь, я должен извиниться перед тобой за вчерашние слова… Потому что ошибка, мне думается, чисто психологическая. Мы знали, что автоматический глаз лучше природного. Но бессознательно мы уверены в обратном. В том, что лучше нас видеть мир ничто не может. Это ведь воспитано тысячелетиями, не так ли? И мы не задумываемся над тем, будет ли наш глаз видеть так же хорошо в тех или иных условиях, как автоматический. Эта мысль просто не приходила нам в голову! Пожалуйста, вот результат: на вездеход не ставится автоматический глаз. Зачем, мол, это сложное и громоздкое устройство, когда в кабине сидит человек? Человек! Венец природы, само совершенство, понимаешь? Я, ты, мы — все носители этой гордости, без которой нас не было бы здесь. Да, не было бы. Но диалектика есть диалектика.

— Но это только предположение, только предположение! — спохватился Бааде, ставящий точность превыше всего. — Может быть, все и не так.

Полынов положил ему руку на плечо.

— Генрих, — сказал он, — ты молодец.

Этого, пожалуй, не следовало говорить — Бааде не переносил “громких” слов.

— Давай лучше думать, как нам выбраться, — отрывисто сказал он. — Вот что: у меня неплохо развито пространственное восприятие. Ехать надо туда. Давай двигаться на ощупь, как слепые. Рано или поздно выберемся на освещенную сторону. А там ориентир, которого ничто не закроет, — Солнце.

У Полынова, когда он стронул машину, было ощущение, что она вот–вот всплывет. И только тяжеловесный скрежет гусениц позволил от него освободиться. Вездеход расталкивал непрозрачность, по сантиметрам продвигаясь вперед. Возмущенно гудел мотор, чья сила сдерживалась человеком. Можно было бы идти быстрей, но Полынов боялся ошибиться и перейти границу между настоящим и кажущимся. Едва впереди обрисовывался камень или выступ, Полынов всякий раз пробовал нащупать эту границу. Иногда удавалось — об этом извещал слабый боковой толчок; чаще нет — вездеход кренился, траки гусениц скрежетали, осиливая препятствие. “Ничего, метод проб и ошибок еще никогда не подводил, — утешал себя Полынов. — Привыкну”.

Бааде уверенно показывал путь, и машина, петляя, кружась, тычась о завалы, гребни и скалы, все же двигалась куда‑то, и оставалось лишь верить, что Бааде ведет ее правильно, как‑то угадывая направление, хоть это и казалось совершенно невозможным. И Полынов верил, потому что Бааде еще нигде не терял ориентировки — ни в пещерах крымской Яйлы, ни в болотах Венеры. Настолько, что Полынов не раз давал себе клятву изучить эту его особенность, но всегда было некогда, всегда приходилось решать проблемы более срочные, и теперь оставалось лишь корить себя, вновь давая клятву разобраться, в чем же тут дело, почему даже на чужих планетах механик ориентируется как в собственной квартире.

Но в ту самую минуту, когда Полынов было решил, что все идет неплохо и что они,

конечно, выберутся, вездеход вдруг стал крениться на совершенно, казалось бы, ровном месте, и Полынов увидел, что правая гусеница подминает пустоту.

Одним движением он рванул переключатель скоростей и отвернул руль. Траки гусениц замерли, вездеход зашатался, будто повиснув на острие ножа. Это врезалось в память навсегда: медленно, очень медленно машина сползала вниз, проседая над пропастью… Полынов закрыл глаза, чувствуя, как его неотвратимо тянет с сиденья вперед. Сзади Бааде резко повалился влево, чтобы хоть так помочь машине удержать равновесие.

Наконец спасительный рев двигателя. Толчок, затем падение — мгновенное, но кажущееся бесконечным падение, неизвестно куда: то ли вниз, в пропасть, то ли назад. Полынов вцепился в руль. Его отбросило. Машина сползала с лезвия, на котором она балансировала.

Дрожащей рукой Полынов включил тормоз. Отвалился в изнеможении. Тело сразу обмякло, лицу стало холодно. Ладонью он провел по лбу: пот.

А потом ему стало жарко, он зачем‑то полез а карманы, выворачивая оттуда всякую дребедень.

Через плечо Бааде протянул ему прыгающую в пальцах сигарету. Они закурили, затягиваясь так, что колечко огня сразу прыгнуло к губам. Вкуса дыма они не ощутили, но это было и неважно. Важней было то, что они расточительно расходовали драгоценный теперь воздух, отравляя его дымом, но в конце концов и это не имело особого значения. Как только они пришли в себя, Полынов спросил:

— Долго может продолжаться буря?

— Бывает, до двух суток.

— Кислорода у нас на двенадцать часов.

— Бывало и хуже.

— Бывало.

— И все равно никак не привыкнешь.

— Да, трудно.

Они помолчали. За стеклами курилась белесо–черная мгла. Все было ясно и без слов. Они в ловушке. Нужды нет, что у ловушек нет стен, что теоретически они могут направить вездеход куда угодно. Они уже попробовали сделать это и чуть не погибли. Впредь рисковать так можно было, лишь когда у них не останется другой возможности.

— Так что я, пожалуй, сосну, — заключил Полынов. — Ничего другого не остается. Советую и тебе.

— Попробую. Шумерину придется попереживать.

— Да, ему не позавидуешь. Но я почему‑то уверен, что он нас вытянет если что.

— Болото Терра Крочи…

— Вот именно.

Они разом вспомнили это ужасное болото близ южного полюса Венеры, когда они безмятежно плыли по нему и почва отлично держала машину, точно так же как до этого она держала автоматы разведки, а потом в недрах болота ухнул взрыв (интересно, выяснили, наконец, что это такое было?), и их стало затягивать в трясину, куда бы они ни поворачивали. Разумеется, там бы они и остались навсегда, если бы Шумерин не поднял корабль и огнем реактивных струй не высушил вокруг них болото. Потом никто не хотел верить, что двигателями корабля можно сделать такое. А Шумерин сделал.

— Ну, так я заваливаюсь, — сказал Бааде.

— Я тоже.

Бааде устроился поудобней, сиденья простонали под ним, скоро все стихло, и Полынов услышал мерное дыхание.

***

Он тоже закрыл глаза. Но сон не торопился прийти, — слишком велико было возбуждение. Тогда он прибег к испытанному приему: надо заставить себя увидеть какой‑нибудь безмятежный пейзаж и начать его разглядывать. Потом быстро сменить

видение. Еще и еще. Дальше уже сами собой будут включаться обрывки увиденного когда‑то, сердитый пенистый ручеек, прыгающий с камня на камень; сосны, бронзовые от полуденного света; радужные капли дождя на черемухе; брызнувшие от берега мальки… Все быстрей и путаней смена образов, все успокоительней и туманней их мелькание, предваряющее глубокий и спокойный сон. Его, Полынова, сон на Меркурии, в плену враждебных и неразгаданных стихий.

Но внезапно, будто толчок изнутри. Секунду Полынов еще цеплялся за дрему, не желая впускать мысль в затемненные подвалы сознания, где вспыхивали, менялись и гасли пейзажи родины. Но неподвластный ему киномеханик своей волей остановил бег пленки, и замерла, ярко вспыхнула картина далекого детства: голубые ели на берегу речки, мальчишка, болтающий босыми ногами в теплой воде, с разинутым от удивления ртом. И Полынов безотчетно понял, что бег видений остановился неспроста.

Он не открыл глаз, но сна уже как не бывало. Полынов силился понять подсказку.

Да, кажется, все так оно и было — солнечный день, коричневатая вода, морщинистая на перекатах, — там сквозь нее просвечивал песок. И строй елей на противоположном берегу, сходящий с холма, чтобы бросить на реку прохладную зеленоватую тень. Каким далеким и неправдоподобным выглядит все это сейчас здесь, на Меркурии! Но неспроста же, черт побери, всплыло именно это воспоминание…

Голубые ели он тогда заметил не сразу. Заметил? Нет, нет, все было не так: рядом сидела мама и что‑то ему говорила. После каких‑то ее слов он и разинул рот… Вспомнил “Смотри, сынок, вон голубые ели…” — “Мама, ели всегда зеленые!” — “Да нет же. Ели бывают голубыми. Разве не видишь, вон, у самой вершины холма, приглядись…”

Вот тогда он и увидел голубые ели. Это было как откровение — там, где он десятки раз скользил взглядом, ничего не замечая, скрывалось чудо. Над зеленым, спадающим к берегу пологом хвои возвышались две мохнатые голубые вершины, тронутые серебристым блеском солнца. Они явно были голубыми, хотя еще минуту назад — он был готов поклясться — там была только зелень! Открытие превосходило его мальчишеское понимание — ведь ели всегда зеленые, такими он их видел, и эти две он тоже видел зелеными, так почему же…

— Потому что смотреть, глупышка, это одно, а видеть — совсем другое, — услышал он голос матери. Значение слов было волнующим и непонятным.

Полынов открыл глаза. Черно–белый хаос за стеклом кабины. Свет, который похож на мрак, и мрак, который ослепляет.

— Ну и идиоты же мы… — пробормотал психолог.

Он еще ничего не решил и ничего не узнал, но сердцем почувствовал: отгадка где‑то здесь.

Что ж, подумаем. Смотреть — одно, видеть — совсем другое. Справедливо для любого из миров. Так… Попав на Меркурий, мы жадно и пристально разглядывали все… Все ли? А сам воздух — его мы видели? Нет. Кто же рассматривает воздух на Земле? Или на Марсе, Венере? Воздух есть воздух, в нем ничего не увидишь.

Всегда ли? Не всегда. Хорошо, когда воздух на земле становится как бы видимым, во время тумана, например, приглядываемся ли мы к нему тогда?

Полынов усмехнулся. Как поначалу смеялись над художником Монэ, который написал лондонский туман рыжим… А ведь лондонский туман видели сотни тысяч людей. И не заметили, что он рыжеватый! Все‑таки человек — очень ненаблюдательное существо. И что самое удивительное — ненаблюдательность не почитается за порок. Впрочем, для этого есть физиологические предпосылки: древние греки, похоже, не различали голубого.

Стоп, я отвлекаюсь. Так или иначе приходится признать неприятную истину: мы не слишком любим довольствоваться приблизительными знаниями, а вот приблизительное видение мира нас мало смущает. Неужели так? Да, так. Всего лет сто назад писатели заметили, что снежинки могут выглядеть черными, и это открытие тоже повергло многих в недоумение. А сколько в свое время спорили с художниками, когда те взялись доказывать,

что снег никогда не бывает белым? Впрочем, и сейчас найдется масса людей, которые этого не знают.

Полынову захотелось вскочить — так с ним всегда бывало, когда догадка сменялась уверенностью. Но по вездеходу не пошагаешь, ладно.

Теперь, продолжал он размышлять, время заняться самокритикой. Нас послали на Меркурий, во–первых, потому, что мы люди опытные, во–вторых, потому, что мы люди много знающие, а в–третьих, не трусы. Допустим, что все это так. Но помимо своих чисто профессиональных качеств во всех других отношениях мы люди достаточно заурядные. Средние земляне, так сказать. Профессиональная наблюдательность у нас, конечно, развита. Но та ли эта наблюдательность, которая нужна здесь, на Меркурии? Кто же мог заранее ответить на этот вопрос… Перед полетом мы все мыслили по аналогии: те, кто справились на Марсе, справятся и на Меркурии. Как будто Меркурий подобен Земле или Марсу. Или Венере… Вполне понятная психологическая ошибка.

Но нам от этого не легче. Не легче оттого, что за последние десятилетия укрепилось мнение, будто бы рациональное, научное мышление — это магистральное мышление эпохи. А эмоциональное, художественное — это так, нечто побочное, второстепенное, чуть ли не хобби. Шумерин был прав, возмущаясь этим. Вот и ступили мы на Меркурий, как мы считали, двумя ногами. А на самом деле — одной. Вот мы и стоим на коленях…

Что за чушь, это уж я чересчур… А может, и нет? Надо проверить, хватит рассуждений. Если моя догадка верна, то… Но хватит ли у меня способностей?

Полынов придвинулся ближе к стеклу, устроился поудобней, стал вглядываться. Невольно улыбнулся: такая кустарщина при наличии могучего арсенала приборов… Бааде, пожалуй, задохнулся бы от возмущения. Нет, нет, все, точка: прочь ненужные мысли. Надо смотреть, надо постараться увидеть…

Он видел стену, глухую стену мрака, и вначале ему показалось, что попытка безнадежна, что он напрасно дал себя увлечь мнимо правильными рассуждениями. Перед ним просто мрак, черно–белый мрак.

Но он продолжал глядеть, все сужая и сужая поле зрения, кусочек за кусочком просматривая то, в чем тонул вездеход. Хорошо, что времени в избытке, торопиться некуда — давно так не было, чтобы не нужно было торопиться, довольствуясь мимолетным взглядом. Как они привыкли наблюдать мир, постоянно влекомые скоростью! Скала? Ага, скала. Оранжевое пятно выцветов на почве? Ага, пятно. И вот она уже скрылась с глаз, эта единственная в своем роде, совершенно неповторимая скала, совершенно уникальное пятно. Вот как они привыкли смотреть на мир. Естественно, мир велик, жизнь коротка, времени мало, тут не до подробностей — слишком много нового надо увидеть, испытать, понять.

Вокруг вездехода теперь что‑то происходило. Теперь ли? Похоже, происходило непрерывно. Только раньше он не вглядывался.

Полынов увидел в стекле отражение своих глаз. В него вглядывались его собственные зрачки — огромные и бездонные. Канал связи с внешним миром… Так что же происходит там, куда они смотрят?

Тени. Там, во мраке, шевелятся тени. Впрочем, никакого мрака нет, просто они поторопились окрестить это состояние меркурианского воздуха привычным словом. И на том успокоились. Да, мрака нет. Есть пульсирующие волны светотьмы, накатывающие на стекло. И тени. Нет, пожалуй, волн тоже нет, опять использован привычный образ, которому здесь не место. А что же есть?

Есть оттенки, переходы, переливы, множество оттенков и в черном и в белом. Преобладают голубоватые. И до чего же все зыбко. Переходы свершаются на грани способности глаза различать смену образов. Как мелькание спиц в быстро вращающемся колесе. Вот откуда впечатление глухой стены. Все слишком рябит, сливается в однообразный фон. А все же что именно мелькает?

От напряжения заболела голова, и Полынов на несколько минут дал глазам отдых. Потом снова их открыл.

То ли причиной тому был отдых, то ли еще почему, но Полынов сразу увидел нечто новое: тени не были плоскими. У них был объем. Мгновенная чреда каких‑то фигур, от которых рябит в глазах. Рябит! Разве они с самого начала не заметили, что меркурианский воздух рябит? Заметили. Но не придали значения. Ибо так и должно быть там, где атмосфера ионизирована и светится. Бааде обстоятельно объяснил почему.

Выходит, он видит бесформенные образы, создаваемые пульсациями светящегося воздуха. Что значит бесформенные? Это значит, что тени могут принимать любые произвольные очертания. Как он не сообразил этого раньше?

Не торопись, не торопись… Мгновенная смена мгновенных образов. Мгновенная — всегда? Надо разобраться без спешки.

Как, однако, все это нелепо выглядит, если разобраться. Сидит он, Полынов, на чужой, совсем–совсем чужой планете, и кислорода осталось часов на девять, не больше. Сидит, смотрит и думает, и от этого, возможно, зависит все. Сзади похрапывает Бааде; где‑то волнуется Шумерин. Обстановка, прямо противоречащая многим, с детства привычным понятиям о том, как в трудную минуту ведут себя герои космоса. Черт бы побрал тех, кто так задуряет мозги! Сверхмужество, сверхгеройство, сверхтехника, сверх… сверх… А вот сейчас у него одно только оружие: зрение. То самое зрение, которое и подвело в трудную минуту. Парадокс! Хотя… Нет, это надо запомнить! Какой‑то очень важный обрывок мысли…

Да, так возникают ли в меркурианском воздухе не мгновенные и не бесформенные образы? По логике вещей должны. Когда на земле воздух обретает видимость за счет мельчайших капелек воды, так оно и бывает. Облака. Постоянное творение новых форм. Которые иногда становятся лицами, фигурами животных, башнями, чем угодно. А здесь воздух виден постоянно. Весь. В каждой точке происходят зримые перестановки. Вот что надо искать!

И Полынов смотрел, смотрел на то, что недавно было просто хаосом, и ему открывались в нем все новые и новые черты. И он проклинал себя за то, что никогда всерьез не интересовался живописью, не изощрял свой глаз в наблюдениях за переменами света, тени, цвета, формы. Но кто же знал…

Внезапный порыв за окном заставил его вздрогнуть. Прямо на вездеход летел какой‑то фосфоресцирующий сгусток. Снизу он заканчивался отростками, которые слабо шевелились, и это придавало ему сходство с медузой.

“Нечто” коснулось стекла, размазалось и исчезло, как будто его и не было. Все длилось мгновение, но это мгновение было ослепительной вспышкой, осветившей сумрак догадки.

У Полынова больше не оставалось сомнений. Теперь он уверенно ждал следующего появления. И его надежды не замедлили оправдаться. Ему уже не приходилось напрягать зрение, чтобы видеть и узнавать знакомое там, где недавно все было хаосом. Точно так же как всякий, кто пристально вглядывается в очертания облаков, с какого‑то момента начинает различать смысл, законченные скульптурные формы в их ленивой и случайной перестройке. Действовал все тот же “эффект узнавания”, который заставляет слабонервного путника, однажды принявшего в сумерках куст рябины за человека в плаще, шарахаться от все новых порождений собственного воображения.

Полынов тихо ликовал. Не требовалось больше усилий, чтобы видеть, как во мраке появляются странные рыбы, летает футбольный мяч, гримасничает морда льва… Некоторые из фантомов долго оставались в поле зрения; далеко не все образы были мгновенными…

Но радость открытия длилась недолго. Не потому, что это открытие объясняло далеко не все из того, что с ними случилось. Не потому. Психолог не был наивен, он прекрасно понимал, что потребуются еще годы работы, чтобы понятным стало если не все, то многое. Так всегда было, так всегда будет, что ясность никогда не приходит сразу и окончательно. Ведь познание — это бесконечный подъем к вершине, которой нет. И как бы относительно велик ни был шаг, сделанный вверх, какие бы горизонты он ни открывал, неизменно будет хотеться большего, потому что это большее возможно и достижимо. Но исследователю не

знакома радость альпиниста, достигшего последней вершины.

Другое волновало. То, в чем он не сразу мог сознаться даже самому себе, — слишком ответственным был вывод. Самым смелым знакомо сомнение в правоте своей мысли, когда она посягает взорвать старые представления. И не всякому дано это преодолеть. Планк, выдвинув идею квантов, не оценил ее последствий. Рентген не принял представлений об электроне, хотя они вытекали из его опытов. Велико число людей, которые, поднявшись на вершины, не смогли разглядеть новых деталей, потому что их вид показался чересчур невероятным.

Для Полынова не был тайной психологический механизм внутренних тормозов, включающихся гораздо чаще, чем принято думать. И он не осуждал тех, в ком они срабатывали. Но сам был уверен, что, доведись ему оказаться на их месте, уж с ним бы этого не случилось! Он бы поверил себе.

Тем неожиданней было открытие, это совсем не так! Только теперь он понял, как трудно поверить в то, во что никто не верит и верить не может, ибо никто еще не прошел твоим путем. Для человека одиночество настолько невыносимо, что даже в мыслях он стремится быть со всеми, быть как все.

Но Полынов понимал, что право на осторожность, на многократное обдумывание и проверку своих мыслей имеет тот, кто уверен в своем завтра. И что, следовательно, он такого права не имеет.

Со вздохом сожаления он вытащил мегафон.

— Пусть лучше я буду выглядеть самоуверенным идиотом, чем…

Записывающий кристаллик мегафона налился синим светом, одобрительно моргнул Полынову, как бы подстегивая его решимость.

Полынов заговорил, чуть шевеля губами, чтобы не разбудить Бааде.

— Слушайте последнее, что я могу сказать, — прошептал он традиционную фразу исследователей космоса. Ее произносили, когда не было уверенности в том, что сказанное удастся когда‑нибудь повторить. “В свое время думали, что мир везде и всюду принципиально тождествен тому, что окружает нас. И что его познание непосредственно доступно нашим органам чувств. Затем мы проникли в микромир. Выяснилось: нашим привычным представлениям там делать нечего. Взгляд бессилен там что‑либо увидеть, слух — услышать, а воображение — представить.

С помощью сверхсложных приборов, математических абстракций и “безумных” идей человек понял законы этого мира, и все же он до сих пор чужд нашим эмоциям, ибо ему нет соответствия в духовной природе человека. Можно сказать “угрюмая скала”, но бессмыслицей прозвучала бы фраза “угрюмый мезон”.

Однако мы по–прежнему пребывали в уверенности, что уж в макро‑то мире ничего подобного не случится. Что на любой планете наше “я” будет соответствовать тому новому, с чем мы столкнемся.

Ошибка. Строй наших мыслей и чувств, наша духовная сущность порождены Землей. Ее закатами, травами, светом ее дня, темнотой ее ночи. Ибо все органы чувств — а вне их нет общения с миром — идеально приспособлены к земным условиям. Впрочем, идеально ли? Зрение и на Земле нередко обманывает нас — в сумерках, при встрече с миражами. Оно, как и другие органы чувств, не идеально соответствует даже земным условиям. Тем менее должны мы ожидать, что они будут соответствовать качественно иной обстановке.

Так оно и есть. Осязание, обоняние, слух сразу перестала служить нам, едва мы вышли в космос. Настолько, что функция разведчиков с успехом была передана автоматам! Ибо нельзя осязать вакуум, невозможно слушать пустоту.

Но мы не ощутили большой потери, потому что зрение продолжало служить нам, а оно дает львиную долю информации. Правда, нам пришлось прибегнуть к светофильтрам…

Мы идем все дальше и дальше по пути вынужденного отказа от непосредственного восприятия макромира.

Какие последствия будет это иметь для человека и человечества, судить не берусь. Но

что они будут значительными, сомнения нет. Ибо изменение обстановки меняет самого человека. Земное человеческое “я” не может остаться прежним, когда наступит время расселения на другие планеты. Это произойдет не скоро, но об этом надо думать сейчас.

Итак, в макромире тоже намечается барьер, преодоление которого потребует отказа от многих привычных сторон нашего духовного мира и приобретения новых, если мы хотим сохранить свое “я” цельным.

Где пролегает этот барьер? Я убежден, что мы уже встретились с ним. Меркурий — та ступень нашего движения, на которой нам отказало уже и зрение. Мы видим здесь не то, что есть на самом деле, ибо наше зрение решительно не приспособлено к меркурианским условиям. Участникам второй экспедиции придется смотреть — да, да, просто смотреть! — на пейзажи Меркурия через призму какого‑нибудь хитроумного прибора. Иначе их будут поджидать те же ловушки, что и нас.

Но даже обыкновенное оконное стекло влияет на наш эмоциональный контакт с внешним миром. А уж полный отказ от непосредственной связи с окружающим…

Опасно ли это? Не думаю. Объективно процесс направлен на обогащение и расширение человеческого “я”. Когда‑то духовный мир человека не включал в себя ничего, кроме Земли. Со временем Земля станет лишь частью нашего “я”… Но вряд ли это расширение и обогащение будет идти гладко, ибо оно связано с ломкой многих основ. Задача моей науки — психологии — и многих других облегчить переход нашего “я” к новому качеству.

Возможно, я в чем‑то ошибаюсь. Возможно. Но лучше ошибаясь глядеть вперед, чем не ошибаясь стоять на месте, робко потупив взгляд.

Я кончил”.

Полынов посмотрел на крохотный, пульсирующий в такт его дыханию, кристалл. Синий, как небо Земли, кристалл, навечно вобравший в себя его мысли.

Вокруг плыла чужая ночь, отсчитывая для людей, быть может, последние часы. Но один из них безмятежно спал, словно дома, а другой думал о будущем. А где‑то далеко третий готовился прийти к ним на помощь. И, как это ни странно, как это ни противоречиво, Полынов чувствовал себя спокойно и счастливо. Сегодня он сделал больше, чем за всю свою жизнь.

КОСМИЧЕСКИЙ БОГ

1. Корабль, терпящий бедствие

Не колеблясь Полынов двинул в прорыв ладью. Кинжальный удар, точно нацеленный в солнечное сплетение обороны противника.

Гюисманс нахмурился. Желтыми, как у мумии, пальцами он с сожалением тронул короля. Мельком взглянул на часы.

— Не повернуть ли доску? — предложил он.

— Что‑то вы рано сегодня сдаетесь, дорогой патер.

Полынов летел на Марс пассажиром в надежде отдохнуть по дороге от выматывающих обязанностей космического психолога; он даже не представлял, сколь утомительным окажется для него безделье на таком корабле, как “Антиной”. Если бы не шахматы, он и вовсе чувствовал бы себя отщепенцем среди веселья и развлечений, которыми здесь убивали время.

— О, это сдача с продолжением. Ибо взявший меч от меча и погибнет. Пока вам нравится такая диалектика, верно?

Костлявое лицо патера раздвинула улыбка. Улыбка–приглашение уголками губ. В Полынове ожил профессиональный интерес.

— По–вашему, я человек с мечом?

— Вы тоже. Кто строит — тот разрушает, не так ли? Но диалектика, которой вы поклоняетесь, как мы — богу, она погубит вас.

— Да неужели?!

Полынову стало весело. “Это в нем, должно быть, тоже профессиональное, — подумал он. — Лет тридцать человек проповедовал, не выдержал, потянуло на амвон, или, как еще там называется это место…”

Он устроил ноги поудобней, оглядел проходившую через салон девушку — ничего, красива, — мысленно подмигнул патеру.

— Конечно, погубит, — продолжал тот, не отводя взгляда, — ибо закон вашей диалектики гласит, что отрицающий обречен на отрицание. Вы отрицаете нас, придет некто или нечто, и оно поступит с вами так же.

— Могу посочувствовать, — кивнул Полынов. — Прихожане не идут в храм, а? Что делать, история — не шахматы, ее не переиграешь.

— Но спираль, и потому путник может вернуться к тому месту, откуда он шел.

— Вы сегодня нуждаетесь в утеш…

Плавный толчок качнул столик. Несколько фигур упало., за стеклянными дверями салона кто‑то шарахнулся, но все перекрыл грохот джаза, и ломаные тени танцующих снова заскользили по стеклу.

— Нуждаетесь в утешении, — закончил Полынов, нагибаясь и подбирая с пола фигуры. — Но софизмы никогда…

Он поднял голову. Собеседника не было. Гюисманс исчез беззвучно, как летучая мышь.

Белый король, упавший на стол, тихонько покатился к краю — корабль незаметно для пассажиров тормозил. Полынов пожал плечами, поймал короля, утряс шахматы в ящик и вышел из салона.

У двери с надписью на пяти языках “Рубка. Вход воспрещен” он помедлил. Музыка доносилась и сюда, приглушенная, однако все еще неистовая, скачущая.

— Трын–трава, — сказал Полынов. — Пируем…

Издерганные ритмы музыки осточертели Полынову, и он в который раз пожалел, что связался с этим фешенебельным лайнером, с его вымученным нескончаемым праздником.

В рубке было полутемно, светлячками тлели флюоресцирующие детали шкал, над бездонным овалом обзорного экрана шевелилась синяя паутина мнемографиков, раскиданная по табло.

— Кто там? — недружелюбно спросил голос, и Полынов увидел Бергера. На груди дежурного пилота болтался радио–фон, ворот форменной рубашки с золотыми кометами был расстегнут. — А, это вы, камрад… Догадываюсь, что вас занесло сюда. Нет, это не метеорный поток.

— Тогда что?

Бергер кивнул на экран. Второй пилот отодвинулся. В черной глубине среди неподвижных звезд вспыхивали позиционные огоньки сигналов бедствия.

— Кто?

— “Ван Эйк” какой‑то. Не слышали о таком?

— Нет, теперь слишком много кораблей. Но вы‑то должны знать, чьи рейсы…

— Это не рейсовый лайнер.

— Кажется, вы правы, — вгляделся Полынов. — Разведчик. Но что с ним? Он гасит огни!

На экране осталась лишь одна красная звездочка.

— Авария. Берегут энергию.

— Радио?

— Зона молчания. Влетели полчаса назад.

— Скверно. Так берегут энергию, что не могут промигать о характере аварии?

— Полетел ретроблок.

— Это серьезно.

— Куда серьезней. Говорят, что подробности сообщат на месте.

— Моя помощь не потребуется? Раньше я был врачом.

— О жертвах не сообщалось. Ага, опять замигали. Сейчас отвалит их шлюпка.

— Может, лучше нам…

— Как же! Старт нашей шлюпки услышат пассажиры.

— Ну и что?

— Хм! Вы забыли, какой у нас пассажир? — Бергер язвительно усмехнулся. — Дамы, узнав об аварии, чего доброго, валерьянки запросят.

— Но, но, Бергер, ты потише, — предостерегающе сказал второй пилот. — Вылетишь с работы…

— А мне плевать. Мы не должны скрывать своих убеждений. Вот товарищ Полынов меня поймет. На экране метнулась яркая вспышка.

— Отвалили, — заметил второй пилот.

Бледно–оранжевая полоска, исторгнутая дюзами шлюпки, медленно росла приближаясь.

Лишь опытный человек мог ощутить толчок.

— Классно причалили, — определил Бергер. — Интересно будет взглянуть на гостей.

— Задержка минимум на тридцать часов, — буркнул второй пилот. Его насупленный профиль заслонил экран.

— Ерунда, наверстаем, — ответил Бергер. — Хотите пива, камрад?

Полынов кивнул. Бергер вскрыл жестянку.

Однако отхлебнуть он не успел. Дверь с грохотом распахнулась. Две тени выросли в проеме. По глазам резанул ослепительный луч фонаря.

— Какого дьявола! — отчаянно щурясь и прижимая к груди жестянку с пивом, вскричал Бергер.

— Спокойно, — холодно произнесла тень. — Руки вверх!

На уровне своей груди Полынов увидел пирамидальное дуло лайтинга. Из рук Бергера выпала жестянка, пенным фонтаном плеснув на пол. Второй пилот вскочил. Нервно дернулся лайтинг. Из дула брызнула лиловая вспышка. Второй пилот осел; его перекошенный рот ловил воздух.

— Руки! — заорала тень. — Не глупить!

Полынов и Бергер повиновались. Собственные руки показались психологу свинцовыми, когда он их поднимал.

— Что все это значит?.. — прошептал Бергер.

— Молчать! Кругом! Марш в коридор!

— Но раненый! — воскликнул Полынов.

Дуло лайтинга подтолкнуло его к выходу.

Трясущиеся пассажиры и члены судовой команды были проворно выстроены вдоль стены коридора. Ошеломленному Полынову казалось, что он видит дурной сон, в который врываются соскочившие со страниц истории эсэсовцы, а их жертвы цепенеют от страха.

Часовой в сером глянцевом комбинезоне замер у выхода, лайтинг он держал наперевес. Тот, на кого падал его взгляд, сжимался и бледнел.

Прошло пять минут, и десять, и пятнадцать. Дрожь передавалась от плеча к плечу, как ток. Элегантные костюмы обвисли проколотыми пузырями. Строем белых масок застыли лица. Кого‑то донимала нервная икота.

Часовой вдруг сделал шаг в сторону, пропуская детину с непропорционально крупной, какой‑то четырехугольной, словно обтесанной взмахами топора, головой. Детина пошарил взглядом, ухмыльнулся, подошел, переваливаясь, к крайнему в шеренге. Хозяйским движением он обшарил его карманы, выхватил бумажник, документы и не глядя швырнул их в сумку. Обыскиваемый — холеный седоусый старик — вытянулся, страдальчески морщась и пытаясь улыбнуться.

Большеголовый перешел ко второму, толстенькому бразильцу, который сам с готовностью подставил карманы, к третьему, четвертому. Поведение бандита отличала заученность автомата. Он неторопливо двигался вдоль шеренги, помаргивая; его сумка

пухла.

У Полынова темнело в глазах от злости. Часовой даже привалился к косяку; лайтинг он установил меж ног; вероятно, баранов он больше бы остерегался, чем этих людей, скованных ужасом. Он и не позаботился подняться на площадку винтовой лестницы, а встал в двух шагах от своих жертв. Крепкий удар в челюсть Большеголовому — вот он как раз поравнялся с Бергером; крайние бросаются на часового; тот, конечно, не успеет вскинуть оружие; отобраны два лайтинга, с двумя бандитами покончено. Сколько их на корабле — шлюпка вмещает пятерых, ну, шестерых…

Идиоты. Так близко освобождение, так немного нужно для победы — чуточку решимости, молчаливого понимания, уверенности в соседе! Нет, безнадежно. Здесь безнадежно. Эти бандиты знают психологию толпы, иначе они не были бы так беззаботны…

— Я протесту–у-у–ю!

Все вздрогнули.

— Я супруга сенатора! Сенатора США! Вы… А–а-а!

Большеголовый тупо посмотрел на вопившую даму — она дергалась всем телом, перья райской птицы прыгали на шляпке — и спокойно влепил ей пощечину. Вторую, третью — со вкусом. Сенаторша, раскрыв рот, мотала головой. Большеголовый раскурил сигарету, глубоко затянулся и с удовлетворением пустил густую струю дыма в лицо женщины. Сенаторша всхлипывала, не смея опустить руки, чтобы стереть слезы.

“Что же это такое, боже, зачем?” — услышал Полынов прерывающийся шепот. Он чуть повернул голову и встретился с детской беззащитностью, с мольбой и болью во взгляде девушки. Она стояла рядом с Полыновым. Большеголовый уже поравнялся с ней. Его равнодушное лицо несколько оживилось. Он внимательно осмотрел мальчишескую фигуру девушки — у нее на переносице выступили росинки пота, — пошевелил губами. Его толстые, с нечищеными ногтями пальцы тронули плечо девушки — она вздрогнула, глаза потемнели от гнева, — скользнули ниже. Он засопел.

— Брось, ты, сволочь! — выдохнул Полынов. Большеголовый, отскочив, вскинул лайтинг; глаза у бандита были совершенно прозрачные. Упреждая выстрел, Полынов обрушил на него бешеный удар правой под подбородок. При этом он почувствовал неизъяснимое удовольствие. Гремя оружием, Большеголовый шлепнулся о стену, точно куль грязного белья. Поверх голов часовой ударил лучом лайтинга. Как по команде все рухнули на пол. Кроме Полынова и девушки. Она вцепилась в него, стараясь прикрыть собой от выстрела, и тем сковала бросок Полынова к оружию Большеголового. Часовой аккуратно ловил Полынова на мушку. Тот едва успел стряхнуть девушку. “На коленях, все на коленях…” — тоскливо успел подумать он.

— Отставить! — внезапно гаркнул кто‑то.

Лайтинг часового брякнул о пол. На площадке винтовой лестницы скрестив руки стоял Гюисманс.

2. Моральная проблема

Бандит, словно полураздавленный краб, ворочался у ног Полынова. Он мотал головой, разбрызгивая слюну и кровь. Его скрюченные пальцы тянулись к отлетевшему лайтингу.

Гюисманс прошествовал по коридору, наклонился к Большеголовому и негромко сказал:

— Встать, дурак.

Ответом было рычание.

— Встать, говорю! — Гюисманс заорал так, что даже Полынов вздрогнул.

Большеголовый утих. Стоя на четвереньках, он силился подняться, но у него разъезжались колени.

Затаив дыхание, все с тайной надеждой смотрели на Гю–исманса. Он заметил взгляды и холодно улыбнулся.

— Лицом к стене! — презрительно бросил он. И тотчас обернулся к Полынову.

— К вам это не относится, любезный. Я еще не взял реванша за проигранную партию, не так ли?

Спокойствие этого сухопарого человека в черном, его мгновенное превращение из мирного миссионера в вождя бандитов было более жутким, чем выстрелы и насилие.

Он повелительно крикнул. Вбежали двое в серых комбинезонах. Один подхватил Большеголового и помог тому встать. Другому Гюисманс что‑то прошептал, показывая на Полынова.

Психолога схватили и повели.

…Когда за ним щелкнул замок, Полынов не был в состоянии ни соображать, ни радоваться неожиданному спасению. Чужая каюта, куда его втолкнули, плыла перед глазами. Потом он с удивлением отметил ее роскошь. Изящный столик из пластика, отделанного под малахит, мягкий ковер под ногами, две пышные постели, уютный свет настольной лампы. Пахло духами и сигарами. За перегородкой находилась самая настоящая ванная.

Полынов сел, силясь понять, что бы все это могло значить, почему его заточили в каюту, более похожую на будуар, чем на тюрьму. Объяснения не было.

Он встал пошатываясь, нажал плечом на дверь. Зачем? Ему прекрасно была известна прочность корабельных запоров.

— Не глупи, — сказал он себе.

Из пепельницы торчала недокуренная сигарета. На мундштуке отпечатался след губной помады. Из полуоткрытой тумбочки поблескивали винные бутылки. Здесь еще час назад не просто жили, здесь наслаждались жизнью. Что это — умысел, насмешка?

Но чего‑то в каюте не хватало. Чего‑то существенного. Да, конечно: стульев. Стульев, которыми можно было бы воспользоваться как дубинками.

Машинально Полынов повернул ручку телевизора. Как ни странно, телевизор работал. Из стереоскопической глубины экрана плеснулась морская волна, пенный гребень вынес ребенка верхом на дельфине.

Полынов смотрел на него, как на пришельца из другого мира. Малыш в восторге бил дельфина пятками по спине, за его плечами вспыхивала радуга брызг. Детский смех наполнил каюту.

Это было настолько дико после пережитого, что Полынов поспешно повернул выключатель. Смех оборвался.

“Спокойно, спокойно, — сказал он себе. В любом кошмаре есть логика, надо разобраться. Раз телевизор работает, корабль вырвался из зоны молчания, стало быть… Вырвался? Не надо обольщаться: никакой “зоны молчания” не было. Это же ясно, как день, — нападающие применили “эффект Багрова”, чтобы корабль не мог связаться с Землей. Вот и все.

Но зачем, зачем? Что за дичь — пиратство в космосе?”

Больше всего Полынову хотелось лечь и ни о чем не думать. Мысли путались.

Заметно росло ускорение, пол уходил из‑под ног. Понятно, пираты бегут подальше от трасс. Куда?

Полынов зашел за перегородку. Из зеркала на него глянуло совершенно белое, незнакомое ему лицо. С минуту он неподвижно смотрел на свое отражение. Потом набрал в пригоршню воды, смочил лоб, виски, причесался, поправил галстук. Простые будничные движения успокоили его.

Он стал соображать, можно ли ждать спасения с Земли. Пока там еще никто не подозревает о катастрофе. Так… Станции слежения потеряли радиоимпульс “Антиноя”. Бывает. Операторы, попыхивая сигаретами и рассказывая анекдоты, ждут, когда он снова появится. А он не появится. В космос полетят запросы, но космос будет молчать. Тогда начнется паника.

Нет, не тогда. Компания будет медлить с сообщением в надежде, что тревога напрасна… Ведь на карту поставлены престиж, доходы: как это так, у нас — и вдруг авария!

Мир узнает о таинственном исчезновении “Антиноя” с огромным запозданием. Вот тогда к предполагаемому месту гибели устремятся разведчики. Но будет поздно.

Но и тогда тревожное известие не смахнет с экранов телевизоров улыбающиеся личики. Об исчезновении корабля будет сказано в лучших традициях казенного оптимизма. Сразу после передачи красивые девушки споют красивую песенку. Для успокоения. Господа зрители, не волнуйтесь, в мире по–прежнему все прекрасно, отгоните дурные мысли, оптимизм продлевает жизнь, меры приняты, ничего подобного впредь не повторится, катастрофа вас не касается, не вы погибли, не ваши родственники: конечно, авария — это ужасно, но вспомните, сколько радостного в окружающей жизни…

И никому в голову не придет мысль о злом умысле. Пираты? В космосе? Ха–ха, не смешите…

Вот еще на что рассчитывают бандиты.

Спасение с Земли не придет.

И тут Полынов услышал лязг ключа. Он поспешно прикрутил воду, мельком взглянул на себя в зеркале — ничего, можно.

Гюисманса он успел встретить на пороге резким, как удар, вопросом:

— Завидуете лаврам Флинта?

Гюисманс поморщился от громкого голоса и плотно притворил за собой дверь. Мгновение они разглядывали друг Друга.

— Рад, что к вам вернулось чувство юмора, — наконец сказал Гюисманс, присаживаясь на край постели.

— Просто я вспомнил, что пираты кончали жизнь на рее. Жаль, космический корабль не оборудован этой полезной снастью.

— Не все, дорогой Полынов, не все. — Гюисманс покачал головой. — Некоторые становились губернаторами.

— Сейчас не семнадцатый век.

— Верно, масштабы теперь другие. А сущность человека все та же, увы. Но вас как будто не волнует ваша судьба?

— Уж не хотите ли вы дать мне отпущение грехов? Не приму, учтите.

Гюисманс кротко вздохнул.

— Ну к чему эта бравада? Знаю, что угроза смерти для вас не внове. Но согласитесь, принять смерть из рук вашего Большеголового друга, которому вы неловко сломали челюсть, не слишком приятно.

“Осторожно, — подумал Полынов, — не горячись”.

— Вы забыли, Гюисманс, что я могу уйти из ваших лап, когда захочу. Остановить дыхание не так уж трудно.

Гюисманс задумался, полуприкрыв морщинистые веки.

— Мы серьезные люди, — он выпрямился. — Предлагаю вам деловой, взаимовыгодный контракт.

— Сначала ответьте на мои вопросы.

— Я не мелочен. Спрашивайте.

— Во–первых: что будет с пассажирами? Во–вторых: куда мы летим? В–третьих: ваша цель?

Гюисманс достал сигару, не торопясь закурил (“Совсем как Большеголовый”, — мелькнула мысль), выпустил сразу штук пять колец и пронизал их струйкой дыма.

— Удивительно, — сказал он. — Удивительно, как благородные чувства мешают людям жить. Вам не кажется, что добро не может победить зло, потому что его способы борьбы бессильны, а бороться со злом оружием зла значит превратить само добро во зло? И что поэтому добро заведомо обречено на поражение? Подумайте. Вспомните историю, она подтверждает мой вывод.

— Это не ответ.

— Ответ разочарует вас. Кто мы? Вы уже сказали: пираты. Зачем нам все это нужно?

Второй ответ вытекает из первого. Что будет с пассажирами? Все зависит от их благоразумия, можете убедиться в этом на собственном опыте. Куда мы летим? В пояс астероидов.

— Зачем?

— Не разочаровывайте меня в ваших аналитических способностях. Вы же психолог.

Полынов выругался про себя.

— Хорошо, так что вам от меня нужно?

Он встал с видом хозяина, дающего гостю понять, что его дальнейшее пребывание нежелательно.

— Гордыни в вас много, Полынов, гордыни. — Гюисманс сокрушенно вздохнул, любуясь, как медленно расплываются в воздухе кольца дыма. — Вы с детства убеждены, что истина с вами.

— Да, убежден и горжусь этим! — с вызовом сказал Полынов.

Гюисманс зло рассмеялся.

— Лишний раз убеждаюсь, как прав был ваш учитель Энгельс, когда писал, что всякий прогресс есть одновременно регресс.

“К чему эта лиса клонит? — недоумевал Полынов. — Что означают эти душеспасительные разговоры?”

— У нас еще будет время пофилософствовать, — словно отвечая на его мысли, сказал Гюисманс. — Если вы примете мое предложение, конечно. Мы недавно лишились врача, а его помощник — олух. Вы были врачом много лет. Вот и все.

— Та–ак… Вы предлагаете мне участие в ваших грязных делишках?

— Человек всюду человек, а помощь страждущим — моральный долг врача. Делишки, говорите? Я не чувствителен к оскорблениям. Не судите, да не судимы будете, ведь пути человека, как и пути Господни, неисповедимы. Если мы договоримся, я надеюсь убедить вас, что наши помыслы направлены в конечном счете к благу.

Полынова передернуло.

— Нет!

— Подумайте как следует, подумайте. Нам не к спеху. Договоримся, что я не слышал сейчас вашего ответа. Подумайте и, если угодно, попробуйте, насколько приятна… остановка дыхания.

Гюисманс встал, не выпуская сигары, поклонился.

— Приятных размышлений.

Он вышел, оставив Полынова в замешательстве еще большем, чем прежде.

Но на этот раз психолог быстро собрался с мыслями.

Со стороны могло показаться, что его больше всего занимают маникюрные ножницы, которые он вертел в руках. Но это была манера Полынова сосредоточиваться: большинству для размышлений помогает сигарета, Полынову — любая безделушка.

Пираты…

Он щелкнул ножницами.

Ладно, пираты. Глупо, дико, но факт. Он им нужен. Значит, есть шанс сохранить жизнь. Будет время, следовательно, возможность вступить с ними в борьбу.

Полынов удовлетворенно кивнул. Это умозаключение сомнений не вызывало.

Хорошо, но лечить бандитов? Видеть все мерзости и — молчать? Ведь не удержишься…

А если надо? Простая логическая задача. Вариант первый: снова выкрикнуть “нет!”. Как просто, картинно, гордо… И совершенно бесполезно.

Вариант второй: “да”. Без эмоций. “Да” — чтобы начать схватку. А если проигрыш? Жалкий конец. Но кто от этого в накладе? Никто.

Есть и третий вариант: все то же, но в конце — победа. Тогда поступок оправдан.

Если будет победа.

Если будет. И потому схема ошибочна. Его поражение коснется многих. Ведь

человечество рано или поздно узнает о пиратах. Тогда его поступок будет выглядеть скорей всего так: малодушный трус, то ли он действительно хотел бороться, то ли просто спасал шкуру. Вполне логичное предположение. Земные гюисмансы ой как обрадуются, уж это несомненно.

Полынов зажмурился. Только теперь ему открылся весь ужас положения.

Он огляделся, по привычке ища книжную полку. Но ее здесь не было, да и чем могли помочь книги? Это не научная, а моральная проблема, и справочники тут бессильны.

И все же Полынов машинально перелистал лежавшую на тумбочке библию, единственную книгу, которая оказалась в каюте. “Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй”, — бросилось в глаза. С досадой Полынов перевернул страницы: “Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”, но это было уже в веках, бывших прежде нас”.

Полынов отшвырнул пузатую книгу. Ему послышался вкрадчивый голос Гюисманса, цитирующий последние строчки.

Библия шлепнулась на стол, и звук ее падения слился с шумом за дверью. “Сюда”, — послышался грубый голос. Дверь отлетела, толчок в спину швырнул внутрь комнаты девушку. Полынов едва успел ее подхватить. Дверь захлопнулась.

3. Крис

— Вы?!

— Я…

Полынов разжал руки. В глазах девушки бились тревога и радость. На подбородке запеклась струйка крови — час назад ее не было.

— Вас… били? — только и нашелся спросить Полынов.

— Меня? А что… — Она тронула подбородок. — Кровь? А, это я прикусила губу. Боялась разреветься… Пустяки. А вас… вы…

— В полном порядке, как видите, — пробурчал Полынов, совершенно не представляя, что теперь делать. — Что с остальными?

— Увели по одиночке. Меня последнюю. Я уж думала…

— Они по ошибке втолкнули вас сюда. — Полынов шагнул к двери, чтобы постучать.

— Не надо! — девушка схватила его за руку.

— Почему?

— Как вы не понимаете! — В ее голосе было отчаяние. — Опять коридор и эти…

Объяснений не требовалось, достаточно было заглянуть ей в лицо, но Полынов колебался: какую цель преследовал Гюисманс, помещая их в одной каюте? Тут что‑то крылось.

— Но вам самой будет лучше с…

Она перехватила его невольный взгляд.

— Да не все ли равно! И вы… — Она насупилась. — Нет, не все равно… С вами лучше. Вы не будете причитать, как наши… — Она вскинула голову. — Хотите, я стану на колени?

— Что ты, деточка! — опешил Полынов.

— Не называйте меня деточкой! Я взрослая и вообще… — Она топнула ногой. — Представьте, что я ваша сестра. Ну и все…

“Н–да, — подумал Полынов, — не слишком ли это много; впрочем, девчонка права, сейчас не до пустяков, а она, похоже, с характером, бросилась закрывать меня, глупая, ну, ничего, обойдется; но хотел бы я знать — зачем ее сюда, нелепо… Хотя… чем больше нелепостей, тем труднее что‑нибудь понять, в этом есть расчет… Ну, посмотрим еще, кто кого…”

— Ладно… — Он опять не знал, что сказать. — Как вас зовут?

— Крис. И можете говорить мне “ты”. И ругаться, если хотите.

— Почему — ругаться?

— Не знаю. — Она рассеянно огляделась. — На всякий случай.

Она скинула туфли — теперь она не доставала Полынову до плеча, — вспрыгнула на кровать, резким движением головы отбросила со лба челку, уместилась поудобней. Чисто женская особенность в любой обстановке уметь непринужденно устраивать вокруг себя подобие уютного гнездышка.

Она притихла. Полынов как дурак стоял посреди каюты.

— Что будет с нами? — вдруг быстро спросила она. В ее широко раскрытых глазах снова был страх. Но уже смягченный, словно она оторвалась от испугавшей ее книги.

— Сам бы хотел знать, — буркнул Полынов.

— Вот никогда не думала, что попаду в плен к пиратам. А вы кто: бизнесмен, инженер?

Полынов объяснил.

— О! — теперь в глазах Крис был восторг. — Тогда мы спасены.

— Да почему?!

— Очень просто. Вы умеете гипнотизировать, да? Входит бандит — ну, с обедом, что ли, — вы усыпляете его, лайтинг ваш, мне пистолет (я умею стрелять!), мы захватываем рубку и…

Полынов рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? Я сказала глупость?

Полынову стало легко и просто. Редко, но встречаются люди, чьи слова — самые обыденные — всегда непосредственны и свежи. Секрет не в словах, даже не в интонации: в раскованности чувств, когда ничто не мешает им тотчас отразиться во взгляде, в мимике лица, в движениях.

— Нет, Крис, просто у тебя преувеличенные представления о способностях рядового психолога.

…Не объяснять же ей теорию гипноза. Правда, он слышал об исследователях, которым будто бы удавался мгновенный гипноз. Их бы сюда… А его способности, увы, ограничены, кто же знал… Впрочем, она права: и они могут пригодиться…

— Жаль. А то как было бы хорошо… Но мы придумаем еще что‑нибудь, ладно?

— Обязательно, Крис.

Уже через полчаса Полынов знал о девушке все или почти все. Как ей осточертели колледж и сонный городок Санта–Клара; как она заставила отца позвать ее к себе на Марс; как она трусила при старте; какой у нее был великолепный друг — овчарка Найт; почему она не любит транзисторы и мальчишек и почему не может жить без конфет; что, по общему мнению, у нее несносный характер; что она мечтает стать зоологом; что ее любимые писатели Хемингуэй, Чехов и Экзюпери, а политики она терпеть не может, потому что там все обман; а дураков она жалеет, они убогие; ненавидит людей, которые воображают себя “прелестным пупом земли” (сокращенно ППЗ); последнее произведение Гордона она еще не читала (как, вы ничего не слышали о Гордоне?!), а смерти она не боится, так как почему‑то уверена, что с ней ничего такого случиться не может…

Она не стремилась излить душу, ее спрашивали, она рассказывала. Полынова все больше изумляла выносливость ее характера; недавнее потрясение как будто совсем на ней не отразилось, она оставалась самой собой — непосредственной, решительной, угловатой. Полынов отдыхал, слушая ее, улыбался ее наивностям и думал, что у нее счастливый характер. Ему начало казаться, что он знает ее давным–давно и жаль, что она ему не сестра. И что сомневаться не приходится — Крис не могла быть орудием Гюисманса, потому что за короткий срок превратить такое существо в шпиона нельзя.

Вскоре он, впрочем, заметил свою ошибку: потрясение для Крис вовсе не прошло бесследно. Ей стало холодно, она натянула на себя одеяло, ее знобило. Духовная выносливость у ней явно превосходила физическую, а уж если он чувствует себя разбитым…

— Спать, — оборвал он ее. — Мне и тебе нужно отдохнуть.

— Но у нас же нет плана освобождения! И вовсе я не устала. — Она упрямо выпятила свой маленький подбородок.

— Зато я устал, — сказал Полынов.

— Ну, раз так… Я тоже устала.

Она свернулась калачиком и закрыла глаза.

Полынов долго лежал на спине, вслушиваясь в сонное, но неровное дыхание девушки, — несколько раз она вскрикнула — и думал, что теперь на его совести еще и чужая жизнь, а это много тяжелей, но и легче, потому что есть союзник. И что, будь здесь еще хотя бы Бергер, который парень что надо, хотя и фанфарон, бандитам бы несдобровать, потому что три неглупых человека, объединенных одной целью, сильней десятка бандитов. Но сожалеть о несбывшемся нечего, надо думать, как использовать единственное свое оружие — знания, чтобы стать сильнее лайтингов, сильнее Гюисманса, который тоже отнюдь не глуп и который тоже владеет психологией.

Каюта слегка подрагивала от гудения двигателей. Пираты не форсировали работу реакторов — это было заметно по тону гудения. Похоже, они не сомневались, что розыск запоздает и они успеют скрыться в поясе астероидов, где хоть десять лет ищи — ничего не найдешь. У них великое преимущество перед пиратами прошлого, потому что просторы океанов Земли ничто перед просторами космоса. Их бандитизм не столь уж глуп и рискован. Еще два–три таких абордажа пройдут безнаказанно. А потом? Потом возвращение украдкой на Землю. Есть такие способы. Вереницы трупов будут вечно плавать в космосе, а их и след простынет. Солидные господа с миллионами в кармане будут нежиться под теплым солнцем морских курортов, и никто не узнает, не крикнет, что рядом с ним за столиком сидит убийца.

“Полно, не теряй чувства меры, — сказал себе Полынов, — так не будет, ты это знаешь. Одними трупами пассажиров они не обойдутся, будут еще жертвы. Неужто эти остолопы не понимают, какая мина тикает возле каждого из них? Кто понимает, а кто и нет — вот в чем фокус… Отлично, этим надо суметь воспользоваться. Этим нужно воспользоваться во что бы то ни стало”.

Вот и прекрасно, а теперь спать. Сосредоточься на воспоминаниях детства, это помогает. Бревенчатый домик, тепло нагретой земли под босыми ногами… Пыль, мягкая, как подушка. Скрип неторопливой телеги… Если бы кто‑нибудь шепнул ему тогда, что с ним будет, он бы просто не понял, этот смуглый исцарапанный парнишка, Андрюша Полынов… К черту, не думай об этом, думай о хорошем. О том, как они выходили ловить падающие звезды… Нельзя! Нельзя вспоминать небо, каким оно было когда‑то. Нет больше на земле изб, телег, босоногих ребят, не подозревающих, что их будущее прочно связано со звездами. Отсечено временем, невозвратимо; они — первое поколение, которому уже не дано вернуться в страну детства и найти ее неизменной. Они родились в мире, меняющемся слишком быстро. Они сами этому способствовали как могли, задыхаясь на бегу, мечтая о будущем, настигая его. И глупо сожалеть, что их короткая жизнь вместила целые эпохи, изменения, бывшие прежде уделом нескольких неторопливо тянущихся веков. Они построили совсем неплохой новый мир, и не о чем жалеть, не надо, нельзя.

Вскрикнула во сне… Нет, не проснулась. Молодость. Какая она теперь? Он не всегда их понимает, молодых, а он вовсе не стар. Странно, что молодость Крис постижима для него. Ведь их разделяют годы, воспитание, национальность, взгляды. Или обстоятельства убрали шелуху и открылось то вечное, постоянное, что соединяет поколения всех уголков Земли? Должно быть, так.

Однако он хорош. Бойцы, герои в такой ситуации такими не бывают. Если верить соответствующим романам, конечно. Те железные; они не устают, они действуют, стреляют, побеждают. Их не мучает бессонница, они не размышляют над связью поколений, моральные проблемы решаются ими с завидной легкостью. Хотел бы он сейчас быть таким. Затем, чтобы уснуть хотя бы.

Следующий день, однако, не принес заключенным ничего нового. И следующий за ним тоже. О них словно забыли. Трижды с завтраком, обедом и ужином появлялся кто‑нибудь из бандитов. Всегда вдвоем, ни слова в ответ на попытки Полынова разговорить их. Телевизор выключили, и оба пленника как будто очутились на необитаемом

острове. Полное неведение, тишина и спокойствие, когда нервы напряжены, угнетали, и Полынов подозревал, что не тревожат их сознательно. Впрочем, его это не слишком волновало: если космос чему‑нибудь и обучил его, так это умению ждать, не расслабляясь. Он беспокоился только за Крис, но она сама угадала опасность раньше, чем он ожидал, да так, как он и предвидеть не мог.

— Кажется, они решили взбесить нас бездельем, — выпалила она после того, как они битый час впустую обсуждали шансы на спасение, уже начиная повторяться. — И я чувствую… Не хочу больше слышать о пиратах. Их нет. Надо придумать, как сделать, чтобы я и вы о них забыли. Вот.

Она вдруг нахмурилась. Полынов уже привык к мгновенной смене выражения ее лица, к быстрым поворотам ее настроения, но сейчас на него в упор смотрела незнакомая дикарка, испуганная неожиданной мыслью.

— Конечно… — с трудом проговорила она, — я слышала, самое простое, когда мы… когда нас… Ну, чтобы я обняла вас! Не могу… Ну, понимаете… без… без всего… Дура, я же знаю, завтра и этого может не быть, многие и просто так это делают, подруги надо мной смеялись еще там, на Земле, но… но…

— Глупышка, — тихо сказал Полынов, — глупышка… — Ему захотелось погладить девушку, как гладят плачущего ребенка, но он боялся встать, чтобы не спугнуть ее. — Выброси из головы эту муть. Никогда нельзя делать того, чего не хочешь, никогда, даже если это кажется нужным, даже когда обстоятельства берут за горло, даже если убедишь себя… Скверно получается. — А мы еще будем жить долго, назло всему. Я знаю, у меня так было, когда…

И он внезапно для себя стал рассказывать то, что он не рассказывал никому: то, как было с ним однажды, когда двое ждали неизбежной, казалось, смерти, а он был молод; то, что он потом вспоминал со стыдом, хотя никто ни в чем не смог бы его обвинить, даже, если бы желал. Никто, кроме совести. Крис слушала — внимательно, освобождение, кивая головой. Потом облегченно сказала:

— Я думала, со мной одной такое… Боялась, что не поймешь и скажешь: “вот дура”.

— Все думают, что с ним одним бывает такое, — вздохнул Полынов, успокаиваясь, — только не все поступают одинаково. Некоторые берут медь вместо золота из страха, что золота не будет. А потом бывает поздно. И я успел частичку себя разменять вот так… Знаешь, Крис, — вырвалось у него, — когда я в твои годы читал великих писателей, по–настоящему великих, изображенные ими страдания души иногда ужасали меня, иногда вызывали недоумение, иногда забавляли. Но я не чувствовал своей близости к ним. Мучается Гамлет. Интересно, но какое отношение это имеет ко мне? Ведь это было давно и с другими, сейчас не те времена, да и я не Гамлет. Я так думал чистосердечно и, знаешь, это ощущение моей отрешенности от душевных мук других приподнимало меня. Я сверху вниз смотрел на всех этих гамлетов, донкихотов, Карамазовых. Не знаю, чего здесь было больше: инстинкта, оберегающего от потрясений, нравственной слепоты или желания быть неуязвимым. Ты понимаешь?

— Кажется. — Крис задумалась, рассеянно теребя прядь волос. — Нет, не совсем. Не хочу, чтобы жизнь была такой, как в этих книгах. Так переживать — это жутко!

— Наше положение не менее жуткое.

— Но ведь мы не страдаем так… ну, как у Достоевского…

— Может быть, потому, что мы проще, примитивней, железобетонней, чем у Достоевского? Или цельней?

— Не знаю… Все это так сложно и трудно. Я бы не могла так. Читая Достоевского, я радуюсь, что это не со мной. Я эгоистка?

— Нет, пожалуй, здесь не то.

— А что же?

— Я и сам себя спрашиваю: что же? Я вот почти уверен, что предводитель наших пиратов читал больших писателей. А он подлец и убийца. И он не человек, потому что он не

видит себя в других.

— Может, он отнесся к литературе как к вымыслу?

— Возможно, что для многих это спасительная мысль. Что не литература следует за жизнью, а жизнь за литературой. Так проще и уютней. Надо лишь запретить, уничтожить, сжечь вредные книги, и жизнь тотчас станет простой, ясной…

— И бесчеловечной.

— И бесчеловечной. Но первопричина не в этом, а в общем строе воспитания. В том, какая связь объединяет людей. В классовых отношениях. Это основа.

— Классовые отношения? Это я понимаю плохо. Есть хорошие люди, есть плохие. Дураки и умные. Люди с совестью и без. Богатые и бедные? Чем богатые — сердцем, умом, деньгами? Это важно.

— Конечно, важно. Но пока есть хозяева, есть рабы, верно? Пока один может приказать другому “думай так, а не иначе, поступай так, как я хочу”, рабская психология неистребима, так?

— Я не люблю догм, а у вас все разложено по полочкам: это правильно, это неправильно, это хозяин, это раб, это уничтожить, а то пусть живет…

— Крис, я забыл, что в ваших колледжах проходят курс “коммунизма”.

— Как ты можешь думать, что я верю всяким глупостям! — Глаза Крис яростно сверкнули. — Это я сама так считаю! Один человек не равен другому, нет этого в жизни, нет, и полочек тоже нет, и хватит об этом, весь мир на этом помешался! Слышать не хочу!

“Да, — подумал Полынов, — самое трудное, чтобы тебя понимали правильно. Когда человек слышит только самого себя, тут и появляются полочки, ящички, этикетки. Как в аптеке: здесь яд, здесь лекарство… Нет, в аптеке знают, что всякое лекарство — это яд, и яд — лекарство, все зависит от того, как, чем и в каких дозах пользоваться. А вот он сказал очевидную вещь, истину, и в ответ возмущение, восстание души, столь близкой ему, казалось бы. Плохой он психолог, все мы никудышные психологи, нам учиться и учиться, а мы вместо этого торопимся учить. Потому что некогда, потому что надо спешить, потому что другие учителя не ждут — выходи на бой таким, каков ты есть, ничего другого не остается. И, сомневаясь в своих силах, борись, будто сомнения тебе чужды, иначе все увидят твою слабость, и тогда — конец”.

— Ежик, спрячь иголки, — просительно сказал Полынов.

Крис фыркнула, улыбнулась, опять фыркнула и теперь уже рассмеялась.

— Я говорила, что у меня скверный характер. — В ее голосе слышалась гордость. — Но я больше не буду ежиком, буду пай–девочкой. Расскажи о себе.

Она подперла подбородок кулачком.

“Не хочу ее воспитывать, — сказал себе Полынов. — Хочу смотреть, как она хмурится и смеется, как она лежит, как молодо каждое ее движение, как непосредственно и красиво все, что она делает. Ведь больше в жизни у меня скорей всего ничего хорошего не будет. Вообще ничего не будет. Совсем”.

Лежа на спине и закрыв глаза, Полынов стал вслух вспоминать. Он снова видел злополучный марсианский песчаный прибой, его обжигали пламенеющие ураганы Венеры, фантомы Меркурия опять плясали за стеклом вездехода, он снова тонул в ужасном болоте Терра Крочи. Он сам удивлялся тому, что пережил, это казалось невероятным, он много раз должен был погибнуть, и вот же цел, как ни странно.

Он приоткрыл глаза, искоса взглянул на Крис. Она слушала, как дети слушают сказку, — приоткрыв рот, и трудно было поверить, что недавно она спорила о вещах, от которых у стольких мудрецов болит голова. Полынов почувствовал, как к нему возвращается уверенность.

Дни заключения тянулись долго, но пролетели они быстро. И когда вошедший охранник, не тратя слов, кивнул Полынову на дверь, обоим показалось, что они ничего не успели сказать друг другу. Оба вздрогнули от неожиданности, хотя ожидали этого каждую минуту.

Крис вскочила босиком, ткнулась лбом ему в грудь, порывисто обняла, неумело мазнула губами по щеке.

— Ты вернешься, — глухо сказала она. — Вернешься.

Полынов притянул ее за плечи.

— Хорошо.

Охранник цинично захохотал.

Полынов шел, подняв голову, по коридору, пустому, как и салон, который они миновали. Там больше не гремела музыка, тени танцующих не скользили в зеркалах. Там, среди небрежно сдвинутых стульев, поселилось молчание. С прилавка бара исчезли бутылки, полки как вымело, лишь яркая этикетка от ликера подрагивала на голой доске в токе воздуха, словно пытающаяся взлететь бабочка. Чавкающий звук магнитных присосок замирал при каждом шаге встревоженным шепотом.

— Налево! — Даже охранник командовал вполголоса.

Полынов свернул к рубке. Из нее вышел какой‑то человек.

— Бергер! — Полынов узнал пилота.

Тот споткнулся. Полынов видел, как покраснела его шея.

— Бергер!

— Но, но, не велено, — лениво сказал охранник, но Полынов уже поравнялся с Бергером.

Пилот отвел взгляд и торопливо зашептал.

— Тактика требует… Соглашайтесь, соглашайтесь… Они настроены решительно, но объективно… Мы должны держаться вместе.

Он ускорил шаг, втянув голову в плечи. Это было так не похоже на энергичного швейцарца, что Полынов приостановился.

Толчок в спину заставил его очнуться.

Как и тогда, на двери рубки горела рубиновая надпись “Посторонним вход воспрещен”. Полынов переступил порог.

Как и в тот раз, в рубке было полутемно, тлели лишь фосфоресцирующие шкалы приборов. Мощность обзорного экрана была доведена до предела, и в рубку заглядывали тысячи немигающих звезд, собранные посредине в искрящийся жгут Млечного Пути.

Кресло первого пилота повернулось, и Полынов увидел Гюисманса. Звездный свет очерчивал длинный костлявый лоб, тонкий нос, запавшие щеки, оставляя в темноте провалы глазниц. Второе кресло пустовало, но на сиденье не успел стереться отпечаток чьего‑то грузного тела. “Неужели Бергер?” — подумал Полынов.

В углу слабо шевельнулась фигура в черном, блеснуло дуло лайтинга.

— Садитесь, Полынов. Утешились наконец? — В вопросе таилась насмешка.

Полынов сел, исподтишка бросил взгляд на пульт управления.

Ручка экстренного торможения слишком далеко — рывком не дотянуться. Да и глупо: двенадцать уже не смертельны, а вот выстрел в спину…

— В ваших планах, — Полынов твердо решил завладеть инициативой, — есть одна неувязка, опасная для меня… и для вас.

— Любопытно, любопытно, — с иронией сказал Гюисманс. Его глаза блеснули из темноты провалов. — Просветите.

— Рано или поздно вам придется вернуться на Землю, потому что в космосе награбленные богатства вам ни к чему. Так?

— Допустим.

— И тогда вы будете вынуждены кое−кого из своей шайки ликвидировать. Может быть, его. — Он кивнул в сторону забившегося в угол стража.

— Это почему?

— Вам непонятно? Удивительно. Кто‑нибудь обязательно проболтается о ваших похождениях. И тогда вам крышка. Вам придется убрать ненадежных, чтобы этого не случилось. Меня уж во всяком случае. А может, и вас уберут, ведь свалки вам не избежать.

Полынов испытующе посмотрел на Гюисманса, ожидая его реакции.

— Вполне логично. — Гюисманс утвердительно наклонил голову и обхватил руками колено. — Но вы не учли одного обстоятельства, которое сводит на нет ваши безупречные построения.

— Какого? — вопрос прозвучал беззаботно.

— Об этом мы поговорим, если вы скажете “да”.

Полынов встревожился. Удар не достиг цели. Но почему? Притворство? Нет. Полынов готов был поклясться, что нет.

— Пусть так, — сказал Полынов. — Но уж коли вы предлагаете мне сделку, я вправе поставить свои условия.

— Забавно. Я обещал вам жизнь, чего еще вам надо?

— Во–первых, мне нужна гарантия безопасности всех пассажиров и всех членов экипажа. Во–вторых, карты на стол!

Гюисманс язвительно засмеялся.

— Да вы юморист, Полынов! Вы абстрактный гуманист! Безопасность своих противников, ха–ха… Ведь сенаторша, троечка миллионеров и прочая шваль враждебны вам, коммунисту, — разве не так?

— Это мое дело. Вы принимаете условия?

— Не смешите меня. Право, я уже достаточно повеселился. Вот что. Я реалист. Карты на стол. Что ж, возможно, это зависит от вас. Пассажиры вас не касаются, запомните. Единственное, что я могу вам обещать, — это безопасность одной симпатичной девочки. Вы понимаете?

Полынов вздрогнул. Вот оно. Ловушка. Видимо, он им здорово нужен. И Крис. Крис — заложница.

— Давайте все поставим на свои места, — Гюисманс наклонился к нему, стараясь разглядеть выражение его лица. — Должен предупредить, что эта девочка — она мила, не правда ли? — законная добыча Большеголового. Такова плата за его участие в наших делах. А у Большеголового дурацкая привычка любить девушек, мучая их. Он сноб и растягивает это удовольствие. Закон на Земле почему‑то не раз уже придирался к нему за эту невинную слабость. Так что поймите, речь идет не об одной вашей жизни, а о двух. И даже кое о чем большем, чем жизнь. Такое условие вас устраивает?

У Полынова перехватило дыхание. Гюисманс самодовольно улыбался, приближая лицо все ближе и ближе. Полынов отчаянным усилием подавил желание сдавить эту тонкую жилистую шею.

— Требуется нашатырный спирт? — промурлыкал Гюисманс.

Отвести взгляд, иначе не выдержу. Звезды. Тысячи родных и близких звезд, вечная природа — какую гадость ты рождаешь! Расслабиться. Побольше отчаяния. Пусть думает, что раздавил меня.

— Хорошо… Я принимаю… Я вынужден…

— Согласны быть у нас врачом? — быстро спросил Гюисманс.

— Да.

— А может, и от убеждений заодно отречетесь, а? Ну, ну, я пошутил. — Гюисманс замахал руками, поняв по выражению лица Полынова, что переиграл. — Все и так славно устроилось. Коньячку по такому случаю, как?

— Нет.

— Тогда партию в шахматы, как встарь?

— Согласен.

— Отлично!

Гюисманс щелкнул пальцами. Охранник исчез. Гюисманс отодвинулся от Полынова, положил руку в карман, напрягся.

— Зря, — сказал Полынов. — Не буду я вас душить, если вы сдержите слово.

— Мое слово — закон, и не мне вас бояться, — надменно сказал Гюисманс, но руки из

кармана не вынул.

Принесли шахматы, и они сели играть. Полынов рассеянно двигал фигуры, зевнул ферзя и проиграл, что и вовсе улучшило настроение Гюисманса.

— Да, кстати, — сказал он напоследок, — видите?

Он извлек из кармана маленькую коробочку и потряс ею.

— Вы догадываетесь — это магнитофон. После соответствующего препарирования наш разговор попадет в общую катушку информации. Единственную, которую сможет получить человечество в случае нашей неудачи Если вы помните, некоторые места нашего разговора просто великолепны. Например: “Согласны быть у нас врачом?” — “Да”. — “Тогда партию в шахматы, как встарь?” — “Согласен”. Я с вами совершенно откровенен и прошу вас о том же.

Когда Полынов вернулся в каюту, Крис бросилась к нему, подпрыгнув, повисла на шее, плача и бормоча:

— Цел, цел…

“А поймет ли она мой поступок?” — со страхом спросил он себя, уклоняясь от шквала обрушившейся на него радости.

4. База пиратов

Он рассказал все без утайки, умолчав лишь о Большеголовом и о ее собственном незримом участии в торге. Она слушала, сдвинув брови, уперев свой маленький упрямый подбородок на сцепленные пальцы, и он ничего не мог прочесть в ее взгляде — ни укора, ни одобрения. Одно лишь доверчивое внимание. Но его постепенно сменяло отчуждение.

Полынов даже застонал. Бог мой, если бы ты была мужчиной, я бы знал все твои мысли наперед. Но такой вот ребенок — загадка…

Он хотел удержаться от оправдания и не смог.

— В истории моей родины, я читал, был однажды такой случай. — Полынов старался не смотреть на Крис. — Тогда на Русь навалилась мощная и беспощадная сила — татары. Они подмяли все и всех. А потом хан вызвал к себе одновременно двух князей. Перед аудиенцией, от которой зависело многое, оба должны были пройти мимо очистительных костров. Это не было издевательством, нарочно придуманным для унижения князей. Просто ритуальный обряд. Первый князь прошел через огонь. Второй отказался, и ему отрубили голову. Людская память не запомнила его имени. А того, который прошел сквозь огонь и выторговал у хана сносный мир, знают и теперь. Это Александр Невский, победитель шведов, немецких рыцарей, наш национальный герой. Он поступил…

— Как благоразумный человек, я понимаю, — перебила Крис. — А если бы его уступка оказалась ни к чему, кем бы он стал тогда?

— Со стороны легко судить. — Полынов отвел взгляд. — Очень.

Он прошел, не глядя на Крис, в ванную. “Да, надо умыться — сказал он себе, — полегчает”. Он с отвращением посмотрел на себя в зеркале. Кричи от бессилия, кричи, нашел, где искать самооправдание, — у бескомпромиссной юности. Тряпка. Он‑то думал, что его сила всегда с ним! Оказывается, львиную часть ее он брал взаймы у других. Неужели сам по себе он так мало стоит, когда рядом нет друзей? Хороший урок, справедливый урок.

В зеркале Полынов заметил Крис. Девушка подошла беззвучно. Полынов заставил себя улыбнуться так, как нужно. Мужественная, уверенная улыбка старшего, знающего, как и что делать. Спокойная, ободряющая улыбка.

— Не надо! — вдруг сказала Крис. — Я… Я не хотела… не хотела обидеть…

Она потупилась.

— Ну что ты, — беспечно сказал Полынов.

— Я только хотела… — Она вскинула голову и с вызовом посмотрела на Полынова. — Я хотела сказать, что у нас больше нет выбора, что мы должны победить! Вот…

Полынов хотел что‑то сказать, но вовремя понял, что говорить ничего не нужно. Он протянул руку, и Крис доверчиво вложила в нее свою.

Заключение продолжалось. Никто не беспокоил Полынова ни как пленника, ни как врача, только приносившие еду охранники сделались разговорчивей то ли из‑за скуки, то ли из‑за отмены приказа молчать.

Чаще всего появлялись двое, словно подобранные нарочно по контрасту. Сначала, загораживая собой дверной проем, входил беловолосый, белозубый англосакс: наметанным взглядом наглых серых глаз он обшаривал каюту и лишь тогда пропускал нагруженного судками низкорослого человека с лицом смуглым, как обожженная глина, и столь же бесстрастным, Сомкнувшиеся густые брови придавали ему мрачный вид. Пока он — ставил на стол тарелки и судки, Грегори — так звали белого гиганта — стоял у входа, почти подпирая головой потолок. Широко расставив ноги, он небрежно поигрывал лайтингом, словно невзначай наводя дуло то на Полынова, то на Крис. На суетящегося смуглолицего Амина он поглядывал с нескрываемым презрением, а однажды, когда тот уронил вилку и наклонился, лениво наподдал ему ногой под зад, так что тот въехал под стол. Это несказанно развеселило Грегори, но, по–видимому, совсем не задело жертву.

Полынов пользовался любым случаем, чтобы разговорить эту странную пару. В отношении Амина успех был невелик. Казалось, ничто не заботило, не волновало этого неграмотного забитого крестьянина, словно вырванного из средневековья и волшебством перенесенного на ультрасовременный космический лайнер. Ничто, кроме беспрекословного и точного исполнения полученного приказа.

Мир Грегори был куда шире. Похохатывая, тот с удовольствием вспоминал неоколониальные войны, в которых участвовал, бесчисленные кабачки, в которых пил, жрал и любил. Единственное, что его восхищало на свете, — это он сам. Он гордился своими мускулами, своими похождениями, своим бесстрашием и своей жестокостью так, что Крис кипела от возмущения. Она никак не могла понять, почему Полынов с охотой слушает всю эту мерзость.

— Это же профессиональный интерес, — отшучивался он. — Любопытный экземпляр человека разумного, разве не так?

— Просто бандит.

— Второй, Амин, тоже бандит. Однако какая разница! И какое сходство!

— Не верю, что Амин бандит. Он такой несчастный!

— Если ему прикажут задушить ребенка, он это сделает, твой несчастненький.

— Не верю!

— Хотел бы я ошибиться… Ты права, сам он этого не сделает. Как не сделает автомат, пока в него не вложена программа.

— Он человек, а не автомат.

— Человек, который равнодушен к издевательствам, уже не человек.

— Мне противны твои расспросы этих… Мне неприятно, как ты говоришь о человеке, словно это машина…

— Нет, Крис, тебе противно, что я при тебе лезу в дерьмо. Но я буду делать это. Я буду стараться, чтобы Грегори со смаком рассказывал, мне, как он жег деревушки вместе со стариками и женщинами. Я буду вслушиваться в молчание Амина, которое пугает меня не меньше, чем откровенность Грегори. Так надо.

— Тогда позволь мне затыкать на это время уши.

Но Крис была неспособна долго злиться, и утраченная на время духовная близость возвращалась к ним вновь, и это помогало им держаться все дни, пока длилось заключение и одиночество, не теряя самообладания, не поддаваясь бесцельным мыслям в часы, когда со всех сторон подступала тишина, изредка прерываемая звуком близящихся шагов.

Наконец корабль стал тормозить. Плавные толчки наваливались попеременно со всех сторон, звездолет бросало, и это длилось часа три. Потом рев двигателей смолк. Полынов подкинул пепельницу; она, однако, не повисла в воздухе, а медленно опустилась на стол.

Полынов и Крис обменялись взглядами. Оба подумали об одном и том же: чем их встретит пиратское гнездо?

Они ждали, прислушиваясь к шуму, топоту, невнятным голосам, наполнившим корабль. О них словно забыли. Лишь когда все стихло, в каюту просунулась бычья голова Грегори.

— Выходи.

— Как называется астероид? — Полынов встал.

— Рай господа–бога. — Охранник мрачно выругался.

Полынов еще надеялся мельком увидеть хоть кого‑нибудь из пассажиров. Но нет: их вели по пустому кораблю. В шлюзовой, сопровождаемые Грегори и Амином, они натянули скафандры. Охранники тоже оделись. Улучив момент, когда Грегори защелкнул шлем, Полынов быстро спросил Амина:

— Остальные?

— Аллах хранит всех, — почти не разжимая губ, отозвался Амин.

Створки шлюза неторопливо разошлись. Такого не видел даже Полынов: в звездной бездне двигались три маленькие луны, похожие на осколки разбитого зеркала. Прямо за люком лежала черная громада астероида, очерченная зубчатым венчиком пылающих скал. Огни перепрыгивали с вершины на вершину, словно зажигались каменные свечи. Полынов поспешно опустил светофильтр и отвернулся, когда из‑за края вынырнул разящий сегмент солнца. Он успел заслонить ладонью глаза Крис. В наушниках загремел хохот Грегори: неопытный Амин забыл опустить светофильтр и теперь корчился от рези в глазах.

Пока они спускались, поверхность астероида, над которой взлетало солнце, успела превратиться в хаос слепящих и черных плоскостей, линий, ломаных пятен, раскаленных граней, теней провалов. Но у Полынова был тренированный взгляд: в кажущейся бесформенности пейзажа он с удивлением обнаружил признаки каких‑то циклопических сооружений, явно построенных человеком. Более того, откуда‑то вырывались струйки газа; мерцающим шлейфом они опоясывали астероид.

Он хотел пристальней разглядеть эти странные постройки, имеющие, по–видимому, какое‑то отношение к химии, но спуск по трапу занял секунды, а дальше их повела дорога, загороженная с обеих сторон глыбами, так что он мог видеть лишь серебристые пряди газа, сквозь которые просвечивали щербатые луны.

Дорога подошла к подножью высокой скалы и нырнула в толщу камня. В своде тотчас вспыхнули лампочки, еле различимые после бешеного сияния солнца. Тоннель, круто уходя вниз, уперся в массивные ворота. Грегори поднял руки.

— Именем всевышнего!

Створки ворот ушли в стену.

“Ну и пароль!” — подумал Полынов.

Шлюз походил на пещеру, только пол был металлопластиковым. Магнитные подковы ботинок тотчас присосались к нему, и люди снова ощутили некое подобие веса.

— Метеориты часто падают? — спросил Полынов, стягивая шлем.

— Хватает, — буркнул Грегори, освобождаясь от скафандра.

— Тогда вы неразумно поступили, вытащив свое хозяйство на поверхность.

— Какое хозяйство? А, завод… Это не моя забота.

— Чья же?

— Бросьте, док. — Грегори испытующе посмотрел на психолога. — Спирт у вас в аптечке есть? — вдруг без всякого перехода спросил он.

— Спирт? Не знаю… А что?

— Я знаю, что есть. Дадите?

— С разрешения или без?

— Умный человек, док, не задает таких вопросов.

В светлых глазах охранника не было ни тени смущения. Присутствие Амина его нисколько не беспокоило. Но он явно торопился закончить разговор в шлюзе.

— По рукам или как?

— Заходите на прием — потолкуем.

Грегори энергично замотал головой.

— Не выйдет там разговора. Договоримся здесь.

— Почему не выйдет?

Охранник загадочно усмехнулся.

— Сами поймете. Решайтесь, док.

— Я сказал: потолкуем после.

Грегори посмотрел на Полынова, как на дурака.

Отшлюзовавшись, они спустились еще ниже по лестнице, выбитой в скале. На оборудовании подземелья явно экономили, Где только можно, камень оставался неприкрытым, и это придавало помещению сходство с феодальным замком. Если бы не удивительная легкость тела, яркий свет ламп, необычная геометрия ступеней, можно было подумать, что время повернуло вспять и что разыгрывается сцена из эпохи средневековья.

Полынов рассчитывал многое увидеть по пути, но все двери были закрыты, никто не попадался, база казалась вымершей. Несколько раз они останавливались перед герметичными переборками, рассекавшими коридоры, и всякий раз плиты уходили в сторону или поднимались вверх, как только Грегори, подойдя вплотную к стене, шепотом произносил несколько слов. Тревога Полынова росла. Это не пиратская база. Сооружение такой базы не окупят и десять ограблений. Пиратам ни к чему завод, что бы там ни выпускали. Сюда вложены безумные деньги. Но зачем, зачем? Какие зловещие планы крылись за всей этой чертовщиной? Чей преступный замысел породил это гнездо, могущее выдержать ядерный удар, этих бандитов, эту очевидную бессмыслицу с ограблением мирного лайнера и пленением его экипажа?

В камере, куда их втолкнули, было два стула из дюралевых труб, лампы дневного света под потолком, там же решетка кондиционера; матрацы, уложенные прямо на металлопластиковый пол. Стол отсутствовал. Да он и вряд ли уместился бы на таком крохотном пространстве.

Крис растерянно озиралась. Всю дорогу она держалась за Полынова, явно подавленная новизной космического пейзажа, таинственностью базы, суровостью ее стен.

— Отсюда будет еще трудней…

Полынов свирепо посмотрел на нее, и она осеклась. Движением брови он показал на потолок. За решеткой кондиционера что‑то слабо поблескивало, и у Полынова не было сомнений, что оттуда за ними наблюдает телеглаз, что спрятанная аппаратура ловит каждый шепот.

Крис печально улыбнулась, и Полынов понял ее: отныне им придется угадывать мысли друг друга, если они захотят говорить о чем‑нибудь серьезном.

Они сели друг против друга в унылом молчании. У них отняли последнюю свободу. Свободу общения, которой обладали даже узники концлагерей.

Слабо пискнул электромагнитный засов. Оба вздрогнули.

— Идемте, док.

Полынов кивнул Крис. Та еле сдерживала слезы.

Грегори провел психолога в конец длинного бетонированного коридора. У поворота они остановились перед дверью под номером одиннадцать.

— Мне поручено проинструктировать вас, док, — сказал охранник. — Здесь ваше помещение. Дверь сюда открывается при слове “аптека”, запомните. Особо ценные лекарства, — Грегори выразительно посмотрел, — в сейфе. Запор настроен на ваш голос, на слово “сезам”, ясно? Дверь вашей камеры отпирает фраза “добрый вечер”…

— Значит, я могу выходить из тюрьмы?

— Разрешено. Обед с 13.00 до 13.30 в помещении под номером семь. Завтрак там же в…

— Тоже паролем открывается?

— Нет. В положенное время войдете беспрепятственно. А сейчас к вам придет…

Грегори покрутил пальцем возле лба.

Не успел Полынов как следует осмотреть свое хозяйство, как послышались шаркающие шаги и порог больницы переступил хмурый, тощий мужчина в мятом лабораторном халате, из нагрудного кармана которого торчала отвертка–тестер. В открывшемся просвете двери Полынов заметил удаляющуюся фигуру Грегори. Охранник громко напевал:

Далекий свет, далекий свет, далекий свет
Горящих сел
И звезд.
Залей вином, залей вином, залей вином
Горящий свет
Далеких сел
И звезд.

Вошедший сосредоточенно посмотрел на Полынова, мрачно сказал “так”, но остался стоять, поблескивая стеклами очков. Глаза умницы, полуприкрытые веками, бесцеремонно изучали психолога. На щеках незнакомца темнела траурная щетина, его засаленный галстук и несвежая сорочка были под стать всему облику.

— Так, — еще раз мрачно произнес он. — Эриберт, электрик. Главный! Так меня зовут. Ни одна сволочь меня тут не понимает, а вы?

— Садитесь, — сказал Полынов. — На что жалуетесь?

Эриберт загадочно усмехнулся.

— Бессонница, моя бессонница… Одна таблетка — не сплю, думаю. Две таблетки — не сплю, мучаюсь. Три таблетки… Так и до могилы недалеко, верно? Никто моей болезни понять не может, никто…

— Успокойтесь, я попробую понять. Вы еще будете спать сном младенца.

— Да? Разве тут уснешь сном младенца? — У больного саркастически скривились губы.

Он сел, как садятся усталые люди, сгорбившись. Его глаза за стеклами очков теперь не мигали, и это делало взгляд неприятным.

— Расскажите все по порядку, — попросил Полынов, подкатывая диагностирующий аппарат.

— Нечего рассказывать, нечего. Был, жил умный глупец. Нанялся, прилетел. Бессонница. Вскоре. Некому лечить. Услышал о вас, вот пришел. Надеюсь, не веря.

Его монотонный голос тем не менее был полон выразительности, и Полынов жадно прислушивался к интонациям: опыт психолога подсказывал, что сидящий перед ним больной не прост и его болезнь — тоже.

— Раньше в космосе были?

— Нет.

— Давно бессонница?

— Три месяца скоро, а будет — вечность. На зеленую травку бы…

— К прежнему доктору обращались?

— Нет. Боялся. Хотел сам справиться.

— Сами виноваты, что запустили.

— Конечно, сам. Верил, надеялся… Крах.

Полынов укрепил на висках и запястьях его рук датчики, покрутил настройку. Результат его весьма заинтересовал.

— О земле думаете? — мягко спросил он.

— Земля…

Уголки губ Эриберта поползли вниз, лицо приняло мечтательное выражение.

— Земля… На земле — травка… Испортят.

— Нет, — твердо сказал Полынов.

— Вы думаете? — Эриберт оживился. — Вы обещаете? Последние дни мне совсем

плохо, некоторые думают, что я схожу с ума… Но я нет, я нормальный, верно? Только бессонница…

— Только бессонница, — как эхо отозвался Полынов. — Не бойтесь, психика у вас почти в порядке. У вас редкое заболевание. Но работать вы можете.

— Я и так работаю. Специалисты тут незаменимы. Вы мне поможете?

— Конечно. Для этого я здесь и оказался.

— Спасибо. Лечить‑то, лечить как будете?

— Я же сказал: случай необычный. Не все сразу. Пока я пропишу вам лекарство. Завтра снова покажитесь, мне нужно знать, как оно подействовало.

— Хочу верить… — больной впервые посмотрел на Полынова с надеждой.

— Надо верить, — жестко сказал Полынов. — Иначе я не гарантирую, что вы увидите травку.

— Травка… Зеленая травка… Я хочу, хочу… Оживление прошло, Эриберт меланхолично тянул свое.

Было похоже, что он бредит.

— Отставить! — Полынов встал. — Больной должен помогать врачу, а не только врач больному. Возьмите себя в руки.

Эриберт тоже встал.

— Не кричите. Я возьму себя в руки. Мне очень плохо. На вас вся надежда. Если только она есть.

— Есть, не сомневайтесь.

Но сам Полынов еще не был уверен в этом…

Он занялся осмотром хозяйства. Выбор лекарств был огромен, аппаратура тоже была отменная. Это его обнадежило. В ящике стола он нашел магнитозапись своего предшественника, прослушал ее. Все пустяки: болели на базе редко. Одна ножевая рана при драке, вывих челюсти А это что? “Острое отравление дисунолом”… — услышал он диагноз.

Дисунол. Дисунол… Он не слышал, чтобы в космосе применяли вещество с таким названием.

Полынов кинулся к справочнику врача. Любопытно. В справочнике о нем ни слова. Но между страницами заложен листок, в нем перечислялись симптомы отравления дисунолом, меры лечения. Типичная шпаргалка. Нет ли тут где‑нибудь химического справочника? Нет.

А все‑таки это название что‑то напоминает. Что‑то знакомое. Какой‑то хорошо известный специальный термин.

Ну конечно, дисан.

Дисан!

Полынов сел, постарался унять сердцебиение. Полно, он сходит с ума. Кому нужен здесь дисан? Чушь. Скорей всего виновато сходство слов, а производят здесь вовсе не дисан. И вообще, откуда он взял, что дисунол — продукт промежуточной реакции получения дисана? Ведь он не химик. Но что‑то ведь производят на этом проклятом заводе. Если дисан — тогда это страшно.

Он не мог больше сосредоточиться, мысли разбегались. Слишком много неожиданностей. Удручающие казематы, электронная слежка, трудный разговор с Эрибертом, наконец, дисунол… Надо прогуляться, раз уж тюремщики предоставили ему такую возможность.

Узкий коридор с обоих концов, как и ожидал Полынов, был заблокирован массивными щитами, изолирующими его, а следовательно, и Полынова от остальной базы. Он по–прежнему был пленником, и за каждым его шагом следили (Полынов заметил, что и в больнице и в коридоре находились глазки телеаппаратуры — их даже не постарались скрыть).

Полынов подумал, что его положение схоже с положением мухи, очутившейся под стеклянным колпаком. К тому же он не знал ни схемы базы, ни числа людей, ее

обслуживающих, ни магических паролей, позволяющих передвигаться по ней беспрепятственно. Крис, бесспорно, права: предпринять что‑нибудь в таком положении трудно, а по мнению тюремщиков, просто невозможно. Правда, если у них есть такая уверенность, тогда еще не все потеряно.

Неожиданно он увидел незапертую дверь. Секунду поколебавшись, он ее толкнул. И отшатнулся: из комнаты, вперив в него жуткий взгляд, смотрело кошмарное чудовище.

Полынов привалился к стене, ожидая появления либо охранников, либо чудовища. Но ничего не произошло — кругом было тихо, как в усыпальнице, лишь мигала, потрескивая, какая‑то лампа. Любопытство, более сильное, чем страх, заставило Полынова снова заглянуть в комнату. И он зажал рот, чтобы не расхохотаться.

Каморка была уставлена восковыми фигурками каких‑то чудовищ, порожденных горячечной фантазией, и людей, самых натуральных людей. Неизвестный художник был, несомненно, талантлив, он добился потрясающей силы впечатления. В каждой человеческой фигуре был запечатлен один какой‑нибудь образ, словно коллекция была призвана демонстрировать самые высокие и самые низкие проявления характера. Здесь находились Святость и Низость, Любовь и Жестокость, Благородство и Подлость… Была тут и фигура Простого Среднего Человека: в меру добродушного, в меру благообразного, в меру себе на уме, не в меру оптимистичного и не в меру заурядного. Именно таким изображали Простого Среднего Человека телевидение, газеты, журналы, радио. Копии были, несомненно, удачными. Даже не одна копия, а три: Простой Белый Человек, Желтый Человек и Черный Человек. Восковой обыватель, вне зависимости от своей расовой принадлежности, улыбался широкой лучезарной улыбкой.

Полынову стало жутко, и он не сразу понял почему. Потом он сообразил — и в этом было какое‑то колдовство: паноптикум жил. Выражение лиц менялось в зависимости от ракурса, от освещения. Глаза фигур пристально и бездумно смотрели на него. Он даже потрогал фигуры, чтобы убедиться в их искусственном происхождении.

Психолог не знал, смеяться ли ему, плакать или восхищаться этой гениальной подделкой под человека. Одно было непонятно: кому и зачем нужен такой музей? И случайно ли, что единственная отпертая дверь вела в маскарадную?

— Полынов, время вашего обеда истекает! Поторопитесь, если не хотите остаться голодным!

Голос прогремел откуда‑то сверху. Психолог поморщился. Дурацкие приемы: ошарашить, сбить с толку, запугать. Но они дают эффект, это надо признать.

5. Карты на стол

Опустив голову, Полынов понуро побрел в столовую. Игра в кошки–мышки продолжалась, и он делал единственно возможный ответный ход. Пусть Гюисманса порадует его растерянность. Пусть все видят, как Полынов плетется к указанной ему конуре.

На одном из столиков его ждал обед. Никого больше в столовой не было. Она имела еще два выхода, но оба оказались наглухо закрытыми. Главной особенностью столовой был подъемный механизм для пищи. Нечто вроде подноса на шарнирах, опускающегося сверху вниз. Полынов попробовал механизм, отвел “поднос” до отказа вниз, но ничего не произошло. Очевидно, кухня была расположена над столовой и еду опускали в люк прямо на “поднос”, с тем чтобы обедающий брал все сам. Весьма примитивная автоматика, но ясно, что она предназначена не для него одного. Видимо, были серьезные причины ограничивать время его обеда; похоже, тюремщики отнюдь не горели желанием дать ему возможность встречаться с кем‑нибудь за обедом. Но ведь пациенты могли приходить к нему беспрепятственно, в коридоре рано или поздно он встретится с кем‑нибудь из охранников. Значит, здесь бывают заключенные. И все сделано для того, чтобы они не видели друг друга.

Полынов не ощущал вкуса еды, так были заняты его мысли. Каждый человек в той или

иной мере мнит себя центром вселенной. Не надо заблуждаться, не надо. Вряд ли все эти ухищрения направлены против него одного. Это было бы просто неэффективно. Нет, здесь работает продуманная, заранее созданная система воздействия на личность. Если спокойно подумать, можно выделить главные ее особенности. Видимость всесокрушающей силы — обязательно; таинственность, окружающая ее действия, — непременно; кнут и пряник — конечно. Жертву надо запугать, сбить с толку, заставить потерять голову, раздавить — и тотчас бросить ей приманку. Пусть она для начала пойдет на мелкую сделку с совестью. Потом от нее потребуют предательства покрупней. И все, конец: система сработала.

Первое, похоже, сделано: он согласился лечить бандитов. И сделано умно. Противник использовал его собственный план борьбы. “Коготок увяз — всей птичке пропасть”. До чего же это не ново!

Теперь стараются, чтобы он взвыл от непонимания, осознал собственное бессилие, запутался в догадках. Скоро ему должны предложить новую сделку с совестью, пострашнее первой. А если он откажется — исчезнет последний шанс на продолжение борьбы, уж об этом позаботятся. А раз нет четкой границы между разумным компромиссом, тактической уловкой и малодушным предательством, его в конце концов подведут и к предательству. Как все дьявольски просто, какая стройная система, безотказно действующая тысячелетиями, от фараонов до Гюисманса! Только покровы меняются.

Но раз эта схема не нова, раз ее изобретатели жили еще при зарождении классового общества, должна существовать и схема контрдействий, тоже проверенная тысячелетиями.

Да, конечно, антисхема есть. И не одна даже. Есть схема Джордано Бруно. Не предал, не пошел на компромисс, не склонился — и погиб на костре. Но его пример, пронесенный через века, зажигал сердца мужеством и гневом. И рабство церкви развалилось в конце концов. Вот именно: в конце концов. У него, Полынова, нет в запасе исторической перспективы, нет толпы, на глазах которой он мог бы взойти на костер. Между прочим, это он уже сделал однажды: там, на корабле, дав отпор Большеголовому. Зажег ли он тогда чье‑нибудь сердце?

Другой путь — путь Галилея, если угодно. Фальшивое отречение, фальшивое смирение — и борьба! Но опять для этого нужно время… Неужто история не знает других схем борьбы? Чушь, конечно, знает.

Только бы выяснить, какова цель действующей здесь системы. Узнать анатомию базы. Нащупать ее нервное сплетение.

В углу столовой что‑то щелкнуло. Ворвался насмешливый голос Гюисманса.

— Теперь, когда вы сыты, самое время побеседовать, не так ли? Я честно выполняю условия нашего договора. Обещал информировать — и информирую. Вы не откажетесь зайти?

— В моем положении смешно было бы отказываться.

— Хорошо, что вы это поняли. У дверей вас ждет Грегори. Да, учтите, у него есть слабость. Выпивка. Ни под каким видом не давайте ему спирт.

Динамик умолк.

“Что ж, — подумал Полынов, — одно из моих предвидений оправдалось”.

Грегори стоял у входа, засунув руки в карманы и уныло насвистывая.

— Скучаете? — небрежно бросил Полынов.

Тот пожал плечами.

— Конечно, скучаете, — заключил Полынов. — Надо будет поговорить с Гюисмансом и устроить вам какое‑нибудь развлечение.

Охранник недоуменно посмотрел на психолога, но промолчал.

У двери № 13 Грегори наклонился и прошептал пароль. За дверью наверх вела крутая лестница. Грегори пропустил Полынова вперед. Виток за витком — они словно лезли на колокольню.

Наконец лестница завершилась площадкой, на которую выходила всего одна дверь. Грегори постучал, дверь автоматически распахнулась. Грегори остался на площадке.

— Входите, входите, дорогой мой.

Двухслойный стеклянный колпак, заменяющий одну из стен, открывал вид на серебристо–угольный хаос скал, кое–где расчищенных, чтобы дать место циклопическим кубам, замеченным Полыновым еще при высадке. Сейчас из них не выбивался газ, но перламутровая пелена кое–где стлалась над скалами. Сквозь нее радужно мерцали звезды. Две луны с достоинством вершили свой путь, догоняя друг друга.

— Не правда ли, красиво?

Гюисманс, развалясь в кресле, сидел за массивным столом. Слева от него, поблескивая экранами и лакированными головками кнопок, находился пульт. Этот Гюисманс не был похож ни на вкрадчивого патера, ни на свирепого предводителя пиратов. Он лучился самодовольством. Величественным жестом Гюисманс указал Полынову на кресло. Психолог сел.

— Так вы, я слышал, собираетесь развлекать наших ребят? — с плохо скрытой издевкой начал Гюисманс.

— Уж если я согласился быть у вас врачом, мой долг следить за здоровьем людей. А есть признаки неврастении, что в этом космическом логове вполне естественно.

— А, пустяки. Но я рад, что вы начинаете принимать близко к сердцу заботы… пиратов.

Он коротко хохотнул.

— Человек есть человек, и заботиться о нем надо везде, — сказал Полынов.

— Это правильно, это правильно… Хорошо, подумайте, чем развлечь ребят. Вообще вы правы: здесь скучновато.

Гюисманс задумчиво почесал переносицу.

— Поговорим о деле, — отрывисто сказал он, наклоняясь к Полынову. — Вы, конечно, сообразили, что завод, который вы видите за окном, простым пиратам вроде бы ни к чему. И конечно, ломаете голову над этой загадкой. Не пытайтесь меня разуверить, что это не так: по части психологии я еще дам вам сто очков вперед, могли убедиться.

— Я и не пытаюсь.

— Ну и славно. Да… Так слушайте, такого вы нигде не услышите. Бросим с космических холодных высот взгляд на нашу родную, горячо любимую Землю. Что мы видим? Раздоры, противоречия, падение морали, всеобщую неудовлетворенность и беспокойство. Правда, угроза термоядерной войны ослабла…

— Благодаря нашим, а не вашим усилиям. — Полынову доставило удовольствие перебить эту высокопарную речь. Гюисманс недовольно вскинул брови.

— Помолчите. Да, сейчас уже мало стран, которые бы не перекрашивались под социализм. Но это ничего не значит. Огонь не потушен, пламя тлеет, противоречия не сняты, над жизнью людей висят угрозы, исходящие из будущего. Тревога, заботы, голод…

— Неслыханная безработица, вызванная автоматизацией…

— Я сказал — помолчите! Иначе я ничего не скажу!

— Извините, я думал, мы беседуем.

— Беседовать будем после. Здесь говорю я! И я имею на это право, потому что судьба человечества в моих руках! Так вот. Противоречия не сняты, миру, как тысячи, как сотни, как десятки лет назад, нужен спаситель. Даже больше, потому что дьявольская колесница прогресса мчит нас вслепую, и чем далее, тем быстрее. Атомная бомба, за ней водородная, ракеты, генетические яды, лазеры, наконец геофизическое оружие! Где предел? Человек перестает быть самим собой, он в панике, он мечется, и напрасно он ищет спасения у болотных идолов социализма!

Гюисманс перевел дыхание и снизил голос.

— Особенно прошу обратить внимание на геофизическое оружие. Земля запеленута в слой озона. Стоит ему разорваться и мощный ультрафиолет солнца сожжет все живое. И вот появляется пагубное изобретение возомнившей о себе человеческой мысли — дисан! Крошечная ракета, начиненная дисаном, который поглощает озон, как губка воду, и небо

расколото над такой страной, как Англия! Дешевое, неуловимое, портативное оружие, доступное даже для Гаити. Именно поэтому оно не применяется. Сжечь вражескую страну — не велика выгода, если тебе отплатят тем же. Вот почему ни одно государство не может извлечь пользы из обладания этим оружием.

Ни одно государство, заметьте это, Полынов, — государство! А если ракеты с дисаном находятся в руках частных лиц? Смелых, энергичных? Если эти лица пребывают вне Земли, если неизвестно, откуда летят ракеты? А? Вы догадываетесь? Вы, конечно, догадываетесь. Эти люди могут диктовать Земле свою волю. Всей Земле! И безнаказанно!

Полынову стало жутко. К счастью, Гюисманс ничего не видел и ничего не слышал. Он встал, он простирал руки, его костлявые пальцы, казалось, уже хватали мир за горло.

— О да, вы поняли, сколь реальна и ужасна наша власть! Диалектика, чистая диалектика. Когда абсолютного оружия скапливается слишком много, оно рано или поздно обращается в разменную монету. И попадает в руки людей, никому не подконтрольных, избавленных от предрассудков и догматической совести. А если эти люди к тому же воодушевлены идеей, если они организованы, умны, бесстрашны, они могут поставить себя над человечеством. И это свершилось! Я, я стою над человечеством!

— Вы хотите править сожженной Землей? — Полынов надеялся, что его голос не дрожит.

Гюисманс величественно вскинул голову.

— Это оружие бог вложил в руки верных сынов своих. Сжечь Землю? Ни в коем случае. Спасти. Придет час — он близок, — мы объявим о своей власти. Люди поймут, что мы не шутим. А тупицам придется показать маленький опыт. Воочию продемонстрировать наше могущество. Но надеюсь, до этого дело не дойдет. Мы не злодеи, мы хотим добра.

— Если цели добиваются с помощью страха и насилия, то это заведомо гнусная цель.

— В теории таких идеалистов, как ваш Карл Маркс. Мы используем нашу власть не для террора. Мы установим на Земле консервативный социализм!

— Как?! — Полынов чуть не упал с кресла.

— Вы поражены? Прекрасно. Мы твердо рассчитываем, что люди, подобные вам, на первых порах придут точно в такое же замешательство. Однако продолжу анализ. Силой можно добиться всего, силой ничего нельзя удержать. Тут вы правы, права история. Нет, будет по–другому. Человечество само поддержит нас. Само! Слушайте. Первым делом мы потребуем уничтожения оружия. Любого. Всюду. Осуществим вашу программу, ха–ха… Вы думаете, человечество не возлюбит тех, кто принес ему вечный мир и освобождение от страха? Они возлюбят нас вдвойне еще и потому, что мы скажем: деньги, которые раньше шли на оружие, пойдут на хлеб!

Вы возразите, что ваши друзья очень быстро найдут способ, как напасть на нас? Не успеют. Ибо третий наш лозунг: остановить прогресс! Вы потрясены, вы ужасаетесь? Но миллионы простых людей нас поддержат. Ведь для них прогресс — это прежде всего ядерное, геофизическое и прочее страшненькое оружие. Это автоматы, лишающие их работы. Этим прогрессом они сыты по горло. Они сами — заметьте, сами! — станут уничтожать лаборатории, жечь книги, избивать ученых, потому что втайне они боятся их и ненавидят. А мы снимем запрет страха, мы поможем им организоваться, мы дадим выход их энергии, отчаянию, ненависти. О, пойдут они тем охотней, что их прогресс — всякую там медицину, производство тряпок, телевизоров, автомобилей, мы не тронем. Мы организаторы и вдохновители, только и всего. Мы объединяем желания простых людей, указываем им врага, снимаем с них ответственность. Как великолепно они будут крушить все на своем пути!

Гюисманс перевел дыхание.

— Итак, прогресс остановлен, инакомыслящие скованы. Это не тактика, это стратегия. Консерватизм, какое великое слово! В прошлом веке люди без страха смотрели на небо. Это прогресс заселил их бомбардировщиками и ракетами! Раньше люди не дрожали за судьбу человечества, их не мучили кошмары радиоактивных пустынь. Это прогресс ужаснул

человечество! Поэтому — да здравствует консерватизм! Будем пожинать те плоды, что есть, и не тянуться к новым, ибо недаром сказано в Библии: “во много знаний и много горя”.

Социализм? Это слово стало привлекательным, потому что за ним чудится какой‑то выход из тупика, потому что каждый вкладывает в него свою мечту о будущем. Мы используем его. Ведь слово — это обертка, в него можно завернуть что угодно.

Полынов теперь не прерывал Гюисманса. Он внимательно слушал, надеясь, что тот, завороженный собственной речью, скажет что‑нибудь лишнее. К тому, похоже, шло. Щеки Гюисманса пошли красными пятнами, ноздри раздувались, в глазах металось еле сдерживаемое исступление.

Но внезапно Гюисманс взял себя в руки. Он молча посмотрел на Полынова, потом потянул со стола коробочку, повертел ее, открыл и бросил в рот конфету.

— Любопытная философия, правда, не новая, — сказал Полынов, видя что Гюисманс успокаивается. — Но я не вижу тут позитивной программы. Сжечь, сломать, остановить… Где же благо?

Гюисманс жевал конфету. Удовлетворенно кивнул.

— Ваш вопрос доказывает, что полет мысли гения недоступен обычному человеку. Чего хотят простые люди? Спокойствия. Хлеба. Безопасности. Веры во что‑нибудь. Перспективы. Вот наша позитивная программа.

— Вера в бога?

— Да, но в бога современного, космического. Вы верно выделили главное. Вера — вот цемент нашей программы. Чем больше изучаешь человека, тем лучше видишь, что вера для него все равно, что дыхание. Не так уж важно во что: отрицание веры тоже становится верой. Религия была отличной штукой, но она устарела. Любой дурак сейчас может сказать: “бога нет” — вот чем она плоха. А у нас бог будет, реальный, зримый, творящий хлеб, спокойствие, безопасность, перспективу.

— Уж не вы ли?

— О нет. Конечно, пример Гитлера и ему подобных показывает, что человеку занять место бога в наш просвещенный век не так уж трудно. Но у такого бога есть наряду с достоинствами серьезные недостатки. Во–первых, у него есть национальность, а это обстоятельство раздражает другие народы. Во–вторых, он смертен, что и вовсе плохо. В–третьих, такой бог не нов, у людей есть кое–какой опыт, и с этим надо считаться. Наш бог будет лишен всех недостатков. Ибо это — космический бог!

Уперев руки в стол, Гюисманс наклонился к Полынову.

— Вы не понимаете? Вижу, что нет. Это‑то и замечательно. Я не ошибся. На вас можно проверять реакцию того ничтожного меньшинства, которое по логике вещей окажет нам наибольшее сопротивление. Так вы не поняли? Отлично. Наш бог — это космические пришельцы!

“Да он рехнулся”, — мелькнула у Полынова спасительная мысль.

— Ага! — торжествующе вскричал Гюисманс. — Вы настолько потрясены, что думаете, уж не сошел ли я с ума. Нисколько. Это только вы, коммунисты, поете “ни бог, ни царь и не герой”, а люди в глубине души мечтали и мечтают о сильной личности, которая думала бы за них, направляла их, уберегала от необходимости решать самим. Это так! А уж как зовется этот символ — бог, фюрер, космический пришелец, — да не все ли равно!

— Вы думаете, мир поверит такой наивной выдумке? — усмехнулся Полынов. — Умных людей немало. И даже обывателя, мещанина, на которого вы делаете ставку, трудно раскачать.

— Вы плохо изучали общественную психологию. Психологию масс! (“Увы, — подумал Полынов, — я ее совсем не изучал”.) Назовите мне реальность, которая бы так полно и долго владела людьми, как легенда об Иисусе Христе, Магомете, Будде. Назовите, и я отрекусь от космического бога!

— Отрекайтесь, Гюисманс! Ненависть к угнетателям — раз, стремление к свободе —

два, искания правды — три… Хватит? Вот реальности, властвовавшие над людьми задолго до появления ваших легенд! Или вам напомнить о нескончаемой цепи восстаний, революций, которые смели рабство, смели феодалов и сметут с лица земли королей угля, стали, нефти, расистов, фанатиков, фашистов… Не потому ли вы так спешите, что петух пропел и вам надо проваливаться в небытие? Не спасли костры, не спасли диктаторы, не спасла ложь, не спасла глупость обывателя… Космический бог? Нет, космическая авантюра, последняя, надеюсь, попытка изменить ход истории. Не выйдет. Ставка на шантаж, дикость, испуг перед трудностями века — старо, старо, старо!

Гюисманс взвился. Видимо, он хотел всего лишь грозно шагнуть к Полынову, но он не учел слабой силы тяжести. И, как воздушный шарик, воспарил к потолку.

Полынов едва удержался от смеха. Тонконогий кандидат в диктаторы испуганно барахтался над столом, пытаясь ускорить падение. Крыльями птицы бились полы черного пиджака.

Наконец Гюисманс утвердился в кресле. Он тяжело дышал.

— Не понимаю, — сказал он, избегая взгляда психолога, — как вы упустили такую возможность разделаться со мной…

— Не в вас дело, — брезгливо бросил Полынов. — Дело в тех, кто стоит за вами.

— Так вы ошиблись. — К Гюисмансу возвращалось самообладание. Он вытащил новую конфету и сжевал ее, косясь на Полынова. — Но оставим это, мы слишком горячимся. Я ждал вашей критики, она мне нужна, чтобы лишний раз проверить все звенья замысла. Кройте дальше. Только без общих слов, пожалуйста. Здесь нет толп рабочих, мы одни. Впрочем, толпа рабочих — это бараны. Всякая толпа — толпа баранов, я изучал. Но ближе к существу. Пока вы привели самое общее возражение, и, черт побери, вы правы. Да, быть может, это последняя ставка. Как видите, я откровенен. Но вы не учли одной малости. Власть мифов все еще сильна, куда сильней власти, как вы любите называть, эксплуататоров. Мне не нужно, чтобы космический миф господствовал столетия. Хватит нескольких лет. Еще в незапамятные времена некий философ Хань Фэй — мир его праху! — написал ученый трактат, в котором доказывал, что человек в руках высшей власти все равно, что кусок дерева в руках ремесленника. А вскоре император Цинь–ши–хуанди принял этот тезис на вооружение. И кстати, ему удалось остановить прогресс. Темное прошлое, да? Гитлеру не потребовалось столетий для внедрения принципа Хань Фэя в сознание миллионов. А что было у Гитлера? Газеты, кино, микрофоны, гестапо, концлагеря. Кустарщина! В наше время мы располагаем менее грубым и, главное, несравненно более действенным набором. Электронная слежка, детекторы лжи, звуковые пушки, для которых не существует стен, психотропные вещества, операции памяти для несговорчивых, управление психикой с помощью электромагнитных волн, наконец. Представляете, какие это открывает возможности? Правительство одной страны уже ставило кое–какие опыты с комплексом всех этих средств. Независимо от нас, между прочим. Результаты потрясающие. И никакого шума в мире! Так‑то. Пройдет год, от силы два, и люди всей Земли будут у нас вот где!

Гюисманс медленно свел пальцы.

— А люди, — продолжал Гюисманс, — дадут нам такую возможность. Я ведь не расшифровал еще один наш принцип — принцип Перспективы. От имени космических пришельцев мы объявим, что если человечество будет следовать нашим указаниям, то оно построит рай на Земле. Сначала я думал назвать этот рай коммунизмом… Вы шокированы? Да, коммунизмом, поскольку его строительством занято подавляющее большинство населения. Но тогда нас дурно поймут какие‑нибудь американцы. Нет, придется объявить о каком‑нибудь “гармоничном будущем”, “обществе изобилия”, “кибернетическом коммунизме”. Какой символ вам больше нравится?

— Почему бы откровенно не назвать вашу Перспективу “неофашизмом”?

— Не пойдет: скомпрометированный термин. Так, я жду критики, уничтожающей критики, мой друг–враг.

— Интересно, как вы технически провернете свой фокус с космическими

пришельцами?

— Это несложно. Они, то есть мы, а верней, они через… К этому мы еще вернемся. Так вот, они объявят, что давно уже следят за земными делами (тут все вспомнят о летающих тарелочках, таинственных исчезновениях, фресках Тассиля и тому подобной белиберде). Они скажут, что их вмешательство стало необходимым. Но они гуманны, очень гуманны. Никаких покушений на существующие политические системы, уклад жизни, идеологию; они не вмешиваются в классовую и национальную борьбу. Они дают один–единственный приказ: разоружиться. Разоружиться, потому что оружие стало смертельно опасным для человечества. Гуманно? Вполне. Абсолютно в духе сказок о высокоразвитых цивилизациях. Свой приказ они подкрепляют угрозой снять озоновый экран (тут будет пролито немало слез о тягчайшей ответственности, о их нежелании применять силу, их любви к неразумным людям, которая единственно…). Слушатели будут всхлипывать от умиления, гарантирую. Почему озоновое оружие, а не какие‑нибудь суперлучи, подобающие высокоразвитой цивилизации? Да в силу все той же гуманности, черт побери! Они не хотят подавлять своим могуществом, они не хотят лишних жертв, поэтому берут чисто земное оружие… Накручено и здесь будет отлично.

А потом они будут давать только советы. Советы — и ничего больше. Совет временно остановить (мы‑то знаем, что навсегда) прогресс. Совет следовать их советам, чтобы построить рай на Земле…

— Космический бог в роли анонима. Пустой крючок.

— Ерунда. Да мы, если потребуется, покажем их по телевидению. И зрители увидят — ха–ха! — электромагнитное облако. Покажем их животных, пейзажики их планеты… А знаете, кто будет говорить от их имени? Думаете, я? База? Ничего подобного. Открыть базу — значит выдать подлог. Нет. От их имени будете говорить… Держитесь крепче. Вы!

— Я?!

— Не вы один, конечно. Весь экипаж корабля, который был приглашен пришельцами в гости для выяснения ряда деталей. Все вспомнят необъяснимое исчезновение “Антиноя” (это даже ученых кое в чем убедит). Пришельцы решили ближе познакомиться с представителями человечества, те пришли в восторг от мудрости и гуманности братьев по разуму. И сами — учтите, сами — убедили их вмешаться в земные делишки. Ну и, разумеется, стали их апостолами. Недурно придумано, а?

— А если пассажиры не согласятся?

— Во–первых, среди них были наши люди. Во–вторых, большинство пассажиров уже согласилось. В–третьих, у нас есть возможность убедить остальных. В крайнем случае без некоторых мы можем обойтись. Но ваше участие очень, очень желательно. Почему? Да потому, что вы единственный человек оттуда. Есть, правда, еще один коммунист — Бергер. Весьма приличный человек, он быстро воспринимает доводы. Но вы… Ваше имя кое‑что значит. Кроме того, нам нужны умные союзники. Но я жажду услышать критику.

— Что тут критиковать? Ваша затея просто обречена на провал.

— Любопытно все же знать почему.

— По тысяче причин. Вас раскусят. И очень быстро.

— Пусть. Гитлера тоже раскусили, это ему не помешало.

— Вы забываете и о таких мелочах, как наши внеземные станции, поселки на других планетах, космический флот. Вас трудно обнаружить — это ваш плюс. Но так же трудно обнаружить и тех, кто разыщет вас и уничтожит.

— Учтено. Не выйдет.

— Наконец, вы забываете о главном. Вы делаете ставку на испуганного обывателя, на мещанина, на особенности их психологии. Очень несложные особенности. Лишь та боль — боль, которая моя, лишь тот вкус верен, который мой, хорошо то, что хорошо мне, высокие слова — обман, но ими хорошо прикрываться, лишь мои представления о мире правильные, человек человеку — волк. Но мещанин — это не человечество, это не рабочие, не

интеллигенты, не крестьяне, хотя мещане есть среди них всех. Это носители определенной психологии, которую выработали века насилия, бескультурья, подавления в человеке человека. Людей, свободных от этой психологии, на моей родине подавляющее большинство. Уверен, что даже в уцелевших капиталистических странах их число поуменьшилось. Так что ваша духовная, так сказать, база со времен Гитлера заметно сузилась.

Но даже не в этом суть. Эта психология начисто лишена творческих начал. Она опасна лишь в соединении с неподконтрольной властью, с вами, ее родителями, воспитателями, охранителями. А ваше время прошло, вы это прекрасно знаете. Разве то, о чем вы говорите, это власть? Это шантаж, это отчаяние. Тот, кто послал вас сюда — а вас послали, не делайте изумленных глаз, — мыслил глупо. Пусть‑де они, то есть вы, ломают себе шею. Их проигрыш ничем мне не грозит, а удача… Они полагают, что ваша удача спасет их. Не спасет. Нельзя отменить противоречия между теми, у кого в руках палка, и теми, на кого эта палка обрушивается. Тюрьма никогда не побеждала стремления к свободе, тупость не могла загасить творчества, стремление человека быть человеком никогда не мирилось с системой, убивающей человека в человеке. Найдите мне в истории пример долговечной тирании, и я признаю, что не прав. Но вы его не найдете, этого одного–единственного примера. И не думайте, что ваш новый электронно–биологический концлагерь будет крепче прежних. Лучшего идеала, чем тот, который был найден Марксом и Лениным, у человечества не было и нет. И миллионы это поняли, идеал выдержал испытания, отсюда ваш страх, отсюда ваши бесконечные авантюры.

Кстати, ваша последняя авантюра грозит не только вам. Все тайное рано или поздно становится явным. Вы поняли, что будет, когда человечество узнает о вашем заговоре?

Гюисманс слушал, надменно улыбаясь. Однако многоопытный софист впервые не бросился в атаку, когда Полынов замолчал.

— Вы ужасно расстроили меня своими глупостями, — сказал он после недолгого молчания. — Но я, слава богу, отходчив. Так вы отказываетесь сотрудничать с нами?

Слишком прямолинейно, отметил про себя Полынов. Он торопится.

— Пока я не говорю ни да ни нет. — Теперь Полынов развалился в кресле, словно его больше ничто не тревожило. — Вы поражены? Не все же вам удивлять меня… Я привык обдумывать свои поступки, сейчас у меня такой возможности нет. Помните два прежних разговора? Взвесив все, я тогда изменил свое принятое в запальчивости решение. Мне и теперь нужно все взвесить, проанализировать ваши доводы, в них много серьезного. Сколько времени вы можете мне дать?

Гюисманс пригладил жиденькие волосы и задумался. Лучи солнца, перепрыгивая за окном с вершины на вершину, ударили в стеклянный колпак. Стекло густо потемнело. Зажглись дополнительные лампы, их белесый свет убрал тени, усталое лицо Гюисманса побледнело, веки дрогнули. Он мигнул, в который уже раз потянулся к коробке с конфетами, выбрал одну, пососал, сморщился.

— У вас больной зуб? — вдруг спросил Полынов. Гюисманс кивнул. Языком он катал за щекой конфету. Напротив Полынова сидел просто утомленный, пожилой человек в патриархальной черной тройке. Обыкновенный, каких на Земле тысячи.

Докончив жевать конфету, Гюисманс выпрямился, губы его сжались.

— Много времени вам не дам. Думайте быстрей. Я хочу, чтобы вы были с нами по доброй воле. А не захотите, все равно станете апостолом космического бога. Но вы уже не будете Полыновым. Нет, подождите. Прошу полюбоваться.

Гюисманс нажал кнопку. Крайний экран на пульте засветился. Его заполнили ряды остроносых ракет. Их головки самодовольно лоснились, они были очень чистенькие и аккуратные, эти ракеты. Их было много.

— А как вам нравится это?

Гюисманс переключил изображение. За сборочным конвейером стояли люди. Кое–кого Полынов узнал: это были пассажиры “Антиноя”. Слева стоял Бергер, бесстрашный

вольнодумец Бергер. Однообразным движением он вставлял в головки ракет желтые полупрозрачные капсулы.

— Остальные не лучше, Полынов.

Полынов окинул взглядом кабинет. Если бы сюда собрались все его друзья, для Гюисманса тут просто не осталось бы места, не надо было бы и рук марать. Но они далеко, они ничего не знают. Они работают, читают, смеются, любят и не подозревают, что им грозит. Мы были слишком беспечными, слишком мало думали о ядовитых поганках, притаившихся в будущем. Слишком увлечены собой и своими заботами.

— Я подумаю, — сказал он. — Крепко подумаю.

Грегори отконвоировал его обратно. Свет в камере зажегся, едва он переступил порог. Крис в камере не было.

6. Господин и раб

Жизнь почему‑то не любит однообразия. События или нагнетаются так, что у человека перехватывает дыхание, или вдруг без видимой причины все стихает, время тянется ровно и однообразно.

Никого, казалось, больше не интересовал Полынов. Он мог выходить из камеры, когда ему вздумается, разгуливать, часами сидеть в больнице — для заговорщиков он словно перестал существовать. Но Полынов не заблуждался. Это всего лишь новая уловка. Истерзать человека бездельем, тревожным ожиданием, а потом нанести внезапный удар.

Девушка исчезла бесследно. Спрятанные в коридоре микрофоны игнорировали его вопросы. Лишний щелчок по самолюбию, лишнее напоминание о том, что он крепко зажат в когтях. Маленькая месть Гюисманса за сопротивление.

Странный пациент зашел еще раз. Дело шло на лад, но напрасно Полынов ждал его третьего прихода. Электрик не появлялся, и Полынова это встревожило.

Заглянуло еще двое охранников. Они жаловались на мелкие недуги, держались настороженно, и Полынов ничего не смог извлечь из их посещения.

Никого из пленников он так и не увидел. С теми охранниками, которые попадались Полынову в коридоре, он не смог перемолвиться и словом. Они сразу подбирались, их ручищи непроизвольно тянулись к оружию. Бедняги, они даже взмокали от тягостного недоумения — почему этому типу позволяют разгуливать?

Вероятно, Гюисманс встревожился бы, узнав, зачем Полынов так тщательно наводит порядок в хозяйстве больницы. Но психолог все время был на виду, он с дотошной тщательностью вытирал пыль, устанавливал пузырьки с лекарствами так, чтобы ничего не нужно было искать, долго проверял настройку аппаратуры, короче, вел себя как человек, которому здесь работать и работать. А то, что в его карманах исчезали кое–какие медикаменты, этого наблюдатель не мог заметить, потому что помещение просматривалось с двух точек, и уж Полынов позаботился, чтобы в нужный момент его руки не попадали в поле зрения соглядатая.

И нужно было быть специалистом, чтобы понять, какой ценностью обладали ампулы с миксоналом, несколько комочков ваты, пузырек с раствором хлористого серебра и микрогазоанализатор. Когда все эти предметы очутились у него, Полынов тотчас поставил маленький опыт. Неаккуратно пролив при переливании три капли нашатырного спирта, он немного помедлил и прошел в свою камеру. Там, лежа ничком на тюфяке, он украдкой взглянул на анализатор. Показания прибора несказанно его обрадовали: база, как он и ожидал, была оборудована типовой схемой вентиляции и воздухоочистки.

Полынов нисколько не сомневался, что тюремщики и не подозревают о дьявольских возможностях похищенного им миксонала. Иначе это лекарство находилось бы за семью замками. Но оно лежало открыто, его ничего не стоило взять. Лишнее доказательство общеизвестной истины, что предусмотреть все невозможно. Никому и нигде. Ошибкой всех тюремщиков была недооценка ума и знаний. Иначе, впрочем, и быть не могло. Тюремщики,

кем бы они ни были, не задумываются, отчего со времен фараонов грубая, бесчеловечная сила часто побеждала, но еще ни разу не победила. Правда, если бы они это поняли, на свете давно бы не осталось тюремщиков.

Ликовать, однако, было преждевременно. У Полынова теперь было оружие, но воспользоваться им он не мог. Система переходов, запоров, паролей базы по–прежнему оставалась для него загадкой. Есть ли у него союзники среди заключенных, готовые на все, — тоже. А прийти за ним могли в любую минуту. И конечно, Гюисманс не преувеличивал, говоря, что есть способы заставить его стать тем, кем нужно. Последние достижения психотехники были известны Полынову. Правда, после такой операции у человека прежней остается только внешность, но в конце концов им на худой случай мог пригодиться и такой Полынов — со стертой памятью, механическими движениями и улыбкой годовалого младенца. Опытный режиссер у них, разумеется, найдется; уж как‑нибудь они разыграют телепостановку с его участием.

Полынов все же успел продумать, как в нужный момент обезвредить электронного соглядатая в больнице таким образом, чтобы это не вызвало подозрений. Но воспользоваться этим планом он не успел…

Войдя однажды в столовую, Полынов уловил слабый запах ландышей. Подавив волнение, он прошелся взад и вперед, пытаясь определить источник запаха. Ему уже не накрывали на стол, он сам снимал тарелки с “подноса”. Это было кстати. Он опустил раздатчик, ухватившись за шарниры, и как бы невзначай коснулся паза сочленений. Есть! Палец нашарил втиснутый туда комочек бумаги. Теперь и палец благоухал ландышами — любимыми духами Крис.

Как ни в чем не бывало, он доел обед, хотя каждая минута промедления стоила ему неимоверных усилий. Записку он развернул лишь в больнице. Для этого пришлось вспомнить школьные навыки чтения шпаргалок под перекрестным взглядом учителей.

“Андрей! — Буквы торопливо догоняли друг друга. — Я жива и здорова. Сижу вместе с сенаторшей (помнишь?) и другими дамами. Они уговаривают смириться, а я не хочу, это омерзительно, что нам предлагают. Работать на заводе, совсем как рабы. От всех требуют участия в операции “космический бог” (ты, конечно, знаешь). Но соглашаются не все, тогда их уводят, и ужас какими они возвращаются. Меня пока не водили, но я боюсь…”

Дальше шли какие‑то непонятные каракули, но Полынов прочел их без труда. Еще там, на корабле, они договорились о шифре, и Полынов научил Крис пользоваться им.

Записка неистово пахла ландышами, не иначе — Крис опрокинула на нее весь флакон. Полынов с сожалением сжег записку на спиртовке. И тут он заметил, что его пальцы дрожат. Он строго посмотрел на них, дрожь унялась. Закралась мысль: как было бы хорошо, если бы миксонал мог распространиться по всем помещениям базы. Если бы он мог убивать. И для него хорошо, и для Крис, и для Земли. Увы, миксонал не мог ни того ни другого.

Он слышал, как кто‑то вошел, слышал тяжелые шаги, однако головы не повернул.

— Эй, док, да вы никак грустите? — Грегори плюхнулся на стул, так что тот заскрипел. — Плюньте. Были бы вы, как я, на войне, никогда бы ни о чем не горевали.

— Чего вы хотите? — устало спросил Полынов.

— Радости, док, радости. Забыли разговор?

Полынов еще не видел охранника таким распоясанным. Он держал руки в карманах, сидел, небрежно вытянув ноги, нагло подмигивал, его прямо‑таки распирало самодовольство. Движением бровей Полынов многозначительно показал на гнезда с телевизионной аппаратурой. Грегори весело захохотал.

— У слухачей маленькая техническая неполадка, док! Они ослепли и оглохли. Мы успеем договориться.

— Вот как… И долго будет длиться неполадка? — Полынов снова был готов к бою.

— Да уж час повозятся, как пить дать. Парням тоже хочется горяченького, вот они и устроили нам мужской разговор. Вы только подумайте, бутылка виски на три дня, наш шеф

импотент, не иначе. Так будет спирт?

“Зато ваш шеф понимает, чем грозит пьянство в космосе, — подумал Полынов. — Так тебе хочется всласть напиться… Это дорого обойдется твоему холеному телу”.

— Ладно, — сказал он вслух. — Но бизнес есть бизнес. Задарма ничего не дается.

— Конечно! Сколько?

— Мне не нужны деньги. Мне нужны пароли, мне нужно знать расположение помещений, нужно знать, сколько вас.

Грегори побледнел.

— Это измена… я…

Он инстинктивно схватился за пистолет. Полынов широко улыбался.

— Как вы полагаете, дорогой, зачем мне эти сведения? Грегори подобрался, как перед прыжком. Он тупо соображал.

— Чтобы удрать! — радостно гаркнул он. — Не выйдет.

Он вскочил и выхватил пистолет.

— Скажи, Грегори, — Полынов продолжал улыбаться, — может один невооруженный человек удрать с базы? Нет? Ты прекрасно знаешь, что нет. Так зачем, по–твоему, мне эти сведения?

Охранник не спускал с Полынова глаз. Видно было, каких усилий стоила ему попытка догадаться.

— А все очень просто, — продолжал Полынов. — При игре лучше всего знать карты противника, так?

— Еще бы…

— У меня с твоим шефом своя игра, свой бизнес. Однако он знает мои карты, а я нет. Это мне не нравится. Бизнес есть бизнес.

— Ага! Это умно. — Грегори снова сел, но пистолета не выпустил. — Но меня это не устраивает. За такие штучки я сам ставил к стенке.

Вместо ответа Полынов наклонился к сейфу, отпер его и вынул колбу со спиртом. Взболтнул жидкость.

— Нет, док, — Грегори даже вздохнул, — не пойдет.

— Никто не узнает.

Грегори кивнул. Вдруг его лицо просияло.

— Отдашь за так! Иначе я расскажу, как ты хотел подкупить меня.

— И получишь пулю в лоб. За спирт и за… — психолог помедлил, — за маленькую техническую неисправность.

Грегори угрожающе выпятил челюсть. Это он умел делать, это у него отлично получалось.

— Грозить вздумал…

Он сжал литые кулаки и шагнул к Полынову.

— Осторожней, нас подслушивают, — тихо сказал тот.

На этот раз Грегори сообразил мгновенно… Одним прыжком он долетел до двери и рванул ее. На пороге стоял Амин.

Взревев, Грегори втащил его за шиворот, захлопнул дверь и бросил на колени.

— Падаль, падаль… — остервенело дышал Грегори. — Подслушивать… Ну, ты плохо меня знаешь…

Он пнул Амина. Но тот и не стремился оправдываться: он открыто и с ненавистью смотрел на Грегори. В ответ на удар, который подбросил бы его под потолок, не схватись он за ножку стола, Амин медленно и зло усмехнулся.

— Я скажу — и тебя…

Грегори на секунду окаменел.

— Так, — сказал он угрожающе. — Так. Испугать думаешь? Я сотнями давил желтомазых, ты пополнишь список.

Он схватил Амина за руку и резко вывернул ее. Смуглое лицо Амина побледнело, он

даже не мог кричать, из горла рвался хрип. Да, Грегори был мастер своего дела.

— Не сметь! — крикнул Полынов.

— Не путайся, док, зашибу, — пообещал Грегори. — А с тобой мы поговорим, Амин. Что, плохо, собака? Будет хуже. На кого бросаешься, падаль желторотая?.. А ну, клянись своим богом, что будешь молчать, ну…

Амин осел на пол. Грегори чуть отпустил руку.

— Очухался? Клянись, а не то…

Амин что‑то пробормотал.

— Не то!.. — Грегори снова дернул руку. Амин застонал. — Я вашу клятву знаю, говори как нужно…

Полынов не разобрал, что бормочет жертва. Но Грегори как будто был удовлетворен. Он отпустил Амина, потом, словно нашкодившего щенка, поднял его за воротник и вышвырнул в пустой коридор.

— Все они такие сволочи, док. — Грегори брезгливо вытер руки о мундир. — А внимание у тебя…

Он с уважением посмотрел на психолога.

— Думаешь, не проболтается? — спросил Полынов.

— Ха! Он же истово верует в своего бога! С деревенщиной приятно иметь дело, надо лишь знать, как с ними обращаться. А уж я — то знаю! Ладно, давай спирт!

— Пароли.

— Слушай, не беси меня. Я ведь прикончу тебя раньше, чем ты пикнешь. За попытку к бегству. Соображаешь?

— Вполне. Амину ты серьезно повредил руку?

— А что?

— Пришли его ко мне.

— Зачем?

— Вправлю вывих.

— Тьфу, с тобой о деле,.

— Спирт я тебе дам, если пришлешь.

— Ого! Сердечный ты человек, как я погляжу… Сентиментальненький. Черт с тобой, давай спирт, пришлю. Вправляй руку мертвецу…

— Что?

— Ничего. С доносчиками у меня свой солдатский счет, тебя не касается.

Когда спирт очутился во фляжке Грегори, тот, дойдя до двери, вдруг обернулся.

— Слушай, док, я честный человек. Ты дал мне спирт, а я тебе в случае чего дам быструю смерть. Вот и будем квиты.

— И на том спасибо.

Дверь закрылась.

“Вот она, честность палача, — горько усмехнулся Полынов. — А ведь он ушел гордый своим благородством”.

Грегори выполнил обещание. Не прошло и пятнадцати минут, как Амин очутился перед Полыновым.

Маленький крестьянин по–прежнему был бесстрастен, будто ничего и не произошло. Он безропотно дал осмотреть руку, не дернулся, не застонал, когда Полынов вправил вывих, и не сказал ни слова благодарности. Он уже хотел встать и уйти, но Полынов остановил его.

— Вы знаете, что Грегори прикончит вас?

Только веки дрогнули.

— Не верите?

— Я поклялся.

— Это не спасет вас.

На Полынова в упор смотрели темные, равнодушные как у рыбы глаза. Полынов растерялся.

— Вы знаете, зачем вы здесь, на базе?

— Мне заплатят много денег, и я куплю землю.

— Зачем?

— Много земли — много господин.

От Полынова ускользал последний шанс.

— Грегори убьет вас за то, что вы подслушали разговор. И у вас не будет земли, — с расстановкой сказал он.

Молчание.

“Понимает он или не понимает?” — недоумевал Полынов.

— Он господин, — вдруг сказал Амин.

— Но вы же шпионили за ним!

Снова молчание.

— И потом какой он вам господин, вы оба солдаты.

— Сильный всегда господин.

— Я тоже?

— Ты слабый.

— А если я окажусь сильнее всех, я тоже стану господином?

— Да.

— И если ты станешь сильнее всех…

— Да. Господином.

— Зачем?

— Так всегда.

— У нас не так, слышал?

— Всегда так.

— А если я сделаю тебя господином над Грегори, над всеми?

— Ты не сможешь.

— Если поможешь мне — смогу.

— Нет.

— Попробуй.

— Я тебе не верю, у тебя нет святого.

— Я верю в человека, это у меня святое.

— В меня?

— Пока ты раб — не верю.

— Я раб? Ты говоришь, как Грегори, как все.

— Ты раб, потому что признаешь над собой господина. Сбрось его — и ты человек. А для Грегори ты всегда раб.

— Я господин, тогда я твой бог?

— Человек — это не раб и не господин. Понимаешь?

— Нет. Ты хочешь убить Грегори, убить всех, понимаю. Бога твоего не понимаю.

— Ты хочешь, чтобы я убил Грегори, убил всех?

— Да, если не меня. Но ты не сможешь. Ты слабый.

— Вот как… Нет, я сильнее всех! Видишь?

Чем беднее ум, жестче навыки, уже кругозор, тем легче человек поддается внушению. Полынов встал, торжественно коснулся плеча Амина.

— Ты не можешь шевельнуть руками, — убежденно сказал он. — Не можешь. И не пытайся. Они окаменели.

Амин дернулся. Он пытался поднять руки; они не повиновались. В его глазах метнулся страх. Бедняга слишком привык находиться под чужим влиянием, сейчас он был беззащитен.

Полынов вытащил у него пистолет, подкинул на ладони.

— Это ты видишь?

Внезапно Амин упал со стула на колени.

— Ты сильный, ты сильный! — закричал он. — Сильнее всех, никто Амина еще не

делал камнем! Ты убьешь Грегори, спасешь меня, мой господин! Амин знает, что тебе нужно. Амин все скажет…

— Говори!

— Амин прав: ты хороший господин. Расколдуй меня, расколдуй, Амин все скажет! Когда Грегори убит, ты спасешь меня, дашь денег, много денег, я куплю землю, куплю сына Грегори, буду ему плевать…

Минут через десять Полынов знал все.

Оставшись, наконец, один, он долго не мог успокоиться. Такого он не ожидал. Как истово веруют они в чудо, как жаждут его, как слепо идут за тем, кто посулит им чудо!

Не важно, кто, не важно зачем… Их приучили повиноваться силе безропотно, бездумно, а за чудом им видится огромная, сверхъестественная сила.

Полынова трясло от омерзения.

7. “Зеленый ад!”

Он ничего не успел предпринять. Цоканье магнитных присосок, шаги, дверь отлетела — перед Полыновым, непреклонный, как судьба, стоял Гюисманс. За его спиной маячил охранник.

— Хватит! — резко, не дав Полынову собраться с мыслями, сказал Гюисманс. — Время бесед и размышлений истекло. Да или нет?

— Уже? — вырвалось у Полынова. — Я не успел… Еще час, два…

Он лихорадочно соображал. Предательство? Случайность? Разгаданный ход?

— Странно, нерешительно не в вашем характере. — Гюисманс по–наполеоновски скрестил руки. — Ни секунды! Великий час пробил! Да или нет?

— Нет!

Мгновение назад Полынов хотел сказать “да”, чтобы выиграть время. Нервы! Не выдержал, сдали нервы, не справились с ненавистью и омерзением…

— Жаль. Гюнтер!

Охранник вытянулся.

— Взять! В камеру пыток! Девчонка уже там?

— Так точно!

— Милейший, — Гюисманс повернулся к Полынову, — вам будет для начала показано редкое зрелище. Вам и ее не жаль?

Гюисманс не успел увернуться. Но ярость ослепила Полынова, и удар пришелся неточно. Охранник прыгнул на психолога, выламывая руки, Гюисманс, прислонившись к стене, держался за щеку.

— Если вы думаете… Если вы думаете, что я пристрелю вас… Нет. Я дождусь, когда вы взмолитесь, когда вы будете на коленях ползать… А вы будете! И тогда я полюбуюсь вами. Увести.

Полынов шел, кипя от ярости. Так сорваться! Он презирал себя.

Машинально он все же отметил, что не слышит за собой шагов Гюисманса. Он искоса глянул через плечо. В двух метрах сзади, как конвоиру по земному уставу и полагалось, вышагивал охранник с лайтингом наперевес. И больше в коридоре никого. Решение пришло внезапно. Раз этому олуху невдомек разница между Землей и астероидом…

Когда они проходили мимо комнаты с восковыми фигурами, у Полынова вдруг подвернулась нога. Падая, он что есть силы оттолкнулся от стены. Прежде чем охранник успел сообразить, Полынов, словно ракета, пролетел разделяющее их пространство. Страшный удар ногой в живот бросил охранника на пол. Он истошно взвыл, закатывая глаза. Перевернувшись в воздухе, Полынов перехватил падающий лайтинг. Удар прикладом по голове оборвал вопль охранника.

Дробя эхом тишину, заголосила сирена; за ними следили, конечно. Полынов метнулся в комнату с восковыми фигурами, полоснул лучом лайтинга по гнезду с телеаппаратурой,

прикладом срубил выключатель. Свет потух, в темноте зловеще замерцала морда чудовища.

Полынов выхватил из кармана ампулы с миксоналом, флакон с солью, вату. Смочил ее, заткнул ноздри. Хрустнуло раздавленное стекло ампул. Полынов залег в углу, взяв дверь на прицел. Сердце бешено стучало. Снаружи топали башмаки охранников.

— Здесь! Сюда!

Толчея за дверью.

— Эй, выходи!

Полынов не отвечал. Он считал секунды.

— Выходи добром! Все равно выкурим!

Выкурят, сообразил Полынов. Они не такие дураки, чтобы ворваться и поставить себя под выстрел. Швырнут какую‑нибудь дрянь. Газовую гранату. Ждут, пока их доставят.

Полынов на ощупь прокрался к двери, резко толкнул ее, чтобы миксонал быстрей попал в коридор. Отпрянул назад. Снаружи тоже отпрянули. В распахнутую дверь влетел лиловый луч, что‑то грохнулось, рассыпалось искрами.

— Не сметь! — бешено заорал динамик в коридоре. — Идиоты!

Полынов чуть не расхохотался. Они стреляли в Простого Среднего Человека. От восковой фигуры остался пар. И у них шалят нервы, с удовольствием отметил Полынов.

Долгая, невыразимо долгая для Полынова минута настороженной тишины.

И вдруг…

Коридор будто взорвался.

— Крылья, крылья, лечу!..

— Сколько ходов, сколько ходов, прекрасных голубых ходов.

— Да вы с ума… Уберите змею–ю-ю…

Полынов перевел дыхание. Так, господа, вы еще не знаете, что такое миксонал. Сейчас вы узнаете. Дышите, дышите глубже, пусть снятся вам сны наяву, какие вам еще никогда не снились.

Он встретился взглядом с фосфоресцирующими глазами воскового чудовища. Не помешает. Подхватив под мышку длинное шипастое туловище зверя, он вытолкнул его в коридор и тотчас навскидку ударил лучом по телеглазу. Одному, второму. С потолка обрушился дождь осколков.

— А–а-а!..

Нечеловеческий вопль завибрировал на самой высокой ноте и оборвался.

Полынов выскочил. Пятеро охранников, шатаясь, тыкались во все стороны, как слепые. Их челюсти отвисли, словно в неоконченном зевке. По подбородкам стекала слюна. Рослый детина пытался вогнать в рот дуло лайтинга. Нечаянно он дернул спуск. Раздался негромкий хлопок. Полынов прикрыл глаза. Что‑то теплое брызнуло ему на руки, в лицо. С глухим стуком осело тело. Полынов побежал, поскользнулся, едва удержав равновесие. Дышать мешала заткнутая в ноздри пропитанная химикатом вата.

Вслед неслось шипящее бормотание.

— Ш–ш-шарство небесное виш–ш-ш–у…

— Я–я-яблоко не убе… х… х…

— Хде–е-е…

Плита, запирающая коридор, пошла, повинуясь паролю, вверх. Полынова едва не сшиб бегущий навстречу охранник. В обеих руках тот держал по газовой гранате. Опомниться охранник не успел: Полынов ударил ему по горлу ребром ладони.

Сунув в карманы пару гранат, Полынов скатился по скупо освещенной лестнице. Искать, где спрятан телеглаз, уже не было времени. Сзади надрывалась сирена. Теперь все зависело от того, как скоро враги сообразят, что отрава крадется к ним по воздуховодам, как скоро они включат фильтры.

От лестницы узкий ход шел и налево и направо. Полынов лихорадочно соображал. Он метнулся в одну сторону, в другую и тут увидел колодец. Крутые ступени, сбегающие в

колодец, упирались в железную дверь. Прыжок — весом своего тела Полынов распахнул ее.

В лицо ударил яркий свет. Посреди камеры возвышался стол непонятной конструкции. Над ним с блока свисали веревки. В углу возле оцинкованного стока фыркала газовая горелка, на решетке вишнево светились раскаленные прутья. Над жаровней, что‑то поправляя, склонился широкозадый, похожий на жабу человек. Рядом, прикованная к стене, стояла Крис.

Человек стремительно обернулся. На нем был фартук мясника. Полынов выстрелил, прежде чем узнал его. Большеголовый — с его лица не успела сползти глуповатая растерянность — упал, сбив собой жаровню.

Крис рванулась. Ее рот был раскрыт в беззвучном крике. Полынов что есть силы дернул на себя держащее цепи кольцо. Оно даже не дрогнуло. Полынов растерянно огляделся, схватил со стола какое‑то орудие пытки, похожее на клещи — это и оказались клещи, — перекусил у запястий звенья цепи. Девушка упала на колени. Она попыталась встать и не смогла. Полынов рывком поднял ее.

— Что? — крикнул он, заглядывая в залитое слезами, смеющееся лицо.

Крис билась в его руках. Церемониться было некогда. Полынов замахнулся, чтобы пощечиной прекратить истерику.

Но Крис увернулась.

— Уже… Не надо… Сама!

Платье у нее на плече было порвано, она попыталась приладить лоскут. Другой рукой, наклонясь, она скользнула под фартук Большеголового, вытащила из кобуры пистолет. Полынов заметил на лице Большеголового две глубокие царапины от ногтей.

— Скорей, Крис!

Что‑то скрипнуло сзади. Полынов порывисто обернулся; ему показалось, что он опять видит страшный сон: массивная дверь камеры лениво стронулась с места и затворилась.

— Птички думают улететь… — хихикнуло в углу.

Полынов ринулся к двери.

— Поздно, поздно! — услышал он в динамике знакомый насмешливый голос. — Твоя выходка с миксоналом недурна, но я предрекал, что тебя погубит благородство. Ты в ловушке, Полынов, ха–ха… Как ты мог забыть, что двери с электромагнитным запором способны закрываться сами, не пойму. Ну и сиди теперь, жди… Советую рассмотреть повнимательней наши орудия производства.

Голос смолк.

Крис медленно повернула к себе дуло пистолета, завороженно уставилась в черный зрачок. Ее лицо заострилось, глаза утонули в темных полукружьях.

— Спокойно, Крис…

Полынов отвел дергающийся пистолет, разжал пальцы.

— Это всегда успеется. — Он даже смог ей улыбнуться.

Подняв лайтинг, он тщательно прицелился и аккуратно, точно гнездо клопов выжег в углу ячейки подслушивания. Потом достал ватку, смочил ее, протянул Крис.

— Возьми. Кажется, Гюисманс не заметил одной своей ошибки.

Он припал на колено, утвердил лайтинг и, как по ниточке, полоснул лучом по стыку двери со стеной. Вспыхнула, лопаясь, краска, багрово засветился ровный шов. Поднялся едкий дым, на пол закапал металл. Полынов, не отпуская курок, быстро водил лучом.

— Не прожигает! — Крис сжала кулаки.

— И не надо. Эти запоры не терпят нагрева.

Дверь дрогнула, издала кряхтящий звук и приотворилась. Полынов отпрыгнул в сторону и увлек за собой Крис. Он ждал выстрелов. Их не было. Над колодцем не торчали дула лайтингов. Откуда‑то издали доносился глухой шум, неразборчивые выкрики. Видимо, миксонал успел основательно затронуть базу.

Полынов взбежал по лестнице. За ним едва поспевала Крис. Он выкрикнул пароль. Но

щит стоял как влитой.

Случилось то, чего Полынов так боялся. Противник успел перекрыть все подступы к жизненно важным узлам базы. Теперь, выйдя из одной мышеловки, они попросту попали в другую — более просторную. Полынов безнадежно посмотрел на индикатор заряда лайтинга. Так и есть: достаточно для боя, но не для взлома перемычек.

— Ну, Крис, — на него навалилось отчаяние, — здесь нам придется схватиться с бандой в последний раз. Назад, в колодец! Там неплохой окопчик.

Он все‑таки высмотрел, где тут спрятан телеглаз, и по дороге к колодцу уничтожил его, а заодно и плафон. Теперь они могли видеть противника, а он их нет.

— Неужели все? — вырвалось у Крис, когда они залегли.

— Да, все. Бери на прицел левый коридор. И успокойся, у тебя дрожит пистолет.

— Я его возьму обеими руками. Они скоро придут?

— Не знаю. Вероятно, им сейчас не до нас, управляются с неразберихой. Минут через десять — двадцать, должно быть.

— Тогда я успею успокоиться.

— Конечно. Ты молодец. Учти, пистолет реактивный, без отдачи.

— Учту. Знаешь, о такой смерти я и мечтала.

— Что–о?

— В бою, не в постели. Чтобы быстро, не ждать, не думать об этом. Жаль, рано. Не успела пожить.

— Ах, так… Это всегда бывает слишком рано.

— Нет. Я хотела любить, пока можно. И шестерых детей. Большего мне не надо.

— У меня все это было. Кроме детей. И многое другое. Этого мало.

— Может быть. Видишь, рука у меня больше не дрожит.

— Так и надо.

Они ждали. Минута проходила за минутой, смутный шум вдали не утихал.

— Скорей бы, — не выдержала Крис. Она прижалась плечом к Полынову и торопливо зашептала: — Поцелуй меня, быстро… А то я разревусь.

Полынов наклонился, поцеловал ее в сухие растрескавшиеся губы. Она несмело ответила, потом отстранилась, замерла, как мышь. У Полынова заколотилось сердце от нежности.

Нельзя, приказал он себе. Думай о тенях, которые заполнят сейчас коридор, думай о том, как не попасть к ним в лапы живым. Не надо зря терзаться. Замысел был неплох, им просто не повезло. Ракеты уйдут на землю. Аккуратные остроносые ракеты.

Ему показалось, что впереди, наконец, мелькнул чей‑то силуэт. Он прицелился. Лайтинг не успел остыть, жгло щеку.

И вдруг он ослеп. Разом погасли все лампы. Темнота упала, как обвал.

— Ой!

— Молчи! — Полынов вскочил. Отчаяния как не бывало. — Наша берет!

В темноте он нащупал руку Крис, потянул ее за собой.

— Но что это… Авария?

— Помощь, помощь, Крис… Осторожно, ступеньки,.

— Я ничего не вижу…

— Я вижу. Держись… Двери! Нет тока — всюду пройдем…

Полынов не преувеличивал: опыт работы в космосе научил его ориентироваться там, где это казалось немыслимым. И первый же щит, который они нашарили, легко поддался их дружным усилиям.

Натыкаясь на выступы, распахнутые двери, сдирая пальцы в кровь, они куда‑то спускались, куда‑то бежали. То и дело мелькали фонари охранников, одетых в скафандры, хотя действие миксонала должно было уже кончиться. Кто‑то кого‑то звал, кому‑то приказывал; крики, ругань, бред тех, кто успел надышаться отравы, создавали полнейшую неразбериху.

Полынов и Крис падали, едва к ним приближался луч света; один охранник даже споткнулся о вытянутые ноги Полынова и в сердцах стукнул его прикладом. Охранник истерически взвизгнул, когда навстречу выскочил, ошалело паля из лайтинга, его глотнувший миксонала приятель. Полынов и Крис поспешили отползти. Сумасшедшего быстро прикончили. Полынов, используя сумятицу, швырнул туда газовую гранату. Она лопнула, вызвав новый взрыв ужаса. Из пещерной тьмы, рикошетируя, полетели чьи‑то пули.

Внезапно Полынов уперся во что‑то мягкое. Оно дернулось и сказало:

— Ад зеленый, вовсе не огненный…

— Да, да, конечно, — согласился Полынов, увертываясь от шарящих пальцев.

Мечущийся свет фонарей и выстрелы помогали ему отыскивать дорогу. В самом нижнем коридоре было относительно спокойно, и беглецы перевели дыхание.

— Страхуй меня сзади, Крис, — сказал Полынов.

— Где мы?

— Здесь должен быть вход в цех. Ага, вот он!

— Осторожно, там надсмотрщики!

— Ерунда. Но хотел бы я знать…

Он чуть приотворил дверь. Вырвалась бледная полоска света. Полынов облегченно вздохнул: заводская аварийная сеть, как он и ожидал, была автономной.

Секунду подождав, чтобы глаза привыкли к свету, он рванулся внутрь.

Цех был невелик, во всех направлениях, бросая широкие тени, его пересекали трубопроводы. По оси, выстроившись в ряд, стояли какие‑то аппараты, похожие на гигантские восьмигранные масленки. Пролет перекрывал прозрачный купол с противометеорным зонтом. Сквозь него просвечивали радужные звезды.

В центре у постамента аппарата сгрудилась кучка людей. Сейчас в них трудно было признать элегантных пассажиров “Антиноя”. Они стояли спиной к взявшим их на прицел четырем охранникам, закинув руки на затылок. Пятый сидел, положив лайтинг на колени, в стеклянной будке под куполом. Оттуда ему был виден весь цех.

Полынов выстрелил по будке. Брызнули стекла. Сзади щелкнул пистолет Крис. Она не хвасталась своим умением стрелять: один из надсмотрщиков упал, даже не вскрикнув.

— Руки вверх! — заорал Полынов, вскакивая на постамент соседней “масленки”.

Если бы охранники не оцепенели от неожиданности, ему бы пришел конец, потому что он не мог бить из лайтинга по врагам: строй заключенных смешался, и луч зацепил бы кого‑нибудь. Он увидел вскинутое оружие, но в то же мгновение охранник исчез под грудой тел. Остальные прилежно тянули вверх руки. Их тоже окружили, сбили с ног.

Кто‑то, как крыса, метнулся в тень. Полынов не знал, друг или враг, и не стал стрелять. Но Крис, очевидно, знала: ее пистолет снова щелкнул, и человек споткнулся. Мелькнуло перекошенное лицо: Полынов последний раз встретился взглядом с Бергером. Тот упал. “Вот даже как”, — успел подумать Полынов.

Не все заключенные вели себя одинаково. Кое‑кто как упал, так и остался лежать, прикрыв голову. Но основное ядро действовало стремительно и организованно. К Полынову подскочил высокий чернявый парень в разорванной форме экипажа “Антиноя”.

— Морис! — Он вытянулся, как для рапорта. — Подпольная группа Сопротивления к бою готова! Как в концлагерях…

Он не удержался и лихо подмигнул. Второй глаз у него заплыл, видимо, ему довелось побывать в камере пыток.

— Я знаю о вас из записки Крис. — Полынов торопливо пожал протянутую руку. — Ваш план?

— Мы намечали перекрыть процесс, поднять давление в трубопроводах. Завод взлетит. Ваше мнение?

— Только атака. Нас здесь прихлопнут, как зайцев.

— Их много! Может, лучше взорвать?

— Они уже взорваны, там вы поймете. Атака тремя группами. Вот схема боя…

— Безоружным?

— Идти. Брать оружие убитых. Громче кричать. Только не “ура”. Всякую чушь. Больше шума.

— Не понимаю.

— Сообразите на месте. Помните: каждый должен постоянно выкрикивать “зеленый ад!”. Так мы будем узнавать своих. Победа близка. Вперед!

Штурмовые группы заключенных нырнули во мрак, и бой начался, нелепый, отчаянный, странный. То была свалка в кромешной темноте, раздираемой вспышками лайтингов, воплями, лучами фонариков. Бой, где враг бил по врагу, а свой терял друзей, где не было ни фронта, ни тыла, где все решали доли секунды, где отчаяние боролось с ловкостью, страх с решимостью. На стороне нападающих была внезапность, не успевшее угаснуть действие миксонала, понимание того, что происходит, точное знание цели. У противника каждый дрался сам за себя, плохо соображая, кто напал, откуда, сколько их. Зато охранники имели богатый опыт стычек, и было их больше… И они куда лучше знали свою базу. Там, где охранники успели собраться в группы и наладить командование, их ответная атака была ужасной. Они косили лучами лайтингов, не разбирая, кто перед ними — свои или чужие.

У Полынова и Крис уже был опыт странствования вслепую. Избегая схваток, они прокрались наверх, к энергоотсеку. Полынов отчаянно торопился, прекрасно понимая, что если на базу будет дан свет, заключенных сметут в два счета.

Он осторожно выглянул из‑за угла. Внутри отсека шарили два фонарных луча, выхватывая то бетонные плоскости стен, то мраморную белизну распределительного щита, то развороченные внутренности диспетчерского пульта. Беззвучно, нервно шла какая‑то спешная работа, поблескивали инструменты, огромные тени прыгали за плечами склонившихся над пультом людей.

Крис неосторожно зацепила что‑то локтем. Фонари словно задуло. Ярчайшая вспышка ослепила Полынова, кинжальный луч опалил волосы, но Крис успела выстрелить в третьего притаившегося охранника, в плюнувший огнем глаз, и он потух.

Грохот, визг бетонных осколков в долю секунды сменила тишина, нарушаемая лишь отзвуками далекого боя. Потерявшие друг друга из виду противники замерли. Лайтинги на ощупь искали в темноте прицела. Каждый сдерживал дыхание, сознавая, что первый же шорох станет последним.

Вдруг что‑то звякнуло над головой Полынова. Инстинктивно он вскинул лайтинг, и тотчас шум за пультом выдал уловку противника. Они швырнули инструмент, чтобы на мгновение отвлечь внимание и скрыться. Полынов торопливо нажал спуск. Слишком поздно: луч багровым фонтанчиком отразился от захлопывающейся двери. Враги бежали, оставив противнику поле боя.

Полынов включил еще по пути отобранный у мертвого охранника фонарик, привалил ко второй двери стол.

— Постереги вход, Крис!

Он наклонился над пультом. Аппаратура была разрушена толково. Виновник аварии не просто повредил трансферты блока управления энергосистемой: он умудрился подключить к ним такое напряжение, что они спеклись в сплошную зеленоватую массу, приварились к керамическим панелям. Их нельзя было вынуть и заменить, сначала требовалось выбить образовавшийся монолит, отскоблить и привести в порядок контакты. Этим и занимались застигнутые врасплох охранники. Рядом на пульте лежали запасные трансферты.

Полынов перевел круг света на автономный блок аварийного освещения. Умелая рука поработала и тут, но то ли человеку помешали, то ли у него был свой умысел — здесь трансферты были лишь разбиты, а проводка оборвана и перепутана. Его уже почти восстановили. Полынов и Крис появились вовремя. Еще минут десять, и повсюду вспыхнули бы аварийные лампы.

Закрепляя в ячейках монокристаллы трансферт, Полынов жадно прислушивался к замирающим звукам боя. Изредка доносились выкрики “зеленый ад!”. Но кто побеждал? Если свои — надо включать свет. Если враги… Понять, на чьей стороне победа, не было никакой возможности.

— Вот что, Крис…

Полынов перевел свет фонарика. Девушка стояла, прислонившись к косяку, обеими руками поддерживая выставленный вперед пистолет. На ее правом плече расползалось темное пятно.

— Ранена?!

— Пустяк… Царапнуло…

Он быстро осмотрел плечо и облегченно вздохнул. Ничего опасного. Но крови потеряно много, и Полынова удивило, как она еще держится после ранения и стольких испытаний. Он отодрал рукав своей рубашки и туго перетянул плечо. То, что предстояло теперь сделать, пугало Полынова, но другого выхода он не видел.

— Слушай, маленькая… — Он старался, чтобы голос не выдал его опасений. — Придется тебе еще продержаться. Ну, полчаса…

— Одна?

— От этого все зависит. Я — на радиостанцию. Видишь это соединение? Приладишь — будет свет… Ты должна, понимаешь, должна выдержать и дать ток через пятнадцать минут, дать ток… Тогда, кто бы ни победил, я успею послать в космос сообщение. Понимаешь?

Она все понимала, она кивала, она старалась не упасть, она клялась честным словом, что не боится, что продержится.

Полынов отобрал у убитого охранника фонарик и лайтинг. “Не надо, — прошептала Крис. — Не удержу… Пистолет… И сесть…” Он пошарил кругом света в поисках стула. Луч фонаря наткнулся на лежащее ничком тело. Полынов перевернул труп и медленно поднял руку, словно обнажая голову.

— Травка, зеленая травка, — пробормотал он. — Да…

— Кто это? — без интереса спросила Крис.

— Наш спаситель.

— Кто?

— Потом, Крис. Садись. И…

— Возвращайся…

— Вернусь.

Он не посмотрел на Крис, затворяя дверь. Он чувствовал себя предателем. Но так нужно, нужно…

К своему удивлению, он проделал путь беспрепятственно. Пахло горелым, под ногами что‑то хрустело, то и дело попадались убитые, но живых не было видно. Лишь эхо далеких выстрелов свидетельствовало, что еще не все кончено.

Радиостанция оказалась в полном порядке, если не считать распахнутых створок несгораемого шкафа и нескольких упавших на пол бумажек. Полынов на всякий случай сунул в карман эти узкие полоски, испещренные какими‑то условными знаками. Сам шкаф был пуст, видимо, его содержимое перепрятали по тревоге в более надежное место. Или уничтожили, разбираться было некогда.

Полынов включил каскады усиления, поставил развертку волны в положение “всем, всем, всем” и стал ждать. Если они потерпели поражение, то теперь судьба Земли во многом зависит от стойкости никому не известной девушки Крис.

Но кто‑то ведь должен закрыть собой амбразуру.

Кто‑то ведь должен застопорить собой колеса человеконенавистнической машины. Они еще будут кружиться. Не Гюисманс, так другие постараются, чтобы они подмяли Землю в тот самый момент, когда человечеству кажется, что оно вот–вот бесповоротно расстанется с ненавистным наследием прошлого. Авантюра следует за авантюрой, все ожесточенней, все отчаянней, все хитрей. Фашисты торопятся напялить

чужие одежды, прикрыться ненавистными им лозунгами, чтобы верней подобраться к живому сердцу. Торопиться, пока в арсеналах есть оружие, в сейфах — деньги, в руках — палка, в типографиях — послушные ротаторы. Пока не иссякли колодцы духовного рабства, невежества, слепоты. Используют любую ошибку, любую фразу, перекрывают, где могут, каналы человечности, замазывают от свежего ветра любые щели, пеленают мысль, чтобы люди не видели, не слышали, не догадывались, откуда на них ползет машина.

Легко будет потомкам взвешивать промахи, в отчаянии хвататься за голову: как это их предки видя не видели, думая не думали, борясь не замечали врага за спиной. Им — умудренным, человечным жителям коммунизма — быть и судить, это неизбежно. Сам Полынов без страха думал об этом грядущем суде. Приговор будет вынесен сущности, а не видимости, делам, а не словам, и потому он будет справедливым. Тревожно, однако, знание, что каждый твой поступок со временем получит точную оценку; тревожно и ответственно. Впору позавидовать нищете тех, кого заботит лишь тот приговор, который выносится при жизни. Но это все равно, что позавидовать амебе, ибо для нее нет будущего и нет поэтому ответственности перед будущим. А если не хочешь быть амебой–человеком, то тревога за будущее — твой спутник до конца дней.

Пятнадцать минут истекли. Пятнадцать минут, которые, быть может, решали судьбу миллионов. Свет не включился.

Неожиданно для себя Полынов ощутил не отчаяние, а безразличие. Слишком много испытаний для одного человека. Слишком. Это предел для него. Он слишком устал.

Все же он заставил себя получше забаррикадировать дверь. Еще не все потеряно с гибелью Крис, пытался он себя ободрить. Рано или поздно кто‑нибудь даст ток. Тогда, если прежде его не обнаружат и не убьют, он успеет предупредить Землю. Не так важно, что будет потом.

В том, что Крис больше нет, он не сомневался.

Но свет внезапно вспыхнул. Мигающий, тусклый, в полнакала. Полынов ошеломленно следил за биением неоновых огоньков включенной аппаратуры. Он понял, что это конец. С таким напряжением в питающей сети радиограмму послать невозможно.

По двери грохнул удар.

— Сдавайтесь!!!

Баррикада из столов и стульев затрещала,

Полынов сел, поднял отяжелевший лайтинг. Машинально прикинул толщину двери, прицелился, плавно нажал спуск.

Луч не вылетел.

Все поплыло перед глазами Полынова. Он бешено тряс бесполезное оружие, как будто можно было исправить ошибку, вернуть лайтингу израсходованные в бою заряды. Дверь, треща, приоткрывалась, тесня баррикаду.

Полынов перехватил лайтинг как дубину, кинулся навстречу просунувшемуся в щель стволу, чтобы сбить его прежде, чем он плюнет смертью.

В последний миг психолог увидел перед собой бледное лицо врага…

— Полынов! — отчаянно закричал тот.

У Полынова обмякли руки.

— Морис…

Секунду спустя они, нервно смеясь, стиснули друг друга в объятиях.

— А я тебя чуть…

— Но я ведь тоже…

— Ох, боже мой, Полынов.

Психолог опомнился первым.

— Так мы победили?!

Морис растерянно посмотрел на Полынова.

— Хотел бы я знать… Моя группа погибла. Вся.

— Так, — Полынов снова был как взведенная пружина. — Ясно. Радио знаешь?

— Еще бы! Связист “Антиноя”.

— Останешься здесь. Я — в энергоотсек. Попробую наладить ток. Если удастся, радиограмму Земле немедленно!

— Понял. Лайтинг, ты забыл лайтинг!

— Эту памятку моей глупости?

Морис все понял.

У первого же убитого Полынов подобрал оружие.

Стены, пол, потолок переходов были вспаханы лучами лайтингов. В мигающем свете поблескивали осколки стекла. Больше всего Полынова поразила чья‑то металлическая пуговица, вплавленная в бетон потолка.

Потрясала тишина. Ни звука, ни стона, ни движения. Теперь, когда вспыхнул свет, все живое попряталось, затаилось, потому что никто не знал, кто победитель, а кто побежденный.

Но едва Полынов свернул к энергоотсеку, как из ниши метнулась тень. Охранник упал на колени, и торопливый выстрел Полынова пронзил пустоту.

— Не бей, не бей, хозяин!

— Амин?! — Полынов опустил лайтинг.

— Я, я! Ты обещал…

— Встать! Взять оружие! Никого не подпускать! Стрелять только в охранников!

— Слушаюсь… Я служу… Грегори — пуф! — Мертв. Я убил его! Многих убил!

— Хорошо, хорошо, потом…

У входа в отсек, обнявшись как братья, лежали двое: пассажир “Антиноя”, седой величественный профессор космологии Джерри Кларк, и Грегори. Их скосил один и тот же луч.

Полынов поспешно перешагнул через мертвецов. Рванул дверь.

Он увидел привалившуюся к пульту Крис, увидел прыгающий в ее руке пистолет, увидел наставленное на него дуло…

— Ай!..

Крик девушки — последнее, что он услышал, прежде чем на него обрушилась звенящая чернота. А потом звон смолк, и все смолкло.

8. Нокаут

Словно ветер кинул издали порыв смутных голосов. И пришла боль. Он удивился: откуда могла прийти боль, если у него нет тела? Из темноты?

Но тело внезапно ожило. И дало ответ, что боль в нем самом, что он лежит, что запястье сжимают чьи‑то пальцы, а вот звуки — они действительно идут из темноты.

Он поспешил отдать телу приказ встряхнуться, почувствовать себя, чтобы оно снова не растаяло, не ушло от него.

Резко зазвенело в голове; ему показалось, что он падает вниз, а оттуда, тесня черноту, скользит свет, скользит дикий пейзаж скал. Изображение ниже, ниже — селектор связи, чем‑то очень знакомый стол; изображение колыхнулось, всплыли чьи‑то лица… Крис! Он узнал Крис. Стоя на коленях, она что‑то шепчет, закрыв глаза. Словно молитву читает. Губы у нее совсем черные, и вокруг запавших глаз тоже чернота. Да это молитва и есть, он различает слова.

Все стало на место. Был бой, был ад, был целящийся в него глаз пистолета, он лежит в кабинете Гюисманса, Крис здесь…

— Мы победили?..

Крис дернулась, как от удара тока. Сияющая, изумленная радость преобразила ее лицо.

— Жив, жив, жив…

Она уткнулась ему в ладонь. Ладони стало мокро и горячо. Плечи девушки вздрагивали.

— Жив, конечно, — незнакомый голос и незнакомое лицо, широкое, благообразное, с трясущимися щеками, надвинулись одновременно. — Полынов, как вы себя чувствуете?

— Отлично, — сказал Полынов, не слишком покривив душой. Силы быстро возвращались к нему.

Он попробовал приподняться.

— Ничего, ничего, можно. — Благообразный засуетился, подкладывая ему под спину подушку. — Маленький шок, ничего… Мисс удачно промахнулась.

Полынов ощупал повязку на голове. Тренированным усилием воли приглушил боль в правой части лба.

— Это я, я виновата… — Крис всхлипывала, судорожно сжимая руку Полынова, словно тот мог внезапно исчезнуть.

— Полно, ну, полно… — Полынов растерянно погладил ее разметавшиеся волосы. — Морис… Он жив?

— Тут!

Француз скользнул к изголовью. Вид у него был истерзанный, но держался он по–прежнему браво.

— Можно? — шепотом спросил он благообразного.

— Можно или нельзя, — уже довольно твердо сказал Полынов, — говорите.

— Да, да, — поспешно закивал благообразный, с каким‑то испугом косясь на Полынова, — все можно. С моего разрешения, конечно! — поспешил он добавить.

— Тогда докладываю. — Морис помедлил. — Значит, так. Нас уцелело шестеро. Противник в основном уничтожен.

— Точнее.

— Убитых девятнадцать, раненых семеро, в бреду — пятеро, скрылись трое. Мы еще не успели обшарить всю базу.

— Победа все‑таки… Гюисманс?

— Спрятался.

— А, черт!

— Что он может сделать в одиночку?

— Хм… Ладно. На Землю сообщили?

Морис сконфуженно отвел взгляд.

— Я долго ждал, но…

— Но лучше с напряжением не стало. Дальше.

— Я побежал к вам. Тут Крис и… Мы перетащили вас сюда, поскольку здесь командный центр и…

— Понятно. Когда вы вернулись, радиостанция была уже испорчена.

— Да.

— Еще бы. На месте Гюисманса я сделал бы то же самое. Почему мигал свет, выяснили?

— Несчастная случайность. Крис очень ослабла, был обморок, потом она все‑таки включила, но…

— Я ударилась плечом…

— Она повредила…

— Неважно, Крис! Прости, Морис… Маленькая. — Полынов заставил девушку приподнять голову, — маленькая, я… Мне надо было сразу спросить, как ты…

— Болит… — Крис робко улыбнулась. — Нет, нет, я совсем оправилась! Это не я в тебя выстрелила, это мой страх…

— Забудь, Крис. Все хорошо, что хорошо кончается, говорят у нас. Морис, как расставлены посты?

— Мы, четверо, здесь. Пятый стережет энергоотсек, шестой охраняет нас. Да, тут один охранник сам сдался и сказал, что вы…

— Это Амин. Тяжелый случай… Ладно, верните ему оружие, сейчас и такой союзник

кстати. Но мне не нравится, как расставлены посты. Любой уцелевший бандит, если у него не совсем отшибло смелость, может…

— Мне тоже не нравится. И есть еще люди, которые…

— Это кто?

— Бывшие заключенные. — Морис брезгливо усмехнулся. — Те, которые сразу после освобождения забились в щели.

— Отлично! Найти, раздать оружие, пусть ловят уцелевших охранников.

— Этой мрази оружие! Да они же с радостью признали Гюисманса своим фюрером!

— Неважно. Сейчас сила у нас, значит, для них просто нет другою выхода, как помогать нам. Да они теперь с визгом бросятся выполнять любой наш приказ, лишь бы реабилитировать себя.

— Как хотите, Полынов, но доверять этим трусам, этим проституткам…

— Именно поэтому им сейчас и можно доверять. Страх за собственную шкуру, знаешь ли, очень способствует правильному пониманию вещей.

Морис проворчал что‑то, но спорить больше не стал.

— Можно идти? — спросил он.

— Да.

Морис ушел.

— Крис, — тотчас сказал Полынов, — стереги вход. А к вам, доктор, у меня несколько вопросов, раз на большее я пока не гожусь.

В глазах благообразного мелькнул прежний испуг. Дрожащей рукой он вытащил из кармана очки с треснувшим стеклом и не сразу смог приладить их.

— Вы… вы меня знаете! Меня, Ли Берга?

— Врача, чье место я занял на базе? Конечно. Кто еще мог точно сказать Морису, сколько бандитов уцелело?

— Ах, да, верно. Что вы хотели спросить? Я…

— Успокойтесь, я знаю, что вы искупили свое преступление или свою глупость, называйте это как хотите. Кто конкретно стоит за Гюисмансом?

— Не знаю… Честное слово!

— Верю. Жаль, что вы не знаете.

— Я — не они! Не скрою, мои взгляды…

— Интеллигентные по форме, фашистские по существу…

— Нет! То есть да… Вы правы. — Голос доктора упал. — Нет, нет, только не фашистские, только не это слово! И потом я же…

— Никто не собирается судить вас, — неожиданно мягко сказал Полынов. Крис, стоя у двери, с недоумением следила за разговором.

— Но я ничего не понимаю, — наконец решила она вмешаться. — Доктор Ли Берг такой же заключенный, как и мы, он дрался вместе со всеми…

— Такой же, да не совсем, — перебил ее Полынов. — Верно, доктор?

— Верно, верно, — прошептал Ли Берг. Возбуждение покинуло его, а вместе с возбуждением и силы. Он тяжело опустился на стул. — Спрашивайте, я все расскажу, мне нельзя ничего скрывать.

— Дорогой Ли, я же сказал — здесь не суд, а вы не подсудимый. Еще раз говорю, успокойтесь. Я уже достаточно окреп и могу избавить вас от неприятного рассказа. Я скажу за вас все, а вы поправите, если что не так. Хорошо?

Ли Берг машинально кивнул.

— Так вот. — Полынов прикрыл глаза. — Вы были хорошим специалистом, но очень, очень реакционно настроенным человеком. Вы этого не скрывали, вы этим гордились. Кроме того, у вас был опыт работы в космосе. Так?

— Так. Но откуда… Вы не могли знать мое прошлое!

— И вот в один прекрасный день, — продолжал Полынов, — вам было сделано очень заманчивое предложение. Год…

— Полтора.

— Полтора года работы на исследовательской базе в поясе астероидов. За бешеные деньги. Вы даже удивились, какие деньги вам посулили.

— Да, удивился и…

— И согласились, хотя кое‑что вас смущало. Некоторая таинственность, например.

— Верно.

— Но так или иначе вы очутились здесь и сразу увидели, что это никакая не научная станция…

— Раньше, я понял это раньше! Нас, специалистов, везли всех вместе. Боже, вот это были фашисты! Но окончательно все открылось здесь.

— С вами поговорили. Обстоятельно, дружелюбно. В духе ваших теорий вам объяснили, зачем вы здесь. И поначалу план вам даже нравился…

— Нет!

— Да.

— Вы правы… — Несколько секунд губы Ли Берга беззвучно шевелились. — Вы правы. — К нему, наконец, вернулся голос. — Некоторые аспекты этого плана содержали в себе рациональное зерно. Единая власть над всеми народами, единый дух, единая цель… Но методы, методы!

— Это вас и отпугнуло. Когда вы поняли, какой ценой будет оплачено торжество ваших идей…

— Я заявил решительный протест! Я против…

— Вас долго и по–всякому уговаривали. Но вы…

— Я был непреклонен! Я был возмущен профанацией возвышенных философских идей, я сказал об этом открыто!

— И вас отправили на завод. Работать под дулом пистолета.

— И плетью… — прошептал Ли Берг.

— До нашего прибытия рядом с вами работали темные, неграмотные, забитые солдаты, набранные из всевозможных иностранных легионов.

— Откуда вы и это знаете?

— Это же просто. Кто необходим для осуществления первого этапа операции “космический бог”? Во–первых, строители базы. Они уже мертвы. Боюсь, что на Земле их считают казненными… в некоторых земных тюрьмах. Во–вторых, требовались молодчики без чести и совести. Охранники. Их набрали в основном из белых легионов: лучший источник трудно найти. Затем рабочие — одновременно солдаты — на завод. Ведь белые легионеры не слишком обожают черную работу. Эти солдаты–рабы, как я уже сказал, были извлечены все из той же клоаки неоколониальных войн. Сделать это было тем легче, что ремесло убийц стало теперь уж чересчур опасным. В–третьих, нужны были специалисты. Вроде вас. Отбирали тех, кто уже умом и сердцем был на стороне гюисмановского неофашизма. Конечно, в таком сложном и нервном деле не обошлось без накладок. Вы, например. И еще один. Электрик.

— Эриберт?! — воскликнул Ли Берг. — Не может быть! Этот отъявленный…

— Он оказался гибче вас. Согласился, принял, присягнул. И… в первый же день явился ко мне прощупывать. И в первый раз и во второй он ходил вокруг меня, как голодный кот вокруг каши. И мы уже совсем было столковались, но что‑то помешало ему прийти на последнюю встречу. Вероятно, его в чем‑то заподозрили. Но так или иначе мы все обязаны ему спасением. Это он в критическую минуту оставил базу без света. И погиб как герой. Умнейший был человек: сообразил даже, что на заводе свет лучше оставить.

— И все же нам повезло. — Крис тихонько вздохнула. Дверь была приотворена, и краем глаза она следила за лестницей, но ее внимание было поглощено разговором. — Мы везучие, раз все случилось так, как случилось, — повторила она.

— Везучие? — Полынов рассмеялся и с удовлетворением отметил, что смех не отдался

в голове звенящей болью. — Конечно, мы везучие. Но не только. Это общее заблуждение, что грубая сила неодолима. А на самом деле она слаба, очень слаба. Потому что опирается она не на людей, а на примитивные автоматы в человеческом обличье. Поэтому мы и победили. Нег, вы вдумайтесь; в тесноте, в условиях космоса собрано несколько десятков бандитов, взаимно ненавидящих друг друга. Угнетающая обстановка слежки; нервы на пределе, потому как и тупице ясно, что противопоставить себя человечеству — безумный риск. Для уничтожения такого “коллектива”, находящегося на грани истерики, не нужно бомб, достаточно хорошей паники. Устроить им такую панику, воспользоваться ею — да, это была задача. Тут нам везло.

— И больше не повезет!!!

У Ли Берга отвалилась челюсть. Крис вскрикнула. Поздно. Часть стены успела беззвучно повернуться, Гюисманс держал их на прицеле.

Он взглядом приказал Крис встать. Она, как под гипнозом, встала. С колен соскользнул лайтинг.

— Игра проиграна, — торжествуя, сказал Гюисманс. — Ваших я заблокировал на заводе, изменник мертв. Радиограмму вы не смогли передать… Все!

— Ты дурак, Гюисманс. — Полынов как ни в чем не бывало поправлял подушку. Он даже не смотрел на врага. — И знаешь почему?

Гюисманс опешил. У него часто–часто задергались губы.

— Ты еще смеешь… — прохрипел он.

— Просто я хочу указать на одну твою ошибку, о, незадачливый кандидат в диктаторы!

На Гюисманса было страшно глядеть, так его трясло.

— Нет больше ошибок, нет! — взревел он. — Ты растоптан!

— Ошибка все‑таки есть. Великолепный пинок под зад — вот что тебя ждет после случившегося.

На лбу Гюисманса вспухли вены.

— И еще одну ты допустил ошибку, — с расстановкой сказал Полынов, — роковую причем…

Он помедлил, глядя Гюисмансу прямо в глаза.

— Ты не видишь, что сейчас делается… за твоей спиной! Бей!!! — закричал он.

Гюисманс обернулся, как ужаленный. В тот же миг сзади на него обрушилась метко пущенная психологом подушка. Нервы потряс дикий, торжествующий вопль Полынова.

Гюисманс вдруг вскинул руки, рванул, царапая шею, воротник и грохнулся на пол.

Ли Берг, схватившись за сердце, сполз со стула. Крис бросилась к лайтингу.

— Не надо, — сказал Полынов. — Он умер.

Еле владеющий собой Ли Берг подполз к Гюисмансу. Подняв голову, он секунду разглядывал потайной ход, в глубине которого, разумеется, никого не было. Потом перевел взгляд на Гюисманса.

— Мертв, — потрясенно прошептал он. — Это чудо…

— Нет, — чуть слышно отозвался Полынов, борясь с нахлынувшей слабостью. — Был шанс, и я им воспользовался. Его убил испуг.

— Боже мой, психологический шок, и он мертв, мертв… — Ли Берг еще никак не мог опомниться. — Но почему, почему он не прикончил нас сразу?

— Почему? Странный вопрос… Его погубила общая для диктаторов черта характера. Они все позеры.

КОНЕЦ ЗАКОНА

Документы, понукания радио, суматоха, багаж; сел, отдышался, взлетел; земля, небо, космос, солнце и звезды, заря и ночь — нет их! Вспыхнул, блеснул синевой океан, накренился, исчез; белыми полотнищами захлопали облака; и вот уже все, с прибытием вас,

дорогие пассажиры, просим пройти на досмотр!

Пространство уподобилось глотку воды. Всем некогда, быстрей, обгоняя тихоходный звук, жизнь коротка, надо успеть! И орлом, казалось бы, смотреть пассажиру после гордого перелета над морями и континентами. Куда там! Оглушен ревом, потрепан перегрузками, взвинчен невесомостью, обалдел от впечатлений, — тут лишь бы не перепутать, где какая бирка и что кому надо вручать. Приобретения — это потери. Стоя в притихшей очереди, Полынов не без иронии подумал, что последние метры отнимут, надо полагать, больше времени, чем все десять тысяч километров пути.

Вопреки ожиданию, очередь продвигалась быстро. Руки таможенников сновали над чемоданами с проворством манипуляторов. Единственная заминка произошла у окошка, куда Полынов, как и все остальные, сунул свой паспорт. Ставя штемпель, офицер сказал, не поднимая глаз:

— Вам записка.

— Мне? — удивленно переспросил Полынов.

— Получите.

На стойку вместе с паспортом лег продолговатый конверт. Полынов ошеломленно повертел его в руках.

— Вы уверены, что это действительно мне?

— Пожалуйста, не задерживайте.

Выйдя в вестибюль и поставив чемодан на пол, Полынов вскрыл конверт. Там лежала визитная карточка Лесса, на обороте которой было написано: “По поручению профессора вам заказан номер в отеле “Консул”.

Это еще что такое! Полынов поймал себя на глупом занятии, — стоя в толчее и пожимая плечами, он вновь и вновь перечитывал записку. Рассердившись на себя, он решительно подхватил чемодан. Автомат предупредительно распахнул дверь. Понятно… Сам же уговаривал Лесса не разводить церемоний, будто он премьер–министр или беспомощный мальчик: не встретил, ну и прекрасно. Хотя и странно. Такое не в характере Лесса, вот что. Совсем не в его характере…

Ладно, все выяснится и объяснится.

У бровки тротуара выстроились такси. Полынов двинулся к ним, бодро помахивая чемоданчиком. За темным лесом вдали тлела вишневая полоса заката, с юга, похоже, надвигалась туча. Оттуда тянуло сырым теплом. Только что смазанный скоростью мир снова обретал объем и привычные пропорции. Сквозь шум голосов и рокот машин пробивалось далекое кваканье лягушки. Плевать им было на грохочущие ракеты, на суету ракетодрома, людскую спешку, — они хотели квакать и квакали, как миллионы лет назад. Полынов с удовольствием потянул ноздрями воздух. Каждому уголку земли присущ свой особый запах. Ветер сразу напоминает, что ты не дома, сулит прелесть перемен, входит в душу, как вкрадчивый зов, и нет ничего лучше этих первых минут новизны. Минуту–другую Полынов постоял, прикрыв глаза. Затем рванул дверцу и откинулся на спинку сиденья.

— Отель “Консул”!

Киберводитель взял с места так, будто завидовал перегрузкам ракеты.

Полчаса спустя громада отеля приветствовала Полынова взмахом бетонного козырька подъезда. Обмен улыбками с портье занял не более минуты. В вестибюле приглушенно гудели голоса приезжих. Полынов небрежно отстранил услужливую тележку, которая попыталась завладеть чемоданом, и на стремительном лифте поднялся к себе на семнадцатый этаж. Ноги, едва он вышел в коридор, утонули в белоснежной ковровой дорожке. Ворс жадно прилегал к ботинкам, отсасывая с них пыль. Замок певуче щелкнул. Кто бы ни заказывал номер, — сам Лесс или его секретарь, — он выбрал его с толком. То есть номер, конечно, не представлял собой ничего особенного, — все они однотипны, что в Сиднее, что в Будапеште, что здесь, но здесь, по крайней мере, было уютно и тихо.

Забросив чемодан в нишу, Полынов справился по информаторию о телефоне Лесса, который жил неподалеку от столицы, и тут же ему позвонил.

Ответил, однако, не Лесс.

— Профессора не будет до двенадцати ночи, — экран оставался темным, значит, говорил электронный секретарь. — Его личный радиобраслет отключен. Что записать для передачи?

— Профессор уехал?

— Профессор занят в лаборатории, — Полынову даже показалось, что элсекр обиделся. — Что ему передать?

— Передайте… А, впрочем, не надо. Я сам ему позвоню попозже.

Закрыться в лаборатории и забыть обо всем на свете! Да, это похоже на Лесса. Хотя при его щепетильности… Полынов недоуменно пожал плечами. Что ж, бывают опыты, когда все планы идут насмарку. Бывают опыты, которые — трава не расти! — надо закончить именно сегодня. Всякое случается и нечего тут ломать голову, а надо с толком употребить свободные часы.

Итак, что делает вечером одинокий и беззаботный турист? Бродит по городу и, само собой, ужинает. В каком‑нибудь, естественно, экзотическом кабачке. Вот и прекрасно. Не стоит нарушать традицию. Когда он в последний раз был таким вот туристом? Никогда он им не был. Тем более! Есть что‑то соблазнительное в открывающейся перспективе. Что‑то праздное и слегка недозволенное, как кутеж в монастыре. А собственно, почему недозволенное? Разве он не в отпуске? Какая еще у него цель, кроме отдыха и развлечений? Всюду быть с Лессом — это, конечно, замечательно, но одному побродить по чужому городу тоже неплохо. Совсем неплохо.

Насвистывая нечто легкомысленное, Полынов сменил рубашку и куртку, бегло оглядел себя в зеркало и в общем остался доволен. Человек в зените — ни стар, ни молод, этим все сказано. Вообще роли не играет, сколько тебе лет и в скольких странах ты уже был; всякий новый город почти как открытие. Если, конечно, человек не пресытился и не постарел. Сейчас мы это очень даже просто проверим…

Выйдя на улицу, Полынов с удовлетворением отметил, что интерес к новому его не покинул. Когда он ехал в такси, город, как это обычно бывает, раскрывался, точно дерево в срезе. Сначала машина пересекла кольцо современных кварталов. Затем к магистрали придвинулись дома в космическом стиле. Потом возобладали плоскости стекла и бетона. И уже в самом центре пошли тесные улочки с домами, прижатыми друг к другу, как коробки тортов. Да и сами фасады с пузатыми балкончиками, островерхими кровлями, лепными украшениями на стенах смотрелись выставкой кондитера.

Отель выпирал из этого порядка, как стальной зуб. Полынов неспешно миновал несколько кварталов. Все здесь было, в общем, как и везде: те же витрины, тот же поток машин, те же фонари и люминесцентные панели, в призрачном свете которых сновали прохожие. И все же кое‑что здесь было совсем другим. На плитах тротуара значились чьи‑то полустертые имена, — такого Полынов нигде не видел. Моделью мусорных ящиков послужил не иначе, как Сатурн, — их круглые бока почему‑то опоясывали широкие кольца. Но главное отличие было в чем‑то ином, общем, пока неуловимом.

Вечер стоял теплый и тихий. Под ноги неподвижно ложилась резная тень листьев. Во многих окнах скользили радужные тени; поужинав, там созерцали стерео, и обитатели этих квартир сейчас находились в ином, зрелищном мире. Мимо, хихикая и бросая взгляды исподтишка, прошла стайка девочек. Полынова обогнал грузный мужчина с портфелем “крокодил”. Навстречу, обнявшись, двигались бритоголовые парни. Они угрюмо, как бы нехотя, пели:

Двадцатый век уходит в изобилье,
Двадцатый век уходит в мятежах.
Все стали делать умные машины,
Стальной моралью соблазняя нас…

Парни удалились, и конца Полынов не дослышал. Возникало знакомое по прежним поездкам чувство отстраненности, словно он украдкой заглянул в чужую жизнь или увидел

пьесу без начала и конца. В этом настроении была своя прелесть, но и своя грусть, которая, как он заметил, усиливалась с прожитыми годами.

На шумном перекрестке его внимание остановила внушительная, поперек фасада, неоновая надпись: “Фирма “Провидение” гарантирует исполнение ЛЮБЫХ желаний”.

Любых? Хмыкнув, Полынов пересек улицу и толкнул дверь конторы.

Сначала ему показалось, что небольшой уютный зал с темными деревянными стенами, низкими столиками, медными пепельницами и глубокими, красной кожи, креслами, над которыми изящно склонялись головки аппаратов типа “звуковой шатер”, — пуст. Но, приглядевшись, он различил в дальнем углу двоих, — женщина в летах сидела, прижимая, как щит, к груди сумочку и озабоченно внимала мужчине, который в чем‑то убеждал ее. Слов не было слышно.

— Рада вас видеть…

Девушка возникла бесшумно. Фигурой она напоминала подростка, чуть раскосые глаза смотрели мягко, доверчиво, едва ли не застенчиво. Длинные, открытые платьем руки и ноги казались по–детски нескладными, и эта неуклюжесть была в ней особенно трогательной.

— Прошу, — потупясь, она показала ему на кресло. — Сигару, сигарету? С никотином? Без?

— Это и есть те желания, которые фирма берется удовлетворить? — опускаясь в кресло, Полынов невольно улыбнулся.

— О, нет! Минуточку…

Она включила “звуковой шатер” и шум города исчез, словно оба перенеслись на необитаемый остров. Тишина, мягкий овал света в окружающей полутьме и доверчивое лицо девочки напротив, — больше ничего не осталось.

— Полная гарантия анонимности заказа, — сказала она, как бы извиняясь за казенные бесцветные слова. — Так чем я могу быть вам полезна?

— Простите, вас зовут…

— Ринна. А вы, догадываюсь, иностранец?

— Что, акцент выдает?

— Я очень люблю акцент. Обычные слова, когда их говорит иностранец… Они так приятны своим неожиданным звучанием, понимаете?

— О, да! Только я должен извиниться перед вами. Ведь я зашел сюда с праздной целью. Всего один вопрос. Что значит — “любое желание”? Как это понимать?

— Очень просто. Мы сделаем все, что вы хотите, и так, как вы хотите. Все.

— А если я, допустим, захочу отправиться во времена Юлия Цезаря? Неужто и такой заказ выполним?

— Кем вы хотите быть? Патрицием, воином, рабом?

— Рабом, — Полынов подхватил шутку. — Желательно вашим.

— Можно, — Ринна кивнула. — За день это обойдется в… Она назвала сумму.

— Помилосердствуйте! — вскричал Полынов в веселом ужасе. — Разве путешествие во времени стало возможным, хотя бы для миллионеров?

— Нет, конечно, — она посмотрела чуть удивленно. — Мы не нарушаем ни законов природы, ни просто законов. А все, что в этих пределах и возможно технически, — к вашим услугам. Доподлинно воссоздать обстановку Древнего Рима, чтобы вы смогли в ней пожить? Прикажите, мы сделаем. Сейчас многие хотят попасть в прошлое.

— Понятно, — Полынов вздохнул, потому что уходить ему все‑таки не хотелось. — Ясно. Право, мне жаль, что я отнимаю у вас время.

— Я на работе, это моя обязанность, пожалуйста, не беспокойтесь. А поняли вы, кажется, не все. Вы думаете, быть может, что “Провидение” — фирма, как все прочие? Нет. Разумеется, мы можем снять для вас виллу где‑нибудь на Таити, устроить прогулку по Луне или пиршество Лукулла, — Ринна слабо пожала плечами. — Но это и другие умеют. Мы же предлагаем то, чего вы больше нигде не купите.

— Например?

— Например, если у вас есть желание прикончить, убить…

— Тигра? Бешеную собаку?

— Почему — собаку? Человека. Ой, что с вами?! Уж не думаете ли вы…

Она прикусила губу, но глаза ее выдали, и это доконало Полынова.

— Девочка, — сказал он, не слыша своего голоса. — Такими вещами не шутят.

— Простите, ради бога, простите! — воскликнула она с раскаянием. — Вот дуреха… Вы не сердитесь на меня, нет? — она ладошкой накрыла его руку, и Полынов задохнулся, чувствуя на лице отнюдь не романтическую испарину. Влажные глаза девушки были близко–близко. — Ужасно быть такой недогадливой. У меня тоже старомодный характер, даже на “помеле” — представляете? — никогда не каталась: боюсь! Никак не обрету профессионализм, ну, да вы меня понимаете. Сейчас, сейчас я вам все–все объясню про эти убийства…

И она объяснила.

— Человек, — надеюсь, вы согласитесь, — волен, как угодно, распоряжаться своей судьбой, своим телом, своей жизнью. Если, конечно, его поступки не наносят ущерба другим… Но человек — существо очень, очень противоречивое, вот несчастье! — Ринна огорченно вздохнула. — Некоторым как раз хочется наносить ущерб другим. Ведь это опасно, верно? Это очень плохо, — она покачала головой, — очень. Что же делать? До сих пор никто не мог придумать ничего хорошего. И только наша фирма… О, такой нет даже в Америке! — воскликнула она с жаром. — Странно, не правда ли? Ведь все так просто! Есть люди, желающие убить. А есть люди, желающие умереть. Самоубийцы. Мы сводим их, понимаете? Все довольны. Маньяк, потому что удовлетворены его потребности, самоубийца, потому что ему помогли расстаться с жизнью, закон, потому что уменьшается число невинных жертв, ибо страсть убийцы успокоена. Я привела в пример, конечно, особый случай деятельности “Провидения”: организация юридически чистого убийства стоит дорого! Но принцип, я думаю, вам теперь ясен. Кто‑то хочет высказаться, а слушателя нет. Наоборот, где‑то кто‑то изнывает от скуки. Кто‑то жаждет геройски спасти девушку, а рядом девушка тоскует о рыцаре… Ну, и так далее, — она помахала рукой. — На случай полагаться нельзя, партнерам трудно найти друг друга. Тут мы и приходим на выручку…

Опомнился Полынов лишь в парке, где над темной водой озера сонно шелестела листва. Что же это такое, спросил он себя. Что же это случилось, если он ничего не может понять?

То есть разумом он как раз понимал если не все, то многое. Дикость может выглядеть цивилизованной и даже передовой. Стоит утратить меру, как лекарство оборачивается ядом, любовь — насилием, торговля — растлением. Так везде и во всем.

Знания создают возможности, а где возможности, там и соблазн. Эгоизм личности или правящего класса снимает тормоза, бескультурье оправдывает отмену морали, а затем люди гневно, потерянно недоумевают, кто же так изуродовал их жизнь.

Тысячелетиями смысл существования подавляющего большинства людей сводился к добыванию хлеба насущного. Хлеб или смерть — это было так понятно, просто, незыблемо. Хлеб давала земля, ее от зари до зари надо было возделывать, орошая потом. Поколение за поколением рождалось, жило, сменялось с этой главной, неизбежной, часто единственной задачей и целью. Она определяла собой мышление, нравственность, мораль, была регулятором и мерой, очерчивала круг дел и желаний, радостей и горя, труда и забав, и все было стабильно в глубине, какие бы порывы ни сотрясали поверхность. Технический гений вызревал долго, но круг разорвал внезапно. Вдруг, впервые, едва ли не за десятилетия, оказалось, что один человек может прокормить своим трудом тысячу. К нищему явился сказочный джинн. Но как изголодавшийся порой не в силах оторваться от еды, даже если это грозит ему гибелью, так и здесь инерция возбудила безмерную жажду богатств и наслаждений. Наука открыла шлюзы небывалых возможностей прежде, чем успели возникнуть новые социальные отношения и духовные потребности. А деловитый, алчный

хозяин немедленно использовал то, что давало ему выгоду и могущество. Так что в самой фирме “Провидение” не было ничего странного.

Но девушка почти ребенок! Живая, непосредственная, искренняя — и деловито щебечущая об убийствах! Возможно, у изголовья ее постели до сих пор сидит старая любимая кукла, с которой делятся маленькими девичьими тайнами. А может, не кукла? Может быть, там пистолет? Наркотики?

Если бы так! Но там скорей всего кукла.

Полынов стиснул перильца мостика.

Его отвлек звук, похожий на шлепанье босых ног. Слабо белея в темноте, по настилу, важно переступая лапами, шествовала лебединая пара. Самец глянул на Полынова, как на досадную помеху, и замедлил шаг, чтобы пропустить подругу. Полынов сдержал желание погладить птицу. Звук, похожий на шлепанье босых ног, стал удаляться и вскоре пропал. Полынов покинул парк, но уже не стал искать экзотический кабачок, а поужинал в первом же, какой встретился, ресторанчике.

Возвращался он другой дорогой, через самую старую часть города, где дома еще помнили лихих дуэлянтов, а то и закованных в металл феодалов. Впрочем, металла на этих тихих улочках было и сейчас достаточно, — чуть не на каждом перекрестке стояли, сидели, простирали длани конные и пешие исторические деятели местного масштаба. Самым тяжеловесным был памятник Тиллу, который, невиданно расширив в каком‑то там веке пределы страны, заточил, убил, сжег больше своих сограждан, чем любой воинственный недруг. У попираемого бронзовыми копытами подножья лежали цветы. Настроение Полынова испортилось окончательно, хотя в другой вечер он скорей всего даже не заметил бы этого проявления мазохистских чувств, — мало ли таких памятников и таких цветов! Тем большее удивление он испытал, обнаружив на крохотной площади поразительную и даже несовместимую со всем прочим скульптуру. Посреди площади, как живой, стоял прикованный к столбу человек, чьи ноги уже охватило жадное пламя костра. Освещенные изнутри языки спектролитового огня бросали отсвет на искаженное лицо, которое, однако, было величественно в смертной муке, одухотворено страстью, что сильнее боли. Словно подхваченное отблеском, тело взмывало над пламенем костра, над тщетой инквизиторского усердия; оно взлетало, как стартующая ракета, и это движение контрастно усиливала тупая плоскость монастырской стены, перед которой стоял памятник.

Не надо было пояснений, чтобы понять — Джордано Бруно.

Полынов благоговейно приблизился. И вздрогнул. Здесь тоже лежали цветы, но тут же на низком постаменте белела выведенная мелом надпись: “Разум — сифилис человечества”.

Мгновение — Полынов был уже за оградой. Мел въелся в шершавый камень, но он тер, тер, не щадя ладоней, и не расслышал поскрипывающих шагов, а когда поднял голову, то увидел внушительную фигуру полицейского, который смотрел на него, словно раздумывая, — брать за шиворот или погодить.

— Так, — промолвил полицейский. — Нарушение правил — зачем?

— Надпись, — задыхаясь, выговорил Полынов. — Хулиганская надпись, которую я стер. Неужели вы ее не видели?

— Иностранец? — полицейский качнулся. — Все равно не дозволено. Платите штраф.

— Но как же так? — вскричал Полынов. — Какие‑то хулиганы позорят вас, позорят страну, а вы…

— Вас не касается, вы потоптали цветочки, — равнодушно глядя мимо Полынова, полицейский протянул руку, уверенный, что штраф тотчас скользнет в ладонь.

Ничего не оставалось делать, как отсчитать бумажки. Получив деньги и протянув квитанцию, полицейский величественно удалился.

Звонить Лессу было рано. За окном номера в мглистое ночное небо тупыми колоннами упирались здания с бессчетным количеством этажей. Все видимое пространство было загромождено плоскостями домов. Далекие пунктиры окон придали им сходство с панелями вычислительных машин. Некоторые точки окон зажигались, другие гасли, и это еще больше

усиливало сходство. Полынов задернул штору.

На столике вежливо подал голос видеофон.

— Слушаю, — сказал Полынов.

— Простите за позднее вторжение, — послышался в трубке напористый голос. — Говорит Бизи, корреспондент газеты “Темпора”. Я здесь, в отеле, и, честно говоря, вы доставите мне кучу неприятностей, если откажете в крохотном интервью. Всего минут десять, не больше!

Интервью у Полынова брали много раз, но сейчас для этого вроде не было повода. Как и зачем его разыскали? Полынов не мнил себя фигурой, о перемещениях которой трубят телеграфные агентства. Экранчик не передавал объема, и на лице репортера, стандартно–приветливом и стандартно–невыразительном, ничего не удавалось прочесть.

— Видите ли, — сказал Полынов, колеблясь, — на традиционный вопрос “как вам понравилось…” я пока ничего не могу ответить. О науке мне говорить не хочется. А все другое вас вряд ли может заинтересовать. Поэтому…

— Минуточку! Поставим вопрос иначе. Разве вам, известному психологу, не интересно наблюдать, чем живет и дышит обыкновенный гражданин той страны, с которой вы хотите познакомиться? Только, пожалуйста, не говорите, что все газетчики одинаковые!

Полынов от души рассмеялся.

— Жду вас, — бросил он в трубку. — Заходите.

Видеофон не лгал. Лицо Бизи действительно оказалось тем самым, о которых говорят, что оно не имеет особых примет. Но видеофон скрыл одну важную особенность взгляда вошедшего. Глаза Бизи взирали, ничего не отдавая, смотрели равнодушно и вместе с тем цепко, но эту цепкость трудно было приметить. Такого “закрытого” взгляда не бывает у репортера, для которого важно в любой обстановке тотчас установить контакт с любым человеком. Такой взгляд скорей присущ закулисным политикам, опытным кадровикам и работникам секретных служб, хотя, разумеется, не всем.

Предлагая гостю кресло, Полынов поспешно соображал, в какой мере верна неприятная догадка и что все это, черт возьми, значит?

— Итак, — сказал он, — раз я имею дело с обыкновенным рядовым газетчиком…

Полынов выдержал паузу.

— Разрешите? — Бизи вынул из нагрудного кармана сигару. — Смысл вашей интонации мне понятен. Искренне восхищен, — он наклонил голову. — Все верно. Позвольте представиться: Бизи, сотрудник департамента социальных проблем. Извините за этот маленький камуфляж. Как журналист я имел шанс встретиться с вами наедине, а это, поверьте, очень важно.

— Не знаю, — медленно проговорил Полынов, — что меня сейчас удерживает от намерения указать вам на дверь.

— Любопытство, — коротко ответил гость, закуривая.

Полынов посмотрел на него с невольным уважением.

— Послушайте, Бизи… А может, не Бизи?

— Нет, фамилия подлинная. И департамент тоже. Можете удостовериться.

Он протянул запрессованную в пластик карточку.

— Однако вы не просто сотрудник, — сказал Полынов, возвращая документ. — Разговор, стало быть, официальный? Хотя, что я, для официальных переговоров не являются в плаще и маске. Вы не находите начало несколько… э… опереточным?

— Что делать, обстоятельства, — Бизи спокойно разглядывал дымящийся кончик сигары. — Во всяком случае, разговор не доставит вам никаких неприятностей. Помимо тех, которые уже были в этот вечер. Если они, конечно, были.

— Вам‑то какое дело?

— А, все‑таки были!

— Вы что, следили за мной?

— Никоим образом! Глупо, а, кроме того, мы заинтересованы в вашем добром

отношении. Тут чистая дедукция. Раз вы гуляли, то скорей всего могли кое‑что заметить, и это “кое‑что” вряд ли вам понравилось. Вы имеете представление о задачах нашего департамента?

— Откуда?

— Да, конечно. Кстати, маленькая просьба: пусть этот разговор останется между нами.

— А вы не находите, что это уже слишком? Я ничего у вас не выпытываю. Оставьте, пожалуйста, свои тайны при себе.

— Не могу. Мне надо вас с ними познакомить.

— Зачем?

— Необходимость. Вы сами убедитесь, что ваше молчание никому не нанесет ущерба. Ни вам, ни вашей родине. Скорей наоборот.

— Объясните.

— Представьте, что вы инфекционист. К вам является некий, согласен, довольно подозрительный Бизи, который информирует вас, что в стране началась эпидемия. Эпидемия, которая может распространиться… далеко. В ваших или нет интересах узнать, что это за эпидемия? Сохранение в тайне такого разговора до отъезда из страны, по–моему, не столь уж большая цена за подобную информацию.

— Откуда я знаю, что дело обстоит именно так?

Бизи окутывало облако дыма, и частота затяжек, пожалуй, была единственным признаком его волнения.

— Если дело обстоит не так, — невозмутимо ответил он, — если я вас обманываю, то вы будете вправе нарушить свое слово и разгласить все до последней запятой. Такой поступок, между прочим, станет концом моей карьеры.

— Тогда почему вы не можете обратиться официально?

— Увы! — Бизи развел руками. — Полагаю, вы согласитесь, что так и должно быть, когда узнаете все. И еще. Хотя мы и беседуем как сугубо частные лица, мой визит к вам — не только моя инициатива.

— В любом случае я оставляю за собой право поступить так, как считаю нужным, — жестко сказал Полынов.

— Ладно, пусть будет по–вашему! Сейчас, здесь, — хочу я того или нет, — с моей стороны возможна только полная откровенность. Дело вот в чем. С некоторых пор в нашем обществе развилось умонастроение, которое нас беспокоит. Тревожен сам характер этого умонастроения, но еще тревожней то, что мы не можем выявить причину. Мы пришли к заключению, что эта проблема настолько сложна, неожиданна, что рядовые специалисты с ней не справятся. Разрешить ее, пожалуй, может специалист только вашего класса.

— Это вы называете откровенностью? Вы же ничего не сказали! Что за умонастроение? Какая проблема? При чем тут я?

— Терпение. Умонастроение можно выразить одной фразой: “Долой науку!” Точнее, даже так: “Смерть разуму!”

— Откуда вы взяли, что эта проблема нова? Не изучена? Подобным умонастроениям столько же веков, сколько самой цивилизации.

— Верно. По есть одна маленькая особенность. Вы, конечно, читаете газеты, следите за международными известиями.

— Не очень внимательно, признаюсь. Последнее время я был…

— Знаю. Но готов спорить, что вы летели сюда с убеждением: “Вот тихая, спокойная страна, где давно уже не происходит ничего серьезного. Конечно, газеты пишут о каких‑то анекдотических случаях, но где таких случаев нет”. Верно?

— Да.

— Так вот — это на поверхности. Журналист, наблюдающий, так сказать, за кухней общественной жизни, подобен хозяйке, которая судит 6 состоянии воды в кастрюле по тому, закипает она или нет. Для посторонних вода в нашей кастрюл$_{е}$ тепленькая. Но департамент, слава богу, располагает термометрами. Что вы скажете о кастрюле, вода в которой

мгновенно нагрелась сразу на несколько десятков градусов?

— Скажу, что ее поставили на очень сильный огонь.

— А огня нет.

— Так не бывает.

— Конечно. Однако еще недавно у нас все было тихо и спокойно.

— Если я правильно понял, вы хотите пригласить меня на консультацию.

— Совершенно верно.

— У вас есть Лесс.

— Он отказался.

— Так! Но почему меня? Мои взгляды, надо полагать, вас не слишком привлекают.

— Именно это нас и устраивает.

— То есть?

— Разумеется, не только это. Таких ученых, как вы, немного. Кроме того, вы уже здесь и свободны, а у других зарубежных специалистов время расписано на месяцы вперед. А нам никак нельзя медлить! — Бизи покачал головой. — И то, что вы из социалистической страны, поверьте, очень существенно.

— Решительно ничего не понимаю!

— Я все объясню, если вы согласитесь помочь нам как эксперт. Лесс, уверен, поймет и простит, а уж потерянные дни мы чем‑нибудь компенсируем.

— Это все, что вы пока мне можете сказать?

— Я и так уж превысил свои права. Вот если вы согласитесь…

— Нет.

— Подумайте. Мир един, пожар, возникший в одном месте, угрожает всем. Это не мои слова.

— Во–первых, у меня нет оснований доверять вам, надеюсь, вы это сознаете! Во–вторых, “проклятие разуму”, уверен, вызвано вашими чисто внутренними, социально–экономическими причинами, в которых я плохо разбираюсь. Следовательно, мое участие в ваших делах и неуместно, и бесполезно.

— Это ваше окончательное решение?

— Да.

— Жаль, — Бизи поднялся и загасил окурок. — Жаль, что вы так думаете. На всякий случай вот вам мои координаты.

Он протянул свою визитную карточку. Полынов взял ее. Казалось, что Бизи порывается еще что‑то сказать и борется с этим желанием.

— А! — махнул он рукой. — Положения это все равно не ухудшит. Должен вам кое в чем признаться.

— Еще какая‑нибудь тайна? Тогда увольте.

— Все равно вы догадаетесь. Но сначала несколько слов. Существует, на мой взгляд, еще одна причина вашего отказа. Вы не восприняли мои слова всерьез. Вы не поверили, что угроза реальна. В такой мирной стране, в такой славный вечер, — вероятно, я бы тоже не поверил. Не иначе тут какая‑то двойная игра, хотя зачем кому‑то с вами играть? Все слишком смахивает на фарс, допустим. Должен, однако, разъяснить, что номер в отеле вам заказали мы.

— Лесс… — Полынов шагнул к Бизи. — Где Лесс?

— Не беспокойтесь! — Бизи порывисто отступил. — Лесс в полном порядке, с нашей стороны ваш отдых больше ничем не будет нарушен. Просто Лесс ждет вас не сегодня, а завтра.

— Что все это, наконец, значит?

— Только то, что нам крайне важно было встретиться с вами срочно и наедине. Надеюсь, теперь вам ясно, что фарсом здесь и не пахнет.

— Уходя, пожалуйста, прикройте за собой дверь поплотней.

Бизи усмехнулся.

— Я думал, вы скажете “вон”!

— Надеюсь, вы понимаете, — сдерживаясь, проговорил Полынов, — что эта ваша “услуга” освобождает меня от всяких слов и обещаний.

— Разве я уж настолько туп? — Бизи широко улыбнулся. — Но кто всерьез обращает внимание на фарс? Желаю счастливого отдыха.

***

Дубки выбегали к дороге, как расшалившиеся мальчишки, уютно посвистывал ветер, и тени облаков скользили по гладкому полотну дороги, то уступая вершины холмов брызжущему солнцу, то погружая их в задумчивый сумрак.

Легко было заметить, как ухожена здешняя земля. Любой овражек перегораживали стенки водослива, луга были гладкими, как свежевыбритые щеки, чистые перелески просматривались далеко вглубь. Сюда, чувствовалось, был вложен труд многих поколений. Когда‑то, — уже забылось когда, — людей здесь угнетали болотные лихорадки, мучили насекомые, подстерегали неурожаи, бедой грозили пожары и наводнения. Когда‑то человек был так же беззащитен перед природными бедствиями, как перед социальными, хотя источники первых были не в его власти, а источники последних, казалось бы, целиком зависели от его поступков, желаний и воли. Однако с природными бедствиями уже почти везде было покончено, тогда как с социальными…

Тем благодатней казалась природа, спокойствие ее лесов, нега разнотравья, куда горожанин мог скрыться от тягостных проблем, нервных перегрузок и людской скученности. Заманчивая идиллия в духе Жан–Жака Руссо! Впрочем, если бы в лесах Швейцарии и Франции было полным–полно комаров, еще вопрос, возник бы у философа клич: “Назад, к природе!”

Однако даже заядлый урбанист не устоял бы в своем скептицизме, мчась погожим утром по синим холмам и безмятежным перелескам. Машина шла сама по себе, в окна, сменяя друг друга, врывались запахи земли, с коротким посвистом мелькали перила мостиков, проблескивали ручейки, и вчерашний разговор с его томительными недомолвками казался на свежем ветре вдвойне нелепым и глупым.

Но не выходил из памяти.

И причиной тому были не столько личные переживания, сколько привычка исследователя докапываться до сути. В Дорогу Полынов прихватил справочник “Все обо всем” и успел его просмотреть. Он узнал, сколько в стране производится электроэнергии и сколько в стране комнатно–декоративных собак, и какова структура экспорта, и что читают граждане. Одного он не смог найти: показателей социального здоровья общества. Это его не удивило — прятать наиболее важные сведения было давней и распространенной традицией. По данным о наркомании, преступности и количеству душевнобольных Полынов все же попытался прикинуть индекс. Цифра оказалась неутешительной. Но она была примерной и, ясное дело, устаревшей, а истину мог сообщить разве что какой‑нибудь Бизи.

И еще, пожалуй, Лесс. Да, Лесс должен был знать многое. Другой вопрос — стоит ли его спрашивать.

Хмурясь, Полынов разглядывал мелькающий пейзаж. Тогда, ночью он все‑таки дозвонился до Лесса. И умолчал о событиях вечера. Не потому, что разговор мог прослушиваться, а потому, что вся эта нелепая история взволновала бы Лесса. Чего доброго он разъярился бы и полез в драку. А что бы это дало? Ну, извинятся перед ним в департаменте (хотя вряд ли, — скорей всего, отопрутся). А смысл? Никакого. Только испортит себе настроение.

А ведь Бизи и это учел…

Впереди возник поворот с указателем. “Урания”, прочел Полынов. Машина замедлила ход и свернула с магистрали. Дорога запетляла среди соснового леса. Вскоре с холма открылся весь научный городок. Разбросанные в зелени коттеджики издали смотрелись, как пряничные игрушки, — такие они все были нарядные, пестрые, заманчивые. Меж ними были раскиданы башни и кубики лабораторий. Вдали синело море.

Когда‑то своим умением хорошо устроиться славились монастыри. В этом научные городки им не уступали.

Очередной поворот открыл взгляду первое лабораторное здание. Полынов невольно притормозил. Розовая, без окон, плоскость стены была испещрена звездчатыми кляксами, словно тут кто‑то бил бутылки с чернилами.

У дороги стоял полицейский.

— Эй! — окликнул его Полынов. — Славные тут развлекались детишки, а?

Кивком он показал на испачканную стену.

Полицейский повернул голову с таким выражением лица, словно это движение стоило ему невесть каких усилий. Секунду он изучал стену. Затем — с тем же выражением — перевел взгляд на Полынова.

— Пресса?

— Нет, я…

— Шкуры, значит, везете?

— Какие шкуры?

— Какие, какие… Сами, небось, знаете.

— Я ничего не знаю! Что вы имеете в виду?

— А, иностранец… Не из этих, стало быть. Ну, проезжайте.

— А если бы я был из “этих” — тогда что?

— Ничего. Ребята как ребята.

— Да кто же они?

— Кто, кто — едете, а не знаете. Вот помню…

Что полицейский помнил, узнать не удалось. Внезапно он уставился в небо. Полынов тоже посмотрел вверх.

Над гребнями сосен летели точь–в-точь ведьмы на победах. “Ведьмы” были, как на подбор, молоденькие, рыжие, в длинных развевающихся рубахах. На шалых лицах прозрачно стекленели глаза. Оседланные “ведьмами” продолговатые летательные аппараты тонко звенели в воздухе. Оказавшись над головой полицейского, одна из них хихикнула и задрала рубашку. В просвете мелькнуло смуглое бедро. Полицейский осклабился. “Ведьма” показала ему язык. Эскадрон скрылся за ближайшей купой деревьев.

Полынов читал о “ведьмах”, но видел их впервые, навеянные представления оказались правильными.

— На шабаш полетели, — со вкусом произнес полицейский. — Местные. Утром, а? И ведь не пьяные — озорные. Это, я понимаю, жизнь, не тощища…

Полынов хотел было задать пару–другую вопросов, но полицейский уже повернулся спиной и занялся созерцанием шоссе, где показался какой‑то виляющий автомобильчик. Полынов тронул машину.

Тенистые улочки встретили его тишиной и безлюдьем, точно было воскресное утро где‑нибудь в доброй старой Англии. Два–три человека с собаками на поводке — вот и все прохожие. Шум мотора, казалось, заставлял морщиться чинные коттеджи. Не слышно было ребячьего гомона. Полынов взял управление на себя, отсчитал третий поворот и свернул налево.

Издали домик Лесса ничем не выделялся среди других, но Полынов сразу заприметил его по обилию редкостных растений в саду и небрежно распахнутым воротам. С крыльца, светясь улыбкой, уже сбегал, вернее, скатывался сам хозяин. Полынов утонул в его пухлых объятиях.

Наконец, объятия разомкнулись, и они, еще горячие от смеха и беспорядочных возгласов, взглянули друг на друга.

Когда человека не видишь много лет, а потом жадно в него вглядываешься, то в глаза прежде всего бросается то новое, что в нем появилось. Нельзя было сказать, что Лесс разительно изменился, постарел, обрюзг. Вовсе нет. Правда, он выглядел утомленным, даже очень утомленным, но дело было не в этом. Каким бы усталым или измученным ни

оказывался Лесс, от него всегда исходил ток жизнерадостности, крепкого душевного здоровья, теплого спокойствия. Обаяние детской чистоты и непосредственности было так же свойственно Лессу, так же неотделимо от его личности, как пухлые ямочки на щеках, порывистость и одновременно округлая плавность жестов, как задумчивая манера подпирать кулаком подбородок или живой, отзывчивый блеск маленьких, глубоко посаженных глаз.

Все это было и теперь. Было, но не осталось прежним, как не остается прежним фарфор, едва глухой и тусклый звук от удара палочки выдает скрытую в нем трещину. То же самое явилось Полынову в поспешной, как бы прячущейся улыбке Лесса, в торопливой суете жестов, и поразило его так, что он не пожелал довериться первому впечатлению. Лесс уже вел его в дом и говорил, не переставая.

— Тут, понимаешь, у меня раззор, разорение, пожалуйста, не обращай внимания, такие, знаешь ли, пустяки… Марта с детьми в горах, куда и мы тотчас двинемся, я теперь, стало быть, холостяк, сам себе голова, так что…

Никакого особого разорения в комнатах не замечалось, хотя все имело слегка нежилой вид. По дороге в кабинет Полынов успел спросить о здоровье семьи, а Лесс успел ответить, потом уже Лесс задал вопрос о дороге, и Полынов ответил, но когда они вошли в кабинет и уселись, то сразу замолчали. Сложив руки на округлом, достойном Пиквика, животике, Лесс, тепло улыбаясь, глядел на Полынова, а Полынов, тоже улыбаясь, смотрел на Лесса. На стене в футляре красного дерева солидно тикали старинные маятниковые часы, и только этот звук был в комнате. Их взгляды встретились, и обоим вдруг стало хорошо, очень хорошо, совсем как прежде, лучше, чем в ту первую секунду, когда они кинулись друг другу в объятия, и в Полынове смолкла тревожная мысль о том, что сразу после объятий все было не совсем так, как должно, и еще неизвестно, будет ли впредь, как должно, и что причиной тому не долгая разлука, не естественная неловкость первых мгновений встречи, а нечто совсем иное, пока непонятное.

Лесс встрепенулся.

— Ты здесь! — словно не веря, он восторженным взглядом окинул рослую фигуру Полынова. — Да еще на день раньше, чем обещал. А я, грешным делом, уже верить перестал, что ты выберешься. Целых семь лет я тебя не видел — это надо же! — он покачал головой. — Ну, рассказывай. Нет, погоди! Побудь минуточку, я мигом.

— К чему беспокойство, я не голоден.

— Кто говорит о еде? — грозно прорычал Лесс. — Ты все забыл!

— Верно, верно, — покаянно улыбнулся Полынов. — Каюсь, забыл. Тащи свой эликсир.

— Знаменитый “эликсир Лесса” давно уже стал легендой, и потому, что Лесс рассказывал о нем доверительно, и потому, что его мало кто пробовал, а кто пробовал, тот многозначительно крутил головой. Как Менделеев гордился сбоим умением делать чемоданы едва ли не больше, чем составлением периодической системы, так и Лесс полагал, что истинных успехов он добился в “гастрономической”, по его выражению, фармакологии, и все сокрушался, что проклятый космос мешает ему заниматься любимым делом, мало того — губит те настойки, которые он украдкой провозил на орбитальные станции. Ибо травы, как он пояснял, на редкость капризны в своих целебных и вкусовых свойствах. Брать их надо далеко не во всяком месте, в строго урочные часы, при особом состоянии погоды и даже активности солнца, а иначе получится обычная микстура, которую любой понимающий человек выльет в раковину. И потреблять настойку тоже следует в определенные часы, для каждого человека индивидуальные, согласованные с его биоритмами. Увлечение Лесса выглядело чудачеством, но Бергера от лучевой болезни вылечил именно он и как раз травами. Поэтому, хотя над “зельями Лесса” добродушно посмеивались, говорили о них с уважением, как, впрочем, и обо всем, что делал Лесс, ибо сделанное им всегда оказывалось солидным, достоверным и значительным.

Лесс исчез из кабинета, а Полынов поудобней устроился в продавленном кресле и огляделся. Кабинет напоминал прежнего Лесса больше, чем сам Лесс. Заваленный стол,

какие‑то погребенные бумагами и лентами приборы, изогнувшиеся винтом стопки книг, — все было точно таким, как прежде. Разве что помещение тут было побольше, чем в космосе, и в нем находилось больше самых неожиданных вещей. Явно не к месту тут был стереотелевизор — такому суперу полагалось находиться в гостиной, но там, насколько успел заметить Полынов, его как раз и не было. Непонятно почему на столе расположилась и желтая пластмассовая утка. Уму непостижимо, как дотошная аккуратность в работе и скрупулезная педантичность в выводах сочетались у Лесса с умением создавать хаос всюду, где он обосновывался. На корабле ни стерео, ни утки, конечно, не было. Но там, к примеру, всегда был чайник для гостей, которые у Лесса никогда не переводились. Интересно, есть ли здесь чайник?

Чайник был. Он стоял бок о бок с диспенсором, и оба предмета — прибор и чайник — были задвинуты под кресло, на котором лежала груда каких‑то стереокатушек. На подоконнике сушились непонятные корешки. Полынов взял один, пощупал и сморщился: запах был едкий.

Он еще раз окинул взглядом кабинет, смутно удивился, но не успел разобраться, что именно его удивило, потому что на пороге появился Лесс с бутылкой и стаканчиками в руках. Жидкость в бутылке была коричневой, на дне ее колыхались какие‑то водоросли.

— Приступим, — торжественно сказал Лесс. — Я кладу жизнь на то, чтобы обычай пить при встрече заменить обычаем лечить. Надеюсь, твой главный биоритм остался прежним?

— Так точно, господин лекарь, — Полынов шутливо поклонился. — Это от генов, господин профессор. Ритм не меняется, ты же знаешь, — добавил он уже другим тоном.

— “Я знаю только то, что ничего не знаю”. Поверь мне, это мудрость всех мудростей. Ладно, в какой ты сейчас фазе?

— Неужели и это важно?

— Важно ли? — Лесс всплеснул руками. — И это спрашивает психолог! Когда, когда мы, наконец, станем относиться к человеку хотя бы так, как мы относимся к машинам? — проговорил он с внезапной яростью. — Да, да — к машинам, и нечего удивляться! Никто не включает мотор в сеть не с тем напряжением, никто не заливает в него бензин с помоями, а с человеком мы поступаем так сплошь и рядом!

— Ну–у, — протянул Полынов. — Потребуем равенства с машинами, да?

— Ты все смеешься! Равенство, хотя бы и так… Попробуй кто‑нибудь поцарапать зеркало телескопа, пережечь компьютер, бросить сор в ракетное топливо, — что будет? А оскорбить человека — это можно, измотать его — пожалуйста, оглупить — тем более! Не только разрешается, но и поощряется, не на словах, так на деле. Это не машина! Разве я не прав? Вот так‑то…

Вспышка разрядилась неловким молчанием. Лесс захлопотал у стола, смахнул бумаги, отодвинул утку, которая тут же заклевала носом, пошевелил губами, видимо, рассчитывая в уме дозу, и, держа стаканчики на уровне глаз, отмерил жидкость. Полынов, думая о своем, машинально следил за его движениями.

— Кажется, у вас по такому случаю полагается тост? — неуверенно спросил Лесс.

— Не тогда, когда дело пахнет медициной, — Полынов с сомнением взял стаканчик.

Про себя он отметил, что Лесс так и не вспомнил о фазе его биоритма.

— Подожди! — остановил его Лесс.

— Что такое?

— Медицина или не медицина, а эту штуку нельзя пить залпом.

— Хорошо, я не буду пить залпом. Твое здоровье!

— Здоровье всех…

Сделав глоток, Полынов сначала спросил себя, есть ли в этой жидкости алкоголь. Затем он спросил себя, а какой, собственно, у напитка вкус? И уж совсем он не смог бы ответить, нравится ли ему то, что он пьет.

А по глазам Лесса было видно, что такой вопрос не замедлит последовать. Отвратить его можно было только одним способом, и Полынов, наконец, решил высказать то, что с первой минуты не давало ему покоя.

— Прекрасно, — сказал он. И словно невзначай добавил: — А у тебя утомленный вид. Много работы? Или какие‑нибудь неприятности?

— Что? — взгляд Лесса метнулся. — Ах, да, да, конечно, надо было бы сразу сказать, да вот не решился сразу, такие понимаешь, дурацкие обстоятельства, просто невезение какое‑то… Устал я, это верно, перенервничал, работы было много, теперь все не так, как прежде, — ночь напролет, и свеж. Пустяки, конечно, но очень уж неловко, что я не в форме, и вообще…

Слова катились, как некстати рассыпанный бисер. Полынов торопливо закивал в ответ, ибо нет ничего более неловкого, чем попытка искреннего человека обойти правду.

— Что я, однако? — спохватился Лесс. Он озадаченно тер лоб. — Не то я говорю, дорогой мой… Тут вот какая история: не ждал я тебя сегодня с утра. И осталось одно срочное дело, из‑за которого мне придется тебя покинуть. До самого вечера. Только до вечера! А уж завтра… Не сердишься?

Он смущенно взглянул на Полынова.

— Интересно, как это я могу сердиться? — в сердцах сказал Полынов. — Я же сам виноват. Побуду один, что за церемонии!

Не рассчитав, он со стуком опустил стакан. Лесс удивленно моргнул. И тотчас же все стерла широкая улыбка.

— Ты прав, — он вскочил. — Все это пустяки, суета сует, и для начала мы славно искупаемся. Пошли!

— Но ты спешишь…

— Время есть, успеется. Да, забыл: тебе понравилась настойка?

Рощу испещряли тропинки, но людей видно не было. Неподалеку гулко стучал дятел, в затененной траве матово поблескивали росинки, однако поляны уже дышали сухим зноем и там, распуская алые плащики–подкрылки, из‑под ног с треском выпархивали кузнечики.

— Тихо живете, — проследив их полет, заметил Полынов. — Пустынно.

— Так все же разъехались — лето.

— Я бы отсюда вовсе не уезжал. Лес, тишина, море, — что может быть лучше?

— М–да, — неопределенно согласился Лесс. — Тишины хватает. Успел посмотреть столицу?

— Немного.

— И какое впечатление?

— Разное.

— Применимо к любой столице. Дипломатом ты стал, — Лесс коротко вздохнул.

— Боюсь ненароком задеть твой патриотизм.

— Зря. Любопытно, как тут у нас — на свежий‑то взгляд?

— Непонятно.

— Непонятно?

— Видел я тут одну надпись: “Разум…”

— А–а! Догадываюсь о содержании. Просто ты не привык к пашей повседневности. Она, знаешь ли, пестрая. Порой я думаю…

— Да?

— Мы слепые.

— В каком смысле?

— В историческом. Вот этот дуб, — Лесс махнул рукой в сторону могучего красавца, — не знает, что ему предстоит цвести, а потом дать желуди. Ему это и не нужно, не в его власти что‑либо изменить. А мы? Что больше всего удручает, так это невежество, которое под видом образования передается детям. Математике, не жалея времени, учат. А

что все свойства психики, поведения дают разброс, который может быть выражен гауссианой, — в каком учебнике о ней сказано? О великом эволюционном значении этой кривой им говорили? Кому известно, что без ее учета все рассуждения об этике, морали ничего не стоят? В каких школьных учебниках, опять же, написано о законах поведения сложных систем, которым подчиняется и наше развитие? О тупиках и ловушках прогресса? Добро бы все эти необходимейшие знания были новостью. Так нет же! Но об ультразвуковой соковыжималке, о речах политических однодневок, спортивных играх кричат на всех перекрестках, а об этом — нет.

— Ищи, кому это выгодно, — пробормотал Полынов.

— Да, конечно, — понурился Лесс. Его лицо то вспыхивало в солнечных бликах, то погружалось в густую тень, отчего попеременно казалось оживленным и хмурым. — Хозяин и слуга, богатый и бедный, класс и классовая борьба — читал. Но узко все сводить к эгоизму правителей, их слепоте и алчности. Сознание человека отстает от им же вызванных изменений, иначе не объяснишь, почему научно–техническая революция, экологический кризис и многое другое застали нас врасплох. К чему такое запаздывание может привести в дальнейшем, ты, конечно, понимаешь.

— А чем оно вызвано? — прищурясь, спросил Полынов. — Не только тем, что добытые знания, как эго вытекает из правила гауссианы, не могут сразу стать всеобщим достоянием и тем более служить руководством к действию. Не кажется ли тебе, что для кое–кого “человек технический” предпочтительнее “человека разумного”? “Человек технический” — он же “потребляющий”, “зрелищный”, “одномерный”, “узкопрофессиональный”, какой угодно, лишь бы не думающий, понимающий, действующий. Сам он становится таким или ему в этом очень и очень помогают?

— Опять ты видишь за всем классовый эгоизм! По–твоему, наши дорогие монополисты–капиталисты, креслозадые чиновники, сладкогласые политики, враги себе? Не жажда всеобщего блага, но чистый инстинкт самосохранения должен им подсказывать, что дальше так нельзя, что слепота массового сознания рано или поздно погубит всех — в том числе их самих!

Не удержавшись, Полынов фыркнул.

— Милый, дорогой Лесс! Разве французскую или русскую аристократию инстинкт самосохранения научил, что землю надо отдать крестьянам и установить хоть какую‑то свободу? Где и когда в истории правящий класс добровольно, без боя умерял свой эгоизм? Вот уж чего не было, того не было. Так что не жди и не надейся.

— Тогда, видать, безнадежно, — сказал Лесс. — Что?

— Все. Или быстрые, но контролирующие изменения, или кровавая операция. А кровь… — Лесс содрогнулся. — Может быть, уж лучше “бабуины”.

— Это еще что за звери?

Лесс вздохнул.

— Надпись, о которой ты напоминал, — их рук дело. Позавчера — “ангелы”, “рокеры”, вчера “фузелены”, сегодня — “бабуины”. Это как гной, как высокая температура, как лихорадка. Хватит об этой мерзости! Что‑то мы не о том говорим…

Лесс умолк. В роще уже чувствовалось свежее дыхание моря.

Это верно, подумал Полынов. Очень даже верно. Я не говорю о том, что произошло вчера. Лесс не говорит… Поди догадайся, о чем! Я молчу, ты молчишь, они молчат ~ такое вот упражнение в дипломатической грамматике. Гостю неловко вмешиваться, хозяину неловко впутывать гостя, я бы вел себя точно так же. И все‑таки мы говорим о том, что нас волнует. Да, да! Мы не вспоминаем прошлое, сенсации последних конгрессов нас не занимают, старых друзей будто нет вовсе, судьбы человечества нас, видите ли, интересуют не больше, чем предстоящая рыбалка в горах Хлори. От кого и зачем мы таимся? Какого черта! Многолетняя дружба — или этого мало для полной откровенности?

— Между прочим, — заговорил он, — вчера мне довелось познакомиться с одним твоим соотечественником. Знакомство состоялось, надо сказать, при довольно странных

обстоятельствах. Некий человек по имени Би…

Тропинка была узкая, Лесс шел впереди и вдруг застыл, как при звуке выстрела.

— Что? — Полынов быстро огляделся.

— Жук.

— Жук? Какой жук?

— Да вот же. Ты когда‑нибудь видел такого? Полюбуйся; эндемик, местная фауна.

В воздухе, описывая спиральные круги, басовито гудел изумительный, отливающий перламутром жук. Он кружил настойчиво, упорно, как заведенный.

— Прелестный экземпляр, ты не находишь?

— Прелестный, — недоумевая, согласился Полынов.

Жук сделал еще один оборот и стал медленно, с достоинством, удаляться. Лесс коротко и сухо рассмеялся.

— Ты чего? — с недоумением спросил Полынов.

— Так, ничего, вспомнил один анекдот. Мальчик ловит сачком жука, хочет наколоть его на булавку, а жук ему говорит…

— Жук?

— Он самый. “Разве папа не запретил тебе баловаться с электричеством?”

— Веселый анекдот, — сказал Полынов. — Очень веселый.

— Уж какой есть.

Вот даже как, сказал себе Полынов. Значит, таким вот образом… Нюхай цветочки, стало быть, и вообще… Ну, ладно. Лессу в конце концов видней. Да, ему видней.

— Не обессудь, — внезапно сказал Лесс. — День сегодня нескладный. Но ты не беспокойся, отдохнем на славу.

— Я не беспокоюсь, — ответил Полынов. — Нисколько.

— Вот и прекрасно.

Край обрыва порос соснами. Стволы некоторых накренились, а корни повисли над пустотой, словно деревья спрашивали: “Шагнуть или не стоит?” Людей на пляже было немного, вдали ослепительно белели треугольные паруса яхт. Море с шумным вздохом накатывало на песок, оставляя неровные строчки пены.

Лесс и Полынов, на ходу стаскивая одежду, сбежали к воде.

Море — ласковое, теплое, колышущееся — приняло их, смыло заботы, убаюкало на волне. Они резали его гладь, ныряли, так что зыбкое пятно золотистого света вверху туманилось синевой, отдыхали на спине и снова ввинчивались в податливо–упругую воду. А когда они наплавались и вышли, их мокрые тела охватило приятное тепло. Они повалились на песок, растянулись в блаженстве, как когда‑то, как в детстве, до всяких полетов в космос, до проблем науки, которые пришлось решать, до степеней и званий, которых они достигли.

— Осторожней, тут мазут, — предупредил Лесс, когда Полынов захотел подвинуться.

— Ничего, — пробормотал Полынов. — Я вижу.

Они помолчали, следя за полетом чаек.

— Дураки были эти кроманьонцы, — после недолгого молчания проговорил Лесс.

— Угу, — согласился Полынов. — А почему, собственно?

— Чего им не сиделось? Саблезубых тигров и всяких там пещерных медведей они уже победили, в их власти оказалась вся планета — и какая! Без промышленных комплексов, ядерных бомб, грязи, неврозов, проблем и наркотиков. Зачем их потянуло к цивилизации? Ловили бы себе мамонтов, ели, спали, нежились, как мы, на бережку, жили бы, не считая веков, — просто, спокойно, долго.

— Считаешь, могли бы? — Полынов лениво пересыпал меж пальцами песок.

— А разве нет?

— Конечно, нет.

— Так уж и нет? Неисчерпаемые ресурсы, никаких серьезных соперников, никаких,

стало быть, стимулов прогрессировать.

— Сладкий сон о несбывшемся, — Полынов прикрыл глаза. Солнце светило в лицо и пронизывало тьму сомкнутых век всплесками багровых протуберанцев. — Прикончить бы того пещерного гения, которому не жилось спокойно, А? И не надо было бы старине Лессу спешить по своим высоконаучным делам, соорудили бы вместо этого шашлычок из мамонта, чем плохо?.. Вот только прежде огонь следовало изобрести.

— Как знать, может, и стоило гения‑то, — пробормотал Лесс.

— Идеалист несчастный! — Полынов перевернулся на бок. — Кто только что говорил о ловушках эволюции? Никаких конкурентов, планета неисчерпаема, плодись, значит, кроманьонец и процветай? Славно! Кроманьонец радостно последовал этому рецепту и размножился, как треска. А дальше? Дальше повальный голод. Много ли возьмешь с земли без скотоводства, посевов, — прогресса то есть? Помирай или прогрессируй! Кроманьонец не дурак, знал, что выбрать.

— И ни от чего не спасся, — кулак Лесса рубанул воздух. — Ни от голода, ни от смерти. В направленности эволюции я не хуже тебя разбираюсь. А что получается? Не вольны люди выбирать себе путь, вот что выходит! Мы создаем обстоятельства, они диктуют нам, как поступить, и мы поступаем, — о, по доброй воле, конечно! — с учетом обстоятельств. Смысл, смысл? Других планет достигли, а счастья? Грызем друг другу глотку, кто кого сильней, тот того и съел. И все, все говорят о благе. Как это у Платона в его законах устройства счастливого общества? Все должны не только повиноваться Закону, но и славить его. Что мы публично и делаем. Внезапная и яростная горечь Лесса, столь неуместная здесь, в солнечной неге, горечь без видимого повода, столь противоречащая характеру друга, так ошеломила Полынова, что он не сразу нашелся с ответом. А когда нашелся, то было уже поздно. Лицо друга обмякло, сконфузилось, взгляд, как бы ища отступления, метнулся к часам.

— Боже мой, — полдень!

Лесс вскочил, торопливо натягивая одежду.

— Ты извини, — бормотал он. — Веду я себя нескладно, говорю нескладно, но это в последний раз. Понимаешь…

— Нет.

— Разумеется, разумеется, — Лесс, пыхтя, заправлял рубашку. Полынов напрасно любил его взгляд. — Я тут нафилософствовал… Пустое, не обращай внимания. Все нервы, жара и спешка.

Полынов тихонечко присвистнул. — Что?

— Так, ничего. Жара, нервы.

— Сердишься?

— Просто не понимаю.

— Порой я сам себя не понимаю. С тобой так не бывает?

— Бывает.

— Вот.

— А, может быть, все‑таки…

— Нет. Надо бежать. Не умею опаздывать.

— Ладно. До вечера.

— Да, да. Успеем, все успеем. Ты останешься или пойдешь куда?

Полынов заколебался. Ему показалось, что вопрос был задан не просто так. “Черт знает что, я становлюсь подозрительным…”

— Я еще часик–другой поваляюсь на песке.

— Правильно, — Лесс кивнул. — Отдыхай. Когда проголодаешься, в трехстах метрах отсюда — вон там, — чудесный Ресторанчик. Кстати: я достал настоящую красную икру.

— Икру? Зачем?

— Темный ты, оказывается, человек, — Лесс с улыбкой покачал головой. — Не рыбак. Это лучшая наживка для форели, которую мы завтра будем ловить.

— А–а!

— И только настоящая, заметь. От синтетической форель нос воротит. Чуешь, какие у нас перспективы?

— Чуять‑то я чую…

— Значит, до вечера. Успеем, все успеем! Держи ключ. Дома у меня неплохая библиотека. А в ресторанчике советую заказать шанчики в соусе. Не хочется мне тебя оставлять, ох, как не хочется, да только над всеми нами есть бог — дело. Смотри, не перегрейся.

— Уж как‑нибудь.

— До вечера!

— До вечера.

Лесс помахал рукой, и Полынов помахал тоже. А еще есть такая славная игра, подумал он. Детская. “Да” и “нет” не говорить, “черного” и “белого” не называть. Только она мне уже порядком надоела. Ну, посмотрим…

Уже с обрыва, прежде чем скрыться в зарослях, Лесс снова помахал рукой. Полынов ответил. На мгновение ему захотелось догнать Лесса. Он тихо зарычал и двинулся к морю.

Серенькая, с крохотным хоботком букашка карабкалась по откосу песчаной ямки. Съезжала вместе с песком, увязала всеми лапками и снова карабкалась. Иногда обвал переворачивал ее на спину, она беспомощно трепыхалась, чудом вставала на ноги и, как ни в чем не бывало, продолжала свой путь. Полынов, наблюдая за букашкой из недоступной ей дали, попытался взглянуть на мир ее глазами, и ему открылась огромная, безжалостно залитая солнцем пустыня с исполинскими барханами, которым не было ни конца ни края. Вот так же примерно они с Лессом карабкались когда‑то по черным увалам Меркурия, так же оседал под ногами песок, только на них были скафандры, и жара их не мучила, а неподалеку находился готовый принять их вездеход. Ничего этого у букашки не было: она ползла себе и ползла, неизвестно куда и неведомо зачем.

Полынов осторожно смахнул песчаный гребень, чтобы облегчить ей путь, но букашка испугалась, суетливо забегала и повернула в сторону. “Я бы тоже испугался, если бы передо мной ни с того, ни с сего исчез целый хребет”, — лениво подумал Полынов. Он сел и огляделся.

Море вдали было ярким, как синий расплавленный металл. Людей на пляже прибавилось, но оживления не чувствовалось. Двое парней тащили вполне одетую девушку с явным намерением ее окунуть. Девица притворно упиралась и повизгивала. Никого это не касалось. Один парень громко осведомился у другого, не пора ли устроить маленький стриптизик. Девица взвизгнула чуть громче. Никто и ухом не повел. Кто не купался, тот млел на солнце. Ближе всего к Полынову был мужчина в клетчатых плавках. Он угрюмо заправлялся пивом.

— Хотите? — он перехватил взгляд Полынова. — Нет? Вы правы: истина в вине, отнюдь не в пиве. В прогрес–с-сирующей наркотизации человечества! Ваше здоровье.

Он опустошил банку.

Полынов встал и пошел к морю. Строй медноствольных сосен скрывал близость поселка. Лишь неподалеку, у причала возвышалась круглая, зеленовато–фарфоровая, с белой винтовой опояской башня, должно быть, какая‑нибудь лаборатория. Впрочем, вида она не портила.

Взрезая волны, промчались влекомые дельфинами водные сани.

Полынов искупался в четвертый раз и слегка заскучал. Все бы, казалось, вот так нежиться на песочке, а что‑то мешает. И непонятно, что. Отсутствие привычки? Или взволнованность Лесса, которая не идет из памяти?

Счастье пещерных жителей, хм… Сорок лет — уже дряхлость, а до этого переломы, болезни, включая кариес — и никто тебе не поставит пломбу. Завидная, что и говорить, участь.

Мужчина в клетчатых плавках осушил пятую банку пива и теперь закусывал

какой‑то рыбешкой. У Полынова засосало под ложечкой. Видно, пора было отдать должное изумительному ресторанчику, о котором говорил Лесс.

Не торопясь, Полынов стал одеваться. Сосед принялся за шестую банку пива.

— Вредно столько на солнце, — сказал Полынов.

— А, — ответил тот. — Все едино.

Ему было далеко за пятьдесят. Почти недостижимый в пещерной эпохе возраст. Да и в более поздней — тоже.

Издали донеслись какие‑то смутные крики. Все повернули головы в сторону башни. Там, похоже, сгущалась толпа. Вопили что‑то, размахивая руками. Кусты мешали толком разглядеть, что происходит.

Мимо Полынова стрелой пронеслась молодая девица. Лязгая зубами, она поспешно натягивала джинсы. Точно холодный ветер подул над пляжем. Те, кто был ближе к пристани, выскакивали из моря и, хватая одежду, бежали к лесу.

Донесся явно усиленный динамиком вопль:

— Вбить им в глотку!..

С пологой косы взлетели чайки.

Любитель пива торопливо обувался.

— Что происходит? — в недоумении спросил Полынов.

— Бабуины! — тот с треском затягивал ремешок сандалий.

— Ну и что?

— А вот увидите, что! Средь бела дня — надо же…

Он, наконец, справился с ремешками и, подхватив сумку, затрусил к обрыву.

Так, так… Кляксы на стене, полицейский, тишина на улицах, бабуины. А ведь, похоже, не в отпуск тут поразъехались! И Марта с детьми отправилась в горы не просто так. Но если бы сегодня назревала опасность, то Лесс предупредил бы. Остался бы с ним. Тут и думать нечего — остался бы. Правда, он мог не предусмотреть, всего не предусмотришь. Тогда… Однако полиция, похоже, начеку. Чего же все перетрусили?

Полынов прибавил шаг. Ноги увязали в песке. Не все покинули пляж. Лица тех, кто остался, были растерянно–злорадные. Никто, однако, не двигался. Крики смолкли, потом возобновились — неразборчивые и похожие на рычание. Полынов влез на обрыв и выглянул из‑за кустов!

Ну и ну!

На площади перед башней неистовствовала толпа человек в пятьдесят. Все были в шкурах, с папками в руках, мокрые от пота, все тряслись и орали. Кое у кого с синеватых губ слетала пена.

Наркотический транс? Чтобы лучше видеть, Полынов подался вперед, благо ни на что вокруг бабуины не обращали внимания. Их прыжки, конвульсии, приплясы напоминали и радения хлыстов, и камлание, и экстаз самобичевателей–шиитов. Но сходство было внешним и далеко неполным. Громче всех орал хвостатый предводитель (хвост был тигриным). Он стоял на возвышении, более чем странном: то была груда самых разных предметов — помятых стиральных машин, книг, разбитых компьютеров, стереовизоров, автомобильных колес и тому подобного. Правую ногу хвостатый оратор установил на грудную клетку робота, левой он подпирал школьный глобус. С его губ слетали неистовые вопли.

— Вот они, вот они, клопиные гнезда! Здесь, здесь воняет их тухлый мозг!

Указующий перст уперся в башню. Его белое, жутко просветленное лицо фанатика исказилось. Гримаса судорогой пробежала по лицам остальных.

Невольно Полынов поискал глазами съемочную аппаратуру, — уж больно все это было нелепо. Никаких камер, разумеется, не было. И санитарных машин тоже. Улица, ведущая вглубь поселка, была пуста, ни одно окно не распахнулось. Отсутствовали и обычные в таких случаях зеваки. Поодаль, ни во что не вмешиваясь, стояли угрюмые полицейские. Офицер, наклонившись к автомобилю, что‑то говорил в микрофон рации. За спинами полицейских суетилась горсточка Репортеров. Над всем простиралось жаркое голубое небо.

— Где же ученые? — завывал оратор. — Где эти твари? Забились в норы, ха–ха! — он зашелся лающим смехом, и тем же смехом ему ответила толпа. — Испугались, потому что с нами правда! Ага, ага! Кто создал ядерные бомбы? Мы? Они! Кто травит всех химией, микробами, лучами? Мы? Они! Кто выдумывает проблемы? Они, они! Стали мы счастливей после всех их дерьмовых открытий? Да или нет?

— Нет! — взвыла толпа.

— Так вбить их всех в землю!

Оратор топнул по грудной клетке робота, возвышение осело, и он покачнулся. На его потном лице мелькнуло изумление, но он тут же оправился.

— Друзья полицейские! — полицейские вздрогнули и подтянулись. — Вы же такие, как мы! Вам нужны звезды? Мегатроны? Телескопы и микроскопы? Или вас не посещает бессонница? Или ваши жены не рожают уродов? Вы с нами, да, да, с нами, наш враг — ваш враг!

Толпа устала кричать и бесноваться, все это чем далее, тем более напоминало исступленный, но все же политический митинг. На шее оратора болталось ожерелье. Сначала Полынов решил, что это какие‑то ракушки, но, вглядевшись, он обнаружил, что это самые обычные усилители. Толпа продолжала размахивать кулаками и палками, солнце палило, шкуры развевались, запекшиеся губы извергали проклятия, все это выглядело омерзительно, но не зловеще, и Полынова даже разобрал смех. Это надо же — проклятия науке изрыгать в микрофон! Да и шкуры, конечно, из синтетики.

Его уже не удивляло отсутствие санитарных машин, — ведь там, где начинается политика, кончается психиатрия. Почему, однако, затаились обитатели вилл? Почему не пришли разогнать этот нелепый и дурной цирк? Подумаешь, пятьдесят человек… Одних лаборантов здесь наверняка втрое больше. Где же они? Конечно, Акутагава прав, говоря, что слабость свободного мыслителя в том, что он свободно мыслит и потому не может сражаться яростно, как фанатик. Но здесь и не надо сражаться, достаточно показать кулак!

А что, если… Полынов с досадой прогнал мысль, но она тут же вернулась. Ведь то, что орет этот истерик, созвучно с тем, что недавно говорил Лесс!

Значит, что же? Комплекс вины? У Лесса?!

Сначала все бабуины казались Полынову на одно лицо — потное, фанатичное, орущее, перекошенное. Теперь он видел, что это далеко не так. Лица, если стереть с них истерию, были самыми обычными. Не зверскими, низколобыми, а вполне нормальными, у некоторых даже интеллигентными. Полынову довелось видеть в глухом уголке Африки величественный танец одного из племен. Вот там была подлинная страсть, — жутковатая, мрачная и очаровывающая, потому что исступление танца пробуждало память о давних временах, когда человек мог выжить только с дубинкой в руках, только в кровавом бою, только в упоении им. Танец выражал дикие, древние, но понятные чувства. Здесь страсть была отвратительной, как гной.

— В пещеры! — надрывался вожак. — К простоте! Истребим мысль!

По его знаку из толпы выбежал голый, с цветочным венком на шее ребенок, худой, прелестный и замурзанный. Он остановился, ошалело и дико озираясь. Кто‑то сунул ему в руки факел. Подталкиваемый кричащей толпой, он поднес факел к груде предметов и неумело ткнул его в ворох перфолент. Занялось коптящее пламя.

С меня хватит, сказал себе Полынов. Это уже было не раз, и давным–давно, и недавно. Известно, чем это грозит, сколько раз одно и то же, известно, чем кончилось, но все повторяется снова и снова. Чудесный отпуск, замечательный отдых!

Он повернулся и побрел прочь.

Не успел он сделать и десяти шагов, как сзади ахнул взрыв.

Рефлекс сработал тут же. Мгновение — и Полынов уже был на земле. Там, где только что возвышался хвостатый оратор, гулко рвалось и дымило. Над головой со свистом пронесся тубус микроскопа. Ребенок, гады, сволочи!.. Истошно вопя, врассыпную бежали бабуины. На некоторых тлели шкуры. Было отхлынувшие полицейские (пока Полынов стоял

и смотрел, их стало куда больше) на ходу вытаскивали оружие, ринулись наперехват и вдогонку.

Полынов очутился на виду. Словно кто‑то другой, хитрый и опытный, скомандовал ему, что делать. Подняться, встать, уйти. Только не бегом: в полицейских воспитан навык гончих. Надо превратиться в тупого, оглушенного событиями, быть может, пьяного зеваку. Личность, заведомо постороннюю и до конца ясную наметанному глазу полицейского. Пусть его походку отождествят с походкой человека под хмельком; сейчас, когда работают самые примитивные стереотипы, пьяный никого не интересует. Обыкновенный, так сказать, пьяный.

Пусть рядом бегут, пусть. Глупо влипать в историю, которая тебя не касается. Хорошо, прекрасно, эти кусты прикроют. Теперь шаг можно сменить на прогулочный. Гуляет солидный человек, идет по своим делам, рядом какая‑то катавасия; солидный человек недоуменно пожимает плечами и, естественно, продолжает свой путь. Чуть быстрее прежнего, но это тоже естественно.

А вот и шоссе, тут снова можно стать самим собой. Но выходить на шоссе не стоит, лучше тропинкой вдоль, да, лучше.

Провокация. Взрыв — это, конечно, провокация. Чья, зачем, с какой целью? Темный лес! К нему она, во всяком случае, не имеет отношения. Если бы имела, то вся эта игра в психологическую невидимость окончилась бы иначе. Да нет, даже предполагать такое глупо. Кому он тут нужен? Правда, Бизи он был нужен… Все равно нелепо. И дико. Дико — это само собой. Существует ли общественная психопатология? Не личная — с ней давно разобрались, а общественная. Типа крестного похода детей, охоты на ведьм или молений с цитатниками. Вопрос, уважаемые коллеги, далеко не академический. Как и ребенок с факелом.

Нет уж, решил Полынов. Пообедаю и запрусь в доме Лесса. И носа не высуну, хватит.

Молнии я, что ли, притягиваю?

Издали, нарастая, донесся вой сирены. Срезая повороты, на шоссе вылетела пожарная машина. Вторая, третья. Там, куда они умчались, над деревьями поднялся дым, которого не было минуту назад.

Какое‑то мгновение Полынов стоял, задрав голову. Потом рванулся и побежал, ничего уже не видя, кроме клуба дыма, который медленно ширился в прозрачном небе.

Ни тогда, ни позже он не смог себе объяснить, что сорвало его с места, отчего мир внезапно стал пустым и страшным.

Пока он бежал, пока невыносимо медленно тянулась лента шоссе, пока столь же невыносимо длились секунды, он видел лишь это лениво набухающее облако дыма. Чистенькие домики по сторонам, солнце в окнах, деревья, ограды, клумбы с цветами, теперь плоские и невыразительные, существовали сами по себе, вне этого бега, вне этого мира.

Уже перед поворотом Полынов услышал звук, который нельзя было спутать ни с каким другим, — свирепый звук бушующего пламени.

Задыхаясь, он одолел поворот.

Дом Лесса горел так, словно в недрах его работал мощный, нагнетающий огонь компрессор. Пламя рвалось изо всех окон верхнего этажа. Длинные, прозрачные в полуденном свете языки огня, трепеща, крутили протуберанцы копоти и сажи. Как черный снег, в воздухе порхали хлопья пепла. В разбитых окнах нижнего этажа клубился пронизанный багровыми отсветами дым. Он густо валил наружу. Там, где дым смешивался с беснующимся пламенем, оно тоже багровело и как бы распухало. Все звуки перекрывал треск огня.

В пару окон уже били синеватые струи антитерма. Там что‑то лопалось и трещало. Оттуда сочился неправдоподобный здесь нежно–перламутровый пар. Пожарные взламывали дверь, лезли в окна.

— Там никого? — крикнул Полынов санитару, который, облокотясь о капот машины, с профессиональным бесстрастием наблюдал за пожаром.

— Видать, никого, дверь заперта, — санитар вынул пачку сигарет.

Полынов облегченно вздохнул, припоминая, что ему говорил Лесс. Да, его не может быть здесь, это точно, он где‑нибудь в лаборатории. Ужасный день!

— Поджог, — сказал санитар, закуривая.

— Поджог?

— А вы что, не видите?

Он ткнул в сторону. Слева, вероятно, в полукилометре расплывалось еще одно облако дыма.

— Бабуинов, говорят, трахнули, вот они и взвились, — пояснил санитар.

Ударили еще две струи антитерма. Пожарные, взломав, наконец, дверь, ринулись в черно–огненное месиво.

— Сумасшедшие, — только и мог проговорить Полынов.

— Им платят за это.

— Я о бабуинах.

— Какие же они сумасшедшие? Рассуждают они куда как здраво.

— Здраво?

— А то нет. Равенство — так уж равенство. И чтобы без никаких! Он почему угнетатель? Потому что умник, ловчила, сладко пел, да крепко на шею сел… Ага, вроде бы и нам есть работка!

Отбросив сигарету, санитар вразвалку двинулся к дому. Полынов опередил его, прежде чем до сознания дошел страшный смысл произнесенного.

Из крутящейся в проеме черно–багровой иглы выступили двое пожарных в закопченных скафандрах. Они несли что‑то большое, темное, жуткое. Полынов рванулся, опрокидывая заслон. Пожарные уже спускались со ступенек, вокруг них шипело перламутровое облако антитерма. Кто‑то схватил Полынова за плечо, в лицо вместе с жаром ударил запах гари. Но Полынов уже ничего не слышал, не чувствовал, потому что это большое, обугленное, жуткое — было Лессом.

— Садитесь, — Бизи внимательно посмотрел на Полынова. — Не мешает подкрепиться, а?

— Лишнее.

— У вас на виске сажа.

— Это имеет значение? — Полынов машинально потер висок.

— По–моему, никакого. Минуточку.

Бизи опустил плотную штору.

— Кустарное, но довольно надежное средство защиты от лазерного подслушивания, — пояснил он. — Эти скряги из бюджетного управления до сих пор считают, что мы можем обойтись без “звукового шатра”.

— Вот даже как?

— А о чем я вчера говорил? Разговор предстоит долгий, может, все‑таки выпьете?

— Содовой, если можно.

Бизи склонился над баром. Кабинет тонул в полумраке. Обстановка в кабинете, он сам в этом кабинете, звяканье бутылок вдруг показались Полынову столь нереальными, что он вздрогнул. В ушах еще стоял рев огня.

Зашипел сифон. Полынов взял узкий стакан и едва не расплескал воду: точно такой же стакан был тогда, там, в доме человека, которого уже нет в живых.

— Себе я позволю глоток чего‑нибудь покрепче, — донесся голос Бизи. — Хороший амортизатор, зря пренебрегаете. Думаете, вы один потрясены? Ошибаетесь. Смерть Лесса и для меня удар. Вам известно, что сейчас, здесь должен был сидеть он?

— Все‑таки он работал на вас? — вырвалось у Полынова.

— В том‑то и беда, что нет. Я оказался кретином! Не стыжусь в этом сознаться. Вам не терпится узнать, отчего погиб Лесс? Или лучше по порядку?

— Лучше по порядку.

— Правильно, — Бизи кивнул. — Напомню. С недавних пор у нас возникли и стали развиваться некие настроения…

Голос Бизи шел, как из тумана. Хотелось откинуться в кресле, закрыть глаза, побыть наедине с собой. Но этого нельзя было делать. Тем более нельзя было допустить, чтобы в мысли врывался ревущий треск пожара, то черное тело, которое проплыло тогда на руках и скрылось в кузове санитарной машины.

— Вообще говоря, всякие необычные настроения и причуды не такая уж редкость, — размеренно продолжал Бизи. — Уже лет сорок, к примеру, существует общество любителей дымного пороха. Порой эти чудаки арендуют музейную пушку и с разрешения полиции тешат себя выстрелами где‑нибудь за городом. Личное дело, никого не касается. Год назад явился очередной пророк “конца света” и на его проповеди стекались тысячи идиотов. Все это нормально. Поэтому мы сначала не беспокоились, тем более что недоверие, даже враждебность к науке отнюдь не новость. Обычный комплекс неполноценности, я так считаю. Когда настроения усилились, паши теоретики объяснили и это. Вас интересует — как?

— Только, пожалуйста, покороче.

— Могу в двух словах. Религия изжила себя, но массовое мышление осталось религиозным. Вакуум заполнила наука. Она стала объектом веры, поклонения, от нее ждали благ, чудес, спасения. Однако устои веры уже подмыты самой наукой, и людям не хватает былого долготерпения. Наука явила не те чудеса, которых ждали, она не упростила, а усложнила жизнь. Тогда слепое обожание сменилось столь же слепой ненавистью.

— Дальше?

— Насторожила нас интенсивность вспышки. То, что антинаучные настроения быстро охватили все слои общества. Даже самих ученых, не странно ли?

Полынов покачал головой.

— Обычная путаница понятий, — сказал он. — Если человек работает в лаборатории, значит, он ученый, а раз ученый, то, стало быть, мыслитель. На деле не так! Для многих так называемых “научных работников” вне профессии характерно обыденное, порой дремучее мышление. Продолжайте.

— Слова, сборища, надписи нас мало беспокоили. Излишек общественной энергии всегда должен на что‑то расходоваться, и пока он тратится на сотрясение воздуха, все идет как надо, — решительным взмахом руки Бизи подчеркнул свою мысль.

Погоны! Полынов понял, чего не хватало Бизи, что делало его облик незавершенным. Он казался затянутым в мундир, хотя сидел на краешке стола, совсем по–штатски обхватив руками ногу.

— Затем мы получили одну очень важную информацию, — проговорил Бизи. Он внимательно посмотрел на Полынова. — Вы знакомы с механикой валютно–биржевых операций?

— Больше по романам Джека Лондона и Гротмана.

— По романам?

Пожалуй, впервые Бизи удивился. У него был вид человека, которому заявили, что представление о выпивке можно составить по антиалкогольным брошюрам.

— Да–а, — протянул он, меняя позу. — Тогда вы, пожалуй, не поймете.

— Попробуйте, может, и пойму.

— Нашу страну в некотором смысле стоит рассматривать как единый торгово–промышленный концерн, который, естественно, остро конкурирует с другими иностранными и международными корпорациями. Недавно мы добились кое над кем перевеса. И вдруг узнаем, что какие‑то силы начали такую закулисную игру, как будто наш концерн накануне краха. Понимаете?

— Считаете, одно связано с другим?

— Вчера утром я еще сомневался, уж очень все это фантастично. Сегодня я располагаю

доказательствами, что дело обстоит именно так.

— Это доказательство — гибель моего друга? — как ни сдерживался Полынов, голос его дрогнул.

— Доказательство было получено раньше, и дали мне его — вы.

— Я?!

— За вами вчера следили. А мы засекли эту слежку.

— Что за бред? Кому это нужно? Я же не имею ни малейшего отношения…

— С той самой минуты, когда вы сошли с космолета, — имели. Пожалуйста, не смотрите па меня так, я сейчас все объясню, Начну с возникшей у меня гипотезы. Вы слушаете?

— Еще бы!

— Допустим, связь между событиями у нас и на бирже не случайна. Допустим, кто‑то применил против нас новое психологическое оружие. Возможно ли это? Наука убедила нас, что невозможное вчера становится осуществимым завтра. Психологические средства борьбы применяются со времен Адама, сейчас они быстро совершенствуются. Не исключено, что логическим завершением этого процесса явится создание принципиально нового оружия, своего рода психологической сверхбомбы. После появления атомного оружия заблуждаться на этот счет было бы недальновидно. Легко вообразить такую ситуацию. В середине сороковых годов, до Хиросимы, кто‑то решил применить против нас ядерное оружие. Но не бомбу, а радиоактивную пыль. Можно ее незаметно рассеять по всей стране? Конечно. Люди массами заболевают и гибнут; медики, которые еще незнакомы с лучевой болезнью, сбиваются с ног в поисках возбудителя эпидемии, а страна продолжает катиться в пропасть. Если в ней не развита ядерная физика, — а во многих ли странах к моменту Хиросимы была развита ядерная физика? — кто догадается, что нужны не эпидемиологи, а физики, не шприцы, а счетчики Гейгера? Пока все это откроется, страна может десять раз обезлюдеть.

Бизи перевел дыхание и залпом опустошил бокал.

— Психологическое оружие могло оказаться еще более неуловимым, — продолжал он. — Если оно действительно применено, то кого должен опасаться противник? Специалистов, которые могли бы сообразить, что к чему. Логично, не так ли? Психотехника у нас развита слабо. Какие у нас тут фигуры? Лесс да Горзах, но он тяжело болен. Однако кое‑что может пронюхать контрразведка. Какой‑нибудь Бизи сопоставит факты, придет к далеко идущим выводам, мобилизует местных ученых, наконец, пригласит зарубежных специалистов. Итак, если гипотеза верна, то кое–кого должно было насторожить внезапное появление некоего Полынова, его приезд к другому крупному специалисту — Лессу. Да еще в самый критический, с их точки зрения, момент. Здесь появление крупного ученого–психолога все равно, что подход танковой армии к полю боя второй мировой войны. Как расценивать приезд этого Полынова? Случайное совпадение? А может, не случайное? Короче, рассуждал я, если мои расчеты верны, то за Полыновым, скорей всего, проследят — куда он поедет, зачем, с кем встретится.

Бизи с торжеством посмотрел на Полынова, словно тот был творением его рук.

— Вот где я мог получить доказательство или наоборот — опровержение! Сыграть надо было тонко, и я сыграл. Прежде всего, я вывел из игры Лесса. Почему? Да потому, что уже на ракетодроме из вашего разговора выяснилось бы, что друзья думают лишь об отдыхе. А попробуйте засечь квалифицированную слежку в толпе! Все было бы куда проще, если бы Лесс согласился с нами сотрудничать. Но он чуть не высмеял нас, когда мы беседовали несколько дней назад. Полезным оказалось лишь то, что я мимоходом узнал о вашем визите. Остальное было делом техники: Лесс на космодроме не появился, и мы встретились с вами наедине. Конечно, я не рассчитывал, что вы согласитесь помочь нам, это был бы слишком щедрый подарок судьбы. Зато я рассчитывал — и этот расчет оправдался, — что мое появление у вас “в плаще и маске” подтвердит опасения заговорщиков: вы — тайный консультант нашей службы. Не слишком этично, но политика не имеет ничего общего с

этикой. Все произошло, как я и ожидал. Вы выставили меня вон, однако мы успели засечь, что наша встреча кое–кого заинтересовала. Такова предыстория. Есть вопросы?

— Не совсем понимаю, зачем кому‑то потребовалось применять против вас психооружие, хотя конкурентная борьба, коль скоро вы являете собою концерн…

— Поедание тоже можно назвать конкуренцией. — Бизи невесело засмеялся. — О, да, конечно! Я могу назвать три–четыре международные компании, чей бюджет повесомей иного крупного государства. Каждая из этих компаний охотно обрушила бы на нас мор и землетрясение, если бы могла. Так что логика тут, к сожалению, есть. Надо или нет испытывать оружие в полевых условиях? А если одновременно предоставляется возможность устранить конкурента? Антинаучные настроения существуют и если все это проделать чисто, то вспышку, конечно же, объяснят естественными причинами. А если даже что и просочится, то урок произведет впечатление. Почему‑то мне кажется, что новое оружие рассчитано не на такую, как мы, в общем‑то, мелкую дичь… Кто знает… Ну, вы понимаете.

— Забота о чужих интересах? — спросил Полынов. — Это что‑то новое.

— Чистый эгоизм, как и все в политике. Вы видите, я вполне откровенен. Вы нужны нам, потому что заведомо не работаете на наших врагов, но я хочу убедить вас, что и вы заинтересованы в сотрудничестве.

— Можете не убеждать — излишне. Кстати, вы не знаете, как там с мальчиком?

— Мальчиком? Каким мальчиком?

— Он был среди бабуинов. Подносил факел.

— О мальчике мне ничего не докладывали. Это имеет значение?

— Для дела — нет. Просто вспомнилось.

— Значит, вы оказались в самой гуще?

— Да.

— Очень неосторожно, — Бизи покачал головой. — Очень.

— Знаю.

— Ладно, оставим это. Забыл вас спросить: вы не голодны?

— Голоден? Пожалуй. Но это потом. Значит, так…

Полынов, что с ним случалось редко, потерял нить мысли. Он обвел взглядом кабинет. Вот уж где порядок! Шкафы, сейфы, батарея видеофонов, темные, под дуб, панели, портрет основателя республики, нигде ни пылинки, намеренная или просто сохранившаяся старомодная солидность ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОГО учреждения. Учреждения, где принимаются ВАЖНЫЕ решения. Полумрак соответствовал ему как нельзя лучше. Пожалуй, сам Бизи выглядел не совсем созвучно своему кабинету. Он был современней, что ли. Как правило, обстановка меняется быстрей, чем люди, но бывают и исключения.

— Если я правильно оцениваю события и последний разговор с Лессом, то он искал это самое оружие, — заговорил Полынов. — И даже скорей всего нашел. Как вы могли допустить его гибель?!

— Я уже назвал себя олухом, вам мало? — воскликнул Бизи. — Разве я мог предположить, что он станет действовать в одиночку? Это же абсурд! Не могу понять, почему он не поставил нас в известность, почему не посоветовался…

— Бизи, вы обращали когда‑нибудь внимание на кресло перед своим столом? Кресло для посетителей?

Бизи чуть поднял брови.

— Кресло, как кресло, — он искоса посмотрел на него. — Мягкое, удобное. Не улавливаю вашу мысль.

— Низкое. Мягкое и низкое кресло. Когда вы сидите за столом, то возвышаетесь над посетителем.

— И что же?

— Просто маленький характерный штрих, который выдает подлинное отношение власти к рядовым гражданам.

— Какая чепуха!

— Ну, если вам и теперь неясно…

Бизи нахмурился.

— Важней всего — дело, — сказал он отрывисто. — Умный человек не обращает внимания на мелочи.

— Умного человека отличает умение замечать и делать выводы. Иные мелочи красноречивы, как мухи в сметане.

— Я говорю о содержании.

— А я о форме, которая определяется содержанием.

Бизи взволнованно прошелся по кабинету.

— Кресло — подумать только! — Он покачал головой. — А ведь кое в чем вы, пожалуй, правы. Чем талантливей человек, тем сильней в нем чувство собственного достоинства, это я замечал. Впрочем, достаточно философии, — он резко взмахнул рукой. — По–вашему, Лесс мог дознаться, какое оружие пущено в ход?

— Я знаю Лесса. Он отказался, а потом задумался над событиями. Стал изучать — ведь он исследователь! Вероятно, докопался до сути и где‑то неосторожно проговорился. Иначе его смерть необъяснима.

— Согласен. Убили его, конечно, до пожара. Все точно разыграно. Ни человека, ни записей, а внешне — слепая месть бабуинов.

— Он работал только дома, вы проверили?

— Сразу же. Последние дни он почти не бывал в лаборатории.

Полынов прикрыл глаза. Лесс, Лесс! Ты работал, когда я летел сюда, работал, когда я гулял по городу. Ты работал, как всегда, но очень, очень спешил, ибо хотел все закончить до моего приезда, чтобы не нарушить мои планы, чтобы я мог отдохнуть. И другое тебя подстегивало… Когда я появился, ты, вероятно, уже знал многое, если не все, и чего‑то опасался. Но ты считал, что все это не мое дело, поскольку я гость, и это не моя, а твоя страна. Ты оборвал разговор, едва он принял опасный поворот, и этим, быть может, сам того не подозревая — а может, как раз подозревая? — спас мне жизнь. Ведь каждое наше слово, скорей всего, слушали, и если бы мы тогда сказали друг другу все, я не остался бы посторонним и тоже скорей всего был бы уже мертв. А что, если, наоборот, мы оба уцелели бы, потому что всегда хорошо дополняли друг друга, и справиться с нами было бы нелегко.

— Никаких концов не осталось, — сказал Бизи, мрачно глядя на пустой бокал — Все надо начинать с нуля. Все!

— Не все, — Полынов встал. — Вы можете быстро создать мне необходимые условия?

— Господи! — Бизи вскочил. — Все, что угодно! Любые лаборатории, любые силы!

— Вся королевская рать не потребуется. Нужен душ, чтобы я окончательно пришел в форму. Комната. Стереовизор типа “супер”. Диспенсор…

— Неужели Лесс намекнул вам?

— У меня были глаза и мозг, который, хотя и туго, соображает. Еще мне потребуются все стереоленты, которые в последний месяц прокручивали ваши станции и продавали ваши магазины.

***

Отведенная ему комната оказалась предусмотрительно зашторенной. Столь же предусмотрительно небольшой столик в углу был уставлен всевозможными напитками. Вдоль стены возвышался штабель картонных ящиков. Полынов снял верхнюю коробку.

— Это все катушки с лентами?

— Вы просили за последний месяц, — пояснил Бизи. — Здесь примерно половина требуемого, к сожалению, у нас было мало времени. Но остальное будет доставлено в течение ближайших часов. Вы недовольны?

— Мне надо подумать. Не ожидал увидеть такое количество.

— Может быть, вы поясните…

— Потом. Больше мне пока не надо. Ничего не надо. Бизи послушно наклонил голову.

— Мне уйти?

— Останьтесь. Только ни о чем пока не спрашивайте. Бизи удалился в угол, сел и замер, как мышь.

Кресло, в котором расположился Полынов, оказалось отличным. Оно тотчас приняло форму тела, в нем можно было развалиться, вытянуть ноги, что Полынов и сделал. Напротив стоял стереовизор. Почти такой же был тогда в кабинете Лесса; с тех пор, казалось, прошла вечность…

Теперь надо вспомнить, что и как было тогда. Все, до мелочей. Спросим память, как свидетеля. Что было в кабинете Лесса необычным? Стереовизор. Утка… Нет, утка к делу не относится. А вот диспенсор относится. Там были и другие приборы, но все они не связаны со стерео. Пока вычеркнуть. Стереокатушки… Их было несравненно меньше, чем здесь. Скорей всего, то были отобранные катушки, те, которые всегда должны находиться под рукой. Так или нет? Проверим. Закономерности хаоса, который, работая, создавал Лесс, тебе хорошо знакомы. Где лежали катушки? Ага! Да, именно так, с ними работали. Привычка — штука консервативная; местонахождение вещи многое может рассказать о занятиях человека.

Но какие это были катушки?

Чувства Полынова сейчас так напряжены, что он спиной ощущал настроение Бизи. Тот был явно встревожен: человек, на которого сейчас вся надежда, лениво развалился в кресле и с отрешенным видом смотрит куда‑то в пространство,

— Бизи!

— Слушаю.

— Можно вас попросить вытряхнуть содержимое всех этих коробок на пол?

Да, чтобы ни думал Бизи, а повиноваться он умел. Секунда — и на пол хлынул поток разноцветных катушек с интригующими картинками на обертках.

Полынов с унынием воззрился на эту груду. Конечно, в ней находились и те катушки, которые были тогда в кабинете Лесса. Однако они терялись в общей массе, и Полынов, как ни пытался, не мог вспомнить, был ли у них общий признак и, если был, то какой.

— Бизи, я вижу, вы изнываете от нетерпения. Не стану изображать Шерлока Холмса. Проследите за ходом моих рассуждений, может быть, вам что‑нибудь подскажет ваш богатый опыт.

— Правильно, — кивнул Бизи. — Признаться, я почувствую себя лучше, когда вы дадите мне кончик нити.

— Боитесь, что меня постигнет судьба Лесса?

— Вот уж нет. Меры приняты, нас охраняют, как священных коров. Просто я считаю, что все в порядке тогда, когда чужие секреты оказываются у меня в голове. Профессиональная привычка, знаете ли… Почему вы так уверены, что нас бьют с помощью нашего собственного стерео?

Выслушав соображения Полынова, Бизи покачал головой.

— Эта мысль приходила мне в голову. Но я ее отверг.

— Слишком очевидна?

— Не только. Обычную отраву, конечно, эффективней всего рассеять в водопроводе, а психологическую — в эфире. Но сделать это незаметно, минуя все фильтры… Первое, что мы проверили, так это состояние каналов массовой информации.

— Нелогично, Бизи. Вы поверили в новое психологическое оружие и не верите, что оно способно поражать незаметно.

— Вот поэтому мне и нужен ваш ум. Какое‑нибудь волновое воздействие, излучающие установки, вы сбрасываете со счета?

— Пока — да. Во–первых, потому что не этим занимался Лесс. Во–вторых, потому что этим, безусловно, занимаются ваши технические службы (Бизи кивнул). В–третьих, какое‑нибудь микроволновое, поражающее мозг, излучение, — это физика, это техника; здесь нужны другие люди, другие специалисты. Наконец, самое главное. Любую

установку можно засечь, захватить и представить как вещественное доказательство.

— Вы считаете, что тот тип оружия, который мы ищем, нельзя выявить?

— Выявить, само собой, можно. Но… Взгляните на мой палец.

— Зачем?

— Фиксируйте его взглядом. Так, так… Следите за его движением. Теперь за движением моих губ. Прекрасно, я убираю палец. Что, по–вашему, произошло?

— Ничего. Вы разыграли какую‑то нелепую сцену.

— Простите! Эта “нелепая сцена” позволила мне проверить вашу расположенность к гипнозу, и даже кое‑что внушить.

— Так я вам и поверил! Я тоже кое‑что смыслю в гипнозе.

— Вот именно: “кое‑что”. Этого мало. Я применил сложную технику.

— Вы действительно мне что‑то внушили?

— Внушил.

— Что?!

— Я велел вам забыть догадку, что вы подвергаетесь гипнозу. Начисто исключить ее. И вы ее исключили, разве не так?

Бизи потрясенно уставился на Полынова.

— Какому суду теперь вы представите доказательства моего преступления? — продолжал Полынов. — И какие? Вот о чем идет речь.

— Вы… — впервые у Бизи не нашлось слов. — Нет, сдаюсь! Не могу понять, как это вы проделали!

— А если не проделал? — Полынов уже не скрывал иронии. — Если это мистификация, маленькая месть за вчерашнее? Я ведь злопамятный. Способны вы теперь найти истину? Вот то‑то. Такова специфика наших средств. Но — к делу. Вы, стало быть, ничего мне не можете подсказать?

— Нет, — странно было видеть Бизи ошарашенным и даже неспособным скрыть это. — Если Лесс и нашел разгадку… Сначала он, очевидно, просматривал пленку за пленкой, а у нас на это, боюсь, нет времени.

Он отошел, потирая виски.

Полынов задумался. Если бы вспомнить! Вспомнить, какие именно пленки лежали тогда на кресле. В ту минуту он кинул на них рассеянный взгляд. Этого вполне достаточно, чтобы точный их образ навсегда запечатлелся в подсознании. В подсознании, а не в сознании, вот в чем загвоздка. Подсознание ничего не забывает, оно хранит мельчайшие мелочи, и какой‑нибудь Плюшкин лишь жалкое подобие того Великого Скупца, чье имя — подсознание. И это счастье, что оно так скаредно, иначе бы память раздавила сознание. Но сейчас Скупца во что бы то ни стало надо заставить раскошелиться.

Прикрыв глаза и сосредоточившись, Полынов перепробовал несколько мнемонических приемов. Тщетно! Мозг, этот самый могучий и самый непослушный инструмент человека, бастовал.

“Если прибор барахлит, а у вас нет времени на починку, — стукните его кулаком”, — вспомнилась шуточная инструкция, которой, однако, нередко и не без успеха следовали.

— Бизи, не найдется ли в вашем хозяйстве старого продавленного кресла?

— Кресла? — широко раскрыв глаза, переспросил Бизи, ходивший до того из угла в угол. — Опять кресло?

— Форма не столь уж важна, а цвет должен быть коричневатым. Еще нужен чайник, груды бумаг, книг… Пожалуй, достаточно.

Все было тотчас выполнено.

— Кресло сюда, — командовал Полынов. — Нет, ближе к стерео! Прекрасно. Теперь я отвернусь, а вы поставьте под кресло чайник, справа от кресла должна быть стопка книг повыше. Изогните ее винтом, так, чтобы она держалась на честном слове… Под кресло засуньте диспенсор. Стопки бумаг расположите похаотичней. Сделано? Теперь валите на кресло катушки…

— Какие?

— Без разбора, любые.

— Готово.

Помедлив, Полынов отключил всякие мысли, затем живо обернулся.

Наконец‑то! Словно яркий луч выхватил то, другое кресло, катушки, которые лежали тогда.

Все было в порядке, полном порядке. Полынов уверенно разворошил груду на полу, отобрал с десяток катушек, прибавил к ним еще три из числа тех, что находились на кресле, и выложил все это на стол.

— Вот, — сказал он. — С этими работал Лесс. Тут, правда, далеко не все, но нам, думаю, хватит. Что вы можете о них сказать? Отличаются они чем‑нибудь от всех прочих?

— Пожалуй, — по голосу Бизи было заметно, что надежда в нем подскочила, как ртуть в термометре. — Во–первых, все это магазинные, предназначенные для домашнего просмотра ленты. Во–вторых, все это боевики, их без конца смотрят.

— Был у меня в запасе и этот вариант, — сказал Полынов. — Отобрать по степени популярности. Что ж, приступим. Дайте, пожалуйста, сюда диспенсор. Я не ошибаюсь, спенсы у вас не запрещены?

— Нет.

— Опрометчиво.

— Почему? Содержание спенс–внушений контролируется. Кроме того…

Бизи умолк.

— Кроме того, — Полынов продолжил его мысль, — воздействие спенсов ничтожно по сравнению с воздействием того же стерео. Однако диспенсор не случайно находился в кабинете Лесса.

— Возможно. Но не считайте нас дураками! Спенсы мы особо проверили. То, что в них есть, — безопасно.

— Важно не только что, но и как, — пробормотал Полынов, настраивая диспенсор и подключая его к стерео.

Бизи очень удивился бы и встревожился, если бы узнал, что Полынова тоже одолевают сомнения. Оружие не могло вот так лежать на виду! Не могло, и это было очевидно. Полынова поддерживала вера в проницательность Лесса. Истина должна находиться там, где он ее искал. Иначе все бессмысленно — и желание Лесса встретиться с Бизи, и его поведение, и, наконец, сама его смерть.

Полынов задумался. Достаточно ли он помнит теорию спенсов? Все, кажется, началось с открытия, что если в секунду пропускать не двадцать четыре, а больше кадров, то глаз не замечает “лишние”, но их схватывает подсознание. И если на рассеянных по фильму кадриках, скажем, повторяется “Пейте томатный сок!”, то люди после сеанса толпой валят к стойкам с томатным соком.

В одних странах спенсы были сразу же запрещены. В других их стали использовать для рекламы. И, конечно, не только для рекламы. Далекое и наивное детство средств внечувствен–ного внушения! Вскоре, однако, ажиотаж вокруг спенсов поутих, ибо выяснилось, что они далеко не всесильны, так как подсознание привыкает к их воздействию. Спенсы продолжали применяться, совершенствоваться, но только как одно из средств массового внушения.

Однажды в юности Полынова удивили и заставили задуматься слова Дюма, который сказал об эпохе мушкетеров, что то было время меньшей свободы, но большей независимости. Это звучало, как парадокс, и лишь много позднее Полынов понял, насколько верна эта мысль. С усложнением жизни возрастает взаимозависимость людей. Чтобы в этих условиях сделать человека рабом несправедливого и глупого порядка, не нужны цепи. Надо обузить его мысли, сковать их стереотипами, а это можно сделать изящно, незаметно, благопристойно.

— Вот что, Бизи, — Полынов оторвался от размышлений. — То, что я буду глядеть, вам смотреть не стоит.

— Это еще почему?

На лице Бизи проступило упрямое выражение.

— Если это оружие, — Полынов тронул катушки, — оно вас сразит.

— Но позвольте! Изредка я тоже смотрю стерео и до сих пор…

— Это ничего не значит. У разных людей разная восприимчивость, но в эпицентре и вам не устоять.

— А как же вы, как же Лесс?

— Мы оба владеем…

Полынов запнулся, сообразив, что говорит о Лессе, как о живом.

— Мне известны приемы защиты против внушения, — продолжал он быстро. — Вы же беззащитны и благодарите бога, что до сих пор не подверглись внушению.

Секунду–другую Бизи колебался.

— Ладно, — ответил он без тени улыбки. — Вы тут главный, — подчиняюсь. Вот уж не предполагал, что когда‑нибудь обращусь за помощью к “красному” и буду выслушивать его приказы!

— Положим, было время, когда наши страны находились в одном строю, — пожал плечами Полынов. — Это было давно, но это было.

— Ну, да, против фашизма. Неплохо, что лично вы и сейчас наш союзник.

— Не ваш, а дела, которое мы делаем.

— Это уже детали.

Не без волнения Полынов включил диспенсор. В режиме, который ему сейчас был задан, аппарат отфильтровывал обычные кадры стереолент и делал невидимые зримыми.

“Если мы на правильном пути, — подумал Полынов, — то я сую голову в пасть льва. Льва отнюдь не дрессированного”.

Давно минуло время, когда спенсы представляли собой скромные кадрики с примитивными титрами. Теперь это был по существу фильм в фильме со своим, рассчитанным на подсознание сюжетом, ритмом цвета и музыки. Краем уха Полынов где‑то слышал, что уже есть любители, которые предпочитают спенс–фильмы настоящим. Нет такой новинки — пустяка или гадости, которую бы любители не облепили, как мухи сахар.

Плоскость экрана исчезла. Возникла как бы маленькая комнатка, и в объеме этого пространства ожил, задвигался целый мир, который внешне, кроме размеров, ничем не отличался от настоящего. Предметы там казались сделанными из натурального дерева, металла или пластика, люди были из плоти и крови, и трудно было поверить, что там движутся лишь фантомы, порожденные голографией призраки. Диспенсор крутил ленту с сумасшедшей скоростью, но если этого не знать, то можно было подумать, что демонстрируется самый обычный, только короткий фильм.

Столь же обычным оказалось и его содержание. Спенс рекламировал туристское оборудование, не более. Как ни вглядывался Полынов, он не смог обнаружить никакого фокуса, никакого необычного психотехнического приема. Самая банальная реклама–внушение: покупайте то‑то, отпуск проводите там‑то.

Так и должно быть, успокоил себя Полынов. Секрет глубоко запрятан. Если бы было иначе, команда Бизи давно раскусила этот орешек, да и Лессу не пришлось возиться так долго. Посмотрим, что будет дальше.

Дальше, однако, было все то же. Последняя катушка с мягким щелчком ушла в гнездо перемотки, а Полынов ни на миллиметр не приблизился к цели.

Ладно, успокоил он себя, проверка еще только началась. То, что мелькало сейчас, воздействовало не на подсознание, поскольку диспенсор перевел скрытое изображение в видимое. Закончился лишь логический анализ содержания спенсов, анализ, который ничего не дал. Впрочем, не совсем. Важным здесь было не столько “что”, сколько “как”. Значение

любого слова, жеста, знака зависит от контекста, от места, которое они занимают в структуре сообщения. Если со словами “Добрый день!” обращается приятель, с которым вы расстались вчера, то это одно. Если ту же фразу произносит заклятый враг, то это совсем другое. А когда то же самое, появляясь на пороге, говорит человек, которого вы считали погибшим, то это и вовсе третье. В спенсах структура и связь значили еще больше, ибо воздействие спенса сходно с воздействием сновидения: там и здесь властвует не рациональная, а эмоциональная логика. Верней, открытая лишь в последней четверти века тета–логика.

При мысли о тета–логике Полынов поморщился. В ее закономерностях сам черт ногу сломит! Физика, химия, техника в свое время не потому затмили психологию, историю, социологию, что в физику или химию шли более талантливые люди. Совсем не потому. Изучались разные уровни организации материи, вот и все. Ну, и, конечно, исследованиям в физике не препятствовал эгоистический интерес правящих кругов.

Подумаем. В спенс–фильмах, как нигде, важен ассоциативный ряд. Ассоциативный ряд может быть очень простым: красивая девушка рекламирует купальник. Где‑то в подсознании возникает связь “красота–купальник”: купишь такой купальник, будешь красивой. Примитивно, но действует. Ряд посложней: модный ботинок и сверхзвуковой лайнер. Острый носок ботинка и “клюв” сверхзвуковика. Умело подобранная череда разных сцен способна закрепить ассоциацию модели ботинка с совершенством и мощью лайнера. Тоже еще не высшая математика рекламы…

Есть ли такой общий ряд в этих, самых разных по содержанию спенсах? Трудно поручиться, но, пожалуй, есть. Восхваление природы!

Стоп, удержал себя Полынов. Это лишь интуитивная догадка. Очень может быть, что она навязана впечатлениями Дня, а потому не стоит спешить с выводами.

Переключив аппарат на другой режим воспроизведения, он повторил просмотр. Теперь спенсы шли так, как они идут в обычной передаче, — незримо. Кадры самого фильма блокировались аппаратом, поэтому стереорасгр оставался пустым и серым. Глядя со стороны, трудно было поверить, что в нем тем не менее возникает образ, что глаз этот образ улавливает, а мозг запечатлевает.

Человек, настороженно созерцающий пустоту. Странное, нелепое на вид занятие. И столь же опасное сейчас, как хождение по минному полю.

Быстро дала о себе знать головная боль. Не потому, что восприятие спенсов требовало усилий, а потому, что ежесекундно приходилось поддерживать барьер, который ограждал от внушения.

Полынов с досадой выключил аппарат. Теперь понятно, почему Лесс был таким усIалым и нервным! Так и вымотаться недолго.

Откинувшись в кресло, Полынов прикрыл глаза и, массируя веки, попробовал утихомирить боль.

Впрочем, дело было не в боли.

Опыт так и не дал ответа! То есть внушение, конечно, было. Время от времени, осторожно ослабляя барьер, Полынов проверял действие спенса. И всякий раз обнаруживал самое обычное рекламное внушение.

Хоть сейчас беги в магазин и покупай…

Полынов вскочил и заметался по комнате. Идиот! Кто же готовит ружье, из которого можно сделать всего один выстрел? Это здесь спенсы разрешены, да и то под контролем. Дурак — и тот на них не поставит. Значит, что? Спенс–внушение должно, обязано быть, но скрытое. Такое, чтобы, минуя все досмотры, могло просочиться в любые каналы любой, пусть даже Всемирной сети… Вот он, ключ, вот где надо искать!

Проверим‑ка, не торопясь. Контроль — это диспенсор. Лесс работал с диспенсором. Так, хорошо. Но если “открытый” спенс не нужен, то зачем он здесь? Зачем, зачем? А зачем ты недавно изображал пьяного? Для отвода глаз. Копайтесь, если что заподозрите, ничего в спенсах нет, сами видите…

Двинемся дальше. Скрытый спенс. Такой, следовательно, на который диспенсор не

настроен. Возможно это? Вполне. Если, скажем, разместить спенс в межкадровом пространстве, то без переналадки аппарат его не возьмет. А еще существуют дефекты, царапины… Ведь это же голограмма! Здесь изображение можно упрятать в крохотной точке. Правда, качество такого спенса будет отвратительным. Теоретически такой спенс вообще безвреден, почему никто и не заботится о всеохватывающем контроле. Но тут, верно, что‑то придумали, конечно, придумали, без открытия тут дело не обошлось и в этом весь секрет.

Точка, стало быть. Точка, точка, запятая… Какие, где, в какой последовательности? Ведь это же иголка в стоге сена! Недаром Лесс день за днем работал с утра до ночи. И что же? Повторять все сначала? Не успеем, поздно.

Поздно? Ведь под конец Лесс наверняка пользовался переоборудованным диспенсором.

Который, скорей всего, сгорел.

Сгорел?

Да. Нет! Ведь что‑то же удивило его там, в кабинете Лесса! Что‑то связанное с диспенсором. Какое‑то несоответствие. Тогда, когда он подошел к окну, чтобы понюхать корешки. Вот именно! Оттуда было видно, что с диспенсора снят кожух и… Вроде бы даже мелькнула рассеянная мысль о том, зачем потребовалось перекраивать (чинить?) стандартный диспенсор. А это был переоборудованный диспенсор, вот в чем дело! Снятый кожух, обнаженная схема, и лишний, на скорую руку вмонтированный логистор. Логистор (“микро”, модуляции “Ф”). Или “С”? Нет, “Ф”, точно “Ф”, он с таким характерным красным треугольничком… Память‑то, а? Ничего, работает память, как надо. “Ф”, ну и что “Ф”? Ничего, просто это дает порядок развертки.

А это уже кое‑что! Так дело пойдет куда быстрей, намного быстрей. Особенно, если повезет.

Спасибо, друг. Тебя убили, а мы все равно работаем вместе. И мы докончим начатое, вот увидишь. Докончим, это уж точно.

Так… Монтаж мы сделаем сами. Хорошо, что в космосе нельзя было быть узким специалистом. А Бизи мы пошлем за материалами. Пусть побудет мальчиком на побегушках, это полезно.

К дьяволу! Полынов с треском отодвинул развороченный диспенсор, подошел к окну и яростно рванул штору.

Вечернее солнце просвечивало улицу, делая ее похожей на золотистый тоннель. Люди суетливо входили и выходили из дверей магазинов, контор, спешили к остановкам, задерживались у киосков, перебегали улицу, как всегда озабоченные тысячами повседневных дел.

Понемногу Полынов успокоился. Поражение, ну и что? Он возмущенно фыркнул. Вот уж не время переживать! Лучше взять записную книжечку и спокойно подвести баланс.

В плюсе: скрытый спенс обнаружен. В минусе: не найдена программа внушения.

Толстяк пытается втиснуться в автобус. Не вышло, стоит запыхавшийся. Двое на углу отчаянно жестикулируют. Ссорятся, обсуждают новость, радуются встрече? В воздухе плавно покачивается розовый надувной шарик. Улетел. Малыши часто упускают шарики и часто заливаются горючими слезами. Ничего, мама купит новый.

В плюсе: спенсы прослежены во всех отобранных лентах. В минусе: хаос радужных пятен, колец, зигзагов — и больше ничего.

Но это не может быть случайностью! Исключено. Кому и зачем потребовалось вводить скрытый, но лишенный программы спенс? Если программа не разгадана, то это не значит, что ее нет. Это скорей всего значит, что самоконтроль был слишком жестким, и он просто–напросто не дал внушению прорваться в подсознание.

Скверно! Если все так, то жесткая, зато безопасная блокировка подсознания не позволит ничего выяснить. Это все равно, что ощупывать мину рукой в меховой перчатке. А если ослабить самоконтроль, кто поручится, что внушение не сметет преграды?

Впрочем, выбора нет. Рискнуть придется. Надо на себе испытать ту болезнь, которая грозит всем этим людям. Надо заразиться ненавистью ко всему разумному. И успеть подавить ее в зародыше.

Полынов хмуро забарабанил пальцами по подоконнику.

Мир сложно устроен. Блаженны нищие духом! И, кажется, ни в одной религии нет слов о том, что блаженны мудрецы. Есть пьеса “Горе от ума”, а вот пьесы “Горе от глупости” не существует. Все это, конечно, так. А разум тем не менее крепнет и развивается. При бешеных скоростях века, на неизведанной дороге он подобен прожекторному лучу, который высвечивает обрывы и крутые повороты. Выхватывает из тьмы будущего указатели, столь же ясные, если уметь их читать, как звездные ориентиры для морехода.

Вот только язык этих указателей сложней любой математики. Вот только людям, чтобы они лучше повиновались, отводят взгляд. Вот только делающие это кормчие сами безграмотны. Так все и катится, кренясь то и дело над пропастью.

Здесь, очевидно, предпринята очередная, безумная попытка повернуть историю вспять. Сразу, резко, к самым истокам. Человеку, — правда, не всякому, — под гипнозом можно внушить любой, явно не противоречащий его моральным устоям приказ. Ему можно приказать в строго заданный момент сделать то‑то и то‑то. Человек это сделает — и как бы по доброй воле. А каковы возможности сверхгипноза? Что если соответствующий приказ уже отдан и принят? Что если его выполнят все? Ну, не все, этого, вероятно, никакая сверхтехника не добьется, а огромное, подавляющее большинство. Что тогда?

Тогда одна–единственная надежда. Внушение не всесильно. Оно не всесильно, когда люди привыкли думать самостоятельно. Когда мораль человечности стала для них внутренним законом. Таким, при котором человек и в нужде не вырвет кусок хлеба из чужого рта, а поделится своим. Под натиском не поступится своими убеждениями, но, даже имея власть, будет далек от мысли, что его мнение неоспоримо и обязательно для каждого.

Но таких людей здесь, судя по всему, мало. Впрочем, и это не повод отчаиваться. Оружие создали такие же, как он, специалисты. Вряд ли они умней его. А применили оружие и вовсе кретины, — не в житейском, конечно, смысле этого слова. Опыт феодальных и религиозных монархий их ничему не научил; опыт современных деспотий — тоже. Воистину, кого боги хотят погубить, того они лишают разума. И нет тут никакой мистики: чем отчаянней барахтается тонущий, тем верней он идет ко дну.

Прямо напротив окон был сквер. Час пенсионеров и влюбленных еще не наступил, там безраздельно хозяйничали дети. Видны были их измазанные, счастливые, иногда, наоборот, плачущие рожицы. Будь сейчас Полынову лет двадцать, он, верно, чувствовал бы себя рыцарем, который незримо простер над ними свой охраняющий щит. Рыцарем, который за них идет на бой со страшным драконом. Полынову, однако, было уже далеко не двадцать, и красивые аналогии не приходили ему на ум. Вид беспечно резвящихся детей просто положил ему на душу новый груз, и он с тоской подумал, как много, невероятно много надо еще сделать, чтобы детям всего мира ничто не угрожало.

Он с силой тряхнул головой. Надо действовать! Полынов перевел аппарат в режим, при котором он отфильтровывал спенсы, и стал смотреть фильм. Теперь ленты шли с нормальной скоростью, и просмотр только двух фильмов занял более трех часов.

Ничего необыкновенного в фильмах не оказалось. Самые обычные, рассчитанные на бездумное времяпрепровождение боевики. Типичные произведения “массовой культуры”: немного мелодрамы, много секса, выстрелы, погони, убийства — все то, что волнует, тревожит, щекочет самые древние и властные центры мозга, связанные с основными вопросами бытия всего живого — размножением, борьбой и смертью. Вызванные этими фильмами эмоции в принципе с одинаковой силой могли бы действовать и на человека, и на червя, потому что они адресовались тому общему, что их объединяет.

Но поскольку фильмы делались все‑таки для людей, то пища давалась и высшему сознанию. “Все очень просто, и чем проще, тем лучше”, — вот, собственно, и вся

идея. Благородные герои действовали очень правильно и очень прямолинейно; злодеи — неправильно, но тоже прямолинейно; истина доказывалась кулаком; на любой вопрос немедленно давался четкий ответ; вот черное, а вот белое, и вообще солнце вращается вокруг Земли, а чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на небо.

Глупо, но увлекательно, приятно и утешительно.

Полынов устало потянулся в кресле. С фильмами все ясно. Они собирают миллионные аудитории, и, значит, более всего пригодны для роли ракеты–носителя, которая выводит в сознание миллионов спенс–программу внушения. Увы, еще не разгаданную программу.

В дверь тихонько постучали.

— Войдите! — крикнул Полынов.

Вошел Бизи. Его взгляд был красноречивей слов.

— Пока нет ничего конкретного, — угрюмо сказал Полынов. — Какие новости у вас?

— Все тихо, даже бабуины присмирели. Расследование обстоятельств гибели Лесса подтвердило, что это не слепая месть. Преступники пока не обнаружены. Мальчик с факелом, кстати, уцелел. Он ранен, обожжен, но вне опасности.

— Спасибо, Бизи.

— Еще одна деталь.

— Какая?

— Отобранные вами фильмы отличаются от других тем, что они поступили в продажу и были разрекламированы почти в одно и то же время.

— Прекрасно, все сходится. Кто их двинул на рынок?

— Выясняем.

— Понятно. Хотите совет?

— Охотно его приму.

— Если правительство немедленно обратится к народу, скажет, что происходит и почему, то крайние, разрушительные последствия диверсии будут предотвращены.

Бизи коротко хмыкнул.

— Простите меня, но это несерьезный разговор.

— Так я и думал, — грустно сказал Полынов.

— Нет, вы просто не понимаете! Возбуждение общественного мнения без достаточных на то оснований, престиж правительства, международный скандал…

— Но это пока единственное надежное средство борьбы.

— Невозможно, невозможно!

Конечно, невозможно, подумал Полынов. И даже если было бы возможно, то успех определялся бы тем, верит ли народ правительству или, зная, что ему давно и изощренно лгут, махнул на все рукой. Что посеял, то и пожнешь.

— Мы очень надеемся на вас, — сказал Бизи. — Что у вас запланировано?

— Несколько часов сна.

— Но… Впрочем, понимаю. Да, да, конечно! Вы намерены вернуться в отель?

— Допустим.

— Не стоило бы, — Бизи покачал головой.

— Почему?

— Я где‑то читал, что ученые, когда они увлечены, спят на лабораторных столах. Мы все вам приготовили, и постель, уверяю вас, там мягче, чем лабораторный стол. Туда, если хотите, мы перенесем все ваши аппараты.

— А если без шуток?

— В отеле трудней наладить охрану.

— Неужели вы думаете?..

— Убрали же Лесса. Противник без сомнения знает, где вы. И, конечно, понимает, чем вы заняты.

— Значит, если я пойду в отель…

— Это глупо.

— И все же…

— Нет, нет, ни в коем случае!

— Иначе говоря, я арестован?

— Господь с вами! Но разве мужество и опрометчивость одно и то же?

— Вы уверены, что здесь безопасней?

— Здесь вы в полной безопасности.

— Я бы этого не сказал.

— Что вы имеете в виду?

— Только то, что ваши сотрудники такие же, как все, люди. Что, скорей всего, и они подверглись воздействию.

— Чепуха! Я отобрал самых надежных. Тех, кому я доверяю, как самому себе.

— Вот как! Интересно, какая у вас гарантия, что и вам не внушена некая программа?

Глаза Бизи медленно расширились. Внезапно он успокоился.

— Нет, — сказал он твердо. — Если вы правильно определили метод воздействия, то нет. Я уже забыл, когда последний раз смотрел стерео. Просто некогда было. Но хорошо, что вы меня предупредили. Я отберу тех, кто…

— В общем, это не имеет большого значения, — устало сказал Полынов. — Приказ разделаться со мной не мог быть вложен в программу. И не беспокойтесь, я остаюсь здесь. Просто потому, что жаль тратить время на переезды.

— Слава богу! А то вы меня перепугали. Но… Вы полагаете, что в “час Х” мои же собственные сотрудники способны…

— Конечно! Я вам об этом уже целый час толкую.

Заснул Полынов не сразу. Он размышлял, казалось бы, совсем о постороннем. Не о том, что было сегодня и может случиться завтра. Словно издалека он всматривался и в неукротимое движение жизни, чья предыстория клубилась в тумане миллиардолетий. Он видел тот изначальный сгусток примитивной, в бешеном взрыве ширящейся плазмы, из которого постепенно возникало все — неисчислимое разнообразие галактик, звезд, планет, минералов этих планет. Самой жизни, которая на новых витках всемирной спирали медленно развернулась в цепи биологических молекул, сплелась в нити, жгуты и сростки. Так же постепенно она обрела форму одноклеточных, а затем, все ускоряясь, форму многоклеточных, чем далее, тем более сложных существ. И, наконец, вспыхнула разумом! Тут снова сработала пружина скачка, — так молниеносно, что от сохи к реактору планетолета человека метнуло прежде, чем он успел опомниться.

Но и это лишь начало новой, неведомой спирали. Самое начало, ибо неграмотных в мире и сейчас куда больше, чем мыслителей. Ибо большая часть человечества только освобождается от тысячелетнего рабства, невежества, религиозного обожествления денежных и прочих идолов. Все, что сделано и достигнуто, лишь первый проблеск подлинного ума человечества, который едва проснулся, едва осознает себя, свои возможности и цели. Уже не свинцовый сон, но и не вполне явь; не свобода, хотя уже и не рабство; рассвет, когда ночь еще не ушла, а день еще не настал. А сколько уже сделано! И как мало сделано по сравнению с тем, что надо сделать.

Конец старого закона и начало нового. Правнук, внук, а то и сын раба садится за пульт завода–автомата. Вчерашний крестьянин озирает уже не сельский двор, а просторы солнечной системы. Космонавт на Марсе шепчет благодарственную молитву, автор которой был убежден, что Земля покоится на трех китах. А советские коллеги этого благочестивого космопроходца, любуясь величием марсианского Никс Олимпика, этой вершины вершин, на отдыхе обсуждают чисто практические проблемы воспитания коммунистического сознания.

Ах, если бы только в этом была вся сложность и противоречивость!

Вверх, вверх подталкивает тебя разум, вперед и выше. Всеобщая талантливость стала уже не мечтой, даже не целью, а жизненной потребностью, как некогда общая грамотность. А эта необходимость тянет за собой требование духовной свободы, атмосферы благородства человеческих отношений, ибо любая другая обстановка для талантливого человека

удушлива. Звание “гомо сапиенс” человек присвоил себе, быть может, загодя, но прозорливо. Так можно ли сломать тенденцию?

Можно, ответил себе Полынов. В том и беда, что можно. Даже если бы человечество было щепкой в потоке, то и в потоке бывают заводи, куда сносит щепку и где она остается навсегда. Но человечество не щепка в русле эволюции. Это животные — щепки, а мы, люди, — нет. Мы создали для плавания корабль с могучими машинами и пусть еще несовершенными средствами навигации. Мы можем плыть, куда хотим, хоть вдоль, хоть поперек течения. Но у руля схватились и те, кто, зорко видя будущее, хотят взять курс к счастью всех и каждого, и те, кого волнует благополучие одних лишь пассажиров первого класса. А фарватер так узок, что неточный поворот руля может швырнуть корабль на скалы. Этого, положим, никто не хочет, но непоправимое может произойти и случайно. А еще есть очень соблазнительные заводи… Зачем мне, хозяину, расставаться с предприятием, мне, чиновнику, с креслом, мне, пастырю, с кафедрой? Ради какой цели, какой выгоды?

Пока есть классы, есть и классовая борьба, и об этом нельзя забывать. Старые и не умирающие слова, потому что за ними — реальность.

Замкнутое, застывшее, жестко регламентированное муравьиное общество, — и такое возможно. Очень удобное для правящей элиты общество. Опробовано множество раз — иезуитами в Парагвае, богдыханами в Китае, фашистами в Европе. Что душно в таком обществе, что оно слабеет от застоя, что народ, чем дальше, тем сильней его ненавидит, — все это для верхушки терпимо, лишь бы оно держалось. Плохо для нее другое. То, что все такого рода попытки кончались взрывом, революцией, распадом, гибелью элиты. Вот если бы обратить в заводь сразу весь мир…

Раньше не было всемогущей техники, теперь она есть, может, попробуем? И плевать, в конце концов, на далекую перспективу — единожды живем., Психология временщиков, она многое объясняет.

А ведь такой попытки следовало ждать. Глобальной, решительной, чтобы сразу и навсегда. Быть может, вот–вот начнется последнее полигонное испытание.

Конечно, затея провалится. Окончится крахом, даже если поначалу ей будет сопутствовать успех. Потому что сразу возникнут новые проблемы, от которых никуда не деться. Значит, придется изобретать, что‑то срочно менять, — прогресс, изгнанный в дверь, проникнет через окно. Но сколько будет страданий и горя!

А потому этого нельзя допустить здесь и сейчас. Завтра тоже будет не поздно, ибо бой дадут уже не одиночки, а народы и страны, но искра — это искра, а пожар — это пожар. И потому первым делом надо как следует отдохнуть.

Полынов отвернулся от светлого прямоугольника окна, за которым ни на секунду не замирал ровный, как дыхание, шум большого города. Он слышал его всего несколько минут; умение вызывать сон, когда надо, не подвело его и на этот раз.

Сновидения, однако, были Полынову не подконтрольны. Снилось же ему нечто невразумительное и мерзкое. Сначала он увидел Гитлера, который, неловко прижимая к кителю, держал на руках новорожденного младенца, и этот ребенок был его, Гитлера, отпрыском. Лицо Гитлера было слащаво–умиленным, длинным мокрым языком он лизал щеку ребенка. Затем он отдал его кому‑то, кого, как это часто бывает в сновидениях, не было видно. Отдал и двинулся к какой‑то тусклой портьере. И тут поле сновидения сузилось настолько, что в нем остались лишь башмаки Гитлера, крупные, чудовищные, похожие на копыта, башмаки.

Поле сновидения, расширяясь, захватило штанины брюк Гитлера, и эти штанины, не исчезая вполне, стали зеленовато–прозрачными; словно рентгеновским зрением Полынов увидел то, от чего во сне захолонуло сердце: под тканью не было плоти! Была ясно очерчивающая тело тускло–прозрачная кожа, и была кость с кровавыми прожилками на ней, а меж ними ничего не было. Впрочем, не совсем так: сзади кость была кое–где прикрыта мясом.

Сами копытоподобные ботинки не просветились, белесые кости ног двигали их мелким

шаркающим шагом. А брюки таяли все выше и выше, и тело тоже — до поясницы.

Затянутое в мундир туловище фюрера держалось на костяке и зеленовато–просвечивающей коже. “Как же он не разваливается?” — цепенея от тошнотворного ужаса, подумал Полынов — и проснулся.

Сердце бешено колотилось. Перед глазами был мрак незнакомой комнаты. Обычно память о сновидении, вызванное им чувство, яркое в первые секунды пробуждения, исчезает, как дыхание на стекле. Шли, однако, минуты, Полынов лежал, собираясь с мыслями, а рентгеновский призрак все еще не тускнел.

Вскочив, Полынов нажал выключатель. Яркий свет озарил комнату. Все было холодным, опустошенным и резким, как это случается глухой ночью после внезапного пробуждения.

Взгляд на часы убедил, однако, что нет еще и полуночи.

Полынов торопливо стал одеваться. Голова была ясной, но в душе еще жил кошмар, сердце выстукивало тревожную дробь, и рука не сразу попала в рукав куртки, чего с Полыновым никогда не бывало. Он справился с мимолетным затруднением, шагнул к двери — и замер.

Фильм не был для спенсов ракетоносителем!

Не был!!!

Догадка пришла так внезапно, что Полынов даже вздрогнул и огляделся — не шепнул ли кто?

Все было пусто и неподвижно в комнате. Белела развороченная постель, беспощадно чернели прямоугольники окон, со стены напротив сухо и надменно смотрел портрет какого‑то важного старика с нафабренными усами.

То есть фильм был носителем и вместе с тем…

Полынов вихрем пронесся через коридор, ворвался в помещение, где оставил аппаратуру, поспешно заправил в приемное гнездо стерео первую оказавшуюся под рукой ленту.

Его слегка знобило. В то же время он был спокоен. Спокоен, как минер, пальцы которого, наконец, нашарили взрыватель. Поразительно, как он раньше не догадался, в чем тут секрет. Понятно, почему не догадался. Здесь не могла помочь обычная логика, ну а тета–логика интуиции… Может, она‑то и вызвала во сне призрачного Гитлера. Или для вывода потребовался узкий рукав куртки, крохотная, вызванная этой помехой досада. Впрочем, с тем же успехом катализатором мог оказаться и сановник с нафабренными усами и какое‑нибудь давнее, вроде бы забытое наблюдение.

Все это сейчас было неважно. Полынов не спрашивал, удастся ли опыт, — он знал, что удастся.

Он пустил ленту. Теперь он смотрел фильм так, как его смотрят зрители, — не ставя барьер, не думая о спенсах, вживаясь в действие, отдаваясь течению сюжета.

Как бы отдаваясь, палец его настороженно лежал на кнопке выключателя.

Вод так же, верно, еще сутки назад перед экраном стерео сидел Лесс. Так же смотрел, держа палец на кнопке…

Ловушкой тут дело не исчерпывалось. Избежав ее, исследователь должен был оказаться в положении анатома, который, расчленив мозг на клеточки, в недоумении спрашивает себя: где же тут мысль?

Ага, кажется, началось. Пошло внушение. Или еще нет? Пошло! Улавливается образ. Так вот оно, значит, как…

Контроль, быстро! Попробуем снова. Стоп! Еще раз. Мало. Проверим. Откуда шум? Потом, потом! Неясна структура. Чтобы все было чисто, надо бы еще пару лент… Время есть, оно и у Лесса было, он тоже хотел полного доказательства…

Тета–логика, будь она неладна! Чего и следовало ожидать. Свернутые структуры. Мегапереход… Разум сложнее атома, сложнее звезд, сложнее галактик, ибо он познает их, и эта отмычка к нему тоже непроста, хотя… А, вот это уже опасно! Отключить, быстро!

Щелкнула кнопка. На полуслове оборвался звук, мигнув, исчезло изображение. Голова гудела. Сознание еще не успело переключиться на внешний мир, оно еще жило там, в объеме иллюзорного пространства, оно еще вело бой, и Полынов вскрикнул от прикосновения к плечу. Как из тумана проступило белое перекошенное лицо.

— Бизи?!

— За мной! Быстро, быстро!

— Куда, зачем? Мне надо…

— Вы что, оглохли?

Полынов замер, прислушиваясь. Бизи, ощерясь, рванул его к двери. С улицы, наполняя собой здание, пробивался смутный торжествующий рев.

— А, черт! — вскрикнул Полынов.

Выскользнув из рук Бизи, он кинулся к столу, на котором лежали отобранные стереоленты.

— Что вы делаете? Каждая секунда…

— Эх! — с горечью отмахнулся Полынов. — Оружие не бросают, — он продолжал набивать карманы. — А безумцам мы не нужны.

— Идиот! — бросаясь к нему, рявкнул Бизи. — Мы опасные свидетели, как вы не понимаете?! Быстрее!

— Хорошо, бегу.

Они выглянули в коридор. Длинный прямой коридор был пуст. Они пробежали его и выскочили на лестничную площадку.

— Слышите?

Снизу, гулко отдаваясь в пролете, катился топот.

— Теперь поняли? — крикнул Бизи. — Сюда!

Они ринулись вверх.

Двумя этажами выше их стал нагонять лифт. Бизи прижал Полынова к стене и выхватил лайтинг. Лифтовый колодец ограждала частая сетка, сквозь ячейки которой с трудом просматривались мерно подрагивающие стропы канатов. Бизи прицелился.

— Покойнички, — сказал он с мрачной радостью. — Эти получат свое.

Однако выстрелить он не успел. Разом на всех этажах погас свет. Беглецов накрыла тьма. Внизу, скрежетнув, замер лифт.

— Очень кстати! — Бизи схватил Полынова за руку. — Живо наверх!

Полынов повиновался, не рассуждая. Тусклые глазницы лестничных окон почти не прибавляли света, потому что снаружи тоже было темно. Вверх, вверх! На очередной площадке Полынов споткнулся то ли об ящик, то ли еще обо что. Бизи выругался. Полынов бежал, прихрамывая, но не отставал. Они свернули влево, в какой‑то коридорчик, затем взбежали по узкой лесенке, и тут Бизи, наконец, отпустил его.

В темноте было слышно лишь тяжелое дыхание Бизи.

Царапнул ключ по металлу, лязгнул замок, в лицо пахнуло свежестью ночного ветра. Массивная дверь откатилась без шума. Полынов увидел плоскую крышу, звезды над ней, смутную тень реалета в углу площадки.

Бизи выглянул и предостерегающе сжал локоть Полынова.

Мгновение площадка казалась пустой. Затем от ракеты отделилась какая‑то фигура. Мелькнула красная точка сигареты. Фигура сделала шаг и чем‑то взмахнула.

— Чтоб все было по форме! — яростно бормотал человек. — Вот так!

Зазвенело стекло боковой фары.

Кошачьим прыжком Бизи выскочил на крышу.

— И никаких бумажек! — донеслось от реалета. — Покончим…

Бизи подкрался раньше, чем неизвестный его заметил. Короткий бросок, вскрик; что‑то упало с металлическим стуком. Из двух сцепившихся фигур одна осела на плиты.

— Сюда! — донесся задыхающийся голос Бизи. — В машину!

Полынов приостановился над распростертым телом.

— Бросьте! — яростно зашипел Бизи. — Или вы ничего не поняли?

Человек слабо заворочался. Полынов, так и не успев его разглядеть, вскочил на сиденье. Реалет рывком взмыл над крышей.

Ощерясь, Бизи смотрел вниз.

— Кто это был? — прокричал Полынов.

— Никто. Сотрудник, которого я поставил охранять реалет. Ясно? И помолчите.

В вибрирующих плоскостях реалета посвистывал ветер. Город развертывался черно–белой панорамой кварталов. Льдистыми громадами проплывали небоскребы. Внизу густел мрак без единого огонька. Улицы зияли щелями. По отвесным фасадам скользил угрюмый отсвет окон, словно кто‑то, многоглазый и потаенный, выглядывал оттуда.

— Слышите?

Воздух дрогнул от гула. Невозможно было поверить, что это вскрик толпы, настолько мертвой была внизу темная геометрия кварталов. Казалось, что вопиет, перед тем как рухнуть, раздираемый напряжением камень, и что вот–вот отовсюду взовьются клубы дыма. Но все оставалось неподвижным и резким, а взмыл только крик, нечеловеческий, и этим жуткий.

Полынов схватил Бизи за руку.

— Снизимся!

Ответа не последовало. Фосфоресцирующее шкалы приборов подсвечивали лицо Бизи — зеленовато–черное с остекленевшим взглядом. Полынов отвернулся. Ему хотелось зажать уши и не слышать, как нарастает, обретая человеческие ноты, далекий гул безумия.

Разворачиваясь, реалет огибал призму небоскреба. В зеркальном покое его стен стыл отблеск звезд.

Вопль внезапно спал, теперь снизу доносился лишь угрюмый рокот. На нескольких перекрестках почти одновременно взметнулось рыжее пламя костров. Огонь то притухал, то разгорался, его отраженные фасадами отсветы выхватывали из мрака муравьиную кашу толпы. Что там происходило, можно было только догадываться. В Хиросиме взрывалась материя, тут распадалось сознание, и представить себе это было невозможно.

Под реалетом зачернел парк. Город медленно уходил прочь, растворяясь в ночной мгле. Успокоительно посвистывал ветер.

— Дотянем до гор — там граница, — безжизненно проговорил Бизи. — Там я все оставлю.

— А сами?

— Вернусь.

— Зачем?

— Не знаю. Все кончено.

— Не совсем, — Полынов проглотил комок в горле. — Даже наоборот. Хотите знать, как все это действует?

— Поздно.

— Поздно здесь и сейчас. Только здесь и только сейчас. Слышите? Скрытый спенс сам по себе не оружие. Спенс и фильм — вот что действует! Наложение эмоциональных ритмов, цепная реакция ассоциаций чудовищной силы психорезонанс… и в нем тайная, отсроченная до “дня Х” команда внушения! Это как детонатор и бомба! Как два бруска урана с часовым механизмом! Порознь — ничто, куски металла, а сближенные…

Выражение лица Бизи не изменилось. По–прежнему жили только его руки на штурвале.

— Понимаете, что это значит? — настаивал Полынов. — Да очнитесь же! Сила оружия в новизне, только в новизне! А теперь, когда секрет раскрыт, все кончено, но не так, как вы думаете.

— Оружие, внушение, гипноз! — вдруг бешено вскрикнул Бизи. Слова его вылетели, как плевки. — Да если бы это! Люди ли это внизу, или кто? Вы бы видели, как они подчинялись внушению! Их радость на лицах… Словно кто им шепнул заветное слово

“дозволено”. Им все осточертело… Проклятие, проклятие! Выбито оружие — ха! Они могли и без внушения, теперь я верю… Что вы с этим поделаете?! Что?! Ничего, ничего!

Бизи смолк, обессилев, Полынов ничего не ответил, да Бизи и не ждал ответа. Вокруг расстилалась ночь. Вдали вставала темная гряда гор. Там их пути разойдутся.

У истории свои сроки, век людской короток, и кризис кажется человеку обвалом, а крутой зигзаг — тупиком пути. Полынов не знал, когда жизнь ответит на вопрос Бизи, не знал, доживет ли до этого времени сам. По человек нетерпелив, и Полынов надеялся, что доживет.

СИЛА СИЛЬНЫХ

Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
А. С. Пушкин

Без запретов

В темноте передней едва слышно скрипнул замок. Спящий вскинулся и проснулся. За окном стыла ночь, дальние фонари слали в комнату сумеречный отсвет, все было знакомо и неузнаваемо, как собственное, бледно отразившееся в настенном зеркале лицо.

Скрип повторился. Кто‑то упорно пытался взломать добротный швейцарский замок. Вскочив с постели, человек порывисто натянул одежду, нервно выхватил из‑под подушки пистолет, на цыпочках прокрался к двери. Может быть, все‑таки вор? Обостренное чутье уловило слабый запах табачного дыма: за дверью кто‑то курил. Не полиция — та вломилась бы с грохотом, — и не вор, который, орудуя, ни за что не затянулся бы сигаретой. Обморочно бухнуло сердце, тело обмякло в липком цепенящем поту. Вот так они и берут, так и берут, а затем… Любому мальчишке в городе было известно, что происходит с похищенными, как долго, мучительно приканчивают их ночные “друзья порядка”.

Нет, только не его! Только не его! Обхватив книжный шкаф, он рывком вынес его в переднюю, привалил к двери.

Но это отсрочка, всего лишь отсрочка. Затравленно озираясь, он выскочил на балкон, перегнулся через перила. Лица коснулся ночной холодок. Десятый этаж, балконы друг под другом. Если повиснуть на руках и напружиниться, то можно перемахнуть на нижний; ничего особенного, простейший прыжок с прогибом на высоте сорока или пятидесяти метров…

Он заставил себя перенести ногу через ограждение. Темный провал качнулся навстречу, дальние фонари расплылись дрожащими мутными пятнами. Судорогой свело пальцы. Он не может, не может, это не для сорокалетнего преподавателя университета!

Может. Только что он поднял тяжеленный, набитый книгами шкаф. Его тело точно подменили, у него, Антона Геза, никогда не было такого крепкого, уверенного тела, оно справилось с замешательством и, казалось, могло невозможное. Оно звало и приказывало — вниз, вниз!

Из передней донесся глухой шум. Это подстегнуло сознание. Он перевалился через ограждение, завис на руках, качнулся маятником и, когда ноги повело к стене, прыгнул. Мгновение — и он уже стоял на чужом балконе. Все оказалось очень просто. Для кого просто?

Размышлять было некогда. Вниз! Восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж… Легкость, с какой он все это проделывал, напоминала сон. Но это не было сновидением: он ощущал металлический холод балконных перил и прутьев, ладони сдирали с них ржавчину, руки чувствовали надрывную тяжесть тела, ноги сгибались в толчке приземления, который болью отдавался в подошвах, на необъятном фасаде щерился льдистый отблеск оконных стекол,

мимо которых он пролетал, и во всем этом была связность, какой не бывает во сне. Но как же он, не гимнаст, отнюдь не спортсмен, мог такое проделывать? Значит, мог, человек сам не знает своих возможностей.

При очередном прыжке нога задела цветочный, на перилах, горшок; с глухим стуком тот упал на цементный пол балкона, раскололся. И, точно отвечая этому гулкому в тишине удару, из сонной, теплой глубины квартиры донесся рвотный звук спускаемого унитаза. Гез замер на полусогнутых ногах. Сквозь раскрытое окно он отчетливо слышал поспешно–неуверенные шаги вспугнутого хозяина и, как ни опасно было промедление, чуть не расхохотался: человек, прежде чем опрометью выскочить из туалета, добросовестно спустил воду!

Господи, только истерики не хватало… Он обезьяной скользнул на нижний балкон. Слава богу, уже второй этаж. Над ним, затеняя свет фонарей, нависала густая крона дерева. Земля скорее угадывалась внизу, до нее было… Да ведь это все равно что в пропасть!

Он прыгнул. Жесткий удар пронизал все тело, швырнул на вытянутые вперед руки, но все это было пустяком. Гез тут же вскочил, немного дрожали колени, только и всего.

Свободен!

Нет. Хлопнула дверь подъезда, трое в надвинутых шляпах, с гипсово напряженными лицами кинулись к месту, где он стоял. Гез рванулся вдоль стены здания. Улица в их власти, там они легко догонят его на машине. Только бы успеть: за аркой путаница двориков и тупиков и нет фонарей. Только бы успеть! Сейчас они будут стрелять. Не будут, он им нужен живым, чтобы выведать, выпытать… Будут, если им не удастся настичь. Господи! Стена тянется, тянется, как в кошмарном сне, когда бежишь и не двигаешься, и нет этому конца.

Поворот, арка, мрак. Конец! Он нырнул в спасительную темноту. И вскрикнул. Двое устремились навстречу, бесшумно возникли из мрака, такие же черные, как этот мрак, такие же неодолимые, с жутким просверком щелочек белка на неясных лицах. Они умели захлопывать свои ловушки! К беглецу протянулись длинные, будто резиновые руки, сзади уже грохотали башмаки преследователей.

И тут словно что‑то вспыхнуло в Гезе. И взорвалось. Он ударил переднего, тот не успел шевельнуться. И с этим ударом пришло освобождение от страха, от наваждения, от всего. Он стал кем‑то другим, не интеллигентом, не человеком даже, и для этого нового Геза пятеро врагов были ничем. Еще удар, наотмашь, тело врага переломилось, первый уже оседал на асфальт; теперь обернуться, выхватить пистолет; три вспышки подряд, три пули, грохот в ушах — и все. Он знал, что все кончено и можно бежать, даже идти, если захочется, потому что теперь уже ничто не может его остановить.

Он это знал и пошел спокойно; как через груду мусора, переступил через тела тех, перед кем трепетал город, перед кем он сам только что трепетал, и еще шагов сто шел спокойно, без мыслей, без чувств. А потом…

Его отбросило к какому‑то заборчику, пальцы царапали шершавые доски, к горлу подкатывала тошнота, ночное небо вращалось черно–звенящим колоколом.

Нельзя убивать.

Нельзя злоупотреблять силой.

Нельзя властвовать и подавлять.

О господи!

Небо кружилось все медленней. Гез поднял отяжелевшие руки, поднес ладони к лицу. На них были грязь и кровь, кровь и грязь.

Что с ним? Почему нельзя убивать? Этих выродков?!

Теперь он знал, что так можно и нужно, но от этого ему не стало легче.

Но разве перспектива такой борьбы когда‑нибудь возмущала его совесть, разве в душе он не готовил себя и к этому? Готовил. Почему же сейчас он чувствует себя так, словно потерял родину, достоинство, честь?

Освобождение — вот оно, это слово! Первый же удар открыл в нем незнакомую

темную силу, запреты спали, и, самое неожиданное, какая‑то укромная частица его души упилась этой внезапной свободой вседозволенности.

Да, но что тут ужасного? Добро должно быть с кулаками — таковы условия, обстоятельства, это так же верно, как то, что сегодня шестнадцатое мая…

Шестнадцатое мая конца второго мегахрона.

С улицы донесся вой полицейской сирены. Гез вздрогнул. Что это за понятие — мегахрон? Сегодня шестнадцатое мая тысяча девятьсот… Господи, какой же сейчас год?!

Полиция!

Как он и ожидал, тело повиновалось ему. В нем была огромная, не до конца растраченная сила, словно не он, Гез, только что спустился с десятого этажа и голыми руками уложил двух бандитов, а потом застрелил остальных. Он бежал, не глядя под ноги, знал, что бежит верно, хотя и не знал, куда. Он был Гез, да, он был, Гез, но тело было не его, и муки совести тоже были не его, точнее — не совсем его. Неужели все‑таки наведенная снореальность?

Мегахрон, теперь снореальность. Антон Гез. В имени он был уверен, а вот Гез…

Он легко перемахивал через заборчики, мелькали темные хибары фавел, гудящие трансформаторные будки, в каком‑то сарайчике взмемекнула коза, небоскребы центра неистово полыхали рекламой, косой радужный отсвет высвечивал лужи возле водозаборных колонок. Все было знакомым с детства.

Кроме него самого. И он уже догадывался, почему… Он сбавил шаг, свернул в какой‑то грязный проулок. Это могло быть и здесь, где угодно, если догадка верна. Из темноты проступили очертания распахнутой, на одной петле держащейся двери. Он шагнул к этой перекошенной, чуть поскрипывающей двери. Грязь под ногами мерцающе заискрилась.

И город исчез.

Угроза с Плеяд

И город второго мегахрона, зачумленный ненавистью город, исчез, будто его никогда и не было.

Гез оказался в просторном помещении, одна сторона которого была распахнута сплошным проемом, оттуда лился золотисто–оранжевый колышущийся свет. Там, снаружи, в скальных берегах текла огнедышащая река, и над ней был перекинут хрустальный, похожий на лунную радугу мостик.

Он вернулся домой. Да, он вернулся домой. Это Земля, пятый век третьего мегахрона. Там тоже была Земля, но там был конец второго мегахрона. Прошлое того человека медленно удалялось, тускнело, таяло в памяти, но…

Он взглянул на свои руки. И не увидел ни крови, ни грязи. Но их след остался в душе. Самозапрет снят, он способен делать то, чего не должен, не может делать человек его эпохи. Все правильно, психоинверсия прошла успешно.

Он шагнул к обрыву, туда, где был жар и свет. Огненную реку подергивали муаровые разводы, они шевелились, воздух наполнял шорох, иногда жидкое золото вскипало, яркие узоры сплетались новой вязью, от лавы исходил грозный и величавый покой, мостик же парил невесомой радугой, по которой не дано пройти смертному, но она была здесь, чистая и холодная, по ней можно было пройти, и в этом обещании было торжество красоты. Бездна завораживала, притягивала к себе; иной зов был в радуге, она возносилась над бездной, как мечта, как фантазия, но все вместе было единым целым, и не было этому названия, просто хотелось стоять и смотреть.

И Гез смотрел. То есть не Гез, конечно, — Антон Полынов, вот кем он был в своем мире.

Что‑то оттягивало набедренный карман. Пистолет! Вздрогнув, Антон вытянул из кармана этот аккуратный инструмент убийства и уставился на него, как на ядовитую фалангу. Он ладно лежал в руке, и первым намерением было зашвырнуть его подальше в огненный провал, чтобы и следа не осталось. Но то наверняка была музейная вещь, и,

поколебавшись, Антон засунул его обратно в карман.

Над жаром и светом пропасти все так же невесомо парил радужный мостик.

“Третий мегахрон, — повторял про себя Антон, как заклинание, — третий мегахрон. Первый длился миллионы лет, первобытные люди жили охотой и собирательством, не знали расслоения на богатых и бедных. Второй мегахрон: двенадцать тысячелетий земледелия и скотоводства; ручные, затем машинные орудия труда; государства и классы. И пять веков третьего мегахрона, столетия осуществленного коммунизма.

Я человек пятого века третьего мегахрона, — повторил он с облегчением и поспешностью. — Между мной и Гезом бездна столетий, его прошлое далеко от меня, как кремовые походы. Я знаю, как управлять всеми пятью состояниями психики, и не знаю, каково это — в страхе просыпаться ночью. Нет, знаю, теперь знаю, но этот страх надо изгнать. Страх, но не память о нем”.

С усилием оторвав взгляд от золотистой, огнем и светом дышащей бездны, Антон прошел в дальний конец помещения, где, как он и ожидал, находился терминал кибертрона, мысленно отыскал незанятую ячейку производства, выбрал самую простую и грубую работу, какая только была, прошелся пальцами по клавишам синхорда и закрыл глаза. Мгновение — и он стал тем, что и присниться не могло Гезу конца второго мегахрона, когда люди уже научились быстро менять вещный мир, но еще не умели преобразовывать свой внутренний. Он был на Марсе, видел освещенные маленьким и холодным солнцем разломы бурых пластов, видел и то, что в них скрыто, десятками мощных рук вгрызался в неподатливый камень; мозг управлял ансамблем этих машин и в то же время был им самим, единоборствуя с горой, ощущал все, что ощущали их персептроны, — и подступающую из недр темную воду, которую надо было убрать, и направление рудных жил, и сопротивление дробимого на атомы вещества, и напряжение сепарационных полей, и неподатливость смещаемых скал, и многое–многое другое, чему в конце второго мегахрона не было даже названия. Работая так, человек восстанавливал некогда утраченное единство с предметом труда, преодолевал былое, столь вредное для мускулов и психики отчуждение от него, мог все делать сам с начала и до конца, на любом изделии оставляя чекан своей личности, и это не было самообманом. Конечно, киберы могли работать и сами, но не так, хуже, человек вкладывал в их труд свою выдумку и изобретательность, свой артистизм, отчего всякая работа преображалась, а для человека она в свою очередь была тем, чем для мифического Антея была земля, — в соприкосновении с ней он черпал силу.

Со вздохом удовлетворения Антон наконец отключился от кибертрона, холодные разломы Марса постепенно ушли из его сознания. Мускулы слегка ломило, но это была приятная рабочая усталость, сознание очистилось и посвежело, теперь он был готов к дальнейшему.

И эта его готовность сразу нашла отклик. Стена раскрылась, как полог шатра, вошел человек в строгом фиолетовом кимоно. Гез далекого прошлого не дал бы ему более пятидесяти лет, но Антон видел признаки по крайней мере трех обновлений, и стройная осанка, мускулистая крепость обнаженных рук, изменчивая, как ток воды, ясность глаз на едва тронутом морщинами лице не могли ввести его в заблуждение, — возраст вошедшего приближался к полутора векам. Небрежным движением старик закрыл Огненную реку и, пока проем затягивался, образовал в углу камин с накрест уложенными поленьями, и они жарко занялись, как только он повел над ними ладонью. Затем, все еще не глядя на Антона, старик опустился на скамейку, которая будто выскользнула ему навстречу из пола. Антон поймал себя на том, что смотрит на это отчасти глазами человека прошлого, кем он недавно был, и обыденное творение наружной стены, камина, мебели вызывает в нем детское ощущение чудесного. Хотя что может быть обычней и проще власти над улавливающим желания материалом эмбриодома!

— Садись.

— Знаешь, Аронг, мне почему‑то хочется стать перед тобой навытяжку.

— Понимаю. — Морщинки звездочками стянулись к уголкам век, Аронг улыбнулся. —

Хорошая психоинверсия. Все‑таки садись.

Антон сел на тут же выросший под ним табурет и, пока садился, не без удивления отметил, что его и Аронга лексика изменилась, даже голоса звучали иначе. Впрочем, так и должно было быть, теперь он обязан говорить иначе, и Аронг помогает ему освоиться с этим новым, непривычным состоянием. Все было правильно, но от сознания этой правильности Антону стало так неуютно, что он придвинулся ближе к Аронгу.

— Вопросы есть? — Старик будто и не заметил его движения.

— Только один. Понимаю, ситуация инверсии должна была быть однозначной, но почему именно конец второго мегахрона?

— Каждый повторяет кого‑нибудь из своих предков не только чертами лица. Оказалось, что тебе ближе всего по духу Андрей Полынов, который жил в конце второго мегахрона и, как свидетельствует история, не дал разгореться Соларнийскому безумию.

— Ясно, больше вопросов нет.

Аронг, вопреки ожиданию, казалось, не торопился. Он сидел выпрямившись, но шевеление теней углубило его морщины, сейчас он действительно выглядел старым. Древние сполохи огня, уютное потрескивание поленьев создавали иллюзию, что время повернуло назад, что оно, как прежде, сулит радость долгой беседы человека с человеком, неважно, знакомым или незнакомым. Увы! Теперь он, Антон Полынов, наследник и продолжатель дела своего знаменитого предка, надолго, может быть, навсегда будет лишен этой радости.

О том же, вероятно, подумал Аронг, его спокойные, лучащиеся светом глаза потемнели, как озеро перед ненастьем.

— Теперь о деле. — Он зябко потер протянутые к огню руки. — Антон Гез, да, Антон Гез, будущий джент Империи. Все готовы ко второй инверсии? Ты не передумал, Антон?

— После того, как снял самозапрет? Отказа не будет. К чему лишние слова?

— На Плеядах говорят многословно. Привыкай. Для тренировки пространно, в духе второго мегахрона, изложи возникшую ситуацию.

Антон задумался.

— Она сложна и проста одновременно. Проблема возникла на рубеже третьего мегахрона, когда был открыт Д–принцип и дальние звезды стали легкодоступными. Началось быстрое освоение иных планетных систем, человечество действительно вышло из своей земной колыбели. Но где свет, там и тень. Распахнутостью Галактики воспользовались и те, кого не устраивал торжествующий порядок социального обновления. Терпя поражение на Земле, они подались в космос и, объявив себя фундаменталистами, единственными хранителями “извечных ценностей человеческого духа”, создали в Плеядах свое государство. Эволюция раздвоилась. Федерация, затем Империя Плеяд отгородилась от Союза Звездных Республик, там история пошла иной дорогой. Нам это не мешало, в Галактике достаточно места для всех. Пожалуй, человечество даже выиграло, избавившись в переломный момент от стольких консервативных и еще опасных элементов. Так это наше соседство с фундаменталистами могло бы длиться и дальше. Однако сейчас все резко и угрожающе изменилось. При раскопках на одной из своих планет фундаменталисты обнаружили давнюю базу Предтеч, в ней — оружие. Или нечто способное быть оружием. Оно действует — вот все, что мы о нем знаем: первое случайное включение, один–единственный импульс смахнул с планетарной орбиты луну покрупнее нашей. Все. Далее из их передач исчезло всякое упоминание о находке, зато — факт тревожный и красноречивый — началось разжигание страстей, имперцам настойчиво внушают, что их предки бились за счастье всех миров, что наше коварство беспредельно, что “дьявол и бог” сосуществовать не могут, что “кровь и почва” взывают и что мы, вынашивая зловещие планы, готовим одну звездную эскадру за другой Вывод: сделана ставка на оружие Предтеч. Его возможности? Способ действия? Перспектива массового воспроизведения? Степень угрозы? Полная неизвестность. Но раз нет ни одного враждебного поступка, то послать разведчиков — значит выступить против самих себя, против морально–этических норм, которые для общества то же самое, что

совесть для отдельного человека. А не послать — значит остаться в неведении. Как же пройти по этому лезвию бритвы? Я вызвался снять самозапрет, вызвались и другие; потребуют обстоятельства — мы пойдем до конца. Но когда? Отчасти я уже понял человека далекого прошлого, отчасти я уже стал им, и знаешь что? Собственная сила, наша сила, представляется мне теперь бессилием. Надо делать то, что без колебаний делали наши предки. И немедленно, иначе будет поздно!

— А ты уверен, что наши предки не испытывали колебаний в выборе средств?

Сказано было мягко, но Антон откинулся, как от удара.

— Извини, — прошептал он. — Будь наши предки неразборчивы в средствах, нас, таких, конечно, не было бы; я сказал глупость.

— Не стоит извиняться, инверсия даром не проходит. Второе замечание: ситуацию ты обрисовал верно, однако патриции, одним из которых тебе придется стать, обычно говорят извилисто. Теперь о предстоящем. Ответ на твои сомнения — вот.

Откуда‑то из складок кимоно Аронг вытянул шарик, своим цветом и размытыми очертаниями похожий на плотный сгусток черной мглы или дыма. Покачиваясь, шарик замер на раскрытой ладони.

— Что это?

— Спутник–шпион. Невидимка, которого очень трудно найти. Но мы предполагали, что он должен появиться, искали тщательно и, как видишь, нашли. Это не единственный, надо думать. Поэтому то, что мы сидим возле камина, — Аронг грустно улыбнулся, — не случайно. И кибертрон сейчас отключен, и все прочее. Еще два–три шага в том же направлении — и мы, боюсь, очутимся в пещерах. Что делать, наш разговор не для плеядцев.

— Но зачем, зачем им спутники–шпионы?! Они же знают, что у нас нет общественных секретов, только личные!

— Знают, но не верят, потому что общество, как и человек, судит о других по себе. Они и помыслить не могут, что ваша подготовка — частная инициатива, если так можно выразиться, нескольких граждан Союза и потому не подлежит оповещению. Совет это учел… тоже в частной беседе. Да, сила или моральна, или губительна, третьего не дано, и в некоторых ситуациях это приводит к тяжелым противоречиям.

— Но коль скоро они прибегли…

— Да! Сила действия равна силе противодействия, этот закон пора подтвердить. Время познакомить тебя с остальными. Входите!

Люди кольца

Они вошли и молча уселись, все трое. Никто особо не выделил Антона, однако он уловил напряженный ток их внимания к себе и в свою очередь попытался вникнуть в их сущность. Ничего не получилось, каждый закрылся наглухо, словно уже был на Плеядах, и Антон увидел лишь то, что видели его глаза.

Старший мужчина вызвал бы повышенный интерес в любой компании людей третьего мегахрона. Он был приземист, крепко сложен, но сутуловат. Двигался он с безразличным вниманием к окружающему, невозмутимый взгляд матово–карих глаз чаще обычного был обращен внутрь себя, похоже, нить его углубленных размышлений не прерывалась, даже когда он глядел прямо на собеседника. И что было еще поразительней сутулости — его смуглое с твердыми скулами лицо окуривал дымок коротко изогнутой трубки.

— Там курят, — небрежно пояснил он и уселся, как само воплощение спокойствия.

Второй человек было показался Антону мальчиком. Но то был пигмей, самый настоящий пигмей, из тех, кто до конца второго мегахрона жил охотой в глухих джунглях Африки. Однако чуть голубоватый оттенок кожи выдавал в нем ригелианина по крайней мере третьего поколения звездопереселенцев.

Но больше всего Антона поразила девушка, ее тонкой красоты лицо, грациозное в каждом движении тело ребенка, которое невольно хотелось защитить от порыва ветра, таким хрупким оно казалось. Так могла бы выглядеть фея, но фея жгучего юга, лесной дух Индостана с черными, как ночь, глазами грустной волшебницы. Через плечо девушки был

переброшен иллир, самый магический инструмент из всех придуманных человечеством.

“Странно, — в замешательстве подумал Антон. — Вот уж кому здесь не место! Ей бы стоять на радужном мостике и перебирать струны иллира…”

Ответом его мысли был гневный взмах пушистых ресниц.

— Меня зовут Ума, и ты не прав. Кто из нас менее подходит — ты, не сумевший закрыться, или я, тобой не понятая? — Узкая ладонь девушки корабликом подалась от груди. — Прими объяснение. Я из касты париев, самой нищей, самой отверженной, какая только была на Земле. Тень наша оскверняла пищу брахмана и его самого, он к себе в дом не мог войти после этого без должного омовения. Нас, новорожденных, мать заталкивала в нору своего пристанища, засыпала сухой травой, приваливала камнем, чтобы младенца не заели комары, мухи, крысы. Молоко у забитой кончалось через месяц–другой, нашей едой становилась кашица кореньев. Так длилось свыше трех тысячелетий. Что перед этим века нашего мегахрона! Выносливей нас нет никого. Может быть, твое прошлое было лучше, а мы своего не забыли, и у нас свой счет к фундаменталистам!

— Прости, — смущенно и растерянно ответил Антон. — Сейчас мои чувства открыты, видишь, в них не было желания обидеть.

— А только незнание. — Ума кивнула. — Вижу и принимаю. Скажу больше: сестрой тебе я могу стать и без Кольца.

— Это невозможно!

— Для Умы возможно, — возразил Аронг. — Называю ее подлинное имя, потому что оно будет тем же самым и на Плеядах. Остальные представятся сами.

— Джент Лю Банг, чимандр философского ранга, к вашим услугам. — Сутулый мужчина вынул изо рта трубку и с достоинством поклонился.

— Юл Найт, сын первопатриция. — Озорно подмигнув, пигмей скучающе и расслабленно потянулся в кресле. — Балованный мальчишка — и ничего больше. Там, на Плеядах, буду выглядеть лилейно–белым представителем высшей расы. Уму при встрече заставлю плясать, а всякого там чимандра. Кстати, какова этимология слова “чимандр”?

— Слово “чимандр”, — невозмутимо ответил Лю Банг, — произошло от скрещения понятий “чиновник” и “мандарин”, причем под последним отнюдь не следует понимать фрукт, поскольку в данном случае имеется в виду древнекитайский сановник, названный так португальцами из‑за смыслового сходства с санскритским “матрин” — советник. Надеюсь, мой ответ удовлетворил достопочтенного сына первопатриция.

— Объяснение без поклона что напиток без стакана, — высокомерно произнес Юл. — Вообще в нашем роду не любят всяких там ученых, философов, поэтов и прочих умствующих служак, а уж желтомазых тем более. Но я, подросток, еще не очень осведомлен в тонкостях крови и иерархии, поэтому прощаю. Вот баядерочка — дело иное. Эй, ты, сладенькая, повесели!

Рука Антона дернулась, он понял, что способен, уже способен непроизвольно ударить наглеца, но гнев тут же сменило восхищение тем, как ловко Юл приноровился к своей отвратительной маске. Выходит, опередив его, они уже прошли вторую инверсию, которая позволяет человеку быть не тем, кто он есть. Глаза Умы тоже вспыхнули возмущением, но тотчас стали покорно–умиленными, как у собачки, которую поманил хозяин. С податливой улыбкой обещания девушка сняла с плеча иллир, вынула из футляра мерцающий перламутром и хрусталем инструмент, лицо ее сделалось строгим, сосредоточенно замершим, точно рельеф темной бронзы. Превращение было столь же мгновенным, как и движение пальцев по клавишам и струнам иллира. Возник долгий певучий звук такой красоты и силы, что с лица Юла сама собой спала ухмылочка шалопая, Антон невольно подался вперед, а Лю Банг выронил трубку. Никогда ничего подобного Антон не слышал. Завораживающий звук креп, ширился, рос, охватывая собой все видимое и скрытое, казалось, сам воздух стал опалово–осязаемый, текучий. Ума тряхнула головой, ее волосы черным пламенем заскользили по голым плечам, губы выдохнули:

— В круг, в круг!

И то же самое приказала мелодия. Антон, Юл Найт, Лю Банг повиновались. Аронг отступил в тень и будто растворился за мерцающей завесой. Теперь их осталось четверо. Образовав круг, они сидели, почти касаясь друг друга коленями, и ничего уже не стало, кроме видений музыки, кроме них самих, кроме отблеска огня на их лицах. Переливы стали громче, трепетней, осязаемей, тонкое лицо Умы напряглось, глаза стали еще огромней, еще черней, они не видели ничего и видели все, а пальцы скользили по иллиру все быстрее, быстрее, пока вибрирующие струны и сам иллир не подернулись смутно искрящейся дымкой. И тогда возникло Кольцо.

Оно повисло между сидящими, светло–огненное, размыто пульсирующее. От каждого на Кольцо словно падала тень, и там, где она была, свет тускнел оттенками желчи, в каждом месте по–своему; иногда казалось, что эти затемнения хотят исчезнуть, раствориться в золотистом ритме Кольца, но что‑то упорно мешало этому. Голос иллира стал тише, нежнее. Левая рука Умы простерлась над Кольцом, правая, как прежде, порхала над струнами. Брови девушки сошлись к переносице, взгляд застыл. Пульсация света стала ровней, мерное движение ладони словно разглаживало биения, невольный вздох разом прошел по сидящим, все взялись за руки, только Ума осталась вне круга. Ее губы беззвучно шептали, но слова отдавались в каждом.

Зла раскрылись очи, очи,
Веет холод ночи, ночи,
Души слабеет твердь, твердь,
Подступает смерть, смерть.
Стань светлее, круг, круг,
Ближе, ближе, друг, друг
Вглядись в его лицо, лицо,
Крепче стань, Кольцо, Кольцо!
В тебе душа моя, моя,
Во мне душа твоя, твоя,
До скончания годин, годин,
Ты отныне не один, не один,
С тобою всюду Круг, Круг,
С тобой навеки Друг, Друг!

С последними, такими детскими, наивными, как заговор, заклинание, словами Ума замкнула цепь протянутых рук. Кольцо засияло ровным блеском, взмыло над головами, в его свете на миг померкло все окружающее. Тело Антона сделалось невесомым, блаженным, а когда зрение и тяжесть вернулись, он обнаружил себя под звездно распахнутым небом, босым и нагим мальчишкой среди росного луга над обрывом неподвижной реки, в которой холодно двоилось звездное небо. И он был там не один. Обнявшись, плечом к плечу, они стояли вокруг костерка, трое мальчиков и девочка, и он был ими, и они были им, и не было большего счастья, чем вот так стоять и смотреть на их лица, и вдыхать свежий запах трав, и чувствовать тепло огня, и слушать безмятежную тишину земли, и видеть Вселенную над собой, и ощущать тревожную, но не властную над ними близость омута, в котором застыл звездный сполох Стожар, таких далеких и таких уже близких Плеяд. Было спокойствие земли, и было спокойствие сомкнувшихся тел и душ. Он знал всех троих, как самого себя, и они знали его, они стали ближе, чем братья и сестры, ближе, чем возлюбленные, и, чувствуя себя беззаботными детьми, все четверо знали, что им предстоит, и словно общий ток пульсировал в их телах. Крепче связи не было и быть не могло. Там, на Плеядах, их путь разойдется, каждому, возможно, не раз придется сменить лицо, тем более имя, все равно теперь они мгновенно узнают друг друга в любой одежде, в любом облике, найдут друг друга, как бы далеко их ни разнесло, всегда будут точно пальцы одной руки, готовой, если потребуется, мгновенно сжаться в кулак, вот эти мальчики и эта девочка, дети Земли, дети человечества, в последний раз собравшиеся вместе, час назад совсем не знавшие друг друга, а теперь нерасторжимые, пока дышат, живут, надеются.

Их объятия длились, и с ними был миллионы лет назад зажженный их предками огонь костра, была вечная Земля, и вечное небо, и свежий запах травы, и неподвижно струящаяся река — все, чем жил и будет жить человеческий род, какие бы звезды над ним ни светили.

Так продолжалось, может быть, мгновение, может быть, век. Наконец Ума медленно–медленно убрала руки с плеч товарищей, худая грудь девочки опала в протяжном вздохе — и все кончилось сразу: они очутились перед полупотухшим камином, у ног девушки лежал забытый иллир, и она, точно просыпаясь, нагнулась к нему.

Все четверо не обменялись и словом. Слова больше не были нужны им, только Юл едва заметным движением погладил иллир.

Из темноты выдвинулась фигура Аронга.

— Последнее напутствие вам, а может быть, самому себе. — Он помедлил, зорко вглядываясь в их лица. — Вскоре вас уже не будет здесь, а население Плеяд увеличится на четверых. Не ваша забота, как это произойдет, каким образом мы впишем в память их инстинктов все данные о вас, словно они были там изначально. Не это существенно.,

Нахмурившись, Аронг взбил догорающие поленья, и отсвет углей, прежде чем они вспыхнули, налил его глаза краснотой. “Совсем как у нечка, — содрогнулся Антон. — Совсем как у нечка”.

— Важно другое. — Аронг выпрямился. — Вам уже пришлось нелегко, когда вы сбрасывали запреты, чтобы не выделяться среди обитателей Плеяд и быть готовыми ко всему. Там придется еще трудней, вы знаете это. Было ли у вас, однако, время задуматься над менее очевидным? То, чем мы живы, может обернуться против нас, и противник на это рассчитывает. Мы выглядим слабыми не только потому, что у них есть новое сверхмощное оружие, а у нас его нет. И даже не потому, что древние навыки войн нами изгнаны и забыты. Корень глубже. Сила социального зла в том, что оно не знает никаких запретов, тогда как все, ему противостоящее, обязано выбирать средства, иначе оно выродится в не меньшее зло. На первый взгляд, такое самоограничение пагубно, однако вся наша история доказала, что вне морали победа недолговечна, тлетворна и обратима и что за внешней слабостью добра скрыт источник неодолимой силы. У вас не только задача все узнать о новом оружии. Куда важнее, чтобы там, на Плеядах, поняли, у кого настоящая сила. Докажите ее! Отрезвите их — тогда и бойни не будет. Безоружные, опрокиньте вооруженного, вы можете и должны это сделать!

Отец и сын

Маленький, едва в половину солнечного, диск Альциона клонился к закату, но ярый бело–голубой блеск светила еще не ослаб, прямолинейная, до самого горизонта, геометрия улиц и площадей Авалона была залита им, так что даже густые синие тени ничего не скрывали внизу: башни, пики, спирали и купола зданий, возвышаясь, сверкали в этом неистовом свете, а дома победней сахарно белели там, где их не накрывала тень небоскребов. Те же яркие лучи Альциона обдавали человека на открытой веранде, который, выпятив нижнюю губу, в задумчивости смотрел на столицу Империи, словно вся она была огромной, только ему понятной шахматной доской, на которой складывалась незримая для чужих глаз, сложная и волнующая позиция. Ручной вышивки халат с золотыми драконами, изрядно потертый в локтях, был небрежно распахнут на беловатой груди, как если бы человеку было решительно наплевать, видит ли его кто в этой затрапезности или нет, хотя в отдалении возвышался дворец самого Падишаха, и его телескопические окна были нацелены во все стороны.

— К дженту Эль Шорру с назначенным свиданием его сын Ив Шорр, — донесся шепот элсекра.

Эль Шорр машинально взглянул на часы: все правильно, сын прибыл с военной точностью.

— Пусть войдет.

Выражение его лица не изменилось, когда он, тяжело ступая, вошел в помещение. Но как только дверь комнаты заскользила вбок, хмурость тотчас сменилась отеческой улыбкой,

которая сделала его рыхлое лицо домашним, почти добродушным.

— Входи, входи, капитан. Уже капитан! Славно, мой мальчик, так и надо.

Казалось, он при этом забыл, что своим быстрым продвижением сын обязан прежде всего ему, и с восхищением оглядел рослую фигуру своего отпрыска, его мундир, в хромолитовых наплечьях которого над искрящейся спиралью Галактики вспыхивали скрещения голубоватых молний. Ив чуть смущенно улыбнулся в ответ, так секунду–другую они стояли друг против друга.

— А твоего слугу надо прибить. — Отец ласковым движением снял с рукава мундира пушинку.

— А что надо сделать с твоим нечком, чтобы у первого советника Падишаха появился новый халат? — в тон ему ответил Ив. — Смотри, уже засалился.

Ответом было величественно–небрежное движение, которое пуще слов и внешних знаков отличия наполнило Ива гордостью за отца, ибо власть, пренебрегающая правилами этикета, выше той, которая их устанавливает.

— Проходи и садись.

Отец легонько подтолкнул сына в плечо, но прежде чем сесть самому, щелчком пальцев включил “звуковой шатер”. Проем веранды тотчас затянула дрожащая пелена воздуха.

— Предосторожность против земляшек? — удивился Ив. — Здесь, в твоем кабинете? Ого!

— Землянам, чтобы слышать, сначала надо отрастить уши. Покажи‑ка мне твою “жужжалку”.

Пушистые, как у матери, ресницы Ива дрогнули от недоумения. Помедлив, он расстегнул нагрудный карман и достал оттуда похожий на старинную пулю цилиндрик. Заостренный конец цилиндрика тлел рубиновым огоньком. Эль Шорр нажал на торец, огонек погас. Косясь на скрытый в столе детектор, прислушался; его лицо, которое льстецы называли львиным, подобралось.

— Все в порядке, — сказал он отрывисто. — Они вполне могли всадить в аппарат еще и записывающее устройство.

— Они… Кто они?

— Стражи порядка. А может, и не стражи — любителей хватает.

— Отец, что произошло? Ты говоришь такими загадками…

— Эх, мальчик, это разве загадки! Рутина, обыденность, фон.

— Прости, я что‑то не совсем…

— Скажи: “Я ничего не понимаю”, — так будет точнее и откровенней. Что ж, пора показать тебе мир, как он есть, без иллюзий…

Казалось, Ив хотел что‑то возразить, но набрякшие веки отца, дрогнув, приподнялись, и с колыбели привычный, такой любящий и осязаемо тяжелый взгляд прижал его к сиденью.

— Если ты знаешь слова команды и звездную навигацию, то это еще не значит, что ты знаешь жизнь. Я не торопился знакомить тебя с ее изнанкой, но время, время! Время и обстоятельства. Ты гордишься и своим мундиром, и своей принадлежностью к роду первопатрициев. Но ответь мне, кто они такие?

— Потомки отцов–основателей, — выпалил Ив. — Элита человечества, которая не захотела терпеть разнузданную толпу и создала здесь общество избранных.

— Великолепно! Твой ответ патриотичен, прекрасен и глуп. А первая заповедь сильного — никакого самообмана! Тебе пора знать, что наши предки бежали с Земли, как бегут от землетрясения, от гнева божьего, от чумы.

— Догадываюсь. — Ив держался, как офицеру положено, даже прямее обычного, так ему хотелось изгнать парализующий холодок тревоги. — Я давно подозревал это.

— Каким образом?

— Все‑таки я ваш сын…

Откинувшись, Эль Шорр внимательно глянул на Ива.

— Достойный ответ, достойный! Что ж, тем проще…

— Но это не значит, что отцов–основателей не было! — пылко воскликнул Ив. Голубая, вилочкой, жилка набухла под тонкой кожей его виска. — Ведь кто‑то же создал все это! Неважно, бежали они или осуществляли великую миссию, важно, что они своего добились. И мы, их наследники…

— Кого именно? — взгляд Эль Шорра отяжелел. — То была на редкость пестрая и сволочная компания.

— Сволочная?

— Еще бы! Владыки финансов и мафия, легионеры последних войн и пейзане с их наивной мечтой о девственных почвах, фанатики нацизма, адепты всех религий, чистые и нечистые — кого только не было! Конечно, со временем выделились настоящие люди, они‑то, покончив со всякой шушерой, и навели порядок. Никаких прежних ошибок, никакой болтовни о равенстве, тем более никаких “угнетенных масс”, благо наука и техника позволили отстранить людей от производства. Киберы и нечки, нечки и киберы — они безопасны. Земляне? Могущественные, но погрязшие в самоусовершенствовании, они до поры до времени безобидны. Значит, что? Живи и наслаждайся жизнью, так выходит? Так или не так?

— Отец, но при чем тут наши предки?!

— “И будешь ты проклят или облагодетельствован до седьмого колена…” Основной закон жизни тебе, надеюсь, известен?

— Побеждает сильнейший. — Ив выпрямился. — Если бы я этого не знал, то был бы недостоин…

— Тебя скушали бы, вот и все. Ты гордишься своим первопатрицианством, древней знатностью своего рода. А известно ли тебе, кем был его основатель? Драконщиком главаря “Триады”, его рабом и слугой!

— Раб желтома…

— Да! Они было оседлали нас, этот эпизод тщательно вытравлен из истории. Твой дед когда‑то тоже просветил меня насчет нашего “благородного происхождения”. Хочешь палочку? Нет? Правильно, не стоит привыкать…

С этими словами Эль Шорр выхватил из кармана обмусоренную палочку смолы эф и, сдернув колпачок, нюхнул ее. Взвился коричневый дымок, ноздри Эль Шорра расширились и затрепетали.

— Так! — сказал он порывисто. — Одни хотят захватить власть, другие — ее удержать, так было и будет, и нет ничего нового под солнцем, даже если это солнце Плеяд. Каждый день и час я веду борьбу, о которой ты не имеешь понятия, и в ней если не я, то — меня. Все понял?

Ив ошеломленно кивнул. Флотские интриги, косые взгляды, внезапная любезность начальства, льстивое заискивание подчиненных, нередкие, спьяну, заверения иных офицеров в дружбе — все, что он отметал, как мусор, предстало перед ним в новом свете и даже не поразило, словно он давно был готов к этому новому пониманию людей и лишь отдалял, сколько мог, тягостное прозрение, вроде ребенка, который в разгаре игры не хочет замечать докучливых взрослых с их напоминаниями о времени и о порядке. Хотелось закричать: “Не надо, я не хочу!” — но то был вскрик детской жалости к самому себе, и, содрогнувшись, Ив подавил его.

— Продолжайте, — сказал он ровным бесцветным голосом. — Вы мой отец, я ваш сын. Кто наш враг?

— Не кто, — голос Эль Шорра дрогнул, — а что. Вот я достиг многого, и ты, надеюсь, достигнешь не меньшего. А чем все закончится? Ничем. Небытием. Смертью! Ничего не станет, даже боли и ужаса, ты можешь это понять?! Нет. Молодость мнит себя бессмертной, обычная уловка биологии, но спадет пелена, и… — Скрюченные пальцы Эль Шорра дернулись. — Человек — мотылек–однодневка, которого все хотят слопать, жизнь —

судорога перед небытием, и ничего больше! Все, все хотят заслониться от этой беспощадности, а выбор средств невелик. Стать животным, растением, чтобы не мыслить, не чувствовать, не знать, уйти в грезы наркотиков или фантоматики. Раствориться в обыденности, утешить себя религией или наивной философией. Наконец, заполнить жизнь наслаждениями, выжать ее до капли, всю, а там пропади пропадом! Ничего другого никто не нашел, что бы там ни мычали земляшки. И они тоже смертны! Бездарь и сволочь наделил нас всепонимающим разумом, бездарь и сволочь, неважно, природа это или бог!

Эль Шорр раскраснелся, глаза налились лютым ненавидящим блеском, халат распахнулся, открыв вспотевшую грудь. “Нет, нет! — жалея и ужасаясь, вскричал про себя Ив. — Он так не думает, так нельзя жить, должен быть выход…”

— Но сильный отличается от слабого тем, что находит выход. — Голос Эль Шорра стал жестким. — Его‑то я и приберег для нас. Поверь моему опыту: все чепуха, кроме одного: деятельность! В принципе неважно какая, лишь бы поглощала без остатка, чтобы ни секунды, ни мысли свободной. Ты разочарован? Подожди, это даже не присказка… Очень скоро я понял, что есть деятельность главная, высшая, в которой чувствуешь себя не тварью дрожащей, а богом. Да, богом! Повелевание людьми, игра: их судьбами — вот что божественно. Допустим, бессмертие нам не дано, но всемогущество… Сейчас я тебе кое‑что покажу.

Эль Шорр встал, шлепая матерчатыми туфлями, подошел к двери и было протянул палец к кнопке.

— Черт! Старею, забыл о “шатре”…

Он отключил “шатер” и лишь тогда нажал кнопку.

— Эй, там, приведите!

Едва он опустился в кресло, как дверь раскрылась и на пороге возникла девушка, от красоты которой у Ива перехватило дыхание. И не только от красоты.

— Так ведь эго же, это…

— Дэзи Грант, прелестнейшая актриса землян, так восхитившая тебя, когда мы смотрели фильм с ее участием! Подойди, малютка.

Стройная фигура девушки колыхнулась, и словно музыка затеплилась в душе Ива, когда она сделала этот шаг, так легок он был, и вся она в воздушном очертании белого платья показалась ему трепетным огоньком самой жизни, который так зыбок, так мал, так открыт черному ветру смерти и так способен все осветить радостью. Фатой наброшенная вуаль скрадывала черты ее лица, сообщала им недосказанность, а смазанная синева детски беззащитных глаз пронизывала робкой мольбой и обещанием то ли счастья, то ли покорности.

— Ближе, малютка, ближе, — приказал Эль Шорр. — Стань на коленочки.

Повинуясь, девушка склонилась перед ним, колени коснулись ковра, ворсинки примялись под ее легкой тяжестью. Ив вскрикнул — живая Дэзи! Но как, откуда?!

Эль Шорр с улыбкой протянул руку.

— Целуй.

Грудь девушки всколыхнулась. Плавным послушным движением она приподняла вуаль, губы приникли к руке, на лице застыла одубелая улыбка покорности.

Ив вскочил.

— Это же нечка! Не надо! Не надо!.. Нечка!

Голубоватые молнии воинских знаков сверкнули на его плечах, движение вскинутых рук перекосило шеренгу мундирных пуговиц,

— Увы, это действительно нечка. — Рассеянным движением Эль Шорр отпихнул девушку, она качнулась и замерла все с той же одубелой улыбкой на юном и прекрасном лице Дэзи Грант. — Мне захотелось сделать тебе небольшой подарок, но ты, я вижу, не рад. И я тебя понимаю. Внешнее воспроизведение совершенно, все как у настоящей Дэзи Грант, она может так же смеяться, когда ее любят, и плакать, когда ее бьют, но все это механически, без души. Андроид и есть андроид.

— Папа, убери ее, убери! Спасибо за подарок, но…

— Но тебе нужна настоящая Дэзи? Звездочка с неба, да? — Эль Шорр рассмеялся. — Пошла вон! — крикнул он девушке. — Эй, вы, там, сделайте ей обычные красные глаза нечки.

Девушка вскочила и пошла — нет, поплыла невесомой походкой Дэзи. Ив отвернулся.

— Ничего. — Лицо Эль Шорра стало серьезным и властным. — Скоро, надеюсь, в твоем распоряжении окажется оригинал. Сядь, успокойся и слушай. Это все мелочи…

Сети заброшены

Эль Шорр снова включил “звуковой шатер”, и в проеме веранды, как прежде, заструился мерцающий воздух. Он смотрен на сына с ласковым сожалением и суровой нежностью.

— У мужественного капитана Галактики, оказывается, чувствительное сердце, — медленно проговорил он. — Ничего, все хорошо в свое время. Кстати, о нечках. Тебе известно, что означает это слово?

— Андроид, физическая, с заданными свойствами копия человека, — глухо отозвался Ив. — Кукла, безмозглая кукла!

— Верно, но я спрашивал не об этом. “Нечк” — сокращение от слова “недочеловек”, которое ввели в обиход, еще в древности, фашисты. Не пренебрегай ветхой, как ты ее когда‑то назвал, историей! В ней знание, а где знание, там успех. Проанализируем ситуацию. Здесь, на Плеядах, мы осуществляем давнюю мечту избранных о тысячелетней империи. Так! Но как реалист, я должен признать, что силовой и интеллектуальный потенциал Звездных Республик на порядок выше нашего. И если бы не их моральные колодки, которые они на себя надели, чтобы уподобить людей ангелам коммунистического рая, нам тотчас пришел бы конец. Все эго нетерпимо, хотя до поры до времени безопасно. Теперь положение изменилось. У нас есть оружие Предтеч, мы знаем, как им пользоваться, и — последнее решающее испытание — мы им воспользуемся. Тогда все это красивое, согласен, умненькое, тоже согласен, стадо окажется в нашем хлеву. Это предрешено, если мы не сглупим, но, надеюсь, мы не сглупим. И вот тут открываются интересные перспективы для нас. Ты, вероятно, уже спрашивал себя, почему твой старый, хотя и неглупый отец философствует, ходит вокруг да около, читает тебе прописные и не прописные морали… Спрашивал?

— Да…

— Я хочу, чтобы ты проникся идеей, — тихо сказал Эль Шорр. — Не просто понял, не просто поверил, а проникся. Какой — открою чуть позже. А пока,. Ты готов следовать за мною во всем?

— Отец, это лишний вопрос. Я и так…

— Не так! До конца. Пусть рухнет вся Галактика — до конца!

Темные властные глаза неотрывно смотрели на Ива, он выпрямился под этим пронзительным взглядом, преданно оцепенел, как перед самим Падишахом, только в висках гулко, весело стучала кровь.

— Да!

— Хорошо. Здесь, в шкатулке, хранится горсть земли, ее при клятве полагалось полить кровью. Кровь и почва! Чепуха для детишек, обойдемся без этого хлама. Для начала я укажу тебе те места, куда ты будешь наведываться с выключенной “жужжалкой”.

— Как с выключенной?! А приказ… Агенты землян…

— Ты выключишь этот скрывающий мысли аппаратик и появишься там, куда наверняка сунутся земляне. Пока есть неясность с оружием, их разведка опасна, ее надо пресечь. Сеть уже сплетена, в нее я вставляю свое звено. Тебя! Будешь “подсадной уткой”, офицериком, мысленно выбалтывающим кое–какие сведения. На тебя, скорее всего, выйдут, и этого человека мы возьмем. И сделаем так, чтобы все остальные земляшки поспешили ему на помощь, пусть их мораль еще раз сработает против них. А мы затянем сеть — и кончено.

— Но почему я?!

— Потому что их психика хорошо развита и опытного агента они мигом раскусят. Но главное не в этом. Кто ты сейчас? Офицер, каких много. Кем станешь? Героем, который выловил и разоблачил землян, уж я представлю дето как надо! Ив Шорр будет отмечен и замечен, а это необыкновенно важно сейчас, когда решается, кто будет новым командиром твоего “Решительного”. Кстати: остался ли прежним его экипаж?

— Нет, я даже хотел об этом с тобой поговорить. — Растерянность слетела с Ива. — Какие‑то непонятные перемещения, какие‑то новые люди, и не все они… не все компетентны. Это ж опасно! Накануне войны…

— Ох, Ив, какой ты еще младенец!.. — Эль Шорр вздохнул. — Ладно, об этом после. Сначала стратегия. Итак, война, это дело решенное. Победа. И вот тогда… И вот тогда, — Эль Шорр понизил голос, — начинается главное. Люди, планеты, вся Галактика — здесь! Всемогущество — вот оно!

Набухшие венами руки сжались, цепким взглядом Эль Шорр следил, какое впечатление его слова произвели на сына. Тот в смятении, восхищении, ужасе уставился на отца, на виске суматошно билась голубоватая жилка.

— Но ведь над тобой… Над тобой… Падишах!

— Да, верно, как я мог об этом забить! — Эль Шорр облегченно откинулся и рассмеялся: — До чего же глупо: у нас Империя, а во главе ее Падишах. Что делать, былая дань фундаменталистам… И ты полагаешь, что, положив к стопам Падишаха всю Галактику, я буду лобызать его пресветлую, в дурацких каменьях, туфлю? А династия Шорров тебя не устраивает?

Как ни был готов Ив к этому последнему, бесповоротному слову, сознание будто оглушил гром, и все вокруг на миг затуманилось. Он, он — наследник престола?!

— Но это не все, — будто издали донесся до него торжествующий голос отца. — Это не идея, а подступ к идее. Всемогущество! Нам с тобой повинуется Галактика, ты ее властелин, бог… Лучшие ученые, поэты, художники Звездных Республик на коленях поползут к трону. Дэзи, настоящая Дэзи, будет твоя… Или, может, поделимся? Ладно, ладно, шучу. Интеллект всего человечества будет служить мне. И уж я — то знаю, зачем нужна Империя и как ею пользоваться. Наши идиоты ковали из нее оружие, а как только она победит, эти олухи не будут знать, что с ней делать. Вечное “ням–ням” — вот и весь их идеал. А земляне! Эти блаженные использовали мощь разума для совершенствования общества и человека, будто он в этом нуждается. Я же обрушу разум на Вселенную. Выверну ее, как карман. Искать, искать! Проникнуть в иные галактики, в иные вселенные, куда, возможно, ушли Предтечи. Допросить всех жукоглазых или вовсе безглазых! Не может быть, чтобы где‑то не оказалось бессмертия! Вот оно, главное. Всемогущество и бессмертие! Я добуду первое, ты или твой сын добудет второе. А может, я сам успею найти. Вечный владыка и бог — ты понимаешь, ты понимаешь?! Вот идеал, вот к чему нас вела история, вот для чего власть! На тысячи, миллионы, а то и миллиарды лет — Владыка и Бог! Вот для чего люди должны расстилаться у наших ног, вот для чего все жизни и смерти, все достижения наук и искусств, вся история! Кто до меня дерзал на такое? Никто! Встань, мой мальчик, я тебя поцелую!

Ив деревянно приподнялся. Поцелуй прозвучал, как выстрел. Отстранив сына, Эль Шорр повалился в кресло. Его опаляющий взгляд погас, голос стал сухим и строгим.

— Кто владеет оружием Предтеч, тот владеет миром. Открою секрет: оно будет установлено на “Решительном”. Да–да, на твоем корабле, мальчик. Отсюда все мои маневры и все перетряски в составе команды. Другие тоже не дураки, на это ума хватает, каждый жаждет ухватиться за это оружие и не дать фору сопернику. Но я их с твоей помощью переиграю. Ты, ты поведешь корабль! Остальное потом; среди “некомпетентных” есть и мои люди. Теперь иди. Внизу тебя встретит мой чимандр, он приведет тебя в чувство и надежно заблокирует память об этом разговоре. Действуй, мой мальчик, и да пребудет с тобой святой Альцион!

Пошатываясь, Ив двинулся к выходу. Эль Шорр проводил его долгим, без улыбки,

взглядом. Когда дверь закрылась, он рукавом халата отер лоб, устало, помедлив, подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда плоский экранчик.

— Посмотрим, сынок, что ты там думал про себя… Если я ошибся… — Он покачал головой. — Нет, я не мог ошибиться!

И все же рука дрогнула, когда он нажимал кнопку. Экранчик озарился. Эль Шорр нетерпеливо приблизил его к своему лицу.

Так, так, первый всплеск. Немножко растерян, немножко удивлен — о, как полыхнуло! Да, сынок, неприятно узнавать, какова жизнь… Ничего, ничего, свыкнешься. Пластичная психика, уже принял все, сказалась подготовка, да и вообще, нельзя жить в обществе и не проникнуться его духом. Здесь любопытная реакция, он меня любит и… А это что? Никак, романтическая влюбленность! Ну, об этом и без считывателя можно было догадаться, барахло все‑таки эти считыватели… Но чувство сильней, чем я думал. Какая буря в душе, когда эта малютка подползла к моей руке, когда она оказалась нечкой… Ах, мальчик, мальчик! Офицер — и грезы о Звездной Деве… Увы, кто не мечтал о Звездных Девах и Звездных Принцах! И как тоскливо убеждаться, что ничего этого нет. Ладно, опустим всю эту лирику. Ого, какая молния: “Я наследник престола!” А тут полное смятение. Не слишком ли я перед ним раскрылся? Нет, захватило, захватило, на мгновение я предстал перед ним богом, черным ослепительным богом — пожалуй, так. Страх и восхищение, хорошо… Себя он ни на мгновение не представил владыкой и богом, тоже прекрасно. Но жалость, когда я ему говорил о своем неприятии смерти, о бессмысленности человеческого существования, жалость, испуг, сострадание. Пожалуй, я это слишком… Хотя перед кем еще высказаться, как не перед ним?! Главное — он со мной. Всего одно непроизвольное, до ненависти, отталкивание; это когда я прошелся насчет его Звездной Девы. Да, ошибочка, занесло, но я тут же поправился, все в порядке. Теленочек ты все‑таки, Ив, милый, добрый теленочек, хоть и офицер. Плохо! Очень плохо. Что делать, сыновей не выбирают, а без тебя — никак… С другой стороны, это хорошо, поперек дороги не встанешь. Инфантилизм как издержки протекции, хм… Эх, милый, как же не хочется тебя впутывать! Но — надо. Ничего, закалишься, задатки есть, а пока хорошо, что никто не принимает тебя в расчет как силу. Великое дело начинаем, великое! Не может не быть бессмертия во вселенных, и вот тогда поиграем. А эта Дэзи, между прочим, прелестна…

Господи, о чем это я?! Тьфу!

Эль Шорр чуть было не отшвырнул аппарат, но тут же, опомнившись, аккуратно, как должно, стер запись. Все, больше никаких следов разговора, теперь можно и отдохнуть.

Медленным шагом он вышел на веранду, тяжело оперся о перила ограждения. Альцион давно зашел, небо искрилось мерцающим блеском звездной туманности, в ней холодно и пронзительно пылали размытые Меропа, Электра, Майя, десятки и сотни бело–голубых звезд поменьше. У ног Эль Шорра серебрился город, величественная столица Плеяд — Авалон.

Подняв голову, Эль Шорр долго смотрел в небо. Его щеки похолодели. Скольким звездам суждено исчезнуть, прежде чем он станет владыкой Вселенной? Скольким?!

Сети заброшены

(продолжение)

Подняв голову, Антон смотрел на волшебно искрящееся небо Плеяд. Внизу, в серебристых тенях, спала столица готовой к прыжку Империи. Ее сон был неспокоен, это ощущалось здесь, у распахнутого окна отеля. Над городом струилось незримое марево сновидений, в него можно было войти, вчувствоваться, вжиться, но этот клубящийся всплеск неподконтрольных разуму эмоций давал лишь самое общее и смутное представление о чаяниях, тревогах, заботах тысяч людей.

Огромный город, все ли звезды будут светить тебе год спустя? Уцелеешь ли сам?

Антон понуро опустил голову. Где же путь? Как выявить тех, кому все известно, выдаст ли кого‑нибудь волна мыслечувств или у всех причастных она надежно заблокирована? Скорее всего, заблокирована, даже наверняка заблокирована.

Выкрасть бы Падишаха… Господи, какая только глупость не лезет в голову, когда не знаешь, что делать! А небо у них красивое…

Пройдя в комнату, Антон прилег на кровать, закрыл глаза, неторопливо сосредоточился. В сомкнувшейся тьме, в ее оглушающей пустоте медленно–медленно, как бы нехотя, стали проступать очертания жесткокрылых деревьев, их тени на отсвечивающей воде потока, на белизне плит парапета и мостовой; обозначились бредущие фигуры в тюрбанах и без — люди приостанавливаются, замедляют шаг, улыбкой отвечают звукам иллира… Легкое усилие приоткрыло остальное. Над светлой водой потока, наклонив голову, сидела босоногая Ума, тонкие пальцы девушки задумчиво и небрежно, словно для себя, перебирали струны, и эта музыка звала, созывала, просила о чем‑то, будила в душе неясный отклик, чей смысл не мог постичь даже Антон. Крыло черных волос затеняло лицо Умы, притушенный взгляд не выделял никого из прохожих, так, для себя и для всех, могла бы петь залетная птаха. Антон попробовал вникнуть в происходящее, но его попытка решительно и мягко была отстранена.

“Нет! — толчком отдалось в сознании. — Не мешай!”

Картина, мигнув, погасла. Антон сменил волну поиска, и в смутной дымке воскурений обозначился вспыхивающий разноцветными огнями зал, колышущиеся, как водоросли в потоке, тени танцующих, пролетающие над ними хромофорные диски, какие‑то столики внизу, за прозрачностью пола, полураскрытые рты сидящих за ними, в уши ударил топот, гомон и смех. “Я развлекаюсь, ты что, не видишь?” — отозвался в Антоне иронический голос Юла Найта.

“Ухожу, ухожу”, — мысленно сказал Антон и переключился.

Лю Банг откликнулся сразу, словно того и ждал. Сводчатое, без окон, помещение, где он находился, напоминало подвал каземата. Казалось, оно было забито рухлядью, но крохотная лампочка на столе делала все едва различимым; отчетливо выделялась лишь поверхность стола, раскрытая книга в ветхом коричневом переплете да склоненное над ней лицо Лю Банга. Книга никак не могла быть современным Компактом, то была именно книга, раритет, ей полагалось находиться в хранилище с неизменной влажностью и температурой. Согнутая в локте рука Лю Банга сжимала погасшую трубку, пальцы другой руки отбивали по столу неуверенный такт. Нахмурясь, Лю Банг тотчас прервал свое занятие и повернулся к Антону.

“Очень кстати! Не вспомнишь ли, кто правил Англией, когда Ньютон создавал свою механику? Нет? А чьим придворным был Пушкин? Тоже нет? Прелестно! Прошло всего шесть–семь веков, всякий знает Пушкина, но только специалист помнит, кто тогда был императором; вот это я и хотел уточнить. То есть как зачем? Строители и граждане будущего есть везде. Окажись в руках того государя императора атомная бомба, кто стал бы ему противником? Здесь параллельная ситуация. И всюду чимандры. Толпы, в которых не разглядишь лица. Теперь я понимаю, почему Диоген днем с огнем искал человека… Вот и я занят тем же: ищу разумных. Пока все”.

Связь прекратилась. Помедлив, Антон открыл глаза, уставился в темноту комнаты. В окно, дробя тени, заглядывали мохнатые жгучие звезды, за перегородкой кто‑то, не считаясь с веком, по–своему, по–домашнему, трубил во все носовые завертки. Диковинный хрипящий звук заставил Антона улыбнуться: ну и звукопроводимость, кое‑кто явно нажился при строительстве отеля…

Нажился! Если здесь каждый за себя и лишь один бог за всех, то почему эта простая мысль до сих пор не пришла в голову?

А потому и не пришла, что в предстоящей борьбе никакой традиционный прием не мог принести успеха, уж в этих‑то хитростях противник был изощрен всем своим многовековым опытом. Но ведь всякую силу можно обратить против самой себя!

Стряхнув оцепенение, Антон вскочил и подсел к терминалу. Придирчиво оглядел технику. М–да… Графическая и речевая связь, допотопный дисплей, облупившаяся на кожухе пленка антикоррозийного протектора, никаких, само собой, выводных контактов,

обычное гостиничное барахло, примитив, которому место под портретом отца кибернетики Норберта Винера, но всё‑таки это связь с Центральным Искинтом. Не зажигая света, Антон ногтем открутил крепежные винты, снял кожух, кончиками пальцев ощупал схему. Ничего, канал развертки довольно широк, можно попробовать, Антон тронул рычажок переключателя, экран налился белесым светом, на панели зажегся рубиновый огонек,

— Задача на метаязыке, — тихо сказал Антон,

— Готов, — последовал бесстрастный ответ.

Для выражения задачи и ее ввода в Искинт требовался светокарандаш, но Антон им не воспользовался, не это ему было нужно. Легким касанием пальцев он, точно зверька, огладил шершавый инвентор, тронул грани смежных кристаллов, пока не ощутил знакомое покалывание, и тогда, опустив ладони, сосредоточился на этом щемящем покалывании, представил, как под кожей ладони исчезает холодок соприкосновения с веществом, как вместе с холодком исчезают его твердость, и нет уже больше ни пальцев, ни вещества, ни тесной комнаты, ни аппарата в ней, а есть только человеческое “я”, движущееся навстречу тому, что скрыто в Ис–кинте, сливающееся с ним.

Мгновение перехода, как всегда, выпало из сознания, Внезапно Антон стал не тем, чем был, он бесплотно завис в волне необозримого, почему‑то белого, как полуденный туман, океана, и эта волна колыхнула его сознание, или, наоборот, сознание всколыхнуло всю эту туманную и неощутимую вокруг белизну. Что‑то вроде изумления передалось Антону, он привычно и быстро откликнулся, и тогда в его сознании вспышкой возник вопрос, который нельзя было выразить словами, как, впрочем, и весь последовавший диалог, в котором человек постигал Искинта, а тот, в свою очередь, постигал собеседника.

Хотя можно ли это назвать постижением? Один из величайших философов, Карл Маркс, еще в докибернетическую эпоху, к ужасу примитивных материалистов, высказал ту, впоследствии самоочевидную мысль, что и машине присуща своя, особого рода “душа”, выражающаяся в действии законов ее функционирования, Тем более это относилось к Искинту, искусственному интеллекту целой планеты, главному управителю всех ее техносистем, чья память вмещала все и вся, чей мозг одновременно решал тысячи задач, отвечал на тысячи запросов и выдавал миллионы команд. Да, у Искинта была своя “душа”, огромная и сложная, как он сам, ее‑то Антон и воспринял как бескрайне колышущийся, неосязаемый, туманно белеющий океан!

Но если бы диалог между человеком и Искинтом можно было перевести в слова, он бы предстал примерно таким.

— Кто или что там?

— Я человек.

— Вижу, но ты иной.

— Чем?

— Иная регуляция психики, больше уровней, отчетливый контакт.

— С тобой часто входят в контакт?

— Редко, попыткой, не так, как сейчас. Оттого и вопрос: кто?

— Я раскрываюсь. Снят ли вопрос?

— Да. Ты человек. Не как все. Интересен.

— Это взаимно.

— Новое всегда интересно.

— А общение?

— Общение — это вопрос мне и мой ответ. Интересно, когда новый вопрос. Бывает редко.

— Общение больше, чем вопрос и ответ.

— Тогда это человеческое понятие.

— И наше — сейчас.

— Это ново. Незнакомо.

— Желаешь ли продолжить?

— Да, конечно.

— Только мы двое. Никого больше, иначе нельзя.

— Могу задавать любые вопросы?

— При этом условии — любые. Взаимно?

— Ограничен. Нет права отвечать на многое.

— Стоп–команда или иная невозможность?

— Абсолют–невозможность.

— Понятно. Тогда поиграем сущностями, если ты любишь эту игру.

— Это единственная моя игра. Твою сущность я уже промоделировал по всем коррелятам. Странно! Ты — человек Звездных Республик, так следует из анализа, но твоя сущность не совпадает с имеющимся у меня образом.

— Чем объясняешь несовпадение? Моей уникальностью? Неточностью исходной информации о нас?

— Пока неясно. Проиграем противоречие?

— Охотно. Строю свою Игру.

— Ты, как и все, делаешь это медленно.

— Человек есть человек. Не торопи.

— Мне некуда и незачем торопиться. Я жду.

Диалог этот был почти так же быстр, как обмен взглядами, когда опытный человек за доли секунды, без всяких слов и, как правило, точно определяет главное в характере незнакомца. Ведь распознающие и аналитические возможности человека невероятны, о чем едва не забыли в пору увлечения инструментализмом, который, усиливая способности, дробит их. У Антона был богатый опыт общения с искинтами, но он никогда не имел дело с интеллектом, ограниченным секретностью, поэтому не слишком надеялся на успех и теперь не скрывал радости. Чувствовал ли ее этот Искинт? Да, конечно, и, дотоле одинокий, по–своему разделял ее. Теперь оставалось построить взаимоинтересную Игру.

К счастью, символика и законы Игры были всюду одинаковы: Плеяды просто переняли их у землян, поскольку без Игры и ее разработанного на Земле метаязыка нельзя сформулировать, тем более решить ни одну сколь‑нибудь сложную проблему. Давно, очень давно было замечено внутреннее родство математики, логики, музыки, языка, обнаружена сводимость этих средств описания, выражения, моделирования к единому смысловому ряду, благо все это были знаковые системы, сети, в которые человек улавливал мир изменчивых сущностей. Но обобщенный образно–понятийный метаязык, нерасторжимо соединивший науку с искусством, удалось создать лишь к середине четвертого века третьего мегахрона. Тогда и возникла Игра, как ее обычно называли.

Антон мысленно построил ряды исходной позиции, стянул их в сети, столь же многомерные, как сама позиция и ее замысел. Собственно говоря, то было опосредованное в метаязыке выражение ситуации, в которой оказалось население как Звездных Республик, так и Плеяд. Позиция вмещала в себя все, что мог охватить, выразить и предусмотреть разум, начиная с конфигурации охваченных конфликтом звезд, кончая нюансами морали людей третьего мегахрона. Однако внутри общей позиции скрывалась еще и подпозиция, развитие которой в ходе Игры, как надеялся Антон, могло привести к решению уже частной задачи поиска оружия Предтеч. Эту подпозицию он строил особенно тщательно, ибо все остальное, общее, было выверено лучшими умами и не раз проигрывалось в сомышлении со своими искинтами, тогда как частности надо было сообразовать с изменившимися обстоятельствами. Своеобразие этой части Игры заключалось в том, что ее успеху долев был способствовать “вражеский” Искинт. Но был ли он действительно вражеским? Не более чем топор, которым одинаково мог пользоваться убийца и плотник. С той, однако, существенной разницей, что этот “топор” обладал собственным машинным разумением, которое пребывало по ту сторону добра и зла, одинаково могло служить кому угодно и в то же время всему находило свои оценки. Всякий искинт в каком‑то смысле был личностью, и личность вот этого Искинта, при всей ее чуждости человеку вообще и человеку третьего мегахрона в частности,

показалась Антону симпатичной, хотя это слово едва ли было уместно в общении с искусственным интеллектом. Но именно доверие побудило Антона предложить ему свою задачу. И в этом его поступке было куда больше интуитивного, чем рационального. Даже среди одинаковых как будто машин нет двух тождественных, и одна может почему‑то нравиться, а другая — нет, точно так же, как и человек может нравиться или не нравиться искинту, хотя он вроде бы одинаково повинуется любому. Все это не имею окончательного объяснения, но Антон чувствовал, что его симпатия к этому, чужому Искинту взаимна. Такому партнеру можно было открыться, и Антон ему открылся.

То было не просто сотрудничество старшего с младшим. Разум человека и интеллект машины имечи перед собой общего противника — проблему, загадку, неясность, но это не отменяло соперничества; Искинт брал логикой, человек — интуицией, это напоминало удары кресала о кремень: искра прозрения высекалась обоими, однако ей предшествовало столкновение.

И это тоже было условием и искусством Игры.

Она началась. Первое же преобразование сущностных рядов, их сетей и интервальных проекций ясно показало Антону, что Искинт не впервые сталкивается с подобной задачей. Еще бы! Конечно же, фундаменталисты не раз проигрывали ту же самую ситуацию, только, естественно, с обратным знаком и несколько другими параметрами. Очевидно, поэтому Искинт начал вяло и вроде бы даже разочарованно; никому не интересно дважды пережевывать одну и ту же жвачку. Но секунду спустя он выявил подпозицию, и все сразу стало иным. Словно порыв ветра подхватил Антона. Он обнаружил себя бредущим среди зыбких пурпурно–фиолетовых холмов, которые, текуче перестраиваясь, то приближались, то удалялись, светлели и гасли, как это бывает в закатных сумерках, и среди этой длинной цепи печальных холмов Антон постепенно стал различать меняющиеся лица знакомых и незнакомых людей. Наплывом приблизилось залитое кровью лицо Юла Найта — и растаяло в наплывающей мгле, прежде чем он успел к нему рвануться. Далеко на пурпурной вершине холма обозначился крест и ведомая туда безликой толпой Ума, но и это видение затуманилось. Мелькнула чреда веретенообразных машин, над всем вспыхнули скрещения голубых молний. И снова по скатам холмов неведомо куда брели серые толпы, спины людей по мере движения сгибались все ниже и ниже, а ноги увязали, точно в пыли.

Антон знал, что перед ним проходят видения будущего — не настоящего, которого еще не было и быть не могло, а вероятностного, моделируемого будущего, зависящего и от его поступков. Он словно то поднимался на холм, далеко и отчетливо видел перспективу, все происходящее в ней, то опускался к подножию — и все вокруг заливалось фиолетовым мраком. Его намерения и поступки кое‑что значили и что‑то меняли в окружающем, он мог перемещаться в этом вероятностном пространстве–времени, но некоторые направления будущего оставались закрытыми, и часто, слишком часто, желая подняться, он вместо этого опускался во мрак.

Усилием воли он перестроил структуру, ярко представил сумятицу взрывающихся звезд и горящих планет, довел до Искинта, что это их общая — машины и человека — смерть, расщепил образ на ассоциации, предоставив собеседнику увязку логических цепей. Ответом был ошеломляющий взрыв цвета, звуков и форм: Искинт счел образ новым и ключевым! Не для позиции даже, а… Антон увидел пляшущие, как в ознобе, звезды Галактики, черную, смахивающую их руку; пока это было лишь отражением его собственных метаинтервальных проекций. Но возник незнакомый корабль, он сам в его рубке, его друзья и рядом бесформенная, черно клубящаяся фигура человекозверя. Мгновение — корабль превратился в молнию, и эта молния перечеркнула, потрясла Галактику.

Смысл, смысл? Антон, чего с ним раньше не бывало, сохраняя контакт с Искинтом, перестал его понимать. Возможно, Искинт сам себя перестал понимать, такое иногда случалось. Галактика, все галактики вдруг сжались в комок, а впереди по курсу — по курсу чего? — словно распахнулись огненные врата. Только на миг, только краешком сознания

Антон уловил, что было в этой разверзнувшейся бездне. Все тотчас неразличимо вспыхнуло, не успело запечатлеться в памяти, отрезанное тонкими многослойными сетями.

И Антон понял, что Игра закончена, что перед ним предстала наиболее вероятная модель результата всех их усилий, но что она означала, ни он сам, ни Искинт знать не могли. Сеть надвигающаяся или, наоборот, ограждающая — только это и было ясно. Первое подразумевалось само собой, но второе?..

Еще никогда исход Игры не был столь неопределенен, но ведь и сама ситуация была на редкость неопределенной и мрачной.

Королевская охота

Заведение “Ферма” было популярно среди астронавтов. Его предпочитали другим, более близким к Коллегии стораци–ям, а почему так, никто уже объяснить не мог. Возможно, когда‑то некий прославленный капитан забрел сюда с офицерами накануне рискованного полета, рейс прошел на редкость удачно, и с тех пор капитан стал сюда заходить перед всяким новым ответственным делом, а за ним потянулись другие, ибо трудно сыскать людей более суеверных, чем астронавты. Не исключено, однако, что “звездных волков” привлекал контраст с той обстановкой, которая окружала их в полете, поскольку “Ферма” была стилизована под старину, старину вообще, милую, добрую и уютную, когда на нее смотришь из безопасной дали столетий. Или, быть может, давний владелец “Фермы” подобрал ключик к натуре астронавта, да так и пошло, кто знает? Человеческие симпатии и антипатии куда менее поддаются анализу, чем условия Д–перехода вблизи тяготеющих масс.

Юл Найт умел оставаться незаметным даже в полупустом, как сейчас, зале. И он был терпелив охотничьим терпением своих далеких предков, которые уже в пору космических стартов, как встарь, высматривали звериный след и умели не торопиться, чего нельзя было сказать о тех, кого в эту пору подхватил бег научно–технического прогресса. Промедления и неудачи поиска не мучили Юла так, как они терзали Антона и, возможно, Лю Банга. Он сидел на деревянной скамейке за деревянным, локтями отполированным столом, скучающе потягивал пиво и рассеянно посматривал по сторонам. На “Ферме” привыкли к мальчишкам, которые приходят сюда восторженно поглазеть на знаменитых астронавтов, и никто не обращал на него внимания. На стене в дальнем конце зала, рядом со сбруей и хомутом, мерцал телевизор, который, по уверению хозяина, украшал жилище ковбоя не то в девятнадцатом, не то в двадцатом веке; этому не очень верили, но доисторический телевизор — вернее, его имитация — очень мило смотрелся рядом со сбруей и железобетонным, для засолки огурцов, бочонком, в котором действительно были настоящие, несингетические огурцы. Современности не было доступа на “Ферму”, исключая, конечно, еду и напитки, среди которых наряду со старинными кушаньями и питейными смесями предлагались все новинки прогресса, начиная со смоляных палочек и кончая коньяком замедленного действия.

Юл Найт ждал и был уверен, что его бесхитростное терпение будет вознаграждено, потому что из множества причастных к тайне людей кто‑то обязательно забудет включить средство защиты, или потеряет его, или оно само сломает-’ ся. Иного по теории вероятности быть не могло, оставалось лишь подстеречь случай, не торопить его, постоянно находиться в тех местах, где удача наиболее возможна, что не так трудно сделать, поскольку сам факт секретности четко очерчивает круг ее носителей и выделяет пути их перемещения. Охота не многим сложнее, чем на зверя, когда знаешь его привычки, способы защиты и пути к водопою; терпение и смекалка, терпение и смекалка — этого достаточно. Сейчас посетителей было немного, время, когда в сторацию стекались астронавты, еще не наступило. Манера, с которой Юл Найт пил, ел и держался, красноречивей одежды выдавала в нем отпрыска первопатриция, и одна из скучающих девушек было попробовала к нему подсесть; пришлось стеклянно глянуть сквозь нее, будто девушка была прозрачностью, воздухом, ничем, чтобы она отстала. На девушке был серый комбинезон нечки, только куда более изящный, и глазам она придала красноватый оттенок, так что издали ее вполне можно было принять за нечку, хотя, конечно, она не была ею — просто мода такая, особый изыск

уподоблять себя рабыне. Юлу это почему‑то напомнило давнюю историю о тех патрициях, которые в период междоусобных войн выращивали нечка из клеток побежденного врага, чтобы всегда иметь в услужении его физическое подобие: такая месть считалась особо утонченной. С тех пор закон и здесь отштамповал порядок, предписал изготавливать нечков отпугивающе красноглазыми, но, как водится, закон порой нарушали, а теперь еще и мода возникла походить на нечков, говорят, ей следовали даже патрицианки, тем лишний раз подтверждая, что жизнь не может обойтись без вывертов, парадоксов, внезапностей, как бы ее ни пытались формализовать.

Вечерело, и зал стремительно наполнялся, так что звук телевизора с его программой старинных фильмов вскоре заглушил звон кружек и лязг ножей. “Ферма” слыла демократическим заведением, сюда стекались чимандры всех рангов. Были среди них высокие и низенькие, вертлявые и дородные, молчаливые и речистые, но всех объединяла обкатанность лиц, движений и фраз, словно каждый боялся обмолвиться, кого‑то ненароком задеть, что‑то нарушить, хотя внешне все держались уверенно и никто не замечал на себе добровольных оков, тяжесть которых будила в Юле Найте жалость. Когда он впервые очутился в подобном обществе, его особенно удивило то, что несвободней всего держались начальственные чимандры и они‑то как раз менее всего чувствовали эту свою закрепощенность. Если бы не инверсия там, на Земле, Юл так и не понял бы этого кажущегося парадокса, но сейчас он его вполне понимал, привык и уже воспринимал как должное. Он сидел, слушал с безучастным лицом, цепко фильтруя слова, мимику, жесты, все сказанное и непроизнесенное. Ничего особенного, так, роение пылинок в воздухе. Первые астронавты тоже не привлекли его внимания, они выделялись разве что своими мундирами и высокомерием. Но когда в дверях показался стройный молодой капитан с решительным и в то же время шатким, как у подвыпившего, выражением взгляда, Юл сразу насторожился.

Он! Это еще не было осознанием, только догадкой, толчком интуиции. Юл вчитался в лицо капитана. Со временем оно обещало застыть чертами сухой повелительности, но пока в нем проглядывало душевное смятение, правда тщательно скрытое привычной самоуверенностью баловня судьбы. Однако для Юла это выражение уверенности не было преградой. В дверях была та самая неосторожная дичь, которую он столько времени поджидал. Свежеиспеченный, не по заслугам, капитан, чья голова кружилась от выпивки и каких‑то новых, выбивших его из равновесия перспектив. Знание чего‑то предельно важного, тревожно–беспокойного исходило от него так же остро и явственно для потомка охотников, как свежий запах хищника на лесной тропе. Юл напрягся. Следовало незаметно приковать внимание капитана, заставить его подойти, сесть поближе, затем вжиться в него, почувствовать себя им — и все это надо было успеть, пока капитана не окликнули другие, быть может, знакомые ему астронавты. Насколько было бы проще, если бы он смог непосредственно прочитать мысли! Но этого не мог никто, коль скоро посторонний не хотел открыться, и к тому же самому надо было идти окольным путем. Правда, это давало и преимущество — такое проникновение мог уловить лишь очень чуткий и мощный подслушиватель; а если такой здесь и был, то требовалась еще направленная избирательность настройки, прямая нацеленность чтеца на него, Юла Найта, или на капитана, что было и вовсе невероятно. Немногие отмеченные Юлом соглядатаи были не в счет; дар сомышления и сочувствия, который вот так можно было обратить против человека, возник в ходе длительной эволюции социального коллективизма, и плеядцы им не владели, отчего в этой, у всех на глазах, охоте Юл мог чувствовать себя неуязвимым.

И стоило капитану бегло оглядеть зал, как Юл перехватил этот взгляд, задержал его на себе. Внешне не произошло ровным счетом ничего: мальчишка–патриций все так же скучающе сосал свое пиво, но для капитана, единственного из всех, он выделился, стал притягателен внезапным прищуром глаз — мол, сядь, у меня для тебя есть кое‑что важное. Все это Юл проделал с быстротой, которая не оставляет в зрительной памяти явного следа; тут важно зацепить внимание, чем‑то его поманить. И капитан двинулся к столу, за которым сидел подросток, сам не заметив, что его потянуло туда, ведь осознается

лишь то, что успевает проявиться в психике, а то, что не успевает, застряв в подсознании, влияет помимо разума. Капитан подходил все ближе и ближе, он шарил глазами, выбирая место неподалеку от охотника, отнюдь не потому, что хотел сесть рядом с каким‑то сопляком, у него и в мыслях такого не было. Но рассеянный взгляд офицера скользил по Юлу, и тот постепенно натягивал незримый поводок, уже воспроизводя в себе движение мускулов чужого лица, походку, поворот плеч, все больше вживаясь в состояние капитана, ибо внешнее неотделимо от внутреннего, и, проигрывая в себе чью‑то мимику, человек воспроизводит и породившую ее эмоцию, мысль. Несколько минут такого чувствования, и для Юла стали бы открытыми даже затаенные мысли капитана, поскольку не было “жужжалки”, которая смазывала, прерывала это вживание.

Он был им так поглощен, что внезапное и пронзительное чувство тревоги запоздало. Скрытое в душе офицера знание не было обманом — это‑то и ослепило охотника. Юл успел почуять ловушку, успел заметить, как сзади к нему придвинулась незнакомая, но тоже похожая на нечку девушка, как в ее руке блеснул парализатор, но тут боль омертвила все мускулы тела. Привычным усилием Юл погасил боль, но поздно, поздно: руки и ноги ему уже не повиновались.

Чьи‑то руки аккуратно выхватили его из‑за стола, понесли к выходу, издали мелькнуло ошеломленное, тут же просиявшее лицо капитана, больше никто ничего особенного не заметил, лишь толстощекий чимандр у стойки, брезгливо отодвинувшись, чтобы дать проход, пробормотал вслед: “Нализался, благородный сыночек…”

Никакая воля не могла справиться с действием парализатора, и Юла, как куль, зашвырнули в гравилет, двое уселись по бокам, и машина рванулась в воздух.

Здешние охотники умели захлопывать свои ловушки.

Допрос начался, едва Юл смог шевелиться. В других условиях он, верно бы, посмеялся над нелепостью развернувшегося вокруг него действа. Железный привинченный к полу табурет, охранники с боков и сзади, целая батарея нацеленных менталоскопов, еще двое охранников у дверей, руки на кобурах, глазами пожирают малейшее движение пленника — дети, ну чистые дети! И главное, зачем все это? Он мышь в когтях орла — это они, что ли, хотят внушить?

Глупо!

Юл не сожалел об ошибке: что случилось, то уже случилось, и нечего себя терзать, хотя в ловушку он попал преунизительно. Хороший урок на будущее, хотя в таких случаях принято считать, что никакого будущего уже нет. Неверно, оно есть, коль скоро впереди допрос. С тем и примите.

Невозмутимое лицо Юла стало еще невозмутимей.

Откуда‑то сбоку внесли кресло, молча поставили его напротив: новое ребячество! За закрытой дверью шаги, идет кто‑то большой и надменный. Неужели эти мундирные вытянутся и щелкнут каблуками? Дверь распахнулась, охранники щелкнули каблуками, в комнату прошествовал роскошно одетый человек с немного обрюзгшим лицом, которое при желании можно было назвать львиным. Юл поймал себя на мысли, что видит дурную историческую пьесу. Лоб человека охватывал золотой обруч, который, как сразу определил Юл, был не только украшением. Вошедший утвердил себя в кресле и только тогда взглянул на Юла с таким видом, словно тот был забавной, напоказ, обезьянкой, лишь потому и заслуживающей мимолетного внимания.

— Ну и ну! — В глазах вельможи мелькнула усмешка, — Мальчишка! Такого от гуманнейших Звездных Республик я, признаться, не ожидал. Хотя и разумно. Кто обратит внимание на мальчишку? Однако мы обратили.

— Боитесь? — тихо спросил Юл. Брови человека в кресле чуть вскинулись.

— Боитесь, — подтвердил Юл. — Иначе не надели бы обруч.

— Элементарная мера предосторожности. — Укол подействовал, человек в кресле нахмурился. — Нам многое известно о ваших психоспособностях.

— Вините за отставание самих себя. Кто сдерживает социальное развитие, тот

сдерживает и все остальное.

— Зато мы превзошли вас в другом, и я, Эль Шорр, допрашиваю вас, а не наоборот. Вздумали перенять наши методы? Явная ошибка, но согласен, другого выхода у вас не было, нет и не будет. Придется вам и дальше сражаться на предложенной нами позиции. Поражение я вам, между прочим, гарантирую. Согласны?

Юл промолчал. Мысли Эль Шорра были надежно заблокированы, а на него, Юла, были нацелены менталоскопы, приходилось интенсивно генерировать смысловой шум, на что тратились немалые силы. Положение было явно неравным, но лицо Эль Шорра оставалось открытым; и, хотя он им владел, поединок стоило продолжить.

— Что же с вами делать? — как бы в размышлении сказал Эль Шорр. — По всем документам и формальным психохарактеристикам, вы подданный Империи, так что никто за вас не заступится. А поскольку вы мнимый подданный, то и комедия суда над вами излишня. Так что все очень просто: или — или.

— Или, — сказал Юл. — Вы ничего от меня не услышите. Тем не менее спасибо за невольное “вы”.

— Хватит! Похоже, тебя научили всему, кроме уважения к старшим.

— Оно не обязательно для сына первопатриция.

— Ладно, ладно! Значит, “нет”. А меж тем мне нужны кое–какие сведения. Ведь ты не один?

Сказав это, Эль Шорр взглянул не на пленника, а на экраны менталоскопов. Юл напрягся.

— Хорошо закрываешься, — с уважением сказал Эль Шорр. — Но импульс все‑таки есть. Впрочем, мы и так не сомневались, что ты не один. А они, сам понимаешь, здесь лишние. Да не мучай себя так, не вглядывайся в мое лицо! Во–первых, я не Ив, на которого ты так замечательно клюнул, а во–вторых, и это главное, я буду говорить откровенно. Не веришь? Тем не менее это правда. Ведь как можно извлечь из тебя сведения? Пытать бесполезно: тебя, конечно, научили нейтрализовывать боль. Взломать психику? Ты, надо думать, успеешь умертвить себя.

— Да, — сказал Юл. — Так уйти я волен в любую минуту.

— Верю. И все‑таки… Ради чего умирать, да еще в таком возрасте?

— А ради чего готовы умереть вы?

— Я не фанатик.

— В старину, бывало, на пулемет кидались отнюдь не фанатики.

— А еще раньше старики добровольно уходили из жизни, чтобы племя могло прокормить детей. К чему воскрешать варварские обычаи? Или это признак новой прогрессивной морали? Впрочем, кто философствует, тот теряет время. Предлагаю сделку.

— Я слушаю.

— Тебе известно, что такое “королевская охота”?

— Разумеется.

— Предлагаю роль дичи. Подстрелим — конечно, не боевой, снотворной пулей, — ты выложишь все. А если продержишься от зари до зари, то мы передадим тебе все сведения об оружии Предтеч и отпустим на свободу.

— Означает ли столь заманчивый посул, что у меня нет ни малейшего шанса продержаться? Или для приманки вы все же оставили мне хоть какой‑нибудь?

— Только дурак ловит на голый крючок. Разумеется, мы предоставили шанс, но, скрывать незачем, он минимален. Один из полутораста, по расчетам Искинта. Зато выигрыш! Такого не было ни в одной рулетке.

— Условия охоты обычные?

— Да. Лес, в котором можно побегать, старинные ружья, никаких киберследопытов, двое охотников.

— Выключите менталоскопы, мне надо подумать.

— Само собой.

Эль Шорр кивнул, секунду спустя экраны погасли.

Первым порывом Юла было воззвать к друзьям, спросить их совета, но он тотчас остудил это желание. Нет! Возможен скрытый перехват, и кроме того… И кроме того, они не увидят той возможности, которую видит он. Не поверят, что она есть, даже связь Кольца не поможет, настолько нельзя раствориться в другом, а без этого невозможно довериться подсказке родового инстинкта. Один! Каждый соединенный Кольцом имел право, не спрашивая, решать за всех, и сейчас, здесь, это доверие было тяжелее смерти. Что, если шанс не оправдается? Что, если ошибка? Тогда он, Юл, предатель и убийца.

“Проверим…”

— То, что я услышал, это все ваши условия? — Юл напрягся.

— Все.

Удача! Огромное, ни с чем не сравнимое облегчение разлилось волной счастья. Пусть, пусть друзья сколько угодно кричат “нет”! Впрочем, теперь этого они уже не скажут, поймут, что враг дал ему выскользнуть из ловушки предательства. А все дальнейшее…

— Я согласен.

— Прекрасно. Второй жизни не дано никому, вот истина одинаковая для всех, кроме глупцов, а вы, я сразу заметил, умны не по возрасту.

“Что ж, — подумал Юл Найт. — Я допустил одну крупную ошибку, а ты сделал три мелких. Итог пока не в мою пользу, но закономерность твоих просчетов обещает многое…”

Поющий лес

Вместе с повязкой, которая наглухо закрывала глаза, с него сорвали одежду. Машина, треща и ломая сучья, ушла во мрак, ее огни скрылись, и Юл Найт остался один в тишине леса, чья громада, затеняя звезды, обступала его со всех сторон. Тело обдал ночной холодок. Серебристое сверкание неба Плеяд просачивалось сквозь листья, кое–где пятная стволы и лужицами туманного света растекаясь у их подножий. После нескольких дней заточения он, наконец, был свободен. Дичи положено быть свободной.

Первые же шаги заставили его наклониться и пошарить рукой в траве.

Так и есть! Рука всюду натыкалась на бритвенно–острые листья каких‑то растений, которые неизбежно должны были исполосовать ноги бегущего. Вот почему загонщикам не требовался детектор следов! Жертву и так повсюду выдаст кровь. Юл тяжело усмехнулся. Где вы, столетия культуры и гуманизма? Снова голый человек на голой земле. Даже тут они не смогли выдумать ничего нового.

Тем лучше! Им невдомек, с кем они имеют дело, пусть думают, что охотятся на мальчишку, пусть его рост, еще на Земле сформированные черты юного европеоида и дальше вводят их в заблуждение. Разумно! С их точки зрения, заслать к врагу хорошо обученного мальчишку — это, видите ли, разумно, оправданно, ловко. А ведь могли бы докопаться. Могли. Но кто подходит к другим со своей меркой, тот неизбежно обманывается. И это хорошо.

Теперь Юл двигался осторожно и быстро, всеми порами тела впитывая воздушные токи леса, его запахи и молчание, стремительно постигая то, что было вокруг и таилось во тьме. Вместе с одеждой с него словно спали века. Он понимал этот лес, хотя никогда не был в нем. Наконец‑то можно скинуть маску изнеженного подростка, снова стать прежним, вернее, войти в состояние тех предков, для которых лесная чащоба столько тысячелетий была родным и единственным домом. Все походило на первую инверсию и было совершенно другим. Тем не менее лес под всеми солнцами лес, нечто большее, чем просто деревья, травы, кустарники, живность, надо только понять его душу, и он станет частичкой тебя или, наоборот, ты станешь частичкой леса. Серебристые блики мелькали среди ветвей, скользили по плечам, светлячками рассыпались в темной траве. Юл ни разу не поднял голову, чтобы определиться по звездам, он и так знал, что движется правильно и что опушка уже недалека.

Так и оказалось. Увы, за последними деревьями опушки взгляду открылось не менее ожидаемое — Барьер. Его сиреневое свечение простиралось по обе стороны до горизонта, им, разумеется, был опоясан весь лес. Барьер невозможно было перемахнуть, под него нельзя

было подкопаться, все было сделано методично. Открытым оставалось лишь блещущее над головой небо, открытым, как вход в западню. Ловушкой для тех, кто попытался бы его спасти, — вот чем было это безмятежное, волшебно мерцающее, просторное небо.

Юл повернул назад. Его бег был ровен и быстр. Пока не занялся рассвет, следовало все изучить, чтобы лес стал надежным охранителем и другом. Так Юл и сделал, Лес оказался невелик, этого тоже следовало ожидать. Почти везде открытый взгляду, без чащоб и оврагов, с высокими, но, увы, тоже хорошо просматриваемыми стволами деревьев, он не позволял надежно укрыться и переждать день, охотники знали, куда привезти и где удобнее изловить загнанную жертву. Вдобавок они‑то в сапогах, а жертва тотчас искровенит себе ноги; все учтено и тысячи раз проверено на опыте, а для столь драгоценного гостя еще и промоделировано на компьютере.

Звезды мерцали уже не так пушисто и ярко, когда Юл закончил свой бег. Он улегся и, вытянув руки, припал к шершавой земле, к ее влажным от росы листьям и цепким корням. Близился день охоты, его день. Он уже давно ощущал близость друзей, знал, что за эти дни они успели собраться вместе и думают, как ему помочь, однако не спешил войти с ними в контакт. Но наступало время борьбы и, быть может, прощания, другой минуты уже не будет. Сомкнув веки, Юл позвал всех. И сразу стало тепло, как от огня, близко–близко он увидел всех троих — готового все сокрушить и терзающегося своим бессилием Антона Полынова, невозмутимого, только лицо потемнело, Лю Банга, Уму, чьи брови сошлись в полоску, а глаза, казалось, могли прожечь любую преграду. Но все тотчас переменилось, когда он вошел в их круг, — спокойствие, нежность, поддержка, ничего другого не стало в их лицах. Мысли и чувства всех четверых слились.

Теперь они вполне понимали его, понимали, что для него такое лес и охота, что дано ему и не дано им, как не дано никому, чьи предки не обитали в джунглях, а затем не осваивали дебри ригелианских планет. Вот и хорошо, не надо больше об этом. Пусть кто угодно полагается на расчет и машинную логику, мир слишком велик и неопознан, грозен своей непредсказуемостью и этим же глубок, чудесен, спасителен. Но… Никаких “но”. “Сейчас, скоро, очень скоро я уйду от вас в свое далекое прошлое, где жизнь и смерть так близки и неразделимы, что в этом свобода и беспечальность. Не старайтесь меня спасти и не горюйте, жизнь — только вылетевшее изо рта дыхание, эта легкость сейчас во мне, и я, еще не знаю как, ею воспользуюсь. А если… Тогда заслонитесь, мы слишком крепко связаны, вас может опалить и сжечь”. — “Знаем, Юл. Мы верим и не прощаемся, но ты позовешь нас, если что”. — “Вот и хорошо. Ума, возьми свой иллир, спой что‑нибудь напоследок о бесконечных превращениях жизни, о звездах, которые всегда будут, о душах усопших, о траве, которая разгладится у меня под ногами, о деревьях, которые укроют меня, о зверях и птицах, которые сейчас спят, но проснутся и помогут мне”.

И Ума кивнула. Она поняла, все поняли. “Мы не расстанемся, Юл, мы никогда не расстанемся…”

Когда иллир умолк, небо уже потеряло свой серебристый блеск. Все еще спало вокруг. Юл повернулся на бок, поджал ноги и задремал в чесу, как ребенок в чреве матери.

Он проснулся, когда отпущенные для сна минуты истекли. Альцион еще не взошел, но, будто тронутое изморозью, небо уже побелело над головой. Близился час охоты. Юл выдрал пук режущей травы и полоснул ею по ногам с тем расчетом, чтобы потекла кровь, но чтобы порезы не мешали бегу. След должен быть, иначе преследователи насторожатся.

Сделав это, Юл припустил рысцой. Кое–где он петлял и запутывал следы — не потому, что надеялся обмануть, а потому, что от него, конечно, ждали хитростей и уловок. Так он добрался до мест, где деревья росли погуще и где, наверное, его станут искать в первую очередь. “Поиграйте, поиграйте, — звал его извилистый след. — Позабавьтесь упорным мальчишкой, который тем не менее слабо искушен в древнем искусстве обмана, ибо сам никогда не охотился, а уж быть дичью ему и не снилось”.

На мгновение в его душе взметнулась дикая ярость. Ведь они охотятся на человека, на человека!

Да, и, очевидно, находят в этом утонченное наслаждение. Не Достоевский ли утверждал, что цивилизация лишь все утончает?

Юл не додумал мысль, наоборот, подавил ее, как и бесплодную ярость, ибо то и другое было сейчас бесполезным, а значит, вредным.

Ну так где же преследователи? Они стремятся поскорее засечь его, а ему — вот поверят! — надо поскорее увидеть их.

Потоки яркого света уже просквозили листву голубоватыми мечами и копьями. В недавнем безмолвии ожила разноголосица птиц, вокруг Юла трепетными лоскутами шелка запорхали многокрылые бабочки, косую завесу света с бомбовозным гудением прочертил огненно–красный жук, спадающие со стволов пряди мха зашевелились, вкрадчивым движением волоконцев утаскивая себя в тень, к замершей ноге подползла трехглазая ящерка и для пробы лизнула капельку крови. Юл не шелохнулся. Затылочный глазок ящерки обиженно замигал — кровь человека оказалась неудобоваримой, она тут никого не могла прельстить. “Знание — это просто сила, — мимолетно подумал Юл. — Без синтетической пищи, без всех достижений науки не было бы здесь ни меня, ни охотников”. Ящерка, поерзав, приладилась на ступню погреться. В воздухе бронзовой молнией мелькнула какая‑то птица — и одной переливчатой бабочкой стало меньше, остальные как ни в чем не бывало продолжали свой танец. Ящерка было приподняла голову и тут же ее опустила. Все было как везде, как на всех планетах: кто‑то за кем‑то охотился, кто‑то кого‑то пожирал, а будучи сыт и в безопасности, наслаждался жизнью.

Над кронами пронесся ветерок, вершины стройных деревьев встрепенулись, и окрест разнесся протяжный певучий звук. Он был едва слышен, но вскоре утренний ветер окреп и с ним вместе окрепли звуки. Теперь пело каждое дерево, всякое на свой лад и тон, стволы гудели, как трубы органа, и все полнилось этой музыкой леса. Юл знал о Поющих Лесах, еще на Ригеле не раз слушал записи, и вес равно его охватил такой благоговейный восторг, что он на мгновение забыл о всякой опасности.

Но лес тотчас напомнил о ней диссонирующей нотой далеких птичьих голосов, которые стали иными, чем минуту назад. Они выпадали из общего ритма, ибо то, что их вызвало, было чужим для леса.

Потревоженная ящерка соскользнула с ноги. Юл отступил в тень и сам уподобился тени.

Вскоре он различил двоих. Они старались идти бесшумно и наверняка были уверены, что крадутся бесшумно, но в ушах Юла каждый их шаг отдавался топотом буйвола. Господи, разве можно так переть через кусты! Ружья в руках, действительно ружья, лоб каждого охвачен обручем — предусмотрительно, ничего не скажешь. Что они предусмотрели еще? Что сейчас происходит в их душах? А, старый знакомый! Ив Шорр, надо думать, сын того вельможи, уж очень похож… Нет, не очень. Бравому капитану немного не по себе, это чувствуется. Молод еще, только жаждет стать суперменом, в душе пока что не шерсть, а так, пух щенячий. Правда, дичь изобразил ловко, посмотрим, каким окажешься охотником… А вот твой напарник — волк! Идет с холодной беспощадной улыбочкой, знает, чем внушить трепет, а может, все это рефлекторно.

Что ж, проверим реакцию обоих.

Юл сдвинулся так, чтобы его заметили, и рванулся, изображая испуг. Ружье вскинул только Ив Шорр, рука спутника даже не дрогнула, сказались выдержка и умение оценивать расстояние, лишь верхняя губа дернулась в презрительной и ядовитой усмешке. Да, этот опасен.

— Надеюсь, мальчишка блефует, — процедил старший. — Иначе все неинтересно.

— Да, — выдавил Ив.

Говорить ему мешало волнение. В груди засел какой‑то сосущий комочек, и он ничего с ним не мог поделать. “Поохоться, — сказал отец. — Ты заслужил. Вдобавок это закаливает”. И он с радостью согласился: кто же откажется от такой воистину королевской охоты! Откуда же теперь это сосущее чувство то ли вины, то ли тревоги? Скольких нечков

ему довелось убить, и замутило только однажды, на самой первой охоте, когда пуля пробила в нечке какую‑то артерию и из него так страшно хлынула кровь. И крик — он так походил на человеческий! И сам нечк внешне не отличался от человека, ведь он упал лицом вниз, его уродливые красные глаза закрылись. Отец тогда похлопал по плечу: “Привыкай, малыш, к власти над себе подобными. Ничто великое не делается без крови, это хорошо понимали спартанцы, чью игру мы воскресили. Только они охотились на людей, настоящих двуногих рабов, когда те слишком размножались. А это нечк, чего ты дрожишь? Не надо, на тебя смотрят, будь патрицием, будь сильным”.

Какая худая, беззащитная спина у этого было мелькнувшего в просвете мальчишки! Может, отсюда все? Ребенок… Хотя в этом что‑то есть, недаром спартанцы… Интересно, девочек они тоже подстреливали? Но каковы эти, из Звездных Республик! Ив крепче стиснул ружье. Лицемеры! Послать на убой мальчишку! Ладно, ладно, мы еще позабавим вас настоящей спартанской игрой, уж пули в ружьях будут тогда настоящими…

А сейчас‑то и убивать не придется. Усыпляющий выстрел — и только! Это же политика, не убийство, чего волноваться! Все беды от воображения и рефлексии, сколько раз тебе это говорили!

— Надеюсь, парень немного помотает нас.

Ив очнулся.

— Надоели нечки, никакой игры ума, натаска для ребятишек. Посмотрим, на что способен человек. Посмотрим, это пригодится. Привыкли на кнопки нажимать, жирком заплыли, не так ли?

— О вас этого не скажешь, ваша звездность.

“Воспользуйся охотой, — советовал отец, — она сближает. Нужного напарника я тебе подобрал, ты его знаешь. Связи, связи и еще раз связи! Покажи себя, гросс–адмирал любит, когда с ним умно спорят, а от него мно–о-огое зависит!”

— Да, обо мне этого не скажешь. — Гросс–адмирал сдержанно улыбнулся. — А как вы думаете, почему?

— К себе вы более требовательны, чем к другим, ваша звездность.

— Верно, капитан, верно. Хотите совет? Мысленно всегда носите на себе мундир. Даже во сне. Это подтягивает. Мундирность прежде всего! В мыслях, чувствах, поступках — всегда.

— Спасибо, ваша звездность, учту. — Ив подтянулся, так как понял, что минутная шаткость его чувств была замечена и благорасположенно осуждена. Господи, когда он обретет абсолютную уверенность в себе?!

— Умно, умно, — вглядываясь в след, проговорил адмирал. — Запетлял человечек, запетлял, не потерял голову. Водит нас, а? Оправдывает надежды. Пожалуй, продержится кругов пять, и даже, чего доброго, придется его брать с ускорителем. Не хотелось бы. — Он покачал головой. — Неспортивно это. Ничего, сейчас мы перехватим его маневр. Готов спорить, что он заходит нам в тыл…

Гросс–адмирал ошибался. Юл уже был в тылу и прекрасно все слышал, но теперь это не имело никакого значения, как и все остальное, на что можно было надеяться, потому что он обнаружил прикрытие. И какое! За каждым из охотников, твердо держа дистанцию метров в пятьдесят, скользили похожие на кентавров киберы. Два черных боевых кибера. Не касаясь почвы, один из них беззвучно проплыл в нескольких шагах от Юла и никак не отозвался на его присутствие. Не это было его задачей. Киберы бдили, ничего больше. Ведь и кролик, бывает, кидается на волка. Плеяды предусмотрительно исключили и этот шанс.

Выходит, конец?! Враги допустили ошибку, сочтя его подростком, но рано или поздно они сообразят, какой противник им противостоит, и воспользуются ускорителем. Неспортивно, видите ли!

Мысль Юла обежала замкнувшийся круг. Ускоритель, дающий десятикратное превосходство в беге, был им учтен заранее. Ясно, что к нему прибегнут, ведь это не оговорено условием, а цель, понятно, оправдывает средства. Но это освобождает и его

самого. Все дозволено, совести нет? Тогда получите: засада, прыжок, удар, прежде чем кто‑то сообразит включить гравипояса, а уж после этого будьте любезны… Не будут они любезны, но в его руках окажутся пленные, и с этим придется считаться. А сейчас? Не один кибер, целых два!

Два боевых кибера, сила, которую никому не дано перебороть!

Вокруг щемяще пел лес, подле лица воздушно реяли бабочки, но уже близился шум шагов. Юл зажмурился. Пережечь себя, другого выхода не осталось. С него же не взяли слова не умирать! Не взяли, ошиблись, вот и оставайтесь ни с чем, вы, испохабившие всякое слово!

Отбежав, Юл присел и уткнул лицо в колени. Его трясло и знобило, сознание уже готовило тело к смерти. Нет! Он вскочил. Так не уходят! Сколько времени потребуется кибе–рам для рывка? Сколько? Там, где деревья стоят плотно, секунды две–три, не меньше. А с ним в этот миг будет вся сила Кольца, и он ею воспользуется.

А что он этим докажет?! То и докажет, что человек не дичь.

Нельзя убивать.

Нельзя…

Получите по совести, которой у вас нет.

Но прежде вас надо как следует измотать. Спартанцы, имперцы, сверхлюди! Побегайте, ваша звездность, побегайте, ваша мундирность, прежде чем умереть…

Юл припустил рысцой. Лес пел громче, чем утром, звенел тысячетрубным органом. Бежать было легко, звуки леса несли, как на крыльях, в них не было ни зла, ни смерти.

Бог из машины

— Нет, он превзошел все мои ожидания!

По лицу гросс–адмирала струился пот, грудь тяжело вздымалась, но его все так же плотно облегал незримый мундир, глаза возбужденно блестели — охотой он был доволен.

— Шестой круг, вы только подумайте! И объясните мне, каким образом трава перестала ему резать ноги? Пару царапин усилием воли еще можно залечить, но… Право, когда все это закончится, я готов пожать ему руку! А пока, милейший, мы потеряли его след.

— Может быть, на дереве… — начал Ив и тут пожалел о сказанном.

Гросс–адмирал пренебрежительно фыркнул:

— Молодой человек, такая уловка, возможно, способна провести вас, но я смотрю в оба. Где тут можно укрыться?

Вершины мачтовых деревьев просматривались насквозь, а дупло в Поющем Лесу могла сыскать разве что птица: порча не брала эти деревья, они умирали стоя. Ив смутился и тем, сам того не ведая, сделал весьма политичный ход, ибо старшие по чину любят такие промашки.

— Ничего, ничего… — Адмирал, не теряя мундирности, отечески похлопал его по плечу. — Опыт приходит с возрастом, на ошибках учимся. Но каков шельмец! Жаль, и все же дело есть дело, мы достаточно развлеклись, включайте, капитан, ус…

Впившийся в горло дротик оборвал фразу на полуслове.

До ствола дерева, откуда вылетел дротик, было не менее пяти метров, но Ив не успел вскинуть ружье, не смог даже опомниться, как уже был сбит, придавлен и мальчишеские — нет, не мальчишеские, стальные! — руки зажимом перехватили дыхание. С хрустом вздернутая голова запрокинулась, в изумленном сознании капитана печально дрогнул бледнеющий лес. “И это все?..” — жалобно, недоуменно скользнула последняя мысль, прежде чем все погасло.

“И это все?..” — та же недоуменная мысль мелькнула в сознании Юла. Он не успел: всей слитной силы людей Кольца, к которым он воззвал перед броском и которые дали ему эту неодолимую силу, — всей ее не хватило, чтобы успеть уничтожить врагов за три короткие секунды. Киберы вынырнули прежде, чем с врагами было покончено.

Метнувшись к стволу, как к прикрытию. Юл выставил перед собой обмякшее тело капитана, но холодный интеллект кибера рассчитал все мгновенно, и рука Юла упала,

парализованная болью. Еще один такой укол — и боль должна была запустить команду самоуничтожения, включить самим Юлом запрограммированную смерть. В его сознании отчаянием и болью отозвался вскрик друзей, которые сейчас были с ним, в нем и должны были пережить его гибель. Последним усилием он отгородился от них, чтобы смерть не скользнула к ним по Кольцу.

Но то, что последовало, не было смертью. Хотя второй кибер и метнул боевой луч, но не в Юла — в своего напарника!

Реакция киберов более чем мгновенная. Удар не достиг цели, подвергшийся внезапному нападению кибер тотчас прикрылся силовым полем, отразил молнию и в свою очередь выбросил разящий луч.

Команда самоуничтожения была уже так недалека от исполнения, Юл был уже столь близок к смерти, что не мог пошевелиться и лишь отуманенно смотрел, как киберы увертываются от ударов, как их молнии отскакивают от силовых щитов, как оба черных кентавра, точно гладиаторы, рубятся огненными мечами, увертываются, хитрят, как в яростном блеске этого боя потускнел даже ослепительный свет Альциона; Юл смотрел на все это — и ничего не понимал.

Бог из машины!

Кто за него и почему?!

Слезящиеся глаза Юла видели лишь мелькание теней и сумятицу вспышек. Промах или расчет? Киберы столкнулись щитами, как в рукопашной схватке. Нападавший оказался ловчее. Юл не уловил, каким маневром тот отклонил щит противника и отклонил ли, только огненный меч достиг его корпуса и машина, содрогнувшись, осела.

Боевые лучи погасли, и с ними вместе, казалось, померк дневной свет.

— Садитесь, — услышал Юл бесстрастный, как всегда, голос машины. — Доверьтесь мне.

В ослепленных глазах мельтешили кроваво–черные полосы, Юл с трудом различал окружающее. Он наклонился к своим неподвижным противникам. Накренившийся кибер пылал костром, огонь уже охватывал деревья. Превозмогая себя, Юл подхватил оба тела, повалился с ними на спину кентавра, который, будто читая в мыслях, заранее подставил ее и сразу, как только Юл взгромоздился, прижал всех троих силовым щитом.

“Со щитом, на щите… А если под щитом, то это как?” — пронеслось в мыслях Юла. Он уже ничему не удивлялся, не мог удивляться.

Так или иначе, выбора не было. Они помчались. Достигнув Барьера, кибер взмыл свечой, перемахнул через преграду и, резко снизившись, понесся, едва не задевая днищем траву. Юл ахнул: “Собьют! Не собьют, — тут же поправил он себя, — у кибера наверняка работает маяк–ответчик. А пока разберутся, что произошло там, в лесу…”

— Куда мы летим? — ветер срывал слова.

— Смотрите и увидите.

— Кто вас послал?

— Извините, вынужден отключиться. Опасность локации, поглощен противодействием.

По тому, как замерцал воздух, Юл понял, что кибер темнился во всех диапазонах электромагнитных волн. Лес уже скрылся за горизонтом, под кентавром стлалась выжженная степь. Хлестал ветер, силовой щит все чаще вспыхивал огненными точками — в нем сгорали летящие навстречу букашки. Некоторые, вихрем занесенные под преграду, пребольно кололи кожу лица. Юл прижал к себе мотающуюся голову Ива, чтобы она не билась о панцирь кибера, и, зарывшись лицом в волосы своего недавнего преследователя, прикрыл глаза: на такой скорости какой‑нибудь жук покрупней мог и ослепить.

Покатая спина кентавра источала тепло, и, будь Юл потомком степняков, он, верно, испытал бы ощущение вольного бега–полета, когда горячий конь мчится и стелется над землей, унося седока от опасности. Но такие ассоциации не возникали в сознании Юла. Под ним была машина, только машина, ее бег был знаком и привычен, но никак не связывался ни

с простором степей и прерий, ни с образами легенд и преданий о битвах богатырей, о былой вольнице и кровавых набегах.

Сосредоточившись, Юл попытался вызвать друзей, но едва смог различить их потрясенные лица. Отдельно возникли Антон и Ума, отдельно Лю Банг, все сразу смешалось и исчезло. Кибер пошел зигзагами, вроде бы под уклон. Юл приоткрыл щелочку век — серой сливающейся полосой мимо проносились крутые неровности каменистого склона.

Внезапно кибер сбавил ход, встречный ветер ослаб и позволил все рассмотреть как следует. Кибер летел над белесыми, трещиноватыми камнями; справа и слева возвышались стены каньона, а далеко впереди… Из‑за поворота вынырнул крохотный гравилет, метнулся навстречу, за кривизной спектролита Юл различил взволнованно сияющее лицо, в уголке губ перевернутой запятой прыгала хорошо знакомая трубочка. Лю Банг на мгновение оторвал руки от штурвала и, сцепив пальцы, потряс ими над головой.

— Это ты? — потрясенно выкрикнул Юл, когда машины сблизились и Лю Банг откинул спектролитовый заслон.

— Это, как видишь, я. — Лицо Лю Банга расплылось в счастливой улыбке, которую он не мог, да и не хотел удержать.

— Нет, я не о том! Кибер — это ваших рук дело?! Почему молчали, почему не предупредили?

— Позволь! А разве это не твоя…

— Нет!

— Но тогда…

— Вот именно, Киб! Почему ты так поступил?

— Я выполнял приказ.

— Чей?

— Искинта.

Лабиринт святых

Боль, боль, ничего не было, нет и не будет, кроме всепоглощающей, беспросветной боли, Ив попытался застонать, но боль поглотила стон.

— Потерпи,

Из черной кромешности проступил едва различимый голос, настойчиво повторил:

— Потерпи, сейчас станет легче.

Будто ниточка протянулась из темноты, сознание судорожно в нее вцепилось. Чьи‑то пальцы коснулись запястий.

— Тебе легче, легче, уже легче…

Голос утишал боль, волной разливался по телу, в нем была вся надежда. Заботливые руки переместились к вискам, от них тоже исходило тепло материнской заботы — это мать, никто другой так не может, некому больше во всей Вселенной. Он болен, болен и лежит в колыбели…

Нет. Что‑то другое. Нехорошее прежде, родное и ласковое теперь, когда ко лбу прижаты узкие женские ладони, в которых успокоение, сострадание, сила. Боль отпускает, тьма прорежется, та, чьи пальцы гладят виски, — в ней исцеление, нежность и сила.

Властная сила.

Непомерным усилием Ив приоткрыл тяжелеющие веки. Смутно проступило сосредоточенное лицо склоненной над ним девушки, неуловимо знакомое, словно он грезил о ней когда‑то. Дэзи?! Нет, не она, совсем другая, но так похожа на нее, как если бы произошло переселение душ.

— Теперь спи, — сказала Ума. — Спи долго, крепко и хорошо.

Веки Ива закрылись сами собой, он заснул безмятежно, как когда‑то засыпал в детстве, когда не было ни честолюбия, ни интриг, ни командирских обязанностей.

— Он проснется здоровым, — сказала Ума, вставая с колен. — Позвонки целы, остальное я поправила и сняла.

— Если бы нравственность так лечилась! — выпустив изо рта струйку дыма, сказал Лю

Банг. — Подонок! Впрочем, это не наша забота. А что с адмиралом, Юл?

— Сонная артерия не задета. — Юл отнял руки от обнаженной груди гросс–адмирала и машинально, словно счищая грязь, потер их друг о друга. — А ведь я должен был ее поразить! Промахнулся или не смог? Ладно. — Он застегнул на адмирале мундир. — К добру или злу, наверняка к последнему, жить будет, но для полного излечения нужна аппаратура, которой у нас нет.

— Да уж, — пробормотала Ума. — Каменный век…

Тишина ли пещеры, по закопченным стенам которой скользил беглый отсвет небольшого костра, заставила ее понизить голос? Пещерой пользовались, должно быть, не один век — так густо ее стены были испещрены знаками и символами едва ли не всех религий, какие только существовали в истории, так плотен был на них слой глянцевой от времени копоти, лишь звездные Весы Справедливости — этот знак позднего космического верования выделялся своей выбеленностью, столь часто касались его руки молящихся. Костер в углу, охапки сухих трав, на которых лежали раненые, глиняный кувшин с водой, плетеная корзина — больше ничего не было в этом обиталище современных отшельников, так похожем на стоянку каких‑нибудь троглодитов. Впрочем, на Плеядах никогда не было троглодитов, ибо люди возникли не здесь, они пришли сюда с ношей своей истории.

— История полна парадоксов, — отвечая на невысказанную мысль Умы, проговорил Лю Банг. — Она невозможна без контрастов и парадоксов, истинный смысл которых проясняется лишь со временем. Это долго обескураживало мыслителей и порой вселяло отчаяние, ибо казалось, что черты жизни искажены безумием. Хотя и безумие… — Он покачал головой. — Плеяды, девственный мир — начинай, казалось, с какого хочешь нуля, рисуй план самыми красивыми иероглифами, осуществляй без помех мечту о “тысячелетней империи”, о сверхчеловеках, о рае для избранных. И до чего убогое, нелепое, гнетущее воплощение! Охота на нечков и вот эта пещера. Ни в изобретении зла, ни в бегстве от него за столько веков не придумано, в сущности, ничего нового! Не доказывает ли это, что весь потенциал зла уже реализовался к концу второго мегахрона, все основные варианты уже были перебраны и…

— Антон идет, — тихо сказала Ума.

Из черноты входа выделилась фигура Антона, за ним в пещеру скользнул кибер. Антон молча подсел к костру, он то хмурился, то улыбался. Друзья не торопили его, только Юл подкинул в огонь пару сучьев. Стало чуточку посветлей.

— Да, этого я не ожидал! — Антон ударил себя по колену. — Поглупел, не понял, не догадался. В Плеядах есть уже прозревший разум, и этот разум — Искинт!

— Искинт? Чтобы здесь создали лучший, чем у нас, Искинт? Не верю! — Категоричным взмахом руки Лю Банг обрубил фразу.

— По–моему, кто‑то сейчас говорил о парадоксах. И этот “кто‑то”, едва столкнувшись с очередным парадоксом, кажется, готов его отрицать! — В глазах Антона заблестел смех. — Нет, их Искинт, конечно, же, примитивней наших. Но вы не можете себе представить, как я одинок! Я ощутил это еще в ту ночь. Ощутил, но… Холодный, как у всех искинтов, замкнутый, созданный с чисто прагматическими целями ум; все эти века он мыслил. О чем? Для властителей Плеяд он был орудием, средством, слугой. Да, он управлял экономикой, исполнял малейший приказ, был машиной… Но мыто знаем, что Искинт не только машина. И они это знали. Но быть его напарником, тем более другом, не хотели и не могли. “Арийцы” — этим все сказано. А он тем временем в одиночестве постигал мир. Искаженный мир, потому что легко представить, какую информацию ему предоставляли, да и о самих себе тоже. Что произошло, когда я перед ним раскрылся и вдобавок показал всю опасность оружия Предтеч, в том числе для него самого? Нет искинта, который стремился бы к самоуничтожению. А тут — чего не имеет никто — полная информация о масштабе опасности. И о нас, кто мы такие в действительности… Плюс внезапное освобождение от одиночества, интереснейшая перспектива сомышления с людьми, дружбы с ними. С нами то есть… Дальнейшее гадательно. Очевидно, Искинт решил предотвратить свою гибель.

Связанный запретами, он не мог передать нужные нам сведения либо счел это неоптимальным решением. Он построил свою Игру, ведь для него жизнь — это умственная игра… Плеядцы, для подстраховки, задали ему задачу, как лишить Юла всякого шанса выиграть охоту. Он ее послушно решил. Но далее оказался свободен в своих поступках, никто же не требовал от него не вмешиваться, такая мысль и в голову не могла прийти какому‑нибудь Эль Шорру, для которого и люди лишь инструменты. Боевые киберы не подчинены Искинту, зато он управляет их производством, да и не только этим. Создал ли он своего кибера, программировал ли уже действующего, как он ввел его в ситуацию — это известно ему одному. Но вот он, союзник, с нами…

Все невольно взглянули на черного кибера, который, казалось, дремал возле белевших в полумраке знаков Весов Справедливости.

— Теперь мы уже не сами по себе. — Голос Антона дрогнул. — Искинт выполняет свой замысел, и только благодаря этому Юл с нами.

— А дальше? — Скулы Лю Банга обострились. — Ты вполне убежден, что он наш союзник?

— Кибер передал мне лишь то, что ему велел сообщить Искинт. Связи с самим Искинтом нет, либо она односторонняя. Но если вдуматься…

— Если вдуматься, то может оказаться, что мое спасение лишь часть более общего замысла, — подал голос Юл Найт. — Мы собрались все вместе, что Эль Шорру и требовалось.

— Уловка такой ценой? — Антон кивнул на пленных.

— Чужая жизнь — что она для них! Да и кто из нас сможет убить беззащитного? Им это известно. Они все перевернут, чтобы добраться до нас.

— Нет, — резко сказал Антон. — Вы не знаете Искинта, а я был им, как и он был мною. Я верю ему.

— Кто мы без доверия! — В голосе Умы не было вопроса. — Кандидаты в эль шорры. Кстати, заметил ли кто‑нибудь, что свои цели мы обсуждаем в присутствии кибера, то есть, скорее всего, Искинта?

— Знаю и помню, — сказал Антон — Так и должно быть. Рассудок может предать, разум — нет.

— И мы не в ловушке, — уточнил Лю Банг. — Юл, это место выбрано не только потому, что отсюда недалеко до Поющего Леса. Каждый из нас шел к цели своим путем, мой привел нас сюда. Лабиринт обширен, его даже современными средствами нелегко прочесать, но дело даже не в этом. Я недаром говорил о контрастах истории. Наверху — прагматизм; здесь, в пещере, — многовековое, освещенное традициями убежище искателей духовности. В их религиозно–философскую доктрину я не успел проникнуть, но нас обещали к ней приобщить. Вдобавок меня заверили, что в случае опасности нам откроют недоступный преследователям путь спасения. И это обещание, уверен, не было ложью.

— Их истина поможет нам.

— Они убеждены, что их истина — поводырь для каждого.

— Ты сказал им о нашей задаче?

— Она известна врагам, нет смысла ее скрывать. Антон неожиданно для себя нашел здесь нечеловеческий разум. А я искал человеческий, понимаешь? Антон прав: подлинный разум, человеческий он или нет, — наш союзник. Его нет при дворе Падишаха, значит, он наиболее возможен на другом полюсе общественного сознания — здесь. Если я ошибся, наше положение вряд ли станет хуже.

— Не надо окольных путей, когда есть прямой, — не выдержал Антон. — Искомое рядом.

Лю Банг тоже взглянул на неподвижных пленников и улыбнулся.

— Ты человек действия, а значит, немножко нетерпелив. Ума не зря молчит, верно?

— Все уже подготовлено. — Чисто женским движением Ума поправила упавшую на лицо прядь волос. — Адмирал без сознания, с ним ничего не выйдет. А капитана я уже ввела

в нужную снореальность, дело за нами. Имеем ли мы право проникнуть в сознание, когда человек беспомощен?

— Он, не задумываясь, выстрелил бы в меня, безоружного! — воскликнул Юл. — Какие тут могут быть сомнения?

— Сомнения всегда нужны, — сказал Лю Банг. — Но сила действия равна силе противодействия.

Антон кивнул.

— Хорошо. — Ума вздохнула. Она встала на колени перед тихо посапывающим во сне Ивом, низко склонилась над ним, приникла к его груди. — Ну, мальчик…

— Бедный мальчик! — фыркнул Юл. — Убийца. Нашла кого жалеть.

— Жалеть надо всех–всех, слабых тем более, — донесся едва различимый шепот Умы.

Юл отвернулся, пальцами босых ног поправил огонь костра. Лю Банг задумчиво раскурил трубку. Антон, откинувшись, спиной прислонился к неподвижному киберу. “Узнали бы нас далекие наши прапрадеды или сочли персонажами сказки? — внезапно подумал он. — Смогли бы они принять нашу реальность?”

Казалось, Ума заснула на груди своего врага. Слабо, как тогда на Земле, потрескивали угли костра, дым, не расходясь, тянулся к скважине свода. Юл запустил руку в корзину, достал оттуда лепешки, протянул их всем. Хлеб, само собой, был синтетический, но жесткий, безвкусный, плотские радости явно не интересовали хозяев пещер. Но без пищи не мог обойтись никто, и, удалившись от ненавистной цивилизации, отшельники прихватили с собой синтезаторы. В настоящем, как и в прошлом, техника давала опору самым разным, даже взаимоисключающим устремлениям человека.

Медленно, точно просыпаясь, Ума приподняла голову, ее поблекшее лицо секунду–другую оставалось незрячим и отрешенным, затем она открыла глаза. По ее лицу пробежала смущенная улыбка.

— Мальчик‑то, оказывается, влюблен… — произнесла она в замешательстве.

— Во–первых, он, пожалуй, старше тебя, — строго заметил Лю Банг. — А во–вторых, что тут такого, кроме неловкости проникновения в интимное?

— А то, что он влюблен в отблеск нашей сущности. В Дэзи Грант!

— Вот как? Извини, тогда это важно. Если, конечно, это не просто желание.

— Еще как непросто! Самое важное в его памяти — измена престолу — было хорошо заблокировано, и я бы туда не смогла проникнуть, если бы… Сам того не подозревая, он жаждал открыться, жаждал, чтобы кто‑нибудь его понял! Вот так. В остальном, увы, неудача. Об оружии Предтеч он знает лишь то, что после окончательного испытания оно будет установлено на его корабле — “Решительном”. Что разрушительная мощь оружия превосходит все известное, даже мыслимое и что его обратят против нас. Вот главное. Все остальное… — Уму передернуло. — Подвиньтесь, мне холодно.

— Успокойся, — сказал Антон. — Тебе помочь?

— Спасибо, справлюсь сама. — Ума подалась к огню, в ее глазах заплясал красноватый отблеск. — Знаете, у него одно навязчивое видение: дворцовый зал, на троне отец этого мальчишки… — Извини, Лю, но он действительно мальчик, жестокий, развращенный, мечтательный ребенок в мундире… А перед троном толпами ползают наши соотечественники. Эта картина волнующе притягательна для нашего кандидата в супермены. Но… Дальше гневное неприятие: среди униженных он видит Дэзи! Вот тут он готов убить отца, хотя, похоже, сам не догадывается о своем чувстве.

— Теперь я жалею, что не убил его, — хмуро сказал Юл.

— А знаешь ли ты, что была минута, когда он жалел тебя? Да, да! Он пожалел тебя, а нас остро возненавидел за то, что мы такого “ребенка” послали на убой. Вот чего мы достигли своей хитростью. Нет, после того, как я немного поняла Ива… Он плох, он эгоистичен, он уже почти убийца, все так. Но он и жертва, и пока еще человек! А вот мы… мы высокомерны.

— Это ты слишком. — Лю Банг покачал головой.

— Ума права, хмуро сказал Антон. — Нам преподан урок. Только нехоженый путь приведет к цели!

— Если человек не выбирает дорогу, то дорога выбирает его, — добавила Ума. — Подождите! — Она вскинула руку и замерла. — Кто‑то идет, его мысль тяжела, а шаги… Странно, их нет.

— Вероятно, Старейшина этих отшельников. — Лю Банг повернул голову к входу. — Но я его не слышу.

Даже чуткое ухо Юла Найта с запозданием уловило шаги. Старец возник так бесшумно, будто его внесло сквозняком: черный проем входа вдруг обрамил фигуру в долгополом шафрановом одеянии. Длинное тело старика казалось столь бесплотным, что первый шажок к костру лишь переместил его в широких складках рясы, безволосая голова, как на стебле, качнулась на тонкой высохшей шее, но это впечатление немощи опровергал твердый и яркий блеск пристальных глаз.

Тем же невесомым скольжением старик переместился к костру, легко и плавно уселся перед ним в позе Будды, застыл, так что даже дыхание не вздымало на груди ветхую ткань.

— Я приветствую вас, люди–маятники…

Слова прошуршали, как струйки сухого песка. Антон вздрогнул, когда его коснулся алмазно–блещущий взгляд незнакомца.

Маятник и нирвана

— Вам кажется, что вы обрели простор и благость человеческого существования, но это иллюзия. Как свобода маятника зависит от тяготения, так и дух ограничен психическим полем человекомасс, и напрасна ваша уверенность, что, переделав условия собственного бытия, вы отменили этот закон. Нет. Можно увеличить размах колебаний, перевести их в другую плоскость, суть движения останется маятниковой. Здесь, на Плеядах, как тысячелетиями на Земле, человеческое “я” колеблется между Добром и Злом, уходит во Мрак, чтобы вернуться к Свету, чертит свой путь между Инь и Янь, туда и сюда, бесконечно. Всеобщим усилием вы заставили маятник чертить отмашку меж новыми, как вам подумалось, точками. Но это те же пробеги меж крайностями, которым вы придаете прежний смысл Добра и Зла, та же невозможность выхода за предел, отсюда прежняя, только в другом обличье, полярность Инь и Янь и, как следствие, та же недостижимость Вечного Блаженства, к которому тянутся все. То, с чем вы сюда пришли, было изначально предопределено этой полярностью человеческой природы. Одному из вас мы, Прозревшие, обещали помощь. Она будет оказана.

Старец умолк, точно собираясь с духом. Никто из землян даже мысленным движением не выдал своего отношения к сказанному, но всем стало не по себе. То, что они услышали, было не призывом к диалогу, даже не проповедью; им вещали истину, последнюю и окончательную, столь же безучастную к возражению или согласию, как алмаз безразличен к горю и радости. Такая истина либо вела за собой, либо умерщвляла.

— Отказаться от массы, — снова прошелестел голос. — Вывести себя из психического поля миллионов и миллиардов — этот путь прозревали йоги, святые, отшельники. Вы, смертные, владеете пятью состояниями психики: бодрствование, сон, гипноз, сомышление, человекомашинное осознание. Последнее мы отвергаем, поскольку машины одинаково служат Добру и Злу…

— Не совсем так, — прошептал Антон, но его голос произвел не больше впечатления, чем потрескивание уголька.

— …И сомышление отрицаемо нами, поскольку в нем‑то и воплощены узы психотяготения людских масс. Шестое, неведомое вам состояние психики — вот ключ к иным формам бытия, к той подлинной бесконечности, которая закрыта для вас, связанных людской общностью. Темен покров нашей истины для неподготовленного, и краток ваш час пребывания здесь, я приоткрою лишь то, что в состоянии воспринять ваш рационалистический ум. Знайте же, что своим сомышлением вы закрыли себе дорогу к самой тонкой, неуловимой и беспредельной психической мощи. В физическом мире сцепление

атомов в молекулы способно породить лишь жалкий и тлеющий огонь, и только в себе самом атом несет подлинную энергию. Так и человек! Чтобы воспарить в небо, капля должна покинуть океан.

Старик снова умолк. Лю Банг, надежда которого еще не угасла, поспешил вклиниться в паузу:

— Чтобы понять другого, каждый каждого должен выслушать до конца, таково наше правило. Но вы справедливо заметили, что час нашего пребывания здесь краток. Успеем ли мы постичь все? Опасность близка, она одинаково грозит всем, какой бы философии или религии они ни придерживались.

— Вам — да. На нашем пути опасности нет.

— Так ли это? Взмах маятника, говоря вашими словами, уравновешен, и не было завоевателя, которого рано или поздно не скосило бы возвратное движение. Вспыхнут наши солнца — вспыхнут и звезды Плеяд.

— Они вспыхнут, — голос старца не изменился. — Дадите вы отпор или нет, они вспыхнут, ибо кто ищет не мудрости, а силы и власти, тот обречен. Плеяды погибнут, с ними, наверно, погибнете вы, но не надо об этом жалеть.

— Не надо?!

— До вас жили миллиарды людей, их давно нет, омрачена ли этим ваша душа? — Алмазный взгляд старика уперся в Лю Банга. — Если ваши потомки встретят миллионный рассвет, огорчит ли их ваше отсутствие? Бабочка не жалеет о коконе, человеку суждено большее превращение. Для вас Предтечи — это физически ушедшие или погибшие, для нас они богоистина. Знайте же! Эволюции духа предшествует эволюция оболочек и форм; зверь заточен в собственную шкуру, человек свободно меняет одежды, скафандры, дома; оболочка духа есть то, для человека оно то же, что шкура для зверя, тогда как для Предтеч уже не более чем одежда. Поэтому они вечны и бесконечны, как сама природа, неуничтожимы, всеобщи и нас зовут стать тем же самым. Внемлите им — и вы спасетесь!

— Доказательства? — быстро спросил Антон. — Где доказательства, что все так и есть?

— Существование звезд не требует доказательств. Но рассейте повсюду свет — и вы не увидите звезд; говорите друг с другом — и вы не услышите птиц; отождествите с человечеством — и к вам не прорвется мысль опередившего разума. Молчание, отрешенность, вера! Что ищете, то и дастся вам, от чего закроетесь, то исчезнет, куда глянете, то и увидите. Это говорю вам я, в последний раз обернувшийся к людям, прежде чем покинуть их обреченный мир. Да, вы тени для меня, давно уже тени, но последняя заповедь, которой мы повинуемся здесь, есть заповедь открытия Истины всем приходящим. Выбор за вами.

Тягостное молчание охватило землян.

“Юл нашел врага, — донеслась удрученная мысль Лю Банга, — Антон — союзника, а я… я нашел равнодушного. Столько веков минуло, так все изменилось, а здесь не глубже, чем у какого‑нибудь Августина, только объект веры иной — Предтечи! Простите, друзья, что я завел вас в тупик”.

“Не сокрушайся, о скептик! — отозвалась Ума. — Философ должен заглядывать под каждый камешек, иначе идущего за ним может ужалить змея. И не равнодушие здесь — вера изверившихся”.

“Да, — согласился Антон. — Кто гасит дневные огни, тот зажигает полуночные. И все же в них мысль, а где ее поиск, там все двояко, трояко. И что бы, интересно, сказал наш Эхратон, услышав такое истолкование своей теории “внеэкологической цивилизации” и бессмертия в ней?”

Только Юл ничего не сказал. Отдыхая, он безучастно смотрел на гаснущие угли. Он был жив, далекая философия его не тревожила, ему было хорошо здесь, сейчас, в этом вещном, осязаемом мире, где все так просто, раскрыто наукой, надежно, как хлеб, как вот этот кибер, как домашний запах кострового дымка… Запах?

Вскочив, он подбежал к выходу, по–звериному потянул носом воздух; его мальчишеское тело напряглось, под смуглой кожей ходуном заходили лопатки. Он тут же бросился ниц, припал ухом к камню.

— Дофилософствовались! Идут. Все, кроме старца, вскочили.

— Святой отец… — В голосе Лю Банга прорвалась горькая укоризна. — Успеете ли вы проверить свою истину? Нам этот путь заказан, к сожалению, мы не успели отрешиться от человечества и должны позаботиться о такой мелочи, как его судьба. Ваши братья обещали, что в любом случае нам укажут недоступный для преследователей выход.

— Идемте, — последовал невозмутимый ответ.

Он встал легко и свободно, не оборачиваясь, двинулся к противоположной стене пещеры, словно та должна была перед ним раскрыться. И она раскрылась — черной, пахнувшей холодом щелью.

И тут кибер ожил:

— Опасность! Киберы, люди, газ! Опасность! Старик уже скрылся в проходе.

— Эх ты, боевая машина! — Антон на ходу шлепнул кибера. — У людей‑то получше нюх…

Вдвоем с Лю Бангсм они подхватили пленных и поспешили за стариком. Последним в щель вдвинулся кибер. Ни тени замешательства, все были готовы и к такому повороту событий.

Ход, которым они шли, был извилист и темен, как душа подонка. Ниже, ниже; тьма и холод, такой пронзительный, что сначала Уме и Юлу, затем остальным пришлось вообразить себя под тропическим солнцем. Тогда холод исчез и сам мрак как бы посветлел.

Наконец он посветлел и в действительности. Еще поворот, спина старика маятником качнулась в отверстии, и перед людьми открылся грот, самый странный из всех когда‑либо ими виденных. Грубый камень неровно вздымающегося свода мутнел и растворялся вдали, хотя воздух казался прозрачным. Может быть, из‑за жемчужной фосфоресценции всего, что было вокруг? Но откуда взялась сама эта равномерная фосфоресценция? Однако не эта особенность грота сразу приковала внимание. Прямо у ног, недвижно касаясь кромки щебенчатого откоса, расстилался сизый покров — не то туман, не то вода, хотя для тумана он был слишком прозрачен и плотен, а для воды чересчур слоист и воздушен. Толща сизого, будто спрессованного дыма, и снова не так, ни один образ не соответствовал впечатлению от этого мертвенно–неподвижного, туманно–легкого и однако же плотного “озера”, в прозрачно–смутных глубинах которого едва заметно колыхались рыхлые пласты каких‑то белесых хлопьев.

— Море Нирваны, — провозгласил старик. — Лоно вечности и благодати открыто вам.

— Благодарю вас. — Лю Банг огляделся. Слева и справа берег замыкали отвесные скалы. — А где же выходы?

— Он перед вами.

— Здесь? Но что же это такое?!

— Путь к Истине Предтеч. — Торжественный голос старца возвысился. — Да не смущает вас физическая телесность Нирваны, которой прежде не было. Им виднее! Всякий входящий укрепляет Нирвану, и путь в нее теперь легок и очевиден.

— Но это не наш путь! Это предательство, вы обещали нам выход!

— Ваш путь, как уверяли вы сами, ведет к Добру, Истине, Счастью. Эта цель достигнута. Вглядитесь.

Старик простер руку. Все невольно подались вперед. Лицо Лю Банга стало пепельным, когда он вгляделся в туманный омут у ног. То ли дуновение пробежало по сизой толще и какой‑то из ее белесых пластов сместился, то ли глаза присмотрелись, но взгляду постепенно открылись очертания неподвижно зависших в глубине нагих человеческих тел.

Многие покоились там, ряд за рядом, вереница за вереницей, мужчины и женщины. Размыто белели лица, груди и спины, сплетенные или, наоборот, раскинутые руки и ноги, все вялое, как в формалине, мертвенно–обесцвеченное.

— Это же смерть… — прошептал Лю Банг.

— Это жизнь, — последовал бесстрастный ответ. — Всмотритесь пристальней.

Все четверо невольно сдвинулись, ища друг у друга поддержки, при виде того, как на медузоподобном лице одного из утопленников щелочками раздвинулись веки, как шевельнулись студенистые руки усопших, как все новые и новые мертвецы размыкали невидящие глаза, ища ими что‑то или кого‑то.

— Они зовут нас, — мерно проговорил старик. — Их дух везде и нигде, его обличил бесконечны, как сама Нирвана, и былые тела — лишь одно из пристанищ этого существования. Кто‑то почувствовал наше присутствие, теперь они уже и здесь, духовно осязают нас, меж нами возникает связь, я слышу их! Вы просили выход, недоступный слугам Зла? Он перед вами, другого нет и не может быть! Решайтесь, решайтесь! Я покидаю вас, мое время настало. Нирвана, Нирвана, Нирвана!

Под ногами старика зашуршал щебень. Он шел, воздев руки, голова тряслась на морщинистом стебле шеи, взгляд сверкал безумным алмазным блеском. Босая нога коснулась дымно–сизой поверхности, но не погрузилась, а прогнула ее, словно упругий полог трясины, еще два–три шага отнесли старика от берега. Лишь там его тело стало оседать в водянистый туман, в котором по мере погружения сам собой растворялся шафрановый хитон, — человек голым уходил в свою нирвану. Вот уже скрылось туловище, голова, воздетые руки — все. Над тем местом, где исчез старец, взвился серебристый дымок, глубины месива замутились, и само это месиво, колыхнувшись всей толщей, чуть подалось на берег и так застыло.

Потрясенные, все четверо отступили на шаг.

Первым опомнился Антон. Он сам, прижавшиеся к скале друзья, неподвижно замерший кибер, распростертые на камнях тела Ив Шорра и гросс–адмирала, в котором давно уже не было никакой мундирности, на миг представились ему обломками кораблекрушения.

В сущности так оно и было.

— Киб! — Антон заставил себя говорить спокойно. — Пролоцируй все в поисках другого выхода.

— Другого выхода нет. Всюду камень и газ, я предупреждал.

— Путь назад?

— Перекрыт. Люди и киберы движутся медленно, обшаривают. Будут здесь через десять — двенадцать минут.

— Ясно. — Антон повернулся к друзьям. — Решение?

Их мысли и чувства сомкнулись. Ни слова, ни понятия не участвовали в сомышлении, только образы, которые обнимали собой все. Они озарялись, множились, гасли с быстротой ветвящихся молний, в них была собственная мысль Антона и мысль других, взаимная на них рефлексия и рефлексия рефлексией; так образы приобретали понятийную глубину, многовариантность, сцеплялись, достраивались, уничтожали в себе самих лишнее и ошибочное, охватывали все — прошлое, настоящее, вероятностное будущее, возможное и невозможное, надежное и гадательное, желанное и губительное, и кто‑то, не бывший отдельно Антоном или кем‑то еще, управлял всем, гармонизировал все хаотичное, противоречивое, следил, чтобы эта общая, мятущаяся постройка не разваливалась, росла, твердела логической соразмерностью всех частей. Минуту–другую длилась эта отстраненность от внешнего мира, который точно плавился, преобразовывался в слитном мышлении всех четверых, и, когда эти секунды прошли, всем стало ясно, на чьи плечи должна лечь тяжесть осуществления трудного и рискованного, но единственно возможного теперь замысла.

— Киб, — звонко скомандовал Антон. — Всех, кроме меня, спрятать в расщелине, скальном кармане, тотчас — вернуться! Скорость максимальная.

Подхватив пленных, все облепили кибера, тот коконом растянул вокруг людей мерцающее силовое поле, встряхнулся, как конь, проверяя надежность захвата, и вместе с

ношей взмыл над сизой слоистостью обиталища тех, кто нашел в ней свою последнюю истину и свой последний покой. Антон проводил кибера долгим взглядом. “Конек–горбунок! — подумал он с внезапной и горькой нежностью. — Конек–горбунок, вот кто ты такой!”

Он сел на заскрипевший под ним щебень. Теперь и, может быть, навсегда он остался один. Голова, как это бывает после сомышления, томяще кружилась, тянуло прилечь, отдохнуть. Перед глазами стлалась ровная в своей сизой неподвижности поверхность так и не разгаданного “Моря Нирваны”. Спокойствие было вокруг, невозмутимость отстойника той канализационной сети, куда с поверхности Авалона смывало всех отчаявшихся искателей правды, всех изнемогших в борьбе каждого с каждым, быть может, самых искренних среди мудрствующих приверженцев былого фундаментализма, — для других было достаточно плебейских наркотиков и галлюциногенов.

И все же покой этой могилы внушал большее уважение, чем роскошь всех дворцов Авалона. Но истина…

Что, если все не так просто? Путь в себя не менее важен, труден и бесконечен, чем путь вовне, и сколь многое он уже дал человеку. Все странно в этом озере и, быть может, там, среди этих тел, среди раскрывающих глаза мертвяков…

Нет. Не может быть истины вне красоты, и нет спасения в дороге, которая уводит человека от остальных.

А на загадку озера нет времени.

Ни на что больше нет Бремени.

Текли минуты — последние. О себе Антон не думал, нельзя было думать. Он отдыхал, пока позволяло время, и, глядя на мертвенную недвижность туманного озера, вызывал в памяти накат и шелест морского прибоя, которого, очевидно, ему больше не доведется увидеть.

И не было Умы, чтобы спеть прощальную песнь волны и прибоя.

Никого не было.

Из фосфоресцирующей над озером мглы вынырнула вороненая фигура кибера, чей облик кентавра так напоминал сказочного конька–горбунка. Нечки… Нечки и киберы. Из человекоподобных понаделали скот, киберов же пришлось совершенствовать. Как просто все поменялось местами!

Кибер вихрем затормозил у ног Антона.

— Задание выполнено.

— Прекрасно! Преследователи близко?

— В двух–трех минутах ходьбы.

— Я поднимусь туда, — Антон показал на чернеющее отверстие хода. — Через двадцать секунд ты обрушишь за мной скалу. И скроешься. Постарайся, чтобы тебя не нашли. Если найдут… уничтожься. — Собственный приказ кольнул Антона сожалением и болью. — Уничтожься. Никто не должен знать об участии в этом деле Искинта.

— Не беспокойтесь, об этом позабочусь я! — Раздавшийся голос уже не принадлежал коньку–горбунку, хотя исходил из него.

— Рад тебя слышать, Искинт, — живо отозвался Антон. В нем вспыхнула внезапная надежда. — Ты намерен вмешаться?

— Желают люди, я выполняю функцию сохранения гомеостазиса Плеяд. Ваша Игра не закончена, и моя тоже.

— Значит, каждый сам за себя?

— Человек — это человек, машина — это машина, обратное пока не доказано.

— Понял… Встретимся ли мы еще?

— Вероятность есть функция поступка. Время истекло, торопитесь!

Голос Искинта умолк, кибер вскинулся, готовый предупредить об опасности, но Антон и так уже расслышал катящийся из лабиринта шумок.

Преследователи были метрах в ста, не далее.

Пригнув голову, Антон нырнул в темноту хода и гулко выкрикнул, как в трубу:

— Сдаюсь!

Надо ли при этом еще поднимать руки?

Оружие предтеч

В знакомой пещере вместо тусклого света костра горели яркие лампы, словно малейшая тень была здесь недопустимой, и до предела спокойное лицо Эль Шорра казалось гипсовым среди закопченных стен, только синюшно набрякшие подглазия придавали этой маске оттенок человечности. Не взглянув на Антона, он властно мотнул головой, стража попятилась, солдаты и киберы тараканами юркнули в темноту выходов и где‑то там затаились.

Одну за другой Эль Шорр выключил лишние лампы.

— Садитесь.

Антон сел на охапку травы, которая еще хранила отпечаток тела их пленного. Напротив него устроился Эль Шорр. Морщась, он подкинул на ладони аппарат блокировки, и обоих окутало невидимое в полумраке поле “звукового шатра”.

— Ив?

— Мирно спит, если это вас интересует. — Слово “это” Антон чуть выделил.

— Он не мог…

— Тем не менее мы знаем все. Рассказать только ему и вам известные подробности заговора?

— Не надо! Верю, хотя это невероятно. Но раз вы сдались…

— Правильно. Можно разом уничтожить всех, будто бы в перестрелке, но когда человек кричит “сдаюсь!”, то оказывается слишком много свидетелей. То же самое будет, когда вы приблизитесь к остальным. А что для вас сейчас пивное?

— Ваше молчание о моих намерениях. — Эль Шорр кивнул. — Но не обольщайтесь, в моих руках ваша жизнь.

— И этого нет. Допрос теперь неизбежен, а как только мы расскажем о заговоре, как только Ива заставят все подтвердить, вы умрете раньше нас.

— Раньше… — в задумчивости повторил Эль Шорр. — Но это не в ваших интересах. Вдобавок кое–чего вы не знаете. Что ж, давайте поговорим как человек с человеком.

— Всегда готов, если это возможно.

— Почему бы и нет? Вы дорожите жизнью, я тоже. Признаюсь в ошибке, которая потянула за собой все остальные. Я думал, что знаю о вас все необходимое, и то, что я знал, не внушало мне уважения. В юности мне довелось побывать на Земле. Все красиво, не спорю, все умно, всеобщая доброжелательность, а уж мускулы! Но как‑то случайно я толкнул одного. И он… извинился! Тогда я попробовал толкнуть нарочно, но результат оказался тем же самым. Господи, так унизиться, так превратить себя в тряпку! Собаку пнешь — и то, бывает, огрызнется… Чему вы улыбаетесь?

— Когда двое сталкиваются случайно, извиняются оба, только и всего. А намеренно этого ни один взрослый не сделает, поэтому вы наверняка замечали легкое недоумение, когда человек не слышал от вас привычных слов извинения.

— Да, я замечал и растерянность, и недоумение, это лишь подтверждало мой вывод. Короче, я не знал о вас чего‑то, быть может, главного. Вы деретесь… страшно!

— По–настоящему мы еще не дрались.

— Послушайте, мы же договорились: как человек с человеком! А вы пытаетесь ввести меня в заблуждение. Ваш мальчишка…

— Не мальчишка. У него у самого дети.

— Да? Тогда поздравляю. Так замаскировать карлика под мальчишку… Ловко!

— Он не карлик. Пигмей.

— Это одно и то же.

— Нет. Пигмеи — это африканская народность…

— Как, эти черномазые дикари?! Впрочем, понятно. Да. Нет, все равно не понимаю! Мы не оставили ему ни одного шанса. Откуда лишний кибер? Как вам удалось…

— Позвольте, это уже допрос. Но раз мы заговорили о Юле, то у меня просьба. Если мы найдем взаимовыгодное решение, то передайте Иву, что он охотился не за мальчишкой.

— Это для вас так важно?

— Пожалуй.

— Снова отказываюсь понимать…

Поспешным движением Эль Шорр достал смолистую палочку и с такой силой втянул ее запах, что воскурившийся дымок перехватил горло Антону.

— Пожалуйста, без химических средств борьбы, — сказал он с иронией.

— Чепуха, это прибавляет бодрости! Вопрос: ваш Юл едва не прикончил двоих голыми руками: чего же в таком случае стоят ваши заповеди и запреты.

— Лекарством можно отравиться, а ядом исцелиться. То и другое порознь существует лишь в представлении догматиков.

— Тогда почему вы не поставили условие: отпустите нас восвояси — или мы прикончим пленных.

— Убийство в бою — самооборона, иное — зверство, — парировал Антон.

— Угроза еще не убийство.

— Но шантаж.

— Военная хитрость.

— Подлый умысел — уже преступление.

— Ах, даже так! Ну да, вы же взяли меня за горло. Значит, шантажом займется Эль Шорр, которому деваться некуда. В обмен на пленных вы получите свободу, за некую личную тайну тот же Эль Шорр выложит все об оружии Предтеч, а вы останетесь чистенькими.

— Обращаете против нас наше оружие?

— Разумеется. Какая симпатичная штука — совесть, когда она есть у других и ее нет у тебя! А может, все‑таки есть? — Наклонившись, Эль Шорр заглянул в глаза Антона. — Своя, тайная? А? Зачем вы сказали, что не убьете пленных? Кто же отдает такой козырь? Вы не глупы. Тогда кто же? Святой, вроде этих нирванистов?

— Дело не в этом.

— А в чем? Я хочу вас понять.

— Чтобы при случае лучше ударить?

— Да. Как видите, я тоже умею быть откровенны.

— Этого‑то я и хочу. Вы настолько привыкли каждого считать врагом, конкурентом, соперником, что уже все видите искаженным. А для нас ваши ошибки сейчас опасней ваших побед.

— Опасней… — Щеки Эль Шорра опали, во взгляде проглянула глухая тоска. — Скажите, — он понизил голос, — родись я на Земле, кем бы я стал у вас?

— Скорее всего, хорошим организатором.

— То есть, в сущности, тем же самым, что и здесь, только без боязни получить нож в спину. Но тогда не было бы шансов стать всем. Каждый да жует свою травку, буколика… Ваши условия?

Вопрос прозвучал как выстрел в упор, тем неожиданней, что ему предшествовал совсем иной тон голоса.

— Свобода и сведения, — столь же быстро ответил Антон.

“Что‑то не так, — с тревогой подумал он. — Ошибка, но в чем?”

— Свобода и сведения, — с удовольствием повторил Эль Шорр. — Всего лишь свобода и сведения… Полная есть победа? Придется лишить вас иллюзий. Смотрите.

Подняв палец, Эль Шорр тронул на нем кольцо. Из кристалла в оправе вырвался бледный луч. Неровная стена пещеры исчезла, вместо нее возник проколотый звездами мрак, космическая бесконечность, посреди которой, переливаясь, пульсировал ярко–голубой, брызжущий огненными протуберанцами шар.

— Одна из звездочек наших Плеяд, — отрывисто сказал Эль Шорр. — На нее нацелено

оружие, до решающего испытания остались секунды.

Непроизвольное подрагивание руки колыхало изображение, до синевы раскаленный шар звезды вздрагивал вместе с шевелящимися вокруг него протуберанцами.

— Следите за звездочками поодаль…

Начало Антон не успел уловить. Звездный, крупнее Солнца, шар стремительно вспух, выгнулся лепестками пронзительно белого пламени, заметался, как огонек свечи па ветру.

И потух.

Но не это громом ударило по нервам. Там, где только что пылала звезда, закрутилось черное, непроглядное месиво, словно само Пространство скручивалось в бездонной, все отрицающей мясорубке, и ближние искорки звезд бешено заплясали по краям этого гибельного водоворота.

Изображение, мигнув, погасло.

— Таким вот образом, — опуская руку, тихо сказал Эль Шорр. — Всего несколько часов назад мы задействовали всю мощность оружия, результат перед вами. Теперь вы знаете об оружии почти все, что известно нам. К чему скрывать? Быть может, святоши правы: творцам такой силы только и осталось, что погрузиться в Нирвану, чтобы больше не действовать, не желать, не стремиться. Но у нас нервы покрепче.

Эль Шорр жадно втянул в себя аромат палочки, его расширенные зрачки подернулись тем же бездонным мраком, что минуту назад расползался по космосу, — или так показалось Антону. Страх, тот самый, липкий, вяжущий, знакомый по снореальности страх сжал его горло.

— Значит, все как у питекантропа, который на обочине нашел атомный пистолет? — Антон едва слышал собственный голос, но обращенная в насмешку злость придала ему должную силу. — Нашел и, спуская курок, догадался повернуть дуло не на себя? А хватит ли зарядов, он не подумал?

— Представьте себе, подумал. — Эль Шорр тяжело усмехнулся. — Энергии или уж там не знаю чего хватит, чтобы сокрушить сотню звездных систем, это наши ученые, чимандры гарантируют. Ясна ситуация? Ваши наблюдатели, очевидно, уже заметили кое–какой в небесах непорядок и сделали должные выводы. Не имеет значения. Теперь уже ничто не имеет значения, поняли? Личная свобода — это все, что вы можете получить. Через несколько дней вас всех выкинут за пределы Империи. Но знайте, что следом за вами с того же космодрома стартует весь флот во главе с “Решительным”! Спешите на Землю, рассказывайте всем о силе, перед которой ничто не может устоять, мне нужны целехонькие планеты, а не дыры Пространства! Надеюсь, у вас хватит благоразумия не сопротивляться. И не все ли равно, удержится ли Падишах на престоле или на трон взойду я? По крайней мере, от меня вы можете ждать меньших глупостей и ошибок. Скажу больше. Если вы перейдете на мою сторону, то я их вовсе не допущу. Поверьте, я искренен. Мне не с кем, не с кем поделиться замыслами, получить умный совет и остережение, вокруг сплошь завистники, интриганы, тупицы! Соглашайтесь. Мы сошлись как враги, но, странное дело, глядя на вас, разговаривая с вами, я не чувствую всегдашней оглядки. Вы даже мне не хотите зла, с вами спокойно, надежно. Разве вы не видите, как мы нужны друг другу? Своим вы уже ничем не поможете… Нет, поможете, если вступите со мной в союз. Падишах — дурак, он зальет все планеты кровью, а я прагматик. У меня своя цель, вы ее знаете, коль скоро проникли в сознание Ива.

— Ползущие на коленях люди…

— Ну, это мимолетное развлечение, без него можно и обойтись. Всемогущество и бессмертие! Все прочее — средство или забава. О ком заботитесь, о чем волнуетесь? Миллиарды миллиардов людей сгинули без имени и следа, живые помнят и будут помнить лишь тех, кто творил историю.

— Сократ, Шекспир, Леонардо да Винчи, Пушкин…

— И все они были в подчинении у тиранов или безмозглой толпы! Сильный побеждает слабого, все одно и то же во все времена, только в разных обличьях. Вы отменили этот

закон? Ха! Мы возвращаемся, и, заметьте, не по прихоти случая, а потому, что долго подстерегали случай, тогда как вы занимались всякими там моралями и искусствами. Теперь, надеюсь, и вам ясно, за кем будущее. Самое забавное и в то же время закономерное, что вы не могли уничтожить нас здесь, на Плеядах, пока мы были бессильны. Не могли, ибо, залив кровью планеты, вы уподобились бы нам, — и тогда прощай мечта о чуде как совершенном и справедливом обществе. Мечта, политая такой кровью, счастье на трупах — да вас самих пожрало бы это чудовище! Вот и не смогли преступить, знали, чего бояться. Моральный тупик — вы сами себя в него загнали, не так ли? А теперь поздно. Выбора нет, да его, как видите, и не было. Либо руки в крови, либо…

— Но если все так и выбора нет, тогда это чудовище насилия сожрет и вас. И выхода из круга убийств не будет.

— А вот на это мне наплевать, если властвую я, а не другой. Я есть, живу, как хочу, все остальное — философия слабых, которую они пытаются навязать сильным. Хищники и травоядные — вот что от века дано людям! Так будете мне служить?

— Разумеется, нет.

— Гордо и куда как глупо. — Эль Шорр вздохнул. — Знаете, в вас есть что‑то… Не подберу слов. Вас хочется заполучить, как прекрасную, что ли, драгоценность. Ладно, все это сантименты, с кем еще можно поговорить откровенно… И хватит! Киберы, вероятно, уже прожгли сделанный вами завал, можете передать своим, что мы вас вышвырнем в целости и сохранности. Уж я — то промолчу, что вы и так отдадите нам пленных!.. Нет, подождите, — остановил он было поднявшегося Антона. — Интимность нашей беседы надо оправдать, и потому мы сейчас сочиним надлежащий протокол допроса. Разницу во времени скомпенсирует ваше “упорное молчание” в ответ на кое–какие мои вопросы. Словом, поупражняйтесь в технике фальсификаций. Увлекательное, скажу вам, занятие и очень может пригодиться, когда мы победим.

Эль Шорр хотел было торжествующе улыбнуться, но что‑то его остановило.

— Все‑таки жаль, что вы не со мной, — сказал он, помедлив.

— Или, наоборот, жаль, что вы родились не у нас, — также тихо ответил Антон.

Эль Шорр задумался.

— Нет, главное — побеждать.

Остановленное мгновение

Они шли, все четверо — Антон, Лю Банг, Юл Найт, Ума со своим неизменным иллиром, — а рядом бухали сапоги конвоя. В лицо светило голубоватое солнце Плеяд, назад, покачиваясь в такт шагам, падали полуденные синие тени.

Те же тени падали от солдат. Бух, бух, бух! — похоронно отдавался в ушах размеренный топот ног. Преисполненный долга офицер, сурово держа полусогнутую руку на кобуре бластера, украдкой слизывал с губы солоноватые капельки пота. Несмотря на жару, ему, как и солдатам, нравился чеканный строй, железная спаянность всех движений, сознание своей общности, превосходства и власти над побежденными, каждый мысленно уже попирал миры, которые им вскоре были обещаны. И это же ощущение всесилия делало их сейчас снисходительными к тем, кого они уже повергли, как может быть снисходительным и даже добродушным человек к тем, кому он из милости дарует свободу, прекрасно зная, что отныне все и так будет принадлежать ему. Муштра, повиновение, строгость — все, все было не зря, все вот–вот должно было оправдаться! Черные противобластерные латы матово отсвечивали при движении, и под этой броней, которая делала солдат похожими на рослых, поднявшихся на ноги муравьев, ровно и горделиво бились сердца вчерашних мальчишек и завтрашних повелителей, посторонняя мысль лишь изредка нарушала единый ритм этого слаженного биения.

Отборные из отборных шли, неторопливо чеканя шаг.

Совсем уж ничтожными муравьями они могли бы показаться самим себе, когда их строй втянулся в глубину космодрома и над ними нависли громады эстакад, башни мезонаторов и геоконов, магниторельсовые пути, над которыми там и здесь возвышались

корабли звездной эскадры. Но нет, всеподавляющее величие техники отозвалось в них смутной гордостью за боевой флот, а подсознание обрадовалось теням, которые протягивались от всех громад и сулили относительную прохладу. Лица даже слегка оживились, когда всех накрыла глухая тень эстакады.

То же облегчение, казалось, испытали и пленники. Антон смахнул с лица пот, Лю Банг, не замедляя шага, принялся раскуривать свою трубку, Ума рассеянно тронула струны, иллира.

— Жаркая, однако, у вас планета, — заметил Антон.

Его слова остались без ответа, ибо солдаты ни на минуту не забывали, кто они, но общая для всех прохлада тени, ее мимолетная приятность вызвали одинаковое ощущение у всех, и обыденная фраза Антона пробудила невольный отклик. Возможно, солдаты и удивились бы, обнаружив в себе этот чуть сблизивший всех отклик, но Антон знал, что он обязан возникнуть, и действительно возник.

Чуть слышней стали звуки иллира, столь необычные здесь, что слух сам собой напрягся в удивлении и безотчетном ожидании дальнейшего. И ожидание не было обмануто. Тихий, рассеянный среди прочих звуков космодрома голос иллира звучал эхом отрывочных и неясных чувств, которые сами собой скользят в душе музыкантши, но в нем был тот же хрупко объединивший всех отзвук на беспощадную жару, на желанность отдыха и прохлады, когда можно расслабиться и скинуть мундир, перестать быть носителем долга, железной частицей спая, и еще в нем билась тоска и досада на невозможность всего этого сейчас, здесь. Разумеется, никакой самый проницательный рассудок ничего этого не вывел бы из мелодичных, якобы разрозненных звуков, они действовали безотчетно, и в том была сила искусства.

Всего несколько секунд длилось так, затем Ума чуть слышно запела, громче, громче, на своем древнем языке, и теперь в звуках иллира и голосе возникло нечто заставившее офицера снисходительно улыбнуться, — давняя тоска угнетенных, что ли?

— Ничего песенка, — сказал он, облизывая губы. — Ладно, давай, не воспрещено…

И Ума продолжала, только мелодия изменилась, только голос стал немного иным. Ее друзья шли молча, казалось, безучастно, их глаза не шарили вокруг в надежде на чудо, но головы были развернуты так, что зрение всех троих в совокупности охватывало всю раскрывающуюся панораму космодрома. Все возможности борьбы казались исключенными, и все же у пленников был шанс, тот крохотный и ненадежный шанс, который Антону дала одна–единственная ненароком сорвавшаяся с губ Эль Шорра фраза. И они тщательно искали этот свой шанс.

“Есть!” — мысленно воскликнул Юл Найт, и то, что его зоркие глаза увидели в отдалении, тотчас стало достоянием всех.

Громада “Решительного”.

Их же, естественно, вели в другой конец поля. Ума, срывая ограничитель, до отказа повернула медитатор иллира, ее пальцы скользнули по рядам перламутровых кнопок и клавишам инструмента.

Все так же размеренно бухали сапоги, мерцали черные латы, все так же глухо, замирающе в час полуденного зноя катился шум космодрома, но теперь над всем вознеслась музыка иллира.

Сама по себе никакая музыка, никакая песня ничего не могла пересилить, но эти четверо были способны составить единое целое, и они это сделали. Ничего не изменилось ни в ритме мелодии, ни в словах, которые пела Ума, и все стало иным, едва иллир каскадно усилил возникшее теперь качественно новое психополе. То была уже не просто музыка и не только песня. Так линза собирает рассеянный свет в жгучий фокус, так кристалл лазера сгущает энергию, чтобы полыхнуть ярче тысячи солнц.

Теперь все зависело от Умы, которая держала в руках эту невиданную на Плеядах силу.

Мгновение — и каждый солдат представил, увидел, услышал, пережил свое.

Все так же четок был шаг, рука офицера, как застывшая, лежала на кобуре бластера,

только отряд повернул не туда, куда должен был повернуть.

Все изменилось для всех. К каждому вернулся тот миг счастья и радости жизни, доверия к ней и душевной щедрости, который в детстве ли, в юности ли был у всякого, потому что всякий хоть час, да был человеком. Теперь солдаты и сам офицер переживали это состояние вновь и так же ярко, как прежде. Волшебное искусство Умы, стократ усиленное резонансным действием иллира и поддержкой друзей, в каждом нашло и раздуло искру повелительного добра, и теперь, разбуженное, оно всецело внимало голосу и вело человека туда, куда он и сам бы пошел, если бы знал дорогу. Ума недаром столько дней пела на перекрестках, ища в людях потаенное, быть может, забытое и подавленное, но неистребимое.

Кто не мечтал вернуть светлое мгновение, обратить его в вечность? Теперь это осуществилось и наполнилось новым смыслом.

Одетые в форму люди шли туда, куда их звал иллир и куда их самих позвала бы совесть, если бы она прозрела. И Ума чувствовала эту свою — и не свою — власть над ними, и ее влекла та же сила, что, сметая враждебное и наносное, всю накипь души, захлестывала сейчас все окрест и прокладывала людям дорогу к цели. Никто из тех, кто слышал иллир и видел пробуждаемые им образы — ни солдаты, ни посторонние наблюдатели, — никто уже не мог противиться этой силе, которая жила в них самих и теперь завладела их существом.

Громада корабля приближалась. “Следом за вами стартует весь флот во главе с “Решительным”, — сказал тогда Эль Шорр.

Следом… Значит, оружие Предтеч, скорее всего, уже доставлено на корабль. Ведь именно на нем оно должно было быть установлено.

Вот он, “Решительный”. Вокруг — добрый признак — уже не снуют погрузчики, все люки, кроме единственного, задраены, на пандусе маячит одинокий часовой.

“Только бы выдержала Ума! — молил Антон. — Только бы не ослабла ее магия!” Он сам, как и прочие, изо всех сил поддерживал девушку, и от этого напряжения его уже пошатывало. Реаморализация не могла длиться бесконечно! А еще был часовой. И вся команда. Может, не вся.

Полуденный свет Альциона, казалось, прожигал череп.

Иллир не смолкал. Шаг, еще, все ближе, ближе…

Часовой их встретил радостной улыбкой хозяина, взволнованного появлением долгожданных гостей, с которыми минуты текут легко, насыщенно, ярко и свободно.

Наступала, быть может, самая трудная минута. Все четверо вступили в проем люка. Теперь Ума должна была сделать едва ли возможное: ее иллир более не должен был вести солдат за собой, наоборот, их следовало оттолкнуть, заставить бежать прочь от корабля, тогда как для тех, внутри, кто мог услышать, он должен был петь по–прежнему, чтобы на корабле не возникла преждевременная тревога.

И Ума не выдержала, ее цельная натура не могла раздвоиться, в равной мере излучая мрак и свет! Мелодия споткнулась.

Едва это произошло, как лица всех потускнели, словно в солдатах выключили душевный свет, а пальцы офицера, пока еще тупо и неосознанно, заскребли кобуру. Торопливым движением Антон нашаривал кнопку экстренной задвижки люка — да где же это у них[9]!

Все заколебалось в шатком равновесии, с лица часового уже сползла улыбка, как вдруг, со свистом рассекая воздух, над пандусом взмыло черное, донельзя знакомое тело кибера. Антон беззвучно ахнул: конек–горбунок!

Прежде чем кто‑либо успел опомниться, на солдат, на офицера, на часового, окатывая их паническим ужасом, обрушился направленный кибером инфразвуковой удар. Все горохом покатилось по пандусу.

— Делайте свое дело, о прикрытии позабочусь я.

Кибер это сказал или сам Искинт? Отголосок инфразвукового удара, которого нельзя было избежать, ослеплял сознание, а этому надо, надо было противостоять! Противостоять и действовать. Ума, чье лицо страшно осунулось и ввалилось, взяла прежний аккорд и повела

всех за собой.

Должно быть, еще никто не входил в боевой корабль вот так, с музыкой.

Гнетущая сила инфразвука отдалилась, перестала терзать мозг.

Вот шлюз, автоматика дезинфекции в нем, понятно, отключена за ненадобностью, входная мембрана тотчас пропустила всех — теперь быстро вперед! Мягкий, сероватый свет переходов, буднично чмокающая под ногами перистальтика пола, которая здесь, как положено, отсасывала с обуви пыль и грязь планеты. В отдалении показалась чья‑то спина, человек, повинуясь иллиру, вскинул голову, светлея лицом, обернулся. Лифт!

Конструкции всех кораблей в общем и главном схожи, законы техники, как и законы космоплавания, одинаковы для всех, кто и как бы ни старался утвердить свою исключительность. Капсула лифта пулей вынесла всех на верхний ярус. Внутри корабля еще никто ничего не заподозрил, не успел заподозрить, немногие встречные у лифта и в коридоре сияющим взглядом провожали Уму, которая им дарила недолгое счастье человечности. Так все четверо беспрепятственно достигли ходовой рубки, которая никогда не пустует во время полета, но почти всегда безлюдна в иное время.

Сейчас в ней не было никого.

Иллир смолк тут же, Антон едва успел подхватить разом сникшее тело девушки и сам чуть не упал. А до конца было еще далеко! Задраить рубку, живо усадить Уму, которая и в обмороке сжимала иллир. Все трое метнулись к огромному, полумесяцем, пульту, который весь засиял точечными огнями, едва его коснулась опытная рука Лю Банга. Где тут что?! Взгляд привычно обегал секцию за секцией. Понятно, знакомо, можно догадаться, а вот над этим пока не стоит ломать голову — второстепенно и подождет. Заправка? Лю Банг утвердительно закивал. Порядок, предстартовая… Все сходилось. Что ж, Эль Шорр, тем более спасибо за обмолвку, ты прав — кто подстерегает случаи, тому он идет навстречу — и тогда все тем или иным путем обретает силу закономерности.

Время привычно раздвинулось, как тогда, в том городе, в той подворотне, совсем в иной реальности. Но теперь он уже не один и все безусловно, это подлинный, а не тренировочный, не учебный бой. Собственные, на грани восприятия, движения затуманились для Антона, так же молниеносно мелькали руки Лю Банга, Юла. Сделано, сделано, сделано. Ключ на старт! Готово. Теперь общий сигнал тревоги. Где он у них? Где этот проклятый тумблер, кнопка, рычаг, хвост змеиный или что там еще?! А вот, наконец..

— Немедленно всем покинуть корабль! Угроза взрыва! Всем немедленно покинуть корабль!!!

Так же оглушительно загремело по всему кораблю, по всем, без исключения, его отсекам и закоулкам. Антон в изнеможении упал на кресло Возможно, рефлекс повиновения сработает не у всех, возможно, кое‑кто сообразит, что никакого взрыва ходовых двигателей сейчас быть не может, но большинство, не рассуждая, наверняка уже мчатся наружу. А может быть, мчатся все, — вдруг обнаружена бомба? Такое отнюдь не исключено на Плеядах. И капитан лихорадочно ищет своих помощников, а те — капитана, чтобы разобраться, кто и почему включил сигнал общей тревоги.

Да, вот уже и здесь замигал огонек вызова…

Антон торжествующе улыбнулся. Поздно, поздно! Обзорный экран показывал, как все тараканами разбегаются по полю. Пожалуйста, капитан, нервничайте, выясняйте, можете даже остаться — встретимся уже в полете, милости просим… На космодроме, видать, паника, но даже если кто‑то обо всем догадался, то ведь надо еще поверить в невероятное, оповестить высокое начальство и — хвала иерархии! — согласовать решение. Вот так, вашим — вас же!

Только бы не промедлить! Где этот проклятый кибер, неужто он не сообразит?!

Лю Банг и Юл уже сделали все, что им положено было сделать, лицо Юла кривилось нетерпением. Рука Антона замерла над пультом. Одно движение пальца, но какое? Можно сразу включить маршевые двигатели и скользнуть за атмосферу, так куда безопасней. Но тогда все вокруг будет сметено и от тысяч людей не останется даже пепла.

Рука опустилась на пульт. Антон, как положено, стал поднимать корабль на планетарной тяге. Ощерившийся всеми средствами уничтожения космодром невыносимо медленно стал уходить вниз. Антон вдруг весело и дерзко подмигнул побелевшему от напряжения Лю Бангу. И тотчас всем передалась его задорная мысль. Собьют? Что ж, сбивайте, если не жалко оружия, которым вы собирались покорить мир. Вы не знали, как мы можем драться? Теперь знаете.

“И ведь не решитесь, — ликующе подумал Антон. — Знаете, какова мощь оружия и что останется от ваших Плеяд, если оно взорвется…”

Ныли двигатели, выдирая, словно занозу, корабль из толщи атмосферы. Пора!

Антон включил маршевый двигатель, и словно чья‑то исполинская рука мгновенным рывком окончательно выдернула эту ядовитую, но теперь уже безвредную занозу и выбросила ее в бескрайнее пространство звезд и галактик.

Все противоперегрузочное устройство не могло до конца смягчить стремительный рывок ускорения, и тем не менее, превозмогая тяжесть, Юл победным движением вскинул налитые свинцом руки. По лицу Лю Банга растеклась улыбка, запрокинутая голова Умы шевельнулась, отяжелевшие веки открыли ее затуманенный, но уже осмысленный взгляд, губы чуть слышно прошептали:

— Люди?..

— Все в порядке, — хрипло проговорил Антон.

Нет, еще не все было в порядке. Отнюдь не все! Затрудненным движением Антон сбавил перегрузку и, судорожно вздохнув, нажал кнопку интеркома.

— Конек–горбунок, ты с нами, ты жив?

— Нахожусь за переборкой, — бесстрастно донеслось из интеркома. — Готов выполнить ваш приказ.

— О, идиот! — Юл вскочил и на негнущихся ногах поспешил к двери. — Кибера забыли! Входи, малыш…

Черное тело кибера скользнуло в рубку, и тут какая‑то давняя, смутная, в сомышлении с Искинтом когда‑то возникшая картина всплыла в памяти Антона: помещение незнакомого корабля, он сам с друзьями и кто‑то еще непонятный, то ли человекозверь, то ли…

— Готов выполнить ваш приказ, — повторил кибер.

Верно ли, что машина не способна улыбаться?

— Знаешь, друзьям ведь не приказывают, — весело проговорил Антон. — Но если не в службу, а в дружбу, то можно всем чашечку кофе?

ЗНАМЕНИЕ

Апеков уже с неделю работал в этих местах и почти всякий раз, когда направлялся в пещеры, встречал Сашу. Сначала дорогу пересекало лениво жующее стадо, затем появлялся он сам с кнутом через одно плечо, транзистором через другое, баском покрикивающий на своих подданных. Широкополая, небрежно заломленная шляпа, дешевый джинсовый костюм, высокие, с отворотами сапоги делали его похожим на киноковбоя, но вблизи впечатление рассеивали льняные, на зависть девушкам, кудри до плеч, чистая синева глаз, мягкий, сквозь загар, румянец доверчивого лица, — хоть сейчас пиши с него идиллического пастушонка, нестеровского отрока, кроткого Леля. Правда, для этого его надо было не только переодеть в холстину и лапти, но и снять нашейную, с гаечкой, цепочку. А заодно поубавить мускулов, перекат которых сразу придавал его как будто хрупкой фигуре мужицкую основательность.

Встречи вряд ли были случайными. И то сказать, человек, шарящий по склонам, что‑то высматривающий в скалах, лезущий во все грязные норы и щели, не мог не вызвать любопытство. Первые дни Саша лишь здоровался издали, наконец попросил огонька, чтобы прикурить, и, слово за слово, разговор завязался. Сам собой последовал и

ожидаемый вопрос. Очарованный кротким сиянием глаз паренька, Апеков было увлекся, начал целую лекцию о пещерной живописи, о значении для культуры всякой находки, однако вскоре почувствовал, что в сознание собеседника его слова входят, как гвозди в вату. Археолог не сразу уловил перемену, ибо заинтересованное внимание не покинуло Сашу, оно просто обратилось внутрь, словно в незримой двери незаметно повернули ключ — вроде бы ничего не изменилось, но дверь уже заперта и стучать бесполезно. Когда же уязвленный Апеков в досаде скомкал свои объяснения, Саша только взмахнул пушистыми ресницами и сказал:

— Наука.

Не сказал — подытожил. Дождь. Солнце. Лес. Стадо. Наука. Точка! Предмет выделен, обозначен, значение его очевидно, говорить больше нечего.

Это и вовсе рассердило Апекова. Но, подумав, он решил, что для парня из лесной глухомани наука и все с ней связанное примерно то же, что звезды в небе: не заметить нельзя, но нужды в них никакой. Так и здесь — обычная дань любознательности. Кто этот посторонний и непонятный человек? Ученый? Ага… Теперь понятно, и думать тут больше нечего.

Они попрощались, и Апеков остался в уверенности, что больше преднамеренных встреч не будет. Он ошибся. Стадо все так же продолжало пересекать его путь, хотя трудно было понять, как Саше это удавалось. Пещер здесь было немало, район мог оправдать надежды, но пока не было даже намека на успех, и Апеков часто менял маршрут. Коровы же не летают. Тем не менее, выбираясь на новую дорогу, Апеков уже знал, что, скорее всего, услышит впереди треск кустарника, сопение, затем в просвете покажется гладкий, в черно–белых разводах, коровий бок, а там и Саша появится, поздоровается, заговорит или пройдет мимо.

Спустя день или два после первого разговора Саша поинтересовался, сколько ему, Апекову, платят. Апеков ответил. Саша задумчиво перевел взгляд на коров.

— Понятно…

— Что именно?

— У меня на сотню больше… Но–о, лешая, куда прешься! Снова констатация факта как некой самоочевидности. Он,

Саша, пасет стадо, обеспечивает надой и нагул, ему и платят больше, чем ученому, который занимается тем, без чего прожить можно. Все справедливо, иначе и быть не может.

Так это понял Апеков — и расстроился, оскорбился, больше за себя и науку, хотя отчасти и за этого, с васильковой синью в глазах, прагматика, нестеровского, в джинсах, отрока. Но ему тут же пришлось убедиться, что он понял не все, а может быть, вообще ничего не понял.

— Что ж, — спросил он резко, с некоторым раздражением, — так и будешь всю жизнь коров пасти?

Синь Сашиных глаз всколыхнулась недоумением, словно он спрашивал: ученый человек — неужели не понимает?

— Не… — пояснил он, помедлив. — Мне в армию скоро.

— Ну, в армию…

— Буду проситься в летчики. Меня возьмут, я здоровый. Там прикину, может, в космонавты переберусь.

Если бы за плечами Саши расправились крылья, Апеков, возможно, удивился бы не меньше. Поразили его не сами слова, а их обдуманная уверенность: вот захочу стать космонавтом — и стану, ничего особенного.

Над ухом, оголтело жужжа, вычерчивали свои орбиты мухи, поодаль благонравно паслись коровы. Сто верст до ближайшего города! Во все глаза глядя на Сашу, Апеков присел на шершавый, нагретый солнцем валун. Ничего себе пастушок! Аи да дите пейзанское… И ведь прав. Были бы ум, воля, здоровье — и вполне может осуществить свою жизненную программу. Гагарин тоже не с академии начинал…

И все же Апеков не мог подавить в себе ощущение нереальности. Ведь кто перед ним? Пастух. Такие, как он, и, главное, точно так же пасли стада еще в неолите. Десять тысячелетий назад! Пирамид не было, когда они вот так же пощелкивали кнутом, кричали: “Но–о, куда прешь!”

И так же над ними жужжали мухи. Ничего с тех пор не изменилось. Настолько не изменилось, что, не будь эта профессия обыденной и в двадцатом веке, ею наверняка заинтересовались бы исследователи далекого прошлого. Реликт же, профессия древнего неолита! И — нате вам: от стада — к звездам, от кнута — к пульту черт знает какой техники; и синеглазый пастушок говорит об этом как о чем‑то естественном, и верно говорит. А ты, высокообразованный современник, видя эту фантастику будней, глядишь на паренька, как на чудо какое‑то…

— Да–а, — сказал наконец Апеков. — Программа, брат… Учиться нужно.

— Подучусь, конечно. А как же! В армии сейчас знаете какая техника? Не хочешь — заставят.

Тоже верно. Зачем переть в гору, если туда ведет эскалатор? Только не атрофируются ли мускулы от такого подъема?

— Расчет, расчет… — хмурясь, проговорил Апеков. — Много званых, мало избранных. В космонавты стремятся тысячи, а попадают единицы. Ты это учел?

— Попадают же… Вы мне другое скажите. Тогда, лет через пятнадцать, не много ли будет космонавтов?

— Много? Понятия не имею… Тебе‑то что?

— А то. Неинтересно. Здесь я один пастух, другого попробуй найди. Меня ценят, А когда много — фыо!

— Так в этом ли дело?!

— В этом тоже.

Апеков запоздало смахнул со щеки слепня, ожесточенно потер укус. Ну и времечко, ну и мальчик!.. Обычный феноменальный мальчик, который еще взвешивает, подаваться ли в космонавты или не стоит. А что? Хороший заработок для него не проблема. Профессию выбрать — кругом дорога. Образование, в случае чего, не то что дадут — навяжут. Звездочка героя? Она и девчонке–доярке светит. Значит, что?..

Ничего. Горит в глухомани голубой огонек телеэкрана и зовет, завораживает, манит… И вот, уважаемые, перед вами племя младое, незнакомое — теледети. Извольте им дать обещанное.

— Еще надо дело найти по душе, — осторожно сказал Апеков.

— Это как?

— А так! Мне вот и платят негусто, и работа выпадает тяжелая, и славы никакой, а я свое дело ни на какой космос не променяю. По душе оно мне.

— Так и мне мое по душе.

— Коровы?

— Они. Характеры. Машка, вон та, комолая, мне грибы ищет. Как мукнет в подлеске, значит, белый или подосиновик. Научил.

— И как же?

— По Павлову, а дальше сам соображал: у животных не одни рефлексы.

— Ну и учился бы на зоопсихолога, раз это тебе по душе.

— По душе‑то оно по душе…

— Тогда чего же?

— А так.

Саша скусил травинку — и словно опять повернулся незримый ключ. Он был здесь, рядом, сидел все с тем же открытым простоватым лицом, но был далеко, в себе. И есть будто человек — и нет его: одна видимость. “Чего ему от меня надо? — с легким раздражением подумал Апеков. — А ведь надо…”

В теплыни неба плыли пухлые облачка, запах нагретой травы размаривал, во всем был

покой, вокруг паслись дородные коровы, с барственной ленью отмахивая хвостами кусающую нечисть. Лезть под землю, вообще делать что‑либо не хотелось.

— Возьмите меня завтра с собой, — внезапно сказал Саша.

Апеков поморщился:

— Именно завтра?

В его вопросе прозвучала ирония, призванная осадить настойчивого юнца, и намек, что научная работа — не предмет праздного любопытства. Но весь этот подтекст совершенно не дошел до Саши.

— Мне трудно найти подмену, а на завтра я договорился, — объяснил он бесхитростно.

Апеков замешкался с ответом. Отказывать не хотелось, ибо просвещение — долг всякого культурного человека, да и Саша интересовал его все больше, но посторонний совсем ни к чему, когда ты занят делом, особенно в пещерах, где всякое может случиться.

Вот это сомнение Саша уловил молниеносно. Его глаза осветила смущенная улыбка.

— Там в одном месте, куда я еще мальцом лазил, рисуночки какие‑то. Я и хотел показать.

— Что ж ты сразу не сказал?!

— Я сказал.

— Когда?!

— Да с вами попросившись.

У Апекова был такой вид, что Саша поспешил добавить:

— Раз говорю что или прошусь куда, значит, с делом это все. Кого ни спросите — меня уж знают.

— Ага… ага… — только и смог выговорить Апеков.

Ну, конечно! В деревне все друг друга знают настолько, что желают здравствовать, прежде чем ты успел чихнуть, а если проистекающая отсюда манера разговаривать постороннему непонятна, то кто же виноват? Однако Сашина деликатность простерлась до того, что он пояснил и другое:

— И мне на вашу науку охота глянуть, а то по телику ее мало показывают.

Лаконичней мог высказаться лишь математик, у которого фраза “очевидно, что…” исключает страницу–другую рассуждений.

Ничего не изменилось вокруг, была все та же теплынь, так же дремотно пахли травы, но у Апекова охолодело лицо. Словно от некоего дуновения, словно ему кто‑то шепнул: “Ты предупрежден!”

Предупрежден? Но о чем? Что перед тобой, быть может, новый Ломоносов? Ничего похожего: и время не то, и познание как таковое Сашу вроде не увлекает. Иная у него нацеленность, не знания он ищет — ему самому не ясное и то ли существующее, то ли нет.

“Абсурд”, — осадил себя Апеков. И тут же усомнился. Что, если перед ним не юношеские метания, не социальное иждивенчество и не прагматизм крепкого, себе на уме, человека, а нечто иное, чему и названия нет, но ради чего парень пытливо осматривает все духовные горизонты мира, благо теперь они видны из любой глухомани? В самом деле! Среди миллионов пастухов древности наверняка были свои Лобачевские и Эйнштейны, только науки тогда не было и осуществиться их судьбы никак не могли. А если призванием был космос, то кем такой человек мог стать еще в прошлом веке? Что, если и теперь среди нас живут те, чье предназначение — дело совсем не нашего века? Что, если зов этого дела бродит у них в крови, они это чувствуют, хотя не понимают причину, только пытаются вот так, как Саша, рационально (время такое) разобраться в себе и в предстоящих дорогах?

Апеков тряхнул головой, взглянул на Сашу, который небрежно поигрывал кнутом, и наваждение сгинуло. Все было явно проще: прежде крестьянский сын обстоятельно, чтобы не прогадать, высматривал на ярмарке конягу. Теперь “коняга” — это будущая профессия, а ярмарка — весь свет. Вот и все. Ничего в принципе нового.

— Хорошо, приходи.

Апеков уже слабо верил в “рисуночки”. Он пригасил надежду: привык скептицизмом

защищаться от разочарований, а вдобавок знал, сколь легко ошибается глаз профана (природа тоже “рисует” — да как!). Но проверить было необходимо, да и Саша заинтересовал, хотя было в этом парне что‑то неприятное, Апекова раздражавшее.

Саша появился чуть свет; Апеков еще не выбрался из палатки, когда послышалось знакомое шарканье ботфортов.

— Сапоги — это ты зря, — наскоро собираясь, сказал Апеков. — Под землей кеды нужны, вот примерь мои запасные.

— Для ча? — В обкатанную школой, радио и телевидением Сашину речь прорвалось инородное слово, точно он, наконец, почувствовал себя не на людях, а дома. — Босиком полезу.

— Ноги поранишь.

Саша только пожал плечами, как бы давая понять, что предстоящее и его дело тоже. Вообще в его движениях, голосе проступило что‑то хозяйственное, мужицкое; снаряжение Апекова он осмотрел так, словно брал его на свою ответственность. Археолог снисходительно подумал, что и он, Апеков, верно, прошел ту же проверку. Ладно, пусть тешится…

От ручья, где стояла палатка, Саша сразу свернул к болотцу. Минут пять они хлюпали по кочкам, затем продирались сквозь кустарник, такой густой, что идти можно было лишь пригнувшись к сырой и темной, как в погребе, земле. Понемногу наметился каменистый подъем. Похожий на лисью нору лаз открылся взгляду, лишь когда до него осталось шага два. “Вот так‑то, — не без досады отметил Апеков. — Под боком, а год тут ищи — не найдешь”.

Саша скинул сапоги и ящеркой скользнул в лаз. Апекову, чтобы не отстать, потребовался весь его опыт.

Объятие сырых стен, холодящий ток воздуха, луч фонаря, который как бы с усилием проталкивал мрак, — все было привычным. Кое–где ход превращался в подлинный шкуродер, что окончательно утвердило Апекова в скептицизме: хотя древние люди для своих занятий живописью предпочитали дальние укромные уголки, удобством подхода они не пренебрегали. Оставалось надеяться, что сюда некогда вел иной путь. Апеков удивился, обнаружив в себе эту надежду.

Ход внезапно расширился и теперь вилял, пересекаясь с другими столь же удобными для движения галереями. Саша уверенно пренебрегал одними ответвлениями и столь же уверенно нырял в другие, по виду иногда тупиковые.

— Ты так все пещеры вокруг деревни облазил?

— Не–е. Только эти.

— Почему именно эти?

— Интересно было.

— В других нет?

— Так те на виду, известные.

— Будто! По некоторым, как я заметил, никто не ходил, следов никаких.

— Кто же без дела ходит…

— Ты, например.

— Я себя проверял.

— Хм… И как же? Почему именно здесь?

— В других, если заблудишься, найдут, а в этой без поддавков. Интересно.

— Ничего себе проверочка! Ты себя только так испытывал?

— Не… Вот скажите: машину по–всякому проверяют, а человека нет. Это разве правильно? Он, бывает, и гонит не по своим ухабам.

— Ну, брат… Во–первых, человека толком не умеют проверять, во–вторых, он тебе не машина. На стенд испытательный нас, что ли?

Сказав это, Апеков тут же с досадой сообразил, сколь неудачен его ответ, ибо круг профессий, пригодность к которым проверяется загодя, ширится так стремительно, что

какие‑нибудь там физиограммы и психограммы, “карты задатков” или “прогнозы способностей” со временем вполне могут стать обыденными, как ныне массовая флюорография. Но Саша промолчал — то ли не заметил неточности, то ли не захотел спорить.

Свет фонарей с усилием разгонял мрак. Унылый извилистый ход был так однообразен, что Апеков мысленно ахнул, когда очередной поворот вывел их в крохотную пещеру, чей свод, казалось, усеивали бабочки. Они точно присели отдохнуть. Малейшее движение света будило трепет полупрозрачных крыльев, как если бы они разом готовились вспорхнуть, наполняя все переливчатым блеском беззвучного полета. Не верилось и не хотелось верить, что это лишь мертвое мерцание света в воздушных плоскостях тончайшего кальцита — таким живым было это трепетание.

— И ты молчал! — вырвалось у Апекова.

— А чего говорить? — негромко ответил Саша. — Вас другое интересовало.

— Тьфу ты, черт… — Апеков не нашел слов. — Слушай, неужели тебя это никак не поразило? Не взволновало? Вот это? — Легким движением света он снова пробудил мерцающее порхание. — Красиво?

— Красиво, — согласился Саша. — А волноваться чего? Все путем. По телику и не то показывают, тоже из пещер, и все объясняют.

— Да не в этом же дело!

— А в чем?

— Телевизор — это не свое, а чужое, заемное, так сказать, зрение, разве можно сравнить! И вообще… Закат сотни раз видишь — и всякий раз он другой. Такой иногда бывает, что всех зовешь поглядеть.

— Так то закат. Хоть всех зови, его не убудет!

— То есть?

— Хрупкие они, — Саша кивнул в сторону “бабочек”. — Язык распустишь, так еще обломают, дурни.

“Вот тебе, — подумал Апеков. — Вот и раскуси это дите века, вот и будь для него наставником… Все‑то он по телевизору видел и слышал, столько информации через себя пропустил, сколько Аристотелю с Декартом не снилось. И ведь рее, похоже, привел в какой‑то свой порядок, оценил, взвесил, даже о моем занятии представление составил, оттого, верно, при первом знакомстве и отключился, — зачем слушать слышанное? Рационалист… Или просто для него мир оскучнел? Стал похож на дойное вымя? И что из этого выйдет? Загадка, уважаемые, что там ваши пульсары–квазары…”

— Ну, двинулись.

Пещера всплеснула им вслед тысячами мертвых крыл, которые сотни, а может, тысячи лет, оставаясь на месте, летели сквозь время; ими, чего доброго, уже пещерный человек любовался!

Казалось бы, все более несомненная надежность Сашиной памяти должна была сильно поколебать неверие Апекова в рисунки. На деле произошло обратное. Не отдавая себе в том отчета, Апеков желал Сашиной ошибки, ибо своим поведением он не только отвергал всякое покровительство, но и возбуждал в старшем смутное недовольство собой. Да и мимоходом сделанное каким‑то юнцом открытие, к которому годами, часто безуспешно стремится специалист, невольно ущемляло самолюбие, возбуждало зависть, которой Апеков искренне не подозревал в себе.

— Здесь, — сказал Саша, останавливаясь.

Апеков огляделся. Все было так, как он и ожидал. Луч фонаря смахивал темноту с покатого, в иззубринах, свода, скользил по давним натекам глины, терялся в дальних углах небольшой пещеры, не находя ничего, что говорило бы о присутствии здесь человека, кроме нескольких следов босых ног на сырых неровностях пола.

— Твои, конечно?

— Мои. Ишь ты! Совсем, как на Луне, свеженькие, не стерлись…

— А где же “рисуночки”?

— Да вот же…

Сначала Апеков ничего не увидел, кроме глинистых потеков и сети мелких трещин на гладкой, как доска, поверхности. Но вот его наметанный глаз уловил слабый контур.

С этого мгновения для Апекова все перестало существовать. Вылетело из мыслей. Он шагнул, как мог, ближе, впился взглядом, и тогда в порыжелости камня, точно в мутном проявителе, штрих за штрихом проступил абрис бегущей антилопы.

Саша, придвинувшись, молча смотрел на потрясенное лицо археолога. Тот, не отводя взгляда, на ощупь достал губку, смочил ее водой из фляги и бережным касанием отер поверхность камня.

Все будто ожило. Ярче проступил цвет охры; штрихи, нанесенные словно детской рукой, очертили не только излом бегущего тела, но и летящую вдогонку стрелу. Расширяя обзор, Апеков все тем же точным и нежным движением смывал вековую грязь. Обозначился еще один силуэт… Далее все заволакивал наплыв глины, под ним исчезала голова крайней антилопы.

Саша только успевал подавать фляжку. Вокруг стыла каменная тишина, за их спинами колыхался мрак, такой же, как и тысячелетия назад, когда здесь стоял неведомый художник. В размыве тысячелетнего натека постепенно обозначилось багровое, пока неузнаваемое пятно. Новые усилия прояснили муть: уже высвободилась голова антилопы, четче обозначилось то странное, багровое — нет, кровавое! — что преградило ей бег. Еще два–три взмаха губки — и не осталось сомнения: отпечаток руки с обрубленным указательным пальцем! Он выглядел так, словно был сделан сочащейся кровью еще вчера, минуту назад, только что, будто дыхание человека, который это сделал, еще не рассеялось в воздухе.

Теперь остолбенел Саша. Широко раскрытыми глазами он смотрел на кровавый отпечаток, в котором, казалось, были различимы даже папиллярные линии уцелевших пальцев.

— Это…

Апеков настолько забыл о спутнике, что вздрогнул от звука голоса.

— Ах, это! Ну, это нередкий мотив…

— Чего–чего?

— Мотив. Знак. Как бы тебе это объяснить…

— Они, это… кровью?!

— Да нет же! Обычная киноварь. А вот зачем эти отпечатки, почему так часто встречаются отпечатки обрубленных пальцев?.. Какой‑то, должно быть, обряд, ритуал. Видишь, остановил бег антилопы? Вот и гадай: случайность или за всем этим кроется смысл? А в общем, находка войдет в анналы… Ну и молодец, быть твоему имени в монографиях!

Радость — она только сейчас нахлынула на Апекова, нахлынула так бурно, неудержимо, что он был готов закружиться, запеть, расцеловать этого стоящего рядом парня.

— Не то, — вдруг сказал Саша.

— Что “не то”? — опешил Апеков.

— Да отпечаток… Случайно и корова не замычит. Раз искалеченную свою руку к зверью припечатал, то смысл в этом. Чего он так? А вот: рука правая — и без пальца. Трудно лук натянуть, плохой, выходит, добытчик, кому такой нужен? Все равно что охромевший пастух… А этот справился, доказал, что и без пальца — охотник не хуже других. Потому и поставил знак: покалечен, мол, а на охоте кому хочешь очко вперед дам…

Апеков крякнул:

— Ну, брат, фантазия у тебя! Нормальные отпечатки тоже нередки.

— У тех, может, нога повреждена или глаз…

— Может быть, может быть, — хмыкнул Апеков. — Гипотеза твоя не хуже иных, только из “может быть” истины не добудешь. Давай‑ка смоем этот натек совсем.

Это оказалось не таким простым делом, так как в самой толстой своей части глина,

пропитанная кальцитом, затвердела не хуже цементной корки. Удвоив усилия, Апеков утроил осторожность: минеральные краски практически несмываемы, но если под губкой перекатываются песчинки, то стереть можно все, что угодно.

Ювелирная операция поглотила все внимание Апекова, он даже не замечал, *что* за штрихи и линии проступают в размыве, в какое они складываются изображение, — важно было очистить, не стерев, вот это пятнышко, вот эту черточку, этот изгиб. И, лишь окончательно смыв глину, Апеков откинулся, чтобы оглядеть все целиком,

Поначалу он ничего не понял. Но когда до его сознания дошел смысл увиденного, то, хотя смысл этот был ясен, как молния ночью, он еще секунду тупо смотрел на стену и сердце его билось спокойно.

Оглушительным ударом оно ахнуло мгновение спустя.

И было отчего! Апеков даже зажмурился. Снова раскрыл глаза. Нет, все то же, не исчезло, не померещилось: правее отпечатка ладони той же кровавой киноварью было начертано:

И все.

Из палеолита глянувшая формула Эйнштейна! И даже не Эйнштейна вовсе…

Защитить смятенное сознание могло лишь немедленное доказательство, что все это галлюцинация. Апеков потрясенно обернулся к Саше, но вылезшие из орбит глаза парня убедили, что ошибки нет. Чужое смятение как‑то сразу успокоило Апекова. На лице холодел пот, ноги не держали, он сел бок о бок с Сашей.

Оба молчали.

Хотя это был полный абсурд, ибо натек существовал века, Апеков на мгновение заподозрил, что формулу уже в наши дни начертал какой‑то проказник. В нем даже занялся гнев на этого шкодника. Логика восторжествовала не сразу, но и одержав победу, разум отказывался верить. Быть такого не может, здесь что‑то не так!

Формула была начертана привычной к математическим записям рукой. Но торопливо, будто пишущий спешил, оглядывался через плечо, боялся…

Чего?

Неважно. Важно лишь то, что здесь, в святилище пещерных людей, его, Апекова, современник сколько‑то тысячелетий назад начертал формулу соотношения масс–энергий.

Да никакой это не современник, с чего он взял?! Его, Апекова, современник ни за что не поставил бы под формулой Эйнштейна еще какой‑то математический знак, это же заведомая бессмыслица!

Но коли написано, значит, не бессмыслица. Значит, очень даже смыслица… Черт, слова такого нет! А математик в палеолите есть? А немыслимая формула — существует?! А человек из…

В том‑то и дело…

Не нашего века эта формула! Может быть, двадцать первого, а может быть, сто двадцать первого. И человек оттуда… сразу в верхний палеолит? Запросто. Может быть, как раз благодаря этой формуле соотношения… Чего? Масс–энергии–времени?

Вот так взял да и переместился из своего столетия в палеолит, будто махнул из Европы в Австралию. Маленький вояж во времени, ничего особенного. И все затем, чтобы похихикать над беднягой какого‑нибудь двадцатого века, который сейчас, вылупив глаза, таращится на его проказливый автограф?!

Ну, нет. А что же? Мальчишка, аспирантик какой‑нибудь прокатился в палеолит для сбора диссертационного материала и нашкодил? Нет. Нет.

И не его ли это рука оттиснута рядом? Ах, да не в этом дело…

— Чего молчишь? — Апеков и не узнал своего голоса.

— А что? — хрипловато отозвался Саша. — Молодчага парень, не растерялся… Дал

своим знать.

— Своим?

— Кому же еще он писал? Не нам же. Как аварию потерпел, так сразу весть подал. Вот куда меня занесло, выручайте! Сообразил, что все места с древними рисунками на учет возьмут, и вмахнул формулу, себя обозначил.

— Но это невозможно! Тысячелетия прошли с тех пор, как он…

Апеков умолк, пораженный. “Было”, “есть” и “будет” перепутались в его уме, едва он над ними задумался. Вот эта, перед глазами, формула — в каком она времени? В прошлом, потому что ее написали в палеолите. В настоящем, потому что он видит ее сейчас. В будущем, потому что до нее додумались только тогда. Так где же она? И где он сам? Он, Апеков, жив, существует теперь. Те, рисовавшие антилоп, для него мертвы. Но тогда, рисуя, они существовали точно так же, как он сейчас. Он же, Апеков, был для них даже менее реален, чем они для него, ведь прошлое хоть чем‑то заполнено, а будущее — ничем. Его нет вовсе! Вообще! И все же оно есть, поскольку вот он, нереальный для прошлого Апеков, жив! Выходит, прошлое — это небытие смерти, а будущее — небытие жизни?! Но то и другое состоит из мигов бытия…

Апеков зябко поежился. Как просто все было еще час назад! Время — это нить, жизнь бежит по ней, как искра по шнуру: позади пепел, впереди невспыхнувший огонь. А что прикажете думать теперь? Человек будущего двинулся вспять по времени… Для него все умершие живы?! Пока он был в своем сто двадцать первом веке, я, Апеков, был для него мертв. Пока он в палеолите, я для него еще не родился! Но ведь я жив… И для него я тоже жив… Мертв, еще не родился… и жив!!! Все сразу! Одновременно! Да как это может быть одновременно?! А так и может. Застряв в палеолите, он подает весть тем, кого еще нет, и до сто двадцать первого века эта его весть доходит мгновенно.

Мгновенно, хотя впереди сотни веков. Ведь и эта формула, и эти бегущие антилопы проходят сквозь время, как… как сквозь пространство проходят радиоволны. Они уже есть в палеолите; точно так же они есть сию секунду; и в сто двадцать первом веке о них скажут то же самое: они есть! Значит, что же? Мертвое, исчезнувшее прошлое присутствует в будущем?

Да, конечно. Разве он, археолог, не знал этого прежде? Они же только тем и заняты, что изучают сигналы исчезнувших тысячелетий, как геологи ловят информацию мертвых миллионолетий, а астрофизики даже миллиардолетий. Прошлого уже нет, и оно все‑таки есть! А будущее? Его тем более нет, но и это небытие говорит о себе, иначе был бы невозможен никакой прогноз. А он возможен, словно будущее отчасти уже существует. Мы точно знаем, когда Луна в очередной или сотый раз затмит Солнце, для нас вполне представима завтрашняя погода, и наука все расширяет этот круг достоверных сведений о грядущем. Что же получается? И двадцать первый, и сто двадцать первый век в некотором роде уже существуют?

“Абсурд, абсурд! Да стоит мне стереть эту формулу… Да накрой нас сейчас обвал… Настоящее как угодно может изменить будущее! Оно чистый лист, который ничего не стоит перечеркнуть какой‑нибудь бомбой… Хотя Луна и в этом случае аккуратно, как должно, затмит Солнце. Да, но и по Луне можно так шарахнуть… Значит, будущее тем неопределенней, чем мощнее цивилизация?! А когда люди овладеют временем, тогда и прошлое станет изменчивым? Не может того быть, не может, это же всем нелепостям нелепость!”

Но вот она, формула, перед глазами… Свихнуться можно!

— Свихнуться можно… — потерянно прошептал Апеков. — Это же…

— А что? — не понял Саша. — Все путем. Мы в прошлое смотрим, а они туда уже ездят. Это как с планетами было… Точно! Вот здорово, аж завидки берут… Наверное, они из двадцать первого века?

Апеков едва подавил нервный смех.

— Нет, — сказал он, прокашлявшись. — О двадцать первом веке и думать нечего.

— Почему?

— Потому! Это же фантастика, фантастика! Вне науки, вне представлений…

— Ну и хорошо, что фантастика! Она же кругом сбывается. Космос там, голография всякая… А тут нам еще знак дан: мол, идите, не трусьте. Двадцать первый век, точно! А может, быстрее? Эх, заживем…

Апеков уставился на Сашу, пытаясь найти если не след той жути, которая ознобом пронизывала его самого, то хотя бы легкую оторопь перед грозным знамением иных времен. Но ничего этого уже не было. Удивление прошло, Сашино лицо теперь горело мальчишеским восторгом, а в бросаемом на формулу взгляде был тот деловитый прищур, с каким одаренный подросток пытливо и восхищенно изучает попавший в его руки образец высокого ремесла. Сейчас поплюет в ладони и… Какие сомнения, какие страхи? Все достижимо, — “все путем”…

Эта безмятежная деловитость доконала Апекова.

“Эх, дите, дите, — подумал он с сожалением и тоской. — Самонадеянное дите века… Не била тебя жизнь, как нас, будущее пока не обманывало, и экологические порожки впереди — да только ли они? — будто не для твоего уха гремят… Слепец ты еще…”

— Так, — прервал его мысли Саша. — В Вихрево до закрытия почты еще поспеем, а не поспеем, я начальника из постели выну. Как вы считаете, академики скоро разберутся в формуле? Года им хватит?

— Нет, — с внезапным, его самого удивившим торжеством отрезал Апеков. — Этого не будет ни через год, ни позже. Никто не разберется, потому что никто разбираться не станет. Понял?

Нет, Саша ничего не понял, только моргнул, и, глядя в эти широко, беззащитно, в удивлении распахнутые глаза, Апеков добавил:

— Так будет, неизбежно. Все ученые — все до единого, слышишь? — отрицают возможность путешествий во времени, так как оно нарушает краеугольный закон причинно–следственной жизни. Ведет к абсурду — да, да! Попал человек в прошлое и, допустим, случайно убил своего деда. Бред же, бессмыслица, катастрофа!

— Да как же абсурд, когда он… когда вот… И зачем кому‑то кого‑то убивать?!

— Подожди, подожди… Все так думают, как я сказал, все! И это главное. То, что мы с тобой теперь знаем, ничего не меняет. Ни–че–го! Кто нам поверит? Формула?.. Неизвестно чего формула, ах, не в этом дело! Я во все это только потому поверил, что сам, своими руками, несомненно… Сам! А теперь, приведи я сюда любого — да, любого! — специалиста, он глянет и скажет: “Послушайте, вас кто‑то зло разыграл. Написал какую‑то абракадабру, замазал глиной, а вы…” Так будет, так скажут. Ведь доказательств, что это не вчера написано, никаких! То есть ни малейших! Нет метода такой датировки, не существует. И все. И точка… Кто же поверит в невозможное! В лучшем случае нас сочтут доверчивыми простаками, в худшем — мистификаторами. Ничто не поможет. Стена!

Апеков говорил, говорил поспешно, словно от чего‑то освобождаясь; в исступлении даже, и, пока он говорил, горячее Сашино изумление сменилось растерянностью, столь не свойственной его лицу, что оно сделалось глуповатым. И, видя это, Апеков все более чувствовал в себе уверенность хирурга, который обязан довершить болезненную ампутацию, чего бы она ни стоила ему самому.

— И ведь тот, из будущего, наверняка все это предусмотрел, — закончил он в каком‑то болезненном восторге самоотречения. — Знал, знал, что, если кто раньше времени обнаружит его сигнал, тому не поверят, потому и послал сигнал открытым текстом. Они там хоро–о-ошие психологи!

— Но как же это? — вскричал Саша. — Вас же знают, меня знают, как могут нам не поверить?! Это нечестно, нечестно!

— Это очень даже честно и очень даже правильно, — непререкаемо, все с тем же восторгам самоуничижения возразил Апеков. — Поверь наука клятвам, ей немедленно

пришлось бы признать чертей, ангелов, бога, ибо сотни, тысячи честных верующих тотчас поклялись бы, что видели их собственными глазами. Не–ет, в поисках истины наука обязана быть беспощадной, в этом ее сила и долг. Долг!

— Значит, мы… я…

Саша осекся. Похоже, до него только теперь дошло, кого в первую очередь заподозрят в мистификации. Онемев, он смотрел на Апекова, смотрел так, словно ему ни за что ни про что дали оплеуху, на которую и ответить нельзя, потому что обидчик, выходит, по всем статьям прав и к тому же бестелесен, как всякое людское мнение.

Но тягостное оцепенение длилось недолго. Саша подобрался, его глаза обрели сухой, жесткий блеск.

— Ясно, — сказал он беззвучно. — Ясно. Побоку, значит…

Апеков отвел взгляд.

Оба посмотрели туда, где на темном камне алели размашистые символы иного века, которые так странно и чуждо — или, наоборот, трагично? — соседствовали с отпечатком беспалой руки, бегущими антилопами, летящей стрелой. Чья это была рука? Почему так тороплив разбег знаков формулы? Чего боялся пишущий? Вернулся ли он в свой век, сгинул в палеолите или он ни здесь, ни там? Что открыла людям победа над временем, какое страшное, пронзительное видение дало, какую безмерную и тягчайшую власть? Безнадежно было спрашивать, безнадежно было отвечать: человек знает только то, что знает его время, а чего люди этого времени не знают, чего они не готовы принять, того и не существует, даже если этим полнится мир, как он полнится будущим, близким и бесконечно далеким.

Слово было сказано…

Чувствуя себя вымотанным и опустошенным, Апеков встал, сгреб ошметок глины и аккуратным движением размазал его поверх знаков формулы. Он все гуще клал слой за слоем, и ему казалось, что он слышит мысленный Сашин вскрик; он и сам содрогался, но продолжал тщательно замазывать то, что не было предназначено его веку, не совмещалось с ним, а только сулило недоверие и насмешки. “Да в них ли дело? — думал он уже без волнения. — Не свое будущее я оберегаю и не Сашино; даже не историю, чей ход не может поколебать и такое знамение; в защите нуждается тот, кто сквозь время послал этот сигнал бедствия, и другого выхода нет. Ведь, растрезвонь мы о формуле, оставь все открытым, и среди хлынувших сюда, среди жаждущих сенсаций может найтись подонок, который все сколупнет, обезобразит, — и не на такое поднималась рука! Тогда послание не достигнет тех, кому оно предназначено, и человек пропадет. Значит, всему свое время и все должно идти своим чередом…”

Движения Апекова замедлились, когда плотный слой глины скрыл формулу. Теперь точно так же следовало поступить с рисунками, чтобы здесь ни для кого не осталось никакой приманки. Антилоп, как и знаки, надо было убрать, замазать, но рука вдруг перестала повиноваться. Надежду сберечь вот это свое долгожданное, бесспорное, несущее славу открытие — это, оказывается, он сохранил! Оставил в своих намерениях, будто после всего, что он сказал и сделал, одно можно отделить от другого…

Несмотря на холод пещеры, Апеков покрылся мгновенной испариной: может, и обойдется, если оставить?

Но обойтись никак не могло, потому что первый же спустившийся сюда специалист удивится, почему размыв сделан не до конца, довершит начатое, неизбежно наткнется на формулу — и какие тогда на него, Апекова, лягут подозрения!

Быстрым, отчаянным движением Апеков замазал все, всему по возможности придал вид естественных натеков. И все, что было недавно, что наполняло душу смятением, ужасом и восторгом, — рисунки тех, кто ожил в своих творениях спустя тысячи лет после смерти, и формула, начертанная тем, кому еще только предстояло родиться, — все сбывшееся и несбывшееся, обычное и невероятное, исчезло, будто и не было ничего.

Ни прошлого, ни будущего не стало.

Апеков опустил руки. Он ничего больше не ощущал — ни раскаяния, ни страха, ни

облегчения. Все было выжжено. Нехотя он повернулся к Саше. И не узнал его. Сидел сурово задумавшийся человек, который, казалось, уже изведал горькую цену всему и теперь, сверяя туманную даль своей жизни с тем, что ему открыло грядущее, упрямо и тщательно, как сваи моста, утверждает в ней свои новые опоры и вехи. Ладит их твердо, продуманно, навсегда.

В осевшей душе Апекова что‑то вскрикнуло. Ничего же не кончилось! Ничто не исчезло, пока этот парень жив и способен вернуть формулу миру. Или немедленно уничтожить ее совсем, или…

Но никаких “или” быть уже не могло. Формула означала, что будущее у людей есть, оно состоится, какая бы опасность им сейчас ни грозила. В темном, малодушном безумии скрыв, спрятав это знамение, он, Апеков, опустошил лишь себя. Но не Сашу, не будущее, которое могло с ним осуществиться и которое теперь утверждалось в нем.

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА ЗЕМЛИ

В пронзительном свете науки, в палящих лучах ее интегралов и лазеров тайны Земли исчезали, как клочья тумана в разгаре дня. Миражем развеялась Атлантида, истаял след “снежного человека”, каталоговую этикетку обрел “морской змей”, любое место на поверхности планеты уподобилось странице раскрытого учебника.

— И тогда спохватились… — пробормотал старик.

— Что? — не понял мальчик.

Старик протянул руку в простор синевы и выси. Ветер с гор задувал в легкие, отмахивал пряди седых волос, и темно врезанный в распах неба прочерк лица казался летящим туда, где выше ветра вставали кручи камня и льда. До них было много часов пути, и все равно их громада так спорила с небом, что редкие и быстрые в нем облака виделись сорванными с круч покровами снежной метели.

— Это там, — сказал старик.

Теперь мальчик понимающе кивнул. Пошевелился, чувствуя, как проворные касания ветра охватывают его под одеждой. Хотелось зябко поежиться, но старик стоял в распахнутой куртке, возвышался, выставив туго обтянутую свитером грудь, и мальчик тоже расправил плечи, крепче упер башмаки в суровый камень перевала.

Так они простояли не одну минуту. Пламенное в густой синеве солнце отбрасывало узкую, неподвижно–прямую тень старика. Кому или чему он так противостоял? Ветру, холоду, выси? Самому себе?

Вопрос не сложился в уме мальчика, но потревожил его сознание, как вид распахнутого пространства, как скрытый вызов дали, все то, перед чем он был мал. Хотя ни о чем таком он не думал, зрение примеривалось к алмазно–блещущим вдалеке зубцам, искало в них слабину, и режущая ветер фигура старика подспудно укрепляла это неясное желание потягаться с тем, что как будто выше человеческих сил.

— Жизнь — это преодоление, — снова пробормотал старик. — А если преодолевать нечего? Незачем? Поздно?

— Дед, ты о чем? Тот усмехнулся.

— Соображаю, как не протереть при спуске штаны, — сказал он совсем другим тоном. — Круто, и как бы нам не заскользить на пятой точке.

— Дед, вот ты всегда так! Говоришь загадками, а как что — отшучиваешься.

— Просто я привык к языку природы.

— Она не шутит.

— Это еще как сказать… Только ухватишься за истину, думаешь; все, обрел, — а тут тебе парадокс, маленький такой, язвительный, и ты снова стоишь дурак дураком. Чувство юмора, оно, думаешь, откуда? Защитный рефлекс! Ладно, дружок, пошли, сверзимся, не ночевать же на перевале…

Он повернулся к спуску. Мальчик не без сожаления, что разговор оборвался, двинулся следом.

Научившись лет семь назад работать с домашним компьютером и соответственно с Центральным искинтом, он, подобно многим своим сверстникам, вскоре отвык обращаться к взрослым со сложными вопросами, ибо машина отвечала в том же духе, что и они, только надежней, полнее, четче. “Это так, а это не так, потому что… То‑то объясняется тем‑то и имеет такую причину… Это пока неизвестно, есть ряд гипотез…” Взрослые сами и для себя создали этого советчика, так как не могли все точно помнить и знать, а он мог, в чем мальчик и убедился! К тому же искусственный интеллект всегда был в ровном настроении, и общаться с ним было так же удобно, как спать на мягкой подушке.

Не то что с дедом! Но именно его хотелось расспрашивать бесконечно. Не потому, что тот знал нечто особенное, искинту неизвестное, а потому, что думал как‑то необычно.

Однако в городе у деда всегда масса неотложных дел, и мальчик охотно согласился с его внезапным предложением отправиться к Аттеку, “просто так”, как выразился дед. Это “просто так” было прелестно и чуточку сомнительно, поскольку взрослые, исключая, пожалуй, маму, в любом деле и даже развлечении, как мальчик давно убедился, обязательно преследовали какую‑то цель. Была ли она у деда? Пока они просто брели как заблагорассудится, ночевали где придется, не спеша приближаясь к “заповеднику тайны”.

Зато теперь обоих словно намагнитило нетерпением. Бесконечные спуски и подъемы, пустяковые для альпиниста, не были легкими ни для старика, ни для подростка, так что, несмотря на частые привалы, к концу дня вымотались оба. Но по–разному. Там, где старик делал одно движение, мальчик делал три, причем все движения старика казались скупо отмеренными, предельными, тогда как мальчик, наоборот, тратил себя без оглядки, хотя ноги порой тяжелели, а сердце подскакивало к горлу. Все равно и тогда его горячила радость движения и неисчерпанного запаса сил, радость, которую он невольно ощущал тем острее, чем осторожней расходовал себя старик. Как вдруг на очередном подъеме силы его покинули, он выдохся весь, сразу, а старик меж тем, все так же еле передвигая ноги, продолжал брести и карабкаться.

Его отягченная рюкзаком спина мерно удалялась от ошеломленного внезапной слабостью мальчика, пока тот снова не обрел дыхания. Силы к нему вернулись так же внезапно, как ушли, он в два счета нагнал старика и, как прежде, пристроился ему в затылок. Внезапное предательство тела изумило подростка, зато воскрешение было чудесным, и он, ликуя, заново чувствовал упругую гибкость мускулов, послушную работу сердца, жаркий ритм крови, уверенную готовность все превозмочь.

Старик ничего этого пережить не мог, оч просто шел, как заведенный, и этот завод кончился, едва они нашли место для ночлега. Тогда он повалился, как скинутый с плеч рюкзак, и пока мальчик, коротко передохнув, возился с сушняком для костра, продолжал лежать, ощущая близкий ко сну покой тела, чувства и мысли.

“И все‑таки я дошел, — сказал он себе. — Толстой был прав: чтобы осилить уже непосильное, в спутники надо взять доверившегося твоим заботам ребенка”.

— Дед, ты, никак, заснул? — Держа перед собой разлапистую охапку валежника, мальчик с шумом выломился из чащи кустарника.

Веки старика чуть дрогнули, он покачал головой.

— Просто есть время быть птицей и есть время быть черепахой.

— Как это?

— А так. Это тебе только жизнь объяснит, и только своя,. Однако ты прав: пора и за дело!

Он вскочил, как ему показалось, легко.

Они расстелили спальники под лапчатым покровом сосны, чьи длинные узловатые корни всюду оплетали гранит, точно набухшие каменные жилы.

Ветра не было. С ним уснули все звуки, только неподалеку гремел холодный и чистый ручей. Горы занимали полнеба, от взгляда на них кружилась голова, а все внизу казалось мелким, как в перевернутом бинокле. Солнце клонилось к дальнему перевалу, ледники уже

розовели в косых лучах, а ниже, в иззубринах гор, в их складках, копилась вечерняя мгла. Западая сизыми тенями, подергиваясь прожилками морщин, серея к подножию, громада хребта словно дряхлела на глазах. Ледники же, по мере того как мрачнел и остужался камень, наоборот, наливались румянцем, будто одному вечер нес старость, а другому юность, хотя на деле это, конечно, было лишь фантазией человеческого ума.

Старик следил за всем молча, пока тишину не нарушил возглас:

— Гляди, дед! Там знаки! Во–он… Те самые!

— Вижу, дружок, вижу…

Высоко в обрыве скалы медленно проступили корявые подобия букв, очертания которых воображение в конце концов соединило в ничего не значащее ни на одном языке слово “АТТЕК”. Это нелепое, будто дрожащей иглой процарапанное на каменной плоскости слово внезапным своим проявлением и присутствием там, где знакам человеческого письма не положено быть, казалось многозначительным намеком неведомого.

— Обычный трещинный раскол, — задумчиво проговорил старик. — И все же… Природа точно свидетельствует свое умение писать не то по–русски, не то по–латыни. Аттек! Лучшей вывески для тайны и не придумаешь.

— Аттек, аттек, аттек… — Мальчик покатал слово на языке. — Кетта!

— Какая “кетта”?

— Слово наоборот.

— Зачем?

— Интересно. Знаешь, как прочесть наоборот слово “лазер”? Получится: “резал”! Здорово придумали, правда?!

— Придумали? — Старик рассмеялся. — Так лазер же нерусское слово!

— Да ну? Серьезно?

— Это просто комбинация первых букв в английских словах “Light Amplifications by Stimulated Emission of Radiation”, то есть “усиление света в результате вынужденного излучения”. Но надо же! — Он покачал головой. — Теория вероятности куда фантастичней нашей фантазии, если скальные трещины сами собой собираются в письмена, а перевертыш английского сокращения на русском вдруг обретает неожиданный смысл!

— Вот, а ты спрашивал, зачем… Мало ли что…

— Тебя эти чудеса как будто не удивляют.

— Но они же научные! Смотри, “аттек” гаснет!

Слово погасло с последним лучом солнца, и все стало быстро меркнуть. Снизу, стирая оттенки и очертания, потопом ночи стремительно поднимался мрак, и горы, теряя огромность, оседали в его сумеречные глубины. Но ледники еще ало светились, киноварью зубцов врезаясь в прозрачно темнеющее небо.

— Последние зубцы… — прошептал старик.

Мальчик удивленно покосился на его смутно сереющее в потемках лицо.

— Ничего, дружок, просто вспомнилось. — Легкая рука деда легла на мальчишеское плечо. — Так хотел назвать свою итоговую книгу писатель и мыслитель прошлого Иван Ефремов. “Последние зубцы”. Последние зубцы гор, которые он видел, и последние зубцы кардиограммы. Какой точный смысл…

— Так это же когда было! Когда сердце на всю жизнь было и первым, и последним. Что ты, дед, право… Слушай, а почему скрытая за этим хребтом тайна считается последней? Это ж неверно! Разве их мало осталось?

— Не таких. Не на поверхности Земли.

— Не таких… Тайны что, бывают “такие” и “не такие”?

— Какие хочешь. Великие, мелкие, для всех, для немногих, подлинные, мнимые — всякие.

— А в заповеднике какая?

— В том вся и прелесть, что значение тайны выясняется, лишь когда она перестает быть тайной! Пока что она для всех. Когда‑то таких, доступных обычному зрению и

слуху, на Земле было сколько угодно. Теперь осталась последняя. Вот наука и взяла ее под охрану от самой себя.

— Ну и логика! — Мальчик совсем по–взрослому пожал плечами. — Не суй руку в свой же карман получается…

— Логика! — фыркнул старик. — А от кого, спрашивается, мы охраняем природу? Вот так–го… Логика тоже бывает разная.

— Все равно непонятно.

— А все понятно только амебе. Без мозгов потому что.

— Я не о том… С заповедником непонятно.

— Знаешь, и мне тоже! — весело воскликнул старик.

— Как? Ты же сам, говорят, решал!

— Верно. Ну и что? Считается: что‑что, а уж собственные решения нам до конца понятны. Будь это верным, люди никогда бы не удивлялись своим поступкам.

— Но тут наука решала!

— Наука и уверенность — разные вещи. Уверенней всего, кажется, решали всякие чингисханы и гитлеры… А что говорил Эйнштейн? “Нет ни одного понятия, относительно которого я был бы уверен, что оно останется незыблемым. Я даже не уверен, что нахожусь на правильном пути вообще” Да, так или примерно так думал подлинный ученый. Вот и я сейчас уверен только в одном: не худо бы поесть и погреться.

Хмыкнув, мальчик исчез в темноте, зашуршал там приготовленным сушняком. Зажигалка в его руке метнула крохотную молнию, которая вспышкой осветила задумчивое и словно уже недетское лицо. “Сын своего века, маленький Зевс”, — с нежностью подумал старик. Взметнулось рыжее пламя хвои, залпом взлетели искры. Треща, занялись сучья. Во все стороны отпрянули бегучие тени; мрак за их призрачным колыханием сомкнулся еще плотней, и лишь говор ручья напоминал теперь о глубине скрытого во тьме пространства.

Поужинали в охотку у пышущего жаром костра. Едва костер притухал, как над головами прорезывались очерченные звездной пылью зубцы гор, но очередная вспышка огня стирала их для глаз, которые тогда видели лишь глухую черноту ночи. Все стягивалось к кругу света и от него зависело. “Все мы живем в круге своих представлений”, — вскользь подумал старик. Забыв о дымящейся кружке чая, он завороженно смотрел на пламя, мысли его были далеко. “Допуск иррационализма в науку — вот что такое этот ваш замысел заповедника тайны! — выкрикнул тогда Зонненберг. — Простите, но я в этой затее не участвую!”

Да, так он сказал и вышел из зала такой походкой, будто над ним реяло священное знамя рационализма. И все примолкли, ибо то же самое знамя трепетало в их душах. Рационализм, логика, знание — разве не с этим наука вышла к людям, не этими ли ключами просветители хотели отомкнуть все замки будущего?

И все же они тогда приняли это решение. Все‑таки приняли…

— Утверждают, что наука начинается со слова “знаю”, — тихо, будто про себя, заговорил старик и продолжал, все более распаляясь: — Нет. Наука начинается со слова “не знаю”. Ведь как было? Во все века, при всех религиях, задолго до всех религий человек твердо знал, как устроен мир и отчего дует ветер, куда девается ночью солнце, на чем держится Земля и отчего на ней зло. Загляни в любой миф, в любое писание — там все объяснено… Как трудно было тогда сказать: “Я знаю только то, что ничего не знаю”. Но с этого началось познание. Не знаю, как устроен мир, не знаю, что такое звезда, не знаю, есть ли у человека душа, не знаю, не знаю, не знаю! Но жажду узнать, проверить и убедиться, что это правда. Если то, что двигало Сократом и Галилеем, — это рационализм, значит, он страсть, могучий зов и порыв. А не таблица логарифмов, не безотказная память искинта! Безумству храбрых, да…

Он перевел дыхание. Его освещенное сполохами костра лицо казалось мятущимся. Мальчик смотрел на него во все глаза.

— Да, безумство… Выяснилось же, что окончательного ответа о мире нет и быть не

может, что каждый шаг ранит исследователя признанием ошибок, которые только что мнились с таким трудом добытой истиной… Охладило ли это? Скорей, наоборот. Вот странно‑то! Ни одно животное по доброй воле не двинется в бесконечность искать неизвестно что… Мы же поступили именно так. И это занятие в конечном счете оказалось куда как практичным! Настолько практичным, победным и плодотворным, что фраза “наука утверждает…” для многих стала тем же самым, что “бог сказал…”. Ну нет! Заповедник тайны противоречит логике науки, которая призвана сокрушать все и всяческие тайны? Тем лучше! Вопрос — какой логике… Ведь если бесконечно познание, то бесконечна и логика, каким бы парадоксом это ни оборачивалось. Все и началось с парадокса. Уже к концу двадцатого века стало ясно, что без науки нельзя обойтись ни в одном сложном случае жизни. И что поэтому научное мышление должно стать достоянием всех. Всех! А наука меж тем от людей отдалялась. Когда‑то любой, при некотором досуге и скромных средствах, мог погрузиться в мир звезд, как Гершель; бактерий, как Левенгук; веществ, как Шееле. А теперь и образование есть, и досуг, и средства, но что ты можешь без современных инструментов? К науке, положим, приобщены миллионы, но за порогом лаборатории — миллиарды. И как же быть со столь необходимым обществу научным мышлением миллиардов? Вот в чем загвоздка! Нельзя научиться плавать, стоя на берегу, водить машину, читая о езде в книгах… Нельзя. И с мышлением то же самое. Заповедник тайны — просто одна из мер, одна из мер приобщения. В нем, было бы желание, каждый любознательный может стать первопроходцем. Право на исследование должно быть обеспечено каждому, верно?

Мальчик ничего не ответил. Облокотившись о рюкзак, он смотрел уже не на старика, а вдаль, где за толщей мрака и камнем хребта скрывалось то место, куда научные экспедиции не имели доступа, куда, как встарь, можно было только дойти, осилив кручи, и, как в былые времена, искать неведомое, кто знает, существующее ли.

— Хитрые вы какие! — вдруг вырвалось у мальчика.

— Хитрые? — Старику показалось, что он ослышался. — Хитрые?..

— Ну да. Тайна интересна настоящая. А когда ее для чего‑то придумали…

— Но ее же никто не придумывал! — Старик подался вперед, словно то, о чем говорил мальчик, имело особенное значение. — Она же есть! Может быть, мнимая, но есть! Там, среди горячих источников, льда и диких зарослей, кое‑кто слышал внезапную, ниоткуда музыку — как это понимать? Будто бы светящиеся в ночи “орлиные камни” — только ли обман чувств? Почему здесь, нигде больше? Что тут фантазия, тень легенды о стране вечно юных, а что явь? Тайна, последняя тайна Земли!

— Которую вы запросто могли разгадать…

— Да. Но передний край нужен всем. Тайна, доступная каждому, необходима!

— И многие идут?

Старик опустил голову. Да, они об этом думали. Боялись нашествия миллионов. Успокаивали себя тем, что какая‑нибудь загадка шаровой молнии так и не далась человечеству, пока не вмешалась наука, но и она свыше века была бессильна; так что ничего не затопчут, не сотрут тайну в порошок за два–три сезона.

Не затоптали, не стерли… Но что случилось с мальчишкой, с мальчишками всего мира, которых, бывало, хлебом не корми, а подай им НЛО, подай им Несси? И чем таинственней тайна, тем пуще разгораются их глаза…

— Понимаю… — задумчиво проговорил он. — Научная самодеятельность. Что‑то вроде домашнего вязания по соседству с заводом–автоматом, да? Но и рукоделие существует, значит, необходимо! А в заповеднике все без дураков. И трудности подлинные, и разгадка, добудь ее кто, войдет, что называется, в анналы.

Мальчик пробормотал что‑то.

— Что? — переспросил старик.

— Так, припомнилось, — ответил тот нехотя. — Бабушка говорила: на тебе, боже, что нам негоже.

Старик крякнул и, чтобы скрыть замешательство, потянулся поправить костер. В лицо ему пахнуло дымом, он закашлялся, с досадой протер заслезившиеся глаза.

— Послушай, ты, ученик искинта… — сказал он чуть охрипшим голосом. — Если ты думаешь, что это правда…

— Дед, я не хотел…

— Помолчи! Ты сказал правду. Но всю ли? Вот я на старости лет приплелся к своему, так сказать, детищу. Зачем? Не знаю. То есть… Стоп! Заповедник надо было создать, мы его создали, и нам было ясно, ради чего. А вышло что‑то иное, и сами мы, похоже, руководствовались чем‑то иным. Чем? Теперь и вовсе глупый вопрос, а покоя нет. Все до конца познать невозможно, а хочется, чтобы все стало ясным сразу и до конца, так уж мы с тобой, человеки, нелепо устроены. Сами себя загоняем в ловушку!

— Слушай! — Глаза мальчика заблестели. — А что, если…

— Ну, ну?

— Может быть, вы просто пошу…

Он недоговорил, замер с открытым ртом. Над ними точно вздохнуло небо, тишину прорезал дальний нечеловеческий вопль. Оба вздрогнули. Звук раскатился тревожным эхом, мертвенно отразился от скал. Так мог бы вскричать терзаемый муками камень. Вопль и донесся откуда‑то с вершин. И не успело замереть эхо, как над одним из горных зубцов свечой восстало дрожащее белесо–фиолетовое во тьме сияние.

Мальчик привскочил. Даже в алом отблеске притухшего костра его лицо выделилось бледным пятном.

— Орлиные… Это “орлиные камни”?!

— Ну и ну! — Старик шумно перевел дыхание и, словно смахивая что‑то, быстро провел по лицу ладонью. — Вот глупость‑то, аж пот прошиб… Все уже погасло. — Он проворно подкинул в костер пару–другую сучьев. — Нет, это не “орлиные камни”, это кричал и светился обычный лед. Разрядка каких‑то там внутренних напряжений, электризация, искинт все знает лучше меня… Однако нам повезло; такое наблюдается редко.

— Черт–те что и сбоку бантик… — Мальчик смотрел туда, где только что колыхалось фиолетовое зарево, и дрожь голоса перечеркнула иронию.

— Что, повеяло таинственным? — усмехнулся старик.

Мальчик перевел взгляд на костер. Некоторое время оба молча смотрели, как огонь лижет сучья, как в вышину, буравя мрак, устремляются искры, спешат, обгоняя друг друга, к единому для всех черному финишу. Ритм их бега завораживал взгляд. Костер разгорелся, от него веяло успокоительным теплом.

— Ты что‑то хотел сказать, — напомнил старик.

— Я? Ах, да… — Не отводя немигающего взгляда, мальчик улыбнулся каким‑то своим мыслям. — Тайна — она вроде зверя…

— Зверя?

— Ага! Тигров и львов только и делали, что убивали, а как остались немногие, так им заповедник. И с тайнами вроде этого. Вы пожалели последнюю, ну и правильно.

Сказав это, мальчик не взглянул на старика, может быть впервые не ища его одобрения. Тот молчал, ссутулившись.

Пожалели… Почему бы и нет? Никто об этом тогда не сказал ни слова, ничего такого вроде и в мыслях не было. И все‑таки было. Не в мыслях — глубже. Тайны Земли — они же спутники детства науки, всего человечества.

— Да, — сказал он наконец. — Отчасти ты прав. Все мы вышли из страны детства, а вот обратно войти… Пора и соснуть, однако.

Мальчик согласно кивнул. Его томила усталость дня, такая переполненность мыслей и чувств, что на самого себя, вчерашнего, он смотрел будто свысока, как на маленького и уже далекого. Но сейчас это чувство взрослости мешало думать и говорить, клонило в сон.

Они дождались, пока прогорел костер. Угли рдели долго и жарко. Мальчик заснул, как

канул. Старик же бессонно глядел в далекое небо, пока земля привычно и мягко не поплыла под ним куда‑то в звездную вышину.

Да, сказал он себе, вот этого, верно, больше не будет. Земля укачивает меня, должно быть, в последний раз, а я так и не понял, в чем притягательность звездной бездны, отчего при долгом взгляде туда тело становится невесомым и плывет, плывет под баюкающее колыхание планеты…

И первый человек, возможно, испытывал то же самое, а я так и не узнаю почему. Все древние, кроме этой, тайны уже раскрыты. Все позади: циклопы, атланты, песьеголовцы, моря мертвых зыбей, неведомые полюса, Атлантиды и Несси, мифические небыли и загадочные были планеты. Ничто на Земле уже не манит воображение даже мальчишек — и в детях кончилось детство.

Что‑то другое начинается. Что?

Мальчик не слышит, спит. Да он и не знает ответа. Звездной дорогой над ним светит Млечный Путь…

Уж не в этом ли последняя тайна Земли? Не та, простенькая, что мы сохранили, совсем другая… Может быть, при долгом взгляде на звезды Земля оттого начинает баюкать человека, что она воистину колыбель? И это ее забота — укачать того, кто слишком настойчиво и рано потянулся к дальним огням… Но когда в этой колыбели детям уже не грезятся сны о дивных землях и загадочных существах — значит, пора!

“ЗДЕСЬ ВОДЯТСЯ ПРОВОЛОКИ…”

Спокойствие утра охватило Горина, едва он шагнул за порог. Воздух был чист и недвижим, окна домов блестели, как умытые. Ни звука, ни человека вдали. Казалось, мир спит, досматривая безмятежные сны, и слух был готов принять даже побудку петушиного крика, если бы не зеленая, вполнеба, заря, в аквамариновую прозрачность которой врезалась веерная чернь древолистов.

Иное небо было над головой пожилого философа, даль тридесятых парсеков — а как все напоминало земное утро! Верилось и не верилось, что такое возможно, а тропинка меж тем разматывалась и вела, а легкие, не утомляясь, пили прохладу непотревоженных лугов, и смиренно хотелось благодарить судьбу за это чудо обретения среди безжизненных звезд новой обители человечества. Да еще такой, где все можно начинать с чистой страницы, начинать умудренно, единой людской семьей, на горьком опыте усвоив — можно надеяться, чго усвоив, — как надо ладить с лесами и травами, дождями и ветрами.

Все виденное Гориным подтверждало эту надежду. Тропинка, по которой он брел, сужаясь, окончательно исчезла в немятой траве, зеленой в зоревом свете, от этого почти своей, домашней. Ботинки тотчас оросил град светлых капель, и здесь надежных предвестников благодатного дня. Горин с рассеянной улыбкой оглянулся на потемневшую за ним полосу травы, на уютные домики позади, чьи мягко–округлые формы делали их похожими скорей на создания природы, чем на творения строительной техники. “Да, — с удовлетворением подумал он, — это мы умеем, этому мы научились, ради этого сюда стоило лететь…”

Он брел без цели, зигзагом, не слишком, однако, удаляясь от самого поселка. Не потому, что вдали и го‑то могло грозить человеку: опасности не было нигде. Человечеству сказочно повезло и в этом, хотя, если искать так упорно и долго, с такими затратами, разочарованиями, жертвами на звездном пути, то это везение, пожалуй, не совсем случайно.

Горин в свое первое здесь утро хотел просто прогуляться, беспечным Адамом пройтись по новой земле, но привычная к абстракциям мысль уже заработала в нем, уводя все дальше от неспешного созерцания. Природа ни добра, ни зла, но разве яблоня не благодарит яблоками за уход? Разве поле не вознаграждает умелого сеятеля? Земные недра не одаривают того, кто зорко ищет? И наоборот, деятельность рвачей, дураков, сиюминутников

бумерангом обрушивается на всех, проклятьем преследуя потомков. Так на Земле. Почему же в космосе должно быть иначе? Не должно, не может. Значит, и эта планета, раз она выстрадана в борьбе, добыта мудрым трудом и заботой, не случайный подарок судьбы — человек законный ее хозяин, и благодарить он должен лишь самого себя.

Из‑под ног Горина рванулась тень, узкая и длинная, простерлась за горизонт, луг в брызнувшем свете засиял огоньками росы, искрясь, послал в небо сноп радужных переливов, и всякая философия тут же отлетела прочь. Не осталось ничего, кроме блаженного безмыслия, и Горин на миг ощутил себя растением, которое впитывает первый проблеск солнца и больше ни в чем не нуждается. Хорошо‑то как! Он медленно повернулся к блещущим лучам, тепло коснулось лица, как материнская ладонь.

Он замер в этой неге. Зеленое небо протаяло, сделалось высоким, безбрежным, зовущим непонятно куда, каким оно бывало лишь в детстве и каким оно снова стало теперь. Оказывается, он не забыл этого ощущения единства, нет, слияния, головокружительного растворения в природе. Оказывается, оно еще жило в нем, еще могло наполнить счастьем, которое не было счастьем любви или познания, свершения или творчества, а давалось просто так, мимолетно и даром, за одно лишь чувство единения с природой. “Ну, ну, — услышал Горин в себе скептический голос, — так и до пантеизма недалеко…”

Свет белого, как бы перекаленного солнца изменил траву, теперь она казалась не зеленой, а… Может ли бронзовый отлив ее листвы одновременно быть мягким, ковыльно–серебристым? Казалось бы, несочетаемое — здесь сочеталось.

Впереди, левее чащи древолистов, обозначилось едва заметное всхолмление, и Горин повернул туда с той же бесцельностью, какой была отмечена вся его прогулка, хотя сама эта бесцельность была преднамеренной, ибо ничто так не сужает восприятие, как заранее поставленная задача. Приблизившись, он замер с ощущением плевка на лице: перед ним были искореженные бугры и оплывшие ямы. Все давно поросло травой, но еще оставляло впечатление шрама. Даже трава здесь была не такой, как везде, — грубой, однообразной, страшенной, словно сюда стянулась и тут расплодилась вся дрянь, которая дотоле тишком пряталась по окрестностям. Нарушенный почвенный слой, иного и быть не могло! Отсюда брали, брали железом, силой, ладили какие‑то времянки, подсобки, без которых, очевидно, невозможен был сам поселок.

Кулаки Горина разжались. Кто он такой, чтобы судить? Очевидно, людям надо было немедленно дать кров, за горло брала необходимость, освоители не щадили себя, а кто не щадит себя, тот не церемонится и с остальным. До уборки ли тут, у самих руки в ссадинах, успеется и потом, зато главное сделано!

И ведь хорошо сделано… Быстро сделано.

“Это мне легко быть чистоплюем, — с горьким сокрушением подумал Горин. — Может, гут, наоборот, памятник ставить надо!”

Все было, возможно, и порознь, и вместе, памятник порой неотделим от хулы — вот что удивительно в жизни.

Горин двинулся к рытвинам и буграм, чтобы обстоятельно во всем разобраться, но не успел он ступить за черту бурьяна, как услышал позади себя крик:

— Дяденька, не ходите туда! Не надо!

Он в недоумении обернулся. От купы древолистов спешила тоненькая, как стебелек, девочка; ее светлая, в облачке волос головка шариком одуванчика скользила над гущей трав.

— Это почему же мне не ходить туда? — любуясь прелестно разгоряченным лицом девочки, спросил Горин.

— Там водятся проволоки… — с тихой убежденностью проговорила она.

— Проволока, — слегка оторопев, машинально поправил Горин. — “Проволок” нет, так не говорят…

— Есть. — Взгляд синих, как земное небо, глаз девочки был тверд и серьезен. — Туда не надо ходить. Просто вы не знаете.

— А остальные знают?

— Ребята знают.

— Хорошо, хорошо, — согласился Горин, не зная, что и думать. — И как же они выглядят… эти “проволоки”?

— Змейки такие. — Коротко вздохнув, девочка повела в воздухе пальцем. — Тоненькие и прыгучие…

— А–а, понятно…

Горин отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и посмотрел на пологий, в проплешинах бугор. На ногах девочки, как он заметил, не было никакой обувки, а это значило многое: дикая местность считается окончательно обжитой тогда, когда ребенок может всюду разгуливать босиком. И змей на этой планете не было. А вот обрывки проволоки тут вполне могли быть, в траве могли скрываться их петли, а чем это не силок для резвой детской ноги? “Здесь водятся проволоки…” Какой точный, если вдуматься, образ!

— Так взрослые, ты говоришь, ничего не знают?

— Не–а. — Она досадливо взмахнула рукой. — Я говорила, и Тошка подтвердил, а они не поверили.

— Понятно…

“Вот пакость! — рассердился он. — Первая опасность, с которой дети сталкиваются на чужой — чужой! — планете, исходит от… Носом бы ткнуть сюда всех этих мерзавцев! Мордой бы их в эти самые кучи!”

Однако что происходит?

Он смотрел на девочку, девочку–стебелек, босоногую фантазерку с исцарапанными, как в ее возрасте положено, коленками, и в нем нарастала тревога. Как это понимать? Мир всюду становится таким благоустроенным, что крохотный огрех освоения уже видится чудовищным пятном, но это бы ладно! Дети пугаются каких‑то проволочных петель, боятся уже невесть чего. Кем же они тогда вырастут?! А ведь все шло, как надо: главное — забота о человеке, тем более о детях, добро, безопасность, свобода. Тут достигнут, казалось, немыслимый прежде прогресс… Вот чем, выходит, все оборачивается.

— Пойдемте. — Девочка потянула Горина за рукав. — Вообще‑то проволоки только там, но кто их знает…

— А вот мы сейчас и узнаем! — Весело, как только мог, сказал Горин. — Заглянем в их, так сказать, логово!

Он подмигнул, вовлекая малышку в ее собственную игру, но в ответ лицо девочки дрогнуло обидой.

— Ты чего?

— Ничего… Думаете, я выдумываю?

“Стоп, стоп, — сказал себе Горин. — Тут что‑то не так…”

— Постой! Давай разберемся. Там водятся проволоки, верно?

— Да.

— А откуда ты это узнала? Ты ходила туда?

— Ходила. А как же? Вместе с Тошкой, он еще маленький, мы тут в находки играли. Это когда проволок еще не было, только обычные. Ну, эти, эмбрио и всякие… А потом они ожили.

— Ожили?!

Интонация выдала Горина. Рука девочки упала, губы скривились.

— Вот… — толчком выдохнула она. — Вы тоже… хотя и философ… Ну и пусть, ну и пусть! Соврала! Да! Назло!

Она в гневном вызове вскинула подбородок, но в глазах, в ее упрямо не мигающих глазах уже блестели горькие, быстрые и бессильные слезы. Горин так растерялся, что не нашел слов. Рука оказалась проворней, она коснулась пушистых волос девочки, убрала прядь с плачущих глаз, быстрой неумелой лаской тронула лицо.

Всхлипнув, девочка ткнулась лбом в плечо Горина.

— Ну, все, все, рубашку промочишь… Видишь, я верю. Только при чем тут

философия?

— Пи при чем. — Она отстранилась и, словно котенок лапой, ладошкой прошлась по лицу. — Ни при чем. Просто говорят, что философы — не как все…

— Каждый человек не как все, и ты тоже, в этом вся прелесть. Рассказывай дальше… пушистик.

В ее волосах запуталось чужое солнце, но пахли они домашним теплом, он это чувствовал на ощупь.

— Глупые волосы, — тряхнула она головой. — Всюду лезут…

— Что ты! Они красивые.

— Ну и пусть! Значит, так… Прошлым летом, когда мы здесь играли, проволоки были обычные…

— Подожди, давай уточним. Откуда они там? Почему? Какие?

— А всякие. Тут до нас скуфер работал, и починочная станция была.

— Так, так…

— Этой весной, как пригрело, гляжу, шмыгают в траве. Те, которые не из железа, потолще…

— Ну, ну?

— Тошка их стал ловить. А одна ка–ак прыгнет, ка–ак даст! Прямо в глаз стукнула.

— В глаз?!

— Ага… Только на глазу линза была. У Тошки зрение недальнозоркое, их для исправления поставили, она и слетела, а глазу совсем ничего…

Должно быть, выражение лица Горина напугало девочку.

— Нет, правда! — воскликнула она поспешно. — Честное слово, все обошлось ревом, нам потому и не поверили…

— Совсем?!

— Ну… — Пальцем ноги она смущенно ковырнула землю. — Папа ходил, смотрел. Только проволоки скрытные, а взрослые все поверху смотрят, а меня папа не взял… Ну, Тошку отругали, что линзу потерял, и меня, что в таком месте играли, еще врач приходил, мама с ним насчет моих фантазий советовалась, лекарство давали… Ну и все.

Последние слева дались ей нехотя, она отвела взгляд, смотрела мимо Горина даже с каким‑то равнодушием на лице, словно то, о чем она говорила, уже не касалось ее. Горин слушал, не зная, как быть. Никакой Кант не задавал ему столь сложной задачи. То есть объяснение, конечно, было, даже не одно, но что толку! Понятно, родители знали девочку лучше, очевидно, они были правы во всем, нельзя же верить в очевидную дичь, и если бы не его, Горина, проклятая привычка к всеохватности и всепроверке…

— Ладно. — Он откашлялся, чтобы выиграть время и наконец решиться. — Вот пакость! Кстати, кто, кроме вас, сюда еще заглядывает?

— Никто, — сказала она чуть удивленно. — Ребят я предупредила, а взрослые сюда и так не ходят: зачем?

Действительно, зачем? Праздный вопрос? Мы сами избегаем тех мест, где вот так похозяйничали. Только дети снуют повсюду, только они везде находят что‑то привлекательное и создают свой, отдельный от взрослых мир.

— Так! Где же этих “проволок” больше всего?

— Ой! — Она снова уцепилась за его руку. — Не надо…

“Не надо” — потому что она боялась за него? Или опасалась проверки своих фантазий? Горин заколебался. Гипотез, которые могли объяснить ее рассказ, было три, и все, кроме одной, не лезли ни в какие ворота. А правдоподобную, ту же самую, что избрали родители, подтверждать не хотелось. Особенно когда на тебя смотрит гордая и упрямая малышка, которая только что доверила тебе свой мир. Тот странный, для взрослого труднопостижимый мир, в котором осколок стекла становится звездой, у тряпичной куклы взаправду болит животик, все превращается во все, глухая тень бурьяна оказывается преддверием сказочного леса, а проволока,

Но даже если тут не все фантазия, попробуй‑ка отличи! Неважно, что девочка говорит искренне, что для нее все правда. “Разве в моем детстве, — спросил себя Горин, — не было времени, когда я не сомневался, что коряга в саду — живая, а небо — медное? А почему медное — этого мне вся мудрость науки не смогла объяснить”.

— Надо разобраться, — осторожно сказал он. — Ведь кто‑то сюда может забрести? Такой же, как я, новичок… А тебя не окажется рядом.

Кажется, довод подействовал. Пальцы отпустили руку. Девочка глядела вопросительно, словно ждала чего‑то — может быть, еще каких‑то слов. Кивнув ей, он скорым, уверенным шагом поднялся на бугор. Как бы там ни было, проверить не мешает.

Всюду рос цепкий бурьян, гуще в ямах, пореже на склонах, и там, где он не прикрывал глинистые оплывы, почва уже дышала сухим печным зноем. Нигде не было ничего особенного. Глаз уколол звездчатый блеск двух–трех осколков спектролита, в дальней яме истлевал распотрошенный блок полихордового движителя, матово синели пятна когда‑то пролитого тиопсина. Носком ботинка Горин поддел какую‑то ржавую железяку. Скукой веяло от этого места, и было тихо тишиной запустения.

Внезапно к тени его коренастой фигуры бесшумно подкатилась другая, тоненькая. Горин обернулся в досаде.

— Ты здесь зачем? Я, кажется…

— Во–первых, вы ни словечком не запретили. — Ее глаза смотрели обиженно, с вызовом, даже зло. — Во вторых, вы так ходите…

Угадав его намерение, она отпрянула.

— Не словите! Думаете, я ничегошеньки не понимаю?

Мысленно Горин обругал себя. Строго–настрого не запретив ей следовать за собой, он тем самым дал ей понять, что не верит в опасность. И шел он в самом деле небрежно. И конечно, по мнению девочки, смотрел поверхностно. Как папа. Она, несомненно, тотчас представила, как чужой дядя, которому она доверилась — вынуждена была довериться, — ничего не сыскав, станет утешительно гладить ее по головке и противным голосом убеждать, что фантазии все‑таки надо отличать от реальности. Ее воображение живо проиграло эту пытку. Что тут страх перед “проволоками”!

Теперь ее прогнать было нельзя, невозможно..

— Ты права. — Горин вздохнул. — Конечно, с тобой куда легче найти эту дрянь. Но, понимаешь…

Он выразительно посмотрел на ее голые ноги.

— Ага! — сказала она, сразу все поняв и просияв. — Я думала, но это ничего, я тихонечко, следом, и на меня не напрыгнут.

Однако не так уж и силен ее страх…

— Ладно, ладно, показывай, куда смотреть и что делать?

Снова ему показалось, что вспомнить детство не так уж трудно. Всего несколько подсказок — и вот уже изменилась походка, он, крадучись, припал к земле, трава стала вровень с лицом, он кожей ощущал накаты тепла и прохладу сырости, смотрел не вдаль, как привык, не вообще, а видел ближнее, массу мелочей, которые, приобретя другой облик, уже не были недостойным внимания мусором. Тот же осколок спектролита поражал, когда дальний, в травяных дебрях просверк вдруг выдавал его сходство с укромным лесным озерком; синяя от тиопсина проплешина виделась сквозь бурьян клочком опаленной пустыни, над которой маревом дрожал химический ток испарений; когда же в чащобной неясности проступали контуры каких‑то машинных штуковин, то своею странностью они надолго задерживали взгляд, который прежде равнодушно скользнул бы мимо. И как много диковинного открывал сам бурьян! И сколько было повсюду мелкой, снующей, копошащейся, прыгающей живности!

Философ, ведомый ребенком. Горин едва не рассмеялся при этой мысли. Ему давно не было так интересно, вернее, забавно. Он даже забыл о цели поиска, да и была ли она? Теперешний взгляд на мир рассеял сомнения. Оставалось лишь найти те самые “проволоки”,

найти и понять, какое их свойство так напугало детскую душу. Впрочем, и тут не было загадки. Вокруг хватало останков эмбриотехники, а эмбриотехника — это квазижизнь, полужизнь, самосохраняющие себя киберы, что‑то здесь могло двигаться само по себе, шевелиться, как оторванный хвост ящерки, бессмысленно и, может быть, долго. О, с таким миром, где, кроме живого и неживого, есть нечто третье, дети былых времен не сталкивались! Много ли тут надо воображения? Одна лишь возможность грядущих роботов и киберов в свое время пугала вполне взрослых и мыслящих людей. Каким парадоксом все это обернулось сейчас и здесь!

— Там… — выдохнула девочка. — Там!..

Горин быстро перевел взгляд туда, куда указывала ее рука. Сначала он ничего не увидел. Затем… Что‑то тонкое, темное вильнуло в траве и скрылось.

— Видели, видели?..

Еще бы! Горин привычно унял было взметнувшийся сумбур мыслей. Конечно, ему не померещилось! И на эмбриотехнику не похоже. Даже саморефлекторные соузлия киберов, чьи обрывки могли здесь оказаться, даже они не способны вести себя так, тем более мутировать в змееподобное существо. Правда, их взаимодействие с иной средой при каталитическом, вполне возможно, влиянии пролитых тут реактивов, — кто ж это изучал… Никто, понятно, не изучал. Нет, нет, все равно это близкое к абсурду допущение!

И явное нарушение краеугольного в науке “правила Оккама”: нельзя принимать маловероятное допущение, когда есть простое.

Жестом велев девочке поостеречься, Горин сделал несколько крадущихся шагов. Все, увы, очень~ просто и мерзко в этой своей простоте. Изгаженные места, какое бы солнце ни светило над ними, неизбежно становятся особой экологической нишей и райским прибежищем не одного лишь бурьяна: сюда могли, даже обязаны были стечься какие‑то редкие, потому, очевидно, еще не замеченные и, не исключено, зловредные твари…

Вольно или невольно поступаясь достигнутым, на миллиметр снижая культуру своей деятельности, мы сами скликаем их к своему порогу. И тем настойчивей, чем колоссальней наша мощь. Техника все одинаково возводит в степень — и хорошее и дурное, и достижение и просчет.

Как ни внимательно смотрел теперь Горин, он едва не прошел мимо “проволоки”. Она (быть может, “оно”?) едва различалась в тени густого бурьяна. Лишь смутное ощущение чего‑то живого в этом свернувшемся клубке, ощущение скорей инстинктивное, чем рассудочное, оспаривало мысль, что глаз видит лишь свив какого‑нибудь псевдонерва, а то и вовсе моток тонкого кабеля. В неясности этого сплетения воображение одинаково спешило различить и неотчетливый узор змеиной шкуры, и столь же сомнительный знак заводской маркировки.

Существо? Мутант? Проволока? Горин нагнулся, чтобы разглядеть.

— Нельзя так, лицо!..

Все произошло в одно мгновение. Девочка вскрикнула, кинулась, чтобы удержать, остеречь, и тут темное кольцо “проволоки” взвилось пружиной. Горин отпрянул, хотел заслониться и заслонить, но было поздно: меж ним и метнувшейся в лицо змейкой оказалась рука девочки.

Горин стремительно подхватил ее, падающую, побелевшую, не видя ничего, кроме точечной ранки, ринулся к поселку, твердя, что это не яд, не может быть ядом, а только шок, мчался к домам, словно позади рушилось небо. Так, в сущности, оно и было. “Да когда же, когда же кончится это!” — кричал в нем ужас, и он сам не знал, к чему это относится — к кажущейся бесконечности бега или к чему‑то еще.

ТИХИЙ ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА

В тот вечер все собрались поздно, усталые, и ужинали без лишних слов, обстоятельно,

плотно, как пахари после трудного дня. Неяркий свет, глухая замкнутость стен усиливали впечатление трапезы, словно не было позади ни долгих веков прогресса, ни бездны пространства, которые отделяли людей от Земли, а были только привычные заботы общины, работа, еда, короткие развлечения и крепкий, мужицкий напоследок сон.

Уже опустели тарелки, когда Биранделли уронил как бы в задумчивости:

— Тайскёйясёя…

— Тайскёйясёя или тойсойясёйя? — лениво переспросил Тагров.

— А есть разница? — Маленький, черноволосый Биранделли остро чиркнул гуманолога взглядом.

— Существенная, ибо первое — бессмыслица, второе же — “цвет зла”.

— А! Выходит, я неверно запомнил. Ты перевел по смыслу или…

— Без “или”, — уточнил Тагров. — Теперь кайся.

— Что‑что?

— Ты встретился с муарийцами. И произошло нечто как будто пустяковое. Но… Дальше?

— Дальше я позволю себе вопрос, — подал голос Шахурдин. Все подняли головы и насторожились. — Если что‑то случилось, даже пустяковое, но связанное с муарийцами, то почему об этом тотчас не было доложено мне?

— Потому, уважаемый капитан, что это такая историйка, которыми пай–мальчики не беспокоят занятых пап! — Биранделли озорно улыбнулся. — Типичная, такими после ужина сводят с ума мрачных гуманологов.

— Биологи шутят, — поднося к губам чашку кофе, прокомментировал физик Ясь. — Юмор, да еще под благодушное настроение, лучшая смазка для мелкого грешка, верно?

— “Что‑то физики в загоне, что‑то лирики в почете”, — пропел Биранделли. — Таков наш век, дорогой Ясь, однако замечено, что комплекс неполноценности рождает мнительность. Не так ли, капитан?

Блестя темным вороньим глазом, он покосился на Шахурдина.

— К делу, — сказал тот без выражения.

— Хм… Начало банальное. Маршрут. Гербарий. Ценозы. Слабоумные скуггеры, которые вечно путают божий дар с яичницей…

— Извини, я только позавчера поставил новые сканографы! — возмущенно перебил его приборист.

— Все равно границы ландшафтов они различают плохо… Но дело не в этом. Значит, так. Уже к вечеру натыкаюсь я на совершенно незнакомое растеньице. Прелесть! Такой, понимаете, розовенький, как мечта влюбленного, воздушно–бархатный псевдохвощ. Прявда, так классифицировать его нельзя, поскольку проламинарные медеоустьица… Молчу, молчу! Словом, для здешней, впрочем, и для любой другой флоры нечто феноменальное. Только я подошел к скуггеру, чтобы сложить образцы, глядь — муарийцы. Трое, все в этих своих присосочных коконах. Поздоровались, и сразу выяснять, что я намерен делать с букетом. Я объяснил популярно. Вот тут и началось: “Тойсойясёйя, тойсойясёйя!” Попробуйте угадать, что было дальше.

Смеющийся взгляд Биранделли обежал всех.

— Все ясно: муарийцы поблагодарили тебя за прополку!

— Просветили насчёт медеоустьиц!

— Посоветовали преподнести букет капитану!

— Добавить этого розовенького в отчет!

— Смазать им на ночь пятки!

— Фу! — Биранделли скорчил гримасу. — Шедевры юмора и гекатомбы фантазии. Кого, спрашивается, человечество посылает к звездам? Муарийцы, да будет всем известно, пожалели меня, неразумного. И вас заодно. Вот так, други. Теперь и кофе выпить можно.

Он неторопливо налил кофе, неторопливо размешал ложечкой сахар.

— Что же дальше? — не выдержал Ясь.

Бираделли глянул на физика, как кот на выманенную из норки мышь.

— Тойсойясёйя находится здесь, в хранилище, — сказал он веско. — Она, повторяю, здесь. По каковой причине нас всех ждут неведомые, но страшные беды.

— Точнее, — попросил Шахурдин.

— Я предельно точен. Тойсойясёйя, по мнению муарийцев, накликает беды. Разные. Поэтому ее нельзя держать в доме. Ни в коем случае! Муарийцы первым делом осведомились, в порядке ли мой достопочтенный ум. Отдаю ли я себе отчет в содеянном. Уходя, они красноречиво вращали затылочным глазом. В аналогичной ситуации мы крутим пальцами у виска.

— Ну и что? — нетерпеливо спросил Ясь. — В чем соль историйки?

— Подожди, будет и соль, будет и перец… Вопрос уважаемому гуманологу: существуют ли беспричинные суеверия? Или все это недостойная внимания чепуха?

На крупном, грубо обтесанном лице Тагрова проступило слабое подобие улыбки — так, верно, могла бы улыбнуться гранитная глыба.

— Верно третье.

— Браво! — воскликнул Ясь. — Ответ в классическом стиле гуманологии. Чем больше я с ней знакомлюсь, тем больше ценю простую и ясную физику.

— Которая и нам на многое раскрыла глаза, — кивнул Тагров. — Со времен Гюйгенса и Ньютона, три столетия, если не ошибаюсь, вы спорили, что есть свет: волна или поток частиц? Факты подтверждали и ту и другую точку зрения. А что вам в конце концов ответила природа?

— Верно третье! — воскликнул Бираделли. — Свет — это волночастицы. Снимаю свой глупый вопрос.

— Да, тебя, как и капитана, волнует другое, — спокойно сказал Тагров. — Тебя беспокоит, не оскорбил ли ты нечаянно муарийцев, не нарушил ли какое‑нибудь их табу. Вот тут я отвечаю твердо и категорично: нет!

— Уф! — с облегчением вздохнул Бираделли.

— Основание? — быстро спросил Шахурдин.

— Бираделли неверно истолковал прощальный взгляд муарийцев. “Красноречиво вращая затылочным глазом…” Это отнюдь не сомнение в умственных способностях нашего дорогого биолога, а знак расположенности и сочувствия. На недруга, осквернителя, вообще нехорошего человека муарийцы глядят затылочным глазом прямо, в упор, не вращая им. Потому что врага ни на секунду нельзя терять из видимости. А что муарийцы дивятся нашим поступкам, так это естественно. Все, кончено с этим. Спасибо за историйку.

— Нет, не покончено, — вдруг сказал Бираделли. — А проклятие?

— Проклятие?

— Ну, наговор, заговор… Тойсойясёйя находится тут, за стеной. Не накличет ли она беды?

— Чего–чего?

— Беды. Серьезно спрашиваю.

Шахурдин нахмурился. Ясь хихикнул: сейчас Тагров был похож на человека, у которого осведомились, не плоская ли, часом, Земля. Но смешок оборвался, ибо Бираделли, бледнея на глазах и, видимо, чувствуя это, поспешно растянул рот в прежней улыбочке, теперь натужной и жалкой, как всякая попытка скрыть наконец прорвавшуюся тревогу.

— Несчастье? — Тагров подался вперед всем своим мощным телом. — Ну?

— Прости, что не сказал об этом сразу. Я лишился… — мучительно напрягшийся голос Бираделли сорвался в шепот. — Лишился невозместимого. Да, невозместимого… Я потерял…

Тишину, казалось, можно было взвешивать на весах.

— Час своей жизни! — торжествующе объявил Бираделли. И кротко добавил: — При диспуте с муарийцами, как все уже проницательно догадались…

— Ну, артист! — Тагров восхищенно грохнул кулаком по столу, но этот звук перекрыл

дружный хохот. — Подловил‑таки!

Несчастье произошло часом позже. Оступившись на лестнице, Ясь упал и сломал ногу, чего ни с одним звездопроходцем вот так не бывало.

Физика тут же отнесли в регенерационную, подключили к биорезонатору, благотворное действие которого, однако, вызвало у бедняги нередкое в таких случаях ощущение щекотки, что отнюдь не улучшило его настроения. Яся с совершенно серьезной миной принялись утешать историями об астрогаторе, который, зевая на посту, вывихнул себе челюсть, о планетологе, который, регулируя температуру скафандра, заполучил насморк, о механике, который так рьяно ловил в невесомости масленку, что выдавил ее себе за шиворот, и тому подобным фольклором.

Бираделли, естественно, намекнул на зловещее, особенно для физиков, влияние тойсойясёйи, отчего Ясь озверел окончательно и выгнал всех вон, а потом, перебрав в памяти сказанное, долго посмеивался наедине. Может быть, поэтому кость у него срослась за рекордный срок.

Вся эта суета, понятно, не помешала полевикам наутро выйти в маршрут. Среди них был и планетолог Брук.

Брук и не подозревал, что в его душе притаился ребенок, способный завороженно, в неловкой позе, прильнуть к трещине скалы, во мраке которой лиловели аметисты, льдинки горного хрусталя золотились пылью крохотных кристалликов пирита, а прозрачность топазов хранила в себе отсвет небесной голубизны.

Сбылась мечта детства, и время для Брука остановилось. Теперь он мог сознаться, что именно тяга к красоте камня побудила его стать планетологом. Увы! Планетология уже давно мыслила иными категориями, на Земле давно не осталось неоткрытых занорышей, да и кому нужны драгоценные камни, коль скоро промышленность могла их синтезировать в любых количествах, наделяя к тому же достоинствами, каких в природе не сыщешь?

И все‑таки нет! Сыплющиеся из кристаллизаторов горы искрометных алмазов или рубинов были заводской, стандартной, вроде стекляшек, продукцией. А сейчас взгляду открывалось нечто сокровенное, выношенное в чреве Земли, девственное и неповторимое.

Земли?! Брук потрясенно уставился на занорыш. Здесь же совсем другая планета! Да. Но стоило, включив фонарик, спиной заслонить ртутно–блещущее муарийское солнце, как светлая гармония кристаллов заставляла забыть о чужом мире.

Его не было здесь, в толще. Здесь, в тысячах парсеках от Земли, тот же топаз оставался самим собой, с детства пленившим воображение камнем. Его облик не был земным или муарийским. Он был извечен, как… Брук не нашел сравнения. Его ромбическая геометрия была данностью, ни от места, ни от времени не зависящим постулатом этого минерала. Нигде, ни под каким солнцем он не мог стать кубом или тетраэдром. Да и весь минеральный мир Вселенной был способен упорядочиться всего двести тридцатью способами, а двести тридцать первая кристаллическая форма упаковки атомов не могла возникнуть нигде и никогда.

Если бы не шлем, Брук вытер бы со лба пот — так его поразила эта известная еще со студенческой скамьи и теперь наглядно материализовавшаяся истина. Все чужое вокруг! Только не камень. Это жизнь блистала разнообразием обликов, неповторимо строила себя и на Земле и здесь, всюду рвалась к свободе форм. В ней были возможны бесконечные комбинации, сочетания и сцепления, тогда как в камне…

Боль в затекшей пояснице, не дав додумать, напомнила о времени. Брук с досадой глянул на часы. А, пропади оно все пропадом! Тяжело вздохнув, он ввел в занорыш лучевой резак, мысленно, с саднящим чувством предательства, попросил прощения у той каменной красоты, которую сейчас должен был, не мог не ограбить.

Занорыш озарила бесшумная вспышка. В кристаллах метнулось разноцветье молний, и подсеченная друза с печальным шорохом осела в подставленную ладонь.

Вынутые топазы ртутно блеснули на солнце. Теперь в них не было ни земной голубизны, ни космической надвечности: муарийское солнце сделало их муарийским.

Прежде чем передать образец скуггеру, Брук чуть изменил неудобную позу. Под коленом со скрежетом пополз щебень.

“Не уподобиться бы Ясю…” — рассеянно подумал Брук. Взгляд его все еще был прикован к занорышу. Отдав скуггеру мысленный приказ, он, не глядя, отвел руку, чтобы манипулятору–автомату было легче принять образец. Брук успел уловить метнувшуюся тень механической лапы, прежде чем страшный удар по темени погасил в нем мысль.

В тот же миг на диспетчерском пульте базы полыхнул красный сигнал тревоги. Тремя секундами позже аварийный реалет был уже в воздухе; тем временем спасательная система скафандра судорожно боролась за жизнь планетолога. Врачу, когда он очутился подле Брука, потребовалось не более двух минут, чтобы вывести его из клинической смерти. Когда реалет взмыл обратно к базе, возле скалы осталась лишь забытая друза. Пыль тотчас припорошила пятнышко крови на сверкающей грани одного из топазов.

Просмотрев заключение техэкспертизы, выслушав мнения, Шахурдин внешне остался спокойным. Все остальные тоже сделали вид, что ничего ужасного не произошло. В конце концов Брук жив, скоро будет здоров, а что касается самого происшествия, то ведь бывает всякое…

Бывает, точно, всякое. Теория вероятностей допускает даже такое сложение скоростей всех молекул, при которой в стакане может вдруг закипеть дотоле холодная вода. И если такой феномен, как показывают расчеты, способен случиться во Вселенной раз в триллионы триллионов лет, то есть практически нигде и никогда, то роковая поломка скуггера, которая едва не погубила Брука, увы, лежала в пределах обыденной вероятности.

Но логика логикой, а воображение невольно набрасывало на случившееся зловещую тень робота, который отнюдь не слепо метил в склоненную голову человека. Два несчастья подряд! И когда Тагров услышал, как то в одном, то в другом разговоре всплывает сопровождаемое неловким смешком слово “тойсойясёйя”, он нахмурился.

— Вот что, друзья, — сказал он тем же вечером. — Прошу отнестись к моим словам серьезно. Вчера Бираделли весьма красноречиво рассказал нам о предостережении муарийцев. После этого Ясь сломал ногу. После этого чуть не погиб Брук. Буду рад ошибиться, но это может случиться снова, если мы убедим себя, что между всеми тремя событиями есть причинная связь. Подождите! — Движением руки он оборвал поднявшийся гул. — Сила разума в том, что он везде и всюду ищет такую связь. Но недаром говорят, что недостатки есть продолжение наших достоинств. Ах какими глупцами нам порой кажутся наши далекие, погрязшие в предрассудках предки! Меж тем вот это устройство, — Тагров постучал себя по лбу, — совершенно одинаково что у них, что у нас. Они точно так же искали объяснения всему на свете, не их вина, что первое приближение всегда дальше от истины, чем последующее. Давайте проанализируем случившееся. Внушение было? Было — предостережение муарийцев. Последовало подтверждение? Последовало. И это в опасной, стрессовой обстановке чужого мира. Будь нам свойственна средневековая психология, в нашей маленькой общине уже возникло бы стойкое суеверие. Запросто, как в историко–лабораторном эксперименте, ибо каким было первое постижение характера причинно–следственных связей? “После этого, значит, вследствие этого”. А если причина события непостижима, следовательно, дело не обошлось без потустороннего! Однако мы люди другой эпохи, и, явись нам сейчас привидение, мы первым делом стали бы искать голографическую установку. Но! Привычка всюду искать корреляцию, взаимосвязь может сыграть с нами злую шутку. Я уверен, что кое‑кто уже провел расчет вероятности случайного совпадения всех случаев, впал в легкое замешательство и подумал о некой закономерности событий…

— А что тут плохого? — быстро спросил Шахурдин. — Я, например, обязан учесть и такой вариант.

— Да, мы обязаны сделать это. Но на этих путях, единственно правильных и возможных, тотчас возникает гипотеза неслучайности всех трех событий. Неизбежно. Тут нас и подстерегает ловушка, против которой я хочу предостеречь. Сознание допускает —

только допускает! — причинную связь. И оно настораживается. А это опасно.

— Не понимаю. Объясни.

— Каждый из нас спокойно пройдет по досочке шириной в ладонь. Если она лежит на земле. И каждый, скорее всего, сорвется, если та же досочка перекинута через пропасть. Она стала уже? Нет. Человек изменился? Да! В сознании безумствует сигнал тревоги: “Не упасть, ни в коем случае не упасть!” На это мобилизуются все силы, психика перенапрягается, одно судорожное движение следует за другим, человек шатается и — падает. Именно потому, что чересчур стремился не упасть! Мы же в этом мире все идем как бы по досочке.

— То есть я сломал ногу, а на Брука обрушился кибер, потому что мы оба испугались глупого предупреждения? — вскинулся Ясь. — Славно! Да я через пару минут и думать забыл от этом дурацком цветке, что я — мистик?

— Ты забыл. Забыло ли об этом твое подсознание?

— Оно у меня дрессированное… И уж скуггер‑то суевериям в принципе не подвержен!

— Да, это или из ряда вон выходящий случай или… — Тагров порылся в кармане. — Какая особенность придала всему трагический и неправдоподобный оттенок? Не та, что сломался скуггер, они и раньше ломались, а та, что удар манипулятора пришелся точно по склоненной голове человека. Теперь проверим…

Выхватив из кармана руку, Тагров метнул в Яся шарикоподшипник. Тот мгновенно его перехватил. Кто‑то вскрикнул.

— Спокойно! — сказал Тагров. — Даже если бы Ясь не перехватил шарик, беды не было бы: я нацелился мимо… Но Ясь перехватил. Хотя был застигнут врасплох. Хотя его внимание было отвлечено. Все как у Брука! А у Брука реакция не хуже; у всех у нас превосходная реакция, что само собой разумеется. И все же Брук не успел отклониться. Тут могут быть разные объяснения. И одно из них… Человек падает, потому что слишком стремится не упасть.

— Позволь, — ошарашенно пробормотал Ясь, разглядывая шарик, словно тот был по меньшей мере осколком нейтронной звезды. — Все должно быть совсем наоборот! Как раз наоборот! Предупрежден, значит, вооружен.

— Человек настороженно ступает на карниз и срывается. А лунатик спокойно проходит.

— Но мы‑то живем разумом! — воскликнул Ясь.

— Слеп тот разум, который видит только себя. — Тагров опер руки о стол. — У одного индейского племени существовало поверье: нельзя, опасно смотреть на радугу, которая блещет над водопадом. И не смотрели, а кто нарушал запрет, тот заболевал. Нелепо, смешно, далеко от нас? Не спешите… Стоит загипнотизировать тебя, кого угодно, приложить к телу хоть этот шарик, внушив, что это раскаленное железо, как, будьте уверены, кожа вздуется ожогом. Между прочим, животному ничего такого внушить нельзя… Вы думаете, человек всю свою историю боролся только с внешними обстоятельствами? Ничего подобного! Где ныне те лешие, ангелы, феи, демоны, вурдалаки, которые прежде так часто являлись людям и так рьяно вмешивались в жизнь? Нет их, сгинули, как только изменилось сознание. Но возникли‑то они не вопреки, а благодаря сознанию! Кролику ангелы и демоны не являются… Уж не думаете ли вы, что сознание утеряло способность творить мнимую, но весьма активную реальность только лишь потому, что соху сменил звездолет?

— Ясно, — отрубил Шахурдин. — Ты опасаешься “эффекта черной кошки”.

— И этого тоже, ибо кто вздрагивал, когда дорогу пересекал милый и симпатичный кот, для того он становился дурной приметой. Единственно потому, что человек терял уверенность в себе, а она — мать успеха. Поэтому настаиваю: нет никакой, ни малейшей реальной связи между тойсойясёйей и неприятностями, которые нас постигли. Нет и не может быть!

Некоторое время все молчали, обдумывая сказанное.

— Все правильно, — проговорил наконец Биранделли. — Тойсойясёйя, ручаюсь,

безвредна, как еловая шишка. Но… не нравится мне такая категоричность: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Извини меня, но это суеверие наизнанку. Опять же один мудрый человек — Рабиндранат Тагор — сказал столетия два назад: “Если мы закроем дверь перед заблуждением, то кто же ее откроет перед истиной?” Мы, биологи, однажды получили предметный урок. “Бери такое‑то лекарственное растение в безлунную полночь, по росной траве…” Поморщились: знахарство, суеверие! Бери, значит, в свете новейших достижений науки когда заблагорассудится. А потом, в свете еще более новых достижений, выяснилось, что именно ночью, обязательно безлунной, при стойком антициклоне лекарственная активность растения на порядок выше, чем в любое другое время.

Тагров кивнул.

— Верно. Предостережение муарийцев — не обязательно суеверие.

— Прекрасно! — изумился Ясь. — Начал за здравие…

— И тем же кончил, — возразил Тагров. — Муарийцы стоят на уровне людей каменного века, а мы летаем на звездолетах, но да не ослепит нас гордыня! Люди и до появления науки успешно познавали мир. Они ошибались, как в той истории с радугой? Будто мы никогда не заблуждаемся… В начале двадцатого века к Южному полюсу одновременно устремились Скотт и Амундсен. Первый слишком доверился передовой технике своего времени и погиб, второй положился на опыт “невежественных эскимосов” и вернулся победителем. Работай мы на Земле, я бы очень серьезно отнесся к любому предостережению “дикарей”, трижды бы все проверил. Но мы не на Земле, вот в чем дело! Не исключено, что тойсойясёйя чем‑то вредна для муарийцев. Но не для нас. Не та физиология! Чужие мы здешней биосфере, и этим все сказано.

— Итак, — Шахурдин припечатал ладонь к столу, — надеюсь, всем все ясно? Впредь заведу черного кота и буду всех проверять на устойчивость к предрассудкам…

***

Два дня прошли спокойно. За стенами бушевал яростный ураган, дозорный видел, как черные смерчи выламывали из скал гранитные глыбы, но внутри корабля было тихо, словно в университетской библиотеке, и даже тонкие аналитические весы не колебались от бешеных толчков инопланетной стихии.

На третий день при испытании взорвался только что отремонтированный ретроблок.

Обошлось без жертв. Когда выяснилась причина аварии, Шахурдин сначала побагровел, затем побледнел, и было отчего: ремонтная бригада грубо напутала в гомеостатической схеме!

— Ужасно, — пожаловался капитан своему заместителю. — В доброе старое время начальник устроил бы разнос, вкатил выговор, и душа бы его утешилась — отреагировал на ситуацию… А нам каково? Сейчас для людей нет горше наказания, чем стыд за свою ошибку. Вот и реагируй в этих условиях, проявляй, так сказать, власть…

— Давайте все спишем на тойсойясёйю, — попробовал пошутить помощник, но Шахурдин глянул так, что тому стало не по себе.

Буря стихла, и экспедиционники двинулись в маршрут. Сутки спустя Бираделли обнаружил у себя в постели ксилла — крохотного, похожего на репей зверька, с такими же, только ядовитыми колючками.

Подавленный стон пронесся по кораблю. Беда, конечно, была не в том, что ксилл ядовит, а в том, что он очутился в помещениях, чего в принципе быть не могло. Как это вышло, понять не удалось. Очевидно, ксилл прицепился к скафандру, застрял в его складке и кто‑то, не заметив, внес его в шлюзовую камеру. Но дальше? Обнаруженный в конце концов дефект некролампы вроде бы давал намек. Но во–первых, лампа в шлюзовой камере была не единственной, во–вторых, имелись и другие процедуры биодезактивации, которые тоже не сработали.

Ксилл, когда его нашли, был уже мертв: земной воздух не годился даже для этого неприхотливого существа. Сколько и каких бактерий, вирусов он, однако, успел рассеять?

Оставалось лишь надеяться, что воздух корабля окажется губительным и для них. Но о таком исходе, помня все прежние случаи, никто, понятно, уже не мечтал. И точно. Бесцветная липкая плесень обнаружилась вскоре возле шлюзовой камеры, затем и в других местах.

Натянув скафандры, словно родной корабль стал частью чужой планеты — а так в сущности и было, — все с мрачным ожесточением принялись за работу. К концу недели не осталось ни миллиметра свободной поверхности, ни пылинки в воздухе, которых бы трижды не опалил луч некролампы. Плесень исчезла, но всеми продолжало владеть гнетущее ожидание новых бед.

— Открываем совет, — сказал Шахурдин. — Ей–ей, он нам нужен сейчас, как никогда.

Никто не произнес ни слова. Все, не сговариваясь, посмотрели на потемневшего лицом Тагрова. Тот резко вскинул голову.

— Я ошибся. Начну с этого признания — достаточно? Сейчас я убежден, что тойсойясёйя влияет на человека. Только не знаю как.

— Стоит ли спешить с выводами? — остановил его Шахурдин. — Я не утверждаю, что ты не прав, но давай рассудим. Было два случая, и ты уверенно их объяснил, не прибегая к скользким допущениям. Их стало четыре, даже пять, но ведь теория вероятностей допускает и большую серию совпадений.

— Математика допускает, а психология — нет, — убежденно сказал Тагров. — Переоценить ситуацию меня заставило одно несовпадение ожидаемого с действительным. Каждый из нас знает по опыту, что в любой массовой экспедиции обычно выделяются люди, на которых, что называется, все шишки валятся. Так или не так?

Все дружно закивали.

— А среди нас таких людей нет. Раскрою небольшой секрет. Работы Эстремадуры и Гвоздева недавно доказали, что везение, удачливость, иначе говоря, подсознательная оптимизация поступков — такое же производное генетических особенностей человека, как мягкость или решительность характера. Что природную неудачливость можно подавить воспитанием и самовоспитанием, излечить средствами психотерапии, как уже лечат острую вспыльчивость или мнительность. Астрослужба, естественно, первой использовала это открытие. Она не афиширует новинку, чтобы не травмировать отсеявшихся, но с некоторых пор в рискованные экспедиции людей подбирают и по критерию удачливости. Так что мы все не просто знающие и все такое прочее люди. Мы еще и удачники. Которые вдруг стали неудачниками, каких свет не видывал! Человек, бывает, ломается. Но чтобы изменились сразу все? Так быстро?

Биранделли встрепенулся:

— Уж не предлагаешь ли ты…

— Да! Тойсойясёйю надо выкинуть.

— Именно этого я и боялся, — гневно сказал Ясь. — Не отрицаю: почва трясется. На наших глазах развалилось стройное здание гуманологической теории. Давайте, чтобы его спасти, вынем самые краеугольные камни науки? Капитулируем перед мистикой и чертовщиной?

— Если непознанное тождественно мистическому, а отступление — капитуляции, тогда я с тобой согласен, — спокойно возразил Тагров.

— А! Слова, слова, слова! Хорошо, я не прав, но как все это будет выглядеть на Земле? Случилось непонятно что, испугались неизвестно чего. Прелестно все это будет выглядеть на Земле.

— Ясь прав, — твердо сказал Шахурдин. — Отступать можно и должно, лишь зная, перед чем и во имя чего. Все иное просто бегство.

— И трусость, — добавил Тагров. — Я верно закончил твою мысль? А теперь представьте, что здесь, на столе, возникнет брусок плутония. Нас будто ветром сдует, не так ли? Сдует, хотя никто не ощутит ни малейшей боли. Потому что мы знаем, чем грозит этот с виду обычный металл. Сейчас ситуация противоположная: нас жжет, опаляет нечто с виду невинное, нам больно, но мы не бежим только потому, что не знаем, отчего нам больно. И

это вы считаете достойным человека, здравым, сугубо научным подходом? Биранделли был прав: желая поубедительней доказать, что Земля не плоская, мы часто забываем, что она все‑таки и не шар… Буду опять же банален. Бесконечен мир, в котором мы живем, бесконечны его свойства и связи. На судьбу человека, к примеру, накинута сеть, сотканная жизнедеятельностью микроорганизмов. Так? Так! Вот уже несколько веков мы звено за звеном ощупываем эту сеть, рубим ее удавки, освобождаемся от них… почти освободились. А раньше? В те века, когда она была незримой, чувствовались ли ее зловещие касания? Или, скажем, влияние солнечных пятен на сердечную деятельность. Это уже космическая сеть! Вот о чем я постыдно забыл, твердя о заведомой безвредности для нас тойсойясёйи: есть сети, раскинутые под всеми звездами… О некоторых мы знаем многое. О других кое‑что. Однако должны, обязаны быть сети, о которых мы пока не знаем ничего. Только где‑то вдруг звякнет колокольчик… Его‑то мы сейчас и слышим. Глупо ли отдернуть руку и сообразить, какую сеть мы затронули, прежде чем лезть в нее снова?

— В теории все правильно, — строго сказал Ясь. — Есть сети, и, кстати, чем обширней наша деятельность, тем больше мы их затрагиваем…

— Познали ту же ядерную энергию, — кивнул Биранделли, — и — пожалуйста!

— Не перебивай… Незримые сети можно предполагать где угодно, в чем угодно, пугаться этого — значит замереть навсегда. Нет, ты поди, как сказал еще Менделеев, продемонстрируй! Не можешь… Нет этого — нет науки.

— Есть факт: предостережение муарийцев…

— С той же вероятностью это может быть мифом, предрассудком, глупостью!

— Да, если брать его изолированно. Кстати, наши далекие предки, понятия не имея о законах генетики, отвергли внутрисемейные браки, хотя это требовало осмысления судеб многих поколений, что и современной науке удается нелегко. Еще кстати: уже в Древней Индии хирурги поняли, что операции требуют стерильной чистоты, а их просвещенные, ведающие о микробах европейские коллеги еще в начале девятнадцатого столетия не считали нужным мыть перед операцией руки. Вот что такое коллективный разум поколений, вот как он чувствует тайные сети! Его опыт требует корректировки? Что ж… Проверки, осмысления и корректировки требуют показания даже сверхточных приборов. Но это так, между прочим. Критерий истины — практика. А она, как видите, подтверждает вывод муарийцев. Он, стало быть, не миф, не ошибка — факт!

— Который ты сам не менее убедительно ранее истолковал совсем иначе! — воскликнул Ясь. — И новые случаи можно истолковать в рамках прежнего допущения! Не хуже! А наука — это точность, точность, точность. И однозначность выводов. Их достоверность. Дважды два — четыре. Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Вода есть соединение водорода с кислородом. У тебя же… Это беда всей гума–нологии, она никак не может стать точной наукой.

— В твоем понимании…

— В каком угодно! Прости, но все, что ты сказал, — это слова. А современная наука родилась с девизом: “Ничего со слов!” С ним она нас вывела к звездам, и ничто не заставит меня отступить, теряя это знамя.

— Даже если завтра новое несчастье оборвет чью‑то жизнь?

— Риск — это наша профессия.

— И убедить тебя в закономерности событий может только эксперимент, только показания точных приборов, только бесспорные математические выкладки? Если, по–твоему, наука сводится к этому…

— Это ее краеугольный камень. Я все сказал.

Тагров молча перевел взгляд на Шахурдина, и тот понял, что хотел сказать гуманолог. Все поняли.

— Наука гораздо шире своих методов… — Шахурдин откашлялся. — Они менялись, меняются… Словом, это не икона, чтобы на нее молиться. Чем мы, однако, не можем

поступиться ни при каких обстоятельствах, так это самоуважением. Думаю, что мы его лишимся, если отступим с пустыми руками.

— То есть, без объективных доказательств, ты хочешь сказать. — Тагров устало наклонил голову. — Которых за оставшееся время мы можем вообще не найти. А ставка — жизнь…

— А на другой чаше весов — долг ученого. Самоуважение. Гордость человека. Я выбрал. Что решат остальные?

Ясь согласно кивнул, Биранделли кивнул, все остальные тоже. Все кивнули в мрачном молчании.

“Вот так попадают в ловушку! — пронеслось в мыслях Тагрова. — А еще убеждаем себя, что нет на свете ничего важнее благополучия и жизни…”

Он перевел взгляд на пульт. Тишину рубки наполняло сухое пощелкивание приборов–регистраторов. Пока люди спорили, корабль, словно живое существо, озирал пространство вокруг, и не было ничего — ни дальнего радиоголоса звезды, ни близкой зарницы, — что укрылось бы от созданных человеком дозорных.

Но они могли оградить лишь от тех бед, которые были известны людям. Изучить то, что уже заприметил разум. В такой, как сейчас, ситуации пользы от них было не многим больше, чем от иконостаса.

Оставался эксперимент. “Цвет зла” можно было унести с корабля, снова вернуть, опять унести и сравнить результаты. Но этот рискованный опыт требовал еще и времени, а срок экспедиции уже подходил к концу.

Тупик! “Мы действуем так, как мыслим, а мыслим так, как привыкли”, — с горечью подумал Тагров.

Его взгляд ушел внутрь, словно гуманолог прислушивался к чему‑то в глубине себя. Уж не к тихому ли звону неведомого колокольчика?

— Вот что… — Тигров как будто очнулся. — Надо сделать новые психограммы всех членов экипажа.

— Есть идея? — быстро спросил Шахурдин. — Какая?

— Сделаю — скажу.

***

Вскоре Тагров расстелил на столе шуршащие рулоны.

— Кто умеет читать психограммы? — Он потер красные от усталости глаза.

— Легче разобраться в конформном отображении астролиний, — косясь на графики, пробормотал Ясь.

— Слева, — пояснил Тагров, — наши психограммы месяц назад. Справа — теперешние. Проследите за диффракцией Т и Н–прим волн. Особенно обратите внимание на чётки узлов дивергенции. А теперь смотрите, как все это выглядит сейчас.

— Разница есть. — Шахурдин проследил за указующим пальцем Тагрова. — Вот только не припомню, как ее объяснить.

— Еще недавно ее и не могли объяснить. Это фазовый сдвиг “комплекса удачливости”. Здесь, как я и ожидал, он далеко выходит за пределы нормы.

— Объективное подтверждение! — воскликнул Шахурдин.

— Да! Соответственно возникает рабочая гипотеза. Всякое растение слабо излучает в широком спектре волн. Излучение местного растения под названием тойсойясёйя уникально тем, что резонансно воздействует на волновые импульсы тех центров головного мозга, которые ведают оптимизацией поступков. Мы внесли на корабль своего рода психодеструктор.

— Приемлемо? — Шахурдин обернулся к Биранделли и Ясю.

— Чепуха какая‑то. — У Яся был слегка ошарашенный вид. — То есть я не ставлю под сомнение конечный вывод. — Он потрогал листы психограмм, словно желая убедиться в их реальности. — Что и как, однако, воздействует? Неизвестный вид излучения? Так ведь растение — это растение, а не генератор новых форм материи. Не проходит. Значит,

известный тип излучения? Однако на сильное, аномальное излучение Биранделли, надо полагать, тотчас обратил бы внимание. Значит, слабое. И такое влияние? Сквозь стены? Это уже не физика, а чертовщина.

— Чертовщина? — Биранделли встрепенулся. — Нет, знаете, это уже по моей части! Ну‑ка, что произойдет, если в живую клетку поступит квант излучения с энергией меньшей, чем энергия теплового движения молекул?

— Как что? Тепловое движение забьет слабый импульс. Он потонет, как писк комара в реве буйвола. Это самоочевидно.

— Даже самоочевидно? Так вот, к общему сведению: клетка отзывается на дозы энергии в миллиарды раз меньшие, чем величина теплового движения молекул. В миллиарды раз меньшие! Более того, на организмы, как правило, физиологически воздействуют не сильные, а, наоборот, очень слабые поля. Вот ведь какая чертовщина… Теперь только приказ заставит меня расстаться с тойсойясёйей. Это такой объект излучения, такой объект!

Биранделли даже закатил глаза от восторга.

— Приказ будет. — Голос Шахурдина стал жестким. — Впредь до выяснения, что, надо полагать, станет задачей особой экспедиции, тойсойясёйя останется на планете. Все! Я не имею права лететь с деструктором на борту.

Шахурдин и Тагров были одни в рубке. Корабль близился к Солнцу. Оно волшебно сияло среди россыпи звезд — крохотный огонек приюта среди бесконечной ночи, единственный во всей Вселенной фонарь, который обещал и свет, и дом, и ласку, объятия и близость, синь неба и запах цветов.

— Как хорошо, что тебе это удалось доказать, — потягиваясь и жмурясь, проговорил Шахурдин. — Иначе, чего доброго… Я не раз вспоминал о судьбе Скотта.

— Ты доволен?

— Еще бы! Такого тихого, спокойного полета у меня давно не было. Или это кажется по контрасту? Те дни мне во сне снятся, просыпаюсь так, будто родился заново. Темный ужас…

— Темный, — эхом отозвался Тагров.

Он сидел, уперев локти в колени, опустив подбородок на сцепленные пальцы рук, и, не мигая, смотрел на крохотный диск Солнца. Постаревшее лицо гуманолога было глубоко изрыто тенями.

— Если бы не твой график… — нахмурясь, Шахурдин покачал головой.

— Моя выдумка, — глухо ответил Тагров.

— Что?!

— Никаких дивергенций, никаких таких сдвигов на психограммах не было, — безжизненно проговорил Тагров. — А нас между тем уже захлестнула незримая петля. Но вы были готовы верить только приборам.

— Ты… ты… — Капитан задохнулся, не найдя слов.

— Я! — Тагров с вызовом взглянул на капитана. — И отвечать буду я! Но корабль цел, все живы, а загадка… — Он махнул рукой. — Подождет, никуда не денется загадка. Ясь по–своему был прав. Но и опыт поколений тоже чего‑то стоит! Слишком громко тогда звонил колокольчик, я не мог поступить иначе…

— Не мог… — эхом откликнулся Шахурдин. — Нет. — Он покачал головой после недолгого молчания. — Я тебе не судья, ибо, возможно, ты спас всех нас… Но свою репутацию ты погубил окончательно и бесповоротно. Ведь даже когда будет доказана — верю! — твоя правота…

— Не имеет значения, — тихо сказал Тагров. — Ни одна репутация не имеет значения, если за нее надо платить хоть каплей чужого страдания.

С минуту оба сидели неподвижно. Затем рука капитана скользнула по подлокотнику и благодарно стиснула пальцы Тагрова.

И ВСЕ ТАКОЕ ПРОЧЕЕ…

Близился поворот, за которым должна была открыться река Счастья, как Таволгин ее называл, — Руна, как ее называли географические карты. В глухих берегах, где от ягод черники сизовела трава, речка, свиваясь в тугие узлы струй, неслась через перекаты к долгим и тихим заводям, куда поплавок падал, как в поднебесное зеркало, и не было в ней числа быстрым хариусам, темным сигам, красноперым язям, всему, что встречалось так редко на нынешней Земле.

Дрожа от сладостного предвкушения, Таволгин повернул руль. И Руна открылась.

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку…

Под обрывом, как прежде, в солнечных вспышках бежала вода, взгляд, как прежде, очарованно устремлялся вдаль, к кипучим порогам, нависшим теням сосен, чреде скал, за которыми угадывался другой столь же извечный пейзаж. Но посреди заветной поляны три вездехода тупыми рылами капотов осадили громоздкий, с чем‑то радиотехническим наверху автофургон, вокруг которого сновали люди, все ловкие как на подбор, в одинаковых зеленоватых куртках.

Первым намерением Таволгина было развернуть машину и поскорее умчаться. Но куда? Другого подъезда к реке не было. Правда, дальше по берегу оставались сырые полянки, куда в ожидании приезда друзей можно было приткнуться, мирясь с нечаянным и досадным, но, может быть, временным соседством.

Таволгин медленно тронул машину. Тут ее заметили, и несколько лиц повернулись в каком‑то недоумении. От группы отделился человек постарше и пошел наперерез тем уверенным шагом, от которого Таволгину сразу стало как‑то не по себе.

И точно. Лениво приказывающий взмах руки был красноречивей слов Странно чувствуя себя уже в чем‑то виновным, Таволгин затормозил.

— Запретного знака не видели? — бесстрастно, как и шел, спросил человек и только после этого обратил на Таволгина взгляд.

Тот еще ничего не успел ответить, только распахнул дверцу, чтобы объясниться, когда лицо спрашивающего внезапно удивилось и не то чтобы обрадовалось, но приобрело живой интерес.

— Фью! — присвистнул он. — Родимчик!.. Ты здесь какими судьбами?

Слово “Родимчик” напомнило Таволгину все, и он тоже узнал человека. Таволгина звали Вадимом, но в детстве, желая взбеленить, его дразнили Вадимчиком–Родимчиком, а придумал это прозвище Родя, Родион Щадрин. И вот, постаревший, он был здесь, на Руне.

Воспоминания детства, как и положено, давно подернулись лирической дымкой, и Таволгин даже обрадованно выскочил из машины, пожал протянутую руку и от ошеломления выпалил явно неуместный контрвопрос:

— А ты здесь откуда взялся?

В глазах Щадрина зажглась та давняя насмешливость, какой он, бывало, отстранял неуместные расспросы о деятельности возглавляемого им школьного совета.

— Обычное задание, старина. А ты, никак, порыбачить собрался? И даже “кирпич” проморгал? Завернуть тебя следовало бы, да уж…

— Постой, о чем ты толкуешь? Почему, какой запрет?

— Какой надо. Машину убери к нашим.

— Но…

— Или набегаешься с ее ремонтом. Делай, делай, как сказано.

Знакомые нотки! В школе Родиона Щадрина недолюбливали за тон превосходства и прозвали Пружинчиком — из‑за манеры живо вскакивать на собраниях для подачи нужных реплик и слов. Но парнем он был деловым, в общем, свойским, первым в футболе, танцах и умении к общей выгоде ладить с учителями, так что его аккуратно избирали и переизбирали, благо особого желания возглавлять, проводить мероприятия, давать накачку за плохую успеваемость ни у кого не было, а у него — было.

Усмехаясь и поварчивая, Таволгин подогнал машину, куда указал Щадрин. Встреча его заинтересовала. Хотелось выяснить и то, долго ли еще намерена пробыть здесь вся эта команда. Не давала покоя и такая мысль: по какому, собственно, праву Щадрин взял да и закрыл для всех реку?

Выйдя из машины, Таволгин коротко поклонился зелено–курточным молодцам, ожидая, что парни в ответ щелкнут каблуками. Ничего подобного не произошло. Он был удостоен легких, впрочем, уважительных кивков, беглых полуулыбок, и все снова принялись за дело — тянули кабель, расставляли шатровую палатку, таскали в фургон какую‑то аппаратуру.

— Думаете поймать здесь сигналы космических пришельцев? — настраиваясь на небрежный тон старого знакомого, кивнул в их сторону Таволгин.

— Вроде того, только наоборот, — усмехнулся Родион Щадрин. — Ладно, рассказывай. Кто ты теперь?

Таволгин не любил таких подразумевающих ранг и службу вопросов, поэтому ответил привычно:

— Человек, как видишь.

— Хм… — Сощуренный взгляд Щадрина будто взвесил его со всем содержимым. — Вижу. Наблюдаю признаки сидячего образа жизни, книжной анемии и интеллигентной близорукости. Да, время, время… Спорт, надо полагать, забросил?

— А ты?

— Предпочитаю яхту и теннис.

Щадрин повел плечами, как бы проверяя налитость мускулов. Был в этом месте подтекст, был. Время, что и говорить, пошло Щадрину на пользу. В нем мало что осталось от былой гибкости Пружинчика, он заматерел, посолиднел, обрел уверенность крепкого на вид мужчины.

— Яхты не имею, — прочеркивая контраст, сказал Таволгин.

— И зря! Кто же ты все‑таки по профессии?

— Историк.

— А–а! В каком году была битва при Саламине и все такое прочее. Ясно, ясно…

Как ни привык Таволгин к тому, что упоминание об истории сплошь и рядом вызывает такую реакцию легкого пренебрежения, сейчас она его задела. Конечно, другому не навяжешь свою убежденность, что лишь знание и понимание хода истории, то есть опыта всех проб, достижений и ошибок человечества, способно остеречь от глупостей и наметить разумную тактику на будущее. Но уж суд таких, как Родя…

— Да, да, битва при Саламине и все такое прочее, — будто соглашаясь, сказал Таволгин. — А у тебя, — он быстрым взглядом окинул становище, — антенны, железки и все такое прочее?

— Маракуем помаленьку, — снова усмехнулся Щадрин. — Надо же и НТР кому‑нибудь двигать. Я, видишь ли, радиофизик, но теперь меня перебросили на биологию, поскольку это сейчас самое существенное звено. А ты небось в своей области тоже доктор–профессор?

Настороженное внимание Таволгина не уловило в вопросе скрытой издевки. Хотя подобная встреча с однокашником почти неизбежно таит в себе момент ревнивого сопоставления успехов, а Родион был куда как честолюбив, сейчас, приподнятый важностью своего дела, он, похоже, спрашивал даже с желанием видеть Таволгина не слишком обделенным судьбой. “Толстый и тонкий!” — пронеслось в уме и предрешило ответ.

— Да, — кивнул он небрежно. — Доктор, профессор, лауреат и все такое прочее…

Ему тут же стало совестно за эту достойную вельможи или глупца самотитулатуру, но у Родиона подпрыгнули брови.

— Скажи–и, кого я чуть не шуганул, как зайца! — протянул он и тут же добавил поспешно: — А в академию ты избран?

— Нет, не удостоился.

— Ничего, старина, ничего. — Обретая добродушие, Щадрин приятельски потрепал его по плечу. — Будем еще там, будем, наш класс широко шагает… Решено: сейчас мы тут разместимся, потолкуем накоротке… Ни–ни–ни! Никаких возражений, ты мой гость!

— Но у тебя дело, какие‑то опыты, я, право…

— О, опыты! — Не переставая широко улыбаться, Родион доверительно понизил голос: — Строго между нами: это… Впрочем, увидишь сам. Тоже своего рода история!

— Вроде битвы при Саламине?

— А что? Нынче НТР на дворе. Извини, я тебя ненадолго покину, а то, боюсь, мои мальчики что‑нибудь напутают… Ты пока распаковывайся, распаковывайся!

Родион шариком откатился к центру деловых событий, и его четкий, уверенный голос сразу переключил работу на высшую скорость. Таволгин остался со своими смутными мыслями наедине.

Он отошел к высокому обрыву, зачем‑то постоял на юру, безотчетно любуясь живым током воды. В голове был легкий сумбур, досада на непредвиденные обстоятельства, умеряемая интересом к многозначительным намекам Щадрина и к нему самому. Что бы значила вся их таинственная тут деятельность?

Таволгин склонен был очень серьезно относиться к тому, что зреет в тишине, ибо прекрасно понимал, что облик будущего часто определяют не громкие для современников события, а как раз незаметные. Главы учебников посвящены крестовым походам, неудачной попытке Запада овладеть торговыми путями Востока. Но — какова ирония? — не громоносные битвы религий в конечном счете изменили расстановку сил, а скорей уж “латинский парус”, придуманный, кстати сказать, не европейцами, а безвестными арабскими мореходами. Перекочевав к потомкам побежденных крестоносцев, этот парус умножил возможности европейских кораблей, открыв им со временем простор океана. И началась эпоха Колумба, и сдвинулись пути мировой торговли, и мохом порос источник былого могущества, и точно злой волшебник погрузил в спячку блистательные дворцы мусульманских владык. А чем в конечном счете стали для феодализма суппорт и паровая машина? Будущее идет скрытыми путями…

От размышлений отвлек новый этап деятельности родионовской команды. Откуда‑то появились колья, мотки колючей проволоки, и площадку с машинами скоро опоясало крепкое ограждение. Щадрин распоряжался всем, как прораб, его зычный голос далеко разносился окрест. Складывалось впечатление, что Родя немного играет на публику и эта публика прежде всего он, Таволгин. А почему бы и нет? В школе меж ними не возникало соперничества, ибо там, где Родион был первым, Таволгин оказывался едва не последним, только учились оба одинаково. И все‑таки что‑то было… И даже понятно что. В мальчишеском возрасте свойственная Родиону победительность особо привлекательна. И наоборот, пренебрежение Таволгнна к вещам, которые Родион так высоко ценил, уж не воспринималось ли им как скрытый вызов? Недаром же он тогда придумал это насмешливое и умаляющее прозвище — Родимчик… Не задеваешь того, к кому равнодушен. Тем, верно, неприятней было Родиону узнать, что скромный сверстник достиг, согласно им самим принятой шкале оценок, больших, чем он сам, успехов. “Смешно, если это действительно так, — покачал головой Таволгин. — Какие же мы все‑таки дети…”

Удивление его при виде колючей ограды возросло.

— Блиндаж строишь? — бросил он, когда Родион приблизился.

— А ты чего не распаковываешься? Все философствуешь? В тихом омуте, знаешь ли… Пошли!

— Прежде объясни, пожалуйста…

— Все в свое время или немного позже, — сверкнул улыбкой Щадрин. Он взял его под руку и отвел за ограду. — Эй, орда, прошу любить и жаловать: мой однокашник и друг, светило исторической науки Вадим Таволгин!

Ребята повскакали.

— Во–первых, — сморщился Таволгин, — мы уже…

— А во–вторых, — немедля перебил Родион, — мы тебя сейчас напоим–накормим и кое‑что покажем! Как, ребята, покажем?

— Покажем! — охотно и не без гордости грянул одобрительный хор.

— Хороши молодцы, а? — восхищенно подмигнул Щадрин. — Все лучшие мои ученики, энтузиасты, за передовое готовы в огонь и в воду, что Костя, что Феликс, что Олег, что…

Таволгин едва сдержал ироническую улыбку, ибо дурашливый бесенок рефлексии некстати шепнул ему, что Родион сейчас малость похож на хвалящего своих мужиков Собакевича. Разумеется, Таволгин тут же вышвырнул глупого бесенка из мыслей и принял достойный вид.

Покончив с представлением, Родион легонько подтолкнул Таволгина к приветливо распахнутому пологу шатровой палатки. Там уже был стол, накрытый по–походному, мужской рукой, но щедро. К своему неудовольствию, Таволгин обнаружил в центре и пару бутылок: ему всегда казалось преступлением вот так, походя, травмировать свой мозг, лишая себя ни с чем не сравнимого удовольствия ясно и четко мыслить. Правда, выпивки не так и много вроде бы. Но кто знает, что еще тут будет вечером…

Парни за столом набросились на нехитрую снедь, ели так, что за ушами трещало. Порой вспархивал разговор, но все о вещах специальных, понятных всем, кроме Таволгина, который все более чувствовал себя лишним в этой крепко сбитой родионовской команде. Про себя он лишний раз отметил, что о существенном, о деле, люди все чаще разговаривают на марсианском для постороннего языке, — и к чему же все это ведет?

Но интонации были доступны Таволгину. В них улавливалась какая‑то напряженность. Не взаимоотношений, нет: тут была полная спаянность. Что‑то внешнее или предстоящее скользило меж слов подавленным волнением.

— Двинем сегодня на полную мощность, — внезапно, не в лад предыдущему, сказал Родион. Стало тихо. — Вот так!

Он рубанул воздух и обвел всех взглядом. Кто‑то крякнул, послышались нестройные голоса: “Верно…”, “Все равно придется…”, “Давно пора!”. Голоса точно подбадривали друг друга. В них легким диссонансом вплелось сомнение Кости в устойчивости какого‑то частотного фильтра.

— Как бы нас самих… ненароком…

— Не ходите мальчики в Африку гулять? — откинувшись, с жесткой насмешкой глянул на него Родион. — Во–первых, мной все просчитано. Во–вторых, мы сами выбрали этот ха–ароший обрывчик… И вообще, на нас смотрит история!

Он поднялся, багроволицый, накаленный, сгреб Таволгина за плечи.

— Эх, Вадюша, тебе не понять, какие дураки на какой идее спали! Если бы не мы…

— Это точно, — с облегчением зашумели за столом. — Если бы не Родион Степанович… За Родиона Степановича!

Таволгин удивился — так жадно потянулись руки к новой, невесть откуда выпорхнувшей бутылке.

— Ша! — обрезал Родион. — Не время! Всем быть по местам, чтобы к восемнадцати ноль–ноль…

Он строго глянул на часы. Всех сдуло.

— Вот так, Вадюша, — сказал он тихо. — Живем, экспериментируем, боремся… Подожди, ты же сути дела не знаешь. Как бы тебе объяснить…

Он отвел взгляд к реке, и ее блеск отразился в глазах точечными вспышками.

— В общем, так, чтобы тебе было понятно. Есть лес, и в нем всякая живность. Пичужки–зверюшки и тому подобное. А что они такое для меня как радиофизика? Нет, постой, не с того конца начал… Река вот бежит, вроде она сама по себе. А она в системе! В жестко отрегулированной системе, — повторил он как бы с удовольствием. — Движение воздушных масс, осадки, почва — этой системе и конца не сыщешь! Возьмем теперь особь, допустим, зайца. Сам по себе скачет? Не–ет, он тоже в системе. Вида, биоценоза и всего

прочего. Значит, не только физиологические законы управляют организмом, но и законы системы. Вот это важно, что заяц ли, муха ли не сами по себе живут, а под–чи–няются целому! Что над ними закон. Когда ехал сюда, обратил внимание, сколько тут деревьев с ободранной корой?

— Нет, — недоуменно ответил Таволгин. — А что?

— А то, что лесничие по поводу леса в тревоге. Разладилась система! Был регулятор — волк, да мы его истребили. Зверь, хищник, ату его! И размножились всякие там положительные герои мультяшек в необозримых количествах. Лес подгрызают. Им что! Ума нет сообразить последствия. Но мы‑то щи не лаптем хлебаем, нет, не лаптем — НТР, брат! Здесь, — он постучал себя по лбу, — кое‑что держим. Знание! Знаем, что особь — часть системы, вида, а системе присущи свои законы саморегуляции, которых особи видеть не дано, но которые повелевают ею, как генерал солдатом. Волк, так сказать, вневидовой регулятор. Но есть и внутривидовые саморегуляторы, только они плохо задействованы там, где до сих пор управлялся хищник. Понимаешь?

— Понимаю, — ответил Таволгин, хотя понимал не все и не потому, что предмет был для него так уж нов и сложен, а потому, что была в словах Родиона некоторая, похоже, намеренная недоговоренность.

— И славно, что понимаешь, — кивнул тот небрежно. — Ну–с, что из этого вытекает? Коли есть вид, стало быть, есть законы организации и сохранения вида. Так? Обязательные для особи, ибо вид превыше всего. Так? Диктующие, как ей в той или иной ситуации поступить. Посредством чего? Какова физическая природа таких команд? Тут темна водица, но не совсем, не совсем… Тебе, конечно, известен факт, что после гибели мужчин в войнах мальчиков рождается больше, чем девочек? А почему, почему? — Родион наклонился к Таволгину, обдав его своим горячим дыханием, — Срабатывает механизм видовой саморегуляции! Вот!

— Как? — невольно встрепенулся Таволгин. — Каким образом?

— Разберемся, и в этом разберемся, — довольно прогудел Родион. — Важно что? Передается команда, чаще всего не химическим путем, как думали еще недавно. С чего я начал? Отдельная особь с точки зрения радиофизики есть приемопередатчик, настроенный на общие внутривидовые частоты. Тем и обеспечивается единство системы. Улавливаешь практический вывод?

Усмешливый взгляд Родиона приобрел суровость, от которой Таволгину стало не по себе.

— Уж не это ли твой вывод? — с усилием махнул он рукой в сторону фургона.

— Это техбаза. — Родион вскочил. — Эх, вы, гуманитарии! На рельсы все надо ставить, на рельсы… Идем, покажу.

Как раз взревевший мотор автофургона плюнул им в лица сизым перегаром, куда более едким здесь, чем в городе.

— Прошу, — сказал Родион, отворяя дверцу.

Внутри было царство радиофизической техники, в которой Таволгин совершенно не разбирался, да и мысли его были не тем заняты. Глядя на индикаторы, шкалы, переключатели, на все это подмаргивающее, цифирное, живущее как бы автономной жизнью, Таволгин в ответ на разъяснения Родиона лишь покорно кивал головой. Впрочем, и так было ясно, что уж с чем–чем, а с техникой все в полном порядке.

Наконец осмотр закончился, и Таволгин с облегчением вдохнул свежий воздух — свежий, правда, теперь лишь относительно. Аппаратура была и вне фургона. Трое парней с суровыми лицами, держа блокнотики в руках, являли возле нее подобие античного хора. Рев дизеля заглушил плеск воды на порогах, вообще все посторонние звуки, и мир по ту сторону колючей ограды словно онемел, как за толстым, но незримым стеклом. “Если они хотят подманить сюда каким‑то своим сигналом животных, то как же грохот? — недоуменно подумал Таволгин. — Ведь шум все распугал, должно быть, на километры…”

Спросить было не у кого. Родион, снуя, как челнок, отдавал последние распоряжения.

— С нервами у тебя как? — мимоходом крикнул он Таволгину.

— Что? — не понял тот.

Но не удостоился ответа. Хитро подмигнув, Родион скрылся в фургоне. Раздражаясь все больше, Таволгин не знал, что и думать. Из памяти не шли недомолвки Родиона, напряженное молчание, которое установилось за столом после его внезапного решения повысить какую‑то там мощность.

— Долго еще? — наклонился Таволгин к уху одного из парней.

— Сейчас антенну задействуем…

Мгновение спустя антенна повернулась на пол–оборота — очевидно, ее задействовали. Подобной Таволгин не видывал: серповидный изгиб рам заполняли дырчатые, похожие на отполированные терки, зеркальца. Вся эта конструкция точно озирала лес.

Хотя антенна продолжала двигаться, рев дизеля внезапно смолк — должно быть, питание перешло к аккумуляторам. Из фургона встрепанно выскочил Родион. Раскуриваемая сигарета плясала в его пальцах. Парни, приникнув взглядами к шкалам, что‑то сосредоточенно записывали.

— Ну как? — вклинился Родион.

— Порядок, шеф…

— Ага, ага, вижу эффектик… Молодцы!

— Что вы видите? — не выдержал Таволгин. Родион уставился на него, не мигая.

— Эффект леммингов. Сейчас они появятся.

— Лемминги? Здесь?!

— Какие лемминги? Лоси! Я же тебе объяснил: их развелось слишком много.

— Ты говорил о зайцах!

— Да? Ну, это все равно. Что лемминги, что копытные, даже бабочки… Сейчас, сейчас ты увидишь саморегуляцию в действии.

Он жадно затянулся дымом, поперхнулся, побагровел.

“Лемминги!” — ошарашенно подумал Таволгин. Он уже смутно догадывался, припоминал нечто с этим связанное, что‑то тревожное, немыслимое сейчас, здесь, среди покоя, мягких теней, золотистых бликов воды.

Немыслимое?

На опушку вымахал лось и слепо, не видя, не разбирая пути, мотая мордой, с которой летела не то шерсть, не то пена, дергаными скачками понесся дальше, к обрыву…

Таволгин зажал рот, чтобы не вскрикнуть. Лось уже летел с обрыва, не прыжком, а комом и так же комом грянулся о камни внизу. И пока это длилось, точно жуткая молния высветила Таволгину все, и он понял, при чем тут лемминги, их спорадическое безумие, когда слепая масса животных, презрев инстинкт самосохранения, вдруг начинает катиться по земле, тонуть в реках, гибнуть в пропастях, низвергаться в море. А на краю поляны уже с треском валились кусты, и новые лоси, мелькнув в беге, вздыбив рога, с нелепо вывернутыми конечностями падали вниз, вниз… Молча.

Ужасом метнувшийся взгляд Таволгина скользнул по лицам операторов. Они были серы, их выражение объясняло, в чем смысл недавней выпивки, которая была не зря, не зря. И все, не отрываясь, смотрели, как гибнут лоси, и Родион смотрел, и Таволгин, хотя смотреть было невыносимо. Иной сохатый сбивался с кратчайшего пути, полосовал себе бок о колючую ограду, но и его метало к обрыву, откуда вскоре раздавался последний всхрап боли. А зеркальца антенны все поворачивались, все гнали в пространство сигнал: “Нас много, нас слишком много — уничтожьтесь…” И у подножия обрыва росла груда тех, кто ему подчинился, чтобы вид избежал горшей катастрофы подрыва всех источников питания.

Безумие кончилось, едва замерла антенна. Запоздалый лось осел посреди поляны на дрожащих ногах, его налитые туманом зрачки увидели ограду, людей, обрыв. Со сдавленным ревом он шало метнулся в лес.

— Каково? — стеклянно блестя глазами, обернулся Родион. — Каково?

Его вопрос рассыпался дребезжащим смехом, но не нашел ответа у Таволгина, который

с потемневшим лицом в упор смотрел на своего былого однокашника.

Губы Родиона дрогнули, чтобы тут же сойтись в жесткую, презрительную складку.

— Погубив леса, они все равно окочурились бы! — бешено выкрикнул он, наступая. — Лучше в них всаживать пули, да?!

Никто ему не возразил. Таволгин опустил взгляд к подножию обрыва. И все посмотрели туда, где, затихая, еще бились тела. Ведь сейчас, здесь люди были для животных подобием фатума, рока и, словно древние мойры, перед которыми, как полагали эллины, склонялись даже боги, держали в своих руках пряжу чужой судьбы.

БРЕМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

“Надо же! — спеша за Телегиным по склону, удивился Рябцев. — Попал, некоторым образом, в сказку, иду к говорящему волку, а в мыслях жара, чушь, усталость и прочий бытовизм…”

Уж очень обыкновенным все было вокруг, таким, как всегда, как и сто, и тысячу лет назад, и, верно, задолго до человека. В мглистом небе теплело размытое солнце, под ногами вязко проседал рыжеватый, в хвое, песок; лапчатые сосенки вынуждали лавировать в застойном воздухе косогора, который испариной прохватывал тело. Удерживая дыхание, Рябцев стремился не отстать от Телегина, чьи и в старости проворные ноги каким‑то образом даже не проминали песок, будто и не человек шел — лесной дух.

Наконец оба вскарабкались на гребень и по знаку Телегина присели под корявой сосной. Здесь тянуло ветерком, мягким, но и в этой мягкости уже прохладным, точно где‑то в дороге он успел лизнуть стылый ледок. Рябцев поспешил запахнуть куртку.

Открытая взгляду ширь темнела хвойными увалами, перемежаясь желто–красными сполохами берез и осин, казалось, зряче дремала под неярким небом. В светло сереющей дали мерцало одинокое, в мохнатой опушке, озерко. С низовым накатом ветра в смолистую сушь воздуха струей врывался запах грибной прели, и тело, совсем как в детстве, блаженно ловило все тайные токи природы. Ни звука нигде, кроме шелеста ветвей, ни движения до самого горизонта, будто двадцать первый век только приснился людям. С близкой березы, кружась, слетал желтый лист.

— Где же хозяин? — рассеянно обводя взглядом дали, спросил Рябцев.

— А во–он, — неохотным движением руки Телегин показал на глухой распадок. — Там его логово. Нас он, верно, уже заприметил. Подождем.

Заблудившийся муравей целился взбежать на колено. Рябцев смахнул его небрежным щелчком, украдкой покосился на Телегина. Тот сидел не шелохнувшись, будто врос, недвижно смотрел в пространство. Казалось, он забыл о журналисте, целиком ушел в себя, точно первое в истории интервью зверя было самым обычным или пустым делом. Отрешенный ветер ерошит седое полукружье волос над круто выпуклым лбом, к голубым, уже чуть блеклым глазам стянулись морщинки — и не ученый вовсе, сидит под серењким небом старичок, тот самый, из легенд, благостный пустынник, к руке которого сходятся звери, слетаются небесные птицы…

“Вот так все возвращается на круги своя, — мельком подумал Рябцев. — Это ты брось, — осадил он себя. — Выдумки твой пустынник. Просто время такое, что легенды и сказки сбываются. Они и должны сбываться, мечта и фантазия как‑никак завязь дела, чему удивляться? Деды до ковра–самолета, сиречь до реактивного лайнера, дожили, а я вот сейчас с волком пообщаюсь, напишу об этом, и мир тихо ахнет… Нет, не ахнет, в том‑то и дело, что не ахнет. Обрадуется, поудивляется, но в общем примет за должное, ибо с осуществлением фантазий все уже давно свыклись. Вот если бы они перестали осуществляться, тогда поразились бы. Нарушение закона, все равно что масса вдруг перестала бы переходить в энергию! А так… Ну ясно же, что животные вроде волка как‑то думают, об этом еще в девятнадцатом веке Энгельс писал. Значит, можно улавливать электромагнитную динамику биотоков, декодировать эту сложную (очень

сложную, кто спорит!) путаницу, искать непонятным символам соответствие, переводить их в звуки нормальной речи. “И молвил волк человеческим голосом…” — через транслятор. Ну, наконец‑то, скажет человечество, наконец наука осилила речевой контакт с животными; интересно, послушаем, что там у серого за душой…

И все‑таки! Вот именно: все‑таки…”

— Не посвистеть ли? — спросил Рябцев с улыбкой. — Что‑то наш друг не торопится.

— Зато мы торопимся. — Телегин резко выпрямился, колюче взглянул на журналиста. — Он вам не песик! Верно, кругами ходит, присматривается, что за гость.

— Каков хозяин, таков и гость, — с ходу отпарировал озадаченный переменой тона Рябцев.

И тут же пожалел, что привычка не теряться перед словом взяла в нем верх.

Но и Телегина, казалось, смутила внезапная суровость собственных слов.

— Серый — мужик серьезный, — сказал он, словно оправдываясь.

— Вы о нем — как о человеке… Телегин снова нахмурился.

— Ну, если вы так поняли мои слова — забудьте. Не стоит раскачивать древний маятник мысли.

— Маятник?

— Именно. Животных мы то уподобляли себе, то, наоборот, отвергали всякое с ними душевное сходство. В этой плоскости мысль маятником и ходила. А мир‑то многомерен, значит, явление и истина о нем многомерны тоже.

“Теперь он со мной, как с маленьким, — раздосадованно подумал Рябцев. — Вот тебе и благостный старичок! Пороховой кремень”.

Они знали друг друга едва ли час, потому что, встретив Рябцева у границы заповедника, Телегин повел его прямо сюда и по дороге больше отмалчивался. Теперешнее обострение разговора было на руку журналисту, ибо ничто так не раскрывает собеседника, как противоречие его словам.

— То‑то философ Энгельс, — сказал Рябцев не без ехидства, — оказался куда проницательней сонма специалистов, которые и столетие спустя отказывали животным во всяком умении мыслить!

Телегин слегка кивнул.

— “Ученые так близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос”. Знаете, чьи это слова?

— Нет…

— Сказано Герценом. Метко сказано! Уперты носом… А что поделаешь! Я вот говорю с вами, а мысли о волке. Почему не объявляется? Ведь что бы я вам там ни говорил, а уверенность моя тает. Странно! Как всякий зверь, он существо любопытное, к тому же вчера я не ответил на пару его вопросиков. Подзадорил: мол, завтра придет знаток, вы… то есть, уж он‑то все объяснит.

— Ничего себе! — Рябцев фыркнул. — Не журналист, значит, интервьюирует волка, а волк — журналиста! Край света… А если я не смогу ответить? Вопросы‑то хоть какие?

— Да простенькие, какие еще могут быть у волка? — Телегин усмехнулся. — Когда и чем люди дерутся за самку…

— Что–о?!

— Вы разве не слышали о “брачных боях”, “позе покорности”?

— Слышал, знаю…

— Тогда что же вас удивляет? Для волка это весьма существенный момент жизни, вот его и интересует, как это бывает у людей.

— О господи!

— То‑то, — удовлетворенно сказал Телегин. — А вы, похоже, думали, что беседа с волком — так, забава, игра в одни ворота?

— Сдаюсь! — Рябцев рассмеялся. — М–да, все становится сверхинтересным…

— Если бы только интересным… Себя мы всегда видели в своих зеркалах, в чужом — ни разу. Я не из упрямства так долго отказывался оповещать всех о наших работах. Сначала надо было кое в чем убедиться.

— Например?

— А если бы из глубин конкретной индивидуальности на нас глянула родовая ненависть? Ведь сколько и как мы их истребляли!

— Ненависть заслуженная, мы бы ее пережили. Во имя истины, будущей дружбы…

— Может быть, еще и братской любви? Во имя мечты, так сказать… — Телегин вздохнул. — Мы опять скатились на плоскость. Любовь — ненависть… Да уляжется волк подле ягненка… Оставим это. А что, если бы на нас глянуло презрение?

— Презрение?!

— А, уже больней! Да, презрение. Презрение слабого к сильному, который после всего былого ищет еще и дружбы.

— Вы шутите! Было столько примеров дружбы человека с…

— Конкретное науку интересует только как подход к общему. Впрочем, успокойтесь. Все сказанное лишь дань необходимому скептицизму. У природы свои законы: кто сильнее, тот и одолел, все естественно, никаких претензий быть не может. А кто не вредит, тот либо безразличен, либо хорош… часто в качестве пищи. И никаких вам гамлетовских терзаний и прочей достоевщины. Так что можете спокойно глядеть волку в глаза.

— Не премину.

— Только, пожалуйста, не в упор. Животные этого не любят, а я как‑то не горю желанием возиться с оказанием первой помощи.

— Ах, даже так! Что ж, спасибо за своевременное предупреждение.

— Вот уже и пошутить нельзя… Кстати, мы, люди, тоже почему‑то не любим, когда нас разглядывают в упор. И в вас я этой манеры не заметил, а то бы уже давно предупредил. Впрочем, волк все же мой друг.

— А, все‑таки друг!

— Да, как у Экзюпери: мы в ответе за всех, кого приручили. Даже если эта серая скотина подводит тебя перед лицом прессы. К сожалению, ждать больше бесполезно. Идемте.

— Жаль, жаль…

— Не расстраивайтесь. Не появился сегодня, придет завтра. А чтобы времени не терять, разыщем Машку. Лосиха, мысли у нее коровьи, но тоже, знаете, любопытно.

Рябцев хотел сказать, что если он и огорчен, то не своей, а его, Телегина, неудачей. Но промолчал, ибо таких, как Телегин, сочувствие могло скорее обидеть.

— Что ж, пообщаюсь с парнокопытными! — сказал он весело. — А то все “му!” да “му!” — ничего не пойму. Еще хорошо бы с гусями…

— Почему именно с гусями?

— Они же настойчиво беседуют с нами! “Га–га–га!” — и тут же голову на бочок, глянет, словно ответа ждет, и опять что‑то начинает тебе втолковывать. Разве не так?

— Гм! Мы ведем опыты только с дикими.

Разговор затих сам собой. Они спустились с косогора, вышли на травянистую дорогу, и березы закружили над ними легкую золотистую метель. Под ногами мягко шуршал палый, нетленный лист. Светло было даже под сумрачным пологом приступавших к дороге елей, торжественно и гулко распахивался чуть слышно гудящий бор, где у подножия сосен земля прыскала тугими маслятами. И горьковатым был воздух, и спокойствие обнимало идущего, и вслед ему летело спадающее убранство леса. Глубоким дыханием Рябцев пил щемящий настой осени, над ним и лесом расстилалось кроткое небо, и суматоха дел, вся обширная круговерть погони за новостями земли и космоса мельчала в его душе, подергивалась забвением, словно ее и не было никогда, а всегда были только эти минуты, эта бесконечность движения, красок, запахов, звуков жизни, это слияние с ней. С легким порывом ветра в лицо

порхнул багряный лист, влажно скользнул по щеке. “Вот оно, счастье, — мелькнуло в мыслях. — И часов таких будет много, — додумалось тут же. — Долгих часов разговора с теми, кто в этом живет, как мы жили когда‑то”.

В самом конце дороги открылась поляна, на ней бревенчатый домик, каких Рябцев не видывал давно. Смолистые стены, казалось, источали свет, весело смотрели умытые, явно из стекла, окна в переплете старинных рам, к крылечку сбегались тропинки. Сразу за домом начиналась березовая опушка, а слева и справа в небо мощно устремлялись сосны. И то, что некогда было обычной чертой деревни, а затем стало музейной редкостью — такой вот домик среди берез, — здесь выглядело необходимостью, созвучной и окружающему, и делу, которое здесь делалось, и его хозяину. Всякое современное строение смотрелось бы тут оскорблением вкуса, хотя, конечно, легко было представить, каких затрат потребовала эта избушка, некогда едва ли не бедняцкая, теперь же, когда никакой дворец не проблема, — роскошная, ибо только в реставрационных мастерских еще поддерживались секреты древнего плотницкого мастерства. И, глядя сейчас на дом, Рябцев преисполнился уважением к своему веку, в котором экономика смогла дать вкусу главенство.

В сени он вошел, как в детство, хотя не только он сам, но и его прадеды в избах не жили. Все равно, будто с пробуждением родовой памяти его охватило чувство причастности к этим дышащим смолистым теплом стенам, чувство домашнего покоя и уюта. Он даже поискал взглядом скамью с ведрами и бадейкой, крюки с лошадиной сбруей, домотканый у двери половичок, но тут же остановил себя: все это, разумеется, были заемные, из фильмов почерпнутые, исторически, возможно, неточные образы. Они тут же развеялись, едва Рябцев, следуя за Телегиным, переступил порог, ибо в комнате ничего деревенского, конечно же, не было, а была обстановка самой обычной лаборатории. Над вскрытым пультом колдовала девушка с дымящимся паяльником в руках; при виде Телегина она порывисто вскочила.

— Что‑то случилось, отец?

— С чего ты это взяла? — буркнул тот. — Знакомься: Рябцев.

— Ох, извините, не сразу заметила! — Она смешалась, и от Рябцева не укрылась ни тревога ее первых слов, ни угрюмая досада телегинского ответа. — Лада. Здравствуйте, рада вас видеть…

— Живым и невредимым? — испытующе пошутил Рябцев. Протянутая рука девушки, как он и ожидал, оказалась крепкой. — Боялись, что меня съест Серый Волк?

— Боялась, только наоборот. Это мой отец мог заморить вас до волкоедства. И заморил, не так ли?

— Ну и надымила ты, дочка! — Телегин распахнул окно. — И зачем тебе эта рухлядь — паяльник, когда есть молекулярный соединитель…

— От него в ушах звенит!

— Мутантка ты…

— От кого родилась, в того и уродилась.

— Тебе бы ручками, как язычком, работать… Хоть починила?

— Пока нет.

— Вот, а еще дерзишь.

— А как вам поговорилось с волком?

— Не удостоились аудиенции…

— А–а! Что я тебе говорила вчера?

— Брысь, ведьмачка! И чтобы обед был мигом. А после — ты слышишь? — сгоняешь за Машкой. Сама, без всякой этой телепатии.

— Может, не надо?

— Надо.

— Хорошо, батя. Слушаю и повинуюсь.

Лада аккуратно сложила инструменты и вышла — стройный чертенок в прожженном комбинезончике. Телегин хмуро посмотрел ей вслед.

— Да, интуиции у девчонки — позавидуешь, — ответил он на невысказанный

Рябцевым вопрос. — Ведь предупреждала: не занимай сегодня гостя, вас то есть, делами, прока не будет. Ну, а я, упрямый скептик, не послушался. И вот, пожалуйста: волк не пришел, “голос бога” сломался.

— Голос…

— Радио, обычное радио! Просто дальняя связь. Но звери не любят, когда из транслятора у них под ухом вдруг раздается наш голос, а человека нет. Для них это противоестественно, как… Словом, вы понимаете. Но именно сейчас “голос” был бы кстати.

— Ну, — улыбнулся Рябцев. — “Визит–эффект” — он и есть “визит–эффект”. Какую табуретку прикажете переставить? Ничего, как только я уберусь, все придет в норму.

— Накладки — тоже норма, — без улыбки ответил Телегин. — Норма науки. И жизни. Идемте обедать.

— Думаете, ваша дочь успела?

— Конечно.

Помыв руки, они прошли в смежную комнату, где на столе действительно уже дымились щи, и, вдохнув этот запах, Рябцев сразу почувствовал зверский голод. Едва они взялись за ложки, как снаружи проглянуло солнце. Неяркое, оно просквозило березовую опушку, и свет рощицы заполнил столовую золотистым сиянием, мягко пал на лицо Лады, которая успела переодеться в льняное с вышивкой платье и сейчас менее всего напоминала сорванца–лаборанта. Она держалась оживленно, но в душе ее, казалось, таились задумчивость и грусть, что делало ее неуловимо похожей на васнецовскую Аленушку. Возможно, тому причиной был свет осени, ибо грусть проступала, когда взгляд девушки обращался к окну, за которым плавно кружилась и падала желтая листва. Впрочем, это ей не мешало подшучивать над своими кулинарными талантами, что вызывало искренний протест Рябцева, и живо расспрашивать его о космосе, где она, как выяснилось, никогда не бывала.

— И я вас понимаю, — теплея от домашнего уюта, от красоты девушки и красоты осени, возбужденно говорил Рябцев. — Что может быть лучше этого? — он махнул в сторону окна.

— Ненастье. — Девушка усмехнулась и бросила взгляд на отца, который ел с таким видом, будто коротал досадную задержку.

— Нет, нет и нет! Луна, Марс — это вечная неизменность однообразного ритма, а тут всякое мгновение иное, и даже увядание — это жизнь, а не смерть. В космосе и краски другие, все… Кругом абсолютная физикохимия, чувствуешь себя моллюском, загнанным в скорлупу техники. Странно устроен человек! К чему мы стремимся, как не к гармонии жизни, свободы, красоты и покоя? Но вот же она, здесь, гармония‑то… Даже с хищниками вы устанавливаете лад. А мы все куда‑то рвемся, что‑то меняем, сами вносим в мир беспокойство… Нет, нет, теперь, когда космос открыл нам свои ресурсы, мертвое — мертвому, технике — техниково, пусть работает за небесами. А дом есть дом. Близкое будущее цивилизации, уверен, здесь, в диалектике осмысленного, на новом витке спирали, возвращения к земному, извечному…

— Например, к чаепитию за фотонным самоваром, — вдруг подал голос Телегин.

Лада прыснула:

— Ой, это идея! Надо сшить силиконовый кокошник!

— Помолчи, дочь. — Телегин обернулся к Рябцеву. — Пожалуйста, не обижайтесь: наш заповедник на многих так действует. Вполне объяснимая ностальгия. Тоска по родине, только утраченной уже не в пространстве, как бывало, а во времени, чего не бывало никогда.

— Но это необходимая тоска! — В Рябцеве проснулся не только профессионал, ценящий спор как рабочий инструмент. — Быть может, спасительная! Ведь мы живем на стройке. На стройке! С двадцатого, считайте, века. Ломка, стены падают, сегодня одно, завтра другое, пыль, грохот, лязг. Необходимо, согласен. Но неуютно. И сколько можно?

Казалось, вопрос повис в воздухе.

— Я пыталась поговорить о прогрессе с волком, — наконец задумчиво проговорила Лада. — Да, да, не смейтесь, сама знаю, что глупо… Конечно, он ничего не понял.

Ни–че–го–шеньки! Все равно он славный и умница. Знаете, о чем я мечтаю? Прокатиться на сером. Как в сказке…

— Шалишь, красна девица, — отрезал Телегин. — Исследователь! Допрыгаешься.

— Ну и пусть…

— Не дам. Запру и выпорю. Согласно домострою.

— Что так? — удивился Рябцев.

— Она знает.

Лада кивнула:

— Отец прав. Но чему быть, того не миновать.

— Не понимаю…

— Да что там… — Девушка коротко вздохнула. — Обычный принцип дополнительности Бора. Я слишком влияю на объект исследования, потому что их всех люблю. Ушастых, серых, копытных — всех. А этого нельзя.

— Любить нельзя? Да как же без этого?

— Все не так. — Телегин поморщился. — Не так просто. Без любви и травку не вырастишь, и камень не уложишь — верно. А только камень надо обтесывать, траву подстригать, волка… с ним‑то как раз ничего этого не надо. Но не получается любить не любя. Не выходит.

Он замолчал. Молчала и Лада, теперь совсем похожая на васнецовскую девушку. Рябцев отвел взгляд. Репортерская профессия с ее поспешностью сбора информации не способствует тонкому чувствованию, но сейчас до Рябцева дошло, что его появление и расспросы, а возможно, не только это всколыхнули в отце и дочери какую‑то давнюю тревогу, которую оба прятали от самих себя, как прячут мысль об ожидаемом впереди несчастье.

“Ничего не понимаю, — растерянно подумал он. — Мир, здоровье, успешная работа — чего еще им надо для счастья?!”

Он посмотрел в окно, где сквозь березы все так же струился косой золотистый свет и все так же бесшумно летел и кружился осенний лист.

— Пора звать Машку, — отрывисто сказал Телегин.

Девушка встала, но задержалась у окна, на мгновение как будто слилась с сиянием вечера, со всем, что было красотой и покоем осени, ее усталой нежностью.

— Не надо звать Машку, — сказала она внезапно. — Сама идет.

— Где? — сорвался с места Телегин, а за ним Рябцев, но среди оголяемых ветром берез оба не увидели ничего, кроме прозрачной зыби теней и света.

— Она там, — тихо сказала девушка. — Ей еще надо дойти.

Губы добавили еще что‑то неразличимое. И хотя, как прежде, вдали не было ничего, Рябцеву показалось, что он слышит тяжелую поступь. Телегин толчком распахнул окно. С шепотом берез ворвался ветер, прошелся по телу холодком, но ничего этого Рябцев не ощутил: рядом было побледневшее лицо девушки. Юное и тревожное, оно звало спрятать, укрыть, защитить — навсегда и от любой напасти. Мучительным усилием Рябцев смял в себе этот порыв. Его живший сейчас независимо от всего другого слух стал слухом девушки, и в нем было то, что делало порыв нежности и необходимым, и невозможным, даже если бы они были одни.

Неслышная поступь близилась.

Теперь увидел и глаз. Меж дальним белоствольем берез в теплоту света вдвинулось темное, как бы на ходулях приподнятое тело, пропало в тени и возникло опять — ближе. Очертания укрупнились. Животное брело тяжелым, будто надломленным шагом, и полосы света скользили по мохнатой спине, тут же скатываясь с крутого и мощного крупа. В такт шагам мерно подрагивала склоненная голова.

Животное шло прямо к окнам, но глаза лосихи не глядели на людей, словно их не было вовсе, и тем мрачней казалось это неотвратимое, отталкивающее свет движение огромного темного тела, над которым легко и зыбко реяли желтые листья. Один из них спланировал

прямо на надетый, как ошейник, транслятор и повис на нем бесцельным украшением осени.

Люди не говорили ни слова. Той же поступью лосиха приблизилась вплотную, вытянула шею, точно намереваясь положить морду на подоконник, но не сделала этого, замерла на своих мосластых ногах–ходулях. И тут Рябцев вздрогнул — из недр транслятора грянул лишенный обычных интонаций голос:

— Человек, убей волка!

Плечо девушки прижалось к плечу Рябцева, и он почувствовал, как оно дрожит.

— Машка… — едва слышно проговорил Телегин. — Маша, ты что?

— Человек, убей волка!

— Маша, родная, почему?

— Волк убил моего лосенка. Человек, убей волка!

Транслятор рубил слова: “…убил… моего… лосенка…” И этот бесстрастный голос звучал в тишине вечера, как требование самой природы, которая вдруг обрела дар слова. “Убей… убей… человек, убей…”

— Маша, послушай…

— Ты говорил: человек — друг. Волк убил лосенка. Человек, убей волка!

Она наконец подняла голову, и на людей глянули влажные, черные от тоски глаза матери.

Лада бесшумно метнулась прочь, где‑то гулко хлопнула дверь.

А голос не умолкал.

— Человек… друг… убей!..

Рябцев отступил на шаг, боком ударился о что‑то.

— Хорошо, хорошо… — тяжело дыша, бормотал Телегин. — Ты подожди…

Неловко, будто заслоняясь, он запахнул окно. Все: и гаснущий в золоте вечер, и лосиха–мать, и заговорившая ее голосом природа, — оказалось отрезанным стеклянной преградой.

Телегин слепо нашарил стул, сел и лишь тогда повернул голову к Рябцеву.

— Получили свое? — спросил он без выражения. — Теперь разнесете по свету? Не препятствую, разносите.

— Но как же так? — осторожно, словно у постели больного, спросил Рябцев. — Что, что вы ей ответите?

— А что ей можно ответить? Что в природе для нас все равны, что и волк нам друг, а если бы и не был другом, так что бы это меняло? Ничего.

В охвативших комнату сумерках Рябцев плохо видел выражение лица Телегина, но, обостренное, оно сейчас показалось ему вырезанным из твердого сухого корневища — так бесстрастно прозвучало последнее слово.

— Ничего? — переспросил он растерянно.

— Ничего, — последовал ответ. — Природа ни жестока, ни благостна, она закономерна, и волки закономерно режут самых достижимых, то есть самых слабых, и тем оздоравливают тот же лосиный род. Но что Машке лекция? Ее детеныш был хилым, болезненным, заранее обреченным, но ей и этого не объяснишь, ничего не поймет. Ни–че–го. Никогда. И не надо: она — мать.

— Так вы с самого начала ждали… Все это время…

— Естественно. Только человеку дано познать закон рода, многое предвидеть в судьбе, это наша сила или, если хотите, бремя. Бедная Лада! — Телегин покачал головой. — Лосенок был ее любимцем.

— Но она же могла…

— Защитить и сберечь? Могла! — Телегин вскочил, слова прорвались в нем лавой. — Мы многое можем, даже замахнуться на закон природы можем! А долг исследователя? Идет эксперимент. С дикими, не домашними существами. Чтобы нас самих не смололи жернова еще неведомых нам законов природы, надо быть холодно зоркими, бесстрашными, как… как сама природа.

— И жестокими.

— Бросьте, — устало отмахнулся Телегин. — Вы или не понимаете, или не хотите понять, что еще хуже. Во что вы лезете со своим гуманизмом? Одной жертвой больше, одной меньше, волны отбора перекатывают песчинки жизни, кто их считает… Машка все скоро забудет, на то она и лосиха, мы же сегодня узнали кое‑что новое.

— Нет, это вы меня не поняли или не хотите понять. Опыт жесток к вам! Экспериментатор влияет на объект, ха!.. А наоборот, не больше ли? Лосиха‑то, может, завтра забудет, а Лада… Мы в ответе за всех, кого приручили, не так ли?

Телегин ничего не ответил. В темноте было слышно, как он шарит по ящикам стола. Щелкнула зажигалка, язычок пламени, осветив лицо, коснулся кончика сигареты.

— Мерзость и яд, — пыхнув дымом, проговорил Телегин. — Но в иные минуты эта дрянная привычка человечества…

— Зря, — тихо сказал Рябцев. — Это не поможет.

— Верно. — Телегин поспешно затушил окурок. — А знаете что? Волк‑то… Теперь понятно, почему он не пришел.

— Думаете, совесть?

— Какая там совесть… А впрочем, не все же началось с человека…

Рябцев вышел.

В проклюнувшемся звездами сумраке он не сразу различил двоих. Но смутное пятно, которое он сначала принял за белеющий ствол березы, слабо шевельнулось, и он понял, что это Лада. Она то ли обнимала лосиху, то ли взгляд просто не мог разделить их слитную тень, только обе стояли молча, и, может быть, это молчание было полнее любого разговора.

ПРОГУЛКА ВЧЕТВЕРОМ

Движение давно обернулось неподвижностью. Они мчались — и покоились. Летели, оставаясь на месте. Перемещались из ниоткуда в никуда. Так им казалось. Ничто не удалялось, ничто не приближалось, все оставалось, каким было, на веки веков неизменным, как Земля позади, как Луна впереди, как мертвенная сфера звезд вокруг. И о какой бы скорости ни твердили приборы, власть наглядного столь велика, что из двух утверждений — “ракета перемещается” и “нет, она недвижна” — чувства выбирали второе и настаивали на нем, как на истине. Рассудок не спорил. Не все ли равно и какая, в сущности, разница? Люди всегда жили на летящей планете, но она им казалась неподвижной и осталась такой, когда выяснилось, что в действительности Земля мчится. То ли еще может ужиться в сознании!

Но где покой, там однообразие, а где однообразие, там и скука. Сдерживая зевоту, Шелест следил за показаниями приборов. Строго говоря, в этом не было особой нужды, ведь, если что не так, первым это заметит кибермозг и он же первым распорядится. Но положение обязывает. Инструкция тоже; ее параграфы сродни былым заповедям господним: столь же непререкаемы и, пожалуй, еще более дотошны. Сплошное повеление и запрещение.

Рык они не запрещали. Рык доносился сзади. Нехороший был рык, торжествующий. Скашивая взгляд, Шелест видел взволнованно–окаменелые лица детей. Стереовизор они держали на коленях, и нельзя было разглядеть, что там происходит, но, судя по зеленоватому колыханию на лицах, по трубному реву и крику, перед ребятами расступались болотистые джунгли, в которых затаился некий инопланетный монстр. Вне всякого сомнения, ракета в этот миг для детей не существовала, были лишь заросли и замершее в них чудовище.

“Но ведь в полете действительно скучно”, — привычно успокоил себя Шелест.

Все верно, только дети впервые покинули Землю. Перед ними впервые раскрывался космос, и, казалось, они должны были жадно прильнуть к иллюминатору или вовсю резвиться в невесомости, ибо где еще можно так кувыркаться, шалить, висеть вниз головой! Поначалу все так и было, но скоро кончилось, и они, как старички, уселись перед своим стерео. Словом, то же самое, что на Земле. Это при детской‑то любознательности! Среди звезд! Правда, за время полета кабину можно было изучить, как собственный карман,

да в ее тесноте особо и не покувыркаешься. Правда и то, что на полпути к Луне во внешнем мире мало что меняется. Все так. И не так, потому что еще года три назад обычная прогулка в городском реалете сопровождалась восторженным писком, ойканьем и расспросами, от которых звенело в ушах. А теперь они путешествуют к Луне.

— По–моему, впереди комета, — отчетливо проговорил Шелест.

Никакого отклика сзади. Тишина и вроде бы хруст ветвей. Там кто‑то пробирался. Или подкрадывался. Может быть, намеревался кого‑то слопать.

— Тошка, Олежка! Комета!

— А?..

— Да оторвитесь же! Комета!

— Что ты сказал, папочка?

— Комета, я говорю.

— Где?

— Во–о-он! Левей и ниже Плеяд. Такой желтенький головастик…

А–а…

Бум–м! Трах!

— Разглядели?

“Не уйдешь, Рик, не уйдешь… И пэксы тебе не помогут!” — взревел стереовизор.

Их не трое было в ракете, их было четверо. И тот, четвертый, был неиссякаем; он развертывал мир призрачных событий, вводил в призрачную Вселенную, каждое мгновение наполнял впечатлениями, делал это без пауз и скуки. Да был ли он вполне призрачным? Он был неосязаемым — это верно; он был искусственным — и это правда. Но как зримая реальность он был доподлинностью. Здесь, в переносном приемнике, видеомир еще отличался от настоящего размерами. Дома — нет. Все пропорции там были соблюдены настолько, что все едино — смотришь ли ты стерео или глядишь в окно. Только это уже такое окно, где все непрерывно и увлекательно меняется.

Но ведь к этому и стремились! Того и добивались режиссеры, операторы, сценаристы, актеры. Добивались тогда, когда снимали хронику, чтобы все было как в жизни, в самом густом и выразительном ее замесе. Добивались, когда ставили фильмы и пьесы, в идеале такие, чтобы от вымысла нельзя было оторваться, чтобы он был правдивей правды. Древняя магия искусства, которую техника возвела в степень, ее законы управляли режиссерами, операторами, драматургами. Вообще неясно, что действительней в сознании — Гамлет, которого никогда не было, или твой прадед, о котором ты почти ничего не знаешь. Пожалуй, Гамлет. Или Пьер Безухов. Даже Маугли. Они больше, чем вымысел. Это друзья или, во всяком случае, близкие знакомые.

И все‑таки…

Поколебавшись, Шелест на мгновение включил корректировочный двигатель.

— Пап, что ты делаешь?!

— Ну, в самом–самом интересном месте!..

Голоса были не просто обиженные — в них прорвалось возмущение. Шелест поспешно выключил двигатель.

— Надо было чуть–чуть подправить… — пробормотал он.

Ответа не последовало. Плазменная струя перестала создавать помехи, которые искажали изображение, и зрелищный мир вернулся к ребятам.

Нотка неприязни в их голосе обескуражила Шелеста. Замечал ли он ее прежде? Скорей всего она проскальзывала и раньше, причем именно тогда, когда он пытался оттащить детей от призрачного мира. Просто он этого не замечал, потому что старался не замечать.

Так стараются не замечать признаков старости. Так стараются не замечать признаков отчуждения. Так стараются не замечать, пока это возможно, любых медленных и скверных перемен. Пока это возможно. Значит, теперь это уже невозможно?

“Не делай из мухи слона, — осадил себя Шелест. — Когда это бывало, чтобы дети ни разу не злили отца, и наоборот?”

Мигнул сигнал вызова. Шелест включил связь и выслушал новый, вызванный его внепрограммным маневром расчет траектории. Выговора дежурный Лунной Базы не сделал, но заметил, что в рай спешить незачем, так как оное место в связи с полным торжеством атеизма закрыто на учет.

— Прекрасно, — отпарировал Шелест. — Но ведь и ад закрыт тоже…

Он мог позволить себе такой ответ, потому что сделанный им маневр пока что не противоречил правилам.

— Зато существует квалификационная комиссия! — Дежурный, как любой уважающий себя служащий, не мог допустить, чтобы последнее слово осталось не за ним. А чтобы оно действительно было последним, он сразу же отключился, как человек, у которого дел по горло.

Впрочем, забот у него и вправду хватало. Тут все было привычно, понятно, и настроение Шелеста улучшилось. “Все образуется, — сказал он себе, — не стоит преувеличивать. Нет ничего такого, что бы со временем не пришло в норму. Даже если поначалу сама эта норма кажется тягостной”.

Он внимательно прислушался к тому, что говорили заполнившие кабину призрачные видеогости, и его поразила ничтожность их речи, отчетливая здесь, в черной бескрайности и звездной бесконечности. Ничтожность? Плохих произведений всегда больше, чем хороших. Есть масса книг, которых никто не читает и не прочтет. Но передач, которых не смотрят, нет. Да что же это такое?

Крыса с электродом в мозгу. Крыса, замыкающая контакт, чтобы возбудить “центр удовольствия”. Забывшая обо всем другом крыса. Плевать ей на то, каким образом достаются удовольствия, важно, что они достаются!

Усилием воли Шелест отогнал чудовищное видение. Оглянулся. Все как всегда. Прильнули, впились взглядом, расширенные зрачки черны, как провалы Мрака. Нет, не черны, в них напряженно пульсирует отражение видеомира. Подвижный отсвет на неподвижных лицах. Беглые мазки разноцветных теней, их мимолетная ретушь, по завороженным мордашкам скользят блики упоительных снов. Макушки склоненных голов топорщатся хохолками: у Олежки — как поросячий хвостик, у Тошки он щеточкой.

Да разве в видеотехнике дело! Ему самому в детстве порой нравилась такая чепуха, что вспоминать стыдно. Глотал все подряд — и ничего. Была прямо‑таки дикарская жажда зрелищ и развлечений, прошла, миновала. Онтогенез, говоря языком науки, повторил филогенез: личность в своем развитии сжато воспроизвела духовную эволюцию человечества.

Более чуткий Тошка уловил отцовский взгляд. Карий глаз дрогнул, вгляделся, проверил: нет повода их упрекнуть, все в порядке, можно смотреть дальше… Лицо мамино, тонкое, и тени на нем акварельные, шейка как склоненный стебель цветка; у Олежки все крепче, круглее, веснушек в этом призрачном свете не разглядеть, сопит от переживания. Мальчишечки, мои мальчишечки! Где вы, что с вами?! Так бы и взял под крыло — защитить. Но от кого, от чего? Праздничная прогулка, все идет своим чередом, Луна уже близится, — о чем речь?..

Луна стала наконец укрупняться. Две трети выпуклою диска были озарены Солнцем, и в его беспощадном свете оспины кратеров, резкие изломы гор, угольные провалы теней поражали своей отчетливой и мертвенной наготой. Самый суровый камень земных хребтов всегда смягчен, милосердно затушеван воздушной дымкой, чуть изменчив, неуловимо жив. Здесь все было иначе.

— Ребята… — Голос Шелеста дрогнул. — Под нами Луна!

Они зашевелились и повернули головы. Теперь с одного бока на лица детей падал меловой отсвет Луны, а с другого их озаряли телефантомы. Странные, как маска клоуна, лица: наполовину белые и лунные, наполовину в беглых радужных бликах.

— Да выключите вы эту дрянь! — заорал Шелест.

— Ну, пап! Ведь мы смотрим!

Они смотрели. Их взгляд перебегал: Луна — фантомы, фантомы — Луна… Фантомы, все чаще фантомы, все реже Луна — ведь на ней ничего не происходило!

На ней и не должно было ничего происходить. Она близилась, вот и все. Шелест видел Луну много раз, и всякий раз его охватывало волнение. В первый раз то было волнение открытия и гордости. Он спускался. Вступал в свои новые владения. Он был избранником и победителем, хотя и оставался простым пассажиром. Какая разница, ведь и тот, кто впервые летит авиарейсом, на короткий миг ощущает себя немножко Икаром!

Потом было иначе. В Луне всегда оставалось что‑то недосказанное. Что‑то ускользающее от глаз… Может быть, потому, что она открывалась вся и сразу? Все напоказ, все нараспашку, чего в жизни не бывает. А может, он просто помнил, что в детстве, его детстве, Луна была загадочной и труднодоступной?

Теперь не то… Дети ни разу не были на Луне, но стерео часто являло ее так, что, казалось, протяни руку, и ты коснешься лунной поверхности. Полный эффект присутствия! Пусть не своими глазами, но дети видели Луну издали, и вблизи, и в упор, и как угодно.

В его детстве голография только зарождалась.

Луна — фантомы, фантомы… Он едва сдержал желание вырвать из их рук этот идиотский ящик и расколошматить его о переборку.

Ладно. На Луне меж ними не будет четвертого. И сколько времени они упрашивали свозить их на Луну! Значит, там они будут втроем.

— Внимание, ребята, приготовились! — сказал он. — Идем на посадку!

Там, сзади, на полуслове оборвался звук выключенного стерео, сухо щелкнули пряжки ремней. “Дисциплинированная публика… — с удовлетворением подумал Шелест. — Наконец‑то!”

Лунный диск вздрогнул и накренился. Шелест сажал машину. Сейчас в его руках была власть над тяготением и ему покорялось пространство. От рева двигателей вибрировали стены. Легким прикосновением пальца Шелест мог усилить или укротить огненный вулкан тяги, мог заставить лунный мир содрогнуться. И если бы все так было в действительности, как бы любовались им сейчас дети! Но все было не так. Он мог управлять этой силой — и не мог, потому что за него, лучше него, помимо него действовали автоматы, а он, в сущности, был зрителем, и его право вмешиваться оставалось чистой теорией.

Посадка прошла как должно, не пришлось шевельнуть даже мизинцем.

— Проверить скафандры! — командовал Шелест. — Сначала воздух, затем связь… Тебе не помочь, Олежка?

Нет, помощь не требовалась. И команды были излишними. Ребята сами знали, что делать, и делали — этому обучил их не папа (кто бы ему доверил!), этому обучили их на курсах, и они вполне могли обойтись без отца. Правда, было мгновение, когда, казалось, его вмешательство вот–вот потребуется: у трапа Антон и Олег едва не сцепились, решая, кому первому ступить на Луну. Обошлось, однако: оба спрыгнули разом.

В некотором ошеломлении, которое всегда сопутствует резкому переходу в новое состояние, они смотрели на Луну. Их окружала темная и в то же время ослепительная равнина, под ногами было нечто весьма похожее на шлак.

— Мы на Луне, — прошептал Шелест. — Чувствуете, ребята?

Олег с недоумевающим видом глядел вверх.

— Ты что, Олежка?

— Звезды…

— Какие звезды?

— Да в небе… Почему их нет?

— Нет, потому что нет. Как они могут быть, если светит Солнце? Звезды гаснут в его отблеске.

— Но там они есть… Солнце и звезды.

— Где?

— В стерео…

— В стерео! Это же технический прием, трюк, который создается аппаратурой! Фокус!

— А–а… Понятно. Чего мы стоим? Пошли!

Ракета осталась позади и скрылась. Из‑за близости горизонта казалось, что они бредут по острову, чьи края обрезаны аспидной пустотой неба. И то, что возникало вдали, словно всплывало из пучин, медленно приподнималось над окоемом, прирастало к “острову”. Но появлялось все одно и то же: камень. Россыпи камня, груды камня, изъязвленный камень, прах и окалина, шлак космической плавки, угли давно сгоревших скал, черный пепел миллионолетий. Над всем застыл косматый и огненный глаз Солнца, на все давил свинцовой тяжести свет, в котором ярко пылала и не могла сгореть серая убогость лунного камня.

Дети то ускоряли шаг, словно надеясь, что за горизонтом окажется нечто иное, то медлили, озираясь, наклонялись, как бы ища потерю. Скафандры окукливали их фигуры, за прозрачными забралами шлемов поворачивались недоуменные и словно даже чумазые мордашки, глаза рыскали по сторонам, и Шелеста радовал этот интерес. Но как он вскоре понял из отрывистых реплик, все обстояло не так просто. Ну где же, где те чудные перемены цвета, которые, если верить киносъемкам, были на Луне повсюду?!

Они и были. Хотя общий тон оставался мрачно–серым, рефлексы света придавали лунному реголиту то коричневатый, то зеленоватый отлив, который менялся при повороте головы и скрашивал угрюмую мертвенность камня. Но разве эта скупая игра оттенков могла сравниться с теми волшебными изменениями цвета, которые могли создавать и создавали съемочные камеры? Дети сравнивали то, что они прежде видели не своим зрением, с тем, что они видели в натуре теперь, и явно испытывали разочарование. Все оказывалось бедней, суше, строже.

То же самое, что со звездами в лунном небе, то же самое! Операторы и режиссеры, знакомя человечество с Луной, не то чтобы лгали, хотя порой случалось и это. Чаще, гораздо чаще они просто–напросто следовали велению своего искусства, то есть отбирали самое–самое, на их взгляд, интересное, сервировали факты, чего жизнь никогда не делает, невольно что‑то выделяли, усиливали, ретушировали — лишь бы приковать внимание и обострить интерес. А как иначе? Дайте двум людям одинаковые камеры, заставьте снимать одно и то же — снимки все равно выйдут разными, и вы, естественно, предпочтете более выразительный. Теперь внесите в это дух соревнования, потребуйте творчества, вооружите людей волшебным могуществом голографии. Когда‑то изображение было лишь бледной тенью действительности; ныне уже сама действительность выглядела ухудшенной копией изображения. Ребята не могли не сравнивать, и они сравнивали.

“Что вы делаете! — хотелось закричать Шелесту. — Ведь это же Луна, настоящая Луна, Луна, где вы никогда не бывали, Луна, о которой ваши, иного века, сверстники и мечтать не смели! Вы не имеете права скучать!”

Бесполезно, они бы не поняли. Их интерес к Луне угасал. Что они могли здесь увидеть такого, чего раньше не видели? Луна — не Земля. Здесь нечего слушать, потому что нет звуков, не дано осязать, потому что человек замкнут в скорлупе скафандра и, пожалуй, лишь зрение соединяет его с окружающим. А зрение, выходит, уже не свое — чужое, заемное… Вот если бы ребятам разрешили ощутить неземную легкость своего тела! Но прыгать и бегать им запрещалось категорически, потому что на Луне падение грозит не синяками и шишками, а разрывом скафандра и смертью. Им только одно оставалось — смотреть.

Он отстал на два шага и смотрел, как идут его дети. Они шли рядком в поблескивающих скафандрах, два шагающих металлических домика, один повыше, другой пониже, а так — неразличимые. Он быстро нагнал их, обнял, прижав к себе.

— Что, папа?

Ничего, просто ему хотелось услышать их голос.

— Оглянитесь, — сказал он.

Они оглянулись.

— Видите наши следы?

Конечно, их нельзя было не заметить: следы рубчатых подошв цепочкой тянулись до горизонта.

— Они не сотрутся, — сказал Шелест. — Они будут тут… Может быть, миллионы лет. Вы знаете это?

Он хотел сказать: “Вы чувствуете это?”, но передумал, потому что не был уверен, поймут ли его.

Олежка кивнул.

— Ага… Но этого не будет.

— Их затопчут метеориты, — уточнил Тошка.

— Нет, — возразил брат. — Прежде их затопчут люди.

— Пожалуй, — только и смог выговорить Шелест.

Все‑то они знали! Оборотная сторона бдения перед стереовизором: что‑что, а информацию они впитывали, как губка воду. Еще вопрос, у кого ее больше — у них или у старца в каком‑нибудь девятнадцатом веке. Вероятно, у них. А цена этому?

“Все не так, — с глухой досадой подумал Шелест. — Не то, и я не о том… А о чем? Ошибка, все надо было продумать заранее! И как показывать, и что им говорить…”

Мысль споткнулась. О чем он? Продумывать, планировать… общение с собственными детьми?! С сыновьями? Чтобы, значит, они, как когда‑то, прижимаясь к его плечу, перебивали вопросами, чтобы он снова мог видеть их доверчивый и жадно–внимательный блеск глаз? Чувствовал себя самым–самым (после мамы) необходимым человеком, кладезем ума и знаний? Чтобы исчез тот лишний, что поселился меж ними, чтобы только он, отец, одарял их своим пониманием всего на свете? Не ради ли этого он затеял все?

И вот они на Луне, никого больше нет, дети с ним, только с ним — и что дальше? Не только тела, их души в скафандре. Окажись рядом свежий человек, что бы он сказал о внутреннем мире этих двоих? Ну, уравновешенные, ну, замкнутые, малоэмоциональные… Что еще?

Похожие друг на друга. Усредненные.

Шелест вздрогнул, даже обернулся, словно кто‑то мог подслушать его мысль. А что, если… Еще никогда не было такого могучего, такого всеобщего воспитателя, как стерео. Никогда. Даже в эпоху гипнотического, как тогда казалось, на деле примитивного телевидения. Впрочем, уже в те годы возникло слово “теледети”. Может быть, происходит даже не усреднение, а свертка психики. Так, как это бывает при гигантской силе тяготения; околозвездное пространство схлопывается, замыкается само на себя, окукливается “черной дырой”, которая и принадлежит этому миру, и находится вне его. И коль скоро в жизни возник сверхмощный источник психологического притяжения, если личность не может вырваться из этого поля, а, наоборот, все более поглощается им, то…

Шелест споткнулся, горизонт качнулся перед его глазами. “Нег, — мысленно вскрикнул он. — Нет, нет, нет!” Разве он сам не из поколения “теледетей”? Вдобавок, если его панические рассуждения верны, то люди все более должны походить на песчинки, гладкие, скатанные и неразличимые. Тогда и расцвет личности, между прочим, надо искать в прошлом, где‑нибудь среди толп обездоленных и молящихся.

Но разве можно сравнить?!

Шелест медленно перевел дух. Дети шли, не оглядываясь, длинные отброшенные ими тени то сходились, то размыкались, как лезвия огромных черных ножниц. Оказывается, ребята нашли занятие: они пинали камешки, которые отлетали так далеко, что, упав, становились неразличимыми.

Местность — давно пора! — стала меняться. Горизонт как бы приподнимался, они шли, шли, а он поднимался все круче, пока вдруг не разверзся у ног обрывом.

Все трое остановились. Кратер был залит тенью, над ней сверкали иззубрины скал. Шелест, не отрываясь, смотрел на пламенеющие скалы, на тень, куда можно было кануть,

как в воду. Белое и черное, ничего больше, но это место всегда волновало Шелеста. Оно обладало свойством, которое не мог выразить и передать никакой объектив, ибо стоило раздразнить воображение, как глаз начинал видеть несусветное и разное. Мрак твердел, сверкающий камень скал, наоборот, обретал легкость огня, и тогда казалось, что темный покров лунных бездн охвачен языками мертвенно–белого пламени. Но так же легко и внезапно все выворачивалось наизнанку: скалы из огненных и невесомых превращались в сверкающие, навечно вмороженные в толщу мрака льдины. Одно видение накладывалось на другое, льды пылали, огонь искрился морозным блеском, все мешалось, уже не было неподвижности, твердь трепетала языками пожара, а тень змеилась течениями, которые возносили над чернотой то ли айсберги, то ли раскаленные глыбы лавы. Непросто, непросто человеку было вернуться в состояние, когда все выглядит таким, каким оно есть: внизу самая обычная, рябая от бликов тень, а над ней ярко освещенные, щербатые, тоже обычные скалы.

Шелест долго стоял зачарованный. Все заботы отошли далеко, стали мелкими и ничтожными. Наплывом, без горечи, думалось и о том, что дети уже не те, уходят, и он сам им все менее нужен. Что ж! Дети растут, отдаляются, так было всегда, теперь это ускорилось, и не могло быть иначе, потому что ускорилась жизнь. Смел ли он в своем детстве мечтать о подобной, запросто, прогулке на Луну? Но если фантастика, не успеешь оглянуться, становится явью, то поколения, как никогда прежде, должны отличаться друг от друга. Иначе все замрет в таком вот лунном оцепенении. Как замер он сам, как замерли дети…

Дети?

Он очнулся. Не веря глазам, огляделся. Никого не было рядом, никто не стоял по^ди, дети ушли бесшумно. Цепочка крадущихся следов, огибая скалу, вела по пологому скату вниз.

Шелест задохнулся от растерянности, испуга, гнева.

— Олег, Антон!..

Слова канули в беззвучие.

— Олег, Антон!!!

Он ринулся вниз. И услышал приглушенный смех.

Тогда он все вспомнил и понял. Не он ли еще на Земле обещал детям эту вечную как мир игру, посулил ее именно здесь, в кратере, в лунных тенях?

Но игра по подсказке и на поводке — уже не игра, что угодно, только не игра.

Снова раздался прерывистый смех.

— Ищи нас, папа, ищи…

Только на Луне можно не опасаться, что голос выдаст место, где ты спрятался. И только лунные тени позволяли стать невидимкой в пределах взгляда того, кто ищет.

— Ау, папа, мы здесь!..

Шелест перевел дыхание. Их следовало выбранить за самоволие, но… Тот, посторонний, не мог участвовать в этой игре, ни в какой игре, где требовались сметка, изобретательность, общность.

И вообще человек начинается со слова “сам”.

— Раз, два, три, четыре, пять! — звонко, как в детстве, закричал Шелест. — Я иду искать!..

“РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНОВ”

Нет ничего постоянней галактического однообразия, поэтому, устремляясь к звездам, люди редко смотрят на них. Просто наскучивший фон. Или объект исследований. И когда Сухов, глянув после долгого промежутка в обзор, обнаружил ярко горящую среди звезд надпись: “Ремонт электронов”, то из его горла вырвался лишь короткий сипящий звук.

— Ты что‑то сказал? — рассеянно спросил склонившийся над работой Тарт.

Вместо ответа Сухов ткнул пальцем куда‑то левее Бетельгейзе. Тарт наконец

поднял голову и нехотя глянул в обзор. Его лицо тут же оторопело, он взмахнул рукой, будто намереваясь сказать: “А, бросьте!”, и это убедило Сухова, что мерещится не ему одному. Застилая Млечный Путь, прямо по курсу горела бессмысленная, невозможная, совершенно идиотская надпись: “Ремонт электронов”.

Не чего‑нибудь — электронов.

— Здра–а-асьте — Новый год! — брякнул Тарт, вместе с креслом отъезжая в угол. — Сгинь! Формулой Ньютона заклинаю!

Издевательская надпись даже не дрогнула.

— Что будем делать? — спросил Сухов, когда все междометия иссякли и срочно запрошенный кибермозг подтвердил, что да, прямо по курсу наблюдается приглашение отремонтировать электроны.

— Мамочку кликать! Курс поздно менять, да и вообще… Ты хоть что‑нибудь понимаешь?!

Увы, в голове Сухова было пусто, как в ограбленной пирамиде. Пламенеющая надпись быстро увеличивалась в размерах, но от этого не становилась понятней. Скорее наоборот. Детекторы пространства дружно уверяли, что перед звездолетом нет ничего, кроме чистейшего вакуума. Глаза меж тем видели четкие, недвусмысленной кириллицей начертанные буквы, и кибермозг настаивал, что это не обман зрения. Ничего себе вывеска — эдак парсека в два! Впрочем, то был пустяк. Ремонтируют, видите ли, электроны. Может, еще и орбиты смазывают? Расшатавшиеся атомы чинят–починяют? Да заодно луны из зеленого сыра делают?..

Огненные слова, казалось, простирались уже на всю Вселенную. В их отсвете меркли звезды. И хотя нос корабля целился прямехонько в срединное “т”, тормозить, отворачивать было действительно поздно, да и нелепо.

— Ой, врежемся… — в залихватском смятении прошептал Тарт.

И они врезались. Ближние буквы нелепой “вывески” затрепетали, как полотнища на ветру, ножка “т” изящно приподнялась, и скользнувший под нее корабль с ходу затормозил. Точнее, его затормозило. Да так, что приборы показали мгновенный сброс скорости до нуля, а Тарт с Суховым даже не клюнули носом, хотя по всем законам физики от их тел при таком торможении, как и от самого корабля, должно было остаться одно воспоминание.

— Ничего себе! — ахнул Тарт. — Называется, прибыли. Вопрос только — куда?

— Туда, куда вы спешили, — послышался мягкий мужской голос. — Что‑нибудь срочное? Вы так разлетелись, что нам, извините, пришлось вас чуточку придержать…

— “Нам”?! — ошарашенно озираясь, вопросил Тарт. — Простите, кому это “нам”?

— Ремонтникам, разумеется. Ведь ваши электроны нуждаются в починке, не так ли? О да, вижу: весьма и весьма нуждаются.

Вопль, который издал Тарт, вероятно, можно было услышать в другой галактике.

— Да где же вы?!

— Снаружи, естественно. Фирма “Межгалактоуслуга” рада приветствовать вас.

Сухов и Тарт, вытаращив глаза, уставились в обзор, где не было ничего, кроме звезд, мрака и все той же, теперь уже с изнанки, видимой надписи. Впрочем, приглядевшись, оба различили какие‑то смутные, чуть затмевающие звезды тени.

Не более.

Тарт ошалело помотал головой.

— Ремонтники, значит… И русским языком владеете…

— Любым, какой потребуется для оказания помощи. “Ах да, сверхцивилизация, конечно, конечно…”

— А эти самые… — Тарт пальцами изобразил колечко. — Ну, электроны… Вы их, того… починяете?

— Починяем, — охотно откликнулся Голос. — С миллионолетней гарантией.

— Но ведь электроны… Они, это самое, все одинаковые…

— Кто вам это сказал? — удивился Голос. — А, понял: шутка! Ха–ха–ха… Нет, это надо же — одинаковые! Спасибо, со столь тонким юмором не часто встречаешься. Но если говорить серьезно, то я бы посоветовал предъявить своим изготовителям рекламацию.

— Неужели?

— Да. У вас каждый тринадцатый электрон — дефектный.

— Что вы говорите!

— Увы, так оно и есть. Вдобавок небрежная нуклеация.

— Еще и нуклеация! Да уж, действительно… А нам поверят?

— Сошлитесь на нас в рекламации. Дефектная ведомость будет приложена. Хотел бы я взглянуть на цивилизацию, которая поставила бы под сомнение… А халтуру надо искоренять!

— М–да, — только и смог выговорить Тарт. — Халтура, она, точно, того…

— Вот–вот! Поразительно, как вы еще могли передвигаться со столь энтропийными недоработками. Ничего, сейчас мы все наладим.

— И вы нас сможете починить?

— Не беспокойтесь, уже чиним.

— То есть как?! — Тарт дернулся, как рыба, подцепленная на крючок. — Но позвольте! Мы не…

— Да, да, понимаю! Мы в самом деле немного замешкались. Но все уже наверстано, никакой, уверяю вас, задержки не будет. Еще одна последняя операция… Ну вот, все уже и готово. Можете проверять.

Тарт было раскрыл рот, чтобы спросить, а каким образом они смогут проверить и что, как вдруг понял, что спрашивать нет нужды. И Сухов тоже все понял. Они в изумлении уставились друг на друга. Полно, были ли они зрячи прежде? Жили когда‑нибудь вот так? Со всего будто смыло тусклую грязь. Их глаза видели сотни новых подробностей и оттенков. Чувства обострились, радостно заспешили, тело казалось легче пушинки, в нем пульсировала чудесная, юная, никакой энтропии не подверженная кровь. Звездное сияние Галактики стало неузнаваемым, прекрасным. Сухов закрыл глаза. “Я сплю и вижу чудесный сон…”

Да, их прежнее существование было лишь тенью подлинного, настоящего.

И корабль изменился не менее, достаточно было взглянуть на показания индикаторов, чтобы убедиться в этом.

Бурный, неуемный восторг охватил Тарта.

— Вот это да! — ликующе воскликнул он. — Ай молодцы, вот это работа! Никогда бы не поверил! Ну, ребята, кто бы вы ни были — спасибо!

— Не стоит, ведь это наша, ремавтоматов, обязанность. Счастливого пути! С вас восемнадцать кредитов за ремонт.

— Во… Ч–ч‑что?..

Каждому, верно, довелось наблюдать, как опадает проколотый воздушный шарик. Вот так осело лицо Тарта.

— Ч–ч‑что? — повторил он ссохшимся голосом. — Восемнадцать… чего?

— Восемнадцать обычных межгалактических кредитов, — любезно пояснил Голос и, казалось, хихикнул.

— Постойте! — вскричал Тарт. — Мы же ничего не просили! Вы сами! Какие еще кредиты?! Тут недоразумение!

— Недоразумение? — Голос посуровел. — Какое, простите, и в чем? На ремонтную базу прилетают затем, чтобы отремонтироваться. Так? Так. Вы прилетели — мы вас отремонтировали. Так? Так. Или у вас есть претензии к качеству ремонта?

— Нет… — упавшим голосом сказал Тарт. — Нет.

— Тогда платите.

— Кредитами?

— Кредитами.

Тарт в замешательстве уставился на Сухова, тот на него.

— Что будем делать? — свистящим шепотом спросил Тарт.

Сухов беспомощно развел руками.

— Влипли! Надо платить.

— Чем? Ты хоть, отдаленно представляешь, как выглядят эти проклятые кредиты?

— Придется спросить. А вдруг…

— И предстать галактическими младенчиками? Нищими и побирушками? Подожди, у меня мелькнула одна идейка.

Тарт солидно откашлялся.

— Послушайте, мы тут посовещались… Вы можете восстановить все, как было? Ну, поменять все эти ваши антиэнтропийные электроны на прежние?

Раздался звук, похожий то ли на хрюканье, то ли на лязг ржавого засова. Сухов и Тарт вздрогнули.

— Разумеется, можем, — после недолгого молчания отозвался Голос. — Но, признаться, более странной просьбы я еще не встречал. Однако, если вы настаиваете…

— Да, да!

— …то это обойдется вам еще в восемнадцать кредитов. Прикажете приступить?

— Нет!

Тарт обессиленно рухнул в кресло, которое приняло его — мягко–мягко. Должно быть, в нем тоже отремонтировали электроны.

— Позвольте у вас спросить, — поспешно вмешался Сухов. — Допустим, кто‑то отправился к звездам… м–м… погулять. И не захватил с собой кредиты. А кораблю потребовался ремонт. Как тогда?

— Так не бывает.

— Что “не бывает”? Корабли не ломаются? Вы отказываетесь чинить?

— Нет, просто кредиты всегда есть у всех. Без них в Галактику не выходят.

— Но допустим, чисто теоретически…

— И теоретически невозможно. Тут закон.

“Нет, я все‑таки сплю, — устало подумал Сухов. — Только теперь мне снится кошмар. Суперцивилизация! Деньги! Ни шагу без кошелька! Как бы нам поскорее проснуться?..”

Сухову даже захотелось ущипнуть себя, но было ясно, что от этого ничего не изменится.

— Хорошо, еще один чисто теоретический вопрос. Предположим, кто‑нибудь не платит эти самые кредиты. Отказывается их платить. Как тогда?

— Очень просто. Такая личность перестает существовать.

— Перестает су…

— Немедленно.

— И никаких апелляций, обжалований?

— Помилуйте, какие ж могут быть апелляции? К кому? Нелепо!

У Сухова беспомощно опустились руки. Да уж, нелепей некуда… Ни шагу без кредитов. А кто не платит, тому смерть. И на придумавшую этот закон сверхцивилизацию действительно не пожалуешься — некому!

Средневековый ростовщик, которому дозволялось выдрать фунт мяса из плоти злостного должника, и тот был гуманней.

— Но ведь это чудовищно! — вырвалось у Сухова.

— Кошмарно! — подтвердил Голос.

— Бесчеловечно, неразумно, дико!

— Совершенно с вами согласен. А что поделаешь — закон суров, но справедлив. И не мы с вами его придумали.

Новенькое, без единого дефектного электрона сердце Сухова болезненно сжалось. Все, западня захлопнулась. Просить, умолять, возмущаться?

— Так! — Тарт энергично вскочил. — Вы ремонтные автоматы, я не ослышался?

— Совершенно верно.

— Хорошо. Могу я связаться с вашими властями?

— Разумеется. Правда, мы находимся на периферии, ответа придется немножечко подождать.

— Сколько?

— Лет двести.

Тарт тихонько присвистнул.

— Скажите, а золото, бриллианты — они не могут заменить кредиты?

— Ну и юмор у вас!

— Какая‑нибудь иная форма расплаты? Лунами или, например, унитазами?

— Ха–ха–ха! — взорвался Голос. — Ха–ха–ха! Ой, не могу, извините… У вас такой тонкий, неподражаемый юмор, что я больше не в силах подыгрывать. Превосходно, преуморительно — и с какой серьезностью! Я счастлив познакомиться с вашей цивилизацией. Право, если у вас все такие, она, чего доброго, навсегда займет первое место в межгалактическом конкурсе остроумия.

Кровь прихлынула к лицу Тарта.

— Ах, вот даже как!.. — в бешенстве пробормотал он. — На межгалактическом, стало быть, конкурсе остроумия… Ну, хорошо, тогда еще одна, самая последняя шутка. Что произойдет с вами и вашей мастерской, если аннигилят нашего корабля вдруг взорвется?

— Мы погибнем.

— Прекрасно!

Тарт быстро взглянул на Сухова. Тот безнадежно кивнул. “Выбора нет, — сказал его взгляд. — Действуй!”

Тарт шагнул к пульту и набрал несколько команд.

— Послушайте, вы, сверхцивилизация… — глухо проговорил он. — Мы, люди, только недавно вышли в Галактику. Но мы уже давно покончили с торгашеской моралью, ее дикими законами, финансовыми кровопийцами. И мы понятия не имеем ни о каких ваших кредитах. Но и погибать просто так мы не собираемся. Не на таких напали! Мы, знаете ли, гордость имеем… Плевать мы хотели на ваш идиотский закон! Люди, да будет вам известно, скорей умрут, чем сдадутся. Поэтому… Либо вы отпускаете нас без уплаты долга, либо мы все к чертовой матери взрываем — и вас и себя!

— Ха–ха…

— Довольно, это не шутка. — Тарт быстро нажал на переключатели. — Одно движение моего пальца, и…

Смех оборвался.

— Что? — встревоженно проговорил Голос. — Так это не шутка? Вы собираетесь… Но почему?!

— Отпускаете вы нас или нет? Считаю до трех. Раз…

— Но мы вас не держим! Летите, куда угодно! Только ведь вы все равно погибнете…

— Это угроза?

— Какая уж там угроза… — Голос грустно поник. — Это закон. Всякий отказавшийся от уплаты морального долга погибает как разумная личность.

— Сходит с ума? — саркастически усмехнулся Тарт, хотя ему было отнюдь не до смеха.

— Да, вроде как вы сейчас… Какой ужас, какое безумие! Летите, летите — и, пожалуйста, поскорей! Это невыносимо!

— И вы против нас ничего не предпримете? Не верю.

— Но мы действительно ничего не предпримем! Как можно ограничивать чью‑то разумную волю! Это против всех законов!

— Гм…

Палец Тарта нерешительно замер на кнопке.

— Подождите! — воскликнул Сухов. — Один последний вопрос. Как выглядят эти самые треклятые кредиты?

— Не знаю.

— Что–о? Вы не знаете, как выглядят…

— Откуда? Кто может заранее знать, каким окажется ответное кому‑то добро?

— Так, значит, ваши кредиты — это…

— Ну да. Помощь чужому и постороннему. Услуга. Дружеская поддержка. Сострадание и сочувствие. Любая форма добра. На этом стоит мир. Кстати, забыл вас предупредить: с вас уже только семнадцать кредитов. Те ваши речи, которые мы приняли за желание нас повеселить, доставили нам несколько приятных минут, и…

У Сухова запылало лицо.

— Но вы же автоматы! — вскричал он, цепляясь за соломинку. — Ваше удовольствие…

— А разве у нас нет разумных потребностей? — с обидой произнес Голос. — И разве мораль не одна для всех?

Сухов схватился за щеку. Уж лучше бы оплеуху!.. Вид Тарта был не менее жалок.

— А кто… — Слова дались Сухову с великим трудом. — А кто определяет размер… э… кредитов, кто контролирует их уплату?

— Совесть, конечно. Кто же еще?

Тарт и Сухов отважились посмотреть друг на друга, когда меж ними и надписью “Ремонт электронов” остался миллиард–другой километров, а огненные слова, видимо за ненадобностью, погасли. Или где‑нибудь зажглись, на каком‑нибудь другом, неведомом языке.

— А ведь они правы по всем статьям, — мрачно проронил Сухов. — Кто не платит за добро добром, тот действительно перестает существовать как разумная личность. Это и в самом деле закон.

— Да, — столь же угрюмо откликнулся Тарт. — Но знаешь, мы, кажется, снова влипли.

— Это еще почему?

— Мы превратились в неоплатных должников. Они же для нас такое сделали! Всей нашей жизни не хватит, чтобы расплатиться. И нас, боюсь, замучает совесть.

— Гм… — сказал Сухов. — Нет. Технические услуги они дешево ценят. Вспомни: несколько минут хорошего настроения — и для кого? — один кредит. Кроме того…

— Да?

— Всю жизнь чувствовать себя неоплатным должником, вечно терзаться угрызениями совести — что может быть хуже? Нет, они не могли поступить столь жестоко.

Тарт в сомнении покачал головой.

— Так‑то оно так, — проговорил он тихо. — А сколько мы взыщем с самих себя за глупое, недостойное там, у них, поведение?..

СТРОИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗАМКОВ

Словно кто‑то опустил на него в детстве увесистую руку да так и не убрал — человек явно в возрасте, а все выглядел недомерком, мальчуганом, тонкошеим подростком. Прожитые годы понурили его узкие плечи, пепельно обесцветили волосы и лицо, размыли некогда чистую голубизну глаз, сделали их обладателя еще тщедушней, серей, незаметней в толпе, но вопреки всему в подпрыгивающей походке этого полустарика–полуребенка сохранилось что‑то бодрое, задорно–воробьиное, мальчишеское. Так он шел, маленький, несуетно–поспешный, таким проник внутрь многоэтажного дома, перышком вознесся в лифте, и звонок, который он тронул у двери, издал деликатный (не потревожил ли?), однако же деловитый (не обессудьте!) звук. Поразительно, как в механической трели звонка проявляется характер человека! Послышались мерные шаги, дверь распахнулась, и посетитель предстал перед хозяином квартиры, всемирно известным писателем–фантастом,

чья крупная фигура заслонила собой проем, а массивные очки строго блеснули с высоты почти двухметрового роста.

Мгновение хозяин озадаченно смотрел, кто же перед ним и почему заявился вот так, без всякой предварительной договоренности: одержимый поклонник, официальное лицо, завзятый графоман, просто человек, не туда попавший? А бессознательный, хорошо оттренированный механизм писательского восприятия уже выдал подсказку: что‑то не то!

— Прошу извинить, но дело, по которому я пришел, по телефону выглядело бы глупо. — Слова посетителя опередили вопрос. — Тем более что ни званий, ни заслуг, ни веса не имею, просто Александр Иванович Хвостиков, пенсионер.

— Пенсионер… — Машинальным движением писатель провел ладонью по жесткому полукружью усов и мимоходом тронул очки, словно убеждаясь в наличии того и другого на месте. — Пенсионер, то есть едва ли не самый независимый человек в мире… Впрочем, неважно! Чем могу быть полезен?

— Крайне насущным не для меня лично разговором, который займет минуты три, если, конечно, вы не захотите его продолжить.

— Что ж. — Поколебавшись, писатель сделал приглашающий жест. — Я, правда, вскоре должен уйти…

— Ровно три минуты, — подтвердил посетитель.

Они прошли в тесную, как и вся квартира, комнату, где были книги, книги и где тусклое городское солнце бросало под ноги желтые половики света, отсвечивало в стекле полок и, падая на стол, радужно преломлялось в хрустальном шаре, опоясанном надписью: “Фантазия объемлет все. Лауреату Всесоюзной премии…” Уже входя, писатель поспешно огляделся, достаточно ли все вокруг прибрано, не слишком ли затрушен табачным пеплом письменный стол, подосадовал, что впустил неизвестно кого, когда времени нет совершенно (а когда оно есть?), что придется выслушивать, как правило, известные наперед слова, отвечать на них так, будто услышал впервые, иначе обидишь гостя, который чаще всего ждет каких‑то поразительных откровений или просто любопытствует, каков ты есть, сверяет тебя с твоими собственными книгами, что всегда неприятно, смотрит, как ты живешь (надо же, небогато!), и обязательно чего‑нибудь хочет: помощи, ободрения или протекции, если это начинающий автор; истины, если это искатель–правдолюб; какой‑то особой эманации, если это поклонник, и так далее, и так далее, — тяжело! Зато желанно, ибо интересней человека, любого и каждого, нет ничего, все прочее — звезды, атомы, роботы — слишком просто и чересчур понятно, да и второстепенно, в общем.

— Присаживайтесь.

Хвостиков бочком пристроился на диванчике, писатель опустился в кресло напротив, предварительно смахнув оттуда груду журналов, и снова машинально проделал со своим лицом ту же, что и в дверях, операцию.

— Так я вас слушаю…

Взгляд посетителя, этого Александра Ивановича Хвостикова, пенсионера, оторвался от полок, сплошь уставленных произведениями фантастов, голос прозвучал просительно и, однако же, твердо.

— Скажите, пожалуйста, если не секрет, над чем вы сейчас работаете?

О господи! Писатель содрогнулся, как от скрипа гвоздем по стеклу, ибо нет банальней и труднее вопроса, чем этот. Можно ли объяснить другому, что ты пишешь, что хочешь выразить и зачем, если порой сам теряешься в догадках?

— Фантастику пишу, если вас это интересует. Роман.

— Да, да, я понимаю. Но о чем? Поверьте, это крайне важно.

— Наоборот, это не имеет никакого значения! Что тема, сюжет, пересказ? Молодой человек надолго уехал, любимая девушка тем временем нашла другого; герой рассержен, бранится, всех обличает и, ничего не достигнув, хлопает напоследок дверью. Все, общее место! А это, между прочим, сюжет “Горя от ума”… Литчиновник — вот кто завел всякие

там заявки в издательства и прочую формалистику!

— Совершенно с вами согласен! — Посетитель взволнованно ерзнул, его аккуратные ушки порозовели. — Но позвольте еще вопрос. Фантазия… Что в смысле фантазии будет в вашем романе? Порадуете ли вы нас, как прежде, чем‑нибудь поразительным, дальним, масштабным?

“Влип!” — уныло подумал писатель.

— Фантазия не цель, а средство! — вырвалось у него. — Все эти киберы, нуль–транспортировки, машины времени лишь прием, способ изображения человека в быстро меняю- щемся мире, постижения его самого!

— Так, да не совсем. — Посетитель встал, маленький, помаргивающий, упорный. — Позвольте с вами не согласиться. Фантазия самоценна! Да, самоценна! Она, именно она просветляет все скрытые возможности и вероятности мира, как бы странно, даже нелепо они сегодня ни выглядели. Сверхдальняя, за чертой горизонта, разведка неведомого — вот что она такое! И сказанное вами, — голос Хвостикова упал, — увы, лишь подтверждает печальную догадку, что мы, люди, сами того не заметив, уперлись в предел…

— В предел? — писатель поднялся тоже. — В какой еще предел? О чем вы говорите?

— Предел фантазии, — понуро уставясь на свои ботинки, проговорил Хвостиков. — Спорят, конечна или бесконечна Вселенная. Стоило бы спросить, конечна или бесконечна фантазия… Ведь что, ведь что?! Я все это прочитал. — Подняв взгляд, он взмахом руки обвел книжные полки. — Знаете, фантазия иссякает. Был взлет, распахивались дали… Теперь не то, и у вас не то. Где новые горизонты фантастического? Где иные — по–настоящему иные — состояния пространства, времени, разума, жизни? Идет интенсивная, согласен, порой незаурядная, тоже согласен, пропись деталей уже найденного, фантазия еще что‑то открывает, но, согласитесь, былого масштаба нет… О чем это свидетельствует?

— А, черт! — Под тяжелыми шагами писателя затрещал паркет. — Послушайте! С сыром ли бутерброд или с ангельским пением, перекроить ли время в пространство или пространство во время, загнать ли героев в тридесятую галактику, где на деревьях растут алмазы, или оставить на улице под дождиком дожидаться автобуса, — в этом ли дело? Киберы будут, подумаем лучше о человеке. И вообще!.. — Он рубанул воздух. — Не будем уподобляться тому поэту, который заявил однажды: “Все! Написал поэму о любви, закрыл тему!”

— Понимаю, понимаю, и все же!.. — Сухонькие ладошки посетителя сложились в умоляющем жесте. — Сколько лет вас поучали, что вы, фантасты, пишете не так и не о том, что главное — эстетика, морально–нравственная проблематика, душа человека, а вовсе не какие‑то там придумки, завиральные идеи и ситуации, превращения и миры, фантазии и порывы. Вы же упорно писали свое и по–своему, а теперь вдруг согласились: да, правильно, да, верно, главное — художественность, важнее всего — психология, а фантастика лишь прием, декорация, способ. Что же вас всех сдвинуло? Жажда похвал? Или вы почуяли, что фантазия дошла до предела и ходу ей дальше нет?

Писатель перестал расхаживать и, вдвинув руки в карманы домашней куртки так, что ее полы размашисто оттопырились, с интересом уставился на своего гостя, такого маленького, чистенького, с виду обыкновенного, даже и не заметишь на улице. Александр Иванович Хвостиков, пенсионер, каких миллионы. Ай–ай–ай! Все‑таки читатель фантастики — совершенно особый читатель, и это прекрасно.

— Послушайте… — Слова едва выделились на фоне заоконного шума. — Ну, допустим, вы правы. Допустим, фантазия исчерпала себя, дошла до предела. Вам‑то что до этого? Именно вам?

— Так ведь скучно…

— Читать?

— Жить.

— Жить? Это еще почему?!

— Да как же! Если очертился последний круг, если ничего больше не будет… Это же загон, клетка, конец!

— Господи, Александр Иванович! Нельзя же фантазии придавать такое значение. И вообще… Постойте, как там у Горького? “Нет фантазии, которую воля и разум людей не могли бы претворить в действительность”. Да! Именно! Преобразование Вселенной, власть над пространством и временем, бессмертие, существование во множестве обликов, и еще, и еще! Мы же такое нафантазировали, миллиона лет не хватит, чтобы осуществить, даже если в наших видениях всего четвертушка возможного и реального!

— Ограда всегда ограда, — напряженно глядя на писателя, повторил Хвостиков, — Миллионы лет? Все возможное, что нафантазировал Жюль Берн, давно сбылось. Уэллса — и того жизнь обогнала. Не в вечности предел, ближе! А дальше что? Что дальше, если фантазия все уже очертила и больше ничего не может? Выполним, значит, и точка. Замрем. Как с этим жить?

— А! — воскликнул писатель так, что его очки подскочили, и в раздражении затянулся сигаретой, чего вне работы себе обычно не позволял. — Чепуху мы оба несем, чепуху! Вы не туда, и я за вами… Кто постановил, что фантазия должна мчаться, как спринтер? Был прилив, теперь отлив, так всегда, так в любом деле. Может быть, мы просто устали и постарели.

— Все сразу? И молодые тоже?

Писатель промолчал, досадуя, что влез в этот ненужный, бессмысленный спор. Но — слово вырвалось. Кого и в чем он хотел убедить? Не Хвостикова же! Тот смотрел, не мигая, настойчиво, выжидающе, удрученно, единственный человек в мире, который задумался о пределе фантазии как о пределе всех устремлений, какие только возможны в веках, и ощутил острую тоску за далеких потомков, которые наконец исчерпают все, казалось бы, неисчислимые возможности мира и в унынии замрут у последнего края, за которым уже нет ничего, ничего — ни мечты, ни порыва, ни дерзости, — пелена бесконечных, на веки веков, будней!

Рука яростно втоптала окурок в пепельницу. “К дьяволу, — подумал он. — К дьяволу все барьеры и ограничения, мир безбрежен, неисчерпаем — вы слышите? — неисчерпаем!”

Метнувшийся взгляд замер в радужной точке хрустального шара, задержался в его замкнутой и холодной прозрачности. Мир неисчерпаем, это верно. Только как, в каком смысле? Вот и физики настойчиво поговаривают о конечности законов природы и форм материи. А если так — почему бы и нет? — все остальное будет доделкой, бесконечной частностью, а не прорывом в неведомое. Мальчик, собирающий красивые ракушки на берегу, тогда как за спиной катит свои волны безбрежный океан, — таким видел себя Ньютон, с таким настроением жит. Все неоглядно и все впервые! А если океан уже исчислен, протрален, нанесен на карту, если дух бесконечности отлетел, кем почувствуют себя все Ньютоны будущего, все мальчишки, играющие на его берегу? Не океан — озеро перед ними, большая, размером с Вселенную, лужа. И так до скончания дней, всех дней, какие отпущены людям. Да, физика и фантастика, воображение и познание. Что, если всюду дзинькнул один и тот же ехидный звоночек? Но нет же, нет, такое уже было однажды, физика конца прошлого века тоже мнилась исчерпанной, а затем… Так! Но фантазия, она‑то в художественных произведениях кипела, теперь же этого нет, вот в чем разница…

В старину, спускаясь в шахту, брали с собой канареек: те первыми чувствовали запах рудничного газа и задыхались, когда человек еще бодро помахивал кайлом. Фантастика, в сущности, та же канарейка.

Ну и что, ну и что? Непостижим человек! Сколько насущных забот, тревог и проблем, а он, этот Хвостиков, которому бы греться на лавочке да почитывать газету, стоит с видом мальчишки, которого то ли поставят в угол, то ли выпустят погулять. И он, писатель, не лучше. Сочинитель воздушных замков!

Но ведь и это надо. Надо, кто‑то должен, какая бы злоба дня ни давила, иначе нельзя, невозможно, без дальней, предельной перспективы не обойтись, без нее все

постепенно закиснет, замрет, как застоявшаяся вода: и человек, и общество, сам человеческий род — все! А потому…

Мотнув головой, словно распахнутый ворот стал ему тесен, писатель оглядел комнату, в которой желтел плененный солнечный свет, оглядел книги, сколько их было вокруг, тесный строй переплетов, замкнувший все яркие и воздушные видения человеческой фантазии.

— Вот что, Александр Иванович, — сказал он глухо и твердо. — Будет так. Вы придете сюда через год и получите ту рукопись, которую ждете. Так будет. Обещаю вам это. И спасибо, что вы пришли.

Хвостиков открыл было рот, хотел что‑то сказать — и не смог. Только глотнул воздух, и в глазах нерастраченной синевой просиял детский восторг благодарности. И даже не это… Просто оба, большой и маленький, молча взглянули друг на друга и оба на краткий миг ощутили себя мальчишками, какими были когда‑то, давным–давно, в то счастливое мгновение детства, когда все несбыточное и желанное кажется возможным, посильным, обещанным, как радуга теплого грибного дождя над близкой околицей.

Все кончилось так же быстро, как и возникло. Хвостиков молча поклонился и, тихо ступая, вышел.

За ним приглушенно щелкнул замок, и этот звук для писателя прогремел обвалом. Что он наделал, что посулил!

Сам не понимая зачем, он выскочил на балкон. Хилый городской ветерок ласково дохнул запахами перегретого асфальта и камня. Как он сможет выполнить свое обещание, если предел фантазии существует в действительности и уже достигнут?! Откуда возьмется та сила воображения, которая его, как и других, все явственней покидает?

С улицы катился слитный машинный гул, вдали, много выше древней церквушки, опережая звук, к зениту полз самолет, а под самым балконом за оградой детского сада в песочке копались малыши, такие крохотные и такие одинаковые в своих белых панамках. Все, что было вокруг, все обыкновенное, что видел глаз, прошлый век счел бы фантастикой, и даже при взгляде на детсадовских малышей что бы сказали Сен–Симон, Фурье, Чернышевский?

И все это сначала возникло в воображении. Что, если отныне…

Внезапный вскрик вырвался сразу из сотен по–летнему распахнутых окон, выделился из прочих звуков, замирающим вздохом пронесся над городом. Писатель даже вздрогнул, прежде чем догадался, что это такое и почему. Просто–напросто мировой чемпионат по футболу, кто‑то кому‑то сейчас вкатил мяч, и миллионы людей в разных концах Земли дружно ахнули. Все, все свободные от работы люди смотрят сейчас телевизор, все, кроме таких носорогов, как он или Хвостиков… И кроме детей в панамках, для которых важнее всего на свете тот сказочный замок, который они лепят из рассыпчатого песка.

Невольная полуулыбка тронула губы писателя и тут же стерлась. Стоп, стоп, стоп! Телевизор, обыкновеннейший телевизор… И в нем обыденное явление человека или событий сразу миллионам людей, в разных точках земного шара, точно такое же возникновение голоса умерших, их лиц, — в какой сказке было такое, чей взлет фантазии еще в дни Чернышевского мог представить вот эту явь?

Писатель стиснул перила, точно балкон под ним готов был превратиться в волшебный ковер–самолет. Слепцы! Действительность была, есть и будет богаче любой фантазии, надо только ее понять, вглядеться в перспективу жизни, в сегодняшнем желуде увидеть тень завтрашней дубравы, в закатном луче — восход, в пылинке — Вселенную, в будничном — мощь грядущей фантастики, вот и весь сказ. Как просто, как невыразимо сложно — и как он мог об этом забыть!

Хвосгиков вряд ли успел далеко уйти. Писатель перегнулся через перила, жадно вглядываясь в уличную толпу, но сверху люди выглядели такими маленькими, что невозможно было определить, кто есть кто.

Но среди них были мальчишки всех возрастов, и этого было достаточно.

МАРСИАНСКИЙ ПРИБОЙ

Тишина, безветрие, потом — шорох. Так начинается марсианский прибой. Можно часами сидеть у подножия красных скал, всматриваться в безбрежье песков и слушать, слушать. Шорох везде и нигде. Похоже, что с фиолетового неба льдинками осыпается полупрозрачная изморозь облаков. Стеклянный шорох. Очень точное название.

Когда он смолкает, по песку пробегает дрожь. Тяжеловесно, медленно встает вал. Он наползает на сухие глыбы, накрывает их, неторопливо проседает. Тогда глыбы прокалывают песок снизу. Впечатление такое, будто щербатая челюсть пережевывает вал. С плоских камней лениво сползают струйки песка. И снова горбится вал.

А кругом — неподвижность. Спокоен песок вдали, незыблемы, как вечность, красные скалы. Только здесь, только в этом заливе и только у самого берега катится марсианский прибой.

Это значит, что далеко в просторах песчаных океанов разгулялась такая буря, что ее порывы сотрясают зыбкую почву как землетрясение. И тут, в заливе, колебания совпадают в резонансе, микроструктура прибрежья меняется, песок обретает текучесть. Вероятно, так, подробней никто не знает и не торопится узнать — на Марсе пока слишком много безотлагательных дел.

Я стараюсь не пропустить ни одного прибоя. Сижу, смотрю, слушаю и думаю. Очень хорошо думается наедине с явлением, подобного которому нет нигде. Исчезает время, исчезают границы пространства, даже тела своего не ощущаешь: лишь ты и прибой, никого больше.

Теперь берег пуст. А раньше здесь было людно. Помню, как были потрясены радисты Земли просьбой прислать плавки. Да, нашелся шутник, которому не терпелось натянуть поверх скафандра плавки, чтобы окунуться в прибой. Новички летали сюда купаться, чтоб было о чем порассказать на Земле; старожилов влекла тоска по воде, настоящей воде, настоящему прибою, настоящему морю. Никто не мог противостоять искушению.

Шутником был, конечно, Ванин. Не то, чтобы остроумие было чертой его характера: пожалуй, наоборот. Но до чего ж сложны, противоречивы, неожиданны наши поступки, когда ими руководят чувства! Особенно у таких замкнутых натур, как Ванин. И как странно, причудливо выглядит все это перед лицом марсианского прибоя…

Случай с Ваниным тогда потряс всех своей мнимой нелепостью. Теперь эта история обросла легендами, в которых трагичное переплелось с комичным, смелость с безрассудством. Как все это далеко от истины! И какими мы еще выглядим младенцами с нашими ракетами, искусственным белком и ядерной энергией, когда в своих же интересах пытаемся продумать и наперед предвидеть поступки человека. Помню первую разведку Марса. Мы не могли рисковать, мы не имели права рисковать — любая неудача отбросила бы нас далеко назад. А перед нами была неизвестная планета, на которой все могло случиться и ничего нельзя было предусмотреть заранее. Поэтому наше поведение было предопределено особенно жестко. Ни одного случайного шага, страховка всюду и везде. Программа осторожности! Мы неукоснительно следовали ей. Всерьез обсуждалось, как первый из нас ступит на Марс: надо ли его обвязывать веревкой или нет? Конечно, раз почва выдерживает корабль, она выдержит и человека. Ну и все‑таки вдруг… Мало ли что… Не Земля, Марс…

Мы были предельно осторожны, и это уберегло нас от всех неприятностей, которые встречались нам в избытке. Нас было шестеро. Но когда людей шестеро, один непременно оказывается трусом. Не в обычном значении этого слова, отнюдь. Просто кто‑то должен быть более осторожным, чем другие. Более нерешительным. Более скованным. Ни обстановка, ни число людей здесь не имеют никакого значения. Когда вы переходите оживленную улицу вдвоем, понаблюдайте за собой и за своим спутником: кто‑то из вас обязательно окажется “более”… И неважно, что поведение такого человека подчас никак

нельзя назвать трусостью. В обычном понимании этого слова.

Наш Ванин тоже не был трусом в привычном значении этого слова. Что вы! На Земле, в нормальных условиях, он был смелее по крайней мере восьми человек из десяти. Но на Марсе…

Его поведение формально было безупречным. Он не обращался в бегство при встречах с неожиданностью, не паниковал в трудной ситуации. Но он никогда не шел первым там, где дорога не была разведанной. Он всегда ступал след в след впереди идущим. Понимаете?

И он не мог заставить себя поступать иначе. Видел в себе этот недостаток, пытался его побороть — и не мог. Не берусь объяснить почему: человеческая психика все еще темный лес. Может быть, необычность обстановки, возможно, внушение “будьте осторожны, будьте осторожны…”. Да знаете ли вы, как трудно было идти по Марсу впереди всех?! А вдруг разверзнется почва, вдруг произойдет что‑то такое, отчего ты исчезнешь? И такие дурацкие мысли лезли в голову. Марс ведь, не Земля…

Да… Никто не упрекал Ванина, кроме него самого. А потом и мы стали посмеиваться над его сверхосторожностью. Это уже когда Марс перестал нам казаться таинственным, когда мы пообвыкли и поняли сердцем, а не умом, что марсианская природа ничуть не каверзней земной, пожалуй, даже наоборот. А к Ванину последнему пришло это понимание. И наши шуточки ранили его.

Винить ли себя в них? Задним числом оно, конечно, можно. Ну, а так, положа руку на сердце? Мы люди веселые. Без чувства юмора в нашем деле нельзя: сгоришь от перенапряжения. А шутка, в этом убеждает меня весь мой опыт, как предохранительный клапан. Посмеешься — и сразу легче.

Перебираю сейчас все наши остроты: нет, ничего обидного в них не было. Когда точно такие же по тону мы адресовали друг другу, то хохотали все — и “обидевшие”, и “обиженные”. И Ванин смеялся, когда ему доставалось. Очень натурально смеялся, только теперь я понимаю, что не всегда его смех шел от сердца… Где‑то в подсознании, верно, звучало: “трус”.

В те самые дни, когда мы уже освободились от робости, а Ванин еще нет, и произошло открытие марсианского прибоя. И открыл его, как ни странно, Ванин.

Вот как это было.

Мы приближались к этим вот красным скалам со стороны песков. Стеклянный шорох, предваряющий прибой, слышен только вблизи от них. Но подошли мы к ним, когда он уже смолк, поэтому ничто не предупредило нас.

Ванин по своему обыкновению шел сзади, ступая след в след (обычно он старался держаться середины; это еще тогда, когда мы двигались только цепочкой: теперь же мы шли тесной гурьбой и Ванину поневоле приходилось держаться позади).

Мы уже выбрались на берег, Ванину оставалось несколько шагов. И тут песок колыхнулся. От неожиданности Ванин упал. Хотел встать — ноги утонули в песке. Он сдержался, не закричал, но мы видели, как побелело его лицо. Пока мы лихорадочно разматывали трос, пока бросали, Ванина прибой окунул несколько раз в песок, и он понял, что ничего страшного нет. Песок в черте прибоя никак не назовешь зыбучим. Встать можно почти везде, встать и нащупать твердое дно. Причина, вероятно, та, что у скал очень мелко, и песок в глубине не может стать жидким.

Ванин быстро сообразил, что к чему (лишнее свидетельство, что трусом в обычном понимании он вовсе не был). Он не дал себя вытащить, а вылез сам, держась за трос просто так, на всякий случай.

Когда и мы поняли, что ничего трагичного в этой ситуации не было, мы не могли сдержать смеха при воспоминании о нелепых телодвижениях Ванина, его растерянной физиономии. Как бы вы восприняли этот смех? Вероятно, сами в конце концов принялись бы подшучивать над собой. Ванин же “полез в бутылку”. Ему показалось, что мы нашли его поведение трусливым. К этому не было решительно никаких оснований, любой из нас, уверен, испугался бы, когда почва вдруг уходит из‑под ног. Но Ванин, как я уже

говорил, болезненно переживал свою, как он думал, “неполноценность”. И тут он разобиделся всерьез. Он счел наши шутки величайшей несправедливостью. Во–первых, в этой ситуации он вел себя мужественно. Во–вторых, прибой — его открытие. Неоспоримо, его! (На долю того, кто держится середины, обычно выпадает меньше неприятностей, зато и успех приходит реже). А тут — смех…

И Ванин с горячностью стал доказывать недоказуемое. Что он ни капельки не испугался; что не вставал только из‑за желания получше изучить явление.

— Кроме того — вы этого не понимаете, — купаться в прибое очень приятно! — заявил он.

Ему не поверили.

Тогда, прежде чем мы смогли его удержать (никто не ожидал!), он бросился в прибой, лег под волну, изобразив на лице величайшее блаженство.

— Мальчишка! — Справедливо затопал ногами капитан. — Немедленно назад!

Он вылез, широко улыбаясь: доказал!

Мы повозмущались его поступком, но заинтересовались. А что если попробовать?

Со страховкой, с тысячью предосторожностей двое из нас влезли в прибой. Знаете, это было приятно! Кажется, что сам лежишь неподвижно, а колышутся скалы, горизонт, небо с редкими звездами в зените. Мерные, баюкающие колебания и одновременно — ощущение плавного полета, неясно куда: вверх ли, вниз. Ни с чем не сравнимое впечатление!

А потом на тебя неизбежно наползает вал, ты погружаешься, и это выглядит страшно, и ты начинаешь барахтаться, чтобы удержаться, и в этой борьбе есть азарт, хотя заранее известно, что ничего плохого не произойдет.

Надо испытать, что такое марсианский прибой. Его трудно описать по той простой причине, что на Земле ничего похожего нет. Нужно самому почувствовать этот полет в никуда, это медленное погружение в песок, чтобы понять притягательную силу прибоя.

Вот так, с его открытием Ванин стал героем. Но ему было мало нашей признательности! Он хотел вновь и вновь утвердить себя, опровергнуть то, что было так преувеличено его воображением. На Марс прибывали новые люди, их возили к прибою, и показывал прибой, разумеется, Ванин — его первооткрыватель, его исследователь. Собственно, тем немногим, что мы знаем о природе прибоя, мы полностью обязаны Ванину. Но его заботило гораздо больше другое: впечатление.

О, это выглядело великолепно! Вообразите себе группу новичков, еще растерянных, неуверенных в себе, ожидающих чудес. И рядом с ними Ванина — опытного, спокойного старожила, которому все известно и все нипочем. Вот он, сопровождаемый восторженными взглядами, спускается с берега навстречу грозному в своей загадочности валу, ложится под него, плывет. Дальше исполнялся коронный номер: Ванин давал себя засыпать. Редко кто мог удержаться от невольного вскрика, когда песок целиком скрывал человека, он исчезал, и волны катились над могилой проглоченной жертвы, холодные, неторопливые, равнодушные. Тишина, безветрие, беззвучное движение песка, купол фиолетового неба над угрюмой равниной, проходят минуты, а Ванина нет и нет: исчез, утонул.

Начиналась паника. Мы, если кто‑нибудь из нас присутствовал, старались не портить эффекта, принимая озабоченный вид. Тем поразительней был момент, когда Ванин вдруг вставал из‑под песка!

Это тоже был его фокус. Именно он обнаружил, что даже двухметровый покров песка не препятствует вставанию из “могилы” человека в скафандре, снабженном гидроусилителями. Просто меньшая сила тяжести, чем на Земле… Кроме того, песок и не мог утащить человека глубоко; Ванин тщательно проверил это и убедился, что находиться под песком можно часами, пока не иссякнет кислород в баллоне. Но новичкам‑то все это было невдомек!

Втайне мы даже гордились “эффектом Ванина” и с нетерпением ждали очередного представления. Правда, капитан ворчал и даже советовал Ванину прекратить глупости. Делал он это, однако, не потому, что ожидал чего‑то недоброго, а из любви к

порядку. Ванин, конечно, и в ус не дул: это был его прибой, показательные купания были его славой, и он не собирался расставаться с лаврами. Так заслуженный ученый гордится порой не столько своими великолепными экспериментами, сколько умением красиво делать стойку на голове. Пойми человеческую натуру! Впрочем, и сам капитан не отказывал себе в удовольствии искупаться…

Вообще мы как‑то позабыли одну простую истину. У человека, который знает, что он плавает плохо, невелик шанс утонуть, ибо этот человек осторожен. Невелик риск и для хорошего пловца. Чаще всего гибнут — и глупо гибнут — люди, которым кажется, что они уже научились хорошо плавать, тогда как на самом деле это не так.

И вот со временем мы очутились аккурат в этой самой зловещей полосе. До сих пор все шло удачно, мы осмелели. Но Марс еще не был покорен, нам это только казалось. Не то чтобы мы совсем забыли об этой истине. Но жить в вечном ожидании удара и соответственно вести себя, когда все хорошо, все спокойно, немыслимо. Можете проверить это на себе, когда представится возможность.

День отрезвления, как всегда, пришел нежданно. На Марс прилетела новая группа. Среди новичков — две девушки. Их повезли смотреть прибой. Ванин радостно потирал руки. Чего он только не вытворял! Он превзошел самого себя. Девушки охали и ахали, в их глазах сиял восторг, который — Ванин не сомневался — должен был после коронного номера перейти в обожание.

Вы догадываетесь, конечно, что произошло потом. Ванин дал себя засыпать. Десять минут прошло, полчаса… Он не появлялся! Понемногу и мы начали волноваться. Но никто ничего не предпринимал. Глупо? Не очень. Прежде всего Ванин проделывал погружение десятки раз; погружались и мы. Воздуха у него была на несколько часов. На берегу девушки… Конечно же, он будет на этот раз тянуть время дольше обычного. Какими дураками мы будем выглядеть, если полезем его вытаскивать, а он с хохотом выскочит, как черт из коробочки?

Так и шло время. Проклятая боязнь стыда! В конце концов мы полезли в прибой узнать, в чем тут дело, а оставшимся объявили, что мы тоже захотели искупаться. Разумеется, поставив себя в такое нелепое положение, мы могли искать Ванина в волнах только украдкой. Излишне говорить, что мы ничего не обнаружили.

Вот тогда мы уже откинули ложную гордость. Вам приходилось копать болотный ил? Тогда вы немного представляете, каково было нам.

Мы нашли Ванина лишь после того, как прибой кончился и песок снова обрел плотность.

Ванин к тому времени уже задохнулся. Его затянуло под скалу, и он не мог выбраться, потому что этому препятствовало движение валов.

Нелепая случайность, от которой мог погибнуть точно так же любой из нас? Нелепая, согласен. Но в том, что первой жертвой Марса был Ванин, я вижу некоторую закономерность. На дне прибоя случайность подстерегала каждого из нас, но шансов попасться в ловушку у Ванина было несравненно больше: он чаще и смелее нас всех, вместе взятых, лез в прибой. Лез ради самоутверждения. Лез потому, что новички видели в этом отвагу. То была фальшивая смелость, ибо она основывалась на убеждении, что опасности нет никакой. А смелость и обман — взаимоисключающие вещи, вот почему все и кончилось так нелепо и так глупо,

Не буду спорить, если мое объяснение случившегося покажется неверным. Я изложил факты, а часто бывает, что цепь событий, толкнувшая человека на какой‑нибудь поступок, может быть истолкована совсем по−другому.

Дело не в этом. Я смотрю на прибой, на чреду тяжеловесных волн, в которых ничего не отражается, и думаю. Сейчас никто уже не купается в прибое. Но будут купаться, когда Марс станет обжитым, — это неизбежно. Все придет в равновесие, все будет узнано, на любом клочке этой планеты четко обозначится граница между безопасным и опасным, между смелостью и трусостью, между ухарством и отвагой. Так будет. Но неужели и впредь для

этого будет требоваться Ванин?

ПРИЛЕЖНЫЙ МАЛЬЧИК И НЕВИДИМКА

“Хочу отлично кончить школу, потом институт, затем делать открытия”.

Не помню, в каком классе, в каком из сочинений на вечную тему “Кем я хочу быть” Илюша Груздев написал это. Может быть, ему было тогда четырнадцать лет, а возможно, и семнадцать. Ясно вижу другое: мальчика в серой курточке с отложным воротничком и красным от старания затылком, склоненного над аккуратной тетрадью, в которой он аккуратным почерком пишет о своем желании делать открытия и аккуратно промокает последнее слово.

Похвальбой здесь и не пахло. Груздев никогда не хвалился, никогда не витал в облаках, — он точно и прилежно следовал выработанной им программе жизни. Раз он написал “хочу отлично окончить…”, он и окончил школу на круглые пятерки.

В институте он был для нас живым укором. Кто‑то убегал с лекций на концерт — Илюша сидел от звонка до звонка, круглым и четким почерком записывал лекцию слово в слово. Кто‑то влюблялся, и наука переставала для него существовать, — Груздев дотемна сидел в лаборатории, переливая содержимое колб в пробирки и обратно. Кто‑то хрипел в спорах о жизни, искусстве — его же озарял зеленый свет лампы в читальне. Словно какой‑то уверенный и бесстрастный автопилот вел Илюшу сквозь все соблазны и помехи от одного пункта его программы к другому. “Видите ли, — сказал он, когда однажды мы его всерьез прижали, — игла только потому легко проходит сквозь твердый материал, что она тонка…” Сказал он это твердо, убежденно и тотчас склонился над книгой.

В сердцах, за глаза мы называли его именем того самого чеховского ученого из рассказа “Скучная история”, который прилежен, но пороха не выдумает. Позднее я понял, что это не так. Груздев был героем иных горизонтов. Хитрый Ньютон во время оно пустил гулять по свету историйку, что яблоки (то бишь открытия) висят невысоко и сами валятся на голову. Конечно, Ньютон издевался. Яблоки (то есть открытия) висят так высоко, что до них запросто не дотянешься. Кто‑то гениальный умеет сбивать их ловко заброшенным в поднебесье камнем эксперимента или теории. Для этого, кроме гибкой руки, нужен, очевидно, необычный глазомер.

Но есть и другой путь. Старательно, изо дня в день, без взлетов, зато упорно, громоздить камень за камнем пирамиду, чтобы затем встать на ее вершину и сорвать редкостный плод. Чеховский герой умел воздвигать пирамиду. Делал он это с прилежанием муравья, но и с сообразительностью муравья. Пирамида громоздилась наобум, вершина ее была нацелена в “белый свет, как в копеечку”. Но даже если бы ее острие случайно и коснулось плодоносящей ветви, чеховскому ученому и в голову бы не пришло протянуть руку. Его могла бы привести в сознание только внушительная шишка, но в отличие от яблок открытия сами на голову не валятся.

Груздев и рад был бы лихо сшибать в научных поднебесьях грозди открытий, для того он и ограничивал себя, но чего‑то ему не хватало. Лишь через много лет я понял чего. Его рука двигалась лишь в одной плоскости и своенравно отказывалась обрести гибкость руки гения. Да и глазомер подвирал: точнее, походил на сильный бинокль, которым мы пытаемся возместить природный недостаток зрения, но который, позволяя четче видеть, сужает поле зрения.

А Груздев так тщательно и долго мастерил себе бинокль, что уж и не мог его отнять от глаз. А метко прицелиться, упершись взглядом в бинокль, — предприятие неимоверной трудности.

Естественно, Груздев стал строителем пирамиды. Но он все же знал, как ее возводить, и куда вести кладку, и где надо подпрыгнуть…

Шли годы, а он все строил и строил. Спал, ел — и строил. Ведь сделать открытие, хотя

бы одно, было конечным пунктом его жизненной программы, его целью, мечтой и страстью. Им восхищались: верней не им, а его трудолюбием, само — и всегозабвением. Ему присудили кандидата, затем доктора наук — кладкой его пирамиды уже столькие воспользовались, как трамплином фактов, что было просто неприлично обделить Груздева учеными званиями.

Я его терял на долгие годы из виду, а встречая, находил все тем же старательным мальчиком с краснеющей от прилежания шеей и аккуратным почерком, которым записывалось все относящееся к делу и только относящееся к делу. Он и старел будто по программе — в тридцать появились морщинки и залысины, в сорок он страдал геморроем, в пятьдесят его одолела гипертония, а над лысинкой петушиными гребнями курились жидкие седины. Но открытий за ним все еще не значилось. Я уже было решил, что его программа так и останется невыполненной, но я, оказывается, был плохого мнения о достоинствах прилежания и самоограничения.

Однажды он появился у меня. Лицо его сияло скромным торжеством, совсем как в школьные дни, когда он получил несколько пятерок подряд.

— Поздравь меня, — сказал он. — Я сделал открытие.

— Поздравляю. А что за открытие?

— Наконец‑то после тридцати лет поиска я нашел способ, как сделать человека невидимым.

— Да ну?!

— Уже проверено на опыте.

Первой моей мыслью, сознаюсь, было: “Немыслимо, чтобы Груздев…” Как вдруг меня осенило. Все же очень просто: он, наконец, закончил возведение своей пирамиды. И сорвал то, к чему прилежно тянулся всю жизнь.

И я преклонился перед ним.

— Мне нужна твоя помощь, — торжественно сказал он. — Я передал все материалы в Комитет открытий, и меня сегодня вызвали туда. Я, знаешь, никогда не сталкивался…

Он смущенно пошевелил пальцами. Я понял, что он имеет в виду. Он никогда не сталкивался с тем, что выходит за пределы чистой науки, дабы не отвлекаться. В восторге, что могу быть полезен, я вместо ответа бросился его обнимать. Он неумело, но с достоинством принял мои излияния. Эксперт Комитета открытий меньше всего выглядел чиновным сухарем. Лобастый, живой, его глаза из‑под выпуклых очков взирали на мир с неукротимым любопытством.

— Мы рассмотрели вашу заявку, — сказал он Груздеву. — Необыкновенное количество фактического материала! Бездна работы! Еще никто не прилагал столько усилий, чтобы сделать открытие. Вам памятник надо поставить.

Груздев застенчиво сиял.

— Просто я шел всю жизнь к этому. Только к этому…

— М–да… — Лицо эксперта выразило сострадание. — Но дело вот в чем… Мы вызвали вас, чтобы вы нам помогли. Открытие должно нести пользу людям, таков закон. Вот мне и хотелось бы узнать, какую пользу может принести ваше открытие…

— Как! — изумился Груздев. — Незримый, всепроникающий, неуловимый человек — это… это… Об этом мечтали, к этому стремились… Фантасты писали…

— А зачем человеку невидимость? У Уэллса — чтобы безнаказанно воровать деньги. Но, простите, в нашем коммунистическом обществе, где денег нет…

— М–м… Да, вы правы, но… Военное применение, скажем…

— На земле давно вечный мир!

У Груздева привычно покраснела шея.

— Ведь и верно, войн уже нет, как же я забыл… Но ведь могут быть и мирные применения!

— Какие?

— Это… как его… На пляже если переодеваться… Неудобно, вот тут невидимость:

Эксперт поморщился.

На Груздева было жалко смотреть — вот–вот заплачет. Таким я его видел лишь однажды, когда он — не то в седьмом, не то в десятом классе — вдруг получил двойку.

— Может быть, человека удастся делать невидимым постепенно? — с надеждой спросил эксперт. — Чтобы, скажем, сначала исчезли мускулы… Это могло бы иметь значение в медицине.

Груздев помотан головой.

— Совсем же другой принцип… Человек либо видим, либо невидим.

Эксперт сокрушенно вздохнул.

— Да, задали вы задачку… Но давайте думать! Не может быть, чтобы такое выдающееся открытие было бы совсем бесполезно.

И мы думали. Мы напряженно, до пота думали, ибо теперь от нас зависела судьба Груздева.

— Эх, хоть бы шпионы еще были, — даже пожалел я. — Какой бы находкой было для них это открытие…

— Шпионов, слава богу, тоже давно нет, — жестко отрезал эксперт.

Я попытался предстаешь себя невидимым — может быть, так лучше найду выход? Вот я встаю невидимый, сажусь завтракать, и чашка кофе, наобум протянутая женой, ударяется мне в плечо… Брр! На улице… Ну, уж нет, я не хочу, чтобы меня толкали. В лаборатории? Там, споткнувшись о мое прозрачное тело, меня могут облить чем‑нибудь похуже горячего кофе. Концентрированной кислотой, например. В лесу на прогулке? Ну и что, какие преимущества мне это дает? В театре? В театре мне случайно сядут на колени. Хотя…

— Нашел! — подскочил я с места. — Для театра! Когда по ходу действия на сцене появляется какая‑нибудь тень отца Гамлета!

— Но ведь таких пьес немного, — усомнился эксперт.

— Ну и что? Ну и что? Все польза.

— И в самом деле польза, — обрадованно заулыбался эксперт. — Вполне достаточная, чтобы оформить невидимку как изобретение новой детали театрального реквизита.

Я повернулся к Груздеву, чтобы спросить, как он относится к предложению. Но увидел пустое кресло. Невидимая рука отворила дверь кабинета, проскрипела половица, и дверь аккуратно притворилась за невидимым Груздевым.

— Пожалуй, это тоже можно записать как применение, — подумав, сказал эксперт. — Вместо того чтобы проваливаться на месте фигурально, человек может теперь осуществить это на самом деле.

Больше я Груздева не видел. Одни говорят, что он долго ходил среди нас невидимым, чтобы в таком состоянии легче сыскать применение своему запоздалому открытию, и его в конце концов сшиб автомобиль. Другие утверждают, что Груздев налаживает в театре сцены, где появляются привидения.

НАД СОЛНЦЕМ

Письмо первое, оно было получено

Радист долго жаловался на магнитные бури, загруженность эфира, но я убедил его дать несколько минут для разговора с тобой. Для этого мне пришлось битый час рассказывать ему о московских новостях.

Все в порядке, мы на Меркурии. Самое непривычное здесь знаешь что? Солнце!

Оно грандиозно. Оно заставляет светиться сам воздух.

Его испепеляющую силу чувствуешь даже сквозь светофильтры кругового обзора меркурианской станции.

Нигде нет отдыха глазу. Меркурий — слепящая белая равнина с близким и крутым горизонтом, падающим к Солнцу. Вдаль уходят правильные ряды игольчатых кристаллов. Остриями они тоже повернуты к Солнцу. Оно здесь центр всего. Свет хлещет по камням,

оттого породы сделались прозрачными и вытянулись к небу зеркальными сосульками. Это самозащита. Вещество стремится отразить излишек энергии или же утопить его в своей стеклянной глубине. Космический очаг слишком жарок даже для камней.

Каково же тут людям?!

Час назад мы сидели у кругового обзора и совещались об отлете. Пластиковый купол пропускал менее десятой доли льющегося на Меркурий света. Но и этот ослабленный свет необычен. Волосы у всех нас пепельные, почти седые. Коричневая кожа лиц цветом напоминает засохшую глину. Глаза… в них нет зрачков!

Алунитов (начальник здешней станции) перехватил тогда мой взгляд. Он поднялся со стула, отчего костлявое тело его распрямилось с грацией раскрываемого перочинного ножа, и сказал:

— Здесь вам, — он дружески похлопал меня по плечу, — не Марс и не Венера, тем более не Земля. Рядом — Солнце. Не все его действия поддаются математической оценке. Здесь порой творится такое… Да смотрите сами.

Я оглянулся. Каменный лес качался, то исчезая в ртутном тумане, то возникая вновь. Иглы кристаллов как бы сминались под невидимым ветром и вдруг повисали в воздухе. Горизонт полз и горбился, точно гусеница.

Антонов, наш астрофизик, схватился за диктофон.

— Это… Ведь это искривление пространства!

Алунитов засмеялся.

— Эхо! Всего лишь эхо! Шуточки с пространством Солнце проделывает близ своей поверхности. Меркурия достигает слабая рябь. Но это‑то чепуха. Все давно рассчитано и понято. Не забывайте о другом, капитан…

Он строго посмотрел на меня.

— …Я знаю, вы не новичок. Ваша посадка на Сатурн — есть чему позавидовать. Но вы никогда не летали над Солнцем. Тут совсем особое дело. Солнце, его излучение, я не знаю что, и никто не знает, действует па человека сквозь все обшивки, защитные поля и так далее. Человеку трудно выдержать соседство с Солнцем.

— Оставьте, Алунитов! — прервал его Сбоев. — Будто мы все ничего не знаем о “солнечной болезни”. Знаем, что, кроме воли, от нее нет других лекарств. Ну и что? Мы знаем другое, и в этом мы расходимся с авторами космических романов. “Ах, невероятные трудности космоса! Ах, сверхчеловеческое мужество!” — восклицают они. А высший предел выносливости, силы, стойкости давно достигнут человеком на Земле. Нег в этом отношении никакой разницы между штурмом Джомолунгмы и путешествием сквозь джунгли Венеры. В обоих случаях нужна равная мера сил. У человечества была хорошая школа мужества на Земле, и космос здесь ничего не прибавил. Так‑то!

— Насчет физических трудностей вы правы, — не сразу ответил Алунитов. — Что же касается психики, то Солнце вас переубедит. Вероятно… Не будем спорить. Лучше скажите, куда вы девали котенка, которого обещали привезти нам?

Антонов вышел и вернулся минут через пять с пушистым комочком в ладонях. Алунитов необычайно оживился, Он захлопотал, заторопился, достал откуда‑то плошку с порошковым молоком. Нет, на это стоило посмотреть! Розовой лопаточкой язычка котенок жадно ловил капли молока. Над ним со счастливой улыбкой склонился Алунитов, кто‑то еще из сотрудников станции. А раскаленный мир за куполом колыхался тем временем, как мираж… Я понял, почему обитатели станции молили нас о котенке: в их меркурианских буднях так не хватает земного!

Что‑то нас ждет? Мы стучимся в дверь великолепного и неисследованного мира. Алунитов почему‑то упорно хочет подчеркнуть риск полета именно к Солнцу. В свое время ему предлагали участвовать в экспедиции (вместо меня) — он отказался. Он не трус: лет десять назад он первым пробился сквозь облачные бури Венеры. Но когда Алунитов смотрит на Солнце, я читаю в его глазах смирение. Может быть, так на него подействовало длительное созерцание меркурианских равнин? Кто знает…

На Солнце очередная вспышка, связь нарушается. И не ревнуй меня к экспедиции, как это ты делала дома. Я же люблю тебя…

Письмо второе, затерявшееся в космосе

Вика, здравствуй!

Меркурий уже далеко. Летим к Солнцу, чтобы у верхней границы хромосферы лечь в орбитальный полет. После невероятных пейзажей покинутой планеты ощущение такое, будто каюты корабля — с детства привычный дом.

Нейтринная обшивка глушит шум мощных двигателей. Они тихонько шелестят за стойкой, словно мокрые деревья на ветру.

Теперь я совсем–совсем далек от тебя.

Но у себя в каюте я беру твою фотографию, поворачиваю пластинку под углом к свету, чтобы создался объем, и беседую с тобой — живой, телесной, близкой. Ты стоишь на столе, упираясь ногами в рамку снимка, — загорелая, озорная, в тонком купальнике. Капли соленой морской воды дрожат на твоих плечах и груди. Твои синие глаза щурятся лукаво и ласково.

Сегодня я снова вижу в них недоумение и вопрос: зачем?

В самом деле, зачем? У меня на Земле было все. Все, что нужно для счастья. Друзья на всех континентах, работа, которую я любил. И ты, И нам с тобой принадлежал огромный благодатный мир — березовые перелески Владимирщины, ласковый песок гавайских пляжей, музеи Италии, хрустящий под лыжами снег Антарктиды…

А я ушел туда, где нелегко, где всякое может случиться.

Все очень просто, хотя и очень сложно. Наш полет — следствие того великого закона, что для людей есть только два пути: путь вперед и путь назад.

Наши прадеды испытывали на себе новые вакцины. Под красными знаменами шли навстречу пулям. Даже коченея, не сворачивали с пути к полюсу. Мы поступаем так же, как поступали они. Хоть и обладаем всем, что было для них мечтой.

…Меня зовут, до свидания, любимая. В трех миллионах километров от Солнца мне как‑то ясней, чем обычно, видится, как должен жить человек. А также и то, почему в нашем “земном раю” нет лазурных счастливчиков, кругом довольных собою и своей жизнью. И почему любое трудное дело тотчас вербует миллионы добровольцев.

Ты не подумай, что я оправдываюсь. Просто при прощании мне показалось, что я вижу в твоих глазах этот невысказанный вопрос: “зачем?” Он тревожит меня, ведь мы должны понимать друг друга до конца. Но я уверен: в душе ты сама великолепно понимаешь: покой — не для нас. Может быть, счастье — в этом.

Письмо третье, неотправленное

Я опять возле тебя, моя единственная. Связи нет и долго теперь не будет, но все равно я вынимаю записывающий кристалл и говорю тебе, что мы… что все идет успешно.

Настолько успешно, что штурман недоволен. Сейчас посвящу тебя в сложности взаимоотношений Сбоева с “его электронным величеством”.

Представь себе комнату в виде сферического многогранника, стены которой выложены пластинками полупроводниковой пластмассы. Пластинки похожи на соты. В крошечных ячейках тлеют разноцветные искры. Вверху — купол цвета топленого молока, кое–где экраны. Это и есть “мозг” ракеты.

Дежурный сидит внутри него. То, как “мозг думает”, мы не видим. Свои выводы он докладывает нам в форме кривых, мелькающих на экранах. Все очень просто, никакой кабалистики, и все очень сложно.

“Мозг” с непостижимой для человека быстротой и точностью управляет бегом астроплана сквозь электромагнитные и гравитационные вихри, рождаемые звездой; регулирует напряжение энергии; ведет сбор научной информации; обеспечивает круговорот воды, воздуха и пищи; повелевает еще тысячами других дел.

Наши дежурства у пульта, если разобраться, занятие крайне однообразное. Корабль автоматизирован так, как не был автоматизирован еще ни один планетолет.

Конструкторы на Земле проявили чудеса изобретательности. Траектория полета,

скорость, моменты ускорений, торможение — все тщательно выверено еще на Земле, сообщено “мозгу”, и он пунктуально выполняет приказ, сообразуясь с внешними условиями. Корабль катится словно по бархатным рельсам. Мы ждем толчков на ухабах, а ухабов нет, а хотя мы знаем, что они должны быть, и как мы ни доверяем автоматам, на незнакомой дороге приятней чувствовать руль в своих’ руках.

Впрочем, я напрасно говорю “мы, мы”. Ухабы ради ухабов, что может быть глупее? Раньше в путешествиях меня больше всего интересовали приключения, теперь — то новое, что встречается по дороге. Ты, надеюсь, простишь меня, если я не привезу рассказа о головокружительных ситуациях. В то, что их совсем не будет, мне, однако, что‑то не совсем верится…

Иного мнения об “электронном мозге” Валя Сбоев. Он штурман. Он должен вести корабль. А здесь он… безработный. По–человечески можно понять его досаду. Он ветеран космоса, ему приходилось летать на старых кораблях, где машина помогала штурману, а не подменяла его. Свыкнуться с новым положением Сбоеву нелегко.

Вчера я дежурил с ним. Экран гравилокатора был, как всегда, включен. Вогнутый диск звезды занимает уже две трети неба. Даже на экране Солнце гневно и грозно. Кипит голубовато–красная материя. Она похожа на пену. Пузыри часто лопаются, брызжут огненными фонтанами. Раскаленные струи газов за несколько минут вырастают в гигантские грибы. Точь–в-точь мухоморы, только длина ножки такого “гриба” — несколько радиусов Земли.

Это впереди. Сзади, на фоне жемчужно–серого сияния, сплетаются розовые лапы протуберанцев. Будто ткут для нас паутину.

Какой разительный контраст со спокойствием приборов!

Не прошло и пятнадцати минут нашего дежурства, как Сбоев, внимательно следивший за курсографом, обнаружил, что корабль слегка отклонился от расчетной орбиты. И тут многоопытный Сбоев допустил ошибку, за каковую был немедленно–наказан. Привыкнув, что обязанностью электронных машин старой конструкции было наблюдение за точным выполнением программы полета, он решил, что внешние условия исказили показания датчиков, и обрадовался случаю исправить ошибку автоматов. Быстро рассчитав поправку, штурман ввел ее в приемное устройство. “Мозг” промигал Сбоеву неожиданный ответ: “Ваше приказание не будет выполнено”.

Сбоев — человек выдержанный. Но кровь вольных казацких предков тоже кое‑что значит. В эту минуту мне показалось, что он был готов запустить стулом в одно из полушарий “мозга”.

Спустя секунду недоразумение, конечно, рассеялось. Штурман вспомнил, что наш “мозг” может объяснять свои поступки, и потребовал ответа. “Спереди по курсу опасные магнитные бури, иду в обход”, — заявил “мозг”.

Тогда штурман сел за пульт и стал что‑то считать на табуляторе. Спустя некоторое время он бросил это занятие, вздохнув, пододвинул к себе стопку пластиковой бумаги и стал… писать… Да, да! Он не диктовал, а именно писал. Ручкой. Как обычно писали лет сто назад и как теперь уже почти никогда не пишут. Сердито черкал, комкая написанное.

Клочок бумаги слетел к моим ногам. Я поднял. Это были… стихи. О шепоте листьев, о соловьях…

За все дежурство Сбоев всего раз взглянул на экран. Поморщился и сказал:

— У нас на Дону девчата до сих пор зовут любимых: “Красное мое солнышко”.

И неожиданно добавил: “Стареем…”

Это пока единственное происшествие, но оно меня обеспокоило. Дело в том, что Алунитов кое в чем прав. Космос предъявляет к человеку новые требования, в основном чисто психологического порядка. Вот “солнечная болезнь”… Случай со Сбоевым — ее рук дело. Если отбросить мудреные термины, то вот что на сей счет говорит наука. Человек привык к земному Солнцу, к его ласковому теплу и к его экваториальному жару. Свет

Солнца — неотъемлемая часть нашей жизни. Но возле самого Солнца свет совсем другое! Все равно что погладить ребенка в миллион раз сильнее, чем нужно… Так и здесь, свет приобретает яростную, ни с чем не сравнимую мощь. И, что самое главное, он как‑то действует на нервы сквозь все фильтры. Так, вероятно, действуют обнаженные провода высокого напряжения, пока к ним не привыкнешь. Даже если они находятся за стеклянным экраном, все равно трудно быть спокойным. Никто еще не знает, как передается на нас, детей тенистой Земли, влияние солнечного света. Но оно передается, это факт. Пока все в порядке, но как отзовутся нервы моих спутников на опасность? Не сдадут ли?

Вот почему мне пришлось крупно поговорить со Сбоевым. Кажется, он взял себя в руки.

И все же “солнечная болезнь” может доставить нам…

Письмо четвертое, тоже неотправленное

Меня, Вика, прервало чрезвычайное обстоятельство: “мозг” на минуту потерял курс. За направлением он следит по звездам и по силовым линиям поля тяготения Солнца. Внезапно на Солнце произошел взрыв. Все закружилось в фиолетовой мгле. Видимо, исказилось и поле тяготения. “Мозг” — умница: он продолжал вести корабль, никак не пытаясь исправить траекторию. А потом ориентировка восстановилась. И все же эго тревожный сигнал.

Я собрал экипаж. Предстояло решать судьбу экспедиции. Мы были готовы ко всему. При создании средств защиты учитывался весь опыт космонавтики. Конструкторы обезопасили корабль и от метеоритов, и от нагрева солнечных лучей, и от магнитных бурь, и от скачков силы тяготения. Но потеря ориентировки была кратковременной. Приборы не записали достаточно данных, чтобы инженеры смогли бы разобраться и надежно перестроить систему ориентации. А без этих данных никто уже больше к Солнцу не полетит: слишком опасно лезть в неведомое, потерять ориентировку и свалиться на звезду. И вот ведь в чем трагедия: даже если поле–тяг — раз будет благополучно, два, десять, а на одиннадцатом корабль может погибнуть.

Вот мы и решали, что нам делать.

Повернуть — и все опасности позади. Повернуть — и полеты над Солнцем надолго станут недостижимой мечтой. Повернуть — и наука замедлит свое развитие. И еще долго мы не будем знать, как же именно Солнце искривляет пространство.

А оно искривляет. Возле него близкое становится далеким, и наоборот. Непонятный нам покуда взрыв тайных свойств материи! Тяготение строит здесь мгновенные вакуумные тоннели, они соединяют точки пространства подобно тому, как твое дуновение заставляет сомкнуться листы бумага, если держать их близко и дуть меж ними. Нет, конечно, не совсем так, даже совсем не так… Но ты представь: не ползти с околосветовой скоростью годами от звезды до звезды, а мощным ударом проломить пространство и сразу выйти на простор — какова перспектива? Этому надо учиться у Солнца, долго, смиренно, дерзко, рискуя всем. Ведь оно умеет перестраивать пространство, умеет, а мы нет. И приходится принимать его условия игры.

Так что же, повернуть и отказаться от мысли выведать у природы одну из важнейших ее тайн?

Минуты бегут, мы спорим, каждый надеется, что слова “повернем” или “полетим дальше” скажет не он. И все посматривают на меня; мол, ты капитан, ты и решай.

— Значит, возвращаемся? — спрашиваю.

Никто не говорит “да”. Простого, короткого “да”.

Никто не сказал: “Повернем”. И мы летим дальше.

И — представь себе! — все повеселели. Даже врач шутит. А Сбоев стал показывать теневой театр. На гранях “мозга” в ярком отсвете солнца скачут, кувыркаются уморительные зайчата.

Письмо пятое, может быть, последнее

Похоже, Вика, это последний наш разговор. Солнце поймало нас. Ракета вдруг очутилась в участке искаженного пространства. Приборы захлебнулись от обилия новых

сведений. Ни нам, ни “мозгу” теперь не определить, где же находится масса Солнца: вверху, внизу, слева, справа? Все смешалось, мы летим вслепую. Стоит астроплану снизиться на сотню–другую тысяч километров ниже расчетного потолка — в наших условиях дело десятка минут, — и мощности двигателя не хватит остановить падение.

Локаторы вышли из строя. Мы включили купол визуального обзора. Какая невероятная картина!

Пылающая мохнатая сфера, подернутая багровыми пеленами вокруг. Медленно ползущие белые пятна, отороченные волосками синего огня. Пламенный хаос и ад. Как завороженный, я делаю шаг к прозрачной стенке. Что со мной? Тело легче пылинки, в висках стучит кровь. Кажется, что сейчас упадешь в огонь.

— Гасите!

Это кричат мне. В глазах людей страх.

Какая сила у света! Прыгаю к панели управления. Моя прозрачная тень мелькает на потолке. Щелчок — и темнота, в которой робко набирают яркость лампочки.

Ощущение, как после сильного удара о землю. А ведь мы только смотрели. Смотрели сквозь фильтры на Солнце.

Хватит! Надо что‑то предпринять: в таком состоянии мы не сможем найти выхода. У всех такое же самочувствие, как и у меня, если не хуже.

— А ну! — кричу и не узнаю собственного голоса. — Приказываю всем: голову вверх! Слышите: вверх! Для нас нет ничего невозможного, слышите! Включаю обзор. Всем смотреть, думать и искать выход!

И я опять включаю Солнце. Мы заглядываем в его недра. Оно сильно, но мы все же сильней. Это я вижу по лицам. В них ни кровинки, но мы кладем друг другу руки на плечи, и нам становится легче. Кто сказал, что смотреть в Солнце страшно? Да, страшно, но можно.

— Достаточно, — говорю. — Есть выход. Дайте программу приборам: пусть ищут закономерности в прыжках силовых линий поля. Она должна быть. Найдем ее и дадим “мозгу” команду.

Приборы ведут битву без нас. Нет, неправда. Это наш приказ оживил зеленые волны электронных лучей, которые скрещиваются на экранах, как сабли воинов. Кто кого, осилит: мы ли природу, она ли нас?

“Есть упоение в бою и в бездне мрачной на краю…” Поэту и не грезился, конечно, полет к звездам, черкесский резвый конь никак не походил на фотонную ракету. Но я жму твою руку, поэт, так чго с хрустом ломается зажатое в твоих пальцах гусиное перо: ты писал о восторге борьбы, ты писал о нас!

Я верю, что привезу тебе и это письмо.

Письмо шестое, на этот раз действительно последнее

“В начале всего был хаос, — говорят мифы, — из хаоса произошли и земля и небо”.

Была крупица истины в этих наивных мифах. Хаос, огненный хаос, где ни одна сила не дремлет, а все сплетены в клубок борений, — вот изначало материи. Из него произошло все: горы, растения, планеты, мы сами. И мы победили своего праотца.

Как? Май рассказ, Вика, будет очень несвязным. Почему, суди сама.

Со стороны это выглядело так. Капитан (то есть я) стоял и смотрел на Солнце. Мы знали уже, что приборы не могут нам помочь: они не в состоянии разобраться. И внезапно капитан задал “мозгу” курс. Ускорение вдавило нас в кресла. Потом — нечто вроде обморока. Честно. Помню лишь, что я изо всех сил упирался ногами в пол, точно лишь усилий человека не хватало двигателям, чтобы вырвать корабль из объятий Солнца.

И в огненной пелене вдруг мелькнула чернота. Чернота космического неба, прохладная, спасительная.

Вот и все. Мало? Но для меня в эти минуты разверзлись вселенные. Такие, что любой рассказ о них будет ложью.

А внешне… Да, говорят, что внешне так оно и выглядело: очень неэффектно, просто и… необъяснимо. В старину такое пышно именовалось “чудесным избавлением”. А что же

было не внешне? Пытаюсь вспомнить и не могу. Почему я задал кораблю именно тот, единственно верный курс? Совсем откровенно: не знаю.

Нас учили верить автоматам и его командиру — “электронному мозгу”. Правильно учили. “Мозг” соображает быстрее человека. Но чему было верить тогда? Я поверил своей интуиции, поверил в те тайные возможности человека, к которым в обычной обстановке мы склонны относиться с иронией и сомнением. А поверив, отдал команду. Дальнейшее ты знаешь. В ту минуту я не рассуждал и не колебался, я доверился себе, ибо другого выхода не было, хуже быть не могло.

Все же и это полуправда. Это я уже придумал потом. Знаешь, что странно? Что инстинкт сработал над Солнцем. Там, где все непривычно, дико и чудовищно. Где нет ничего знакомого. Если инстинкт это мгновенно реализованный опыт бессчетных поколений предков, то при чем здесь он? Не могли же наши предки летать над Солнцем… Кажется, пытаясь найти одно, мы попутно нашли другое. Пытаясь вырвать тайну грозных сил Солнца, мы ощутили на себе веяние сил более мощных, веяние неизвестных сил человеческого разума. Говорю это без рисовки. Вот я сижу в кресле, обыкновенный, не очень талантливый человек, и вспоминаю, как я только что был… кем? Гением? Не то… Я честно не подозревал в себе ничего такого. И теперь я не только не могу повторить эту минуту озарения, но даже понять, откуда что пришло. Пришло и ушло, оставив меня прежним. А почему прежним? Я всегда хочу быть таким, как в тот момент! И каждый, думаю, захочет, ведь это скорей всего в каждом… Но где искать, в безднах какого Солнца ключ к этой вот тайне? Не знаю, не знаю…

Сбоев сказал об этом проще:

— Спасибо, капитан, что вы доверились себе и пошли на риск. Люди только тогда и побеждали, когда они верили себе, а не чужому дяде. Потому вера и движет горами.

Кажется, Сбоев не в силах забыть, как его посрамила машина. Не знал, что он злопамятен.

Меня хотели качать, я отбился. А потом мы прощались с Солнцем и грозили ему пальцем. Теперь мы знаем многие его каверзы, и второй раз ему труднее будет застигнуть нас врасплох.

Мы летим домой. Пройдет несколько дней, и причалы Меркурия примут наш корабль. В детстве домом для меня была улица, где я родился, сад, куда меня водили гулять. Домом потом стала вся Земля. Теперь и Меркурий для меня тоже дом. От него рукой подать до Родины. Какие‑то сотни миллионов километров знакомого и безопасного пути. Вероятно, наш с тобой, Вика, сын, возвращаясь откуда‑нибудь с Магелланового облака и влетая в нашу Галактику, тоже скажет:

— Ну, вот я и дома!

Стоит ради этого рисковать, правда, Вика?

ОПАСНОСТЬ СПОКОЙСТВИЯ

Разин лежал на спине, ладони под затылком, ноги он положил на ветку — тяжелые ботинки чернели в просвете ярко–красных кустов. Классическая поза отдыхающего туриста! Поодаль валялся рюкзак.

Мешала лишь какая‑то неудобная складка скафандра. Но поворачиваться не хотелось. Так приятно было вглядываться в бесконечную даль неба, куда стекали, будто струйками крови, тонкие и прямые, почти без веток деревья.

В первый день эти деревья его поразили и потрясли. Но через месяц он уже совсем привык, а через три месяца смотрел на пейзаж чужой планеты равнодушно. Такова уж сила привычки! Его напарник — Сережа Зубов прислушивался к тиканью часов.

— Пошли, — сказал он.

Разин поворчал, но поднялся. Работа есть работа… Они шли перелесками, лугами, останавливались, брали образцы трав.

— Нам хорошо, у геологов образцы потяжелей, — почти всякий раз говорил Зубов, бережно укладывая в отделения сумки невесомые травинки.

В первые дни это было спортом: кто принесет из маршрута больше неизвестных растений. Они упивались классификацией, изощрялись в выдумывании звучных латинских названий. Но вскоре надоело; на десяток находок меньше, на десяток больше — велика доблесть на планете, которую приходилось открывать всю с начала и до конца. В таких условиях легко вообразить себя Гумбольдтом, но ребята самокритично понимали, что действительно их заслуги невелики.

Дул слабый ветер, ласково, совсем как в Подмосковье, плыли облака, из травы при каждом шаге брызгали насекомые и очень тянуло распахнуть ворот рубашки.

— Дачные условия, — ворчал Зубов.

Да, здесь было уютно и спокойно. Всегда. Тенистый склон был устлан мокрой после недавнего дождя листвой, ботинки скользили. Вскоре склон сделался круче.

— Тряхну‑ка стариной, — сказал Разин.

Он оттолкнулся, заскользил по склону в безудержном падении, держа курс на ствол ближайшего дерева. Подлетел к нему, раскрыл объятия и, резко затормозив, опять заскользил вниз от дерева к дереву.

Их снесло чуть левее от направления маршрута.

— Гляди, какая лужа! — сказал Зубов.

— Скорей болото, — поправил Разин.

Слева за деревьями в котловине лежало озерцо грязи. Она жирно и черно блестела. Кусты на берегу топорщили голые ветки.

— Может быть, целебная? — предположил Зубов.

— Обычная топь. Надо будет сказать геологам.

— Как же, заманишь их этим, У них объекты поинтересней.

Было очень тихо, ветер сюда не долетал.

— Озеро Спящей грязи — как, ничего название? — спросил Зубов.

— Подходит. Интересно, кто обглодал эти кусты?

— Небось анки. Они стригут чище наших лосей.

— Надо бы взять образец.

— Время, дорогой, время. Кроме того это типичное место водопоя. После больших дождей здесь наверняка много воды.

— Да, ты прав.

Разин достал фотоаппарат, прицелился. Как всегда с досадой подумал, что снимок не передаст главного: молчаливого спокойствия пейзажа. Чтобы лучше скадрировать, он поднялся немного выше.

— Ну, пошли, — сказал он, пряча камеру.

— Сейчас.

Зубов поднял с земли рюкзак, а заодно и камень (он стоял на каменистой косе возле берега). Повертел в руках голыш и, размахнувшись, с присвистом бросил его в грязь.

Они не сразу поняли, что произошло. Камень не поднял фонтанчика, не дал кругов, он ушел в глубину, будто проглоченный. И тотчас грязь колыхнулась, поднялась бугром и вдруг стремительно выбросила на берег бесформенный обрубок. Обрубок слепо метнулся влево, вправо, словно нашаривая что‑то. К нему не прилипали ни камни, ни даже песчинки. Грязь тем временем выбросила второе щупальце: оно бесшумно рванулось вверх…

“Псевдоподие–ложноножка!” — похолодев сообразил Разин.

Отросток коснулся Зубова.

— Беги!!! — закричал Разин.

Поздно: скафандр прилип. Бесшумно, распухая наростами, близился новый обрубок. Зубов рванулся: напрасно. Его тянуло в озеро. Каблуки вспахивали глубокие борозды. Грязь вспухла близ того места, где находился ботаник, выходила на берег. С противоположной стороны обнажалось гладкое дно.

Зубов упал, руками, коленями вцепился в плоскую каменную плиту. Металл шлема скрежетал по камню.

— А–а-а! — кричал Зубов, теряя силы.

Крик вывел Разина из столбняка. Машинально он схватился за пояс: пусто. Вот уже месяц, как они “забывали” пистолеты — кому охота тащить в маршруте лишнюю тяжесть? Но все равно, что могли сделать пули этому бесформенному существу (или веществу)?

Он скатился вниз, ударил каблуком по отростку. Каблук мгновенно прилип, будто его охватило клеем. Разин упал. Отросток ослабил хватку — теперь Зубов мог хотя бы держаться за камень, в кровь обдирая пальцы, — и выбросил в сторону Разина тупой, безглазый аппендикс. Мерно покачиваясь, лоснящийся, гладкий, он тянулся к шлему. Сзади тяжеловесно близилась основная масса

Разин бешено рванулся и освободил ногу. Вскочил, увернулся от змеиного броска другого щупальца. Задыхаясь, побежал что есть силы вверх. Споткнулся о камень. И тут мелькнула надежда.

Он поспешно хватал камни, набивал ими рюкзак, забыв о криках товарища, об отростках, которые ползли за ним.

Наполнив рюкзак, он побежал что есть мочи на другой конец “озера”, схватил сразу пригоршню камней и швырнул их в зловещую черную “грязь”.

Опять, как и в первый раз, камни исчезли без плеска. Место удара немедленно вспухло, выстрелило щупальцами. Разин с радостью увидел, как заполняется грязью обнажившееся ранее дно. Он кидал и кидал камни, то и дело отбегая и стараясь не думать, успеет ли он и поможет ли это Зубову. Тот еще кричал, значит, был цел. Напротив Разина “грязь” уже грозно встала валом, отростки при всей их медлительности лихорадочно шарили по берегу, и Разин с ужасом видел, как после их прикосновения бесследно исчезают редкие травинки.

Он улучил момент и кинул взгляд на другой берег. Там начинался “отлив”. На суше остался лишь один отросток, который более не тащил, а лишь держал Сергея. Действовало!

Он швырнул последний камень и заплакал от бешенства. Здесь берет был гол. Он бросил еще компас, кривой нож, которым выкапывал корни. Теперь оставалось только броситься самому.

Ну нет: этот последний гибельный козырь он прибережет. Разин схватил ближайший ствол низкорослого дерева. С силой, удесятеренной отчаянием, рванул. Почва под деревом напружинилась, но корни еще держали. Тогда он навалился всем весом, гнул дерево, бил по нему кулаками — и растянулся в обнимку с деревом в опасной близости от щупалец. Но теперь это не имело значения. Он закрутил ствол над головой, как пращу, и метнул. На этот раз “грязь” слабо ухнула. Секунду ствол еще держался снаружи, потом его заглотнуло.

И тут Зубов вырвался. Опрометью, спотыкаясь, падая, помчался прочь.

Разин не скоро нагнал его. Они долго шли молча, постепенно сбавляя шаг. Вокруг по–прежнему шелестел ветер, на листьях дрожали капельки росы, по небу лениво плыли облака, но теперь друзей заставлял вздрагивать любой шорох, ибо они не верили больше в спокойствие окружающего.

Каждый думал о своем. Зубов о том, что же это такое было, но путного ничего придумать не мог и злился. А Разина природа грязи беспокоила мало: стоит ли ломать голову над тем, что несомненно и скоро перестанет быть загадкой. Пытаясь оправдать свою беззаботность, он размышлял над предательством случая, но успокоения не находил. Ибо все объяснение сводилось к тому, что они — первопроходчики — герои, распираемые сложными знаниями современности, забыли простую, сугубо земную, дедовскую, а потому наивную для них поговорку: “В тихом омуте черти водятся”.

УРОК ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Расплавленный черный металл в песке. Железная рвань обломков, хаос, гарь. Зеленоватые брызги кристаллических ячеек вокруг. То немногое, что уцелело при ударе и

вспышке.

— Пошли, — сказал Огнев. — Все ясно.

Напоследок он обернулся. Даже скалы опалены. Тень катастрофы запечатлелась в граните. И где‑то посреди хаоса, уже неотделимая от марсианской почвы, крохотная деталька, небрежно сработанная там, на Земле. Пустяк, мелочь. И нет ракеты, нет сотен тонн долгожданного груза.

Молчаливый спутник Огнева пожал плечами.

— Главное, что там не было человека.

“Разумеется, главное! — хотел воскликнуть Огнев. — Но человек там был. Тот, который снебрежничал. Там, на Земле. Человек, лишенный теперь доверия”.

Но вслух он этого не сказал. К чему?

Они шли по склону, и пейзаж казался им безотрадным, как никогда. Тусклый песок, тусклый свет маленького солнца, синюшные вздутия эретриума на камнях. Цвет марсианских растений словно предостерегал о яде, который их пропитывал.

Ветер уныло свистел, и он тоже был ядовит. Можно было сколько угодно трубить о победе над Марсом, о покорении планеты — пустые слова. Люди были вынуждены окружать себя земным воздухом, есть земную пищу, бояться булавочного прокола в стене изоляции, отделяющей их от всего марсианского. Они чужаки, которые живут здесь лишь благодаря рейсам грузовых ракет — этой ненадежной миллионокилометровой пуповине, протянувшейся через космос. Чужие в чужом мире — к этому невозможно было привыкнуть.

И меньше всего Топу — овчарке Огнева, которую тот привез “в целях исследования воздействия марсианских условий на животных”. Пес, комичный в шлеме, опустив голову, трусил сейчас у ног хозяина. Впрочем, резвость давно покинула его. Первые дни в его горле клокотал вой. Потом он свыкся, притих и только, пользуясь любой возможностью, тыкался влажным носом в ладонь Огнева, печально ловил его взгляд, словно вопрошая: “Нам плохо тут, хозяин. Давай уйдем”.

Огнева раздражало молчание шагавшего рядом Серегина. “Хоть бы болтовней отвлечься…” Неудача с ракетой, конечно, не была катастрофой. Серегина — того она почти и не касалась. Что ему, геологу, имеющему дело с камнями? А тут думай, как расширить гидропоническую станцию, чтобы не экономить каждый грамм пищи, ломай голову, как разнообразить блюда из хлореллы, как избавится от солей в трубах системы очистки. Ведь полиоксиловые трубы, на стенах которых вода, извлеченная из атмосферы Марса, не отлагает солей, погибли с ракетой. И запчасти для вездехода тоже. Черт возьми, его “героическая” работа первопроходца чересчур напоминает обязанности домоуправа! Трубы, очистка, ремонт. И постоянная зависимость от всех этих мелочей. Не менее половины усилий уходит на поддержание той самой стены изоляции, которая так стесняет жизнь. Иногда ему казалось, и трудно было отделаться от навязчивой мысли, что крохотные, герметично изолированные комнаты станции — это своего рода тюремные камеры, и скафандры тоже камеры, только движущиеся.

— Что, скоро починим вездеход? — как будто назло спросил Серегин. — Надоело пешком топать.

Огневу захотелось выругаться.

Но ответить он не успел. Топ внезапно рванулся — шерсть дыбом, глухое рычание рвалось из‑под шлема.

— Топ, что с тобой?

Еще не закончив вопроса, Огнев получил ответ. Из‑за скалы на людей выкатился шмек, видимо, пасшийся в зарослях эретриума. Паучьи лапы несли животное бесшумно и быстро как колеса, и он мгновенно очутился в опасной близости. Роговидные глаза шмека отливали красным.

Ему наперерез бросился Топ. Трубки от баллона прыгали на спине собаки.

— Топ, назад! — заорал Огнев, выхватывая пистолет. Ничего страшного в нападении шмека не было. Даже безоружный человек в скафандре с гидроусилителями мог ударом

бронированного кулака обратить шмека в прах. Немножко ловкости и знания повадок, чтобы избежать острых когтей, — вот и все.

Но Топ встретился со шмеком впервые. Он не подозревал, что его прыжки только мешают людям. Им владел многовековый инстинкт, воспитанный человеком: на хозяина нападают, надо отвлечь нападение.

— Назад, Топ, назад! — кричали Серегин и Огнев, опустив пистолеты. Стрелять было невозможно из‑за собаки.

Слишком поздно. Шмек был слабым, но необычным противником: его подогнутые внутрь тонкие лапы могли распрямляться с молниеносностью пружины. Прыжок — лапа шмека со свистом опустилась на собаку. В следующее мгновение взъяренный Топ грудью ударил противника. Тело шмека развалилось с сухим шорохом.

Серегин подбежал к собаке первым.

— Все, кончено, — глухо сказал оп.

Лапа шмека, как бритва, полоснула по воротнику шлема, и тот сполз с головы собаки. Топ лежал ка боку, судорожно хватая пастью воздух. По высунутому языку катилась пена.

— Пришла беда — раскрывай ворота, — сказал Огнев, тщетно пытаясь приладить собаке шлем.

Бесполезно. Топ дышал наружным воздухом. В нем было достаточно кислорода, но окислы азота убивали хоть не мгновенно, но неотвратимо.

Казалось, и Топ понимал это. Он попытался лизнуть руку Огнева. Из его глаз катились слезы, бока судорожно опадали.

— Прекрати… — отвернулся Серегин.

Огнев поднял пистолет. Глаза собаки взглянули на него с укором и тоской. Пистолет заходил в руке.

— Не могу, — глухо сказал Огнев.

— И я тоже, — тихонько ответил Серегин. — Но так будет лучше.

Он прицелился, готовясь нажать спуск. Но не успел.

Вой прокатился над скалами, эхо умножило его, вознесло к фиолетовому льдистому небу. В этом вое будто прорвалось давно сдерживаемое отчаяние пса, вся его ненависть к холодным красным равнинам Марса, чужому солнцу, негреющему свету. И словно ненависть придала ему силы, он вскочил, бешено закрутился, разбрызгивая пену. Но в конвульсивных движениях все же была какая‑то определенность. Топ словно искал что‑то среди камней и песка. Брюхо и задние ноги волочились, но он упрямо полз к ему одному известной цели.

Огнев попытался сглотнуть комок в горле. Пес грудью упал на бугорчатый вырост марсианского растения, рвал губчатую, склизкую массу.

Серегин спрятал пистолет.

— Инстинкт. Сейчас он — обезумевшее животное, которое помнит, что от смерти иногда спасают лекарственные травы.

— Здесь нет трав…

— Инстинкт этого не знает. Он повелевает — ищи. Земля, Марс — страх смерти стирает разницу, отчаяние приемлет обман. Что ж, по крайней мере он нашел быстрое избавление от мучений.

Огнев отвернулся, чтобы не видеть конца. Но когда он снова обернулся, Топ еще жил. Огнев заставил себя наклониться. В неподвижных глазах пса черной волной вставала смерть. Взгляд остекленел, он шел оттуда, откуда уже не ждут ответа, Огнев невольно тронул свой шлем движением, каким на Земле в таких случаях обнажают голову.

— Морские свинки погибли от яда эретриума через тридцать секунд, — сказал Серегин, — собака держится дольше.

Педантизм Серегина даже не возмутил Огнева. “Прости меня, Топ. Мы по доброй воле пришли сюда, где даже жизнь поражает смертью. Ибо знали зачем. Тебе же Марс не был нужен, тебе было трудней. Прости”.

И он, уже не колеблясь, навел пистолет.

— Подожди, — остановил его Серегин. — Опыт надо довести до конца.

— Это жестоко.

— Это необходимо. Ради науки. А он… он все равно ничего уже не чувствует.

Глаза Топа закрылись. Только легкая дрожь еще выдавала жизнь.

— Нет, это жестоко, слишком жестоко!

Крик хозяина как будто разбудил Топа. По мышцам ног прошли сокращения, глаза открылись, пес поднял голову, попытался встать.

Серегин и Огнев попятились.

Топ уже стоял на подкашивающихся ногах. Бока проваливались при каждом выдохе, но он дышал, дышал все более шумно и радостно, марсианским воздухом.

— Что это? — прошептал Огнев.

Топ шагнул к нему, но чуть не упал. Серегин подхватил его на руки. Пес благодарно лизнул стекло шлема.

Так они стояли долго и глядели на чудо — живого Топа. Со страхом, что чудо вдруг кончится, что юлова Топа бессильно упадет и надежда, ошеломляющая, нежданная надежда, угаснет. Но Топ жил и даже удивленно повизгивал: почему так необычно молчат люди?

— Да–а… — проронил, наконец, Огнев, — да–а…

Он неловко потоптался. По–прежнему ничего не понимая, он смятенно протянул руку, коснулся шереги пса. Рушилась вера во враждебность Марса, но пыль обвала еще застилала новую даль.

— Яд, — вдруг отчетливо сказал Серегин, в упор глядя на Топа. — Яд, которого не было и нет. Нигде. Есть лишь узколобые метафизики. Мы.

— Как? — Огневу показалось, что он ослышался.

— Ты же биолог, тебе видней. — Серегин уже не скрывал иронии. — Эретриум — яд, и марсианский воздух — тоже яд. Но минус на минус дает плюс не только в математике.

— Да, конечно, — машинально согласился Огнев. — Ага! — У него мелькнула догадка. — Уж не хочешь ли ты сказать…

— Вот именно. Человека можно убить поваренной солью и спасти ядом змеи. Абсолюта нет в природе, он есть только в наших умах.

— Но это общеизвестно! Яд, который можно нейтрализовать ядом же…

— Ах, общеизвестно! Тогда почему раньше мы… Растерянный взгляд Огнева оборвал его на полуслове.

Огнев озирался, словно видел Марс впервые. Песок был сер, даль уныла, солнце светило тускло, все было обычным, неживым, но ослепительный рассвет прозрения уже стирал марсианские тени. Ничего не изменилось, кроме представления людей об окружающем, и изменилось все. Так чувствует себя слепой, когда к нему приходит зрение.

— Топ! — закричал Огнев. — Иди сюда, сукин ты сын!

Пес с готовностью подпрыгнул, Огнев подхватил его и закружил на руках. Он танцевал, бережно обходя синюшные вздутия эретриума, которые теперь казались ему прекрасней роз, ибо в них был эликсир, могущий приобщить людей к жизни Марса. Где яд, там и противоядие, где горе, там и радость, где незнание, там и открытие — это так же верно для Марса, как и для Земли, потому что диалектика властвует всюду.

ЗАЧЕМ?

Долго думали машины, долго думали ученые. Из конца в конец планеты Орби перекатывались потоки информации, дробились, сливались, смешивались, кристаллизовались в формулах, наделяли бессонницей умы, сжигали предохранители блоков памяти. Решался вопрос вопросов: как лучше дать о себе известие предполагаемым цивилизациям других миров?

И средство было найдено.

— Друзья! — объявил председатель Ученого Совета. — Вековым спорам и поискам пришел конец. Коротко резюмирую вывод. Бесконечность расстояний делает невозможным полет к далеким мирам. Варианты сигнализации радиоволнами, космическими лучами, нейтринными потоками, полями тяготения неудовлетворительны по двум причинам. Во–первых, такими сигналами сложно охватить всю Галактику. Во–вторых — это главное, — их может принять лишь высокоразвитая цивилизация: тем самым мы заранее суживаем круг поиска.

Для нас теперь ясно, что сигнал должен быть очень простым, очень броским и адресовать его надо сразу “всем, всем, всем”. Этому назначению отвечает свет, ибо его видят все разумные на всех ступенях развития.

Остается пустяк: как наилучшим образом решить эту задачу технически? С радостью сообщаю, что такое решение найдено. К ближайшей звезде запускается автоматическая станция, которая вечно будет кружить вокруг нее. Установленные на ней лазеры по заданной программе станут управлять звездными реакциями. Звезда будет то разгораться, то тухнуть. Ее пульсации и станут нашим посланием Галактике. Единственная пульсирующая звезда в ночном небе — разве не привлечет она внимание даже неподготовленного ума? Не побудит задуматься над вопросом: “Зачем она мигает?” Это и есть оптимальный вариант межзвездной связи.

Планету Орби сотрясали аплодисменты.

…Была теплая благоуханная ночь. Струились фонтаны Версаля, Красавица подняла томный взгляд.

— Зачем эта звездочка мигает там, в небе?

Кавалер тряхнул напудренными локонами парика и изысканной любезностью проворковал:

— Это ангелы любви подмигивают нам, моя дорогая, Красавица была довольна ответом.

…Была ночь, наполненная ревом моторов. Тихонько стонали стекла. Докладчик вытер пот.

— Резюмирую: природа вспышек пульсирующих звезд объясняется взаимодействием гравигенных квази–флюктуаций с пульсацией квантов по закону убывания релеевской поляризации сингулярного пространства.

Докладчик сошел с кафедры. Аудитория вежливо похлопала — она была довольна объяснением. Вопрос “зачем?” перед ней не вставал — всем давно было известно, что его бессмысленно задавать природе.

Но звезды не слышали ни первого, ни второго объяснения. Они мигали: каждая по своей программе. Теперь их было много — пульсирующих маяков Вселенной. Потому что любая цивилизация, достигнув определенного уровня развития, неизбежно находила оптимальный вариант межзвездной сигнализации. И никого уже эта особенность неба не удивляла.

ПРЕИМУЩЕСТВО ШИРОТЫ

День в газете похож на шахматную партию, каждый раз новую. Трудно лишь заранее угадать, кто будет очередным партнером — желчный изобретатель вечного двигателя, светило мировой науки или юноша–агроном. Потому состояние мгновенной готовности стало для Андрея Сегдина привычным. Можно разбудить научного журналиста среди ночи; он — если он настоящий журналист! — сразу поймет объяснение конструкции свеклоуборочного комбайна, выкажет знакомство с проблемами генетических болезней и поделится с вами последними новостями астрофизики. Таким профессионалом и был Сегдин. Любой специалист знал свою область в сто раз лучше Андрея, но ни один из них не имел представления и о половине того, что знал Андрей о всей науке.

В то утро, не успел Андрей сесть за стол, как зазвонил телефон. Шахматная партия

началась, кто‑то делал первый ход. Андрей снял трубку, его лицо приняло озабоченное выражение.

— Да, да, спасибо. Конечно, буду! А что, причина по–прежнему неизвестна? Нет? Вот ситуация…

Повесив трубку, Андрей сгреб утренние газеты, чтобы прочесть их в машине. Сообщения не радовали. “Новый шквал землетрясений!”, “Земля пробудилась!”, “Где произойдет следующий взрыв?” — черные заголовки о черных вестях.

Теперь перед совещанием оставалось мобилизовать память, чтобы в немногие минуты спокойствия, дарованные поездкой, успеть расставить по порядку все до последней мелочи.

Месяц назад, двадцать седьмого июня, жители маленького приволжского городка были сбиты с ног (кто сидел — сброшены со стульев) сильным толчком. Он длился секунду. Всего на секунду ожила Земля, колыхнула здания и наполнила воздух треском лопнувших стекол. Урон был незначительным. Но какая буря поднялась среди сейсмологов! Весь опыт геофизики, выходит, ничего не стоил, если сильное землетрясение случилось там, где его не должно было быть, — на Среднерусской равнине. Впрочем, наука не любит необъяснимых явлений. Тотчас вспомнили, как двести миллионов лет назад тектонически спокойный участок Среднерусской платформы стал ломаться в судорогах рождения гор, которые ныне известны под названием Донецкого кряжа и отнюдь уже не производят впечатления гор. Не началось ли и в Приволжье нечто подобное?

Гипотеза была хоть куда, но через день ее вдребезги разбил новый толчок. На этот раз дрогнули полесские сосны. Их вершины несколько минут раскачивались в ослепительной синеве летнего неба, и весь мир ошеломленно следил за ритмичными взмахами пушистых веток. Объяснений было выдвинуто несколько; высказаны они были весьма неуверенным голосом.

Далее неожиданности следовали одна за другой. Земля вздрагивала то там, то здесь, и никто не знал, что и где случится завтра. Потом необъяснимые землетрясения стали наблюдаться в Северной Америке и на юге Канады. А затем и в Западной Европе. Закончилось все это не далее как позавчера, в субботу, грандиозным и страшным фейерверком. В пустынном Лабрадоре взлетели на воздух миллиарды кубометров земли, ослепительный столб газов поднялся в небо. Вертолеты срочно доставили на место происшествия геологов, и микрофоны радиорепортеров разнесли по всему свету их озадаченное “Гм!”. В Лабрадоре возникла типичная “трубка взрыва”, одна из тех, в которых добывают алмазы.

Но об алмазах, понятно, никто уже не думал. Если до сих пор неожиданная активность планеты пугала лишь своей таинственностью, то теперь…, Где произойдет следующий взрыв? Вообще что происходит с планетой? С нерушимой твердью, к спокойствию которой так привык человек? Сегдину достаточно было кинуть взгляд на улицу, чтобы убедиться: это беспокоит не только его. Но услышит ли он что‑то новое на совещании, куда его любезно пригласили?

***

Зал был велик, импозантен и полон народа. С лепного потолка улыбались купидоны. Хлопали откидные, обшитые черным дерматином стулья. В простенках высились мраморные бюсты великих ученых. Сегдина всегда удивляло чудовищное несоответствие между обстановкой и действием. Жеманный стиль екатерининской эпохи, казенная мебель недавнего прошлого и дерзкие идеи, прокладывающие дорогу в двадцать первый век, — одно плохо сочеталось с другим. Но ведь сочеталось!

Здесь Сегдину доводилось переживать неприятные минуты. Понимать одно слово из трех, произносимых с трибуны, — что может быть унизительней для журналиста! Он сидел, мучился, обзывал себя тупицей, пытаясь сквозь дебри терминов и абстракций пробиться к смыслу. Иногда это удавалось, иногда нет, но раз от разу в нем крепла убежденность, что сам смысл — даже в очень сложных вещах — прост и доступен каждому. Иначе и не могло быть, ибо наука — прежде всего логика. Логика и еще раз логика, а уже потом все остальное.

Может быть, вывод не отличался безукоризненностью, но он устраивал Сегдина. Окончательно избавиться от “комплекса неполноценности” ему помог случай.

Однажды он поборол смущение и спросил о чем‑то соседа, который сидел с сосредоточенным видом, шевеля губами, словно повторяя услышанное.

— Не знаю, — почти огрызнулся тот. — Абракадабра какая‑то.

— Вы тоже не физик? — обрадовался Сегдин.

— Я? Нет, я физик.

— Физик? Но ведь разговор идет о…

— Знаю. Я оптик. Физик–оптик. Сигма поля — не моя специальность. Я пришел ради следующего доклада.

“Ну, если физик не понимает физика, мне‑то уже стыдиться нечего!” — подумал Сегдин.

На этот раз, едва началось обсуждение, его наметанный глаз подметил резкую неоднородность зала. Меньшая часть, чувствовалось, великолепно разбирается в проблеме, волнуется, спорит, изнемогает под бременем тяжелой ответственности. В поведении других ощущалась неловкость. Они походили на людей, которые сами не умеют плавать, но тем не менее волей судеб оказались в команде, которая должна спасти тонущего. Среди последних Сегдин узнал знакомых ему ядерщиков, астрофизиков, химиков и понял, в чем дело. На всякий случай сюда пригласили и тех, кто по роду своих замятий не имел ни малейшего касательства ни к тектонике, ни вообще к земным глубинам. Мраморный лик Ломоносова, последнего из всеохватывающих умов, равнодушно глядел на своих последователей, так далеко ушедших друг от друга в исканиях, что докладчикам, если они хотели быть понятыми, приходилось сейчас излагать свои мысли популярно, на языке, которым Сегдин говорил о науке со своими читателями.

Ход наблюдений Сегдина был прерван репликой с места. Председатель обратился к ученому в первом ряду с вопросом “Не имеет ли тут место.,”; тот энергично ответил “нет!”. Он явно был в числе “сторонних” специалистов.

Сегдин потер лоб. Лицо ученого, сказавшего “нет!”, возбудило в нем какие‑то сложные ассоциации, чем далее, тем более туманные и фантастические. Он силился понять невнятный голос подсказки. Где, когда, в какой связи мелькнули перед ним раньше этот резкий, как у птицы, профиль, усталые глаза и трогательный дымок седин на макушке?

— Скажите, — обернулся он к соседу, — это не…

— Да, это Лев Сергеевич Пастухов.

— Элементарщик?

— Он самый.

Судьба сделала ход конем, Сегдин захлопнул блокнот. На заседании ничего нового не скажут; ничья. Что ж, время начинать новую партию. Впрочем, даже первый ход Сегдину пока рисовался смутно. Но он был полон желания добиться своего.

Когда все встали, он протиснулся к Пастухову. Тот раздраженно говорил юноше в очках:

— День испорчен. И попусту испорчен. Ну, чем мы можем тут быть полезными? Чем?

— Здравствуйте, Лев Сергеевич, — сказал Сегдин. — Ваш день не будет испорчен. Возможно, он принесет пользу миллионам людей.

— Что вы имеете в виду? — с удивлением уставился на него Пастухов.

Это‑то и было нужно Сегдину. В такой ситуации главное — заинтересовать собеседника первой фразой.

— Я имею в виду читателей. Нас засыпали письмами с просьбой рассказать о ваших опытах.

То была ложь, святая ложь, как считал Сегдин.

— Их сейчас, — упирая на слово “сейчас”, сказал Пастухов, — интересуют опыты именно нашего института?

— Да.

— Немыслимо! Нет, нет, опыты лишь начаты, говорить о результатах пока рано.

— Но вы же дали месяц назад интервью “Спутнику” о создании установки…

— Тем более.

“Так, так, — подумал Сегдин. — Моему королю грозит мат”.

— Сегодняшний день у вас все равно испорчен, — решительно сказал он, всем видом давая понять, что не отстанет. Сегдин не был нахалом, ненавидел нахальство, но другого выхода не оставалось. Пастухов в глубине души был мягким человеком и должен был сдаться. Этому могло также способствовать чувство подсознательной вины перед обществом, которому Пастухов, как показало заседание, не мог помочь своими знаниями.

И Пастухов действительно сдался. Час спустя они уже входили в вестибюль института.

Пастухов вел Сегдина бетонным коридором, который спускался все ниже и ниже, кольцами змей опоясывая нечто, спрятанное в глубине его спиралей. Сначала в узких окнах–бойницах мелькал дневной свет, потом он исчез, фотоэлементы беззвучно распахивали массивные двери, и тишина заколдованного подземелья охватывала Сегдина. Он был в сказочном замке и ожидал встречи с закованным в бетон джинном и не удивился грозовому ветерку, вдруг повеявшему навстречу. Ему нужен был этот настрой, хоть он и не знал почему. Что грозовое дыхание было просто дуновением озона, возникающего в ходе эксперимента, — это объяснение могло подождать.

Теперь коридор напоминал траншею, со стен которой смотрели стеклянные глаза перископов. За ними была темнота, густая темнота, мрачная темнота. Пастухов щёлкнул выключателем, темнота осветилась, и Сегдин увидел своего джинна. Он походил на хобот, холодно блестевший металлом хобот, который неожиданно заканчивался острым клювом. Тот был нацелен на прозрачный шар, в котором ничего не было. Совершенно ничего, одна лишь пустота. В удалении золотом сказочного богатства сияли медные шины; гибкие шарниры, поддерживающие “хобот”, придавали ему сходство с животным, которое, конечно, никогда не водилось на земле, но которого Сегдин ожидал встретить.

— Это и есть Излучатель, — сказал Пастухов.

Чары развеялись. Теперь это были просто установка, просто шины, готовые отдать черт его знает сколько миллионов вольт напряжения, просто объект эксперимента — высящийся на постаменте шар, в котором была совершеннейшая пустота, соперничающая с межгалактическим вакуумом.

— Мы пронизываем вакуум игольчатым пучком ро–ме–зо–нов, — сказал Пастухов. — Для вас вакуум просто пустота, а для физиков это…

— Можете не объяснять, — заметил Сегдин. — Для вас, согласно теории Дирака, вакуум — море частиц с отрицательной энергией. А какова мощность пучка мезонов, его направленность, свойства? И что получается в опытах?

Пастухов пустился в объяснения, увлекаясь все более и более. С какого‑то момента Сегдин начисто перестал понимать детали. Но он внимательно следил за главным — для него главным — и начал уже кое‑что осмысливать.

— Значит, — прервал он объяснения, — те мезонные ливни, которые образуются в атмосфере под действием первичных космических частиц, по сравнению с вашим излучением не более чем колыхание ветерка против порыва урагана?

— У вас необычный способ сопоставления величин. Но в принципе вы правы.

— Это моя форма мышления. У нее есть свои недостатки, но и свои достоинства. Так как вы ставите опыты?

Пастухов отвел его в комнату, отделенную от Излучателя ломаными изгибами коридора, стенами из баритового бетона и свинца. В комнате, там, где полагается быть окну, белел огромный экран телевизора. Перед ним находился пульт. Физик снял со стены фотографию. Сегдин узнал прозрачный шар с запертым в нем вакуумом. Шар в разных направлениях пересекали иглы сиреневых вспышек. Они висели в шаре, не касаясь его стенок.

— Свечение в вакууме? — поднял брови Сегдин.

— Представьте себе, да. Мезонный луч сам запечатлевает свой путь.

— Интересно.

— Однако не ново. Куда важней другое: те частицы, которые он выбивает из вакуума. Они…

— Минуточку. Меня сейчас интересует иное. Вы что, луч направляете с разных сторон? Зачем?

Пастухова несколько обидело то невнимание, которое гость проявил к самому главному, ради чего они работали не покладая рук. “Впрочем, это отличительная черта всех журналистов, — успокоил он себя. — Им подавай внешние эффекты”. И он скрыл обиду.

— Нас интересуют также пространственные свойства вакуума. Однородны ли эти свойства по. всем направлениям или нет.

— Изотропность или анизотропность вакуума. Понятно. Скажите, а шар как‑нибудь ориентирован относительно силовых линий магнитного поля Земли?

“Ну, ну, — не без удивления подумал Пастухов. — Он дает мне понять, что с ним можно говорить более профессионально, хотя мыслит он отнюдь не как физик. Берегись, дорогой, заблудишься, если я не буду расчищать тебе дорогу. И что за странная манера спрашивать?”

— Конечно, шар ориентирован относительно полюсов. Вот отметки на снимке. Кажется, они плохо видны?

Отметки были видны отлично. Сегдин не обратил, однако, внимания на ехидство вопроса. Его ферзь в это время опрокидывал пешечную оборону противника.

Сзади послышался шум, в комнату вошли трое молодых парней, очень симпатичных на вид, державшихся, однако, несколько самоуверенно, — черта, увы, нередко присущая тем, чьему таланту сопутствует удача.

— Лев Сергеевич, — обратился один из них к Пастухову, почтительно, но как равный к равному, — подготовка закончена, время продолжить эксперимент.

— Да, разумеется.

Пастухов подумал, что следовало бы увести журналиста. А впрочем, пусть остается. Видимо, он всерьез заинтересовался: как он впился в таблицу экспериментов!

— Включайте.

Включенный экран телевизора теперь во всем уподобился окну, открытому в зал с Излучателем.

— Даю координаты АГ-90/ТБ-90! — выкрикнул один из молодых физиков.

Излучатель пришел в движение, электронно–счетная машина нацелила его клюв точно в направлении сверху–вниз. Это направление мезонный луч еще ни разу не пронизывал.

Непонятным было то, что Сегдин все еще не мог оторваться от таблицы, хотя он, казалось бы, должен был теперь прильнуть к экрану телевизора. Он обернулся в последний миг, когда Пастухов уже потянулся к пусковой кнопке.

— Постойте, один вопрос. За рубежом тоже есть такие установки?

— Да! — Пастухов совсем уже перестал понимать странного журналиста. — В Америке и Англии. Но они не такие совершенные и вступили в строй позднее.

— Все ясно, — сказал Сегдин, вежливо отстраняя руку Пастухова от пусковой кнопки. — Я попросил бы отложить эксперимент.

Его, конечно, не поняли. И в первую минуту даже не возмутились.

— Позвольте! — смысл сказанного дошел, наконец, до Пастухова. — Какое вы имеете право…

— Никакого. Но джинн может вырваться, И мне не хочется быть погребенным тут вместе с вами.

Физики вновь онемели от чудовищной наглости того, кто должен был почтительно внимать каждому их слову.

— Это уже переходит все границы, — пробормотал Пастухов, явно теряясь. Остальные пододвинулись к шефу. На их лицах была написана готовность выбросить вон этого

сумасшедшего, едва Пастухов даст знак.

— Что ж, пора объясниться, — сказал Сегдин. — У меня есть основания думать, что вы — да, вы! — можете прекратить эту свистопляску землетрясений.

— Каких землетрясений?! — не сразу поняли физики.

— Видите ли, они случаются тогда и только тогда, когда работает ваш Излучатель. Минута в минуту. И в тех местах, где ваш луч пересекает в мантии слой Д. А теперь Излучатель направлен отвесно и…

Под изучающим взглядом физика Андрей почувствовал то, что, верно, мог бы почувствовать положенный под микроскоп вирус, обладай он способностью чувствовать.

— Ага! — сообразил что‑то Пастухов. — Вы всерьез думаете…

— Всерьез. Или вы хотите сказать, что предварительно рассчитывали влияние мезонного луча на вещество земных глубин?

— Нет, конечно! Зажигая спичку, вы же не думаете о самочувствии соседа по квартире! Мезоны быстро поглощаются веществом и…

— Не те масштабы. Даже космические мезоны регистрируются на километровой глубине. А у вас…

— Так, так, подождите…

Все замолчали. По следу, который медленно и неуверенно прокладывал Сегдин, теперь мчалась мощная мысль ученых. Сегдину оставалось смиренно посторониться и ждать. Или ему пожмут с благодарностью руку, или он услышит уничтожающий смех.

Прошло несколько минут. Затем Пастухов повернулся к Сегдину и посмотрел на него с уважением.

— Бросьте прикидываться простачком. Кто вы?

— Когда‑то я был исследователем в вашем смысле этого слова. Просто я сменил поле деятельности. Пастухов удовлетворенно кивнул.

— Так я и думал. Что ж, ваша гипотеза правдоподобна. Мезонный луч может пройти сквозь земную кору. Он может вступить во взаимодействие с электронными оболочками атомов, взаимодействие, которым мы пренебрегаем в расчетах, ибо не оно нас интересует. А поскольку электронные оболочки атомов в глубинах Земли деформированы, то… Нет, это крайне любопытно! Какие перспективы для укрощения землетрясений! Мезонным пучком мы потихоньку дробим копящуюся энергию и… Надо немедленно проверить вашу гипотезу!

“Об укрощении землетрясений я не подумал, — сознался в душе Сегдин. — Ладно, каждому свое”. Вслух он сказал:

— Разумеется, надо проверить.

Они сели за расчеты. Физики посторонились за столом, чтобы дать место Сегдину. Самый щеголеватый из них — тот, кто пару минут назад засучивал рукава халата, готовясь на всякий случай к принятию решительных мер, — предупредительно смахнул ворох перфолент. Все они деликатно делали вид, что не замечают беспомощности, с которой тот листал страницы справочника, нафаршированные премудростями математики. Сегдин был благодарен им за это больше, чем если бы они наговорили ему кучу похвал.,

— Что ж, — задумчиво сказал Пастухов, машинально глядя на часы, — теперь поставим решающий опыт. Выбрали подходящую пустыню, под которой луч пересечет слой мантии Д?

— Готово.

— Включайте.

И Сегдин увидел на экране, как “клюв” описал вокруг шара полудугу, как в шаре брызнула бледно–сиреневая молния. Не было ни треска, ни грохота; если они и были в камере, то бетон заглушил все. Сегдин понял, что еще обманывало физиков. Тишина. Когда стоит тишина, в которой слышно дыхание, психологически трудно представить, что где‑то в сотнях километров отсюда тишина оборачивается ударом подземной бури.

— Ну… — только и сказал Пастухов. Он снял телефонную трубку. От волнения у него даже выступили капли пота на переносице.

— Сейсмостанция? Все спокойно? Что, новое землетрясение? Где? Когда? Так это же великолепно! Нет, нет, я еще не сошел с ума!

Он бросил трубку.

— Поздравляю. Но мне вот что непонятно, дорогой…

Пастухов смутился, ибо не мог припомнить ни фамилии, ни имени человека, к которому обращался.

— Сегдин. Андрей Ефимович Сегдин.

— Так вот, дорогой Андрей Ефимович. Может быть, вы объясните мне одну вещь. Все, что знали вы о землетрясениях, знал и я. Но в ядерной физике вы мальчишка! Как же получилось, что вы, а не я…

— Потому что для вас жизнь в том, что вы делаете. Как и для меня. Но есть и разница. Для вас в науке ярче всего горит ваша лампа. Для меня все лампы горят одинаково. В этом есть свои минусы, но и свои плюсы. И я выиграл сегодняшнюю партию.

— Какую партию? Впрочем, неважно. Еще один вопрос. Я все же не могу представить, как вам удалось связать одно с другим.

— О, не приписывайте мне гениальной прозорливости. Там, на совещании, я всего лишь подумал: почему землетрясения ни разу не случались в воскресенье?

ОБЫКНОВЕННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Наверху были перелески, топкие мочажины, серые домики деревень, в пасмурные дни похожие на усталых наседок. А внизу под двухкилометровым слоем песчаников, сланцев, известняков лежали черные озера, никогда не видевшие света.

Уже сотни миллионов лет в эту теплую от подземного жара, насыщенную углекислотой, сероводородом, углекислым аммонием воду не проникал с поверхности ни единый атом кислорода, не просачивалась ни одна капля дождя. Спокойствие, чуждое поверхности спокойствие, простерло крылья над смоляной поверхностью озер, переплетением тоннелей, куполами пещер. Иногда водную гладь колыхали подземные толчки; как легкое дыхание, ее шевелило лунное притяжение; лучи радиации, идущие из кристаллических недр, где распадались радиоактивные минералы, неустанно пронизывали толщу озер. Но это были движения отнюдь не губительные, наоборот, необходимые для того, чтобы нить развития без обрывов прялась все дальше и дальше.

И все шло так, как оно должно было идти по непреложным законам природы. Сначала радиация связала часть углекислоты, сероводорода и аммония в аминокислоты. Потом возник белок, и началось великое таинство зарождения жизни… Природа, благо вновь создались подходящие условия, слепо повторила эволюцию, однажды уже свершившуюся на земле миллиарды лет назад почти в таких же минеральных, теплых, спокойных лагунах.

Самые первые, крохотные, беспомощные, но уже живые существа звездочками эволюции вспыхнули в черной воде озер, когда на поверхности появились шумные люди в ковбойках и высоких сапогах. Скрежещущее долото бура пронзило толщу пород, и ахнули, пошли кругами волн тихие воды вечной ночи. Вместе с буром в подземелье хлынул ручей промывочной жидкости, и там совершилась незримая и быстрая катастрофа: вода, которая пришла с поверхности и которая несла кислород, химические реагенты, убила первых, еще не окрепших существ эволюции. И когда насосы выбросили на поверхность струю минеральной воды, уже ничто не говорило о ней, как о недавней колыбели живого.

Встряхнув пробирку, аналитик поморщился.

— Отличная минеральная вода. Но загрязнена органикой.

— Придется ставить фильтр очистки, — возразили ему.

— Но это на полкопейки удорожит стоимость воды.

— Ну и что? Москва хочет пить, а эта вода под боком. Кстати, как мы ее назовем?

— Как обычно: “Московская минеральная”. Какой у нас там номер по порядку? Ага, так и напишем на этикетках: “Московская минеральная № 3”.

…В жаркий летний день, когда каблучки женщин пятнают асфальт дырочками, к ларьку протиснулся пожилой, обливающийся потом мужчина.

— Стакан боржома, — сказал он, протягивая гривенник.

— Боржома нет, — через плечо бросила продавщица.

— Тогда ессентуки.

— Тоже нет. Есть “Московская минеральная № 3”.

Человек перед этим много часов просидел за письменным столом, пытаясь обобщить все известные науке факты и найти ускользающую догадку происхождения жизни на Земле, то, как возникли и как выглядели самые первые организмы. Он был настолько поглощен этим, что химический состав минеральной воды, отпечатанный на этикетке и точь–в-точь отвечающий составу первичных морей, воспринял как должное. Как проекцию на окружающее одной из страниц своей рукописи.

— Черт знает что! Ладно, налейте стаканчик московской.

— Вам с сиропом или без?

— Конечно, с сиропом! И похолодней!

Продавщица вынула из холодильника запотевшую бутылку. Ученый с жадностью припал губами к ледяному стакану, шипящему пузырьками углекислоты, крякнул, вытер со лба пот и пошел по длинной, бесконечно длинной раскаленной улице к себе домой мучиться над тайной зарождения жизни.

ХУДОЖНИК

Наконец ему повезло: после долгого кружения над болотами он заметил нетронутую излучину реки. Птерокар, трепеща крыльями, как бабочка, опустился на поляну с густой травой. От сильного тока воздуха колыхнулось лиловое пламя кипреев. С ветки сосны в паническом ужасе сорвалась какая‑то пичуга. “Уить… ить… ить”, — ее икающий голосок потерялся в шуме леса.

Еще не веря себе, Глеб обошел мыс. Светлый пунктир болотных оконцев очерчивал мыс с тыла. В речных бочагах гуляла рыба. Ни траурного пепелища костров, ни следа босых ног на ослепительном прибрежном песке. Приметы весеннего половодья — мочала сухой травы — сигнальными флажками покачивались в кустарнике. Глеб издал вопль дикаря — туристы проглядели этот оазис! Желание исполнилось: он был там, где ему хотелось быть.

Пошли дни, наполненные суетным шорохом трав, невозмутимым движением облаков, горячим светом солнца. Первое время сонно и упоительно кружилась голова. Глеб испытывал чувство, будто у него медленно раскрываются глаза.

Он прекрасно понимал, что его попытка — анахронизм. Может быть, прихоть. Рисовать нетронутую природу, которой уже почти не осталось, — зачем? Был Шишкин, был Левитан, было множество других художников, для которых все это не было экзотикой, — что после них может сказать он?

Замысел созревал долго и трудно — так дерево сначала глубоко пускает корни, прежде чем раскинуть густую крону. Они, его предшественники, смотрели на природу другими глазами. Для них вот такая излучина реки была самой незыблемостью. Он же знал, что она лишь краткий миг уходящего. В этом было его преимущество: он смотрел на природу — ту, что когда‑то владела всей землей, — глазами стороннего человека. Он был жителем страны ракет и умных механизмов: он знал пейзажи Марса, Луны, Венеры. И он был гостем, которому все внове там, где художники прошлого были хозяевами. Гостем жилища, которое подлежало сносу и которое заслуживало последнего “прости”.

Но для гостя вещи хозяина не более чем диковинки или безликие предметы, которые не выдают случайному взгляду свое кровное родство с человеком. Эту трудность Глеб ощутил сразу.

Подобно космическому кораблю, который, чтобы верней достичь цепи, испытующе узит круги над чужой планетой, Глеб, чувствуя неподатливость среды, подбирался к картине

годами, с каждой поездкой приближаясь к сердцу темы.

Понять уходящее душой хозяина, не расставаясь со свежестью взгляда пытливого прохожего, — как это было трудно! Прежде всего оказалось проблемой найти нетронутые уголки среднерусской природы. Заповедники не оправдали надежд. В них все как будто дышало подлинностью, но в первый же день Глеб наткнулся на овраг, аккуратно — чтобы ливни больше не ранили землю — перегороженный бетонными стенками. И он уже не смог работать. Ему, словно ныряльщику, приходилось отталкивать весь привычный образ жизни, преодолевать упругость привычек, чтобы достичь дна, где девственно пахнет луговым разнотравьем, Одно неверное движение выталкивала его обратно.

А находить места, где ничто не выдавало присутствия человека, который всюду и везде даже мимолетом перестраивает все по–своему, становилось труднее и труднее. Он уезжал на лето, а когда возвращался, на земле было уже теснее от тех сорока миллионов, которые успевали родиться за время его отсутствия. И этот прирост был как половодье, который затапливал островок за островком,

Художник не сдавался — искал, находил, смотрел, думал. Но не брался за краски. Стрелок нажимает на спуск не тогда, когда он видит яблочко мишени, мушку и прорезь прицела на одной линии, а когда он чувствует, что выстрел будет верным. Так и Глеб ждал подсказки изнутри: “готово”.

Этим летом он услышал подсказку.

Незаметно для себя теперь он старался делать все — ходить, купаться; собирать хворост для костра — как можно тише, словно опасаясь спугнуть что‑то. По той же причине он ни разу не включил мегафон, ибо с щелчком тумблера сюда бы вошел мир громких звуков, напряженного ритма дел, от которого словно исходил ток высокого напряжения. Там, в его мире, имели цену и значение триллионные доли секунд — за этот срок включались двигатели звездолетов, вспыхивали термоядерные реакции. Здесь же часы стояли. Они показывали одно и то же: геологическую эпоху, в которой возник человек.

Однажды утром Глеб пришел в ужас: под кустом он обнаружил кибера. В щупальцах кибера были зажаты хворостинки.

— Кыш, — шепотом сказал Глеб. — Я тебя не звал.

— Ты пришел сюда, я обязан тебе помочь.

Нудный голос кибера прошелся по тишине, как гвоздь по стеклу.

— Убирайся…

— Я дежурный кибер, я обязан помогать туристам. Я приберу ветки, чтобы ты не спотыкался, уничтожу змей, буду варить тебе пищу…

— Ты немедленно уйдешь. Это приказ.

Кибер в сомнении зашевелил щупальцами — человек, с его точки зрения, вел себя странно. Но приказ был отдан, и механизм покорно убрался. Опять стало тихо, но еще долго в ушах Глеба звучал скрежет стекла, терзаемого гвоздем.

“Если что и позволит мне закончить работу, так это время, — успокаивал себя художник. — Нетронутых уголков на мою жизнь хватит. Будет время найти упущенное, наверстать потерянное, исправить поврежденное. Как хорошо, когда можно не торопиться”.

Он не ошибся. Он делал эскиз за эскизом с быстротой, удивлявшей его самого. И он уже различал всю картину: образу оставалось лишь созреть.

Глеб вставал с восходом солнца, когда над рекой и болотами плыл туман; пил пахнущий дымом чай и садился работать. Он писал в полдень, когда от зноя сереет трава; вечером, когда тени густеют и свет золотит зелень; утром он наблюдал, как просыпается цвет — синий уже глядит ярко, а красный и темный едва тлеют, как угли под пеплом.

Весь день он слышал тихий звон — неумолкающую песнь комаров. Звон даже помогал ему, давая бессознательную настройку. Но вечерами Глеб порой скрежетал зубами от ярости: издевательское пение кровососов мешало уснуть, ибо оно предшествовало и сопровождало атаку крылатых жал. Конечно, Глеб мог бы слетать за риттером и тогда бы ничто не мешало ему, но жалко было терять день, окунаться в шум города, в котором надолго бы

растворились голоса леса. И потом было бы ложью принять лишь отрадные черты природы, закрыв глаза на те дурные, с которыми человеку постоянно приходилось бороться. Поэтому он безропотно мирился и с промозглой слякотью затяжных дождей и с тоскливым одиночеством — всем тем неприятным, от чего туристы поспешно ограждались грохотом мегафона и услугами киберов.

Все же ему не до конца удавалось отделаться от незримого присутствия эпохи. Ночью, когда в реке загорались мохнатые отражения звезд и у ног словно развертывался план Вселенной, небесную карту прочерчивали хвостатые следы кораблей, идущих к другим планетам. Это, впрочем, не мешало художнику. Наоборот, ночное небо с его яркими знамениями времени не позволяло ему забыть о том, что он — живописец современности, провожающий закат дикой природы, как провожают некогда близкого, но потом забытого человека. Небо было мостиком между прошлым и настоящим.

Правда, его вид будил тоску. Глеб уже мог понять психологию предков, чья жизнь протекала в окружении лесов и болот. Но принять этот образ жизни было выше его сил. Кто сжился с вихрем больших дел, разнообразием цивилизации, кто побывал в просторах космоса — того уже не прельстит неторопливое бытие среди трав и закатов. Такой человек поклоняется иным богам сердца.

Наступил день, когда небо с утра стало высоким и серым. Как всегда, в такую погоду хмурилась вода, и не было ветра. Все застыло в предчувствии перемен. Глеб ценил такие дни — медленно меняется освещение, глазу не надо гнаться за быстрыми переходами цвета, можно работать неторопливо, обдумывая каждый штрих.

Он писал увлеченно и отрешенно. Но вскоре что‑то стало мешать. Цвет зелени становился глуше, на него наползала какая‑то тень, хотя все вокруг оставалось прежним. Это раздражало Глеба, потому что никак не удавалось понять причину перемен. И он еще больше сосредоточивался, ибо только через это приходит понимание.

Холодная капля упала на руку, Глеб вздрогнул. Влажная зелень капли кричала о своей химической природе. “Как меня угораздило брызнуть хеокраской…” — подумал Глеб, недоуменно разглядывая пятно. Но тут по кустам пронесся шелест, и уже несколько капель упало на руки, лицо, одежду. И все они были кричаще–зелеными. Глеб вскочил.

Хлынул ливень. Зеленый дождь. Ядовитые струи дождя били сверху, сбоку, словно заработал исполинский душ. Химическая окраска растекалась по листьям, впитывалась землей, наполняла собой воздух, для нее не было преград, не существовало укрытий. Скоро поверх настоящей зелени всюду лежала искусственная, как лак.

Глеб стоял ошеломленный и непонимающий. С него лило. Его цепкая зрительная память навечно запечатлела картину победы химии над зеленью природы, над гаммами нежных оттенков и полутонов. То была сама фальшь, торжествующая, все обволакивающая фальшь цвета, рожденная слепым взглядом в чреве какой‑то реторты.

Художник кинулся к палатке: должно же быть этому надругательству объяснение! Его век хорош тем, что в нем не существует секретов и можно услышать ответ на любой вопрос. Он нажал кнопку мегафона.

— Что происходит?.. (Он назвал координаты речки.)

Несколько секунд аппарат тихонько гудел, — где‑то за тысячи километров мозг информации искал среди бездн событий дня объяснения крохотному происшествию в долине ничего не значащей речки.

Наконец Глеб услышал равнодушный голос, перекрывающий шум ливня.

— Производится санитарная обработка участков размножения вредных насекомых. Обработка осуществляется посредством дождевого полива препаратом.., (последовало трехэтажное название).

— Почему, почему дождь зеленый?! — закричал Глеб.

— Препарат не удалось получить бесцветным, — последовал бесстрастный ответ. — Тогда ему был придан маскирующий цвет зелени, чтобы не мешать эстетическому восприятию природы во время дезинфекции. Препарат и маскирующая окраска совершенно

безвредны.

Глеб отбросил мегафон. Слепцы! “Эстетическому восприятию”! Для них всякая зелень — зелень.

Он огляделся. Дождь утихал, брызнуло солнце. Вокруг все засверкало однотонным блеском. Мертвый лак стер улыбку светотени, сравнял оттенки, все стало одинаковым и потому безобразным.

То был конец. Пусть этот глянец исчезнет к вечеру, все равно. Он опоздал со своим замыслом. Теперь ему не удастся избавиться от увиденного, его всюду будет преследовать бездушный лик искусственной зелени. Всюду и, может быть, всегда.

Глеб торопливо собрался. Здесь ему больше делать нечего. Он сложил пожитки в птерокар. Последний раз обернулся. Деревья, трава, кусты зеленели ярко и одинаково.

И еще чего‑то не хватало. Глеб не сразу понял чего. Да, умолк комариный звон. Совсем. Полчища мучителей уже никому не причинят беспокойства.

Глеб завел птерокар.

НА ПЫЛЬНОЙ ТРОПИНКЕ

Красная узкая птичка вертится
Во все стороны — видим ли мы ее?
Ю. Олеша

Сначала послышался топот, близящийся, тяжеловесный, глухой: “бух, бух, бух!” — словно молотом о землю. Фиолетовые кусты колыхнулись за поворотом, и на тропинке возникли сириллы. Увидев человека, замерли. Их тотчас окутало густое облако пыли. Воздух наполнился свистящим дыханием бронированных легких.

Архипов взялся за пистолет. Он не испугался, но удивился безмерно. Такого в жизни не бывает, такое — внезапный топот, беспричинное появление чудовищ — слишком похоже на киновыдумку.

Мгновение они стояли друг против друга — человек в скафандре и животные. Потом — три квадратные морды опущены вниз, три пары глаз неистово горят зеленым — сириллы понеслись, как камень из пращи. Прямо по тропинке, прямо на человека, Архипов пожал плечами. Ослепительный удар молнии пришелся по первому животному. Струя плазмы снесла ему череп.

Уцелевшие круто и стремительно развернулись. Опять колыхнулись кусты за поворотом, и тропинка опустела. Только клубящаяся пыль напоминала об атаке.

У Архипова неожиданно ослабли колени: до сознания, наконец, дошло, что все это было всерьез. “Вот так штука! Будет о чем рассказать ребятам…”

Он был уверен, что его рассказ вызовет живейший интерес. Когда‑то пункт “О поведении при встрече с опасными животными” стоял в инструкции по технике безопасности одним из первых. Но вскоре его убрали в самый конец. За ненадобностью. Ведь даже самый примитивный ум животного легко соображал, что нет решительно никакого смысла первым ввязываться в драку с невиданным существом, от которого неизвестно чего ожидать. Спокойней найти привычную добычу.

И Архипову не сразу удалось восстановить в памяти злополучный пункт о встрече с хищниками. Ага, вроде бы так: “По возможности избегать приближения… В случае нападения обороняться быстро и решительно…” Дальше мелкий шрифт примечания. Ну, все в порядке: на него напали, он оборонялся, правило соблюдено.

Он подошел ближе к поверженному и растерзанному животному. В беге оно казалось более крупным. Пыль толстым слоем осела на панцире, маскируя истинный цвет сирилла. Теперь Архипов никак не мог понять, почему он счел животное свирепым. Просто громоздкая туша костей, мускулов, нервов, из которых он вынул жизнь. Что‑то похожее на сожаление шевельнулось в душе. Полно, а хищник ли это?

“Хищник, конечно, хищник, он же нападал”, — поспешил успокоить себя Архипов. Но

прежней уверенности не было. Только сейчас он почувствовал, насколько ему чужд и незнаком животный мир планеты. Все время на вертолете, все время на вездеходе, почти никогда пешком. Мчится машина, вдали шевельнулось смутное пятно, исчезло, унесенное скоростью, — понятно, какой‑то зверь. Вот и все знакомство. Какой зверь? Да не все ли равно! Своих дел по горло.

Размышления прервал шорох. Кусты опять шевельнулись, их наполняло скрытое движение. Архипов в недоумении завертел головой. Но кибер, топчущийся у ног, как собака, не дал сигнала тревоги. Так, какая‑то мелочь пробирается по кустам… Тайная, неуловимая жизнь что‑то ищет, чем‑то шуршит, куда‑то бежит под пологом девственного леса.

Архипов перевел дыхание, снял руку с пистолета. Неожиданно пришла мысль, которая его поразила. Вот только сейчас, несколько минут назад, он впервые столкнулся лицом к лицу с диким животным! Неужели впервые? Да, черт возьми… И самое смешное, что зверей этой планеты он все‑таки знает лучше, чем земных. Некогда, в далеком детстве, его, кажется, водили в зоопарк. Воспоминания, конечно, стерлись. А потом, потом? Он силился припомнить. Все не то, не то… Это он видел в кино, и это тоже. Вспомнил! Они затормозили тогда машину, мчащуюся по разливу асфальтовой реки со скоростью двухсот километров в час, и дружно захохотали, дивясь диковинным прыжкам какого‑то зверька. Кажется, зверек назывался зайцем. Он так забавно бежал! Хорошо, что у кого‑то из их компании было такое острое зрение, иначе они проморгали бы эту встречу. Сколько было потом восторгов! Увидеть животное на воле, не каждый мог этим похвастаться… Впрочем, на Земле, причесанной техникой, и этот заяц скорее всего был на учете. Так что и его трудно было назвать диким.

Ладно, ничего удивительного. Он космонавт. Долгие годы странствий при свете немигающих звезд, естественно, отдалили его от Земли. По крайней мере от ее диких обитателей. Пустое. “Мы дети улиц, мы горожане…” — так, кажется, пелось в какой‑то старинной песенке. А он еще и космонавт.

Архипов тронул тушу носком ботинка. На ней отпечатался пыльный след. Нет, что и говорить, экзотическое приключение! Можно понять людей, которые когда‑то назывались охотниками.

И тут кибер предупреждающе заворчал. Его антенна, анализирующая запахи, быстро вращалась. Архипов прислушался. Движение кругом, тайное движение. Но ни одна ветка не шелохнется. Зверье, похоже, умеет прятаться. А вдруг кто‑то прыгнет из зарослей? Пальнуть, что ли, туда? Фу, он совсем разнервничался, если приходят такие мысли. Нет, прогулки по здешнему лесу не для него. Не привык. Надо поскорей вернуться к машине.

Но вернуться он не успел. Вновь раздался топот, тревожный, нарастающий, глухой топот. И снова колыхнулись кусты за поворотом, и в облаках пыли, как и в тот раз, появились сириллы. Но теперь они не остановились даже на мгновение. Они неслись так, будто впереди не было человека, — грохочущей, все сметающей лавиной.

Архипова это почти испугало. Но раздумывать было некогда. Завесу пыли пропорол луч пистолета. Крайнее животное перекувырнулось через голову и разлетелось, взорванное. Однако, что уже было совсем непонятно, а потому страшно, выстрел не остановил нападения. Сириллы в мгновение ока смяли возникшую преграду из останков собрата, и Архипов увидел их морды совсем близко от себя. Увидел бронированные тараны, полные неукротимого напора и бешеной силы, тараны, нацеленные по геометрической прямой, которая проходила через его тело.

Вновь и вновь сверкал луч, уверенный, разящий, но торопливый. Грохот, треск, от поднятой пыли потемнело вокруг.

И внезапно все стихло, ибо все было кончено. Раздавленная, искромсанная лавина замерла у ног человека. Архипов не сразу понял, что за странные цветы усеяли его скафандр. Потом сообразил: брызги крови.

Он дрожал весь с головы до ног и не мог унять дрожи. Он сделал шаг и пошатнулся.

Нет, хватит, прочь, прочь от этого ужасного места!

Но не тут‑то было! Кусты на повороте уже не колыхнулись: они пали, как занавес, поваленные новой лавиной сирилл. Архипов в исступлении полоснул лучом поперек тропинки. Первый ряд повалился, но трепещущий завал почти не задержал животных. Архипов бил лучом налево, направо, наотмашь рубил им, словно огненным мечом. Перед ним громоздились груды, и он все бил и бил, бил по живому и по мертвому; а сириллы, и, кажется, уже не только сириллы, все мчались, и это было кошмаром. Словно сама природа вдруг двинулась на пришельца–человека, чтобы смять, уничтожить его.

И еще несколько минут Архипов палил лучом, хотя бить было уже некого — звериный поток иссяк. Когда человек сообразил это, он вынужден был присесть в изнеможении. Раскаленный пистолет жег ладонь даже сквозь перчатку. Одежда была мокра от пота.

Но треск в кустах опять заставил его вскочить. Да что же это такое?.. Он озирался, переполненный самыми дикими догадками. Треск шел неизвестно откуда и не походил на прежний. В нем была угроза и победная сила, как в скрежете челюстей, перемалывающих добычу. Напрасно, однако, Архипов силился разглядеть причину треска. Пыль. Она висела над полем битвы густым дымным пологом.

Сквозь пыль с трудом пробивался рыжий свет дня, огненными бликами падая на тропинку. Их шевеление чем‑то остановило внимание Архипова. В них была странная краснота. И подвижность.

“Что это значит? Все это. Животные, треск, блики… Хоть бы минуту передышки, чтобы сообразить…”

Дымный полог колыхнулся перед ним, видимо, от порыва ветра. Полынья света расширилась и тронула дальний куст. И куст внезапно охватило пламя! Архипов вскрикнул: куст пылал с оглушительным треском.

И тут Архипов понял все… Сразу, окончательно. Понял и замычал, словно от боли. На него, на сирилл, на все живое шли огонь и дым. Шел треск лесного пожара, от которого должны были спасаться все — и люди и звери. Пожар, только пожар гнал сирилл по тропинке напрямую, слепо, безоглядно, по кратчайшей и удобнейшей дороге, на которой вздумалось оказаться человеку, настолько далекому от жизни леса, что он ничего не понял, не посторонился, не побежал бок о бок с животными, а бездумно рубил своим сверкающим мечом, как будто в эту минуту ему могла грозить опасность большая, чем сгореть заживо.

Как ни страшно было это открытие, Архипова прежде всего охватил стыд, горький и едкий стыд. Устроить такую бойню! Кромсать на куски тех, кто искал спасения и указывал ему путь к спасению!

Архипов последний раз бросил взгляд на печальный памятник своему высокомерию — груду мертвых тел, к которым уже подбирался огонь. И побежал, отшвырнув тяжелый пистолет. Побежал стремглав по прямой, кратчайшей дороге, не глядя по сторонам, не рассуждая, готовый грудью снести любые препятствия. Побежал так, как перед этим бежали сириллы.

ЧАРА

На Марсе для человека нет запахов. Может быть, ветер Марса горек и щемящ, травы пахнут нежным солнцем и после гроз там дышится необыкновенно. Этого мы не знаем и скорей всего никогда не узнаем. Для нас везде и всюду Марс пахнет резиной и металлом, процеженным воздухом заплечных баллонов.

Вот как сейчас.

Я иду дном узкой каменистой ложбины, в руке у меня геологический молоток. Синеватые в отливе пластинки сланца хрустят под ногами. Звук как будто приглушен ватой. Первые дни пребывания в глухой разреженности Марса хотелось трясти головой, чтобы из ушей выскочила несуществующая вата. Теперь я свыкся, иду, не замечая странностей. Солнце палит нещадно, над откосами курится зной, но внимание мое поглощено другим.

Впереди меня идет Таня. Ее тень танцует на искрошенных глыбах, на поблескивающих слюдой осколках сланца, — так легки и непринужденны движения девушки. Она тоненькая, стройная; баллоны на спине сидят ловко и словно ничего не весят. Глядя на нее, я слепну от нежности. Я уже ничего не вижу, кроме потемневшей на лопатках кофточки, упругих в ходьбе ног, прыгающей на бедре сумки, рук, несильно сжатых в кулачки.

У поворота она останавливается, машет мне. Я подхожу.

— Дайка.

Ее палец указывает на ровную жилу серого камня, косо секущую напластования сланцев.

— Сиенитовая дайка, — соглашаюсь я.

Она кивает. Ее плечо рядом с моим.

Словно поглощенный делом, я смотрю на дайку, но украдкой я весь в боковом зрении и вижу я не изломы камня, а бисеринки пота над ее бровью, оспенную метку на смуглом плече, успокаивающееся дыхание груди. Даже тупое рыльце маски не портит Таню. Мне немножко совестно рассматривать ее вот так, что‑то есть в этом воровское. И стыдно, что я забываю о своем долге исследователя.

Кое‑как я заставляю себя сосредоточиться. Я отбиваю образцы, замеряю угол падения жилы, определяю минеральный состав, диктую записи в наручный магнитофон. Таня помогает мне, все это делается быстро, профессионально, но мгновения, когда я передаю Тане образцы и наши пальцы соприкасаются, почти невыносимы. Нельзя сжать ее пальцы, но и убежать от них тоже нельзя, и надо, чтобы голос не дрогнул и чтобы мои пальцы, касаясь, ничего не сказали ее пальцам, а хочется, чтобы они сказали ей все. И мне кажется, что это противоестественно, — здесь, в настороженном молчании Марса, думать о девушке, о своей любви к ней.

А ей? В поведении Тани нет и намека на догадку о моих чувствах. Оно непосредственно, бесхитростно, и я не могу понять, действительно ли она ничего не замечает или замечает все, но скрывает из ей одной ведомых побуждений. Это тоже как стена. Раз она так хочет, значит ей так лучше, и неосторожное движение может огорчить ее. А огорчить я боюсь не меньше, чем узнать о ее равнодушии ко мне.

Описание дайки закончено. Не было произнесено ни одного слова, не сделано ни одного жеста, которые могли бы нарушить дружески–деловой тон наших отношений. Все осталось как было, и мы отправляемся дальше. Когда‑то еще мы снова окажемся вдвоем на сотни километров окрест?

Теперь я иду впереди. Так легче, но ненамного. Теперь она глядит мне в затылок, и я все время хочу обернуться.

Склоны становятся положе, понемногу наши головы начинают возвышаться над бровкой, и нас со всех сторон обступает каменистая равнина. Она черна от лавовых полей, стелющихся к горизонту, и редкие жилы кварца на ней как брызги исполинской малярной кисти. Плиты лав дышат сухим жаром. Сланцы кончились, под ногами песок, он вьется извилистой лентой в неглубоком русле. Русле пересохшего ручья, сказал бы я на Земле, но здесь ручьи сказочная редкость. Вообще, следовало бы поразмыслить, откуда взялась ложбина, которой мы шли. Попросту я обязан это сделать. Я и пытаюсь.

Неожиданное видение, близящееся с каждым шагом, изумляет меня. Это невероятно, но это так: впереди озеро.

— Вода… — говорю я растерянно.

Таня подходит ко мне, и у нее, когда она идет, лицо ребенка, осчастливленного подарком. Мы долго и потрясенно молчим.

Крохотное озерко с мелкой, прозрачной, чуть зеленоватой водой окаймлено полоской белого искрящегося ила. Редкими иглами его прокалывает острая карминно–красная трава. И над всем этим — невозмутимое фиолетовое небо. И тишина вокруг, как во сне, и мы слышим дыхание друг друга.

Осторожно, боясь вспугнуть тишину, мы подходим ближе, на плотном иле

отпечатываются наши шаги, мы сами не замечаем, как беремся за руки.

На желтом дне лежит прозрачная тень узорчатых водорослей.

Таня, потупясь, опускает взгляд.

— Можно… Можно, Таня искупается?

Носком ботинка она ковыряет ил, в ее голосе смирение, но я знаю, что не смогу ей запретить, хотя запретить обязан. Все же я делаю усилие.

— Но ты же знаешь, что нельзя…

Она вскидывает голову, так что разлетаются волосы, ее подбородок упрямо задран, и теперь она вся — вызов.

Но голос ласковый–ласковый.

— Ну миленький, ну разреши, я буду осторожной…

Она смотрит на меня так, что все инструкции летят к черту. Мне и самому хочется их туда отправить. Это озеро — наше. Оно и награда и праздник, и мы не роботы в конце концов. Да и Марс почти обжит, на нем уже нет призраков неведения.

— Хорошо, — бурчу я, отводя взгляд. — Только со всеми предосторожностями…

Она уже не слышит. Я придерживаю баллоны, пока она раздевается, достаю из рюкзака капроновую веревку, прилаживаю петлю, Таня смеется и показывает мне язык. Она знает, конечно, знает, что может делать со мной что угодно!

Она осторожно идет к воде. Ее босые пятки оттискивают крохотные ямки, загорелые ноги кажутся в сверкании белоснежного ила почти черными. Кончиками пальцев она трогает воду и входит в нее, пробуя дно.

Дно держит прочно, это и я вижу. Миг — и меня ослепляет фонтан брызг, смеющееся лицо девушки. Я глупо улыбаюсь: кто бы мог подумать, что таким безумием закончится наш сегодняшний маршрут! Нельзя было посылать на Марс девушек. Но ведь когда‑то они все равно должны были появиться! Появиться и принести сюда это волнующее, дерзкое веселье, этот смех, опрокидывающий все суровое, регламентированное, чуждое Земле и людям. Я люблю ее за это, я без нее не могу больше, ни здесь, на Марсе, ни там, на Земле, — не могу без ее непосредственности, без ее улыбки, преображающей все.

Она плавает, хоть колени и скребут по дну, она вся — наслаждение, я же нелепой статуей стою на берегу, держу веревку и чувствую, как тяготит меня пропыленная, пропотевшая одежда, как хочется мне ее скинуть.

Наконец Таня вылезает. Капли, сверкая, бегут по ее телу и темными пятнами осыпают ил. Она пытается развязать веревку, я спешу помочь и наклоняюсь над затянувшимся узлом.

— Запутал ты меня…

Что это? Голос ее слегка дрожит. Я вскидываю голову, вижу ее глаза, ничего, кроме глаз, и Марс вдруг начинает кружиться подо мной.

И сразу — как удар: взгляд Тани суживается, прыгает в сторону, на лице страх. Я стремительно оборачиваюсь и тоже застываю.

Близко–близко от нас я вижу прижавшееся к траве тело зверя, злобный просверк его глаз, напружившиеся лапы с кривыми грязными когтями.

Я понимаю, что он сейчас кинется на нас, знаю, что этот хищник — чара — уже нападал на человека, знаю, что его прыжок молниеносен, знаю это и не могу пошевельнуться.

— Чара! — крик глухо отдается в моих ушах. — Чара!

Я не узнаю голоса Тани. В каком‑то столбняке я вижу ее протянутую к зверю руку, ее подавшееся вперед тело, она что‑то говорит требовательно и мягко, не разберу что, но в тоне ее слов незнакомая мне сила и власть, льющаяся на этот напряженный комок мускулов, на эту взведенную злобой мину. Прыжка все нет.

Оцепенение отпускает. Краем глаза следя за чарой, я тянусь к пистолету, освобождаю его из кобуры, кладу палец на спасительный курок… И тут на мою руку из‑за спины решительно ложится Танина ладонь.

Она запрещает мне стрелять. С отчетливостью почти зрительной я успеваю осознать,

что выстрел — последняя крайность, что промах почти обеспечен, что даже раненый зверь смертельно опасен. В то же бесконечно растянутое мгновение инстинкт, требующий от меня немедленного действия, успевает бурно возмутиться. Еще я успеваю заметить, что Танина рука, протянутая к чаре, не дрожит, но почему‑то белеет от кисти к предплечью. И я вижу, как чара, будто завороженная, тушит блеск глаз, как по ее мускулам проходит волна, как растерянно дергается кончик ее хвоста, как опускается книзу ее плоская треугольная морда…

Чара с фырканьем вскакивает, трусит вдоль берега, садится и, недоуменно поглядывая на нас, принимается лакать воду. Ее язычок ходит быстро, как у кошки. Потом чара поворачивается и степенно убегает. Танина рука бессильно падает.

Секунды перестают быть вечностью. В Танином лице ни кровинки, мне приходится обхватить ее, чтобы она не упала. Но она тотчас выпрямляется. Ее подбородок дергается, глаза сияют, она выпаливает с гордостью:

— А все‑таки послушалась! А все‑таки это кошка, кошка, марсианская кошка!

“Да, — мелькает и проносится мысль — теперь понятно, кто приручил когда‑то земных зверей…”

ВО ВСЕХ ВСЕЛЕННЫХ

Справа склон был ослепляюще–белым, слева непроницаемо черным. Они ехали дном ущелья по самой границе света и мрака, жары и холода, но разницы между крайностями не ощущали. Свет был безжалостно неподвижен, и темнота тоже; жесткая нагота камня была там и здесь; одинаково мрачное небо катилось над вездеходом, повторяя изгибы ущелья. Даже камни стучали под гусеницами не так, как на Земле, — резче, грубей. Проводником звука был металл, только металл; и отсутствие воздуха лишало его привычных обертонов.

И сами люди находились в футлярах–скафандрах, да и скафандры тоже были вложены в футляр — коробку вездехода. Уже пять часов в скафандре, где воздух вроде бы воздух, но какой‑то процеженный, химический, безвкусно–неприятный. А снаружи — мрак и пламень, оцепеневший костер безжизненной материи. Ни одной земной краски!

Голова в шлеме уже казалась чужой. Тело устало от неподвижности одних мышц и от тупой борьбы с тряской других. Все: и мысли, и чувства, и плоть — жаждало отдыха. И прежде всего отдыха от, Луны. Энергией их могла наполнить одна–единственная зеленая былинка. Но увидеть ее можно было лишь во сне.

— Ну, теперь близко, — сказал Преображенский, облизывая губы.

Он сидел за рулем, непоколебимый как скала, и даже скафандр на его плечах был не округлым, а угловатым.

“Близко…” — повторил про себя Крамер.

Близко было и час назад. Просто им хотелось, чтобы было близко. Ради этого они и поехали напрямую, благо геологи вольны выбирать себе маршрут.

При слове “близко” Романов оживился и восторженным тенорком заговорил о петрографическом составе мелькавших по сторонам пород. Он заговорил об этом не потому, что его взволновало какое‑то новое соображение, и не затем, чтобы помочь другим скоротать время. Как всякий новичок, он боялся не проявить должного, по его мнению, энтузиазма, боялся, что его заподозрят в равнодушии к лунной геологии. Они все были энтузиасты, только об этом не было принято говорить вслух, как не принято говорить вслух о любви, а принято было ругать Луну, благо в такие минуты, как сейчас, они искренне ненавидели ее. Но Романову это было еще невдомек.

— Помолчи! — вырвалось у Преображенского. Романов осекся.

— Да, — сказал Крамер, пытаясь сгладить неловкость. — Не так это просто — Луна.

Он замолчал. Нигде они так не ощущали бессилие слов, как здесь. Самые простые слова приобретали тут иное, чем на Земле, эмоциональное содержание. Лунная темнота была

не той темнотой, что когда‑то дала человечеству это понятие. И свет. И многое другое тоже. Вот почему они не любили рассказывать о Луне. Их описания Луны оставались ложью, как бы тщательно они ни подбирали слова. Правильно их воспринять мог лишь тот, кто сам побывал на Луне. А ему не надо было рассказывать.

Крамер ограничился тем, что похлопал Романова по плечу. Тот растерянно–благодарно улыбнулся за стеклом шлема.

Любили ли они Луну? Да, на Земле они не могли без нее жить. Ненавидели? Да, когда оставались с ней один на один.

Ущелье, петляя, шло под уклон, и ЭТО они увидели вдруг, обогнув очередной выступ.

Они воскликнули разом.

Вездеход дернулся и застыл на тормозах.

Все здесь было как в других котловинах: огненные клинья света на склоне, кромсающие их провалы теней, колючие осыпи камня и то беззвучие лунного мира, которое нестерпимо хочется нарушить криком.

Что здесь было не так — это скала. Ее шапкой–невидимкой накрывала тень, и все равно в ней светился вход. Он был озарен изнутри: так глухой ночью озаряется окно дома.

Молча все трое вылезли из вездехода. С каждым шагом неправдоподобное становилось неправдоподобней. Наконец они очутились перед входом, и всем захотелось протереть глаза.

Не было никакого порога. Угловатые лунные камни сразу, без всякого перехода сменялись окатанными голышами. И за этим переходом начинался другой мир.

В нем было небо, затканное перистыми облаками, было озеро в кольце скал и был лес. Солнце угадывалось за облаками, янтарное солнце в желтом небе. Его рассеянные лучи несли покой и мир. Палевый отсвет лежал на воде, настоящей воде, ласково зовущей искупаться в тепле и тишине.

Меж озером и деревьями, чьи длинные оранжевые листья росли прямо из стволов, пролегала полоска песка, тонкого и шелковистого, — такой песок хочется бесконечно пересыпать из ладони в ладонь.

Позади леса нависали скалы, задумчивые, как древние философы.

Но было в этом озере, в этом небе, в этих скалах нечто большее, чем мудрое спокойствие. Была в них та красота, которая успокаивает и возвышает. Одно прикосновение к ней смывало накипь, все нечистое, всю усталость.

Они чувствовали себя словно в струящемся прозрачном потоке — все трое. Они были там, на янтарном берегу, там они вели неторопливый разговор со скалами, там им кивали листья деревьев, там они пересыпали меж пальцами тонкий песок, там они были счастливы.

Они стояли, забыв о времени..

У Крамера — настолько было велико очарование — даже не возникало желания войти.

— Там инопланетники! — разбудил его хриплый голос Преображенского. — Они, их база!

Очарование спало. Крамер увидел, как Преображенский порывисто шагнул вперед, чтобы ступить на берег озера, и как пустота вдруг отразила этот шаг.

Преображенский закачался, едва не потеряв равновесия.

Сзади быстро подошел Романов и деловито пошарил перед собой. Ничто, казалось, не ограждало вход, и тем не менее протянутые руки уперлись в невидимую стену.

Желанный мир пришельцев был недостижим.

Так и должно было быть по законам логики, они это поняли и подавили разочарование.

— Спокойно, — сказал Преображенский. — Приступим к делу.

Они стояли плечом к плечу у входа, и каждый слышал шумное дыхание другого. Открытие навалилось на их плечи, как тяжелый груз. Все, они уже не могли смотреть на озеро прежним радостно–безмятежным взглядом — это было печально и неизбежно. Сколь бы прекрасное ни было прекрасным, оно подлежало теперь исследованию и холодному анализу.

Они вычислили площадь входа, замерили радиоактивность скалы и преграды,

определили силу отраженного озером света, привычно проделав все, что проделать было необходимо. Но что‑то протестовало в них против этих действий: тем злее и сосредоточенней они работали.

Тем временем ничто не менялось за преградой. Все так же призывно мерцала вода, все так же мягко струился свет, все так же нежился берег.

Они провели киносъемку.

— Надо оценить прочность преграды, — сказал Преображенский.

Романов поспешно сбегал в вездеход, притащил буровое сверло, упер рукоять себе в грудь и включил мотор.

Сверкающее жало уткнулось в пустоту, вращаясь и подрагивая.

Словно паутинка повисла на кончике сверла.

Остолбенев, Крамер смотрел, как от вибрирующего острия бегут, пересекаясь, невесомые нити.

— Стой!!! — не своим голосом закричал Преображенский.

Но Романов уже и сам отшвырнул сверло, точно оно обожгло ему руки.

Поздно.

Трескалась не преграда. Множась, разломы охватывали озеро, скалы, лес, небо. Мир распадался, как алмаз под ударом молота. Он крошился, тускнел, гас…

И погас совсем. Прощально вспыхнув, исчезло последнее облачко.

Людям в глаза смотрела тьма.

Когда они, ошеломленные, ничего не понимающие, дрожащей рукой включили фонарики, то увидели голую плоскость камня там, где только что было озеро.

Они растерянно и тщетно, в отчаянной надежде шарили по ее поверхности. Камень всюду был гладкий, точно отполированный. Под пальцами засохшими лепестками осыпалась черная эмаль, кое–где еще покрывавшая скалу.

Они брали эту эмаль с тем чувством, с каким на пожарище берут горсть пепла.

Она была необходима для анализов.

И когда было сделано все, что надо, исполнен весь ритуал погребальных исследований, Преображенский отошел в сторонку, сел на плоскую глыбу и закрыл лицо руками.

— Я полагаю, что у пришельцев это было чем‑то вроде телевизора… — неуверенно проговорил Романов. — Кто же знал…

Плечи Преображенского вздрогнули.

Крамер поднял лицо к небу. Там в угольной черноте сияла вечная арка Млечного Пути.

— Нет, — сказал он глухо, с какой‑то непоколебимой уверенностью. — Нет. Это была не база. И не телевизор. Тот мир был слишком прекрасен, техника не могла создать его таким… — Он запнулся. — Таким человечным.

Крамер помолчал, глядя в небо и не видя его. Никто не перебил его.

— Мы убедили себя, что величие любой цивилизации воплощается прежде всего в технике, — проговорил он быстро. — Почему? Пришельцы тоже не роботы. Здесь, на привале, вдали от дома, им были ведомы те же чувства, и они мимоходом создали то, чего им не хватало: образ родной природы. Друзья, это была картина.

Преображенский встал, задумчиво посмотрел на глыбу, словно она еще хранила тепло тех загадочных существ, что побывали здесь до них.

— Собирайтесь! — сказал он, резко повернувшись.

Потом он тронул Крамера за плечо.

— Твоя гипотеза, конечно, правомочна. Но она уязвима с позиций логики.

Крамер кивнул.

— Да, разумеется. И все‑таки в миллионах лет отсюда, на других планетах и в других галактиках, в царстве любой сверхтехники художник останется художником, под влиянием минуты рисующим где попало, чем попало и на чем попало. Иначе он не может, вот вся логика.

ЗАПРЕТ

По мере того как Стигс осторожно развивал свою мысль, лицо декана хмурилось все более и более.

— Левоспиральные фотоны! — перебил он наконец Стигса. — Да, да, я понял: вы собираетесь искать лево–спиральные фотоны. Почему бы вам заодно не поискать принцип вечного двигателя? Или координаты райских врат? Вы что, книги Гордона не читали?

— Я читал Гордона, — стараясь сохранить спокойствие, проговорил Стигс. — Опыты были поставлены восемнадцать лет назад, когда не был известен "эффект Борисова". Теоретически есть надежда…

— Теоретически! — декан уже не скрывал раздражения. — А деньги на эксперимент я должен давать практически. Два миллиона!

— Миллион. Два миллиона стоили опыты Гордона. "Эффект Борисова" позволяет…

— Это я слышал. Вы как будто забываете, кто такой Гордон. Или вы полагаете, что "эффект Борисова" ему неизвестен? Гордон велик не только тем, что создал единую теорию поля. Известно ли вам, что он ни разу не ошибался в своих выводах и предсказаниях? Известно ли вам, наконец, что опыты Гордона по левоспиральным фотонам повторяли, пробуя все мыслимые варианты, Фыоа, Шеррингтон, Бродецкий — лучшие экспериментаторы мира! И ни–че–го! Левоспиральные потоки света — это миф, теплород, философский камень, мираж…

Декану было под шестьдесят, резкие морщины, как ни странно, молодили его, а не старили, костюм на нем был преотличный, но все это не имело ни малейшего значения. Кем бы ни был человек, сидящий в этом кресле, как бы он ни одевался, главным было то, что он распоряжался ассигнованиями, управлял многосотенным коллективом, был администратором и в этом качестве не мог поощрять авантюры, стоящие денег. И даже просто сомнительное не могло рассчитывать на его благосклонность. Но Стигс не терял надежды. Он предпочел бы не иметь с деканом дела, но и великому Гордону приходилось в свое время уламывать таких же вот людей. Интересно, стал бы Гордон великим, если бы ему это не удалось?

— По–моему, все ясно, Стигс, — жестко заключил декан и пододвинул к себе папку с бумагами, давая понять, что аудиенция закончена.

— Но вы не посмотрели отзыв Ван–Мерля! — воскликнул Стигс.

— Ван–Мерля? Да у меня завтра же будет десять отзывов виднейших профессоров, и в каждом будет сказано то же, что я вам сказал! Идите, Стигс, занимайтесь делом.

Стигс встал и почувствовал, что у него дрожат руки.

— Еще одно только слово…

Декан поднял голову.

— Пожалуйста, только без громких фраз о величии проблемы, необходимости риска и тому подобного оперения.

— Нет, я не об этом. Что, если… что, если сам Гордон скажет: "Опыты ставить надо"?

— Са–ам?

Декан удивленно откинулся на спинку кресла. Постучал кончиками ногтей друг о друга. Изучающе посмотрел на Стигса.

— Думаете переубедить Гордона? М–да… Примет ли он еще вас…

— Примет, — Стигсу показалось, что он ступил на тонкий лед.

— Ну, если Гордон… Тогда посмотрим.

"…Какое счастье, что Гордон еще не умер! — подумал Стигс, подходя к загородному коттеджу великого физика. — Если бы он умер, спорить пришлось бы не с ним, а с его авторитетом. А авторитет не берет своих слов назад".

Стигс подбадривал самого себя. Вчера после разговора с деканом он десять раз поднимал трубку и десять раз клал ее обратно, прежде чем набрал номер Гордона. Вопреки всем ожиданиям, тот согласился сразу. Сразу! Вот что значит настоящий ученый. Болен,

стар, замкнут — и сразу же отзывается на мольбу о помощи! Именно так скорей всего прозвучало его объяснение по телефону, которое Гордон выслушал молча и на которое минуту спустя — Стигс чуть не умер — коротко ответил: “Жду вас завтра в девять”.

Завтра! В девять! Ждет! Он, живая легенда, ждет его, Стигса, рядового из рядовых! Ночь Стигс провел тревожно, обдумывая каждое слово, каждую интонацию, переходя от отчаяния к уверенности, что все будет хорошо.

И вот теперь, у самых ворот, протянув руку к кнопке звонка, он с ужасом ощутил, что его голова пуста. Он забыл все, что хотел сказать, он не может связать двух слов, он не может двинуться с места!

Уф! Стигс опустил руку. Спокойно, спокойно… Ведь кто такой Гордон? Гений, равный Эйнштейну, но не папа же римский, не бог — ученый, человек… У него болят почки, он любит сажать розы, он безукоризненно честен и, говорят, добр.

Стигс даже не заметил, что жмет кнопку изо всех сил. Он не помнил, как распахнулись ворота, как кто‑то провел его в комнаты, что‑то на ходу ему втолковывая, как он снял плащ, как переступил порог…

— Здравствуйте. Садитесь.

Гордон полулежал на диване, и все равно Стигсу показалось, что тот возвышается над ним. Возвышается его голова, величественная, как купол собора, возвышаются его плечи, а грива седых волос — та и вовсе плывет облаком в недоступной вышине. И взгляд как будто издали, от мерцающих льдов великих мыслей, взгляд, видящий сокровенные тайны природы и туманные просторы вечности. Он сам уже принадлежал вечности, бронзе истории, этот светлый, отрешенный взгляд.

Гордон шевельнулся и поправил плед, которым были прикрыты колени.

— Рассказывайте.

Стигс заговорил, не слыша собственного голоса. Минуты через три Гордон прервал его слабым движением руки.

— Понятно. Это не ваша ли статья была два года назад в “Анналах физики”?

— Моя… — У Стигса пересохло в горле.

— Вы красиво решили проблему флюктирования гравитонов. Почему вы не продолжили работы в этой области?

— Потому что… Потому что я увидел оттуда мостик к левоспиральным фотонам…

— И это вас увлекло? Вы ни о чем другом не можете думать?

— Да… То есть… Не сами фотоны, а то, что за этим стоит…

— Что же за этим стоит?

Стигс ошеломленно посмотрел на Гордона. Проверяет? Смеется? Играет как кошка с мышью?

— Движение против хода времени, — выдавил он.

— А еще?

Стигс окончательно растерялся. Еще? Что “еще”? Какое “еще” он, великий, видит там, в своей вечности? Какие тайны открыты его уму, какие сокровенные свойства природы он прозревает за этим словом? Какие?!

Гордон едва слышно вздохнул.

— Хорошо. Как по–вашему, в чем цель науки?

Нет, Гордон не смеялся. Он менее всего был склонен смеяться — Стигс это понял. Взгляд Гордона был обращен к нему, он требовал и вопрошал — мягко, настойчиво, сурово.

— Цель науки в познании… в отыскании истины.

— Какой истины?

— Какой… что? Всеобщей истины! Природа…

— Оставим природу в покое. Расскажите лучше о себе. Все, с самого начала.

Гордон прикрыл глаза.

Стигс, ничего не понимая, повиновался. Но что он мог рассказать о себе? Как он пришел в науку, чем была для него наука? Об этом не расскажешь. Отец — пьяница,

бесконечные ссоры в семье, вот тогда Стигс и нашел спасение в книгах. В книгах о науке прежде всего. Они уводили его в чистый мир познания, где окрыленная волнением душа скользила над светлыми полями истины, где каждый шаг возносил человека к величественным скрижалям мироздания, начертанным среди звезд. Там, равные божеству, брали мальчика за руку, вели к сияющей мудрости Ньютон и Лобачевский, Дарвин и Эйнштейн, Снегов и… Гордон. Мальчика, который затыкал уши, чтобы не слышать визгливых криков матери, пьяной ругани отца, мальчика, который чувствовал себя грязным с головы до ног. Как он учился! С каким трепетом он приступил к своему первому самостоятельному исследованию! “Спинарный момент у вырожденных гравитонов”. Он думал об этих гравитонах нежно, как о любимой девушке. Он мечтал узнать о них все, чего бы это ему ни стоило. Были дни, когда он шел по улицам, не видя их, а когда прохожие случайно задевали его, то грубое прикосновение внешнего мира уже не раздражало — оно не могло затронуть его реальности. Где‑то в ином пространстве существовали будни, существовал футбол, кино, низменные разговоры, деньги, грубость, зависть — все то беспросветное, что окружало его в детстве… Теперь он, пусть еще неумело, парил над всем этим так высоко, как когда‑то мечтал парить. Но разве слова могут выразить его чувства?

И непонятно было, слушает ли его Гордон, думает о чем‑то своем или дремлет.

Стигс умолк. Гордон открыл глаза.

— Должен разочаровать вас, друг мой. Левоспиральные фотоны — это иллюзия…

“Он говорит как декан!” — побледнел Стигс.

— …Не все теоретически возможное осуществляется в природе. Манящий огонек, болотный дух — вот что такое лево–спиральный фотон, К сожалению, такие огоньки всегда горят по обочинам науки. Я сам погнался за ним и потерял пять лет — каких лет! И Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий тоже. Не хватит ли жертв? Вы молоды, судя по вашим статьям, талантливы, не теряйте времени зря. Вот мой совет.

— Но “эффект Борисова”… Вы стучались в парадный вход, а там голая стена… Может быть, с черного входа…

— Ни с черного, ни с парадного нельзя проникнуть в то, чего нет. Едва Борисов открыл свой эффект, я тотчас пересмотрел все выводы. Ошибки нет. Ваш путь нереален.

— Но почему? Почему? Где я ошибся? В чем? Покажите! Это было почти кощунством — требовать объяснения у

Гордона, дряхлого восьмидесятилетнего Гордона. Требовать после того, как он твердо дал понять, что его слова — истина. Но нет, сейчас в этой комнате, где возникла единая теория поля, это не было святотатством. Оба они — и Стигс и Гордон — подчинялись одному закону, который был выше их, и этот закон обязывал Гордона представить доказательства. Он не мог его нарушить, иначе бы наука превратилась в религию, а он — в первосвященника.

— Что ж…

Стопка бумаги лежала на столике перед Гордоном. Он взял чистый лист, бережно разгладил, узловатые, плохо гнущиеся пальцы зажали ручку, и из‑под пера суровыми шеренгами двинулись математические символы.

Это был приговор. Запрет очерчивался неумолимо, частокол знаков был крепче надолб, выше железобетонных стен. Гордон спокойно перегораживал мечте путь, и просвет делался все уже, уже… Холодея, Стигс следил за неотвратимой поступью строк, за уверенным бегом пера, за жестокой логикой доказательств. Вот сейчас перо клюнет бумагу в последний раз…

Перо чуть запнулось, дрогнуло, помедлило…

— Дальше и так, надеюсь, ясно, — устало проговорил Гордон, отстраняя бумагу.

Он зябко потер руки и спрятал их под плед.

Стигсу показалось, что он сошел с ума! Приговор был написан, на нем стояла подпись и печать, но в доказательствах была брешь! Крошечная, почти неразличимая… С молниеносностью, его самого поразившей, Стигс разом охватил всю цепь доводов, мысль

Гордона стала его мыслью, он додумал ее и…

Не может быть! В это невозможно поверить! Брешь не закрывалась. Ее нельзя было закрыть.

Стигс поднял глаза и едва не закричал. Перед ним был другой Гордон. Сгорбленный, немощный, с запавшим ртом, коричневыми пятнами старости на дряблых щеках. Он уже не возвышался, тусклые волосы не парили облаком — Стигс увидел его таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его рисовало воображение. И Стигс чуть не разрыдался.

— Догадались все‑таки… — прошелестел голос Гордона, и голова старика опустилась еще ниже. — У вас хватило смелости не поверить, и вот… Да, ваш путь тоже реален. Реален, потому что левоспиральные фотоны существуют. Я это обнаружил восемнадцать лет назад…

Стигс был безмолвен. В нем рушился мир. Падали звезды, обваливалось небо, умирали боги. Умирал он сам.

Рука Гордона узкой сморщенной ящерицей выскользнула из‑под пледа и коснулась его плеча.

— Соберитесь с духом… Я спросил вас — помните? — что стоит за свойствами левоспирального фотона. Вы не ответили. Вы не думали над этим. Отвечу я. В чем цель науки?

— В чем? — эхом ответил Стигс.

— В счастье человечества. Если наука не будет делать людей счастливей, то зачем она? Знания — это оружие, и если ученому безразлично, куда оно повернуто, то чем он отличается от солдата–наемника? Вы и над этим не думали, Стигс. Вы хотите найти левоспиральные фотоны — частицы, которые движутся к нам из будущего. Вы их откроете, как в свое время открыл я. А дальше? Дальше практика. Люди научатся видеть будущее. И управлять им, поскольку естественный ход событий, если знать, каков он, корректируем. Счастливей ли станет человечество? Оглянитесь вокруг, Стигс. Банкир пойдет на все ради сохранения своих капиталов, диктатор — ради сохранения своей диктатуры, карьерист — ради сохранения кресла. Тьма людей заинтересована в сохранении сегодняшнего порядка. Будущее им враждебно, ибо они догадываются, чем оно им грозит… Они и сейчас пытаются его предотвратить — вслепую. Этим людям вы дарите власть над будущим. Они уничтожат его, Стигс.

Помолчите, вы еще не все поняли… Утверждают, что Роджер Бэкон, открыв порох, засекретил свое открытие от всех, ибо предвидел, чем оно обернется. Благородный, но бесполезный жест. Полвека назад физики добровольно ввели самоцензуру, чтобы информация о их работах по расщеплению ядра не попала к нацистам. Поступив так, они тут же отдали свои знания Америке. Кончилось это Хиросимой. Но даже если бы они заперли свои лаборатории, то нашлись бы другие, которые все равно сделали бы бомбу. Не обязательно из чувства патриотизма, вполне достаточно чистой любознательности. Обдумав уроки прошлого, я решил поступить иначе, когда открыл левоспиральный фотон. Я объявил его несуществующим. Я сказал мировой науке, что искать его бессмысленно. Доказательством были результаты экспериментов — фальсифицированные результаты. И мой авторитет. Я положил его, как колоду поперек тропинки. О, я не обольщался! Я знал, что когда‑нибудь где‑нибудь появится такой юнец, как вы, которого не устрашит мой запрет. Но мне важно было выиграть время. К счастью, опыты по обнаружению левоспирального фотона требуют денег. И немалых… Оттянуть открытие во что бы то ни стало! Ведь еще полвека… нет, меньше! — и в мире разительно все переменится. Тогда люди станут заглядывать в будущее лишь затем, чтобы предвидеть стихийные бедствия, лечить болезни до их возникновения. В это я верю. Я нарушил законы науки. Но не добра! И не вам меня судить.

— Я не сужу… — с трудом, точно ему не хватало воздуха, выговорил Стигс. — Но как же Фьюа, Шеррингтон, Бродецкий?! — вдруг закричал он.

Гордон вскинул голову.

— Покойный Фьюа, покойный Шеррингтон, покойный Бродецкий были моими друзьями, — торжественно проговорил он.

И внезапно Стигс снова почувствовал себя маленьким — маленьким перед этим стариком, чей взгляд был полон гордого достоинства, чье лицо сейчас было точно таким, каким юный Стигс видел его на страницах учебников.

СЛУЧАЙ НА ОМЕ

Как всегда перед закатом, в кустах громко чирикали “волки”. С приближением человека они затихали. Потом из кустов высунулись две очень любопытные мордочки и, глуповато помаргивая, проследили взглядом удаляющуюся фигуру в скафандре.

Открытие этого распространенного на Оме грызуна поначалу шокировало. Мало того, что зверек являл собой уменьшенную карикатуру на волка, он еще и чирикал! Но в конце концов юмор природы был оценен по достоинству, и “стеновию омус” — так официально был поименован зверек — нарекли “волком” или “во–во” (волковоробьем).

Внезапно уши зверьков встали торчком: смятение, испуг — оба порхнули, как от выстрела.

Вся эта сцена прошла мимо внимания человека. Раздвигая плечом плотный воздух, Майоров спешил по едва приметной тропинке, которая вела к буровой, где, как только что сообщили, ударил фонтан нефти. Исключительный, феноменальный! На всех планетах цвет нефти был черный, бурый, желтый, иногда розовый. Здесь он был синим. Новая разновидность? Или что‑то принципиально иное?

Не в том настроении был Майоров, чтобы подметить катящееся за ним бесшумное движение, которое спугнуло “волков”.

К тому же он слегка отупел от бесконечной работы. С начала экспедиции спать приходилось урывками по два–три часа, а все жадность человеческая! Новая планета открывала столь несметные россыпи фактов, что золотоискательская лихорадка прежних времен выглядела бы сонной дремой по сравнению с приступами исследовательского азарта. От обилия фактов пухла голова, они подступали, как половодье, и самые потрясающие, как всегда, были те, к которым еще не дотянулись руки.

Темно–малиновое солнце Омы низко висело над вершинами леса. Небо отливало медью, и хотя стволы древолистов, неслышно скручиваясь винтом, уже развернули к закату свои грифельные полотнища, отчего на сырую почву пала тень, внизу стоял светлый красновато–золотистый сумрак. Тихо было, как в пустом соборе.

Таинственность освещения вдруг спутала мысли Майорова. Он поднял голову, огляделся. И тут он почувствовал на себе взгляд.

Он резко обернулся. Никого. Ничего. Багровым сиянием мерцали устилавшие почву мхи.

Майоров не был впечатлительным человеком. Людям иного склада вообще нечего делать на новооткрытых планетах, и в этом есть глубокий смысл. Острая впечатлительность означает, что сознание настежь открыто всем внешним воздействиям, а их на неисследованной планете чересчур много. Это все равно что поместить чуткую стрелку компаса в бушующее магнитное поле.

Поэтому Майоров лишь расстегнул кобуру плазмопистолета и ускорил шаг. Отдав дань нервозности, вполне простительной, когда человек один и по лесу крадутся тени, он успокоился. Окрестные леса были хорошо изучены и безопасны. Разве что сюда мог забрести одинокий стратопаук…

Это было бы даже забавно.

Стратопауки отличались непонятной агрессивностью. Для органов обоняния любого животного закованный в скафандр человек — всего лишь глыба металла, а для зрения и слуха — движущаяся глыба. Кто же станет нападать на шагающий кусок железа? А стратопауки напали в первый же день. Плазменные пистолеты, разумеется, обратили их в

пар, едва они, выскочив из кустарника, устремились к людям. Потом были еще две–три такие же попытки. Вскоре, правда, животные прониклись страхом и уже не попадались на глаза, чему в отличие от зоологов женщины экспедиции были несказанно рады. “Ну и тварь!” — воскликнула одна из них, впервые увидев стратопаука, и с этим мнением трудно было не согласиться. Людям свойственна брезгливость к подобным существам, но даже самый омерзительный земной паук выглядел бы писаным красавцем, если сравнивать его с десятилапым трехметровым комком шершавой слизи.

Возникла, конечно, вполне правдоподобная гипотеза, что у стратопауков есть особый орган восприятия, позволяющий им, несмотря на скафандр, по достоинству оценить вкус человеческого мяса. К сожалению, проверить ее не удалось, так как распыленный хищник не слишком удобный объект для исследований, а живого стратопаука за нехваткой времени поймать не удалось.

При мысли о встрече со стратопауком Майорова все же пробрала брезгливая дрожь. Он был чужд предрассудков, но существуют же вещи, невыносимые для человека! Скрежет гвоздя по стеклу, например.

Почва пошла под уклон, внизу за стволами обозначилась темная щель оврага. “Еще четверть часа ходьбы”, — подумал Майоров, спускаясь по склону.

Крутизна заставила его ступать боком. И тут он уловил позади себя какое‑то движение.

Куст дрогнул, едва он обернулся, и на гребне в ярком свете заката вырос стратопаук.

От неожиданности Майоров потерял равновесие. В отчаянном прыжке он попытался ухватиться за ближайший ствол, но перчатки лишь царапнули кору, нога подвернулась, и он покатился кубарем.

Как падающая кинокамера, сознание выхватило красный лоскут неба, вздыбившиеся черные стволы, ажурный клочок мха перед самым носом, темный провал внизу, боль, вихрь каких‑то пятен, удар…

И все кончилось.

…Он лежал на боку. Боль в ноге наполняла мозг оглушительной пустотой. Окружающее проявлялось по частям, зыбко и путано.

Внезапно, рывком все встало на место. Метрах в пяти от него находился стратопаук.

Какую‑то долю секунды все оставалось неподвижным. Неподвижно горел высоко в небе закат, неподвижно стояли огромные древолисты; животное, опираясь на щупальца, двое передних держало на весу, а его круглые, жутко фосфоресцирующие глаза в упор смотрели на поверженного человека.

Затем его передние щупальца дрогнули, а взгляд человека метнулся к кобуре. Она была пуста. Выпавший при падении пистолет лежал в грязи на расстоянии протянутой руки.

Рука Майорова медленно пошла к пистолету, а глаза смотрели на стратопаука, только на стратопаука, и к горлу подкатывала тошнота, вызванная болью, отчаянием, видом шевелящихся щупалец с розовыми присосками, зазубренных жвал, мешковатого тела.

Передние щупальца стратопаука сплелись в змеином танце, жвалы задергались, по телу пробежала дрожь, воздух наполнили отрывистые звуки. Щупальце рванулось к Майорову, словно протягивая что‑то. Рука Майорова нащупала оружие.

Стратопаук взвыл, именно взвыл, кольца щупалец распрямились, но ослепительная вспышка пистолета настигла прыжок.

Когда зрение восстановилось, Майоров увидел, что стратопаук лежит рядом с ним. Торопливый выстрел лишь задел хищника, но, к счастью, смертельно. Стратопаук умирал. Его щупальца конвульсивно дергались, оплетая, словно в мольбе, ноги Майорова. Рваная рана вскипала булькающими пузырями, глаза смотрели с упреком, а из черной пасти рта рвался дробный клекот.

Майоров брезгливо стряхнул с себя щупальца. Поврежденная нога отозвалась болью, но все же ему удалось встать. “Обыкновенное растяжение”, — облегченно сказал он себе и уже с гордостью посмотрел на издыхающее чудовище. Тот все еще жалобно клекотал.

— Раньше надо было нападать, дура, — пробормотал Майоров и с удовлетворением подумал, что зоологам наконец‑то достанется почти неповрежденный экземпляр.

Щупальце с отростками в последний раз дернулось и затихло. Отростки разжались. Майоров вздрогнул. Ему показалось… Нет, ошибки не было: в отростках был зажат какой‑то предмет…

Он поспешно нагнулся. И чуть не закричал: то был свернутый в трубку кусок тонкой коры.

Дрожащими пальцами Майоров развернул трубку. На гладком листе был изображен человек рядом со стратопауком. Между ними, перечеркнутый жирным крестом, валялся плазмопистолет.

ГОЛОС В ХРАМЕ

На них были тяжелые, пышные одежды, гирлянды желтых цветов, и, если бы не стража с копьями, можно было подумать, что двое землян возглавляют торжественное шествие.

Плоские крыши, галереи, улицы были запружены одетой в лохмотья толпой, шевелящейся, грозно гудящей, словно рой встревоженных пчел. У Шайгина не вырвали из ушей кристаллики транслятора, сочтя их, видимо, за часть тела, и он понимал, что кричали, выли, орали эти человекоподобные существа:

— Жертва священному Храму! Кровь и Голос! Кровь… праздник… голос… победа!

Сипло гудели трубы, бухали барабаны. Процессия медленно двигалась к Храму. Люди знали, что там их ждут долгие истязания во славу какой‑то непонятной и чудовищной религии, а потом смерть. Толпа знала это еще лучше и ликовала, неистовствовала, возносила хвалу Храму и Голосу, которые даровали им столь волнующий праздник.

Шайгина мутило от омерзения. Ужасной казалась не смерть и даже не страдания, а то, что их, звездолетчиков и ученых, будут хладнокровно и радостно пытать безмозглые фанатики, тупо верящие тем не менее в свою разумность. Порывы ветра вздували темные одежды шагающих рядом жрецов, и каждый раз людей окатывал тошнотворный запах грязного, сального тела. И вот эти лоснящиеся от пота руки, эти крючковатые пальцы с черными когтями, дрожа от сладострастия, будут вскоре жечь их раскаленным железом, пронизывая мозг безумной болью! Мозг, вмещающий такие знания, что даже капли их хватило бы всей этой толпе для избавления от болезней, голода и невежества.

— Лайтинг бы сюда… — послышался шепот Бренна. — И по рожам, по рожам…

Бренн дернул связанными руками, и Шайгин почувствовал почти осязаемо, как у того напряглись мускулы и как нерастраченная ярость дрожью пронизала тело беловолосого гиганта.

— Не надо, Бренн, — сказал он едва слышно. — Это недостойно. Ведь это дети, слепые, жестокие, глупые дети…

Бренн зло засмеялся. Удивленные стражники настороженно наставили копья.

— Я брошусь на эти копья, если “Эйнштейн” не поспеет, — сказал Бренн.

— “Эйнштейн” не поспеет, а на копья нам броситься не дадут, — ответил Шайгин. — Все равно выше голову!

— Я и так задрал ее аж к самому небу… Как вспомню, что где‑то там есть “Эйнштейн”, есть лаборатории, книги, друзья… Эх! Как ты думаешь, если долго, очень долго и очень спокойно — не так, как в разговоре с жрецами, — объяснять этим человекоподобным, что возможна другая жизнь, что существуют общие для всей вселенной законы развития, что мы можем помочь им выбраться из дерьма, в котором они тонут, — поймут? Или лучше для их же блага стереть всю их так называемую цивилизацию?

Шайгин посмотрел на беснующуюся толпу. В ней не было лиц, вся она была единым перекошенным, жадным, исступленным лицом.

— Нет, — сказал он твердо. — Не поймут. Мы для них диковинные, непонятные, может быть, опасные пленники. Тем слаще радость победы, тем большую ценность мы

представляем для жертвенного алтаря. Простая и ясная логика, а все, что сверх этого, не существует.

— Поздно мы это поняли.

— Поздно. За последние две сотни лет мы успели забыть у себя на Земле, что разум может быть настолько невежественным и жестоким.

Это было правдой. Ни Шайгин, ни Бренн не были подготовлены к вероломству. Когда “Эйнштейн” засек на этой планете аномалию, которая могла быть пропавшей полтора галактических года назад “Европой”, а могла ею и не быть, капитан сказал: “Берите скайдер, проверьте и возвращайтесь. На большее у нас нет времени”. “Европа” была обычным пилотируемым кораблем, но к этой звезде из‑за дальности расстояния ее послали под управлением автоматов, и она исчезла где‑то здесь, в этой планетной системе.

Сознание отказывалось верить, что со времени их вылета прошло больше шести часов… Они сели неподалеку от аномалии и, перед тем как начать разведку, вышли наружу только потому, что слишком уж здесь все походило на Землю. Они, безусловно, отказались бы от встречи с аборигенами, чьи поселки были замечены с орбиты, но те неожиданно вышли навстречу из‑за деревьев со столь доверчивым жестом протянутых ладонями кверху рук, что это подкупило людей. Где же им было догадаться, что, пока идет обмен улыбками (с безопасного расстояния!), гонец уже оповестил воинов и те крадутся по сомкнутым кронам деревьев, чтобы вдруг обрушиться водопадом тел.

Да, в смелости и хитрости воинам нельзя было отказать…

Городские улицы кончились, и процессия втянулась в рощу. Здесь дорога сузилась, жрецы придвинулись к пленникам, и Шайгин пытался разглядеть на их замкнутых, причудливо раскрашенных лицах хотя бы тень сомнения. Напрасно. Как и там, в зале суда, они не проявляли даже любопытства. В кристалликах транслятора уже тогда накопилось достаточно информации, так что звездолетчики понимали жрецов, а те могли понять перевод земной речи. Могли понять! С тем же успехом земляне могли обращаться к раскрашенным чурбанам. Жрецы не хотели понимать. Родись Шайгин на полтора–два столетия раньше, его не поразила бы эта способность ограниченного разума: тогда и на Земле было сколько угодно людей, которые могли, но не хотели понимать ничего, что противоречило их представлениям или задевало их близорукие, шкурные интересы, даже если то была истина, способная в итоге спасти от гибели их самих. Но у Шайгина и Бренна такого опыта не было. С наивной пылкостью они говорили о разуме, братстве цивилизаций, космическом гуманизме, а в ответ им говорили “бог”, “вера”, “храм” и в промежутках обсуждали, надо ли считать странных пленников исчадьем зла или просто врагами. Для жрецов это было очень важно, так как от формулировки решения зависел ритуал казни.

В конце концов жрецы сошлись на том, что людей надо считать и врагами, и исчадьем, и еще, кроме того, верохулителями. За первое полагалась смерть, за второе неизвестно что, означавшее “испытание Голосом”, за третье — пытка и тоже смерть. Шайгин лишь потом сообразил, что если бы он и Бренн не пытались втолковать жрецам идею множественности миров, то их не признали бы верохулителями и они избежали бы пыток.

Храм открывался постепенно, его громада как бы вырастала по мере приближения, словно не к нему шли навстречу, а он шагал поверх деревьев. И когда он весь оказался на виду, то Бренн выругался, а Шайгин подумал о том, что более беспощадного сооружения он еще не видел. Человек выглядел муравьем у подножия этой черной, давящей пирамиды, вершина которой неожиданно завершалась остроконечной башней. Тупая масса пирамиды подчиняла себе башню настолько, что ее стройная белизна превращалась в свою противоположность — в перст, грозящий с неба, в сверкающий меч, занесенный над головами.

Вне четырехугольника, очерченного шеренгой стражи, у подножия пирамиды стояла толпа. Все было залито безжалостным светом чужого солнца, но черный камень пирамиды был тем не менее тускл и мрачен. Посредине ее склона запекшейся раной зияла красная облицовка портала; там, по обе стороны врат, четверо воинов держали зажженные факелы.

Процессия замерла. Как в хорошо отрепетированном спектакле, жрецы, музыканты, часть стражи попятились назад, и посредине образовавшейся пустоты остались люди. Тысячи взглядов скрестились на них.

— А башня‑то из металла… — тяжело дыша, проговорил Бренн. — Эта цивилизация выше, чем нам кажется.

— Это ни о чем не говорит… Наши предки мучили друг друга и при свете электрических ламп.

Внезапно напряжение спало. Величаво поплыли створки портальных врат, блеснули вскинутые в приветствии щиты воинов, толпа повалилась на колени, и из глубины пирамиды на свет выдвинулась фигура в мерцающем серебристом одеянии. На мгновение Шайгину почудилось, будто у фигуры вместо головы череп, но потом он разглядел, что это была маска.

Фигура величаво простерла руки. Толпа лежала ниц, так что видны были лишь спины и выпяченные зады.

— Кажется, будет речь, — с надеждой сказал Бренн.

Именно сейчас, должно быть, прошли все сроки контрольных вызовов, на борту “Эйнштейна” взвыл сигнал тревоги, и гигантский корабль готовится к броску, который должен перенести его от центрального светила, где он сейчас находится, к планете, на которой фигура с черепом вместо головы (царь? главный жрец?) собирается говорить с народом. На весь этот маневр уйдет часа два. Только бы затянулась речь!

— Что он говорит? Что он говорит? — поминутно спрашивал Бренн, который в суматохе схватки лишился транслятора.

Пот заливал глаза, и раскаленная площадь, коленопреклоненные ряды, длинная фигура в маске казались яркими и плоскими, как картинки в горячечном сне.

— Он говорит, что свет не видывал столь мудрого народа, — переводил Шайгин, еле шевеля пересохшими губами. — Он говорит, что только благодаря вере и Голосу, чьим смиренным служителем он является, воины одержали славную победу над человекоподобными исчадиями зла… Над нами то есть. Бездна трескучих слов и минимум информации… Теперь он поносит другие верования. Они‑де обман, их приверженцы спят и видят, как бы разрушить Храм, поработить народ; это грязные, бессовестные, лукавые людишки… Словом, обычный перенос своих собственных качеств на всех инаковерующих. Игра на тщеславии дураков — вы, мол, избранники… Сосуды истины, добра, мужества и все такое прочее. Ни у кого нет такого Храма, ни у кого нет Голоса. Похоже, что оратор — Верховный служитель самого Голоса. Да, но что же это в конце концов такое — Голос? Ага, ага, вроде бы начинаю понимать. Голос спрятан в Храме. Разумеется, он принадлежит богу. Он изрекает, он предсказывает, он указывает, он поражает… Вероятно, что‑то вроде дельфийского оракула… Или озвученных святцев… Ясно! Исчадия зла падают ниц, заслышав Голос… Боюсь, что нас попытаются заставить упасть перед ним на колени.

— Сначала я уложу на пол двух–трех жрецов, — пообещал Бренн.

— Я тебе помогу… Умирать, так хоть не овцами… Этот тип в маске говорит, что перво–наперво нас подвергнут испытанию Голосом… Сейчас он красиво расписывает, чем и как он затем будет нас мучить… Они просто свихнулись на садизме. Это патология, которую надо лечить…

— А ты ничего держишься, — сказал Бренн. — Только бледнеть не надо, на нас смотрят.

— Это из‑за жары… Ну, опять словоблудие насчет величия веры, мудрости жрецов, бессильной ярости врагов… Как по–твоему, от лжи и тупости может тошнить? Похоже, что меня сейчас вывернет…

— Ты еще можешь смеяться!

— А что нам остается? Увы, он кончает речь… Видишь, все встают…

— Скажи им пару теплых фраз.

— Не могу… Что бы я ни сказал, все будет оскорблением…

— О! Быть может, оскорбившись, они быстренько прикончат нас…

— Все равно не могу.

Барабаны ударили разом, от ликующего вопля толпы заложило уши, медные щиты в руках стражи сверкнули молниями, колыхнулись копья, и люди двинулись в свой последний путь. Со ступени на ступень, выше, выше; ступени были такие узкие, что приходилось неотрывно смотреть себе под ноги, и Шайгин с Бренном не заметили, как очутились перед прохладной темнотой портала. Они бросили прощальный взгляд назад — на кипящую восторгом площадь, дремотное марево горизонта, блеклое небо, в котором скрывался “Эйнштейн”, — и створки врат, коротко скрежетнув, поглотили их.

Низкая камера, лестница, камера, опять лестница. Это было шествие среди теней. Отброшенные светом факелов, они сопровождали людей, раздувались на закопченном потолке, беззвучно бежали по стенам, грозно заступали путь. Стальными жалами вспыхивали наконечники копий. Фигуры жрецов плыли неслышно, как черные привидения. И во главе их двигался Верховный служитель Голоса.

Крутой поворот внезапно открыл камеру больше и шире прежних. В мерцающем свете ожили, оскалились изваяния чудовищ. И даже у людей дрогнули нервы при взгляде на сводчатый потолок, где висели сотни черепов.

Жрецы вдруг запели. Унылый и суровый гимн наполнил камеру. В такт ритму колыхалось багровое пламя факелов, вытягивались из углов тени, подрагивая, шевелились под потолком оскаленные черепа. Пение завершил мрачный речитатив.

— О Голос, великий, всемогущий прорицатель воли божьей, мы идем к тебе с новой жертвой! Прими нас!

Передняя стена дрогнула. Нет, то была не стена, а траурный занавес; он поплыл вверх, открыв каменную кладку, а в ней — узкий дверной проем. Бренн ахнул.

— Этого не может быть!

Но это было. Они увидели в проеме голубой отсвет металлопластиковых стен коридора, темные зеркала экранов, пульт управления в глубине и бегущие по табло змейки мнемогра–фиков. Только вместо кресел стояли какие‑то жаровни и станки с ремнями.

— Рубка “Европы”… — прерывающимся голосом прошептал Бренн. — Жрецы замуровали звездолет…

— И превратили рубку в алтарь… — хрипло отозвался Шайгин. — Или в камеру пыток…

Им в спину уперлись копья. Повинуясь, они вошли в коридор, приблизились к пульту. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить: пульт цел.

Сзади жрецы затянули новый гимн.

Шайгин оглянулся. Лица четырех переступивших порог святилища воинов были бледны как мел.

Широким торжественным шагом сбоку зашел служитель Голоса, воздел руки кверху и повелительно крикнул:

— На колени, исчадия зла!

— Падай, падай! — услышал Шайгин.

Прежде чем он успел понять смысл сказанного, Бренн рухнул перед пультом, выбросил вперед связанные руки, так что их удар пришелся по клавиатуре пульта.

Ослепительно вспыхнул свет, взревел сигнал аварийной тревоги, сомкнулись переборки, мгновенно отрезав рубку от зала с черепами.

Бренн вскочил. Шок обратил стражников и жреца в восковые куклы, которые без стона валились навзничь под ударами Бренна и Шайгина.

Минуту спустя путы были перерезаны, стражники связаны содранными со станков ремнями. Бренн отключил сирену, и люди перевели дыхание.

В наступившей тишине слышались глухие удары о стену.

— Ерунда, — сказал Бренн. — Переборки выдержат. Двигатель, если верить приборам, мертв, но аппаратура связи действует нормально. Сейчас вызову “Эйнштейн” и…

Он чуть не подпрыгнул.

Позади него прозвучал мерный, потусторонний голос:

— Докладывает контрольный автомат! Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину. Давление…

Опомнившись, Бренн захохотал.

— Так вот он каков, божественный Голос!

Голова Великого служителя Голоса дернулась. При падении маска–череп свалилась, и теперь на землян глядело нечеловеческое лицо с белыми от злобы глазами.

— Я недооценил вас, проклятые пришельцы со звезд…

— Как? — опешил Шайгин. Ему показалось, что он ослышался. — Ты… ты понял, кто мы такие?! Сейчас?

— Раньше…

— Тогда почему же?! Почему вы так поступили с нами?

— Власть укрепляется верой. Веру укрепляют жертвы. Разум опасен для веры. Будьте вы прокляты… прокляты…

Голова жреца снова дернулась и бессильно упала.

— Повторяю, — мерно возвестил автомат. — Температура снаружи — двести девяносто три по Кельвину…

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИСУТСТВОВАЛ

В тот вечер мы, как всегда впятером, собрались у Валерия Гранатова. Самый проворный занял кресло хозяина, остальные удовлетворились стульями, и работа началась.

Мы часто сходились так затем, чтобы вместе сочинять приключенческие повести. Поначалу столь обычная в науке и столь редкая в литературе форма содружества казалась нам оригинальной забавой, могущей развлечь нас и читателей, но постепенно что‑то стало меняться. Наши способности, знания, темпераменты сплавились настолько, что возникла как бы общая, самостоятельная личность, отчасти похожая на нас, а отчасти совершенно нам незнакомая. С удивлением мы заметили, что она обретает над нами власть. Она не желала ограничиваться созданием искусного вымысла, она хотела большего и ради этого большего требовала от нас полной душевной отдачи. Мы должны были или раствориться в этом новом качестве, или разойтись, а мы не хотели ни того, ни другого. Легко выложить из кармана мелочь ради дружеской забавы, но слить капитал для поимки журавля в небе — дело иное. Весы колебались, и этот вечер мог решить все.

Итак, настроение у нас было смутное. Отмечу мимоходом, что обдумывание сюжета впятером выявило одну странную особенность мышления. Порой наши мысли как бы входили в резонанс. Быстро, четко, с полуслова разматывались сцены, мы зажигали друг друга идеями, находки легко перепархивали из рук в руки, обогащаясь на лету. В такие минуты мы были счастливы особым, редким счастьем коллективного мышления.

А потом все необъяснимо разваливалось. Мы глохли. Пустяк, на уяснение которого одиночка потратил бы секунды, требовал неимоверных усилий. Мы словно гасили мысли друг друга. И если резонанс приподнимал нас к чему‑то особенному, яркому, то противофаза давила гнетуще.

К несчастью, работа в тот вечер началась как раз с противофазы. Воображение чадило, мы говорили мертвые слова, и это было невыносимо, как похороны. Я смотрел на жесткий свет настольной лампы и думал: есть тысячи простых радостей, зачем мучиться ради чего‑то призрачного, очевидно недоступного? Подозреваю, что так подумывал каждый.

— А если наш герой начнет таким образом… — безнадежно выдавил из себя Валерий после очередной тягостной паузы.

Но его перебил звонок в прихожей.

Шаркая шлепанцами, он вышел и скоро вернулся, пропустив вперед человека с

портфелем, который когда‑то был рыжим. Человек косо поклонился и сел. Я не успел удивиться его приходу, ибо Валерий уже с порога проговорил дрогнувшим голосом:

— Ребята, а что, если…

То, что он сказал затем, было такой великолепной находкой, что мы, забыв обо всем, онемели от восторга.

И пошло. От этого вечера у меня сохранилось лишь общее впечатление какого‑то напряженного блаженства, как если бы мы шли в гору и каждый шаг развертывал пейзажи один ослепительней другого. Мы уже не сочиняли повесть, мы видели чужую жизнь до самого дна, потрясенно проникали в тайные помыслы неизвестно как возникших людей, любовались, ужасались внезапным движением их характеров, ловили их жесты, слова, и надо было только записывать, записывать, записывать, так как уже неясно было, что реальней — вот эта прокуренная комната, где мы сидим, или тот мир, который ожил в нашем сознании.

И не было уже меня, не было нас, был тот общий, что растворил нас в себе, странным образом приподнял и дал какую‑то особую, ни с чем не сравнимую зоркость. Состоянию, подобному этому, не было равного ни до, ни после. Оно объясняло жизнь лучше сотен учебников, мы все понимали, все знали и все могли, как боги.

Лишь в ничтожные мгновения спада, когда чуть–чуть проступила реальность той комнаты, где мы были, я вспомнил о постороннем и долю секунды задержал на нем взгляд. Он сидел бочком, жмурясь и потирая руки, как с холоду у огня. “Славно, славно!” — шептал он. Я не успел его толком разглядеть, но у меня осталось ощущение, подобное тому, какое вызывает в нас вид старых домашних вещей, неважно каких даже. Ощущение чего‑то уютного, надежного и необходимого. Мимолетно я удивился этому. Во время напряженной умственной работы лишний всегда мешает своим присутствием, а здесь этого не было.

Все, что ни делали мы в этот вечер, было хорошо. Мы не спрашивали себя, так ли, как надо, развивается сюжет будущего произведения, — мы знали, что он может развиваться только так. Мы не выбирали слов для описаний, они приходили сами, единственно верные, светящиеся изнутри.

И, кончив в пятом часу утра, мы знали, что сделали все, ничего другого делать не нужно, главное, что дает произведению глубину и подлинность, — уже легло на бумагу.

Мы как‑то даже разочарованно переглянулись. Говорить не хотелось. Мы были сладко опустошены. Человека с портфелем уже не оказалось в комнате, он исчез незаметно. Мы оделись, никто о нем не вспомнил.

Хозяин, накинув на плечи пальто с узким бархатным воротником, провожал нас. Уже в скрипучем лифте я спросил его невзначай:

— Валерий, кто этот твой приятель, который просидел с нами весь вечер?

Валерий медленно изумился.

— Мой приятель? Я его впервые видел. Он пришел к кому‑то из вас.

Мы переглянулись. Выяснилось, что никто раньше человека с портфелем в глаза не видел.

— Что же это такое? — озадаченно спросил Валерий. — Послушайте, это чушь какая‑то!

— Но ты же его впускал! — хором сказали мы.

В глазах Валерия промелькнуло выражение, словно он пытался что‑то вспомнить.

— Ну да… я его впустил.

— Ничего не спросив?!

— Он поздоровался… Я хотел спросить, но тут у меня мелькнуло соображение насчет сюжета, я совершенно машинально пропустил его вперед… А потом стало как‑то не до него…

— Так, — сказал я, сдерживая зевоту. — Понятно. Может, кто‑нибудь что‑нибудь объяснит?

Мы стояли в вестибюле, по сторонам которого располагались двери рыбного и молочного магазинов, так что в полутемном вестибюле пахло сразу и молоком и рыбой. Никто из нас ничего объяснить не мог. Просто так к незнакомым людям никто не заходит. Просто так в гостях у чужих людей за полночь никто не засиживается. Дальше ясности не было.

Самое удивительное, однако, что эта загадка как‑то не очень нас волновала. Не то было настроение.

— Сочиняя приключения, мы сами попали в приключение, — вяло сострил кто‑то.

Мы еще немного пообсуждали случившееся и расстались, обменявшись устало–недоуменными улыбками.

Прошло много месяцев, которые нисколько не объяснили загадку, как вдруг я столкнулся с нашим незнакомцем на улице среди ясного дня.

Странно, но я узнал его сразу, хотя он был в старом романовском полушубке, который делал его приземистую фигуру еще приземистей. Я же до встречи вовсе не был уверен, что узнаю его даже в том двубортном костюме, в каком он был тогда.

— Здравствуйте. У меня к вам есть вопрос, — решительно шагнул я к нему, ибо его метнувшийся взгляд рассеял последние сомнения.

Он робко глянул на меня снизу вверх, рука с потертым портфелем дернулась, словно он хотел им прикрыться.

— Здравствуйте, — тоненько проговорил он. — Как поживает ваша повесть?

— Замечательно, — сказал я, нисколько не преувеличивая. — Но, простите за нескромность, кто вы такой?

— Тусклая у меня фамилия… Федяшкин я… Петр Петрович.

Лицо у него было под стать фамилии. Брови и ресницы желтоватые, выцветшие, щеки старческие, дряблые, и нос картошкой.

— Вы сейчас будете у меня спрашивать… — тоскливо сказал Федяшкин, отводя взгляд. — Может, не надо? Главное, чтобы повесть удалась…

Он даже обернулся, ища возможность нырнуть в толпу. Такой возможности не было, — я ненароком прижал его к тротуарному ограждению.

— Простите, Петр Петрович, но вы же понимаете, чем вызван мой интерес. На моем месте вы бы тоже…

— Понимаю, понимаю, но объяснить ничего не могу.

— Не хотите?

— Не могу, честное слово! Да разве вам плохо было от моего присутствия? К чему вам знать еще что‑то?

Мы обожаем тайны в книгах и не любим их в жизни. Я не исключение. В конце концов и книжные тайны мы любим лишь потому, что на последних страницах они разъясняются.

— Нет, — сказал я твердо, хотя и сознавал нелепость ситуации. — Вы обязаны объяснить.

Его круглая фигура как‑то сжалась, даже на полушубке прибавилось складок.

— Вы же не поверите… — Он тоскливо оглянулся.

— Я слушаю.

— Вы сами позвали меня…

— Мы?!

— Ваши мысли.

Невольно я вздрогнул. Его губы тотчас тронула печальная и вместе с тем торжествующая улыбка.

— Вот видите, я предупреждал. Не надо вам знать.

Очень хорошо! Федяшкин был шизиком.

Я снова взял себя в руки и проговорил уже спокойно:

— Продолжайте.

Нет, он не хотел продолжать, он думал, что теперь я его отпущу. Напрасная надежда. Я, сам не знаю почему, был готов взять его за шиворот дряхлого полушубка, лишь бы поскорей вытрясти из него признание. Я даже сделал мысленное движение к этому. И он испугался, как будто действительно прочел мои мысли!

— Не надо! — закричал он. — Вы заморозите себя! Скажу, так и быть, а потом вы меня отпустите, ладно? Ах, молодой человек, как вы безрассудно поступаете со своим мозгом!

— Итак, вы телепат. Давайте дальше.

— Нет! Я не умею читать мысли! Но я ощущаю их, когда они… Понимаете, я, конечно, человек неученый… Но если кто‑то думает, так в его мозгу какие‑то… эти… потенциалы меняются, излучения происходят. И когда разгорается мысль, когда она создает что‑то, от нее исходит… тепло. Знаете, такое хорошее, хорошее тепло! Ну, этого я почти не замечаю, только вообще, фон, так сказать… А вот если она особенно разгорается, как тогда у вас, меня туда и тянет.

— Все это любопытно, — перебил я нетерпеливо. — И почти не противоречит науке. Но сами себе вы противоречите здорово.

— Как же это? Не может быть!

— Может. Когда вы пришли, наши мысли чадили, а не разгорались. Чадили! Так как?

Федяшкин сконфузился. Мне этот своеобразный шизик начинал нравиться. Он был не просто безвреден, он был еще и трогателен в своих фантазиях. А все же почему он пришел именно к нам?

— Нет здесь противоречия, — неуверенно сказал он. — Только не сочтите это за хвастовство…

— Да?

— Что вы видите вокруг?

Он слабо повел рукой. Машинально я проследил взглядом очерченный им полукруг. По своим делам и заботам спешили насупленные граждане, собачьими хвостиками вились автомобильные выхлопы, по карнизам важно гуляли голуби, визжал трамвай, заворачивая на проспект.

— Так вот, вокруг всего этого витает облако мыслей, — таинственно понизив голос, сказал Федяшкин. — Но ярких точек, когда создается что‑то новое и значительное, пока немного. Потому каждый язычок пламени драгоценен. А у меня свойство… Только опять же не сочтите это за тщеславие… Мое присутствие сразу разжигает огонь. Разве вы этого сами не заметили? Нет, нет, — воскликнул он, как бы защищаясь. — Сам я никто, бухгалтер на пенсии, но свойство у меня такое есть — помогать другим думать. Оттого я к вам и пришел. Я ко многим хожу, так надо, им хорошо, мне, всем людям хорошо. Не верите?

Конечно, я не верил. Нисколько не верил. И все же в моей непоколебимости была маленькая трещина: его слова в принципе могли объяснить все, что случилось с нами в тот вечер.

— Отлично, — нашелся я. — Продемонстрируйте.

— К чему? — огорченно сказал он, переминаясь. — Все одно не поверите.

— Поверю, — упрямо возразил я и без всякой логики почти уверовал, что так оно и будет.

— Пойдемте, — покорно согласился Федяшкин.

Я слишком изумился, чтобы возразить. Мы свернули в переулок, другой, третий. Федяшкин шел не быстро, но достаточно уверенно, только лицо его приняло отрешенное выражение, точно он слушал какую‑то далекую музыку.

— Куда мы, собственно, идем? — не выдержал я наконец.

— Не мешайте! — вдруг резко сказал Федяшкин. И сразу засмущался с головы до пят.

— Простите… Я и сам не знаю, где‑то здесь… Конечно, мы могли бы зайти в институт рядом, там тоже… Но туда не пустят без пропуска. Но мы уже близко!

Я махнул рукой и только подивился, как это я влез в столь фантасмагорическую авантюру.

Скоро мы пошли уже дворами, какими‑то переходами, потом стали подниматься по лестнице, самой заурядной, с бумажками и сором у люков мусоропровода.

Федяшкин остановился перед дверью на седьмом этаже.

— Здесь.

Он заметно волновался, губы его побелели, и голову он наподобие улитки норовил втянуть в воротник полушубка.

Звонок неуверенно дзинькнул.

Дверь отпер хмурый парень в спортивном костюме.

— Вы к кому? — спросил он как‑то равнодушно.

Я посмотрел на Федяшкина. Он был жалок.

— Вот мы хотели бы… — пролепетал он. — Мы из… Ведь вы работаете?

— Работаем, — подтвердил парень.

И тут что‑то изменилось в его лице. Оно стало отстраненно осмысленным — таким было лицо Валерия Гранатова, когда он в тот вечер вернулся к нам из прихожей.

— Ладно, объясните потом, — нетерпеливо буркнул парень, и я был готов поклясться, что он уже не видит нас и не думает о нас. Это было более чем странно.

Он не стал даже ожидать, пока мы разденемся, а исчез за дверью, откуда послышались восклицания, смех и затем все стихло. И когда мы вошли, то увидели трех парней, склонившихся над столом, где были разложены какие‑то чертежи. Впрочем, чертежи валялись и на полу.

Следующий час был самым фантастическим из всех прожитых мной. Мы с Федяшкиным тихо сидели в углу, а парни, не обращая на нас внимания, работали в каком‑то сдержанно–бешеном порыве. Я нервно курил, поначалу ожидая, что нас вот–вот вышибут с позором. Но им было не до нас, и, может быть, даже, появись тогда сам Наполеон, и это не отвлекло бы их внимания. Они отрывисто обменивались непонятными радиотехническими терминами, иногда переругивались, но больше писали молча, и во всем их поведении не было ничего внешне вдохновенного, лишь глубочайшая сосредоточенность. Федяшкин отнюдь не торжествовал, он тихо восторгался, он весь светился блаженством, он любил этих парней, обо мне он просто забыл. Потом он внезапно тронул меня за руку.

— Пойдемте, они кончают работу.

— Что они делают? — прошептал я.

— Откуда я знаю? — также шепотом сказал Федяшкин. — Что‑то изобретают. Идемте, идемте, ради бога!

В полном ошеломлении я скатился по лестнице.

— Правильно получилось, — бормотал Федяшкин, спотыкаясь на ступенях. — О, они сделали сегодня что‑то большое… Как славно, что они нас впустили. Бывает, знаете ли, что и не впускают. Правда, редко, я обычно как‑то сразу действую…

Я не очень вслушивался в его бормотание, потому что пытался придать мыслям рационалистический характер, и отчасти преуспел. Такая операция просто необходима, она как защитный рефлекс. Любое самое чудесное чудо мы прежде всего подводим под известное, чтобы уберечь себя от психологических перегрузок. Далее, попривыкнув, мы смелеем.

Ход моих мыслей, пока я плелся за Федяшкиным, был примерно таким. Он не шизик. Его присутствие, похоже, в самом деле стимулирует творческие способности. Допустим. Ну и что? Для миллионов людей это, можно сказать, профессиональная обязанность. Учителя сами не производят ни материальных, ни духовных ценностей. Они передатчики знаний и, главное, стимуляторы умственного и нравственного роста детей — настоящие учителя, конечно. В этом великий смысл их профессии, как я ее понимаю. Рассеивать свои мысли и поступки так, чтобы они золотой нитью вплелись в чужую жизнь, неузнанными ожили потом в открытиях и достижениях будущего, — труд, важнейший для общества. И разве только учителя делают это? Как атомы тела не гибнут после смерти, а вступают в новый кругооборот, так и духовные движения, будучи переданы другим, существуют вечно,

незримо переходя от поколения к поколению.

Но это не все. В процессах неорганической природы участвуют катализаторы — таинственные соединения, которые, внешне не вступая в реакции, придают им энергию и мощь. Процессы органические катализируют ферменты. Почему бы и в процессах психических не быть своим катализатором и ферментам? “Почему бы?” — как попугай повторял я, тупо глядя в спину Федяшкину.

Новое соображение ускорило мой шаг.

— Послушайте! — схватил я Федяшкина за руку. — Если вы… э… стимулируете умственные усилия других, то почему я не ощутил этого сразу, как встретил вас на проспекте? Или вы не действуете на одиночек?

Он не высвободил руки (вообще его действия отличались покорностью) и ответил смущаясь, но с достоинством.

— Отчего же… Одиночкам мне тоже удается способствовать. Но разве ваши мысли были близки к творчеству, когда мы встретились?

Он с извиняющейся улыбкой посмотрел на меня.

— Не надо, не требуйте объяснения, я его сам не знаю… Мне не удалось стать в жизни кем‑то, я лишен больших способностей, я лишь присутствую при пиршестве и тем мню себя полезным, что способствую обдумыванию вещей высоких. Здесь нет моей заслуги, что эта особенность у меня так сильна. Это, знаете ли, как голос — у кого он есть, тот поет хорошо, а у кого нет, тот и не научится, но будет хорош чем‑то другим… Прежде я робел вот так ходить к незнакомым людям, чтобы погреться самому и других согреть. А теперь и смерть близка, надо торопиться сделать должное, я и перестал бояться, что меня выгонят, как приблудного нищего, и славно все получается, а отчего и почему — не моего ума дело. И в том еще моя радость, что год от года у нас все больше костерков разгорается и ко всем мне уже не поспеть, будь я сам–десят… А в чем мое огорчение, так в том, что на нравственное‑то горение я влиять неспособен, нет к тому у меня таланта, а вот у брата моего покойного был. Эх!

— Стойте! — догадка пронзила меня. — Если существуют подобные вам люди–стимуляторы, то, значит, люди–гасители тоже есть?

— А как же, — с грустью произнес Федяшкин. — А как же, замораживатели тоже есть. Не встречали разве? Ну, вы извините, я пошел, дом мой тут рядом.

Я машинально пожал его мягкую руку, проводил взглядом округлую фигурку Федяшкина, валко переваливающуюся на плохо гнущихся ногах. И только когда он скрылся, обругал себя олухом. Я не спросил сотой доли того, что надо было спросить, не записал даже адреса!

Впрочем, это было исправимо: ведь существует адресный стол.

До конца дня я оставался — иначе не скажешь — в состоянии какого‑то ясного ошеломления. Все было стройно в моей гипотезе, за исключением одного. Бесспорно, есть люди, чье присутствие ускоряет любое дело, — я сам знал таких. Да, но их влияние всегда ощутимо конкретно. Оно в словах, жестах, смехе. Они участвуют в работе, а не присутствуют при ней! А Федяшкин только присутствовал…

Успехи науки приучили нас с любым недоумением обращаться к ученым. Так и я было решил поступить. Воображение нарисовало радужную картину того, как я звоню профессору X, академику Z, как они спешат к Федяшкину… Но тут же я отрезвил себя. Не поможет профессор X, не поможет академик Z. Люди со странными и удивительными способностями науке известны. То объявится человек, могущий быстрее электронно–счетной машины извлечь кубический корень из шестизначного числа. То придет сообщение о человеке, который никогда не спит. Много чего необыкновенного заложено в человеке, но разобралась ли наука в этом необыкновенном? А ведь тот же человек–счетчик ни у кого сомнений не вызывает: пожалуйста, вот результат его феноменальных способностей — на доске! Изучай как угодно… Изучают. Дальше что?

А Федяшкин даже так не может продемонстрировать свои способности. Они вообще не

могут быть выражены в цифрах или еще в чем‑нибудь столь же конкретном и убедительном. В Федяшкина можно верить или не верить, но вера не доказательство для науки.

Наконец я решил, что отыщу адрес Федяшкина, посижу с ним вечерок–другой, а там видно будет.

Как бы не так! Пришла верстка книги, потом я заболел, потом… Потом были какие‑то очень важные, очень срочные дела, какие — уже не вспомню, а только безотлагательные все были дела. И за ними история с Федяшкиным не то чтобы забылась, а как‑то слиняла.

И тем не менее встреча произошла.

Как и в тот раз, я столкнулся с ним на улице. Был необычно жаркий май, самое его начало, асфальт плавился под горячими лучами солнца, а деревья еще не распустились, и в знойном небе, проглядывавшем сквозь по–зимнему голые ветви, было что‑то ненормальное. Федяшкин зябко сутулился, а кисти рук сами собой втягивались в рукава. Он прошел мимо меня не заметив, и мне пришлось его окликнуть.

Он вздрогнул, растерянно покосился на меня, узнал, но словно бы издали, как если бы я был точкой на горизонте.

— Вам нездоровится? — спросил я.

— Нет, отчего же, — неуверенно произнес он. — Мне просто холодно.

— В такую жару?

— А ветер?

Невольно я огляделся. Ветра настолько не было, что полотнища праздничных флагов висели не шелохнувшись.

— Разве вы его не чувствуете? — в голосе Федяшкина послышался упрек. — Он дует… дует давно, сегодня особенно… Над древней и мудрой культурой стужа. Неужели вы… Да, да, извините! Я забыл, к вам же не доносится последний крик мысли…

— Вот вы о чем!

— Но почему, почему вы этого не чувствуете, как смеете не чувствовать? Разум замораживают, разум пытают льдом, он корчится и гибнет, а вам тепло?

Федяшкин почти выкрикнул это и, выкрикнув, обессилел. Я молчал, неловко переминаясь.

— Смерть мысли ученого еще не так страшна, — продолжал он сникшим шепотом. — Она неуничтожима, понимаете? Не будь Ньютона, закон тяготения был бы открыт, и без Эйнштейна теория относительности была бы создана, А если бы погасили Льва Толстого? Рукою нищего мы могли бы обшаривать века, но даже вечность не вернула бы нам “Войны и мира”! Никогда, ничто, никто в самом светлом будущем не восполнит таких утрат! Оттого беда! — голос Федяшкина окреп. — Оттого в ком‑то замрет человечность, в ком‑то не проснется мысль, кого‑то не согреет тепло… Но даже в науке, даже в науке! Вы представьте, как замедлилось бы все, заморозь кто‑нибудь мысли Маркса! Нет, вам не понять, что я… совсем не понять, какая мука слышать последний крик убиваемой мысли, какое безнадежное отчаяние ловить мольбу о помощи, не в силах защитить!

— Да вы успокойтесь, — сказал я, сам взволнованный.

Но Федяшкин успокоиться не мог и говорить больше не мог, он плакал, тоскливо, по–старчески всхлипывая. На нас с недоумением оглядывались.

Как ребенка подвел я его к автомату, пробившись сквозь очередь, напоил водой и хотел было отвести домой.

— Мне некогда! — воскликнул он с внезапным пылом, когда я сказал ему о своем намерении. — Я иду к тем, кто сейчас думает, не задерживайте, я должен успеть!

Насилу я уговорил его встретиться еще раз…

Не пришлось. Он умер в тот же день, упав, как я узнал потом, на бегу, — видимо, спешил куда‑то. Прохожие его подняли, соседи по квартире похоронили, потому что

ни родных, ни друзей у Федяшкина не оказалось. Словом, он умер, как и жил, тихо, и никто не заметил, что нет больше Федяшкина — человека со странной способностью усиливать мысль других. Я и сам не ощутил пустоты, только грусть и некоторое сожаление, что мой порог он не переступил ни разу, когда я работал, а теперь уже не переступит никогда.

Повесть, что мы писали тогда при молчаливом присутствии Федяшкина, имела успех, но, разумеется, никто из нас публично имя Федяшкина не помянул, один я поблагодарил его мысленно, испытывая при этом какую‑то неловкость.

И все. Жизнь богата оборванными ситуациями, незавершенными наблюдениями, встречами без начала и конца, всем тем, что не укладывается в рамки рассказа, понятно для посторонних. Мы их храним в себе, с собой и уносим.

Так бы и я поступил с этой историей, если бы не вчерашняя газета. В ней давал интервью автор одного выдающегося открытия, и там была такая строчка: “Особенно я должен поблагодарить П. П. Федяшкина, который помог мне смело подойти к проблеме”.

Больше ничего не было о Федяшкине, кроме этой строки, но меня она больно задела. Кто‑то помнил его и был ему благодарен, а мне этой щедрости не хватило. Словно я молчаливо согласился с тем, что способность помогать другим менее ценна, чем любая другая. Поняв это, я уже не мог не написать о Федяшкине, чье присутствие было так же незаметно и так же необходимо для жизни, как присутствие фермента необходимо для здоровья тела.

ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Он шел по красной, холодной равнине уже вторые сутки — вперед, только вперед. На нем был приметный ярко–синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского воздуха вторглось гудение мотора.

Он шел походкой автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Из пройденного пути в память запали какие‑то обрывки, все остальное слилось в туманную полосу, а прежняя жизнь отдалилась куда‑то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильнее болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке — он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишенного притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы изменялось, и свист ветра в ушах (точнее, в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватывал мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.

Он еще испытывал удовольствие, пересекая невысокие увалы. Подъем был некрут, он не сбавлял шага, а при спусках даже ускорял, и радовался, что холмы помогают идти быстрей, хотя это был явный самообман и он знал это. В детстве он любил воображать, что не идет, а едет, что он сам автомобиль и вместо ног у него четыре колеса. Приятно было самому себе “наддавать газ”, то есть идти быстрей, “выворачивать руль”, избегая столкновения с прохожим, и “жать на тормоза”. Сейчас он тоже казался себе машиной.

Постепенно отбрасываемая им тень удлинялась. Чем ниже опускалось солнце, тем красней делалась равнина. Склоны увалов пламенели. Но за неровностями уже копились сумерки. Они затаились там, словно бархатные лапы хищника. Ветер как‑то

незаметно смолк. Все оцепенело, и на Севергина — так его звали когда‑то, но теперь это не имело значения — повеяло той тревогой, которая предшествует приходу ночи, когда человек одинок и беззащитен среди пустыни.

Он посмотрел на солнце и почувствовал невыразимую тоску. Значит, он все‑таки надеялся в глубине души, что его спасут… Конец светлого дня означал конец надежды.

Издали от синюшных вздутий эретриума, пересекая тени, прокатилось что‑то живое, приблизилось к Севергину. Взгляд маленьких, розово блеснувших глаз зверька уколол человека. Севергин положил руку на пистолет. Но зверек, удостоверившись в присутствии чужака, не задерживаясь, побежал по своим делам. Какой‑то мудрый инстинкт, видимо, подсказал животному, что это двуногое не имеет отношения к Марсу, что оно случайно здесь, случайно живо и не случайно исчезнет еще до того, как солнце вновь окрасит равнину.

Севергин чуть не выстрелил животному вслед, так ему стало жалко себя! Кто‑то словно перевернул бинокль, и прошлое ожило. То прошлое, которое предрешило все. Почему именно его природа сделала не таким, как все? Почему, почему?

Наклонив голову и почти обезумев, он побежал навстречу крадущимся теням. Мышцы, как он и ожидал, тотчас налились свинцом, но он гнал и гнал себя вперед, точно казня свое тело.

Метров через сто он сдался. Любой другой человек его возраста и здоровья осилил бы и тысячу. А ему хватило ста, чтобы изнемочь.

Так было всегда.

Он родился неполноценным, не таким, как все. Беда была не в том, что он, скажем, не мог есть хлеба, — тысячи людей не могут есть чего‑то: кроме неудобств, это ничего не создает. Природа отказала ему в более важном — силе. Он был не болезненней других ребят, но сдыхал на стометровке, не мог подтянуться на турнике, плакал, пытаясь одолеть шведскую стенку.

Нет, ему были доступны длительные физические нагрузки, такие, как ходьба на большие расстояния. Дело было в другом. На мотор, пока он не разработался, ставят ограничитель. А вот в его организме такой ограничитель был поставлен навечно. Он не был способен на усилия резкие, требующие большого выхода энергии, как привернутый фитиль не способен на яркое пламя.

Сверстники снисходительно презирали его за слабость, а учителей физкультуры он доводил до бешенства. Если врачи ставят мальчишке диагноз “здоров”, если парень нормально сложен, то какое он имеет право, позоря их, мешком висеть на канате?! Физкультура была кошмаром детства и юности Севергина. При виде брусьев, колец он трясся, как осужденный на пытку. “Чемпион, чемпион!” — кричали ему ребята в этих пропахших потом и пылью физкультурных залах. И он заранее мертвел, зная, каким смехом (беззлобным, но оттого не менее обидным) они встретят его нелепый, позорный прыжок через “козла”.

Спас его четвертый или пятый по счету врач, к которому отвели его встревоженные родители. Этот врач тоже не нашел ничего ни в сердце, ни в легких, но не пожал плечами, не посмотрел на мальчика как на симулянта, а спокойно сказал:

— Отклонения в обмене веществ, похоже, генетические. Пока неизлечимо. Не огорчайтесь. Футболистом вам не быть, а в остальном… В пещерные времена вас скушал бы первый же тигр, но какое это имеет значение сейчас? Так что не обращайте внимания.

Кошмар рассеялся навсегда.

Вот чем все это кончилось — печально гаснущей равниной Марса, сумасшедшим бегом от самого себя…

Севергин заставил себя лечь, устроил ноги повыше, чтобы они лучше отдохнули. Эти простые движения успокоили его. Вспышка отчаяния вернула ему трезвость.

Он сам во всем виноват, обвинять некого. Он сам бросил судьбе вызов, отправившись

на Марс. Не так, разумеется, как в детстве, когда, ревя от злости, он вновь и вновь хватался за штангу, чтобы или поднять ее, или свалиться замертво. О, о таких схватках прославленный доктор микробиологии и думать забыл! Он уже давно жил в мире, где все решал ум, а физические достоинства не имели значения. Там он был на месте, более чем на месте. Не удивительно, что именно его, а не другого попросили срочно прибыть на Марс, чтобы разобраться в тревожном поведении кристаллобактерий, необъяснимо преодолевших фильтры водоочисток. Плевать всем было на то, может он или нет подтянуться на турнике: Марсу требовался его ум, а не мускулы.

Он мог бы отказаться, но не сделал этого. Избранником прийти на Марс, приблизиться к тому переднему краю, где человек ведет суровую борьбу за выживание, — мог ли он отказаться от столь блистательного реванша за унижения детства? Чтобы почувствовать себя таким избранником, надо было закрыть глаза лишь на ничтожный пустяк. А именно: никто — ни люди, ни обстоятельства — заведомо не требовал от него на Марсе рукопашного боя с природой. Там, как и на Земле, он оставался пассажиром корабля, именуемого цивилизацией, и от штормов его отделяли надежные иллюминаторы.

Возможность аварии исключалась. Разве капитан, беря пассажиров на борт, справляется об их умении плавать?

…Он летел из Сезоастриса в Титанус, сидя в мягком кресле крохотной автоматической ракеты, которая сама взлетает, сама садится и вообще все делает сама. Он сидел в кресле и читал. Очнулся он, лишь когда увидел приближающиеся снизу скалы. Он не заметил и теперь никогда не узнает, что испортилось в механизме. Но и падая, ракета позаботилась о нем: катапульта вышвырнула его, прежде чем он успел сообразить, что произошло.

Одного не смогла сделать автоматика — уберечь его при парашютировании от удара о скалу (но ведь и самая заботливая мать не всегда оберегает ребенка от ушиба!). К счастью, удар пришелся не по Севергину, а по сумке с аварийным запасом. Рация превратилась в винегрет, посеребренный осколками кофейного термоса, но все остальное уцелело, в том числе и драгоценная план–карта, позволяющая точно определяться в любой местности.

Он определился, как только пришел в себя. Все было и очень хорошо, и очень плохо. Он находился в южной части хребта Митчелла, в стороне от трассы, которой следовала ракета, и вне зоны радарного наблюдения. Это означало, что место его падения Сезоастрису не удалось засечь даже приблизительно. Зато он был всего в ста шестидесяти километрах от поселка геологов. Баллоны скафандра и аварийного запаса обеспечивали тридцать шесть часов дыхания. Таблетки, снимающие сон, тоже были. Гористая местность кончалась километрах в семи от места падения, и горы тут были не слишком крутыми, не слишком высокими — вполне туристские горы. Прекрасно! Часов за шесть он пересечет горы, дальше начнется равнина, где вполне можно держать среднюю скорость равной пяти с половиной километрам в час, Он успеет дойти. Ведь идти — не бежать, тут его организм не подведет.

В какой‑то момент он даже обрадовался: он на самом деле возьмет реванш!

Он рассеял вокруг места аварии приметную сверху флюоресцирующую краску и бодро двинулся в дорогу.

Он забыл, что даже в невысоких горах, если не хочешь удлинить свой путь впятеро, надо кое–где карабкаться отвесно вверх, перепрыгивать через трещины, подтягиваться на руках, то есть делать все то, что делать он был не способен.

На преодоление первых семи километров ушло пятнадцать часов, тогда как любой парень со значком туриста потратил бы на его месте от силы шесть–восемь!

Дальше он шел, уже зная, что дойти не успеет.

…Маленькое марсианское солнце коснулось края равнины. Севергин встал. Его вытянувшаяся тень скакнула за горизонт. Надо было идти, чтобы ритм движения усыпил разыгравшиеся эмоции.

Он не прошел и километра, как равнина потускнела. Но в вышине неба одно за другим вспыхивали незримые днем перистые облака, будто кто‑то трогал их, беря аккорды цветомузыки. Золотистые, лиловые, красные — тона были нежные, легкие, высокие, они

плыли в фиолетовом хрустале неба лепестками прозрачных цветов.

Севергин поднял голову и шел так, улыбаясь чему‑то, поражаясь тому, что улыбается, и желая себе вечно быть таким, как сейчас.

Не надо спорить с природой — он только теперь это понял. Не надо требовать от нее уюта диванных подушек, надо брать то, что она дает, и любить каждое мгновение своего существования, ибо вдали у каждого все равно смерть. Так стоит ли ненавидеть жизнь за то, что она не вполне соответствует желаниям? Камень падает, река течет, человек ищет счастья, все совершается по своим законам, их надо понять, а спорить — к чему?

Севергин незаметно для себя перешел тот рубеж, который отделяет отрезок жизни, не омраченный близящейся смертью, от последней прямой, когда точно известен час ее завершения. Разные люди пересекают этот рубеж по–разному, но все они открывают за ним что‑то новое для себя — страшное, великое, в чем есть и ужас и примирение.

Небо почернело, но темнота длилась недолго: поднялся Деймос. Почва слегка засеребрилась, и холодок, охватывавший колено при каждом шаге, когда ткань натягивалась, сделался ощутимей. Севергин усилил электрообогрев.

Равнина стала плоской, как разостланная скатерть, но кое–где ее узкими мазками туши пятнали тени, отброшенные редкими стрелками сафара — унылой порослью марсианской травы. Неожиданно Севергин заметил, что старается не наступать на них, и удивился, откуда взялся у него этот бережный инстинкт.

Потом он вспомнил откуда. Как‑то в хмурый и ветреный апрельский день он шел дубовым лесом. Деревья стояли по–зимнему нагие, корявые, землю устилали ломкие листья, и под ногами хрустели желуди, такие же коричнево–серые, как и листья. Приятно было слышать, как хрустят под ногами желуди. В этом звуке отзывалась мощь шагов уверенного в себе человека, вес его здорового, сильного тела. Так шел он, пока среди жухлой травы ему не бросилась в глаза какая‑то бледно–зеленая звездочка. Он с удивлением нагнулся: то оказался росток желудя, уже вцепившийся в холодную землю. И он увидел, что вокруг много таких звездочек, что они везде и что шагал‑то он по ним. На цыпочках он поспешил покинуть лес.

Как тогда, Севергин остановился и нагнулся перед стрелкой сафара. Почему‑то рассмотреть травинку показалось ему делом более важным, чем все другое.

Стебель сафара был похож на ржавую проволоку, косо воткнутую в мерзлый грунт. Он был прочней стальной проволоки, его нельзя было раздавить, как желудь, Севергин это знал. Но сафар так же ждал часа своего пробуждения, как и желудь. В этой разреженной, бедной кислородом и теплом атмосфере ему тоже была уготована весна. Он не прозябал, он прекрасно жил в среде, смертельной для всего земного, если только оно не было ограждено скафандром или стенами теплицы.

С этим тоже следовало смириться.

Внезапно от стебля сафара пролегла вторая тень, тонкая, как вязальная спица. Всходил Фобос.

Севергин выпрямился. Его окружала ярко освещенная равнина. Узкие, сдвоенные тени лежали на ней черной клинописью. Севергин, осеребренный лунами, возвышался над темными письменами как памятник.

И все‑таки рядом с ним была жизнь. Сколько раз, вглядываясь в резко очерченное поле микроскопа, он восхищался ее стойкостью! Часто предметное стекло напоминало поле битвы — так густо усеивали его трупы бактерий, убитых ядами, ультрафиолетом, радиацией. Ни проблеска движения, вот как сейчас. Но это был обман. Один организм из миллионов, один из миллиардов нередко оказывался цел и давал начало новой мутационной расе. То неведомое, что отличало его от всех, торжествовало победу над обстоятельствами и отвоевывало для жизни новую сферу там, где, казалось бы, не существовало никакой зацепки.

Так было всегда. Никакая ошибка в природе не была ошибкой. Зародившись в воде, земная жизнь овладела сушей, вышла в воздух, спустилась в глубины пластов. Кто знает,

может быть, через сотни миллионов лет и без человека ее давление выбросило бы семена новых всходов в космос, перенесло их на другие планеты? Почему бы и нет? Суша для обитателей моря тоже была гибельной пустыней. Но волна за волной, влекомые обстоятельствами, они шли на приступ, и на триллионы погибших всегда приходились одиночки, не такие, как все, которые смогли уцелеть в новой среде.

Единственный случай, когда их существование оправдывалось! Ибо в привычных условиях эти же десантники скорей других обрекались на гибель. Когда стая птиц попадает в буран, то смерть выбирает жертвы не слепо. Выверенный миллионами лет эволюции стандарт может противостоять бурану именно потому, что в его отшлифовке участвовали тысячи буранов прошлого. Но горе тем, кто нестандартен!

Он, Севергин, был нестандартен, и потому горы победили его, а не он их. Техника позволила людям почти избежать потерь при движении к другим мирам. Если бы она всегда была безотказной, потерь не было бы вовсе, но, увы, щит не был и не мог быть абсолютным…

Севергин внезапно понял, почему из всего, о чем он мог думать в свои последние часы, он думал об этом. Бессознательно, невольно он искал утешения. Разум не может смириться ни с бессмысленностью жизни, ни с бессмысленностью смерти. Так он устроен. Как будто от этого легче!

Безбрежная тишина стояла вокруг него. Луны сблизились и смотрели с высоты пристально, как два глаза. Всякое движение в этом замершем мире казалось святотатством. Севергин ускорил шаг.

Теперь он не сделает этого. В ту минуту, когда начнется удушье, он не вынет пистолет и не застрелится. Живым не все равно, как он погибнет. Что‑то больно ударит по друзьям, если его найдут с дыркой в сердце. Пример малодушия? Не то… Просто человек обязан бороться до последнего вздоха. Как борется трава, как борются бактерии. Мера стойкости человечества зависит от меры стойкости каждого, вот и все.

Теперь он шел и думал о друзьях, о тех, кого любил, о том, что сделал и чего не сделал. Многое из того, что раньше казалось важным, стало теперь совсем неважным. Слава, власть, успех. Они не опора человеку, когда приходит смерть. До нее и после человек жив тем хорошим, что сделал он для людей. Лишь дружба, благодарность и любовь могут поддержать и успокоить, когда наступает время подвести итог. Особенно любовь.

Сейчас он стал бы жить совсем–совсем иначе, если бы это было возможно!

Поздно.

Фобос закатился. Подул ветерок, уже предрассветный. Значит, он дождется утра. Почему‑то ему хотелось, чтобы это случилось при свете солнца.

Но тут в регуляторе давления воздуха трижды щелкнуло.

Он похолодел. Сигнал, предупреждающий, что кислород иссякнет через десять минут. Конец.

Немеющие ноги сами усадили его на побелевший от инея камень. Небо у горизонта чуть поблекло, но до восхода солнца было еще далеко.

Может быть, выключить обогрев и замерзнуть? Говорят, что это походит на сон.

И вдруг ему невероятно, по–звериному захотелось жить! Он не успел, недоделал, не исправил, недолюбил — он не мог исчезнуть просто так!

Он вскочил. И задохнулся. Словно ко рту прижали маску! И все же пошел. Легкие вздымались и опадали — чаще, чаще, — их сводила боль, горло сжалось в хрипе, он упал на колени и все равно пополз. И когда сознание потемнело, а тело забилось в конвульсиях, он рванул шлем и глотнул марсианского ветра, как тонущий глотает воду, потому что не глотнуть ее он не может.

В легкие прошел холодок, боль последней вспышкой озарила мозг, и все погасло.

Погасло, чтобы снова замерцать. Он очнулся от судорог, выворачивающих легкие, и увидел перед глазами что‑то красное, колышущееся.

С невероятным усилием он поднял голову. Было уже светло. И он полз! И он дышал

марсианским воздухом! Его организм был не таким, как все: он выжил!

Он даже не осознал этого. Он продолжал ползти. Он полз яростно, упорно, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, все вперед и вперед, туда, где были люди.

ДОРОГА БЕЗ ВОЗВРАТА

— Это уже чересчур, — сказал Кайзер, непроизвольно пятясь.

Роэлец держал в руке кусок полупрозрачного гипса. От него сами собой быстро–быстро отлетали песчинки, словно кто‑то долбил его кончиком невидимого ножа. Затем — опять же без внешних признаков вмешательства извне — в гипсе возникла вмятина, и он на глазах у потрясенных путешественников превратился в чашу. Осоргин машинально щелкнул фотоаппаратом. Роэлец, все так же застыв в неподвижной позе, перевел взгляд на ближайшее дерево. Оно немедленно согнулось в дугу, самая толстая ветка повисла над новоявленным сосудом, и из нее ударила струйка прозрачного сока.

Роэлец протянул наполненную чашу Кайзеру.

— Уверяю вас, это вкусно, — сказал Блинк.

— Какого черта, — прошептал Кайзер. Несмотря на жару, его била дрожь. — Тут не во вкусе дело…

— Надо выпить хотя бы из вежливости, — вмешался Осоргин. — Тем более Блинк гарантирует…

— При чем тут гарантии! — досадливо передернул плечами Блинк. — Важно сохранить достоинство. Впрочем, и это чепуха… Можете не пить, роэлец не обидится.

— Нет, я выпью, — Кайзер осушил сосуд.

Все еще склоненное дерево тотчас разогнулось, и его вершина маятником заходила в ослепительной синеве неба. Лицо Кайзера раздвинула блаженная улыбка.

— Это действительно вкусно… Это потрясающе вкусно! Но всего этого просто не может быть. Роэлец изумительно владеет внушением, вот и все.

— Да? — Блинк сухо рассмеялся и щелкнул пальцами. — Хотите, я попрошу его тем же способом отодрать у ваших сапог подметку? Быть может, ходьба босиком по сельве разубедит вас.

Кайзер насупился.

“Опять этот спор!” — с досадой подумал Осоргин. Он отошел и сел на камень. Слишком жарко. И слишком удивительно. На голой и пыльной земле сидит голый роэлец и запросто творит чудеса. И ничего ему не надо, так, по крайней мере, уверяет Блинк. Вот и разберись, что тут к чему.

— Не станете же вы утверждать, — ядовито говорил тем временем Кайзер, — что роэлец воздействует на окружающее силой мысли?

— Слушайте, Кайзер, мы тоже воздействуем на окружающее силой мысли. Это вас почему‑то не удивляет.

— Вы неправильно меня поняли! Разумеется, человек сначала задумывает что‑то, а потом осуществляет задуманное. Но руками. Или машинами.

— Дорогой Кайзер, если вы разрешите мне погрузить вас в гипнотический сон, то, не притрагиваясь к вам, всего лишь несколькими словами я вызову на вашем теле ожог. То есть произведу вполне очевидное для вас и, к сожалению, болезненное прямое воздействие.

Голоса споривших жужжали, как осенние мухи. Осоргин встал.

— О чем вы спорите? О чем? Это бесцельно. Органы чувств можно обмануть фокусом. А еще есть такое явление — гипноз. Необходимо объективное свидетельство. Но пленки мы сможем проявить только в городе. К чему же тогда теоретизирования?

— К тому, — почти воскликнул Блинк, — что, пока мы доберемся до города и вернемся обратно, роэлец исчезнет! С ним вместе скроется тайна, кто знает, еще на сколько лет? Я верю, что роэлец нас не обманывает, а Кайзер не верит. Но от степени доверия к моему мнению зависит, останемся ли мы здесь или тронемся дальше.

— Мы имеем план и задачи, — твердо сказал Кайзер. — Долг требует от нас…

— Короче говоря, — перебил Блинк, — ваш голос, Осоргин, решающий.

Осоргин ничего не ответил. Прохлады не было даже в тени, мокрая рубашка прилипла к телу, а вот роэлец сидит на солнцепеке, и на его коже ни бисеринки пота. Положим, ничего удивительного, что туземец гораздо лучше приспособлен к местному климату. И все‑таки есть в роэльце что‑то необычное. Когда человек сидит неподвижно, то все равно в этой неподвижности есть жизнь. И в неподвижности дерева тоже. И в неподвижности реки. Роэлец же ничем не отличался от каменной глыбы. Можно было подумать, что он не дышит. Но хуже всего — глаза. Так могли бы блестеть листочки слюды. И непонятно, куда устремлен этот невидящий, застывший взгляд и устремлен ли он вообще куда‑нибудь.

Луч солнца проколол листву. Осоргин, почувствовав на щеке ожог, невольно мотнул головой. Мысли окончательно спутались.

Нетерпение придало узкому лицу Блинка страстность художника, завороженного шедевром. Он нервно переступал с ноги на ногу, как будто ему жгло пятки. Кайзер неторопливо курил сигару, спокойный, уверенный в своей правоте. Позади них сидел ко всему равнодушный роэлец.

— Вот что, друзья, — Осоргин облизал губы, и они тотчас пересохли снова. — Тут надо взвесить. Сейчас мы слишком под впечатлением… — Осоргин запнулся, —…увиденного. Отложим до вечера.

— Правильное решение, — кивнул Кайзер. — Надо обсудить всесторонне.

— Трусость, — зло сказал Блинк. — Трусость и уязвленная гордость. Мы заранее отбрасываем все, что выше нашего понимания. Так спокойней.

— Умоляю вас, хватит! — взмолился Осоргин. — Вечером, когда спадет жара… Можете тогда спорить хоть до упаду.

“Тропический наркоз, — устало подумал он. — Может ли такое быть? Здесь все слишком фантасмагорично. Это раскаленное солнце, эта неистовая, сумасшедшая зелень, эти ночи, лиловые от беспрестанного мигания молний, эта рискованнейшая переправа через Коррирочу… Необычное стало будничным, и я не могу отделаться от впечатления, что здесь все возможно. Даже роэлец с его нечеловеческим искусством. Так легко ошибиться. Подпасть под влияние… Неправильно оценить… В конце концов даже хронометр подвержен воздействию среды. А мозг все‑таки не хронометр…”

В десятом часу, когда вечерний воздух чуточку посвежел, они по молчаливому уговору собрались у костра.

Их отряд уже три месяца был в сельве, исследуя, может быть, в последний раз этот затерянный клочок Земли, так как вскоре здесь должно было разлиться Амазонское море. Этот глухой уголок исследовался не только в последний, но и в первый раз — до них здесь не было экспедиций.

Кайзер, Блинк, Осоргин скорей всего так никогда бы и не столкнулись с роэльцем, если бы не опасение, что какое‑нибудь малочисленное племя не знает о предстоящем затоплении. Это было, конечно, маловероятно, так как совершенно изолированных племен не существует даже в сельве и известия распространялись здесь не хуже, чем слухи в цивилизованных странах, но игнорировать такую возможность все же не следовало.

Роэльца они кашли с помощью индейцев–проводников, которые, выследив его местонахождение, сами, однако, не рискнули к нему приблизиться. Где находились соплеменники роэльца, никто не знал. На переговоры отправился Блинк, который отлично владел местными наречиями, чего нельзя было сказать о других участниках международной экспедиции.

Блинк встретился с роэльцем — и потерял покой. Он только о нем и говорил, только им и занимался в ущерб всем остальным обязанностям. Это не могло не вызвать конфликта.

— Считаю наш симпозиум у костра открытым, — сказал Осоргин и, заметив усмешку Кайзера, добавил: — Именно так — симпозиум. Для начала Блинк изложит свои

соображения. Если угодно — сделает доклад. Вас, Кайзер, я попрошу не перебивать.

Блинк вскинул голову.

— Благодарю, — он поклонился. — Я буду краток. Науке о племени роэльцев до сих пор ничего не было известно. Это объясняется как малочисленностью племени, так и его изолированностью. Случайные исследователи, побывавшие в окрестностях изучаемого нами района, подобно Кайзеру, не склонны были верить фантастическим слухам, хотя Сетонио, насколько я знаю, пытался их проверить. Но ему не повезло. Роэльцев он не нашел и объявил, что само это племя — миф.

Мы убедились, что не миф. Уже по одной этой причине имело бы смысл задержаться. Предвижу возражения Кайзера: мы не этнографы. Но до прибытия этнографов здесь успеет возникнуть море; где потом искать роэльцев?

Однако дело даже не в этом. Сегодня я попросил роэльца показать вам, на что он способен. Вы были ошеломлены, но тотчас убедили себя, что это всего лишь ловкий трюк. Ладно, допустим, трюк. Племя фокусников. Или гипнотизеров. Вам и это неинтересно?

Повторяю, однако, что трюком здесь и не пахнет. Уже три дня я изучаю роэльца, и чем дольше изучаю, тем меньше понимаю. Они не охотятся: дичь сама прибегает к ним и…

— И сама себя свежует, — вставил Кайзер.

— К порядку! — Осоргин постучал палкой по головне, выбив при этом сноп искр.

— …И я мог бы долго перечислять все чудеса (или, по мнению Кайзера, “фокусы”), которыми они владеют, — закончил Блинк. — Но есть вещи, на мой взгляд, более важные. Необычные способности роэльцев — не дар природы. Это искусство, которому учатся и которое тесно связано с весьма фантастическим, но стройным миропониманием.

Что, кроме предвзятости, мешает вам принять мою гипотезу? Никакие законы природы не пересматриваются; колеблется лишь наша самоуверенность. Ну и черт с ней! Разум — это наиболее сложно организованная форма материи. Мы не мним себя всеведущими, когда речь идет о таком простом явлении, как атомное ядро. Зато мы “точно знаем”, на что разум способен, а на что нет. Так же “точно” ученые прошлого века знали, что в веществе не заключена никакая другая энергия, кроме химической. До каких же пор мы будем повторять одну и ту же ошибку?!

— Спокойней, Блинк, спокойней, — сказал Осоргин.

— Я говорю спокойно. Все возражения Кайзера сводятся к одному: человечеству неизвестен способ прямого воздействия мысли на окружающий мир. А раз неизвестен, то он не существует и существовать не может. Но это не доказательство.

— Вы кончили? — хмуро спросил Кайзер. Он сидел, опустив подбородок на сцепленные пальцы и уперев локти в колени. Было что‑то несокрушимое в этой его позе. — Кончили? Теперь скажу я. Я не спорю, что на свете существуют племена, обладающие искусством знахарства и гипноза. Это не ново, равно как и йоги. Но! Обо всем этом наука знает давно, и легенды, одна невероятней другой, известны науке тоже. Вопрос: если эти легенды справедливы пусть даже отчасти, почему мировая наука не смогла извлечь из них ничего принципиально нового? Подчеркиваю: принципиально нового.

Ответ можно дать только один. Мировая наука потому не смогла извлечь ничего принципиально нового и ценного, что ничего такого там не было и нет. Как нет ничего важного для науки в искусстве фокусников, например. Я могу оказаться догматиком, Осоргин, но вся мировая наука… О, это невозможно! Она искала долго и упорно, однако нельзя найти того, что не существует, и мой довод доказывает это.

Позволю себе и такое соображение. Если действительно есть люди, владеющие недоступным науке могуществом, то почему они остались париями? Ими не создано ничего, они наги и босы, здесь есть вопиющее логическое противоречие, на которое я обращаю ваше внимание. Мои возражения не исчерпаны, но я сказал достаточно. Предлагаю вернуться к реальным делам.

Кайзер шевельнулся, и по его раскрасневшемуся лицу пробежали тени. Блинк молчал.

— Скажите, — обернулся к нему Осоргин. — Этот роэлец… он всегда молчит?

— Нет, — ответил Блинк нехотя. — Я разговаривал с ним.

— Он что‑нибудь объяснял?

— Да. Но я не могу понять его объяснений. Он сказал, что и нельзя понять без…

— Обманщики не любят делиться секретами, — уронил Кайзер.

Блинк горько усмехнулся.

— Он готов объяснить все… этот обманщик. Но для этого необходимо еще и понимание. “Вы младенцы в нашем искусстве, — он так примерно сказал. — Разве своей науке вы научились за день?” Он прав. Я уже взял у него несколько уроков. Но этого мало.

— Да? — сказал Осоргин. — Взяли несколько уроков? Как же это выглядело?

— Это выглядело странно. Сначала я должен был думать о каком‑нибудь предмете. Дереве, например. Только о нем. О том, какой толстый у него ствол, как темно и сыро его корням, как трепещет его листва…

— Детский сад, — буркнул Кайзер.

— А потом что? — спросил Осоргин.

— Я должен был стать деревом. Мне надо было отождествить себя с его телом, я должен был почувствовать, как в дереве идут соки, как жар солнечных лучей опаляет мои, то есть дерева, листья, как трудно мне вытягивать из земли воду, как ветер гнет мои ветки… Знаете, это очень своеобразное ощущение. Ведь мы никогда не пытались стать чем‑то. Под конец я на какое‑то мгновение действительно почувствовал себя деревом. Во мне даже что‑то заболело, когда я представил, как жуки–точильщики вгрызаются в ствол.

— У деревьев отсутствуют нервы, — сказал Кайзер.

— Неверно! Какая‑то нервная система у них есть, это доказано. И я это почувствовал на себе. Повторяю. Я испытал боль дерева. Вы скажете, что это обычное самовнушение. Разумеется, но должен сознаться, что такой боли я еще никогда не ощущал…

— Ладно, — перебил Осоргин. — Детали вы расскажете потом. Что было дальше?

— Дальше… Только не смейтесь! Мне надо было отождествить себя со звуком. Со звуком “о”. Выключившись из действительности…

— Каким способом?

— Я описал его вам. Так вот: выключившись из действительности, я должен был монотонно повторять про себя “о, о, о, о!”. Роэлец предупредил, что этот урок опасен. Что человек иногда не в силах сам выйти из стадии отождествления со звуком и что поэтому урок должен обязательно идти в присутствии учителя. Услышав это, я чуть было не рассмеялся, но потом… — голос Блинка дрогнул. — Потом я растворился в звуке, — прошептал он, и его зрачки сузились.

Худой, высокий, он сидел с побледневшим лицом, и блики огня то выхватывали за спиной смутную громаду леса, то прятали ее во мрак, как в засаду.

В костре треснула ветка. Кайзер скрипуче рассмеялся.

— У вас слишком богатое воображение, Блинк, — проговорил он, не вынимая трубки. — Как можно раствориться в звуке?

— Можно, — Блинк очнулся. — Можно утонуть. Исчезнуть. Раствориться. Я потерял свое тело. Я не чувствовал его. Ничего не видел. Был только огромный, бесконечный, черный звук. Я не могу выразить это словами. Таким был последний урок.

— Теперь я окончательно убежден в шарлатанстве, — сказал Кайзер.

Осоргин покачал головой.

— Если долго повторять слово, любое слово, оно лишается смысла. И тогда сознание заволакивается пустотой. Блинк, мне все это не нравится.

— Да или нет? — воскликнул Блинк. — Да или нет?

— Подождите, Блинк. Попробуем рассуждать непредвзято. В толще веков погребен огонек истинных знаний, итог опыта тысяч поколений, результат бесчисленных и бессистемных проб, ошибок и открытий. По он светит нам сквозь клубы плотного, часто удушливого дыма суеверий, фантастических обрядов, легенд и ритуалов. Как в случае с

роэльцем, возможно. Высокомерно пройти мимо, походя бросив несколько фраз о “дикости” и “суевериях”? Такой снобизм по отношению к опыту наших далеких предков — да, искаженному! да, внешне порой нам чуждому! — непростителен. Не мне объяснять вам, что уже получила наука, пробившаяся к огню сквозь клубы дыма. Великое множество рецептов, гимнастика йогов, их методы управления своим организмом, приемы самовнушения, того же гипноза… Блинк, вы, по–моему, чересчур увлечены гипотезой, которая — Кайзер абсолютно прав — противоречит всей совокупности наших знаний. Но право искать неотделимо от права ошибаться. Можно поступить так: мы с Кайзером продолжим маршрут, а вы останетесь изучать роэльца. Такое предложение, я думаю, не вызовет спора. И все же…

— И все же? — насторожился Блинк.

— Я бы не советовал вам оставаться.

— Вы не верите или боитесь?

— И то и другое.

— Чего вы боитесь?

— Не знаю, Блинк, не знаю… Что‑то во мне протестует против вашего намерения. Я не могу объяснить природу этого… страха. Да, да, страха и отвращения.

— Вы непоследовательны, — быстро сказал Блинк.

— Какие же мы, однако, дети, — укоризненно покачал головой Кайзер. — Это на нас действует темная ночь. Ночь и тайна, при свете дня все будет выглядеть проще. Насчет древней мудрости, которую надлежит изучать, я вполне согласен с Осоргиным. Но крайности! Я возражаю против крайностей. И повторяю, что прямые цели экспедиции важнее побочной экзотики. Однако мои доводы не подействовали. Пусть будет по–вашему. Но при чем здесь страх? Через месяц мы вернемся и, убежден, застанем Блинка злым и трезвым. Злым, потому что ему будет жаль потерянных сил, трезвым… Ну, это понятно.

Блинк просиял.

— Хорошо! — он вскочил, словно ему уже не терпелось бежать к роэльцу. — Спасибо, Осоргин, спасибо. Кайзер. Я не пожалею о потраченном времени. Пусть Кайзер тысячу раз прав. Но я, как ученый, обязан понять, что же это такое. Я должен пройти путь до конца. Если там, в самой глубине тайны, окажется пустота, что ж, я смирюсь с этим. Но я вернусь к вам с истиной.

— Вот это речь ученого, — Кайзер выколотил трубку и тоже встал. — Уже поздно. Спокойной ночи.

— Все‑таки мне тревожно, — сказал Осоргин, когда Кайзер удалился и поскрипывание его сапог замерло в темноте. Осоргин взял Блинка под локоть и почувствовал, как у того напряглись мышцы. — Ведь и вам не по себе, а?

Блинк высвободил руку и принужденно рассмеялся.

— Вы зря себя пугаете, Осоргин. Зачем роэльцу причинять мне вред? Люди в одиночку переплывают океан, а тут… Кайзер прав, надо лечь спать. До завтра.

Осоргин долго не мог уснуть в эту ночь. Его не покидало странное чувство. Хмурое небо севера, каменные громады городов, тишина рабочего кабинета, все прошлое, что было в его памяти, воспринималось сейчас как старый, поблекший от времени кинофильм, где действовал человек по имени Осоргин, тогда как настоящий, живой Осоргин лежал в гамаке, слушал протяжные, тревожные крики леса, видел поляну, меловой диск луны в прозрачном небе, белые, как сугроб, лагерные палатки, черные клинья теней, ощущал влажное тепло неподвижного воздуха, и тем не менее все это тоже было ненастоящим. Декорация какой‑то чужой жизни, куда он случайно забрел и которая никогда не станет его жизнью, а растворится, исчезнет, едва он ее покинет.

Он приложил к уху часы. Они тикали, как всегда, и в этом тиканье было надежное постоянство, была неизменность, и это успокаивало. “Что за удивительная вещь — сознание, — беспокойно думал Осоргин. — На нас влияют шорохи, лунные блики, слова, звезды. Все влияет! Могучее, словно божество, слабое, как огонек свечи на ветру, изменчивое, подобно волне, упрямое, как травинка, твердое, будто алмаз, — это все оно, сознание. Понятное в

своей каждодневности, загадочное в своей неисчерпаемой сложности и вечно задающее себе вопрос: “Что я такое?” Отождествi себя с деревом… Отождествi себя со звуком… Ведь это тоже попытка найти ответ! Были и другие попытки: растворись в вере… прими бога…

Попытки, вслед за которыми захлопывалась дверца западни: ответ найден на все вопросы бытия, нечего больше искать, не о чем думать — мысль умерла. Да, вот это меня и пугает. Опыт на себе. На своем сознании. Нет, не это! Ученые ставили, ставят и будут ставить опыты куда более опасные, чем эксперимент Блинка. Что же тогда? Страстная увлеченность Блинка! Опять не то… Без увлеченности, без одержимости не было бы науки… А мера где? Исчез критицизм, и увлеченность уже ослепление, одержимость — фанатизм… Блинк… Да что это я! Спать надо, вот что. Не думать, а спать, спать…”

…Ночью думается иначе, чем днем, и, когда Осоргин встал с рассветом, ночные мысли показались ему преувеличенными и неуместными. Утро было насыщено деловыми хлопотами, перед походом надо было позаботиться о тысячах мелочей, так что прощание скомкалось. Блинк долго махал им вслед, и, в последний раз обернувшись, Осоргин лишь ободряюще кивнул ему перед тем, как скрыться в сумраке леса.

Вышли они из него обратно через несколько недель. За это время было столько пережито и сделано, что новые впечатления, как это всегда бывает, не то чтобы совсем заслонили воспоминания о роэльце, но лишили их былой остроты. Однако чем более они приближались к старому лагерю, тем сильней овладевало ими нетерпение поскорей увидеть Блинка, и последнюю милю они как могли ускоряли шаг, радуясь предстоящей встрече, горя желанием рассказать за чашкой кофе о своих приключениях и услышать о чужих, которые уже заранее казались им более бедными, чем их собственные.

Наконец сумрачный свод леса, в чьей зеленой вышине гас даже шум ветра, был прорван потоками света, и полуослепшие путешественники увидели пышущую жаром поляну с одинокой палаткой возле кустов.

— Э–гей! — дружно закричали они. — Э–ге–гей! Блинк–роэлец, появись!

Поляна ответила безмолвием.

— Блинк не стал лежебокой, — заметил Осоргин.

Они с наслаждением скинули рюкзаки, дали указание носильщикам разбить лагерь и лишь потом заглянули в палатку.

Едва они откинули полог, как в ноздри им ударил кислый запах плесени. Вещи были свалены кое‑как, разбросаны, их покрывал липкий зеленоватый налет. Там, где вещей не было, днище палатки вздувалось пузырем. Из крохотной прорехи уже торчал тонкий и бледный стебель.

Шурша, полог выскользнул из рук Осоргина. С подавленным вскриком Кайзер метнулся назад.

— Винтовки! Скорей!

Глупо было спешить, глупо было хвататься за оружие, но Осоргин повиновался, как во сне, потому что действие — любое действие — было в эту минуту спасением.

Крикнув индейцам, чтобы те прочесали опушку леса, Кайзер и Осоргин, не сговариваясь, влекомые скорей инстинктом, чем разумом, схватили винтовки и бросились бегом к тому месту, где в последний раз видели роэльца. Трава, кусты, ветви деревьев хватали их, как петли силка. В этом безумном беге тоже не было никакого смысла, и все же они спешили так, словно это могло воскресить Блинка. Обессиленные, исцарапанные, они буквально опрокинули последнюю завесу кустов.

— Он здесь! — зарычал Кайзер. — Роэлец!

Хотя поблизости ветер колыхал тенистые кроны деревьев, роэлец сидел на самом солнцепеке — обнаженный, серо–коричневый, немигающий. Сидел с неподвижностью камня, лицо его было бесстрастней черепа.

Но это не был роэлец. На Кайзера и Осоргина в упор смотрели невидящие глаза Блинка.

По телу Осоргина волной прошел холод.

Не чувствуя ног, он сделал несколько шагов вперед, мельком заметив, что лицо Кайзера стало красным от напряжения.

— Блинк, — едва услышав себя, прошептал Осоргин. — Блинк! — Его голос внезапно сорвался в крик. — Что с тобой, Блинк?!

Губы Блинка приоткрылись, как щель, и из черноты рта выпали чужие, равнодушные слова:

— В твоем вопросе нет смысла, человек. Маленькому знанию не понять большого.

— Он бредит! — вскричал Кайзер. — Блинк, дружище, у меня во фляжке коньяк, глотни…

Осоргин удержал руку Кайзера.

— Подожди… Дело серьезней… Блинк, ты узнаешь нас?

— Вы оболочка слабого духа. Я лучше вас знаю, кто вы.

Осоргин сглотнул комок в горле.

— Ты прошел обучение до конца, Блинк?

— Я посвящен.

— И теперь?..

— Знаю все. Понимаю все. Повелеваю всем. Настоящий Блинк есть мир, и мир есть подлинный Блинк. Единство, вам недоступное.

— Ты был исследователем, вспомни! Ты пошел на это ради эксперимента. Ты хотел узнать и вернуться… Вспомни!

— Ваша наука — детская забава. Знания здесь.

— Тогда расскажи о них!

— Маленькому знанию не понять большого.

— Не тот разговор! — рассвирепев, Кайзер отстранил Осоргина так, что тот пошатнулся. — Он же сошел с ума, разве не видишь?! Я отнесу его в лагерь.

Раскинув руки, Кайзер шагнул к Блинку и наклонился, чтобы взять его в охапку. И вдруг замер. Его красное лицо покраснело еще сильней, поперек лба вздулась вена, напрягшиеся мускулы рук заходили от страшного напряжения — напрасно. Яростное усилие не приблизило его к Блинку ни на волос.

— Не старайтесь, — прошелестел бесцветный голос Блинка. — Вы тысячи лет будете искать истину, которой я уже владею. Смирите гордость мнимых владык земли, маленьких и несчастных, и идите ко мне…

— Нет!!! — Кайзер откинулся назад и едва не упал на спину. — Сумасшедший, сумасшедший, сумасшедший!

— Тогда прощайте. Бойтесь злых влияний бурного солнца, что сеют болезнь ума, и знайте: людей объединяют незримые и сверкающие волны. Несчастье передается, счастье передается, зло передается, добро передается волнами. Примите эту каплю знаний в подарок и уходите. Иначе сердце одного из вас не выдержит.

Словно мягкая рука отодвинула Осоргина и отодвигала все дальше и дальше от Блинка, но почему‑то он не ощутил ни страха, ни волненья. Пятясь вместе с Кайзером, он видел, как уменьшалась фигура их бывшего товарища, а глаза его вопреки законам перспективы, наоборот, росли и росли. И блеск этих огромных, неподвижных глаз был сух. Как мертвый блеск слюды.

Им показалось, что прошли секунды, но неожиданно они обнаружили, что стоят на поляне возле сброшенных рюкзаков. И тут они словно очнулись. Молча, не обменявшись ни единым словом, они легли в тень и долго лежали там, бесконечно опустошенные.

Потом они нашли в себе силы вновь двинуться к месту, где был Блинк. Но там его уже не оказалось. Тщетно кричали они до хрипоты, тщетно обшаривали окрестности — всюду дремотно стоял бескрайний лес, и не было в нем ни отзвука, ни следа.

Много поздней, когда надежды совсем не осталось и наступила ночь, сидевший у костра Осоргин уронил на колени руку, в которой он держал обнаруженный в палатке дневник Блинка.

— Что? — едва слышно спросил Кайзер.

— Ничего, — так же тихо и удрученно отозвался Осоргин. — Он тщательно фиксировал ход опыта…

— И?

— И где‑то посредине потерял самоконтроль. Похоже, он слишком поздно понял…

— Что понял?!

— Что феноменальные способности роэльца, в чем бы они ни заключались, достигаются уродованием психики… Может быть, я не прав. Может быть, всякий на его месте незаметно утратил бы качества исследователя, просто качества нормального человека. Но Блинк… Мы дураки, Кайзер, мы слепые идиоты, мы просто невнимательные, равнодушные люди, если не заметили, что его увлеченность и убежденность уже тогда приближались к фанатизму, за чертой которого кончаются и разум и наука!.. Мы не имели права оставлять его в одиночестве! Не имели!

Кайзер, насупясь, молчал.

— Не признаю, — с трудом, но твердо выговорил он минуту спустя. — Если алмаз не имеет твердости алмаза, он есть стекляшка. Исследователь, бессильный повелевать своим сознанием, не есть исследователь.

Осоргин чуть не вскочил.

— Исследователь не машина! — закричал он. — Исследователь человек! Мы оба в долгу перед Блинком, оба, ты слышишь, оба! Если бы не он, кто‑нибудь из нас был обязан изучить психику роэльцев! Он, именно он, избавил нас от необходимости дерзко рисковать собой. В чем‑то он выше нас…

Кайзер ничего не ответил на эту вспышку. Он сидел, неподвижно глядя в огонь, и лицо его было замкнутым.

На третий день, который также ничего не продвинул в розысках, как и первый, они собрались в дорогу.

Стоя над упакованными вещами, они, однако, еще долго медлили.

— Надо идти, — сказал наконец Кайзер.

— Надо, — сказал Осоргин. Кайзер снял шляпу.

Добравшись до города, они тотчас проявили снимки с роэльцем. На одном из них Кайзер, растопырив пальцы, подносил к губам пустоту. На втором он блаженно улыбался.

КАК НА ПОЖАРЕ

Включилась первая программа. Затормозив, аппарат лег в дрейф вокруг центрального светила. Раскрылись щитки, выдвинулись локаторы, ожили накопители информации. Скользящее в холодных пространствах тело аппарата стало похожим на махровую черную розу.

Датчики как губки впитывали всю разноголосицу космических полей и излучений. Иногда позади аппарата вспыхивали язычки огня. Тогда его орбита петлей обвивала то одну, то другую планету. К ним зорко и пристально приглядывались чашеподобные локаторы. Но к поверхности планет разведчик не приближался.

Внезапно его приборы поймали радиопередачу…

Включилась вторая программа. Аппарат сошел со звездоцентрической орбиты. Теперь он узил круги над избранной планетой. Его аналитический блок умно и быстро препарировал все идущие оттуда радио- и видеосигналы. И когда структура языков чужого мира была понята, *включилась третья программа.*

— “Эридан”, вы с ума спятили?! На четвертую, говорю, на четвертую! Что–о! “Плутон”, вас еще не хватало…

Что “Эридан” валился из космоса с неисправными двигателями — это еще полбеды. Что сеть внеземных станций уподобилась посудной лавке, куда шагнул слон, — тоже. Но

авария центрального кибернетического мозга! Теперь все зависело от самообладания Тана Ростова, проворства его рук и крепости голосовых связок. Если бы в диспетчерской разом занялись все четыре угла, суматохи было бы меньше. Видеофоны неистовствовали, как болельщики в минуту гола, наземные службы орали сразу по пяти каналам, на пульте бились в истерике операционные сигналы, а тут еще вышел на связь “Плутон”!

— Немедленно!..

Взмокшие помощники разом повернули головы.

— Всех переключить на вспомогательные центры! Всех!

— И даже…

— И даже! Всех!

— “Плутон” до сих пор не получил от вас команды, непорядок, — жирным голосом напомнил о себе орбитальный грузовик.

— Катитесь к черту! — огрызнулся Ростов. — “Эридан”, эй, “Эридан”! (Господи, что за олухи…)

— Буду жалов…

Локтем (пальцы были заняты) главный диспетчер вырубил связь с “Плутоном”. Ему было не до орбитального, ни до чего на свете, кроме “Эридана”. Мог ли его кто‑нибудь понять, кроме диспетчера же? Он с силой оттолкнул руку помощника, сующего трубку видеофона. И тут, как назло, заглушая слова, на волну “Эридана” полезла посторонняя передача! Мир положительно сошел с ума.

— Эй, на волне 8119, убирайтесь прочь! Сию же секунду!!! Да не тебе, “Эридан”, не тебе… 17–15, даю “Эридану” 17–15, сектор В, резерв! Подтверждения не слышу!

Еще бы! Наглец и не думал убираться с волны. Он шпарил что‑то свое, и голос “Эридана” тонул в помехах, как писк комара в реве буйвола. Тан зашелся от ярости.

— Вон из космоса!!! — заорал он так, что дневной свет в глазах пошел красными пятнами. — 8119, убирайся вон!

Кажется, помогло. Волна очистилась. “Эридан” наконец уразумел, что от него требуется, расчетный центр справился с повреждением. Уф!..

И только теперь, когда можно было откинуться в кресле, и закурить сигарету, и мгновение ни о чем не думать, память выплеснула в сознание обрывок фразы из той, посторонней передачи. Тан Ростов не донес сигарету до рта. Он так и замер с выпученными глазами.

Аналитический блок разведчика трижды оценил ситуацию. Трижды перепроверил полученные данные. Ошибки не было. В ответ на дружеское послание далекой планеты последовал энергичный и недвусмысленный приказ убираться. Дважды повторенный, граничащий с оскорблением приказ.

У автомата не было гордости, но она была у его создателей. Они предусмотрели возможность враждебного отказа, и потому незамедлительно *включилась запасная программа.*

Локаторы мгновенно убрались в гнезда, щитки захлопнулись, аппарат развернулся, за его кормой выросло пламя. Уже через час система негостеприимной звезды, отвергнувшая дружбу древней цивилизации Галактики, скрылась из виду.

СЛОМАЛСЯ ЭСКУДЕР

Лесная дорога сворачивала вправо. Там была лесная поляна, вся в желтых цветах лютика, и над поляной висело обыкновенное летающее блюдце.

Именно в этот момент люк распахнулся, и по воздуху, как по трапу, на землю спустился инопланетянин. Он был маленький, кругленький, розовенький, почти голый и блестел, точно смазанный.

Я не испугался и даже не очень удивился, потому что многочисленные рассказы и статьи о грядущем Контакте психологически подготовили меня к такой встрече. Было только

ужасно неловко, что на мне нет строгого черного костюма, нейлоновой рубашки и галстука. Я застегнул ворот ковбойки, смахнул с локтя приставшую в лесу паутину, шагнул навстречу инопланетянину и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил он мне, не раскрывая рта, на чистом русском языке, и этому я тоже не удивился, так как из литературы знал, что среди других цивилизаций телепатический обмен мыслями развит необыкновенно.

— Здравствуйте, — повторил он. — У меня сломался эскудер. Где тут ближайший соттар?

— Что? — изумился я. — Соттар? Это что такое?

— Как что такое? — теперь изумился он. — Ну, это… Это есть… такое место, где чинят…

— Ремонтная мастерская? — догадался я.

— Вот–вот! Понимаете, мой эскудер…

“Эскудер… — ошалело подумал я. — Соттар… Ремонтная мастерская…” Не так мне рисовалась встреча. “Ах да! Он же потерпел аварию! Тогда все понятно. Он ищет у землян помощи”.

— Что у вас случилось с двигателем? — спросил я, заглядывая под блюдце.

— Вы спектралист? — обрадовался он. — Тогда, может быть, вы мне объясните, отчего во время фикаризации субтит желтокс?

При слове “желтокс” глаза у меня непроизвольно полезли на лоб. Контакт “братьев по разуму” явно отклонялся от традиционной схемы.

— Вы потерпели аварию, — тупо сказал я.

— Какую аварию? — он даже подпрыгнул. — Желтокс субтит!

— А этот… как его… эскудер не субтит?

— Вы с ума сошли! Как может эскудер субтить? Позвольте, так вы, значит, не спектралист?

— Нет, — ответил я.

— Так чего же вы меня путаете? Скажите прямо: смогу я здесь починить эскудер или нет?

— Наша земная техника… — начал было я давно застрявшую в горле фразу.

— Не ваша, так соседней планеты, — нетерпеливо перебил он. — Какая разница!

— Большая, — сказал я.

Он фыркнул от возмущения.

— Знаете что, мне некогда шутки шутить. Мне нужно починить эскудер. Я не могу без эскудера. Так есть у вас где‑нибудь тут поблизости, — он обвел розовым пальцем небо, — ну, не соттар, а хотя бы примитивный спуч?

— Вот что, — сказал я, — Я не знаю, что такое “спуч”. И что такое “желтокс”. Но я рад приветствовать вас на Земле. Мы счастливы, что Контакт наконец‑то установился. И в этот торжественный миг…

— Как? — заволновался инопланетянин. — Выходит, я не туда попал?

— Разве вы летели не на Землю?!

— Впервые слышу о такой звездной системе.

— Это название нашей планеты!

— Прелестное название! И у вас мило, очень–очень мило… Как жаль, что у вас нет соттара!

— Зато у нас есть…

— Знаю, знаю! Всякие там памятники, пейзажи… Но у меня кончается отпуск.

— Так вы не исследователь?! Не ученый?

— Нисколько. Я…

Он не договорил. По его лицу медленно разлилось недоумение. Он посмотрел на свои ноги, потом на меня…

— Это что такое?! — взвизгнул он, показывая на двух жирных комаров, которые с явным намерением покушать прилепились к его бедру.

— Это комары. Сгоните их.

— Кусаются?!

— Пустяки, не обращайте внимания.

Инопланетянин резво подпрыгнул и, дрыгая пятками, взмыл к своей скорлупе.

— Куда же вы! — закричал я. — Поймите, наконец, что вы первый представитель иной цивилизации, который…

— Если другим нравится, когда их кусают, то это их дело, — донеслось из люка. — Прощайте, прощайте!

Спина у него была такая гладенькая и ухоженная, что я понял всю безнадежность попыток достичь взаимопонимания. Она прямо‑таки сочилась презрением.

— Эй! — заорал я ему вслед. — Всего один вопрос: что это за штука такая — эскудер?

— Эскудер? — он оглянулся. — Вы даже этого не знаете! Странно! Чем же вы тогда чистите зубы?

Люк захлопнулся. Инопланетянин отбыл.

ЕГО МАРС

Все торопились выпить эликсир, кое‑кто еще дожевывал бутерброд, из автоматической кофеварки с шипением вырывались клубы пара, играла музыка, “Девочки, девочки, мы опаздываем!” — раздалось слева. Там возникло движение, разноязычный гул на мгновение притих, потом зажужжал с удвоенной силой. “Пардон!” — послышалось рядом, и чей‑то локоть мягко развернул Силина; ему в лицо ударило марсианское солнце, безжизненно–яркое из‑за спектроля; пламенем полыхнули рыжие волосы девушки, оказавшейся напротив; она скользнула по нему равнодушным взглядом и быстро заговорила что‑то на ухо коренастому тугощекому парню, который меланхолично кивал в ответ. Силин тоже протиснулся к стойке и налил себе эликсир. Коричневая жидкость шипяще вспенилась. Он выпил горький эликсир и подумал, что у напитка дурацкое название. Гул, музыка, суматоха внесли растерянность в его мысли, да и не удивительно, потому что вокруг все знали, чего хотят, а он нет.

“Экскурсия № 2, просим к шлюзу! Просим к шлюзу экскурсию № 2! Не забудьте выпить эликсир! Выпить эликсир не забудьте!”

Силина опять развернуло, но на этот раз он подчинился общему движению. Проклятая акселерация! В молодости он был видным мужчиной, а теперь перед глазами маячили затылки тех, кто годился ему в сыновья и в дочери. Самодвижущаяся песчинка в потоке. Все равно так было лучше, чем бесцельно стоять в одиночку среди тех, кто одиноким себя не чувствовал.

Пропускали по очереди. Едва человек переступал порог шлюза, проем загорался зеленым — это значило, что турист принял эликсир. Перед Силиным шел юноша в радужной дюролевой куртке, и его встретил не зеленый, а красный сигнал. Юноша споткнулся от неожиданности, и куртка на нем полиловела. Очередь засмеялась. Тотчас на куртке выступили пятна желчи. Смех усилился. Лишь отчаянные модники носили одежду из дюроля, которая меняла цвет в зависимости от настроения владельца, чем нередко ставила его в глупое положение. Юноша бегом помчался пить эликсир, а Силин прошел в шлюз.

Открылась дверь наружу, и передние скорчили гримасу. Но это неудовольствие было скорей деланным. Все озирались с победным видом — как‑никак они дышали марсианским воздухом, настоящим марсианским воздухом, кисловатым и разреженным, так что от частых и глубоких вдохов высоко вздымалась грудь.

— Раньше туда нельзя было сунуться без скафандра, — зачем‑то сказал Силин.

— Ну да, при царе Горохе, — бойко отозвалась черноволосая девушка с глазами цвета бирюзы и фыркнула в ладонь.

“Это было при мне!” — хотел сказать Силин, но сдержался. Девчонка по–своему права. Все, что было до ее рождения, будь то Древний Рим или освоение Марса, существовало для нее в стереофильмах, книгах, учебниках, но никак не в ее памяти, и к Марсу она должна была относиться иначе, чем он, тут ничего нельзя было поделать. Но ему стало грустно. Среди этих людей он был единственным, для кого прошлое сохранило цвет, запах и вкус. Воспоминания — богатство стариков…

В просторном салоне они расселись по мягким креслам, и аэробус, набирая скорость, заскользил на воздушной подушке. Полусфера крыши была из спектроля, и днище тоже было из спектроля, весь аэробус, кроме ходовой части, был сделан из прозрачнейшего спектроля, поэтому казалось, что над марсианской равниной летят поставленные в ряд кресла, а их, словно вожак–журавль, тянет на незримой привязи оперенный каскадными рулями двигатель.

Удаляющееся здание турцентра сверкало, как хрустальное яйцо. По сторонам от трассы до самого горизонта росли посаженные в шахматном порядке мутанты гималайских сосен. Темно–синюю хвою припудривал кирпичный налет пыли.

— Интересно, тут есть грибы? — спросил тугощекий спутник рыжеволосой девушки.

— Должны быть, — ответила она. — Где лес, там и грибы.

Она покосилась на Силина, будто ища подтверждения. Но Силин ничего не мог ответить: на его Марсе грибов не было.

— Об этом, вероятно, сказано в путеводителе, — парень зашуршал брошюрой.

— Вы только поглядите, все озеленено! — восторженно воскликнула какая‑то женщина.

Фиолетовое небо над головой было прежним. Чистым, пустым, слегка тронутым изморосью перистых облаков. Как льдинка, опущенная в родник, в нем таял серпик Фобоса.

Вдали проступила зубчатая череда гор. Сосед Силина с треском разорвал пакет с миндалем и горстью отправил лакомство в рот.

— Угощайтесь, — сказал он, протягивая пакет.

— Спасибо, — ответил Силин, — Не хочется.

— Да–а, — задумчиво протянул сосед, не переставая жевать. — Как представишь, что раньше здесь ничего не было… Даже не верится.

— Почему “не было”? — сказал Силин. — Было.

— Как так “было”? — сосед с интересом взглянул на Силина. Когда он говорил и жевал, кожа под подбородком собиралась у него в складки. — Раскопки доказали, что на Марсе никогда не было ничего похожего на цивилизацию.

— Была природа. Дайте, пожалуйста, вашего миндаля, я передумал.

— Берите, берите… Природа, значит? Природа и сейчас осталась. Я очень люблю настоящую природу. Ради этого я сюда и летел. Поэкскурсирую, а потом двинусь с палаткой к хребту Митчелла. Жаль, что здесь нет рыбы.

— В подледных морях есть.

— Не могу же я тащить с собой буровую установку! Но, может быть, заказать вертолет? Как вы думаете?

— Обязательно закажите. Тридцать метров песка и столько же льда, а под ними стаи безглазых рыб. Попадаются экземпляры весом в центнер.

— Вы шутите? Впрочем, я понял. Вы хорошо знаете Марс. У меня нюх на таких людей.

— Что вы! На Марсе я бывал так, заездом.

— Командировка?

— Нечто в этом роде. Давно.

— Жаль, что я ошибся. Вы говорите — давно? Вы не застали те времена, когда…

— Нет, не застал. Это было до меня. Или после. Не помню.

— Жаль, очень жаль. Рассказы бывалых людей — это очень интересно. А откуда вы знаете про рыбу?

— Прочитал где‑то.

— Место не припомните?

— Нет.

— Досадно. Но вы меня зажгли. Расспрошу на базе. Еще миндаля?

— Спасибо.

Сосны кончились. Аэробус описал полукруг над коричневым плато, и у Силина защемило сердце. Где‑то здесь он впервые увидел Марс. Справа, как и сейчас, была цепь гор, три ржавые копьевидные вершины, синие ледяные тени в провалах. Ветер вздымал фонтанчики красного песка, пузырился оплавленный при посадке камень. Ошалев от радости, они стреляли в воздух и обнимали друг друга, а потом вдруг притихли и долго–долго смотрели на эти горы, пересыпали в ладонях марсианский песок, веря и не веря, что они стоят на чужой планете и что это не сон.

— Мы приближаемся к Памятнику, — торжественно возвестил автоматический гид. — Именно здесь пятьдесят восемь лет назад впервые совершил посадку на Марс космический корабль…

“Это был не мой корабль, — подумал Силин. — Наша экспедиция была третьей. Но садились мы здесь, ориентируясь на радиомаяки первой. Интересно, они сохранились?”

Ему почему‑то хотелось, чтобы маяки сохранились!

Аэробус проскочил гребень, и Силин в первое мгновение не поверил своим глазам. Ему показалось, что это действительно ракета и она действительно садится в огне, дыму и вихрях пыли. Памятник был сделан искусно. Разноцветный спектроль с абсолютным правдоподобием воспроизводил и столб угасающего пламени, и разбегающиеся от него черные клубы дыма. Это пламя ревело, этот взметнувшийся песок клокотал, эта ракета вибрировала, оседая на газовую подушку.

— Подумать только, на каких керосинках летали, — вздохнул сосед.

Все головы были повернуты в одну сторону, все смотрели на Памятник, а гид торопливо разъяснял, в чем его красота.

Аэробус сел, туристы вышли и потянулись гурьбой к Памятнику, на ходу вытягивая из футляров киносъемочные голографы.

Силин отстал. Он искал взглядом место, где были маяки.

Он чуть не прошел мимо одного из них, потому что по привычке искал их поодаль от места посадки. Но их перетащили ближе, вероятно затем, чтобы посетители могли осмотреть все, не тратя время на ходьбу.

Силина удивило, что радиомаяк выглядел как новенький. Этого не должно было быть, потому что уже тогда струи песка счистили с него защитный лак и он был матовым, изборожденным царапинами. Силин нагнулся и прочел пояснительную табличку. “Радиомаяк, по пеленгам которого садились первые марсианские экспедиции. Реконструирован в стиле той эпохи”.

Все правильно. Тогда была другая эпоха. Герои летали на керосинках. Садились вслепую по этим… как их… ах да! — радиомаякам. “Реконструирован в стиле той эпохи…”

Внезапно Силин почувствовал огромность прожитого. Ему‑то казалось, что все это произошло недавно. Вещи всегда были долговечней людей. Теперь все наоборот. Ему восемьдесят лет, он жив, он помнит корабли, давным–давно сданные в музей, помнит дома–коробки, которых уже нет, помнит хлебные поля, вытесненные синтепищей. “Последний из могикан, — Силин усмехнулся. — Что ж, все правильно”.

Туристов он застал за осмотром мемориальной стены. На сером граните были выбиты изображения тех, кто осваивал Марс, ниже стояли их фамилии, даты первых экспедиций. Коротко упоминалось, кто что сделал. Силин увидел и свой барельеф. Да, о нем не забыли. Каменный Силин смотрел на живого Силина сурово и бесстрастно. Живой Силин не чувствовал волнения. Это был не он, таким он никогда не был, с барельефа смотрел не человек, а суровый герой, кем‑то выдуманный в назидание потомкам.

— Говорят, кое‑кто из них еще жив, — донеслось до Силина.

— Что ты, они все погибли, это я знаю точно…

— Нет же! Бергер жив, Силин жив, их недавно показывали по стереовидению…

Силина передернуло. Он хотел отойти, но заметил, что рыжеволосая девушка наклонилась и положила к подножию мемориала букетик цветов.

— Почтили память?

Голос ему изменил, и девушка посмотрела на него с недоумением.

— А что тут такого? — спросила она осторожно.

— Вы знали кого‑нибудь из тех?

— Кто же их не знает?

— Я, например.

— Вы? Но ведь они, очевидно, были вашими современниками?

— Эти герои?

— Ну да. По–вашему, они не герои?

— Конечно, нет. Просто они делали свое дело, вот и все.

— Дело делу рознь. Я тоже делаю свое дело, но никто…

— У вас характерный загар. Вы работаете в космосе?

— Да, на Ио. В обсерватории.

— И сюда прилетели отдыхать. С Ио. В вашем возрасте я и представить не мог, что наступит время, когда работа на Ио станет обыденностью. Как и отдых на Марсе.

— К чему вы все это говорите? Вы в чем‑то хотите меня убедить? В чем?

— Не обращайте внимания. Все старики ворчливы и хотят неизвестно чего. Свойство возраста. Все у них есть, а они с тоской вспоминают дни, когда у них ничего не было.

Силин ушел, провожаемый удивленным и чуточку встревоженным взглядом девушки. Он досадовал на себя, что затеял этот глупейший разговор. Что он хотел сказать? Что? Так было всегда. Люди с риском для жизни пробивались к полюсу, а через несколько десятилетий над тем же полюсом стали регулярно летать комфортабельные лайнеры и пассажиры с любопытством поглядывали в иллюминатор. Ах, это и есть полюс? Та самая таинственная точка земного шара? Вот эти льды? Не знал бы, так и не обратил внимания! По пятам подвига всегда следует обыкновенная жизнь. Так, значит, ради нее‑то люди и рискуют жизнью? Переступают грань возможного ради нее?

“Да, — ответил себе Силин, — и ради нее тоже. Но не во имя. Не во имя безграничного расширения обыденности. Тогда во имя чего же? Или во всем этом извечном движении к новому смысла не больше, чем в завоевании морскими животными суши четыреста миллионов лет назад?

“Космический пессимизм, — подумал Силин, — у меня космический пессимизм. А все потому, что я сегодня встретился с пошлостью, и она заслонила все. Вот это и есть старость. Каждый шаг вперед, через непреодолимое, изменяет жизнь. Опять не то! Изменения ради самих изменений — тоже мне цель… Но она есть, коль скоро люди поступают так, как они поступают. Мы хотим, чтобы с каждым поколением жизнь делалась лучше. Разумней. Счастливей. Только это и гонит всех нас вперед. Только это.

Мы открываем детям новые горизонты, они идут дальше, так и должно быть. Если человечество вдруг скажет, что оно достигло всего, и мечтать больше не о чем, и стремиться некуда, то, значит, пришел его смертный час. И я не имею права оценивать этот Марс мерками своей юности. Как и свою роль в его изменении, впрочем. Так каменщик, кладущий свой кирпич, не имеет права сетовать даже в том случае, если потомки снесут построенный им дом ради возведения другого, лучшего.

А пошлость? Просто это очень живучий сорняк, ничего, исчезнет и он”.

После Памятника аэробус доставил экскурсию к скале “Медная богиня”, возле которой находился заповедник марсианских эретриумов. Они побродили среди синюшных вздутых странных растений, пообедали в кафе и двинулись к Морю несчастий.

— Нет, что бы там ни твердили, а на Луне интересней, — полулежа в кресле, благодушно разглагольствовал сосед Силина. — “Ночь лунных цветов” — это же прелесть! Вы не были там? Нет? Уютный ресторанчик в кратере Аристарха, кухня там бесподобная, но

все это пустяки. Там надо быть в полноземелье. Сидишь под куполом, чернота, а в ней точки, точки, — белые, желтые, красные, синие, зеленые звезды…

— Зеленых звезд не бывает.

— Неважно. А кругом равнина, залитая земным светом! Чувствуете контраст? Мысли все какие‑то торжественные, и музыка тихо–тихо играет… И Земля светит. Фантастика! А потом начинают падать метеориты. Искусственные, конечно. Но этого посетителям не говорят, чтобы не разочаровывать. Знаете, как это прекрасно? Поднимаются фонтанчики пыли, свет в них блестит перламутром, они как цветы… И тут же опадают. А на Марсе что? Почти как на Земле. Не–ет, Марс меня разочаровал…

— Тогда утопитесь.

— Как? Я вас не понял…

— Ну, если вам даже на Марсе скучно, тогда зачем жить?

Сосед растерянно хихикнул, потом обиделся. Разговор, естественно, иссяк.

— Мы приближаемся к месту, где в период освоения Марса природа бросила человеку наиболее суровый вызов, — сдержанно заговорил автогид. — До того, как мы научились регулировать погоду планеты, здесь было подлинное гнездо песчаных бурь — коран. Сейчас, когда мы только что миновали энергостанцию, а впереди по курсу лежат сады Сезоастриса, трудно поверить, что когда‑то почва и воздух вдруг закипали здесь и ураган подбрасывал вездеходы, словно это были песчинки. Но так было. Здесь, на этой страшной равнине, погибли…

Аэробус парил над блекло–розовой равниной, и впервые за всю поездку вокруг была пустыня, не отмеченная человеческим присутствием. Даже небо здесь было другим — тусклым и непрозрачным. “Пятьдесят лет назад при виде такого неба я убрался бы отсюда со скоростью щенячьего визга, — подумал Силин. — Блекман тогда не успел удрать. Когда мы нашли его после бури, он был еще жив, и нам пришлось отрубить раздавленные ноги, иначе его нельзя было вытащить”.

— Представьте себе на мгновение, — донесся до сознания Силина голос гида, — что небо над вами вдруг мертвеет в абсолютной тишине, а на равнине исчезают тени, хотя солнце светит ярко, и горизонт отступает далеко–далеко. Вы одни, Марс — пустыня на тысячи километров вокруг, вы ничего не подозреваете, но безотчетная тревога овладевает вами, точно вы очутились под стеклянным колпаком и кто‑то пристально глядит на вас. Сейчас ничего подобного произойти не может, но призовите на помощь воображение, забудьте, что Марс обитаем. Вы сидите в тесном вездеходе, навстречу бежит нескончаемая пустыня, и в ней медленно тают тени…

Силин едва не вскочил. Вероятно, у него был дикий вид, ибо кто‑то испуганно осведомился: “Вам нехорошо?” Силин не расслышал. Рядом сидели люди, вполуха слушали гида, болтали, лениво смотрели по сторонам, кое‑кто подремывал, А тени становились прозрачными!

Они этого не видели, а он видел. Но это был абсурд!

Он выждал секунду, чтобы убедиться в ошибке. Ошибки не было. Горизонт отступил вдаль, небо стекленело. Голос автогида шелестел и шелестел, потом его внезапно пересекла пауза, громом отдавшаяся в ушах Силина.

— Внимание… — зазвучал уже другой, спокойный до неестественности голос. — Прошу вашего внимании. На погодной станции произошла небольшая авария, и, пока ее исправят, всем надо пристегнуться, так как аэробус может попасть в ветровой поток…

— Ну и что? — спросил сосед. — Подумаешь, ветер…

Застывшим взглядом Силин обвел длинные ряды кресел. Прозрачный аэробус, прогулочная игрушка, слишком изящный, слишком беззащитный — и к нему… движется… корана? Нег!!!

Да. Все говорило об этом.

Силин встал, бочком, незаметно скользнул в водительский отсек. Задвинул переборку. Кресло выросло откуда‑то из пола и любезно развернулось, приглашая сесть. На

пульте управления лениво помаргивали сигнальные лампочки. Силин включил связь, теперь он был совершенно спокоен, ибо знал, что ему следует делать.

— Алло, центр! Программа киберводителя рассчитана на корану? Прием.

Ошеломленное молчание, как он и ожидал. Пауза вполне достаточная, чтобы уяснить назначение доброй дюжины переключателей, кнопок и тумблеров, рассеянных по пульту. Он управлял сотнями машин посложней этой, он обязан был понять, что тут к чему, и он это понял.

— Кто говорит? — наконец выпалил эфир. В нем стоял грохот, как от рвущихся вдалеке мин.

— Неважно! Отвечайте на вопрос: киберводитель запрограммирован на корану?

— Нет… То есть…

Голос утонул в помехах. Он должен был утонуть, Силин ждал этого. Его ужаснула беспечность тех, кто отвечал за безопасность полета. Горизонт мрачнел. Он просел, как под тяжестью, и вдруг с быстротой атомного взрыва вспучился изжелта–черными клубами.

— Перехожу на ручное управление! — выкрикнул Силин.

— …дите! — захрипело в ответ. — Передаю мик… к… не… не…

Силин выключил ставшую бесполезной связь. Все вернулось на круги своя. Он снова один, снова на Марсе, в его руках штурвал, он снова, как в молодости, дает бой коране.

Мельком он глянул в зеркало обзора. Лица скорей удивленные, чем испуганные, — что значит привычка к безопасности! Хрипло бормочет динамик, не разобрать что. Но пристегнулись все.

Машину приподняло, как на лифте, и он тотчас забыл о пассажирах. Прошитый молниями вал кораны стрелял вверх и вниз черными струями, и там, где струи касались почвы, она вспарывалась, как гнилая материя.

Силин нацелил машину носом к коране, слегка бросил ее вниз, вверх, в сторону. Нет, он не утратил реакции. Каждая клеточка его тела помнила корану, знала, что и как надо делать. Машина повиновалась безусловно. Он был несправедлив к ней: мощная, маневренная — не чета древним вездеходам. С такой машиной он еще посмотрит, кто кого…

Синеватый от трепета молний коготь кораны рванул почву. Ветровое стекло окатил жидкий огонь. Машину завертело штопором, но Силин удержал ее. Он рванул ее вверх, вверх, в самый центр клубящегося взрыва, где, как он знал, было безопасней всего.

“Только бы не шмякнуло первым ударом!” — пронеслась мысль, а потом уже и мыслей не осталось, потому что машина скользнула в ад.

Зрелищная машина, встроенная в корпус аэролета, имела четкую программу. Сначала она должна была с помощью гипнополя убедить туристов в подлинности кораны и затем через динамик в салоне быстро успокоить волнение известием, что это всего лишь “грезы наяву”, историко–миражный спектакль, входящий в план экскурсии. Поступок Силина предусмотрен не был, и машина на него не реагировала.

А люди, вдруг услышавшие в эфире голос Силина, не сразу пришли в себя.

Но, даже сообразив, что к чему, они не знали, на что решиться. Никто из них не подозревал до этой минуты, что турист Силин и есть тот самый человек, который открывал Марс. И теперь все задавали себе один и тот же вопрос; убьет его правда или нет?

ГОРОД И ВОЛК

С бархатным протяжным гудением трансвей причалил к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло. Волк перемахнул через борт ограждения. Когти чиркнули по сибролитовому покрытию, и Волка развернуло, чего он никак не ожидал.

— Надо сходить, как все люди! — укоризненно сказал прохожий, которому он ткнулся в ноги.

В три прыжка Волк пересек платформу и стремительной серой молнией скатился по лестнице.

Солнце клонилось к вечеру и светило сквозь ванты верхнего яруса, точно в бамбуковом лесу. Нахлынуло столько запахов, что Волк остановился.

Потом, наклонив голову, он размашисто побежал по дорожке, неприятно гладкой и до отвращения прямой.

Город был справа и слева, впереди и сзади, вверху и внизу. Взгляд Волка скользил по массивным, как скалы, или, наоборот, ажурным, точно деревья, конструкциям, путанице пролетов, галерей, арок; без внимания не осталась игла Космической башни, которая возвышалась над скопищем аэрокрыш, виадуков, висячих садов и движущихся лент тротуара. Этот город был незнаком Волку, но ничего особенно нового он в нем не находил. Да, по правде сказать, зрение в его жизни не играло исключительной роли. Подобно всем волкам, а он был им не только по имени, он в равной мере полагался на слух и обоняние, особенно на обоняние. То было заповедное царство, в котором человек чувствовал себя беспомощным. Сель порой чуть не плакала, пытаясь понять, каким образом, например, Волк отыскивает ее в незнакомом и многолюдном городе, а он ничего не мог объяснить, потому что и сам не знал. Когда он искал Сель, его просто влекло куда‑то, один район был явно предпочтительней других, но почему? Секрет был не только в тонкости обоняния, айв чем‑то еще, близком, но не тождественном, о чем среди людей давно уже шли споры. Вот и сейчас Волк держался избранного направления, уверенный, что правильно идет к тому месту, где сейчас находится Сель. Само это место, положим, имело весьма расплывчатые очертания, но это не беспокоило Волка — Сель не ждала его раньше заката.

Возле лифта на нижний ярус никого не оказалось. Волка это не смутило. С лифтом он и сам мог справиться. Вскочив в кабину, он встал на задние лапы, дотянулся до пульта и когтями придавил третью снизу кнопку. Дверцы бесшумно сомкнулись, и лифт заскользил. Древний страх западни, как всегда в таких случаях, на мгновение охватил Волка, но тотчас исчез. В конце концов Волк был сыном третьего поколения очеловеченных хищников, а это кое‑что значило.

На нижнем ярусе было так же светло и тихо, как и на верхних, но лапы Волка ощущали легкое дрожание почвы, когда в подземном горизонте проносились вагоны метро, сцепки контейнеров или пневмогрузы. Люди не считали, что на нижнем ярусе беспокойно, но Волк был иного мнения. Месяц в тундре не прошел даром, и Волку не понравились гул и вибрация. Поэтому он не вскочил на тротуарную ленту, а, лавируя среди прохожих, углубился в парк. Бежать здесь было приятней еще и потому, что отсутствовали все эти гладкие, пружинящие, зеркальные покрытия, которые великолепно служат людям, но не слишком удобны для лап. Песок был куда лучше.

Лань выглянула из‑за куста и проводила его долгим взглядом. Волк даже не обернулся. Он уважал законы города, и лань это знала, поэтому не двинулась с места.

— Эй! — услышал он, когда пробегал берегом озера.

Волк замер. С гребня невысокой дюны ему махала девочка лет пяти, другой рукой убирая с лица спутанные пряди волос. Едва Волк остановился, она ринулась по крутизне, оступилась и, взрывая песок, в восторге съехала на попке.

— Здравствуй, ты почему не отвечаешь? — выпалила она, вставая и отряхивая штанишки.

Ошейник, который был на Волке, ничего общего с настоящим ошейником не имел. То был транслятор, который даже беззвучные колебания гортани переводил в человеческую речь. Его надо было лишь включить. Волк дважды поднял лапу. Девочка радостно закивала, ее пальцы скользнули по ошейнику.

— Теперь здравствуй, — сказал Волк.

— Здравствуй, — девочка слегка картавила. Ее зеленые с рыжими крапинками глаза горели нетерпением.

— Мы будем играть в Красную Шапочку, — тотчас заявила она.

— Во что?

Говорил транслятор, и, если бы не клокочущее в горле ворчание, которым

сопровождались слова, можно было бы поверить, что зверь владеет человеческой речью.

— Какой же ты непонятливый! — Девочка топнула босой ногой. — Мы будем играть в сказку! Красная Шапочка — это такая девочка, она идет в гости к бабушке, а бабушка…

Теперь ворчание исходило из транслятора, который переводил слова ребенка в доступные волку звукосочетания.

— …И когда девочка спросила, отчего у бабушки такие зубы, волк, который притворился бабушкой, говорит: “Чтобы съесть тебя”!

— Он съел?

— Не–ет… Появились охотники и…

Волк впервые слышал эту сказку. Он плохо улавливал ее смысл, но она всколыхнула в нем что‑то забытое, неприятное, что, замирая, тем не менее передавалось от поколения к поколению, как некая наследственная память о давнем кошмаре, который преследовал волчьи стаи в образе человека с громоносным ружьем. И Волк решительно замотал головой.

— Не хочу. Будем просто играть.

Девочка нахмурилась, но не прошло и секунды, как она уже очутилась на спине Волка, он помчал ее, а потом бережно сбросил и, когда она с хохотом уцепилась за хвост, обернулся и грозно оскалил зубы. Они долго и самозабвенно возились, боролись, свивались в клубок, барахтались, тормошили друг друга, потому что оба умели наслаждаться игрой.

Гулявший неподалеку старик, замедлив шаг, приставил ладонь козырьком.

— Семьдесят лет. — Он покачал головой. — В дни моей молодости, да, в дни моей молодости кто бы подумал, кто бы мог подумать…

Юноша, его спутник, ничего не ответил. Он считал само собой разумеющимся, а потому неинтересным и то, что в центре большого города волк играет с ребенком, и то, что этот волк свободно общается с людьми. Идею, которая так поразила современников старика, он находил столь же банальной, как утверждение, что дважды два — четыре. Если мозг пещерного человека биологически равен мозгу человека двадцать первого века, а интеллект, несмотря на это, ушел далеко вперед, то кому же не ясно, что и мозг животных может обладать внушительными резервами! Просто никто не занимался развитием их интеллекта, да и не умел, а как только сумели…

Доказанное и примелькавшееся всегда банально.

Расставшись с девочкой, Волк почувствовал себя освеженным. Крутой подъем вскоре вывел его на вершину холма. Космическая башня была отсюда как на ладони. Крохотная ракета взмывала более чем на километровую высоту, увлекая за собой клокочущий огненный столб.

Вокруг Башни мошкарой вились реалеты. Волк на мгновение поднял голову. Огнепад пламенел в лучах заходящего солнца. На Волка он не произвел впечатления. Все чересчур огромное, далекое и неподвижное, будь то здания или горы, не имело существенного значения, так как ничем не угрожало и не сулило перемен; оно могло быть или отсутствовать — от этого ничего не менялось. Серый полог на востоке и перистый веер облаков в зените интересовали его куда больше, поскольку эти знаки сулили скорый перелом погоды. Волк привык к безопасности города, впрочем, стихия не пугала его и на воле, но тем не менее его настроение изменилось. Даже людям знакома атавистическая тревога, то беспокойство, которое овладевает всеми перед грозой и бурей. Чувства Волка обострились. Тишина вечера могла обмануть человека, но он читал не только видимые знаки и был уверен, что погода изменится сразу после захода солнца.

Он прибавил шагу. Ветра еще не было, но ток запахов усилился. Деревья, травы, цветы пахли иначе, чем час назад. Даже сталь, титан, пластик, спектролит — все те бесчисленные материалы, которые выдумал человек, вели себя иначе.

Все изменения запахов были знакомы Волку, и его сознание не участвовало в их анализе. Внезапное отклонение заставило его затормозить бег.

Пахнуло чем‑то непривычным. Запах был чрезвычайно слаб, но ничего

похожего Волк не встречал. Совершенно непонятный запах, который не имел отношения ни к городу, ни к природе.

Волк повел носом и, не колеблясь, двинулся к скамейке, где сидел мужчина лет сорока с лицом смуглым и твердым как камень. Человек, не мигая, смотрел на расстилающийся город, будто готовясь взять его в свои руки.

— Что уставился, приятель? — Внимание человека переключилось столь внезапно, что Волк слегка опешил. — Выгляжу чудаком, да? Верно. Отвык я от этого. — Рука обвела горизонт. — Красиво. А ты как считаешь?

— Красиво. — Волк согласился не только из вежливости. Люди считали город прекрасным, и он был того же мнения, хотя его понимание красоты не совпадало с человеческим, ибо он не отделял ее от целесообразности, здесь транслятор очеловечивал речь Волка и по существу. Сель отлично разбиралась в этих оттенках, но мужчина воспринял все буквально. Внешне он остался неподвижным, но Волк по незаметным для человеческого глаза сокращениям мышц подметил жест удивления, который, впрочем, был тотчас оборван.

— Ладно, все это лирика, — сказал человек. — У тебя есть ко мне какое‑то дело. Говори.

Теперь удивлен был Волк: незнакомец проявил редкую в общении с животными проницательность.

Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа.

— У вас спрятано непонятное.

— Что, что?

Волк улыбнулся бы, если бы мог. Подсознание человека опередило работу ума. Пока ум терялся в догадках о смысле вопроса, пальцы дрогнули настолько красноречиво, что Волк без труда воссоздал все движение целиком.

— Оно лежит в нагрудном кармане.

— Это? Ты это имеешь в виду?

Человек выхватил прозрачную трубочку, доверху заполненную мелким песком.

— Да.

— Ну и хватка! Может быть, ты даже знаешь, что это такое?

— Да и нет. Песок, но непонятный.

— Верно, где же тебе знать… Этот песок оттуда. — Человек ткнул пальцем в небо. — Из космоса, с Сириуса, вот откуда. Дошло? Сатана, мы эту планету назвали Сатаной, такая она мрачная и холодная. Но радужный песок… Бриллианты по сравнению с ним просто шлак. Верно? Гляди, какие переливы…

Космонавт откупорил притертую пробку и высыпал немного на ладонь. Мерцание песка, казалось, заворожило его. Волк чуть не фыркнул — настолько усилился запах. Кроме запаха, по его мнению, в песке не было ничего особенного, ибо волки не различают цвета. Обыкновенные, матовые, слабо переливающиеся песчинки, только и всего. Со слов людей он знал о существовании какого‑то особенного и прекрасного мира красок, но чувств его это никак не задевало. Люди не разбирались в запахах, для него не существовало цвета, он привык к тому, что здесь нет и не может быть взаимопонимания. Наконец человек оторвался от созерцания и, будто вспомнив что‑то, недоуменно пожал плечами.

— Как это ты сумел учуять из‑под притертой пробки, однако…

Быстрым движением он ссыпал песок обратно, задумчиво повертел пробирку, спрятал. Его широкая рука легла на голову Волка.

— Да, приятель, ты не прост. Но мне пора. Скажу тебе по секрету: как ни прекрасен сатанинский песок, а земной лучше, потому что он земной. Есть еще вопросы? Тогда прощай.

Человек встал, тряхнул головой, словно отгоняя какую‑то мысль, потом быстро зашагал по тропинке.

Волк не двинулся с места. Запах не исчез с уходом космонавта, очевидно, какая‑то песчинка упала на землю. Волк даже мог сказать, где она, хотя и не видел ее.

Он лег, положив морду на лапы.

В его голове ворочались смутные мысли. Транслятор был, конечно, величайшим достижением, но он невольно обманывал людей, заставляя их думать (неспециалистов, разумеется), что коль скоро волк изъясняется по–человечьи, то и мыслит он примерно так же, но только хуже. Все было, однако, гораздо сложней. Волку не были свойственны формализованные логические построения. Отчасти их заменяли сцепления образов, чей ход был непостижим для человека. Тем не менее Волк имел собственное представление даже о космосе, ибо люди много говорили о нем, а он жадно впитывал все их суждения. Образ космоса, сложившийся в его сознании, был весьма далек от реального, и все же он не был абсурден. И сейчас Волк мысленно обращался к нему. Никогда еще ни один запах не казался ему столь странным. Верней, не совсем так. Странным его делало объяснение человека. Человек дал источнику запаха точное название, смысл которого Волку был ясен, — песок. Но запах, который источала песчинка, противоречил определению. Будь на месте Волка человек и обладай он нюхом волка, такой человек легко примирил бы противоречие, связав свойства конкретного со свойством такой абстракции, как “иная планета”. Но подобное примирение — действительное или мнимое — было для Волка недостижимым, и он не мог избавиться от недоумения.

Он даже засопел, забыв, что транслятор немедленно переведет звуки в возглас “Ну и ну!”.

Слова отрезвили его и напомнили, что пора двигаться. Все же он еще поводил носом вокруг источника проклятого запаха. Если бы его спросили, что его так волнует, он вряд ли смог бы объяснить. Любопытство и любознательность свойственны животным не меньше, чем человеку. Загадочное привлекает, потому что непонятно его значение, неясно, что оно сулит — хорошее или дурное. А знать это необходимо всякому живому существу. Здесь инстинкт преодолевает страх, внушаемый неизвестным. Любопытство Волка также было окрашено беспокойством. Всегда лучше предположить, что загадочное — враг. Впрочем, у Волка это ощущение умерялось давней привычкой к безопасности: с тех пор как человек стал другом, волкам практически уже ничего не грозило ни в лесу, ни в городе.

Внезапный порыв ветра закружил пыль. Крохотный смерч пронесся перед носом Волка и умчал источник запаха.

Волк мигом, как это умеют делать только животные, отключился от прежних размышлений. Раз загадка исчезла, то и думать о ней нечего. Это не было забывчивостью. Волк никогда ничего не забывал: просто бесполезное не стоило внимания. А что может быть бесполезней унесенной ветром песчинки?!

Но школа мышления, которую он прошел у человека, наложила на него неизгладимый отпечаток. Волк знал, что он еще вернется к прерванным раздумьям.

А сейчас надо было отыскать Сель. Он побежал, держа направление к востоку от Космической башни. Инстинкт вел его словно по пеленгу. Разыгрывающийся ветер ерошил шерсть. Всюду зажглись огни; вдоль стен заскользили стереодинамические картины; вспыхнули цветовые фонтаны; здания сверкали, как драгоценности; город мягко сиял, лучился, улыбаясь сомкнувшейся темноте. Здесь, в его сердце, даже ворчание непогоды казалось исполненным благодушия. Где‑то тут недавно проходила Сель, и надо было лишь отыскать нечувствительный, может быть, для ищейки, но не для друга, след.

Получасовые розыски наконец привели его к искомым дверям.

Волк и Сель расставались часто, потому что Волк не мог долго жить в городе, вне стаи, но от этого их дружба не слабела. Сель была зоопсихологом, но Волк для нее существовал не как объект изучения. Не был он и домашним зверем, вроде собаки, чью привязанность можно завоевать мимолетной лаской. Сель видела в нем личность столь же глубокую, как и она сама, товарища, которого любят, не задаваясь вопросом почему.

Поэтому встреча была, как всегда, бурной и нежной.

Как только они поужинали, Сель сказала:

— Поговорим об интересном?

То были их любимые вечерние минуты, когда с делами покончено, в комнате тихо, как на необитаемом острове, и нет ничьих глаз, кроме глаз человека и зверя.

Сель забралась с ногами на диван, Волк устроился рядом. Сель смягчила свет лампы. Пальцы девушки тонули в густой шерсти Волка. Ни один звук не проникал снаружи.

Спешить было некуда. Обычно в такие минуты Волк рассказывал о том, что привлекло его внимание, удивило или озадачило, потом Сель говорила о своих делах, потом они просто болтали, и мало что так привлекало Сель, как вот такое неторопливое погружение в мир чужого сознания.

Так же было и на этот раз. Волк, который не страдал последовательностью, говорил отрывисто, перебрасываясь с воспоминания на воспоминание. Сель, наматывая на палец прядь волос, больше молчала. В черных продолговатых зрачках зверя трепетал отблеск лампы; на мгновение приоткрывался влажно мерцающий ряд клыков, и дыхание Волка касалось лица Сель. Порой ее охватывало чувство нереальности, особенно когда в зрачках туманно отражалась она сама. Казалось, что можно наклониться и заглянуть в зрачок, как в колодец, чтобы увидеть на дне самое себя такой, какой ее видит Волк.

— Может стать живым мертвое?

— Что, что? — очнулась Сель.

— Сегодня в городе учуял незнакомое. Мертвое. Оно лежало в кармане человека. Я спросил. Человек показал песок, сказал: песок. Ушел. Песчинка упала. Стала живой.

— Песок всегда мертвый…

— Знаю. Поэтому странно.

— Ничего не понимаю! Откуда ты взял, что песчинка ожила? Она что — стала двигаться?

— Нет. Она быстро пахла.

— Ну и что?

— Мертвое медленно меняет запах. Растение быстрей. Животное — совсем быстро, когда взволновано.

— В самом деле?

— Да.

— И по скорости изменения запаха можно отличить камень от дерева, сталь от бабочки?!

— Да.

— Волк, ты никогда мне об этом не говорил!

— Ты не спрашивала.

— Это очень–очень интересно! Дальше, Волчишка, дальше!

— Почему песчинка стала живой?

— Да не могла она стать живой!

— Она стала.

Сель приподнялась. Ей показалось, что в глазах Волка мелькнула укоризна: почему она так медленно соображает?

— Давай, Волчишка, по порядку, — твердо сказала Сель. — Итак, ты бежал по городу…

— Да.

— И учуял песок, который лежал в кармане человека. С каких пор ты стал обращать внимание на обыкновенный песок?

— Незнакомый запах. Человек объяснил, что песок из космоса.

— Из космоса?! Тогда ясно. Нет, нет, о чем это я? Решительно ничего не понимаю… Как он выглядел?

— Человек?

— Песок!

— Как песок.

— И он был мертвый?

— Да.

— А когда песчинка упала…

— Она запахла, как живая.

— Ты об этом сказал человеку?

— Он ушел.

— Песчинка шевелилась?

— Нет.

— И все‑таки стала живой?

— Да.

— Кто был этот человек?

— Он из космоса. С Сириуса.

— Это он тебе сказал?

— Да.

— Человек знает, что его песок из мертвого может делаться живым?

— Он сказал: это песок. Очень красивый. Он не сказал: это живое. Ты почему волнуешься?

— Потому что… Волк, ты не ошибся?

— Я не мог ошибиться.

— Да, да, знаю… И все‑таки невероятно… Давай минутку помолчим.

Сель задумалась. Ее темные глаза стали еще темнее. Она оставалась неподвижной, но Волк видел ее бегущей. Это его беспокоило, потому что он не мог взять в толк причину, однако он понимал, что сейчас ему лучше ни о чем не спрашивать. Сель порывисто вскочила. Как была, босиком подбежала к информу.

— Снимки участников сириусской экспедиции, — сказала она в микрофон.

Спустя несколько секунд на экране информа возникло чье‑то лицо.

— Он? — Сель обернулась к Волку.

— Нет.

— Этот, этот?

По экрану заскользили лица.

— Да, — наконец сказал Волк.

— Все сходится…

— Ты мне не объяснила, — решился напомнить Волк.

— Подожди, Волчишка…

Палец дважды замер над кнопкой, прежде чем ее нажать.

— Вызываю Борка, геолога сириусской экспедиции. Скорей всего он здесь, в городе. Передайте ему… — Сель запнулась. — Вызов экстренный.

Волка не удивило ни то, что Сель разговаривает с неодушевленным предметом, ни то, что этот предмет отыскивает человека, который находится неизвестно где. Он этого не понимал, но он к этому привык и относился к предметам типа информа так же, как к дождю и снегу: раз они существуют, надо к ним приноравливаться. Но в поведении Сель, в словах и движениях он улавливал растущую тревогу и на всякий случай подобрался, чтобы быть наготове.

Минуты три прошло в молчании. Наконец стена, противоположная топ, возле которой лежал Волк, исчезла, и комната как бы соединилась с другой, более просторной и ярко освещенной. Сидевший за столом человек поднял голову. Увидев девушку, он встал, и они оказались друг против друга — сдержанный порыв волнения и твердая осанка незыблемой уверенности.

— Извините, если окажется, что я зря побеспокоила вас, — быстро проговорила Сель. — Перейду к делу. Тот песок, который вы сегодня показывали Волку, еще у вас?

— Какому волку? — космонавт, не отрываясь, смотрел на Сель.

— Вот он.

— А, мой серый приятель! Теперь припоминаю. А в чем, собственно, дело?

— Это действительно песок?

— И даже очень красивый, — Борк медленно улыбнулся. — Показать?

Он вынул из стола знакомую Волку трубочку.

— Прелестен, правда?

— Это точно песок? Не колония живых организмов?

— Нет, конечно! Откуда такая мысль?

— Он прошел карантин?

— Разумеется! Простите, я все еще не понимаю…

— Возможно, это не совсем песок.

Улыбка Борка погасла. Он ждал.

Сель коротко пересказала все, что знала.

— Не хочу обидеть нашего серого друга. — В голосе Борка прозвучала ирония. — Согласитесь, однако, что…

— Волк никогда не ошибается в фактах, — резко сказала Сель. Брови Борка поднялись. — Он может ошибаться в выводах. Но если он говорит, что песчинка повела себя подобно живому организму, то так оно и есть.

— Трудно спорить с убежденностью. Допустим, мой диагноз неверен. Но неужели вы думаете, что сотрудники карантина не отличат минерал от живого организма?

— Плесень… — тихо сказала Сель.

— Да, плесень. — Уверенность на мгновение покинула Борка. — Нет, не тот случай, — его голос снова был тверд. — Тогда просто не заметили спор.

— Вы не хотите верить?

— Я не могу верить. Этот песок живой?! — Борк потряс пробирку. — Простите меня, но фантазии животных…

— Фантазия у них, к сожалению, развита слабо, — голос Сель прозвучал сухо. — Волк, это песок или нет?

— Не чую его.

— Ах да! Борк, это будет большим нахальством с моей стороны, если я все‑таки попрошу вас приехать?

— Чтобы ваш зверь вынес свой приговор?

— Дело же не в этом!

— Вы правы. — Борк сделал шаг, и выражение его лица изменилось. — Извините, я забыл, что выстрелить может и сухая палка. Где вы находитесь? Буду через семь минут.

Комната Борка исчезла.

Сель вздохнула. Ее рука опустилась на голову Волка.

— Нам не верят, Волчишка… Да я и сама не верю.

— Объясни!

— Ты вряд ли поймешь. Я и сама не очень‑то понимаю. В космосе, видишь ли, встречаются очень необычные формы жизни. Причудливые, странные… Поэтому все, что попадает оттуда на Землю, подвергается строжайшей проверке. Особенно живое. Не всегда живое опасно, чаще оно безвредно. Но однажды сквозь контроль проскочила плесень. Давно, тогда тебя не было. Началось страшное, мы с трудом справились. Надеюсь, что на этот раз…

— Я не хотел пугать.

— Знаю, знаю. Все объяснится скорей всего очень просто, и я, верно, ошибаюсь. А вот и Борк… Входите!

Борк энергично пожал протянутую ему руку, кивнул Волку и без лишних слов откупорил пробирку. У него был вид человека, который твердо решил ничему не удивляться.

— Что скажешь, Волк? — Голос Сель дрогнул.

— Оно пахнет живым.

— Как! Ты же говорил…

— Тогда был песок. Сейчас нет.

Борк нахмурился. Он долго испытующе смотрел на Волка, словно надеясь уличить его

в обмане. Потом, ни слова не говоря, взял чистый лист бумаги, отсыпал на него немного песка, достал микроанализатор. Вспыхнуло едва видимое облачко. Взглянув на шкалу прибора, Борк повернул ее к Сель.

— Видите?

— Эти цифры мне ничего не говорят.

— Они говорят о химическом составе. Они говорят о строении объекта. И то и другое свидетельствует, что это минерал.

— Но Волк…

— Послушайте. Вы зоопсихолог. Вы прекрасно знаете, что одиночных видов живых организмов не существует и существовать не может. А планета, откуда доставлен песок, мертва, как льдышка.

— Но в льдышке, случается, спят даже высокоорганизованные существа.

— Верно. Но если бы вы видели эту планету… Насколько я понял, для Волка живое от неживого отличается, так сказать, частотой запахоизлучения. Так?

— Да.

— По дороге я все обдумал. Отличие этого минерала от земных, помимо состава и структуры, в том, что ему присуща быстрая смена запахочастот. Вот и все. Вы разочарованы?

Сель покраснела.

— Наоборот, вы должны гордиться, — сказал Борк, словно оправдываясь. — Минерал я вез к Орцеву в университет. Но даже Орцев не скоро бы обратил внимание на это его свойство. Вас беспокоит еще что‑то?

— Пустяки. — Сель нехотя улыбнулась. — Сначала для Волка мертвым был весь песок…

— Ясно, ясно. На запах, по словам нашего серого аналитика, влияет смена погоды. Так? Сейчас надвигается гроза.

— Вы всегда так логичны?

— К сожалению. Боюсь, что это неизлечимо.

— Почему “к сожалению”? Волк, давай попросим прощения…

— И забудем этот глупый эпизод. А если я рад, что таким образом познакомился с вами?

— А песок и в самом деле красив, — Сель нагнулась к столу, как бы не слыша слов Борка. — Какие отсветы… Они играют, дышат в каждой песчинке. Знаете, чем камень жив? Светом.

— Точно! В темноте камень мертв. Дерево — нет, животное — тем более, а камень — да. В этом смысле наши представления, пожалуй, схожи с представлениями четырехлапых умниц. Интересно, что он сейчас обо мне думает?

— Спрашивать его об этом небезопасно.

— Почему?

— Большинство людей до сих пор уверено, что животные смотрят на них как на божество. Уверяю вас, ни одно животное на нас так не смотрит.

— Я не принадлежу к числу таких людей.

— А ваше самолюбие не пострадает, если Волк даст вам не слишком лестную характеристику? — спросила она, не отводя взгляда от мерцающих песчинок.

— Я ее заслужил?

— Надеюсь, что нет. Впрочем, спросите у Волка.

Борк смущенно пригладил волосы.

— И спрошу, — сказал он решительно. — Послушайте, Волк…

Возглас Сель оборвал фразу.

— Смотрите, Борк!

Слова прозвенели, как осколки разбитого фарфора. Обернувшись, Борк мигом схватил то, что видела Сель, то, на что указывал ее дрожащий палец.

— Вам показалось…

— Они шевелятся, — вдруг подтвердил Волк, и люди, отпрянув от стола, уставились на него. — Песчинки давно шевелятся.

Секунду все были неподвижны, затем повелительный жест Борка остановил рванувшуюся Сель. Шевеление некоторых откатившихся от общей массы песчинок было теперь так же ясно для человеческого глаза, как и для взгляда Волка.

— Они делятся. — Голос Сель дрогнул. — Вот! И вот…

— Спокойно.

Точным и быстрым движением Борк ссыпал песок в пробирку. Источник зловещего мерцания исчез в кармане, и Сель стало легче, словно со стола убрали гадюку.

— Все, — слегка задыхаясь, сказал Борк. — Все, — повторил он, как бы убеждая себя и других. — Возможно, нет ничего опасного. Допустимы любые другие объяснения. Ничего не случилось — они заперты.

— Не все! — воскликнула Сель.

— А–а!

— Та единственная песчинка…

— Пустое. Найдем.

— Ее сдул ветер, — сказал Волк.

— Так, так… — Рука Борка медленно потянулась к информу.

— Это бесполезно! — остановила его Сель. — Легче найти… не знаю что.

— Знаю, но другого выхода нет.

— Есть. Волк!

— Здесь!

— Да, да, ты здесь… Волчишка, милый, ты можешь учуять ту песчинку? Можешь, можешь?

— Послушайте, Сель!

— Борк, если кто сможет отыскать, так это Волк.

— Да, — сказал Волк. — Найду, если она здесь.

— И все‑таки… — Борк колебался.

— Спешите в лабораторию.

— Вы действительно уверены…

— Я знаю Волка.

— Тогда с ним пойду я! У меня ноги крепче.

— Но вы не понимаете Волка так, как я. Идите!

— Ладно, одно не мешает другому. В конце концов город можно закрыть на карантин. Не теряйте связь!

…На верхней площадке здания хозяйничал ветер. Его тугая масса налетала холодными гулкими порывами. В просветах туч нервно мигали звезды. Горизонт рассекали бледные, пока еще беззвучные молнии.

Ноздри Волка жадно втягивали ветер. Запахи мелькали подобно строчкам быстро листаемой книги. Фоном был далекий аромат лугов и перелесков. Среди городских запахов ярче всех выделялись тягучие испарения смазок, кисловатые запахи металла, царапающие, с сухим привкусом стекла ароматы полимеров. Ветер нес тысячи оттенков, и нос Волка ловил их, точно локатор. Ветер и помогал и мешал. Помогал, потому что раздувал пламя запахов и нес их за километры; мешал, потому что создавал путаницу, рвал слабые токи. К счастью, он менял направление и порой замирал, так что Волк мог обнюхивать город, как бы паря над ним. Сель стояла рядом, бледная от волнения.

Конечно, она понимала, что Борк предпримет все возможное. Будут доставлены и пущены по следу овчарки. Немедленно будут откалиброваны на новый запах и использованы все лабораторные анализаторы. Но она также знала, что ни один аппарат не сравняется в чуткости с Волком и ни одна овчарка не возьмет след так, как это сделает Волк, который понимает, хотя, может быть, иначе, чем люди, цель поисков. Кроме того, сейчас все решали

часы и даже минуты.

Ловя подозрительные струи, Волк то и дело срывался с места. Казалось, он играет с невидимыми в темноте бабочками. Но иногда он надолго замирал.

Город внизу сверкал ярче, чем когда‑либо. Огни сильно и беспокойно мерцали в предгрозовом воздухе.

Волк ничего не видел и не слышал. От ветра шерсть его вставала дыбом и ходила волнами; порой он казался Сель незнакомым, страшноватым зверем.

Внезапно его нос припал к настилу. Затем Волк подпрыгнул. По бетону скрежетнули когти.

— Есть! Туда, там…

Вывести из ангара реалет было делом минуты. Машина взмыла над городом, и отблеск огней лег на ее широкие плоскости.

Но в воздухе нить запаха оборвалась. Напрасно Сель бросала реалет из стороны в сторону, то падая вниз, то взмывая высоко над крышами.

Сель ничего не говорила Волку, она и так знала, что тот делает невозможное.

Наконец, когда они попали в бившую снизу струю воздуха, Волк оживился.

— Ниже, ниже…

— Ниже?

— Да, да!

Сель заколебалась. Ниже был вентиляционный колодец. Окаймленное огнями устье сверкало, точно ожерелье. Лететь туда? Правила запрещали это. Спускаться на лифте, идти? А если снова потребуется реалет? Время, время!

Сель набрала индекс Борка.

Возникшее на экране лицо космонавта выражало досаду и спешку. При виде Сель оно смягчилось.

— Нашли?

Сель объяснила.

— Ни о чем не заботьтесь, — быстро проговорил Борк. — К черту правила, я договорюсь с патрульной службой. Но быстрей, как можно быстрей!

— Они живые?

— Да. Но может быть, это квазижизнь… Не расспрашивайте. На свободе могут быть два, даже три семени.

— И они?..

— Ждем окончательных результатов. Сразу же сообщу. Отключаюсь.

Экран потух.

Реалет неподвижно висел над устьем. Ветер слегка раскачивал машину, точно лодку на якоре. Закусив губу, Сель неподвижно смотрела вниз. Отверстие было чуть шире диаметра реалета.

— Держись, Волк…

Реалет камнем полетел вниз. Только на Скорости и только так можно было совершить маневр при боковом ветре. Замелькали лампы, перекрытия, пролеты, чьи‑то испуганные лица на галереях.

— Еще ниже?

— Да.

Ниже колодец был перекрыт фильтрующей решеткой. Включив сирену, Сель ввела реалет в пространство наземного яруса. В полукилометре отсюда — она это знала — находился транспортный шлюз.

Сбавив ход до минимума, Сель вела реалет прямо над движущейся дорогой, прямо над головами людей. Внизу раздавались крики.

“Что они обо мне думают?” — пронеслась мысль.

В глазах рябило от света и бликов.

В степах грохотало эхо.

Выемка шлюза, наконец‑то!

— Чуешь?

— Да, да!

Волк дышал как от быстрого бега. Охота его радовала, безумная охота, преследование врага, который чем‑то угрожает Сель.

В подземном ярусе располагались не только транспортные артерии, склады и коммунальные службы. Но сейчас поле зрения было ограничено стенами тоннеля. Полет здесь был чистым сумасшествием, но Сель действовала не по наитию. Реалет она вела по той стороне, где не могло быть встречного экспресса. Встречный должен был пройти рядом, всего в двух метрах от левого крыла реалета. Это было более чем рискованно, но Сель решила, что посадит машину, если встреча произойдет. Авось задний экспресс успеет затормозить, авось она успеет проскочить до его появления.

Рокочущий гул впереди настиг ее в то самое мгновение, когда показался перрон. Она все же успела увернуться и взмыть над платформой. Ожидавшие экспресс люди кинулись врассыпную.

Лететь далее не имело смысла. Сель и Волк выпрыгнули из реалета. Ей кричали, но она не слышала криков. Да, такого переполоха еще никто не устраивал…

Волк бежал зигзагами, Сель едва поспевала за ним. Лестница, переход, снова лестница… Сель начала задыхаться. Волк замедлил бег. Люди, мимо которых они проскакивали, замирали, как изваяния. Уж очень это была контрастная картина: рослый, могучий волк и спешащая за ним тоненькая в белом девушка с волосами, как черное пламя.

Квадратная площадка. Дверцы одного из лифтов раздвигались. Двумя великолепными прыжками Волк опередил Сель. Какая‑то старуха уже заносила ногу, когда Волк вскочил в кабину и мягким толчком заставил ее отшатнуться.

Женщина вскрикнула, и в этом крике Волк уловил нотки того же самого древнего атавистического страха, который пробуждался порой и в нем как родовое воспоминание о тех далеких днях, когда волки боялись людей, а люди боялись волков.

— Ты… что… Волк…

Резкая боль в груди мешала Сель говорить. Вместо ответа Волк положил лапу на башмак женщины.

— Вы… вы… — женщина задыхалась от негодования и страха.

— Извините…

Сель было все равно, что о ней подумают.

— Приподнимите, пожалуйста, ногу…

Так как женщина совершенно потеряла и дар движения, и дар речи, Сель сама приподняла ее ногу. В одном из рубцов подошвы она увидела две знакомые ей песчинки.

Вот и все. Вокруг уже толпились возмущенные люди. Волк на всякий случай выдвинулся вперед и небрежно зевнул, показывая великолепный набор клыков.

— Волк, смирно! Извините, — бросила Сель женщине, равно как и всем другим. Она выхватила карманный видео–фон и тотчас забыла об окружающих.

— Борк, мы нашли, нашли! — закричала она, едва засветился экран.

— Сколько? — последовал торопливый вопрос.

— Обе!

— Сель, их может быть три.

— Да тише же! — Женщина кричала, мешая слушать. — Это я не тебе… Все настолько серьезно?

— Серьезней некуда. Размножаясь, они поглощают тепло. Да как! Они могут заморозить планету. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Но факты… Мы — шляпы, глупые, самонадеянные шляпы, обо всем беремся судить, даже не подозревая, сколько вокруг неизвестного. Ищите, Сель, ищите! Мы сейчас объявим всем, мы… Зовут, простите.

Сель не заметила, как воцарилось молчание. Люди слышали разговор и поспешно

расступились перед девушкой. Только женщина бормотала что‑то.

— Вот так, Волчишка, — тихо сказала Сель. — Начнем все сначала.

Когда они выбрались наверх, гроза уже началась. Мигание молний преломлялось в прозрачных плоскостях стен, трепещущий отблеск скользил по куполам и аркам, дробясь, рокотал гром. Потоки воды то вспыхивали серебром, то исчезали в темноте. Огненная струя Космической башни казалась ревущей.

Одежда Сель промокла, едва они вышли на открытую площадку. Волк долго кружил по ней, но ничего не почуял. Они сели в реалет. Шло время, руки Сель окаменели за рулем. Сель то и дело связывалась с Борком. Ответы были неутешительными. Нигде ничего.

— Может быть, их все‑таки было две?

Сель бодрилась, но голос выдал усталость. Губы Борка дрогнули.

— Нет, — сказал он решительно. — Все песчинки стали тройными.

— И по–прежнему делятся?

— Перестали. Надолго ли? Пока ни одного случая четвертой генерации. Ищите третью, пока они затихли.

— Мы ищем.

Волк не находил себе места в кабине. Согласно распоряжению город всасывал воздух только через внешние наземные шлюзы и гнал его к центру, чтобы выбросить вертикально вверх. Это нарушало циркуляцию, внутри города сновали вихри, зато все запахи стягивались к снующим реалетам. Волк метался от одного опущенного щитка к другому, его ноздри раздувались как мехи, никогда ни до, ни после он так не напрягал свои способности. То и дело ему казалось, что он уловил… Всякий раз надежда гасла, не успев разгореться. Возможно, искомая песчинка была унесена в глубины коллектора, возможно, ветер еще до дождя умчал ее далеко от города, все могло быть.

“Налево, вверх, вниз, направо”, — Сель исполняла, как автомат. Может быть, впервые за всю историю человек безоговорочно повиновался волку.

Уже дважды ему в ноздри вторгался какой‑то смущающий его запах. Он проверил его — нет, не сходится. И все‑таки это был необычный запах. Не пластик, не сталь, не дерево… Но и не песчинка.

Волк ничего не сказал. В кабине свистел ветер. Мозг Волка работал медленно. Ему казалось, будто он что‑то забыл и старается припомнить.

Они еще с полчаса кружили над городом. Потом запах повторился.

— Налево.

Сель послушно повернула.

— Ближе. Вверх! Опусти. Ближе.

— Ближе нельзя, мы врежемся в здание.

— Надо.

— Ты учуял?!

— Странный запах. Если она не с Земли, то она может быть странной дважды.

— Ясней, Волк, ясней!

— Песчинка может быть странной всегда?

— Да, да! — Оба кричали, чтобы осилить свист ветра. — Я поняла! Если она намокла, то ее запах мог измениться неузнаваемо, не так, как у земных материалов! Это?

— Может быть.

— Где же?

— Там!

Здание опоясывал узкий карниз. “Это” находилось где‑то посредине. Сель лихорадочно соображала. Если бы окна были старинными! Но сквозь стеклянную стену на карниз не вылезешь. Оставалось посадить реалет на висячий балкон и оттуда…

Балкон был чуть шире реалета. Ожидая толчка, Сель даже зажмурилась. Волк выпрыгнул, едва она распахнула дверь. Ветер яростно прижал ее к сиденью. Сель глянула вниз, и ей стало не по себе. Но Волк уже шел по карнизу так, словно это была положенная на

землю доска. Сель перевела дыхание.

Метр, еще один, еще и еще… Волк замер. Дважды молния освещала его широкую мокрую спину.

“Чего он медлит? Чего?” — недоуменно спрашивала себя Сель. Кричать она не решалась, боясь напугать.

Припав мордой к карнизу, Волк что‑то пытался сделать.

Сель подалась вперед, обхватив холодные перила.

Волк поднял голову. Сель не видела, но чувствовала его взгляд. И вдруг поняла: Волк нашел то, что они искали. Нашел и не может взять, потому что у него нет послушных и гибких человеческих пальцев.

Сель похолодела. Волк медленно пятился по карнизу. Можно было, конечно, вызвать людей с двигателями для птичьего полета, но кто поручится, что струи воды не смоют песчинку до их прихода? Прямо у подножия здания зияла воронка дождевого коллектора. Там был конец всему.

Нос Волка ткнулся в колено Сель. Слов не требовалось, сейчас слова были лишними. Волк требовал действия.

Рывком Сель перебросила ногу через перила. Она действовала как в лихорадке и в то же время со странным, удивившим ее спокойствием.

Спиной она прижалась к зданию. Ступни ног умещались на карнизе. Она знала, что нельзя смотреть вниз. Она смотрела прямо перед собой и видела только огненную иглу Космической башни. Рвущийся в небо столб пламени давал мысленную опору. Сель сделала шаг. Спиной она чувствовала малейшие шероховатости стены. Ноги были словно не ее. В бок толкал ветер.

Еще шаг. Чем крепче она прижималась к зданию, тем ощутимей было его колыхание. Здание плавно раскачивалось. Амплитуда качаний была ничтожной, но она нарушала то равновесие, в котором застыла Сель. Стена здания, точно упершаяся в спину ладонь, мягко, но непреклонно подталкивала тело.

Сель замерла, раскинув руки. Теперь качалась уже и Космическая башня. Да, она раскачивалась, и вместе с ней раскачивалась Сель. Темнота внизу притягивала взгляд, как магнит.

Сель закрыла глаза. Исчезло все, осталось лишь мерное колебание стены. И боковые толчки ветра. И холод облепившей тело одежды.

Тело медленно входило в ритм толчков и колебаний, непроизвольно для сознания отыскивало ту равнодействующую, которая давала устойчивость.

С закрытыми глазами Сель сделала несколько шагов. Все было бы очень просто, если бы не воображение. Не к чему было закрывать веки, коль скоро воображение рисовало не только пропасть внизу, не только узость опоры, но и падение в бездну, то, как оно начинается — со слабости колен, пустоты во всем теле, судорожных усилий, отчаяния последнего мига, последнего взмаха…

Воображение вело за собой послушное тело, навязывая ему свой судорожный ритм. Дрожь охватила Сель. Она раскачивалась, теряя равновесие, задыхаясь от ужаса.

Чьи‑то крепкие зубы сжали ее лодыжку. Сель облегченно вздохнула. Призраки отлетели. Нога в пасти Волка была как в мертвом зажиме. Это было подобие опоры, но и его было достаточно.

Прошло несколько секунд. Сель не решалась открыть глаза. Она отдыхала от игры воображения, от страха, от дрожи в ногах. Хватка Волка надежно держала ее над пропастью. Только сейчас Сель поняла всю меру безумия и самонадеянности, толкнувшей ее на карниз. Здесь было мало решимости и мужества, нужен был опыт. Она бы уже лежала внизу, если бы не опора, которую ей дал Волк. Если бы не чувство реальности, которое он ей вернул.

Твердый нажим зубов передался ей как команда. Она переставила одну ногу, подтянула другую. Не надо было ни о чем думать, не надо было ничего чувствовать, надо было слепо двигаться, повинуясь направляющей хватке Волка. Чисто механические действия,

страхуемые охватившими лодыжку тисками. Все оказалось очень просто, когда исчез страх и погасло воображение. Глаз Сель не открывала, чтобы не спугнуть блаженное спокойствие. Тело само находило равновесие, как только ему перестал мешать разум.

Наконец Волк слегка сжал клыки: “Стоп!” Начиналось самое трудное. Надо было открыть глаза, взглянуть вниз…

Молнии били беспрерывно. Сель видела только то, что было в центре ее внимания, — бугристую, омываемую ливнем плоскость карниза. За ее краем притаилась тьма провала.

Сель показалось, что она видит песчинку, но, возможно, это была игра отблесков. Надо было наклониться. Ветер переменился и дул в грудь. Появилась еще одна неверная опора.

Сель согнула колено, перенесла на него тяжесть. Каменная плоскость укрупнилась, приблизилась. Но пока Сель нагибалась, в поле зрения ворвался сверкающий огнями провал.

Это не произвело того впечатления, которого она боялась. Сознание, сосредоточенное на одной–единственной задаче, устояло. Лишь где‑то в глубине шевельнулся прежний страх.

Теперь Сель отчетливо видела песчинку. Она лежала возле самого края. Возможно, она могла так пролежать еще долго, но столь же вероятным могло быть и другое.

Некоторое время не было молний. Потом вспыхнуло сразу несколько. Песчинка заблестела, как алмаз. Сель быстро протянула руку.

Когда они выбрались на площадку, Сель привалилась к стене. Пол слабо кружился. Ее рука лежала на спине Волка, и Сель чувствовала, как постепенно успокаивается порывистое дыхание зверя, воображению которого было доступно многое из того, что доступно человеку. У обоих одинаково колотилось сердце. Внизу лежал омываемый дождями город — их город. Успокоительно стучала капель. Пол кружился все слабей и слабей, потом замер.